ВСЕВОЛОД

ИВАНОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

ВСЕВОЛОД

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

●

Издание осуществляется под редакцией Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартакова

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

ИВАНОВ

ТОМ ПЯТЫЙ

●

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ
1935—1956

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Р 2
И 20

Подготовка текста
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ и С. ЧУЛКОВА

Комментарии
Л. ГЛАДКОВСКОЙ

Художник
Л. ЧЕРНЫШОВ

И $\frac{70302\text{-}306}{028(01)\text{-}75}$ подписное

РОМАНЫ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

РАЗГОВОР С КАМЕНОТЕСОМ

Я возвращался из Мацесты в Сочи берегом моря. Солнце закатывалось. Голубые и черные лодки плыли обратно. Я шел по железнодорожной насыпи. Вдруг за кустом я услышал знакомые фразы. Читали «Войну и мир». Тонкий голосок после каждой фразы спрашивал: «Понятно? Продолжаю». И гортанный голос отвечал ласково: «Ну зачем спрашиваешь, джаныма у? Такие события происходят, а мы не понимаем? Скорей».

Несколько каменотесов сидели вокруг девушки в синем. Позади всех слушал ее широколицый казах. Перед ним лежал халат, на нем — краюха хлеба и узкая бутылка вина.

— Э, еще кунак пришел! — закричал он, увидев меня. — Садись, кунак, садись, будешь слушать. Они в тетради пишут, а я тебе так расскажу. Какие события пишет!

Волосы у него черные, щетинистые и столь густы, что и шея покрыта ими до спины. Он сидел без рубахи. Мышцы его резко выступали при движениях. Он покачивался, хлопая себя по ляжкам, лицо его сияло.

— В Москве собирались, рассуждали, какие книжки писать. Джанымау дорогой! Пиши любые, но чтоб я радовался. Ты меня не узнаешь? Меня Шибахмет Искаков зовут. Не помнишь такого?

— Нет.

— В Павлодаре лет двадцать назад вертельщиком был, ведомости помогал печатать. Ты буквы выдергивал шилом днем, а спал на кухне! А утром меня будил рано: «Шибахмет, поедем на Иртыш за водой». Ха! Я надеваю штаны. А они от старости рассыпаются. А теперь посмотри, какие у меня штаны, рабочие! А какие я надеваю в праздники, у, джанымау! Тебя как называют?

Я узнал его. Он положил вино, хлеб и стаканчик в карман и пошел за мной. Он покачивался, тряс халатом, прислушиваясь к звону стаканчика. Он улыбался очень протяжно. Он, видимо, радовался и тому, что встретил сибиряка, и тому, что я изумился его памяти.

— А, тебе бы пораньше прийти, когда я обедал. Отличный обед был! Я бы тебя угощать стал, а теперь вечером я пью вино и ем хлеб, чтоб ночью брюхо легкое было.

— Сколько же тебе лет, Шибахмет! Ты все еще неграмотный?

— А ты тоже небось, Сиволот, не буквы выдергиваешь? Трестом заведуешь поди, а? У меня сын один, так тот профессор и говорит: «Я больше тебя знаю». А я ему: «Был бы ты дурак, если бы меньше меня знал!» Я тоже большой грамоты: я детей родил четырех, и все ученые. Я мог бы, Сиволот, большие тоже должности занимать, но мне некогда! Большая должность скажет: «Сиди с портфелем в машине, Шибахмет, ты бедняк, ты управляй государством». А я говорю: вот я вам вырастил четырех, выучили вы их, они и пусть теперь управляют, а я хожу и туда и сюда, и здесь и там радуюсь, мне пятьдесят лет!

— Ты по-казахски грамотный?

— И по-казахски и по-русски. Я много помню. Я помню, у тебя рубаха была сатинетовая, а пояс широкий кожаный, а я все думал: «Зачем у него такой широкий пояс, разве брюхо болит?»

Наслаждаясь своей памятью, он говорил о Павлодаре, о нашем хозяине-типографщике, о гражданской войне. Он разводил руками так, как будто в воздухе строил какие-то горбатые мосты. Изредка он потирал свою шею. Затем он схватил меня за плечи и сказал:

— Вот ты опоздал. А там что было!

И он вдруг начал читать на память, подражая голосу девушки:

— «Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо! Но все-таки лучше всех был угол в диванной, за фортепиано...»

Слово «фортепиано» он выговорил весьма тщательно, даже как бы щеголяя своим выговором. Вообще он читал очень хорошо.

— «Он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал устанавливать. «Не так, не так!» — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе. «Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну», — подумал князь...»

Он спросил, качнув меня сильными руками:

— Верно рассказал? А ты мне — неграмотный! Помрет старый князь, как полагаешь? Места не находит. Он и туда и сюда постели ставит. Вот завтра будем читать дальше, приходи — узнаешь.

— Где ты побывал, Шибахмет?

— Много ездил, много помню. Головы ломал офицерам. Догоним. Они в нас из пулеметов, а мы на них с шашкой. По голове шашкой! Пустые головы, зря выросли.

Он показал на пароход.

— И на этих «уткане» качало меня. Брюхо терзает, но предполагаю: кончится же вода! Поднимет и так подбросит, так подбросит на волне, что с нее всю свою жизнь видишь. Душа ликует, Сиволот. Так я говорю? Так ликует, что ничем не разбавишь. Красивое море, Сиволот. Зачем шумит? Много людей думало. Я тоже подумал... Чтобы любовались им, а? Играешь, старая баба, я тебе!

Он погрозил пальцем морю и рассмеялся.

— Я его люблю, Сиволот! Я и степь люблю. Коршун летит низко. Всего и дерево в степи, что телеграфный столб. Едешь, едешь, а все кажется — ползком. Обширная страна, а?

Он опять покачал меня за плечи, заглянул в глаза и глубоко вздохнул.

— Стою я возле моря. Льдины плывут. Оно такое сердитое, совсем стариковское, совсем седое и старое. Звери на нем седые, небо седое. Ох, а как, Сиволот, от льдин ветер подует, ой, как скучно!

— Да где это, Шибахмет?

— В Хибинах камни рубил. Порубил, порубил, пошел к морю. Эти камни бросишь в землю — сам видал — хлеб уродится такой, что ладонью землю прикроешь — столько ее, а зерна в этой ладони столько, что и ладонь твою засыплет и еще на лицо хватит. Вот какой целебный для земли камень! Рубил я эти камни, вдруг слышу: в Сочи дорогу строят через горы! Дорога широкая, самая красивая в нашей стране. Будут по ней

людей возить в такие воды, что обмакнут тебя, полежишь там — и вылезешь здоровым. Ты видал эту дорогу?

— Видал.

— И пальмы видал? Сто тысяч людей провезет в год, всех обмакнет, вот какая дорога. Я много на ней топтался, много молотком стучал.

Вино переливалось в стакане. Он легонько ударил пальцем. Стакан слегка зазвенел. Он дал мне выпить, затем опять наполнил стакан и поставил его на камень. Вино горело темным багрянцем. Он щелкнул языком.

— Тоже красиво. Тоже здесь растет. Куда ни посмотришь, все красиво. Письма из дому отличные получаю, сыновья моей силе радуются. А верно! О камень ударю — сыплется. Этот удар тебе, этот тебе! Я и для тебя, Сиволот, ударю. Читал Робинзона Крузо, очень упорно человек жил, много страдал. Один! Самое страшное — один! Я бил много камня, выше себя набил щебня, все в его честь. Дон-Кихоту бил, приключениям Финна бил. Максиму Горькому бил особо, три дня. Красиво думает о жизни. Оркестр мимо идет. Красная Армия, Ворошилов! Много им тоже камня бил. Я каждый день бью больше всех, а последний удар самому себе бью: молодец Шибахмет Искаков, ударник, очень веселый человек.

Он схватил стакан, выпил. Стакан он тщательно протер коротеньким полотенцем и положил в карман бешмета.

— Вот тоже Магомет был. Вино запретил. До сорока лет я не пробовал, а потом думаю: если я в князей стреляю, то разве их закон при мне остается? Взял бутылку, семнадцать рублей заплатил. Ах, какой хитрый Магомет был, себе хотел побольше оставить. «Не пей, говорит, Шибахмет!» А я-то, дурак, отвечаю: «Слушаю, ваше величество». Да ты не горы смотри, Сиволот.

Он повернул меня за плечи к морю.

— Ты сюда смотри и долго смотри. Если я рядом с тобой тяжело дышу, ты не думай плохого, я не сплю, у меня так тело сделано, что от красоты начинает трястись.

Море было колыхающегося багряно-бархатного цвета. В средине уже поднималась белоснежная дорога. В небе цвета индиго качалась оранжевая луна. Воздух тепел. В горах медный тягучий гул, словно они перед

сном ворочаются и никак не могут лечь. Мы стояли неподвижно. Шибахмет, видимо, мысленно проходил по широкой дороге, которую он недавно с такой любовью прорубил в горах. Он останавливался на каждом повороте, любовался на море, которое каждый раз было иное. «Какие замечательные люди строили дорогу, — думал он, — как они понимают красоту!»

Он наклонился к моему уху и тихо сказал:

— Моя власть получает от меня полное почтение, Сиволот. И она мне благодарна, что я ей таких детей подарил. Но вот мы читаем про войну и мир и думаем: красиво, все красиво! Но почему он, Толстой, об рабочих молчал? Или дальше есть?

— И дальше нету.

— Скрывать приходилось, Сиволот. Не было ничего красивого у мужиков и рабочих, а Толстой хитрый старик был, умный. Борода-то у него какая, видал? Мне с ним поговорить, я б ему правду сказал: красоты у тебя много, но у нас больше. Вот я и хочу сказать власти добавочно: заводы, города, машины переименовываете, а почему стоит Черное море? Это людей раньше пугали, чтоб они не стремились сюда. Черное, мол, так и страшно: у меня и без того жизнь черна! Вот ведь я при царе никуда не ездил, кроме Павлодара, да и там не камни бил, а крутил колесо. Перекрасить надо море!

Он шел рядом со мной, слегка помахивая халатом. Лицо у него круглое, улыбающееся.

Он напевает вполголоса:

Качается море, качается
Вместе с пароходом и со мной!
От юрты к юрте на соловом иноходце
Качается младший мой сын,
Качается море, качается,
Качается тоже степь!
Над юртами, морем и степью
Качается флаг наш один,
Совсем красного цвета,
  Как щеки моей невесты,
  Когда ей было
  Шестнадцать лет и четыре месяца,
  А мне восемнадцать!

1935

ПЕНЬ ИСКУССТВА

В 1928—1930 годах во многих театрах шла моя пьеса «Бронепоезд». Как мне ни хотелось, но я не имел времени видеть все спектакли. Однако, если представлялась малейшая возможность, я старался побывать на первом представлении.

Однажды летом я получил телеграмму из Орши. Это было официальное приглашение на первый спектакль «Бронепоезда». Я не мог ехать и уже составлял вежливый отказ, когда принесли вторую телеграмму. Она гласила следующее: «В случае провала она уйдет от меня и я покончу самоубийством. Она поверит лишь вам — есть ли у меня талант. Тоськин, исполнитель роли Васьки Окорок». Телеграмма меня удивила, а удивление — то, благодаря чему вы очень быстро приобретаете билет. Словом, через три дня я был в Орше.

Первое представление длилось долго: оно началось в семь вечера и кончилось в два часа ночи. Директор ходил бледный, дрожащий и кричал секретарю райкома, что он не вынесет этих беспорядков. «Приехал автор, а у них ничего не готово!» Секретарь и я утешали его тем, что зрители не расходятся и терпеливо ждут. К концу спектакля директор напился и заснул на садовой скамейке. Лицо у него было очень довольное. Зрители, уходя, глядели на него сочувственно, говоря: «Замучился, бедняга!» Здесь, у тела директора, дышавшего с большим шумом, меня остановил актер Тоськин и сказал, указывая на пухлую женщину с выпуклыми глазами:

— Она. Что вы ей ответите?

Я посмотрел на нее внимательно и подумал: «Ну, боже мой, и не из-за таких стреляются», а затем сказал:

— Вы играли превосходно. У вас великолепное будущее.

Играл Тоськин действительно недурно.

— Слушайте, Тоськин, — сказал я. — С вашим будущим покончено, займемся прошлым. Мне ужасно знакомо ваше лицо. Вы были в Сибири в тысяча девятьсот восемнадцатом году?

— Был, — ответил Тоськин. — Был, под Омском. А что?

Летом 1918 года я жил в Омске, городе, который впоследствии прославился печальной славой столицы Колчака. Уже ходили слухи о приближении чехов. Я писал пьесу «Черный занавес», которую с несколькими приятелями собирался поставить. Меня занимала чрезвычайно запутанная жизнь, которая происходила возле, но, несмотря на то, я считал свою пьесу венцом моей жизни.

Пришел мой приятель Филиппинский и сказал:

— Открывается в Спасском ярмарка.

Я полагал, что он собирается повезти туда свой балаган, и ничего ему не ответил.

Он рассказал несколько анекдотов об ярмарках и сказал:

— И там святой объявился.

— А хоть пророк!

В то время было множество всяких странных людей, и они стали уже надоедать мне, не привлекали меня.

— Торговлю, говорят, удачно предсказывает,— сказал Филиппинский.

Он жаждал богатства всегда, а в эти дни — особенно.

Тогда люди наживались легко, но он что бы ни покупал, все выходило прахом, и вот он стоял передо мной растерянный. Э, черт с тобой! Я согласился сопровождать его. Он считал меня чрезвычайно разумным человеком, и ему казалось, что я смогу лучше, чем он, истолковать прорицания святого.

Село Спасское находилось в ста верстах от Омска. Это если ехать трактом, — пароходом туда плыть двести верст, затем от пристани ехать 60 верст на лошадях, но все же так лучше: по степи бродят шайки бандитов, а люди, известно, едут на ярмарку с деньгами.

Мы высадились на пристани. Филиппинский долго торговался с ямщиками. Одет он был плохо — и нарочно; я же нарядился в праздничную одежду, и он бранил меня:

— Не могу нанять, ограбят! Пойдем пешком?
— Пешком еще легче ограбят.
— Подумают, богомольцы.
— И мало похожи!

При всей его кажущейся бестолковости, Филиппинский умел отлично уговаривать. Мы пошли пешком.

Мы шли всю ночь. Глаза слипались, когда мы вошли в поселок. Филиппинский боялся, поминутно останавливался, прислушивался к шорохам и все уговаривал меня идти без дороги, прямо степью. Но и в пустой степи ему казалось, что на нас нападут! Здесь-то именно и притаились бандиты!..

Ярмарка большая, пышная. Много подвод, ларьков, продавцов, покупателей.

— Птицу надо покупать! — сказал сразу Филиппинский. Затем подумал и продолжал: — А свинья выгодней птицы? Как же быть? Кто скажет? — И он начал искать святого.

Святой Никульчан оказался сухим старикашкой, который сидел на рваных кошмах в казахской землянке, в джатаках. Окна затянуты пузырем. Комнатенка набита битком. Пробраться в нее нет никакой возможности. Люди выходили ошарашенные, испуганные, и это меня заинтересовало. Я сказал строго, в толпу:

— Пропустите врача. — И протянул руку к Филиппинскому: — Пожалуйте, господин врач.

Толпа расступилась. Кто-то крикнул:

— Лечишь аль тоже за предсказаньем?

— Ему будет предсказывать!

Мы вошли в низенькую землянку. Святой, весь заросший рыжим волосом, с острым носом, лет пятидесяти, простер руку к Филиппинскому, он закивал:

— Свинья лает, свинья лает! Господи Исусе женись и оскопись.

Речь святого напоминала наши балаганные выступления на раешнике. Но Филиппинского это испугало, и он попятился:

— Пятится Христос, утри ему нос! Нос утрешь, в рай войдешь. А свинья в рай не пущает: петухом по полночи взывает. Покупайте яйца! Покупайте яйца! Чего вам лаяться?..

Филиппинский немедленно вышел. Толпа хлынула к нам:

— Ну, как?

— Яйцами велит питаться, — сказал я опять строго, чтобы скорее пробиться через толпу. — От всех болезней помогает.

— А от лихоманки? — спросила баба с тугим лицом.

Мы вышли за ворота.

— Жулик! — сказал решительно Филиппинский. — У них тут скопление яиц, они их хотят продать подороже, ну и выдумали блаженного.

Яиц на базаре действительно было много, и это еще более встревожило Филиппинского. Он долго ходил по базару. Яиц не покупали. Видимо, так же, как и Филиппинский, никто не верил блаженному.

— А черт его знает! — сказал Филиппинский, когда мы несколько раз пересекли кричащий и тесный базар. — Может быть, он и прав? Может быть, надо закупать мне яйца?

— Цена лишь на гривенник меньше, чем в Омске. Зачем они тебе? Купи лучше свинью.

— А зачем мне свинья? — воскликнул он обиженно.

— Дрессировать будешь. Для чего же тебе балаган держать?

— Сейчас я не дрессировщик, а коммерсант!

И он купил воз яиц. Но после того как купил, выяснилось, что перевоз обойдется очень дорого и яйца будут стоить дороже, чем в Омске. И это его окончательно расстроило! Филиппинский сидел на возу с лицом опухшим, усталым от бессонной ночи, охватив руками ящики с яйцами. Он вынимал время от времени яйцо, стукал о передок телеги и меланхолически глотал. Зная, что он думает очень медленно, я лег спать под телегу.

Когда я проснулся, солнце уже спустилось низко, а Филиппинский все еще глотал яйца.

Мужик впрягал коня.

— Я только, ваше благородье, господин врач, предупреждаю: раз бандиты поймают, скажу — яйца не мои, и выкуп они пусть за тебя требуют!..

Филиппинский молчал, сжимая в пухлой руке скорлупу яиц.

Телега выехала за село. Лошаденка была заморенная, мужик тоже, — и мы шли скучно. За селом стояло много возов. Никто не решался ехать — все боялись бандитов. Увидав нас, мужики-возчики закричали:

— Пускай врач впереди едет! Ему не страшно: он к убийствам привык.

А кто-то из демобилизованных даже предложил выкинуть флаг Красного Креста и забинтовать всех — будто раненые.

— А как же свиньи? — спросил Филиппинский.

С нами двигалось стадо свиней, были и купленные кони. В общем, весь базар шел с нами.

— Свиньи для питанья раненых! — высказал веское соображенье все тот же демобилизованный.

— А кони? — уныло спросил Филиппинский.

— А кони от бандитов бежать.

— Не вывешу я флага Красного Креста! — вдруг озлившись, сказал Филиппинский и ударил по лошади: — Пусть мне лучше на могиле крест ставят.

Обоз шел молча. Даже свиньи молчали. Только вздыхал белый теленок, и помню, мне его было очень жалко. Мне представлялось, что я тоже такой же теленок, попавший в эту странную и суматошную жизнь, с той разницей, что никто меня не отрывал от матери, а я сам пошел за всем этим, неизвестно почему!.. Степь наполняла обоз своими красками, он терял свои — и это было удивительно, это ощущение неслышимых колес, шуршание песка, свист бича, похожий на крик какой-то птицы. К тому же мне было приятно, что мы идем впереди. Наш возчик испугался и ушел в тыл обоза. Изредка из глубины обоза вспыхивал огонек, я оборачивался на блеск спички, и видно было возле блеска этого много возчиков и спекулянтов. Спички берегли.

Затем поднялся месяц, серпом вниз. Филиппинский проснулся и сказал:

— Не к добру. Нет, не яйца нам надо было покупать, а лучше бы свинью. — И, помолчав, он добавил: — Вот и святые тоже мучились. Да им-то легче: они за бога, а я за какие-то яйца.

Вдруг обоз остановился. Я твердо помню, что обоз остановился раньше, чем раздался этот разбойничий, металлический свист. Именно металлический. Из кустов показался всадник. Он держал в руке факел. На нем была маска и громадный плащ.

— Сворачивай, — сказал он хорошо поставленным голосом.

— Куда? — спросил я, беря вожжи.

— К чертовой матери!

Филиппинский сказал мне:

— Влево, значит.

И странно, он угадал. Мы повернули влево, всадник поехал за нами.

Кто-то в конце обоза крикнул:

— По какому праву?

Но крик этот немедленно утих. Видимо, наши спутники не хотели раздражать бандитов.

Показалось еще несколько всадников. Они были одеты в шинели, вооружены японскими карабинами, и меня удивило только, что все были тщательно бриты. Мне доставляло удовольствие, что впервые я попал к бандитам, и хорошо что они в масках: мои литературные романтические вкусы были удовлетворены.

Мы ехали долго, часа два не меньше. Проехали сосновый лес, затем выехали на полянку. Затем пошел осиновый лес, мы переправились через какую-то тонкую речушку, и вот перед нами полянка. Сожженная изба, наверное, принадлежащая объездчику. Вокруг избы горят костры, ходят вооруженные люди, а на крыльце, недавно выстроенном и удаленном, блиставшем свежевыструганными досками, висит занавес, прикрепленный от одной обгорелой балки к другой. Крыши не было. Перед этим занавесом стоит стол, и за ним сидит лохматый, длинноволосый человек.

— Привел? — закричал он.

— Привел, — ответил человек в маске.

— Пойди, готовься.

Он встал. На нем был тулуп, подпоясанный желтым кушаком.

— Садись, — сказал он строго. — А кто побежит, вот видите?

Перед домиком была ложбинка. Она уже заросла травой, должно быть, домик объездчика был брошен давно. Над этой ложбинкой возвышался холмик. Вот на этот холмик, на котором горел костер, выкатили пулемет. На пулемет сел молодой человек с громадными вытаращенными глазами, опоясанный пулеметной лентой.

Мы тесно уселись. Длинный парень закричал фистулой:

— Чего так плотно?

— Да без вооруженья, — сказал кто-то из толпы.

— Знаю, что без вооруженья, а рассадись, чтоб рукам было свободно.

Мы расселись, но затем постепенно сдвигались. Помню, что было очень томительно и страшно. За занавеской что-то говорили, кто-то кого-то торопил, отвечал женский голос. Мы обливались потом, а затем всем нам захотелось погреться, но парень у костра, как только мы пробовали приподняться, многообещающе клал руку на пулемет, и мы садились.

Так мы сидели, полагаю, не менее получаса. Затем появился какой-то широкоплечий детина, положил на свежеобструганные доски котел и несколько кусков хлеба.

— Пытать будут. Они всегда огнем, — сказал наш возчик и мелко-мелко начал креститься.

Опять тишина. Затем занавеска распахнулась, и вышел тот же детина с фистулой. Он был вымазан в саже, должно быть, нес эти сучья. Он остановился, поднял кверху руку и сказал торжественно, так что мы сразу ничего не поняли, а сообразили только несколько позже, когда он закрыл за собой брезент:

— Искусство ведет меня!

— В главной роли: Лобанов-Стрельский.

— Представлено будет: «Братья-разбойники», по Пушкину.

Вышло несколько человек, и тот, что с фистулой, лег у костра и облокотился и завыл, вращая белками:

Нас было двое: брат и я.
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья:
Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.

Глаза у него возбужденно горели. Голос срывался. Слушатели принимали это странно. Они просто не понимали. Вначале они это восприняли, несомненно, как вступительную формулу допроса, но когда разбойнику начали отвечать и завыл другой, то все затрепетали. Я явственно чувствовал, как в мое плечо тряслось плечо нашего возницы. Некоторые плакали, а какой-то спекулянт, наверное, видавший на своем веку вещи куда пострашнее, не выдержал и разразился горькими рыданьями. Но большинство сидело в полном оцепенении,

и Филиппинский оцепенел, пожалуй, больше всех. Он не сводил глаз с пулемета, и постепенно туда все обратили глаза, так что под конец на сцену смотрел только один я. Они просто не знали, когда выстрелит этот пулемет. Мальчонка с вытаращенными глазами, курносый, сидел и смотрел скучающе. Он, видимо, привык к такому странному началу допроса или обирания. Видимо, они хотели запугать серьезностью положения, да мы и без того им верили.

Мне же чрезвычайно не нравилось все это, и потому, что умирать не хотелось под так дурно произносимые стихи, и потому, что я многое не понимал, не нравилась и манера чтения, с завываньями, криками, жестами, они все как-то корчились возле костра, изображая разбойников, в то время как сами были же совершенно подходящими спокойными разбойниками, которые знали и как говорить и как обращаться с людьми и жаловались-то, наверное, по-иному. Когда они кончили читать, все мои спутники, от предчувствия что теперь-то пришло самое страшное, совершенно стихли и глядели только на пулемет, если раньше они иногда оборачивались и на завывания, то теперь смотрели только в дуло пулемета.

Главный завыватель, как я узнал потом, господин Лобанов-Стрельский подошел к концу крыльца и смотрел. К нему повернулись все и уставились ему в рот. Я захлопал не потому, что мне сколько-нибудь нравилось, но я привык к тому, что актерам надо хлопать. Господин Лобанов-Стрельский сказал, указывая на меня:

— Вправо.

Я встал и отошел вправо.

Он осмотрел остальных, подождал, посмотрел на их руки и сказал:

— Остальных расстрелять.

В иное время и к иному человеку я бы не подошел, но тут был актер, а со всяким актером мне было легко говорить, да, кроме того, мне было сейчас легко и потому, что я почувствовал избавление от смерти и, кроме того, мне было жалко Филиппинского, к которому я привык и не мог потерять его так легко.

Я схватил за рукав Лобанова-Стрельского и сказал:

— Почему расстреливать?

— А потому, что не понимают искусства. Я весь мир расстреляю или заставлю себе хлопать.

Я посмотрел в его бешеные и спокойные глаза, наполненные решимостью, и мне все стало понятно. Я сказал:

— Я сам был актером...

Лобанов-Стрельский прервал:

— Какие роли?

— Комические.

— Беру.

И он добавил пулеметчику:

— Начинай.

Толпа завопила. Многие бросились на колени. Филиппинский стоял, видимо еще ничего не понимая.

— Он тоже актер, — сказал я, указывая на Филиппинского.

— Тем более расстрелять.

— Слушайте, господин Лобанов-Стрельский, — сказал я, — трудно понять что-либо, находясь в таком странном положении. Вот если б вы их помиловали, тогда другое дело...

— Так они бы хлопали мне не потому, что мы хорошо играем, а потому, что мы помиловали их. Я хочу, чтобы мне хлопали за чистое искусство. Ни один идиот не дослушал до конца моей декламации...

— Но ведь они смотрели в сторону — на пулемет.

— Я найду своего зрителя, — воскликнул он яростно.

— Может быть, вы недостаточно сыгрались, — сказал я робко.

— А ты же хлопал. Ты же актер вдобавок.— Вдруг он посмотрел на меня подозрительно. — Постой, может быть, тебе тоже не нравится.

— Нет, почему же, прекрасная игра, — сказал я смущенно, — я бы с удовольствием посмотрел еще раз.

— И посмотришь, — сказал он успокоительно и повернулся было к пулеметчику, — пускай сдают амуницию и души.

Я попробовал:

— Но вот теперь они успокоились. Почему бы не показать им еще раз.

— У меня правило. Больше одного раза не показываю. — Он похлопал меня по руке.— Ты успокойся, мы всех не расстреливаем. В пулеметной ленте только два настоящих патрона, остальные убегут, если не умрут со страху. Но двоих надо обязательно шлепнуть.

Он вдруг обернулся.

— Стой. Откладывается на два часа. Будут показаны отрывки из Бориса Годунова. Стереги.

Он обернулся ко мне.

— Не для них, а для тебя. Чтобы показать наше искусство, я объездил всю Россию, везде прогорал, но теперь я поживу сколько угодно. Я их собрал со всей России. Им понравился мой план. Во-первых, мы не бандиты, так как берем только плату за представление, во-вторых, играем, а в-третьих, отвращаем этих дураков от настоящего и лживого театра. Хватит им смотреть всяких бездарностей.

Он повел меня представлять всей труппе. Филиппинский смотрел на меня, и с ним все наши спутники обращались подобострастно, так как надеялись, что я и их спасу. Меня к ним не подпускали, чтобы искусство для них было неожиданно, но они повеселели, так как расстрел несколько отсрочили. В общем, я шел весьма довольный.

Странная это была труппа. Все эти люди любили посвоему искусство: многие из них бросили семью, даже достаток, многие отказались от любви, пойдя за этим странным миражем, и надо многое было перестрадать, чтобы таким странным способом искать зрителя. У нас оказались общие знакомые. Комика у них теперь не было, потому что тот, который был раньше, после первого же убийства сбежал, сказав, что если раньше хоть кто-то смеялся на его шутку, теперь уже ничего у него не выйдет. Они сказали, что самый замечательный спектакль был, когда они поймали возле Самары монахов и те аплодировали. Они не говорили о деньгах, они страстно желали настоящего зрителя. Но сколько я ни присматривался к ним, это были безнадежно бездарные люди. Они и говорили-то как-то с выкриками.

Тут же стояли повозки. Они переезжали под видом цыган. В одной повозке лежал худой и тощий человек. Лобанов-Стрельский остановился и спросил:

— Ну, как?

— Тридцать девять.

— Жар, — сказал Лобанов-Стрельский и вдруг завопил, схватясь за голову: — Позвольте, а кто же мне будет Гришку Отрепьева играть.

— Встанет.

Он пощупал ему голову и сказал:

— Ошикают. Как пить дать ошикают. Он черт знает что наговорит. — Лобанов-Стрельский обернулся ко мне и сказал с важностью: — Мы, как в Художественном театре, играем без суфлера. Суфлер, собственно, у нас есть, но мы его про запас держим. Это Тоськин — пулеметчик. Он сын дьячка. Дьячок у нас был замечательный песенник, да жалко, милиция во время облавы его пристрелила. Придется Тоськину играть, он наизусть знает. Костюм-то ему подходит?

— Мерил как будто.

— С ролью мерил али без роли?

— С ролью, да не важно.

— Провалит. Вот беда навалилась на меня. И черт еще зрителей этих навалило.

Я скромно молчал.

К сторожке объездчика несли костюмы.

Пулеметчика сменили. Он, по-видимому, был очень доволен.

— Не подведешь?— спросил его Лобанов-Стрельский.

Тоськин пробормотал что-то в высшей степени пренебрежительное, и так как тогда выражались больше руганью, то он загнул такую, что Лобанов-Стрельский только поправил свои длинные волосы и ничего не сказал. Ругань странно возбудила у меня какую-то симпатию, и я внимательно смотрел на широкие плечи и широкое лицо Тоськина, где узкие глаза надо было разыскивать, как в бурную ночь дорогу в степи.

Странное было это представление. В костер накидали хвои. Пришли люди в шляпах. Они-то и кидали лапы хвои. Они были в монашеских одеждах, видимо, недавно ограбили монастырь. Их было трудно убедить в необходимости этого, и большинство из них возмущалось. Сообщили о выезде милиции. Лобанов-Стрельский смотрел на меня подозрительно.

— Милиция выехала.

— Сколько ей времени понадобится — сюда доехать?

— Следов много оставили, дождь был. Как бы не нашли по следу. Но поплутают часа два.

— Вот оно, искусство. А еще большевики. Нет, они не любят искусства. И им чужд Пушкин. Только анархия будет матерью порядка.

Я промолчал. Мы уселись. Представление началось с кельи в Чудовом монастыре. Вот приподнялся, сидит

волосатый монах. Это был сам Лобанов-Стрельский. Он сидит и со злостью описывает свою несчастную и жалкую жизнь. Григорий приподнимается и говорит:

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет...

И тут он заплакал. Мы все напряглись. Мы поняли его горе. Ему скучно сидеть в этих кельях, тесных, душных. Толпа вздохнула. Она видала монастыри и жалких тощих людей с горящими глазами. Глаза у Тоськина горели, и ничего не видно было, кроме глаз.

И затем начались скитанья. Уже никто не смотрел на пулемет. И я думаю, что сами актеры забыли про него. Реплики проглатывались, пропускались, и все смотрели напряженно, чем же кончит свою жизнь этот Гришка, жадный к жизни и верующий в нее. Вот он в корчме, и, когда он выпрыгнул и пристава, которые были в мундирах настоящих приставов с серебряными погонами, кинулись за ним, вся толпа вскочила и закричала:

— Так его.

Мне было трудно следить. Лобанов-Стрельский волновался не только потому, что может нагрянуть милиция, но и потому, что он понимал игру Тоськина. Вот сам он играл все. Он брался за все, и, видимо, ничего у него не выходило. Он это понимал. Мне было страшно. Но в то же время отрадно. Он понимал, что такое талант. И ему было ясно, что он прожил жалкую и глупую жизнь, и теперь это понятно всем. Это было ему особенно тяжело. И, когда от него ждали реплик, он сидел и думал. На нем был богатый костюм царя, деньги на который он скопил на свои жалкие гроши. Он с презрением смотрел на него. И паузы делались все длиннее и длиннее. И когда Дмитрий говорит:

Мой бедный конь! как бодро поскакал
Сегодня он в последнее сраженье...

Тоска. Лобанов-Стрельский выскочил из-за брезента и крикнул:

— Представление окончено.

Тоськин еще продолжал. Но Лобанов-Стрельский наклонился к нему и сказал:

— Петухи!

Тоськину не хотелось уходить. И замерла толпа, которой пора бы бежать и спасать себя, потому что бандиты уже начали седлать коней, а кто-то из них бил в котел. Милиция, видимо, приближалась.

Лобанов-Стрельский дал Тоськину самого плохого коня. Они так и вспрыгнули на коней в монашеских одеждах. Выбирали кто-что получше. Гнали за собой обоз. Уже опустела поляна. Мы стояли в крайнем удивлении. Разбросали костер. Лобанов-Стрельский кричал, что петухи едут на костер. Его, видимо, уже не интересовала труппа. Его возгласов никто не слушал. Мальчишке Тоськину хотелось остаться возле нас, но он боялся, видимо, что мы выдадим его. Он поскакал последним. Так как был: в костюме Гришки Отрепьева.

Бандиты скрылись. Теперь и мне надо было подумать о том, чтобы уйти. За разговоры с бандитами мне могло быть всякое. Уже стали говорить, кто бы это мог навести. Я пошел в лес. Филиппинский тоже было пошел. Воз с яйцами оставили. Я предупредил его, спутники могут вообразить, что это мы натравили бандитов. Он быстро сообразил, что разобраться в такое смутное время трудно, и терпеливо пошел за мной. А уже оправившиеся наши спутники кричали:

— Где врач? Где врач-то?

Филиппинский не решился выйти к ним. Мы долго бродили по лесу. Когда вернулись в Омск, то начались более серьезные события.

Все это припомнилось мне, когда я смотрел теперь на Тоськина. Но на его вопрос я ответил, что знаком был с его учителем Лобановым-Стрельским, и спросил, не знает ли он, что с ним сталось.

— Убит матросами на врангелевском фронте. Изображал ложно буржуя. «Мы с такими дураками не воюем», — воскликнули матросы и кинулись бить его. Он побежал и, упав с подмостков, переломил хребет. Смерть была моментальная, так что он не мучился. А меня вы где видали?

— Кажется, в Омске.

— Где-нибудь в другом месте. Я в то время был похищен бандитами.

И он стал мне рассказывать про жизнь бандитов. Рассказ был любопытный, но, кажется, он и сам забыл, где и как пробудилось его дарование. Он рассказывал, как, разочаровавшись в Лобанове-Стрельском, расколо-

лась его труппа. Он потерял авторитет. Он поступил в профессиональную труппу, но и тут ему не повезло. На него донесли. Лобанова-Стрельского судили, но законы были снисходительные, он обещал перековаться и играть для пролетариата лучше, чем для буржуазии. Он не мог сдержать слова, потому что таланта за душой не имел. О себе Тоськин сказал, что стал актером в кружке при милиции, а мне не захотелось напоминать ему тот странный вечер в лесу. Мы расстались, и дружбы между нами не возникло.

[*1937*]

ПЕТЯ-ПЕТЕЛ

Петя был мальчик болезненный, хилый, но упорный до крайности. Когда надо было одолевать уроки, он одолевал их до того, что глазам делалось рябко и, вставая, он пошатывался. Но если, например, из физической географии нужно было выучить «выветривание гор», то, окончив урок, он необычайно явственно видел перед собой столбы выветрившихся пород. Граниты стояли расплывчатыми громадами, напоминая очертаниями своими скопления грибов, а песчаники тянулись колоннами, тощими и высокими, среди которых звонко плутал ветер. Собой Петя был рыж, вихраст, а за резкий, притужливый голос и за то, что он просыпался всегда почти с солнцем, его прозвали Петя-петел, а иногда и просто звали Петя-петушок.

Осень была длинная, сухая. Уже приближался ноябрь, но даже осины и те не убрались на зиму, и листья падали так редко, как будто хотели падать всю зиму. В деревню приехали на шесть дней: Петя, чтобы оправиться после гриппа, а отец, чтобы окончательно продумать фюзеляж конструируемого им самолета. Отец был длинный, тоже рыжеголовый и тоже любил вставать с солнцем. Постукивая острыми носками длинных рыжих ботинок, он говорил поутру:

— Здесь-то мы его, фюзеляж, и обнаружим на природе, Петя-петел ты мой! Защемим, так сказать...

А когда они шли по длинной деревенской улице и встречали корову, то конструктор говорил, указывая на ее морду:

— Фюзеляж-то каков? Вот корпус не лётный! Верно-о!..

Накануне выходного из города приехала мать. Она была актриса, и когда возвращалась из театра, от нее пахло удивительно приятно, каким-то бойким и стреми-

тельным запахом. В старинных пьесах она очень хорошо играла изобретательных и веселых прислужниц, и Петя любил воображать, как забавно, без обиды для всех, она шутит на сцене, как хохочет театр. Впрочем, его редко пускали в театр: считалось, что ему вредно волноваться.

— По твоему горячему умозрению, — говорил отец, — тебе к сцене стремиться рано. Да и не для сцены ты создан, Петя. Конструктором тебе быть, по меньшей мере. А к тому времени человечество так шагнет...

И он показывал длинными руками, как к тому времени, когда Петя будет ученым, шагнет вперед человечество. Было нечто столь широкое в его жесте, что у Пети замирало сердце и загорались глаза.

Вместе с Петиной матерью приехал Василий Егорыч Коростылев. Этот мальчик всего на три года старше Пети, но у него такое серьезное и мрачное лицо, такие черные насупленные брови, такая многозначительность в движениях и голосе, что его иначе и не называли, как Василий Егорыч Коростылев. С собой он всегда носил какие-то препараты, сумки, склянки, из карманов торчали лампы радио, и он все это старался перевести на «язык цифр». Взойдя на пригорок, где развернулась деревня, он посмотрел вниз по склону, откуда начинались рощи, и сказал:

— Здесь могут питаться одним приростом леса сотни автомобилей.

И тотчас же он рассказал Пете, каков собой газогенераторный автомобиль и каковы плашки, которыми он питается. Рощи внизу были в розовой дымке; чуть трепетали осины, а березки были в таких ярких желтых юбочках, словно летнее солнце оставило их на память о себе. Петя вообразил, как питаются — жуют и извергают легкий дымок сотни разноцветных автомобилей, как бегают они по полянам, среди черных куч торфа, которые колхозники возят отсюда для удобрения полей. Петя спросил робко:

— Но ведь и торф тоже сгодится? Для авто?

— О торфе думаем,— ответил Василий Егорыч Коростылев и, нахмурив свои черные брови, перешел к разговорам о Чехословакии. Он был яростным и дальновидным политиком: он считал, что немецкий агрессор полезет теперь через Чехословакию на Балканы и далее...

Изба, которую семья снимала каждое лето и осень, стояла на краю деревни, возле школы. Сразу же за школой начинались рощи, сначала редкие, а потом все гуще и гуще.

В избе опрятно и уютно. Большая белая кошка встретила их ласково, подняв трубой широкий пушистый хвост. Ах, по всему видно, что предстоит веселый и содержательный вечер!..

Но едва зажгли желтую керосиновую лампу, едва побежали по гладким выбеленным стенам красивые и удивительные тени и кошка стала похожей на тигра, как неожиданная обида посетила Петю. Началось с того, что Василий Егорыч Коростылев, положив у ног своих толстый рюкзак и длинный туго набитый мешок, не стал распаковывать их, а мешок этот чрезвычайно заинтересовал Петю. Можно подозревать, что там находится складная лодка. Хотя речка и в восьми километрах, но Василий Егорыч Коростылев, по его выражению, «любит преодолевать расстояния». Василий Егорыч Коростылев смотрел на мешок и рюкзак, лицо у него было встревоженное, задумчивое, и было в нем, как думал Петя, нечто от Чапаева. Поджав губы, он, видимо, распаковывал вещи в воображении, чтобы если уж приступить наяву к распаковке, то чтобы не пропала ни одна минута!

Петя безмерно уважал Василия Егорыча Коростылева. В то же время Петя не хотел и унижаться. Он спросил несколько резко:

— Что же вы предполагаете делать?

— Отстань, мальчик,— басом сказал Василий Егорыч Коростылев, и какая-то грубость послышалась в его голосе.

Тогда Петя подошел к отцу. Отец только что кончил Коростылеву свое сообщение. А сообщение это действительно удивительное!.. Вчера отец, по-прежнему мучаясь над своим фюзеляжем, пошел гулять в рощу. Идет он по роще, и Рыжик, собака, обычная дворовая собачонка, крошечная и остренькая, напоминающая лису, вдруг подняла из осинника выводок тетерок, чуть ли не шесть штук!

Вытянув между колен длинные и крепкие руки, отец задумчиво смотрел на мешок, лежащий у ног Василия Егорыча Коростылева. И вдруг Петя понял, что Василий Егорыч Коростылев привез ружья! Понятно

стало, почему ночью отец ходил на телеграф, и сразу стали понятными очертания мешка. Они сбирались на охоту! И отец и Василий Егорыч Коростылев ждут, когда заснет Петя, чтобы достать ружья и чтобы завтра раным-рано уйти в лес. И стало понятным, почему, подойдя к избе, Василий Егорыч Коростылев достал из своих бесчисленных карманов обрезки колбасы, завернутые в бумагу, и дал их Рыжику и почему эту собачонку впустили в избу...

Петя едко спросил:

— А если это взлетели галки?

Отец, не отводя взора от мешка, сказал:

— Сам ты галка. Поди спи.

И лицо у него стало взволнованное. «Ну, понятно,— думал Петя с обидой,— волнуешься, когда придумываешь наиболее удобный и полезный фюзеляж! А волноваться над какими-то галками, которые неизвестно зачем шляются по осиннику...» И Петя подошел к матери. Мать внимательно посмотрела на его горящее лицо и встревоженно спросила:

— Ты сегодня термометр ставил, Петя-петел?

Пете и это показалось обидным до крайности. Уже четыре дня температура у него была нормальная и он чувствовал себя великолепно! Просто его гнали спать. Однако он сказал, будучи мальчиком гордым и выдержанным:

— Спать хочу!

Мать приняла эти слова за должное. Она проводила его в комнатку через крошечный коридорчик. Здесь он спал вместе с Василием Егорычем Коростылевым, оба на плетеных диванчиках, причем постель Пети была покрыта гордостью его — пуховым одеялом. Но теперь ему было противно ложиться под это пуховое голубое одеяло, и все же он медленно лег. Он поцеловал маму без того особенного и мудреного удовольствия, с которым он целовал ее всегда, и сделал вид, что закрывает глаза. Он слышал, как мать, прикрывая дверь, проговорила:

— Он устал, а вы туда же еще...

Он не дослышал конца фразы. Ему жаль добрую и замечательную маму, которая поняла, что его, Петю, незаслуженно обижают!

Отец и в особенности Василий Егорыч Коростылев никак не могут этого понять! Из той комнаты, где кушали, звуки доносились глухо, но все же среди голосов

можно разобрать, как чавкает затвор ружья, как Василий Егорыч достает припасы, как падают тяжелые медные патроны и как один укатился под стол, как с ним пробовала играть кошка, перекатывая его, и как Василий Егорыч Коростылев отогнал эту кошку.

Великая горечь терзала Петю. «Отец,— думал Петя,— тоже называется — общественный деятель, изобретатель... А разве так общественные деятели поступают?.. разве так надо жить при социализме?» Еще как-то понятно разочарование в приятеле, в Ваське Коростылеве. Он подавал к этому разочарованию все основания! Оно давно копилось в душе Пети. Но отец!.. Отец, который всегда понимал так много и обширно, к которому можно обратиться за решением любой задачи... Отец поддался влиянию Коростылева, тупого и самодовольного химика!..

И вскоре Пете захотелось им отомстить. Долго он думал, что бы такое найти одинаково горькое для них обоих,— и придумал! Сначала он хотел, вставши ранымрано, высыпать из зарядов всю дробь, но затем решил, что на эту операцию у него не хватит времени. Тогда он вспомнил, что Ульяна Максимовна, хозяйка избы, встает еще до рассвета, чтобы гнать свою Чиганку в стадо. Как только поутру раздастся густой голос Чиганки, черной и востророгой коровы, Петя поднимется. Через терраску он выйдет в рощу. Он знает овраг, со дна которого Рыжик поднял выводок. Нужно пройти дубы, подняться к соснам, а там, за поляной, виден этот красноватый овраг. Пересечь овраг раза три-четыре! Тетерки поднимутся и улетят! Пусть-ка после этого ищут в лесу дичь злополучные охотнички...

И он представил себе, как встает. На дворе еще синё. Крупный иней покрывает землю. Глинистая твердая дорожка доводит его до дубового леска. Он идет, обгоняя стадо, и пастух с длинной трубой, сделанной из белой жести, спросит его:

— Куда так рано?

Петя ответит, что за берестой для растопки, или лучше всего сказать, что за грибами. Пастух, молодой парень с одутловатым лицом, очень словоохотлив. Он предложит ему взять вправо, в сосновый лесок, там водятся рыжики, но Петя будет брать все влево, все влево,— и вот перед ним овражек, и вот осинник. Он идет, раздвигая руками мокрые, покрытые инеем ветки.

Вдруг Рыжик, который увязался с ним, остановится. Слышится характерное трепетанье крыльев, и громадный выводок тетерок поднимается по прямой из осинника. И тогда-то Петя скажет: «Так вам и надо! Не обижайте, не презирайте молодежь, она ваша надежда, она надежда всех...»

И как только он мысленно сказал эти слова, так почувствовал, что все его лицо наполнилось слезами и стало таким мокрым, как будто осины всего лесочка опрокинули на него свои мокрые и круглые листья. Ему стало жалко не только самого себя, вынужденного к такому поступку, но и отца, который оторвался от жизни, и Василия Егорыча Коростылева, который так углубился в науку, что уже не понимает простых и честных отношений между людьми, а больше всего почему-то стало жалко свою добрую и ловкую маму, которая не понимает всего ужасного, что происходит в семье... Осиновые листья качались над ним сильней и сильней. Трепыхание тетеревиных крыльев делалось громче и сладостней, и все это закружилось вокруг,— и он заснул...

Когда он проснулся, было отличное солнечное утро. Сияние такое, что невозможно почти открыть глаза. Возле его кровати стоял отец. Рядом с ним Василий Егорыч Коростылев. В руках у них сверкающие ружья. Отец спросил:

— Выспался?

Петя еще не вспомнил обиды. Блеск ружей ослеплял его. Он посмотрел на отца и ответил охотно:

— Выспался.

— Мы тебе не говорили, что на охоту собираемся: чтобы ты, брат, не волновался, а выспался. Идем, Петя-петел!

— Вставай, Петя-петушок, золотой гребешок,— говорит Василий Егорыч Коростылев.

И вот они идут все вместе. И вот перед ними дубовый лесок. Они проходят его. Затем они пересекают осиновую рощу. И вот виден уже и красноватый овражек, весь доверху наполненный трепещущим осинником. Воздух неподвижен и ярок. Крайняя осинка, возле тропы, такая розовая, словно стесняется, зная, что тетерки здесь, а сказать-то она не в состоянии!

Рыжик насторожил острые ушки. Петя весь дрожит. Ему кажется, что если отец и промахнется, то Василий

Егорыч Коростылев, который так уверенно держит ружье, непременно, с удивительной точностью, направит свой заряд туда, куда нужно! И Пете удивительно хорошо. И он не может вспомнить, что думал вчера ночью. Жизнь великолепна и хороша. Великолепен и радостен лес вокруг,— и зачем думать о ночи?..

— Чш... чш...— шепчет отец, приподняв палец и показывая на Рыжика.

И все вокруг замирает в томительном и сладком ожидании.

1939

МРАМОР

Студенты геологи Ваньков и Драницын задумали побродить в Алтайских горах. Маршрут они выбрали громадный и замысловатый, так как помимо своей специальности Ваньков любил обильные воды и нетощих рыб, а Драницын жаждал искать среди гор, в особенности среди горных лугов, луковичные растения. Маршрут маршрутом, но с деньгами туго, или, как говорил Ваньков, «поплавки в сетях, а грузила еще отливают».

Подумав, они пришли в один из отделов строительства метро и сказали, что за умеренную плату они могли бы поискать в Сибири месторождения отличного, пригодного строительству мрамора. С ними разговаривали вежливо, но денег не дали.

После этого студенты поступили внештатными электромонтерами на спешно достраивающуюся Сельскохозяйственную выставку и в беспрерывной и веселой работе заработали по пятьсот рублей, получили по сотне от родителей,— и поехали на Алтай. Но так как разговор о поисках мрамора запомнился им, то незадолго до отъезда они написали в районный центр вблизи села Андроновского на Алтае, откуда предполагали начать поиски и пешеходство, что вот, мол, «в ваш район едут студенты геологи, добровольцы по изысканию мрамора для метро, и не слышал ли районный центр чего-либо о мраморе, потому что, по всем данным, Андроновская долина лежит в разделе, по одну сторону которого кончаются горы изверженных пород, а по другую начинаются неизверженные?..»

Мелькали задымленные и замасленные, мелкие и частые станции; пылью и копотью плыли им в лицо города; отовсюду приходили пассажиры, радостные и торопливые. Равнина, равнина... Но вот наконец утром Ваньков и Драницын увидали горы. Они лежали, как

лежит, отдыхая, человек на боку, опершись локтем и разглядывая возле себя травинки и словно бы что-то считая и отмечая. «Да, не могу хулить такие кристаллы»,— хотел было сказать шутя Ваньков, но из уважения к горам промолчал. Молодые люди стояли у окна, оба одного роста, в полосатых рубашках, и горы казались им близкими и понятными.

Районный центр они проспали и высадились дальше, мало довольные своим поведением, так как пришлось уплатить разницу за билеты. Поезд ушел. Они стояли возле огородика, у станции, положив рюкзаки на землю и разминая большие лыжные ботинки, подкованные железом. Они жалели друг друга: путь дальний, а тут тебе тащить рыболовную сеть, а тебе — банки для луковиц.

Телеграфист шел мимо. Улыбнувшись, он взглянул на них.

— Экспедиция? Или курсанты?

— Извозчика где нам нанять? — улыбаясь в свою очередь, спросили они.— Нам в Андроновское.

— Извозчика? В страду? Да тут вообще извозчиков нету. Из района идет автобус. А вы зачем же здесь высадились?

— Мы за мрамором,— ответили они несколько сконфуженно.

— А-а...— проговорил телеграфист, с уважением разглядывая геологические молотки.— Надо бы вам обратиться в район, а то так-то далеко шагать...

Студенты купили по большому караваю хлеба, проверили количество своих консервов и отправились в село Андроновское, чтобы оттуда, горами, выйти чуть ли не в Горную Шорию. Шли они быстро, но все же потребовалось почти четыре дня до Андроновского.

Вдоль дороги стояли сосны, кое-где высовывая из песка толстые смолистые корни. Изредка дорога пересекала долину или реку, и тогда особенно благовонные и мягкие запахи овевали их. Воздух казался светло-зеленым, а облака над долиной — как цветы.

Они выходили на каменный, скалистый мыс на реке — «лбище», или «бычок», как называют его здесь, — и разжигали костер, чтобы испечь картошку и сварить чай. Берега реки были изрезаны ущельями, и молодые люди под шум и грохот воды говорили о том,

будет ли в данное великое противостояние Марса подтверждена его обитаемость.

В Андроновское пришли к полудню. Ночью выпала крупная роса, и как ни сильно шагали молодые люди, все же они только-только успели согреться, да и поели вчера они мало. Они отыскали школу, чтобы навести справки: учитель-то небось не на страде. Учитель Кущенко, рыжий огромный мужчина, говорил на разные голоса. Он запел ребячьим дискантом, пожимая им руки и радостно заглядывая в глаза:

— Ну, а я думал, вы не доберетесь, товарищи студенты! Самовар у меня чуть не перегорел! Третий день жгу!

— Почему вы нас ждали?

— А как же, как же! Телеграфист вас видал? Видал. Ну, и стукни по аппарату в район. А оттуда мне по телефону: ты, дескать, случайно не обидь студентов. — И он захохотал вдруг неслыханно толстым басом. — Но покушайте, покушайте, а там и в классную.

Студенты покушали — и покушали изрядно, а покушавши, поняли, что дорога была длинная и с непривычки утомительная. «Хорошо будет заснуть в классной», — думали они, идя за учителем. Посреди коридора они увидали плакат. Содержание его несколько изумило и даже встревожило их. «Привет московскому метро и его строителям!» — прочли они.

— Это кого же приветствуют? — спросил Ваньков.

— Приветствуют вообще, а в частности, конечно, и к вам относится, как к добровольцам, — ответил учитель, широко распахивая дверь в классную.

Сердца у студентов забились с отчаянной силой. То, что они оглядывали сейчас, было необыкновенно, удивительно.

Весь пол от классной доски до парт и вся поверхность парт были покрыты белыми, желтыми, синевато-серыми камнями, под поверхностью которых, как под папиросной бумагой раскрашенный рисунок, чувствовались тона и краски необычайные! Камни были разных размеров, но все же не больше кулака, и по следам молотка можно было понять, что отбивали их неопытные ручонки.

— Это кто же, школьники? — спросил Ваньков.

— Они! Добровольно! Может быть, пройдем в старшие классы?

— Пройдем.

День разыгрался. Сияние наполняло большие светлые комнаты и с особенной силой сверкало возле камней, создавая как бы целые озера света вокруг них. Мрамор играл то серым с белым, то по молочному бежали розовые прожилки, то на черном танцевала какая-то дальняя, еле уловимая зелень, то буро-красный был весь покрыт черными крапинками. Драницын взял осколок. «Хорош камень», — подумал он и весь как-то даже продрог от восторга. Учитель уловил его восхищение и сказал:

— Такой сорт у нас любовно «индюшкой» называется! Более подходило бы назвать его фазаном! — Учитель схватил пурпурный камень с белыми гнездами и воскликнул: — А этот прозвали у нас «восходным»! Его бы порекомендовать на купол или на плафон!

— На купол было бы отлично, — глухо подтвердили студенты, и учитель подумал: «Дельные ребята».

— Ну что ж, пора, пожалуй, и на базар идти? Еще небось привезли.

— Чего?

— Ну, и продуктов, а для нас — мрамору. Колхозников — им по пути на базар — я и осведомил. Захватят, кто интересуется. Так на базар?

Но на базар идти не пришлось. Как колхозники ни торопились покончить базарные дела, они все же находили время свернуть и свалить на школьный двор глыбу-другую мрамора. Теперь уже студенты встретили не робкие детские образцы, а громады, которые и поднять-то было трудно двоим.

Лежали глыбы розово-красные с темно-зелеными авгитовыми кристаллами, желтовато-бурые с прекрасным восковым блеском, сквозь дымку которого уже почти явственно можно было увидеть чье-то высеченное лицо.

Седой колхозник Астырев привез широкую черную полосу мрамора с белыми окаменелостями. Поправив зеленые от травы штаны и вспрыгнув в телегу, сильно пахнущую дегтем, старик сказал:

— Знаем, что строим. Знаем и где достать, молодые товарищи.

Глаза у него блестели молодо, как куски этого привезенного им мрамора, а седые брови весело ходили по широкому загорелому лбу.

— Откуда у вас так много его? — спросил Драницын.

— Мрамора? — сказал старик. — А мы мрамор этот пережигаем на известь. Ну, и знаем, где и как. У нас такая долина. Давно хотели почтить Москву. Понадобится, так все горы распластаем!..

Студенты, чтобы собраться с мыслями, сказали, что желают искупаться и немного отдохнуть.

Река разделяла прямой светло-синей чертой всю Андроновскую долину как раз на изверженные и неизверженные породы. Впрочем, на первый взгляд горы одинаковы как с той, так и с другой стороны, и кажется, что одна сторона отражает другую.

По берегу — выгруженные лодки. На дне их блестели рыбья чешуя и тонкие стебли осоки. Подплыло еще несколько запоздавших лодок. Мужчины вынесли корзины с рыбой. Женщины шли с небольшими чемоданами и бидонами. Три рыбака остановились возле студентов. Спросив, как их здоровье и откуда они, не из Москвы ли, рыбаки достали со дна корзин куски белого камня с ярко-малиновыми пятнами, словно на нем раздавили ягоды или рыба оставила сгустки крови.

— Камень у нас красив, да трещеват, — сказал рыбак, тощий, с широкими черными глазами, — вот по ту сторону долины лучше: из того камня хоть кружево делай.

Купанье не освежило студентов. Им то казалось, что они стоят против солнца — ничего не рассмотришь, то будто ожгло их ветрами и светом, и кожа даже, казалось, лупилась, а то просто ныло сердце. Тогда они направились в горы. Но едва они миновали базар, что пел, грохоча и скрипя на все голоса, пронизанный светом и горным ветром, догнал студентов Степша, братишка учителя. Став перед ними на дороге, он сказал:

— В горы, что ли, пошли? Братан увидал, велел сказать: чего здоровье тратить? Надо с мужиками посоветоваться! Они скажут, где какая порода. А мы во-о еще какую нашли!

На ладони его лежала пластинка мрамора толщиною в сантиметр, и, несмотря на эту толщину, студенты могли сквозь эту пластинку увидать на детской ладони еле уловимые линии. Студенты взглянули друг на друга. Куда же, действительно, пойдешь, что же можно

найти лучше, если самые лучшие сорта мрамора пропускают свет на глубину только до четверти сантиметра, а здесь почти на сантиметр?!

Степша полез в карман и вынул еще кусок, белый, похожий на снежный ком, со слабыми желтыми пятнами, казалось, столь мягкий и пушистый, что на нем отпечатались следы пальцев мальчонки.

— Годится? Вот только пионеры боятся: прочен ли?

— Прочен, прочен! — ответили студенты, смеясь и поворачивая к школе. — Да и как тут не быть прочному, раз у нас вся жизнь такая.

— Какая? — спросил мальчонка, не поняв их размышлений.

Студенты только смотрели на него, улыбаясь нежно и радостно. Удивительная жизнь! — хотели они сказать. И, посмотрев друг на друга, они рассмеялись. Мальчонка тоже рассмеялся, не зная причины смеха, но радуясь замечательному, полному и сердечному звуку его. А студенты смеялись над тем, что не придется им, видно, ходить по горам, — только бы выбрать лучшие сорта, да запаковать, да отправить в Москву. Да, пожалуй, еще проверить — много ли этого самого лучшего сорта мрамора в горах. Наверно, много, скалы стоят нетронутые. «Удивительная, волшебная, сильная жизнь! — думали они, быстро идя к школе. — Стоило только узнать, что для московского метро, — и без всякого распоряжения, почти без слов, без митингов, вышли и легли перед ними, искателями, замечательные, редкие камни!» И с восторгом шли студенты по селу, прислушиваясь то к песне, доносившейся издалека, то к шуму и грохоту базара, то к шелесту деревьев, которые колебал горный ветер, то поглядывая на солнце, уже высоко стоявшее в небе, — солнце, огромное, сияющее, широкое солнце действительно удивительной и всегда творчески неожиданной страны нашей.

1939

ПОЕДИНОК

ПОДМОСКОВНАЯ ЛЕГЕНДА

Странная эта картина висит в большом двусветном зале дома Гореловых. Я видел ее, когда огненно-желтый и сердитый закат заполнял своим странно струистым светом комнаты дома. Ликующий, торжественный свет этот создавал в сердце чувство обилия, плодовитости, даже излишности. Вот почему то, что рассказали мне об этой картине, не удивило меня.

Дом Гореловых стоит на холме, высоком и глинистом, спускающемся к пруду. Пруд вялый, коротенький, какого-то сивушного цвета и запаха. По одну сторону холма лежит деревня, по другую расположено ровное, без васильков и ромашек, поле, устало преющее под высоким и жарким солнцем. За домом виден парк. Он очень хорош.

Некогда в доме, у хозяйки его, — вдовы, красавицы и умницы, пять-шесть недель гостил величайший русский поэт, и здесь он написал несколько своих стихотворений, шаловливых, коротеньких, острых, словно писанных осокой... Вот эти стихи-то его и превратили старый дом в музей, остановили, словно заморозили, мебель, бросили на стены акварели и старинные портреты, развесили диаграммы, положили на столы, под толстые и непреложно историчные стекла, письма бабушек и дедушек... поэт недаром был проказник!

В узкой комнате, перед парадным залом, висит портрет офицера в гусарском мундире. Вы видите человека с чистым и ярким лицом, жилистого, с крепкой шеей, с большими глазами, не жгучими и не колючими, а теми глазами цвета египетской яшмы — светло-зеленой в красных брызгах, которые всегда указывают на упорный и настойчивый характер. Да и все — посадка головы, плечи, спелые губы, — все говорило: этот не из

зерноядных. Поглядев на портрет, вы непременно пожелаете узнать: кто это такой? Вам назовут имя Ивана Евграфовича Горелова, и вам покажется, что ответ этот требует разъяснений.

Вы пройдете в зал и невольно остановитесь перед странной картиной. Вы подумаете, что есть какая-то пленительная и грустная связь между картиной и портретом Ивана Евграфовича. Вы угадали.

Идемте в парк, сядем на дерновую скамью на берегу пруда. Вылезут вечерние облака, усталые, видимо уже помыкавшиеся по свету. Пруд будет гореть и сиять, как будто впервые полюбил, а на хворостине пастуха, гонящего колхозное стадо, вы увидите такое сияние, словно он несет часть солнца, да и стадо будто намылено светом. И тогда провожающий вас, любуясь убранством пруда, вдруг скажет:

— Не вы первый удивляетесь странному сюжету картины, тем более что художник, ее написавший, отличался всегда ясностью замысла. А тут что такое? Какой-то песок, камни, мелкий кустарник. На камне, должно быть, сидел воин, потому что возле брошены ножны меча, щит, плащ синий с серебряной каймой. На песке, по направлению к вам, отчетливо видны следы: задник сандалия глубоко ушел в песок, будто воин уперся, перед тем как выпрыгнуть... из картины.

Провожавший посмотрит на вас. Вы молчите. Вы немо ждете, — вечер такой, что для вас нет ничего удивительного в том, что воин ушел из картины... вы хотите только знать — почему? Провожавший поймет ваш стойкий интерес к рассказу. Он будет продолжать:

— И не вы первый находите нечто общее между картиной и портретом Ивана Евграфовича, хотя, казалось бы, что там общего: гусарский офицер и какой-то воин, существовавший полторы тысячи лет до этого гусарского офицера. Общее есть! Это общее... Но прежде — Иван Евграфович любил и был любим. Любила его Иринушка, впоследствии Ирина Матвеевна [1]. К сожалению, портрета Ирины Матвеевны не сохранилось. Говорят, есть акварель в Историческом музее. Бывал я в Москве, акварели не обнаружил. Была она красавица — вечно алчущий Иван Евграфович преклонялся перед нею.

[1] Ошибка автора. Следует читать — Григорьевна. (*Прим. ред.*)

Прапрапрадед мой Иван Евграфович, скажут вам, жил суетно, беспутно. Враки! Таким суетно всесокрушающим изобразили его и на портрете. А изображал его человек, который его не любил, как не любили его и многие прохвосты и взяточники. Иван Евграфович был страстный правдоискатель, и, отчаянно ища правды, он доходил до неистовств, лютых и необыкновенных, вроде того, о котором я буду рассказывать.

Как офицер, он понимал, что правда требует оружия: это не красавица, что сражается мушками, налепленными по лицу. Вот почему был он дуэлянт, — но не «бретер», — и если уж бился, так бился столь внушительно, что лицо противника «вылакировывалось», то есть покрывалось от испуга пóтом, через пять минут после начала поединка... И, как все увлекающиеся люди, он часто путал средства с целью. Карточную игру он считал тоже поединком.

Встретил подлеца, — графа Глобского, — думает: «Момент хороший, надо сразиться и отомстить графу на зеленом поле, потому что для него разорение горше смерти, наплевать ему, если я его убью!» Дело в том, что и Глобский и Иван Евграфович участвовали в одном сражении: при Нови. Суворов за умную храбрость похлопал Ивана Евграфовича по плечу, на Глобского и не взглянул — тот был хоть и храбр, но глупой, бестолковой храбростью. А нужно сказать, что у Глобского имелись в Петербурге, при дворе, друзья, которым он писал. Припомнил Глобский, что говорил Иван Евграфович непочтительные слова о любимце императора Кутайсове... и вместо награды получил Иван Евграфович внезапную отставку и приказание отправиться в свое имение.

Вот при таком-то состоянии и встретился, повторяю, Иван Евграфович, по дороге домой, в одном губернском городе, с графом Глобским, встретился, и мелькнула в нем коварная мысль: «Сражусь». Сразился. И — проиграл! Да и вдобавок так проиграл, что ни зерна не осталось. А проиграть не от беспутства, а от обиды гораздо тяжелее. Смертоносная злость овладела Иваном Евграфовичем. Притом же он не мог теперь исполнить повеление императора Павла: отправиться в свое поместье, поскольку он это поместье проиграл. Как быть? К друзьям приехать — испугаешь, опальный... одна надежда на невесту, на любовь, на Иринушку.

Иринушка звалась его невестой давно. Но, видимо, из-за несовершенства почты Иван Евграфович более полугода не получал от невесты писем. Он объяснял это еще и малым количеством событий ее жизни, а во-вторых, искренностью ее чувств, что мешает, как известно, возможности их выразить. Подколодности ее родителя он и не подозревал, наоборот, родитель ее осуждал неметчину Павла и восхищался вдохновенностью Суворова, так и говоря:

— Он у нас малиновый звон славы россов!

Что такому человеку опальность, в которую ввержен Иван Евграфович? Беспечно посмеиваясь, велел Иван Евграфович слуге своему Трошке укладывать чемоданы и поворачивать в сторону, где жили родители Иринушки.

А беспечно посмеивался-то он напрасно! Григорий Григорьич сын Постников, отец Иринушки, к сожалению, проявил бесстыдную подколодность. Началась эта подколодность издалека. Был в нашем городе богатейший купец Кепинов, как оказалось позже, умалишенный, слабопамятный. Так вот, запутавшись в делах и желая выкрутиться, Григорий Григорьич попал в беду,— да еще помог той беде советчик, некий прохвост Султановский. Как бы то ни было, Григорий Григорьич от имени купца Кепинова составил подложный акт, употребил его для своей выгоды, а Султановский и его приятели Тандырин и Калипаров ложно засвидетельствовали при свершении этого акта правоспособность купца Кепинова, который в это время лежал мертвецки пьяный и блеял по-бараньи. Неправоспособность Кепинова быстро открылась, равно и противозаконный акт, совершенный Григорием Григорьичем на старости лет... Конец! Следствие. Приговор. Канун гибели. От горя и стыда оплешивел Григорий Григорьич, ноги его стали дрожать, а в груди он чувствовал бесцельный гул.

Но вдруг в наружном виде его появилось большое изменение — и к лучшему. И в то же время образ Иринушки побледнел и осунулся. Знакомый офицер из армии Суворова сообщил Григорию Григорьичу о «некоем бесконечно огромном несчастии с Иваном Евграфовичем Гореловым», по всем намекам — опале. Григорий Григорьич, зная, что это только опала, домашним и дочери сказал, что — смерть, и подробно рас-

писал причины дуэли, на которой погиб-де Иван Евграфович, и даже похороны его! Гасил он жизнь Ивана Евграфовича потому, что хотел свою жизнь сделать неугасимой, незакатной, а для того, в частности, выдать красавицу Иринушку за богатейшего и, главное, влиятельнейшего барина нашей губернии Максима Петровича Устинского.

Иринушка, узнав о смерти Ивана Евграфовича, горевала сильно. Но горе при красоте как весенний дождь, — все медведи и все травы из берлоги лезут, — и появился возле Иринушки в алмазной одежде, трепещущий от страсти, Максим Петрович Устинский, голова которого хоть и успела вылыситься, но сердце не теряло надежд.

Превосходно, казалось бы, все идет? Дело о бесправности купца Кепинова внезапно повернулось в другую сторону. Вышло, что сам купец Кепинов ходил и лично являл акты и «никаких злоумышленных изменений, — как признало столичное начальство, — в них не допущено». И дальше то же крупное и спокойное начальство говорило, что «действия лиц, принимавших участие в составлении актов, не заключают в себе признаков подлога, предусмотренных статьями...» и что надо «приговор и все производство по делу купца Кепинова отменить». Его и отменили.

Судебный приговор легче отменить, чем любовь. И офицеришка, женишок этот, Иван Евграфович, исчез, помер, так сказать, и родители довольны, и невеста безмолвствует при виде нового жениха, безлучно улыбаясь... А родители и новый жених просто не догадывались, что Иринушка — упряма и с размышлениями, она если замашет крылышками, так полетит.

Размышления ее начались с грации. Тогда, знаете, во всем должна была существовать грация: и если уж бились на рапирах, так будто балет танцевали. Естественно поэтому, что жениха своего бывшего, Ивана Евграфовича, она видела во сне скачущим, подобно козочке, по виноградникам Италии и даже по Альпам, да вдобавок делающим вот этак своим эспантоном! Приснись ей и новый жених, — в те времена женихи снились обязательно, — и приснись в таком неграциозном виде: он, знаете, идет из бани зимой, шуба внакидку, лицо багрово, и к уху банный лист прилип, а лакей, позади, несет веник. Тьфу!..

И вдруг замечают, что Иринушка зачастила в церковь. А церковь была обычная. Попишка Игнатий был тихий пьяница, службу исполнял без особых дальних звезд и грации и больше все лежал у себя в огороде — зимой в баньке, а летом промежду грядок, «у грудей природы», как он говорил своим заунывно-семинарским голосом. Славилась церковушка началом иконостаса... именно началом. Светозарные руки его делали!

Максим Петрович Устинский при незакатном богатстве своем имел преклонение перед красотой во всех видах, в том числе ценил живопись, которую считал преобразователем человеческой породы. Желая невесту свою приобщить к сему преобразованию, он пригласил в усадьбу к Постниковым знаменитого в те времена, да и поныне, художника. Художник славен был кистью, славен был и резцом, особенно по дереву. Максим Петрович и закажи ему сразу иконостас — резной, золоченый, ласкающий душу и взор, а одновременно с тем картину «Георгий Победоносец накануне поражения дракона».

Георгия Победоносца издавна чтили у Постниковых, как и вообще на Руси, ибо был он покровителем Москвы, существовал,— поражая дракона,— на государственном гербе, а при царе Федоре Иваныче монету с изображением его для ношения на шапке или рукаве выдавали особо храбрым воинам, так что Григорий Григорьич, отец Иринушки, будучи отставным воином, естественно, должен был порадоваться случаю, что будущий зять придумал такую красивую картину, тем более что умерший якобы Иван Евграфович неслышно маячил в сердце старого вояки, как тот самый дракон, который опустошал землю и пожирал девиц и пожелал пожрать девицу — дочь царя, чему воспрепятствовал Георгий, поразив дракона рокочущим мечом своим.

Искусство требует внимания, как кристалл семигранника требует воды, — и не будь этой воды, кристалл не даст преломления света, не даст игры, если не рассыплется вообще. Так случилось и с художником. В этой глуши, в этой жалкой церковушке, для которой он резал иконостас, в этом провинциальном зале с задумчиво дрожащими полами он не видел вечных лампад внимания. Он затосковал! Он все меньше и меньше принимал воды и все больше вина и все больше свали-

вал вину на грустный «сюжет». А что грустного в сюжете картины?

Знатный воин Георгий во времена Диоклетиановы приезжает и останавливается неподалеку от города, который опустошает дракон, так что царь и граждане принуждены отдавать ему на съедение детей своих. Назавтра надо отдать царскую дочь змию! Георгий обещал умертвить змия, а змий осьмиглавый, ловкий, сильный... И хотя воин был очень храбр, но, естественно, задумался. Сидит он на камне в пустыне, перед городом, и думает: «А если не выйдет? А если сила и вера мои слабы? Ведь раньше, когда я не был полным христианином, я дрался одним мечом и мог его в случае нужды перебросить в другую руку. Здесь же рука будет занята крестом!» — и тому подобное в этом роде, когда солдат размышляет перед сражением и ищет слабые места у себя и у противника... Размышления естественные. Что же здесь грустного?

Мне думается, что художник, до известной степени, образ дракона видел в Максиме Петровиче, — отчего и грустил. Я не хочу сказать, что художник полюбил Ирипушку и желал быть до известной степени Георгием Победоносцем, нет, — художнику было за пятьдесят, а в таком возрасте не всякий гонится за романами. Так или по-другому, но Иринушка прочла симпатию в глазах художника и часто стала приходить к нему во время работы. Художник в то время больше думал о картине, — подмастерья его резали иконостас, — и в думах он многое рассказал Иринушке о Георгии, и в частности, о том, как после поражения змия царевна на своем поясе привела его в город и как весь город перешел в христианство.

Выслушав, Иринушка сказала:

— Христианство — понятно. Но зачем ей такую пакость приводить в город? И... ах, как жалко, Николай Владимирович, что перевелись у нас Георгии! — И ей показалось, что Георгий, еще слабым контуром обозначившийся на полотне, несколько схож с Иваном Евграфовичем.

Видят домашние, что Иринушка перестала пламенно интересоваться миром, — другую ищет грацию. Домашние огорчились, торопятся со свадьбой, а тут Иринушка вдруг да объяви, что уходит в монастырь, понеже «дракон мира сего гнетет ее»! Вот тебе и на! Родители

рассердились, отец даже слегка погулял кулаком по ее лицу и бокам, но и это мало помогло. Иринушка уехала в монастырь и поступила на испытание. И вот в эти-го отчаянно грустные минуты, когда экипаж с Иринушкой въезжал в монастырские ворота и монастырские собаки подняли тусклый лай, и когда страстно ожидаемая тишина и благолепие осенили ее, и когда казначейша, рябая баба со шнуровой книгой в руке, почесывая бок, высунула голову в окно и спросила у кучера: «Чьих будете?» — вот тогда-то и прискакал в усадьбу к Постниковым, к отцу ее, к милой невесте опальный офицер Иван Евграфович Горелов.

Прискакал, можно сказать, невинный ни в дожде, ни в засухе, а оказался причастным ко многому. Входит он в зал, где незаконченный Георгий: в лице некая дымка и нос утлый; художник собирает кисти: с отъездом Иринушки совсем опротивели ему эти места, и, не дописав картины, он решил покинуть их, сказав неопределенно, что вернется... входит, кланяется, смотрит искоса вверх, на лестницу, и все ждет выхода Иринушки, хотя за два перегона, еще на постоялом дворе, сказали ему, что боярышня-то в монастырь ушла. Он, конечно, взбесился. Как так? Письма писал любовные, с бесчисленными помарушками и скоблюшками, что доказывает, как известно, матерую страсть, подтверждал любовь и давал сроки, а тут — на тебе! — перед самым приездом и в обитель. Кто виноват? Никто, опричь родителей!

А родители стоят вверху и боятся спуститься по лестнице. Подойдут к ступеньке, а нога-то и не поднимается. Старуха прямо крестится: «Помяни царя Давида и всю кротость его», а старик расправляет грудь. Как сказать парню, что записали его в синодик и называли его усопшим и в дмитриеву субботу, и в фомин вторник, и в великий четверток? Ведь он может и спросить: «Значит, писем не получали? Как же такое, ведь почтмейстер мне говорил, что аккуратно вам письма пересылал?» И помилосердствовать некому будет, окажутся они великими и подлыми скрывателями любви и честности! Плохо, плохо. А как дойти было до такого зломудрствования, что живого человека, хоть и опального, но все же офицера его строгого императорского величества Павла, вписали в поминанье, в синодик? Ах, как нехорошо!

Но был же старик в войске. Понюхал он трижды табачку, чихнул, велел кучеру Егору Крохалю, что не только двухпудовиком крестился, но и бросал его на пять сажен, стать возле парадного и ждать крика. Старик взял под руку старушку, и спустились они вниз. Но разговор неожиданно даже оказался кротким и почти милым! Иван Евграфович своей степенностью, знаниями, походами и знакомствами чрезвычайно понравился старикам, равно как и старики ему. Однако гордость не позволяла им сознаться в своем преступлении, да к тому же и медведь-жених с его тысячью душ не совсем еще отказался от невесты, а, так сказать, лежал подле жизненной межи, в овсах. Нельзя похвастаться, чтобы Иван Евграфович отличался проницательностью. Сидит он, смотрит на стариков и думает, что старики уже не в приводе невода ходят, не ведут его, а сами сидят, подобно пойманным рыбкам, в самой мотне!

Тряхнул он головой и сказал:

— Верю, что убит я и похоронен, потому что чувствую себя ужасно! Но ведь должны мои страдания уменьшиться, раз ваши увеличились. Келья — не Максим Петрович, а все же — келья... — И, впадая в злость, Иван Евграфович спросил: — Кто же ее соблазнил в монастырь?

Родители говорят, что художника кисть роковая, — кстати сказать, художник уже сел в тарантас и уехал. Иван Евграфович видел рябое и малоигривое лицо художника, — не приревнуешь. Он желал видеть кисть его! Ему указали на картину. Картина как картина. Сидит воин, смотрит на тебя в упор, думает о чем-то своем...

— Нет, не в картине тут дело! Вот, говорят, иконостас в церкви расписной, резной, золоченый... может быть, иконостас?

— Всенепременно, всенепременно: иконостас причиной! — восклицают родители, которым бы только его сплавить, ибо, увидав его горящие очи, опять перепугались они и решили сбежать к неудавшемуся зятю Максиму Петровичу посоветоваться: как относиться к опальному офицеру? Есть он лицо неприкосновенное и государственное, или же разрешается его бить двухпудовым кулаком по шее и гнать вон?

И направился Иван Евграфович к попику Игнатию, чтобы с ним вместе пойти в церковь подивоваться на иконостас.

Идет он через парк, прямо по крапиве, и хоть он не дальновидец, все же понимает, что со стариками тут дело неладно, но из благородства и уважения к будущим родственникам своим старается подыскать им оправдание, снять с них некоторую тяжесть обвинения! И все-то он краешком где-то надеется, что зарученная девица будет при нем, и в мысль ему не придет, что родители тем временем, пока он шагает по парку, пишут письмо к... игуменье, чтобы Иринушку ни в коем случае не выпускали вплоть до самого скорейшего пострига... А был уже вечер, вроде теперешнего... очень теплый и хороший!..

Да, вечер был действительно замечательный. Он словно обижался на то, что вы так невнимательно смотрели на него доселе. Облака мощно расправили крылья, будто им было невмочь хранить в себе такую красоту — лиловую, розовую, палевую. Пруд лежал бледный и бессильный, как брошенный летчиком парашют. Берега его были как бы просмоленные. Пахло от них тягуче, тоскливо. Отпускали они эти запахи медленно, с неохотой. И вам подумалось, что, наверное, Ивану Евграфовичу было сильно тяжело и грустно невыносимо, когда он в последнем отчаянии поисков шел в церковь, зная, что тщетно это желание найти истинные причины ухода своей невесты.

Приходит он к попику Игнатию. Попишка, как всегда, спит возле своей баньки в лопухах, мухи спят возле его рта, попадья цедит молоко.... Вот тут и разговорись! Однако Иван Евграфович несколькими бешеными словами пробудил попика. Тот, подавая ему ключи от церкви, сказал, зевая и вежливо закрывая свой рот листом лопуха:

— А ты, сыне, не на иконостас смотри, ты, сыне, воззрись на ту картину, на тот *его* лик, который побоялись поставить в церковь, а водрузили в зале.

Сказал и заснул.

Иван Евграфович — по неумолчной грызне мыслей — не обратил внимания на слова попа и поспешил в церковь.

В церкви было уже темновато. Трошка нес фонарь. Дошли почти до амвона. Должно быть, причт недавно служил — из церкви еще не вышел запах ладана, хотя

сквозь открытые окна, через решетки, сильно несло сеном, стога которого возвышались возле парка. Иван Евграфович велел Трошке осветить иконостас. Дверь была открыта, но ничего, кроме легкого шороха на могилках кладбища, не было слышно. А кладбище большое, хотя деревушка и не славилась величиной, но так уж повелось, что умирали и родились усердно, сколько ни казнили их бояре, голод да мор...

Стоит Иван Евграфович и размышляет, и мысли цепкие и свирепые. Трошка открыл фонарь, переменил свечу, утих и последний шорох, значит, и послезакатный ветерок прекратился. Равномерный свет лился из фонаря на иконостас, еще не позолоченный, а нежно-синеватый, будто весенние тучки.

Трепетно-жгучая рука вела резец. Упоительно нежны линии; пламенны, как долгожданная ласка, растительные орнаменты: виноградные листья, лилии и нарциссы; бурны провалы, где будут стоять образа... коварно сердце художника, далеко способно оно увести! И пожалел Иван Евграфович, что плохо присмотрелся к картине. И тотчас же вспомнил он слова попишки Игнатия. Захотелось ему обратно в зал, да ночь, да небось старики уже легли спать... Э, что тут старики?!

Иван Евграфович повернулся. Трошка за ним. Они вышли на паперть. Тишина безмолвным роем колких и прозрачных мыслей окружила его. Сквозь деревянную ограду видны были кресты кладбища, а за ними возвышались стога, как гигантские могильные холмы. Но не смерть жила у этих холмов, а жизнь! Возле одного стога кто-то довольно, и громко, и сладко посмеивался, — наверное, девка над парнем, и сено шипело, задеваемое то ли плечом, то ли жердью, которой укрепляют сено от ветра. Жизнь нужна Ивану Евграфовичу, жизнь, которую можно взять только борьбой, хотя бы с самим Георгием Победоносцем!..

Трошка по-прежнему с фонарем, где теперь пронзительно и ярко горела свеча, стоял возле Ивана Евграфовича. Полукафтанье со сборками по бокам, даже и оно, казалось, изображало в нем внимание: он-то знал, насколько его барин отчаянный.

— Трошка, — воскликнул Иван Евграфович, — сегодня будем биться!

— А чего ж не биться, — ответил Трошка, — биться — оно хорошо: спать не хочется потом.

— Свети к дому!

Подходят к дому.

— Барин спит?

— Где там спит, — отвечает дворня, — уже час, как уехали.

— Куда уехали?

— А разве нам, холопам, докладывают, куда они уехали; запрягли тройку самых рьяных и уехали.

— Так?

— Так, Иван Евграфович, — ответила дворня почтительно, уважая величавость его.

— Свети в залу! — закричал Иван Евграфович и ринулся в зал.

Подошел он к полотну. При узорном и шатком свете фонаря лицо воина показалось ему довершенным, — и даже сверх того. Какой великий талант у этого рябого и скучного на вид человека! Днем лицо бесстрастно и грубо, а вечером, когда как раз соблазняют девушек, оно благоуханно и сочно. И никакой кротости!

Со всей учтивостью, на которую он был способен, Иван Евграфович приблизился вплотную к картине и проговорил:

— Ваше сиятельство! — Он не мог обратиться с более высоким титулом, потому что артикул не позволял ему вызывать августейшую особу, но с сиятельствами он дрался не раз. — Ваше сиятельство, Георгий! Вы взяли у меня непорочное существо... Вы некоторым образом обольстили его, зная, что вы безнаказанны. Но, поставив вас здесь, а не в церкви, художник придал вам светскость. Поэтому я поступок ваш считаю непозволительным!

Призрак на полотне смотрел на Ивана Евграфовича вдохновенными и вещими глазами и молчал. Иван Евграфович не отличался сложностью и витиеватостью речи, но он верил в ее волчью выразительность.

— Ваше сиятельство, — продолжал он, — вы погибли при Диоклетиановом гонении, промучившись восемь дней. Зачем же вы заставляете мучиться других? Что в этом вы находите прекрасного? Чем виновата дщерь дома сего?

Несмотря на некоторые славянизмы, которыми Иван Евграфович думал тронуть призрак, полотно по-прежнему молчало. И тогда Иван Евграфович заговорил еще более резко:

— Вы, ваше сиятельство, признаны покровителем Москвы. Вы топтали татар, ляхов, литву, вы помогали нашему отечеству. Ради отечества я, ваше сиятельство, уже участвовал в трех сражениях и трижды ранен, последний раз при Нови. Ваше сиятельство! Сквозь огнь ран я вижу нового врага, который — не дай бог... — может приблизиться к защищаемой вами Москве. Я говорю о Наполеоне, ваше сиятельство, с которым я сражался! И меня, защитника Москвы, вы, ваше сиятельство, изволили кровно обидеть: увели в монастырь девушку, невесту. Если вы действительно Егорий Храбрый, то так храбрые люди не поступают! Я недоволен вами, ваше сиятельство, прошу меня простить. Я — грешен, я, может быть, за эти слова буду в аду, но я недоволен вами, ваше сиятельство!

Призрак безмолвствовал. Ивана Евграфовича это начало уже сильно раздражать. Он наклонил лобастую упрямую голову и зарычал. Дело в том, что он хотя и служил в кавалерии, но если приходилось говорить, то речь его пестрила теми терминами, которыми так славятся моряки, понося непокорное море и малопокорные обстоятельства. Пошатываясь от возбуждения, он кричал:

— Да, сударь! Я не позволю тебе так тускло смотреть на меня. Я тебя так оскорблю, что вся твоя кротость слетит, как полива с горшка!

Он достал перчатки и поспешно натянул их на руки, с тем чтобы снять перчатку и ударить противника по лицу, потому что кулаком бить по картине не по-рыцарски.

— К барьеру, сударь, к барьеру! — сказал он, взмахивая перчаткой.

И вдруг Георгий весь покрылся краской, привстал с камня и сказал:

— Впервые такого дурака встречаю. Почему так бранитесь, сударь? От десятка ваших слов я был бы уже у барьера. Где ваши секунданты? И где шпаги?

— Трошка, беги за шпагами! — сказал обрадованный Иван Евграфович.— И зови того лысого чиновника с шишкой под ухом, с которым мы в трактире познакомились. Да и того дворянина, у которого на левой руке мизинца не хватает. Он, по всему видно, человек музыкальный! Скажи, долго морить не буду, помутится вода с песком, поляжет противник вверх дном.

— Увидим, сударь, увидим! Зачем хвастать? — сказал Георгий, с удовольствием расправляя ноги и руки и разглядывая фонарь, который Трошка оставил, убегая за секундантами. — Вообще замечу вам, что вы многословны и любите преувеличивать. Скажите на милость, — я не в оправдание свое говорю, — зачем мне нужна ваша невеста? Монахиня из нее будет плохая, — все о женихе да о женихе, да и к тому же характера она сварливого.

— Кто? Иринушка — сварлива? — в крайнем негодовании воскликнул Иван Евграфович. — Сударь, за это вы мне ответите еще фунтом мяса!..

— Увидим, сударь, увидим.

Георгий Победоносец был невысокого роста, в синем нарядном плаще, стянутом тонким металлическим ремнем. Говорил он несколько простуженным голосом, и, видимо, его терзала чуть ли не невралгическая боль, а может быть, и на камне ему надоело сидеть. Он ходил мелкими шажками по ковру посредственной работы, пересекавшему зал. Ему, видимо, очень хотелось поговорить, но так как перед дуэлью противники должны молчать и даже не глядеть друг на друга, то он ходил молча по одной стороне ковра, а Иван Евграфович, тоже молча, по другой.

Трошка вернулся быстро. Он настолько привык к поединкам, что для него схождение Георгия с картины нисколько не казалось удивительным, и он даже не ссылался на это странное происшествие, когда будил мертвецки пьяного чиновника и дворянина с отрубленным мизинцем. Трошка сообщил, что он кричал ревом, но дворяне спят, и вообще все село спит, и секундантов достать неоткуда! Тогда Иван Евграфович волей-неволей обратился к своему противнику:

— Может быть, вы, ваше сиятельство, сочтете возможным пригласить одного из своих соратников? Я же обойдусь без секунданта.

— Вы, сударь, плохо разбираетесь в обстоятельствах, благодаря которым я имею честь не только беседовать, но и драться с вами, — сказал Победоносец. — Разрешите несколько подробнее остановиться на них. Почему я здесь? Почему я откликнулся на ваши слова? Почему сошел с полотна? Это происходит редко и только тогда, когда великий художник ошибочно отказывается от образа, им почти созданного. Тогда жизнь —

воплощением которой в данный момент явились вы — призывает *и воплощает* нас, художественный образ! Непонимание художника, отказывающегося от своего замысла, и внимание жизни, верящей в осуществление этого замысла, — таков закон, благодаря коему мы, дети полуискусства, полужизни, являемся в мир, дабы помочь людям. Согласный с Аристотелем, философ Теофраст, — не знаю, как вы, а я его, между прочим, ставлю очень высоко, — кроме нравственных добродетелей, признает еще и умственные. Тем естественнее имеющееся в его «Этике» место, что он созерцательную, теоретическую деятельность ставит на более высокую ступень, чем практическую. Или возьмем Фому Аквината. Он видит следующие потенции души: «растительные» (vegetativae)...

Иван Евграфович не силен был в теоретических науках, но сердцем он чувствовал: здесь что-то неладно. Надо сражаться! Умствования призрака действовали на Ивана Евграфовича расслабляюще, да к тому же он явно увиливал: не желал сказать — каким путем, в случае поражения, он намерен возвратить Ивану Евграфовичу невесту.

— Тогда придется делать дуэль без свидетелей, ваше сиятельство,— сказал Иван Евграфович.— Но даю слово, что никогда ни одного дуэльного правила не преступал. И не собираюсь делать то и сейчас.

— Без свидетелей я даже предпочитаю, — сказал Георгий, сбрасывая плащ, — шелк дымчат и голуб, — и плащ этот пал на камень картины, где и застыл мазком живописца!

Трошка зажег огарки, достал бинты и корпию, — он умел слегка лечить, а коней лечил уже совершенно,— и, прислонившись к стене, стал ждать результата. За своего хозяина он не беспокоился, хотя противник, сбросивший плащ и оставшийся в коротенькой серой рубашке, казался очень ловким и сильным. «Ишь вылизанный какой монах-то, — думал Трошка, ковыряя пальцем в ухе, — с таким придется барину помаяться. Ну да мы тебе кишки вынесем!»

Противники разошлись на позиции и встали в те грациозные позы, которые требовались временем. Затем Трошка дал знак, и они понеслись друг на друга. Георгий атаковал Ивана Евграфовича со свирепостью и силой, совсем неожиданной, так что одно время казалось,

что шпага его уже изловила сердце Ивана Евграфовича. Но Иван Евграфович был силен не только в нападении, но и в обороне, исконном искусстве московитов. Обороняясь с толком, не торопясь, он быстро разглядел фехтовальную слабость противника. Георгий, видимо, давно не упражнялся и поэтому стремился взять решительностью и набегом. Он долго сидел на камне, мускулы у него слегка залились жирком, и как только Иван Евграфович стал ловчиться, вызывая в нем побольше движений да притом в разные стороны, то Георгий уже и задыхаться начал, уже и лицо его покрылось потом. Тогда-то Иван Евграфович бросил оборону и перешел в нападение! Через полчаса или несколько более Георгий явно ослабел и оглянулся, ища взором картину.

«Ага! — подумал с некоторым злорадством Иван Евграфович. — Девок отнимать — так вы умеете, а сражаться — так и на картину посматриваете? Удрать? Нет, в картину вам удрать не представится случай!» И Иван Евграфович стал спиной к картине, с тем чтобы отрезать противнику все пути к бегству. Георгий понял его маневр и, даже крикнув от ярости, напал на него. Иван Евграфович доблестно выдержал атаку, все время подставляя глаза Георгия под свет свечей, которые и светили-то теперь как-то особенно чисто. Он то отскакивал в сторону, как бы пропуская Георгия к картине, то делал такие движения, в результате которых противник кричал:

— Есть укол!

А Иван Евграфович отвечал обычной шуткой дуэлянтов:

— Есть укол, да у твоей бабушки!

После одного такого восклицания Георгия, в результате которого Иван Евграфович назвал его «криксой», то есть плаксой, как называют ребенка, который много кричит, Георгий, чувствуя, по-видимому, особенную ярость, подпрыгнув, ринулся на Ивана Евграфовича. И тогда с необычайнейшим наслаждением Иван Евграфович направил шпагу навстречу, как раз против сердца противника, и напружил руку! Щелкнул шелк. Георгий охнул. Но шпага пронзила пустое пространство! Тем не менее, вполне уверенный в своей победе, Иван Евграфович воскликнул:

— Никому, даже самому богу, я не позволю увозить мою невесту!

И тут он услышал необыкновенно широкий и пышный голос, который, несомненно, принадлежал Георгию, но как он отличался от прежнего его голоса: рыхлого и пухлого, как пирог! Пламенный, как лобзания, и гордый, как лоб мудреца, голос этот потряс сердце Ивана Евграфовича, бурей и громом гремел он!

— Иван Евграфов, смертный! Дерзка и безумна твоя доблесть. Но чудная добродетель сделала ее непобедимой. Иван Евграфов, ты прав. Звуки боя, боя за Москву, призывают меня! Слышишь?

Послушал Иван Евграфович: ничего теперь не слышит, да и то, что слышал прежде, кажется ему невероятным. Наклонил он голову, перекрестился: «Свят, свят...» На кого осмелился поднять шпагу? На Георгия Победоносца! Кого осмелился учить и кто признался, что учение правильное?! «Свят, свят!..» Посмотрел Иван Евграфович и видит, что в зале никого нет, что Трошка поправляет свечу в фонаре и, что самое главное, нет воина на полотне, будто и не было никогда...

Иван Евграфович вытер шпагу. Страстное смущение чувствовал он. Что за слово сказал, уходя, Победоносец? Ведь не о невесте были слова, а о Москве? Выходит, что Георгий Победоносец загулялся где-то в стороне, загляделся, а грешный Иван Евграфович направил его на путь верный. Так ли? Имеет ли на это право Иван Евграфович? Или три раны, полученные им, дали ему право? Или триста тридцать три тысячи слез, пролитых после того, как дикой волей императора выброшен он из полка и отправлен в опалу?.. Скромен был Иван Евграфович и от скромности совсем смутился.

Тем не менее, вполне уверенный в своей правоте и в благополучии всего дальнейшего, Иван Евграфович с полным наслаждением вернулся в трактир, нашел на сеновале лысого чиновника и дворянина, того, который имел отрубленный мизинец, растолкал их и сказал: «Дивный был поединок», — на что помещик с отрубленным мизинцем издал вздох, несколько похожий на вздох мохового болота, где, скопившись, столетние газы выйдут через окно и вздохнут так, что вековые деревья всколышутся, подобно былинкам! Чиновник же с шишкой под ухом взвизгнул, как железная кровать, когда

на нее ложится малое дитя. И затем оба они заснули, не спрашивая объяснений, приятнейшим, хотя и вспугнутым сном. Заснул и Иван Евграфович. Во сне он видел цветущие вишни и больших, с воробья, монастырских мух.

Утром, совершенно уверенный в успехе, Иван Евграфович уехал в город, с тем чтобы на последние деньги купить подарки невесте. И точно: он не ошибся в своем предвидении. Дней через пять пришло письмо от родителей Ирины Матвеевны. Они сообщили, что Иринушка возвратилась из монастыря и что нельзя ли поспешить с браком, чтобы прекратить разные там разговоры? Иван Евграфович не обижался и поскакал к будущим своим родственникам. Свадьба состоялась. Пел губернский хор, свадьбу правил сам архиерей, посаженым отцом был Максим Петрович Устинский... Почему такие перемены? А перемены с того, что волею судьбы и шпагой гвардейцев убит был свирепый император Павел, и все колесо фортуны, как всегда беспечно смеющейся, повернулось обратно.

Гремел хор. Дворяне готовили поздравления, а Иван Евграфович глядел на лицо невесты и вспоминал слова Георгия: сварлива, сварлива! Да и точно, сварливой оказалась Иринушка, так что вскоре же после свадьбы сел Иван Евграфович в коляску и ускакал в Петербург, а оттуда в свой полк. Одного ему хотелось вместе со всеми — злодея побить. «И то будет!» — говорил он всем уверенно, впрочем не сильно доказывая свою уверенность, да и кто ждал от Ивана Евграфовича теоретических доказательств? Храбрый вояка, честнейший человек,— сын отечества, и хорошо.

Разумеется, когда открывалась бутылка, Ивану Евграфовичу хотелось поделиться теми удивительными событиями, которые случились в его жизни. А как расскажешь? Дети и те не поверят, что вызвал он на дуэль картину, сражался с фигурой из той картины и та фигура была побеждена и ушла с предсказаниями. Молчал Иван Евграфович. От того молчания при выпивках признали его неудачным собутыльником, и был приглашаем он редко. И когда звенели стаканы и слышались песни, а Иван Евграфович оставался один, он скучал, требовал к себе Трошку и приказывал ему вспоминать, как они бились в зале, в имении, ныне называемом Го-

реловка, и с кем бились. Трошка, по лености ума, путал многие поединки, и потому рассказ его не блистал звездами. Иван Евграфович плевался и говорил:

— Пустой ты, Трошка! Такое нам отверзлось, а ты не чувствуешь на себе влияния.

Трошка молчал. Иван Евграфович приказывал стелить постель, закуривал трубку перед сном, а затем засыпал, и сны ему виделись ослепительные и нежные.

В 1812 году среди множества храброго российского народа Иван Евграфович пал в бою за Смоленск.

Кончилась война. Изгнали врага.

Опираясь на плечо старого слуги Трошки, грустная вдова воина, имея по одну сторону сына, по другую дочь — вылитую Иван Евграфович, — подошла к святому и скромному гробу его, что лежит на одном из смоленских кладбищ. Благочестиво зря сей залог любви к отечеству, предалась она воспоминаниям.

И тут-то услышала она повесть о поединке из уст Трошки. Тихо прослушала ее и затем сказала:

— Поборай по господе, и господь поборет по тебе. Горд был покойник, да простится ему грех этот, и напрасно ты, Трошка, вспомнил сей сон! Забудь его, и вы, дети, забудьте, как забыла его я.

Но дети не забыли, и тонко трепещущая их память понесла по годам легенду о том, как офицер в опале Иван Евграфов сын Горелов сражался с Георгием Победоносцем и победил Георгия, зане был прав, правдолюбив и чтил славу отечества. Всё.

1940

«ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ...»

Я слышал этот рассказ зимней мягкою ночью, так располагающей к воспоминаниям. Правда, обстановка мало соответствовала воспоминаниям: рассказ неожиданно раздался с небольшой клубной сцены на вечере, посвященном творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Но дело в том, что старый актер, рассказавший эту историю, был слегка навеселе, в трамвае, когда он торопился в клуб, его обидели, назвав гнилым грибом, а стихи, которые он читал, ему в этот день приходилось оглашать впервые, и вдобавок перед выходом начальник клуба попросил, кроме стихов, рассказать «что-нибудь прозой, можно и воспоминания», подразумевая, конечно, что актер прочтет воспоминания современников о Лермонтове. Впрочем, актера никто не перебивал, всем казалось, что так и надо, да и рассказ шел удивительно плавно, так что я, человек опытный и всегда отличающий импровизацию от заученного, и то спутался. Позже актер объяснил мне, что он рассказывал эту историю уже несколько раз: в семейном кругу и приятелям... «Едва ли это так», — подумалось мне.

Обстановка была самая обыденная. На сцене возвышались декорации: горы, освещенные розовато-желтым, как предполагалось, вечерним светом. Посредине задника, занимая добрую половину снежной горы, висел портрет добродушного молодого человека в гладкой бурке и в невероятно красном мундире — Михаил Лермонтов. Зал переполнен. Пахнет известкой стен, празднично промытым телом и, конечно, табаком. Вошел пожилой актер, с лицом, каких много. Он сказал задушевно:

— Согласно программе я исполню вам стихотворение Михаила Лермонтова, характеризующее... впрочем, докладчик сказал вам наверное, что оно характеризует.

Я прочту вам «Ангела»... или «По небу полуночи...», потому что, товарищи, ангел определяет мало, а небо полуночи вы представляете себе совершенно ясно. Итак:

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой...

Внезапно актер остановился. На лице его появилось выражение легкой растерянности, он стал шарить по карманам, но шарил таким нарочито актерским жестом, что каждый из нас подумал: «Э, играешь, знаем мы, как это вы забываете», — а между тем актер от усталости и оттого, что ему больше хотелось говорить со зрителем, чем читать, на самом деле забыл стихотворение.

— Кх... Кх... Извините, пожалуйста, я сейчас. Тесно в трамвае, сами знаете, предпраздничная давка, душу потеряешь, а не только какие-то листки. Я жене, Софье Петровне, всегда говорю: «Нарвемся на неприятность к старости лет, а потому клади мне стихи в левый карман, а прозу в правый». А теперь вот и правый и левый — оба пусты! Вытащили! Не мог я забыть, не мог! Я читал со всех эстрад страны Советов, — правда, не этот номер, — но я читал в Забайкалье, среди холода и снегов, Эмиля Верхарна и видел перед собой растроганные, скуластые, обожженные морозом лица. Да! На Кавказе я провозглашал Эдгара По, и когда я восклицал «нувермор!», весь театр вставал как один — и плакал. Урал стонал над стихами Тараса Шевченко, а Средняя Азия смеялась, как ребенок, над Беранже. Покойная Вера Антоновна, моя сестра, аккомпанировавшая мне на рояле и потому бывшая свидетельницей всех моих триумфов, всегда говорила мне: «Береги голос, Филипп, слишком щедро ты читаешь». А что голос, когда я вкладывал в каждое стихотворение — мало того, в каждую строфу — весь пафос своего существования...

А вот теперь забыл. Забыл...

Правда и то, что давно я не читал этого стихотворения, чуть ли не с детства. Да, с детства, отчетливо помню. Отец мой служил мелким чиновником в казначействе, а я учился тогда в городской школе. Зима была, помню, холодная; отец в ту зиму зарабатывал мало, да и мать прихварывала, так что штаны у меня были рванейшие и башмаки тоже, но заштопано все это было тщательно: в школу оборванцем появиться — ни-ни!

Помилуйте, скажут: отец чиновник, а сына так содержит... выпивает, что ли? Конец репутации! И мне строго было внушено: заплат отнюдь не показывать, так что на парте я сидел этаким фертом, вроде винта... учитель чистописания, близорукий человек, и тот удивляется: «Что это ты, Пятержицкий, сидишь вроде египетской статуи: одна половина в анфас, а другая в профиль?»

Да, и вот надлежало мне при высокопочтенном обществе, — попечитель был чуть ли не тайный советник, — прочесть что-либо, потому и тогда уже я беспокоил людей своим зычным голосом и многие желали знать его применение. Выхожу к столу. Приказывают мне прочесть «Ангела», вот это самое «По небу полуночи...».

Я прекрасно знал, дорогие мои, это небо полуночи! Почти каждую полуночь отец возвращался с работы, — он дежурил вне срока, да и переписывал там что-то необычайно чисто, так что и дунуть на бумагу боишься, как бы буквы не разлетелись. А я должен был открыть ему дверь, дабы он звонком не побеспокоил соседей, чай приготовить и разогреть кашу. А днем, да и вечером, моешь полы, стираешь, варишь, — по болезни матери я исполнял все работы в хозяйстве, — и так устанешь, что сидишь за столом у лампы, и лампа кажется то озером, то огненным столбом, то вдруг резанет тебя мечом по глазам — искры! Ждешь не дождешься, когда мама скажет: «Филипп!»: это значит — стучат, иди открывай двери и подавай самовар. Открою. Сени у нас были деревянные, холодные, но все же, как откроешь дверь, таким тебя холодом толкнет, что на сердце тоска неизреченная. Вижу при свете фонаря, что освещает наш двор, усталое лицо отца, и за ним громадное холодное небо полуночи, а на нем звезды. Не любил я звезд и думаю, что кто много и часто видел звезды, тот никогда про них хороших стихов не напишет. Неприятное это зрелище, волки будто какие-то бесчисленные вас окружают, сверкают глазищами, и оттого мне все казалось, будто отец от волков только что убежал...

Итак, вызван я был к столу, который мы, по ненависти к нему, прозвали «крапивой». Велено мне прочесть «Ангела». Я стихотворение это знал превосходно, даже матери читал не однажды, а здесь, как учитель словесности сказал мне: «Читай», — меня точно огнем обрызгало и оборотило в другую сторону. Стою окамене-

лым кремнеземом и молчу. Мечется этот дьявольский ангел вокруг меня, а в памяти совсем другое. В памяти плата за право учения, собранная с таким трудом, ночные дежурства отца, болезнь матери и холод, холод в сенях. На стол я смотреть не могу, повернулся боком к классу и чувствую, что сейчас хлынут слезы, разревусь. А класс меня понимает; вижу: глаза у всех такие же, как у меня, щеки белые, и все дрожат и на учителей смотрят. Тут, сбоку стола налево, поп сидел, толстый, рыжий, властный поп, с серебряным крестом; он на мое молчание смотрел с улыбкой презрительнейшей, а затем отвернулся даже к классу. И вижу: вдруг что-то дрогнуло у него в щеке: он взглянул на учителя, а затем все четверо переглянулись, и учитель внезапно мне говорит: «Иди, превосходно прочел, Пятержицкий». Инспектор, ласковый был старичок, говорит: «Иди садись, Филипп Пятержицкий, читаешь хорошо!» И действительно: на отметку посмотрел — что такое? — «5». Однопартники смотрят: «5». И на лицах их: «Да так и следует, как же иначе».

«Да что такое, думаю, прочел я или не прочел?» Читаю про себя. Все помню, и как читал. Даже нравится. Бегу домой, хочу крикнуть: «Сдал, сдал!» — а вместо этого кричу: «По небу полуночи, папусь, по небу полуночи!» Да, были все-таки и в нашем детстве золотые дни, к чему его хаять, были; хоть и кривые на один глаз, но все же были.

И еще мне вспоминается. Иду я с ней, Софьей Петровной, по берегу Волги, в Ярославле. Я уже состоял в труппе, даже играл какие-то роли, но чаще всего выступал в дивертисментах, и всем чрезвычайно нравилось, как я читаю «У парадного подъезда», а в особенности когда взывал: «Выдь на Волгу: чей стон раздается над великою русской рекой?», — так, не поверите, каждому слушавшему хотелось встать и выйти, чтобы самому посмотреть, та ли это самая Волга, и все ли еще слышится над нею стон народный. Так вот, бредем мы с Софьей Петровной, которую про себя я ласково прозвал Сойкой, — водится такая лесная птичка с хохолком и голубым зеркальцем; у Софьи Петровны тоже был хохолок на лбу и платьице такое голубенькое, чрезвычайно ее украшавшее.

Бредем, сворачиваем от берега на бульвар, где вековечные липы. Липы цветут, и чувствую я, что надо

мне сказать ей. А что скажешь? Встречались мы с нею редко, была она дочь богатого инженера, который где-то там в степях строил какой-то там чудовищный мост и получал за этот мост не менее чудовищные деньги и, того гляди, мог мою Сойку перевезти в самый Петербург. Собой Софья Петровна была строга и во всем обожала точность и честность, а в особенности в вопросах литературы, которая тогда неслыханно властвовала над умами. Знала она ее, как древний начетчик, а не дай вам бог ошибиться и не так ей ответить. Не простит. И поэтому молодые люди старались литературных разговоров с нею не вести.

Идем мы, следовательно, под липами. Я счастлив и без особого основания чувствую себя, как река, которая окраится, то есть когда у ней лед отстанет от берегов и она обозначит себя. Как вдруг ни с того ни с сего Софья Петровна меня спрашивает: «Филипп! Вы любите Лермонтова?»

Вечер был уже, но глаза ее я видел: ласковые и строгие такие. Чувствую, что, ответь я ей по-настоящему, она способна полюбить меня на всю жизнь; да и я под этим взглядом сознаю, что люблю ее страстнейше, до безумия люблю, так что иначе как к смерти в случае отказа и свернуть некуда. Но одновременно с этим чувствую, что сердце у меня закатывается и ломота в нем этакая ровная и опасная; значит, не иначе, что произойдет сейчас что-то необычайно глупое и страшное.

«Да, люблю, — говорю, — и мало того: люблю чрезмерно и многое помню наизусть. Вот слушайте «Боярина Оршу».

А точно, «Боярина Оршу» я затвердил дня три назад, и всем нравилось, как я его читаю, а тут, думаю, бульвар, липы резонируют, голос, думаю, понесется так, что сердца дрогнут и скалы повергнутся. Только открыл я рот и повелительно произнес первую строчку, как она меня бесцеремонно, хотя и нежно, перебивает: «Боже мой, Филипп, какой у вас вдумчивый и умный голос! Я хочу, чтоб вы прочли мне «По небу полуночи...» — «Прекрасно».

И я начинаю:

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц и звезды...

Липы густые, но все же в просвет видно небо над Волгой, и месяц, и звезды, и все прекрасно, и она, возлюбленная, идет неслышными стопами рядом со мной, подняв к звездам прекрасную голову, и внимает... И — я забыл. Да, забыл. Вот убей меня на месте, мне было бы легче, чем знать то, что я забыл эти стихи. Чувствую, что рука ее тяжелеет, взгляд опускается долу; вот она повернулась, слегка оттолкнув меня, и пошла прочь, навсегда. Я понимаю, что уходит мое счастье. Схватил я голову руками, упал на скамейку, и лицо мое и ладони уже в слезах. И чувствую, что еще мгновение, встану, а затем — обрыв. Волга, темная вода, и смерть, конец... Тут вдруг чувствую на голове чью-то руку, и голос, в появление которого поверить невозможно, говорит мне: «Боже мой, Филипп, как удивительно вы прочли «Ангела»!»

Я поднял голову, встал. Глаза ее сияли. Она слышала меня, она меня слышала. Я прочел! Я схватил ее руки и впервые тогда назвал ее Сойкой, и это имя ей понравилось, и она мне сказала: «Зови меня так. Мы с тобой объедем всю Россию, и ты станешь знаменитым». Мы не обманули друг друга. Мы проехали всю страну, и она всегда восхищалась моим голосом, и уже мне пятьдесят пять лет, а она все еще говорит: «Боже мой, Филипп, ваш голос все еще молодеет». И все же, несмотря на всю ее любовь, когда меня мучили сомнения и когда я ее спрашивал: «Соечка, скажи мне по совести: прочел я тебе «По небу полуночи...» или нет?» — и она неизменно лукаво говорила: «Чудесно прочел, Филипп, чудесно!»

И еще последнее вспоминается.

Было это много лет спустя после стола, который мы называли «крапивой», и бульвара с липами, — словом, ездил я в тысяча девятьсот девятнадцатом году по Украине с гастролями, читал. Время, знаете, было такое, что хлеб снимали не косой, а головой, и ходили мы все в сборной одежде. Когда я туда уезжал, супруга моя только что принесла третьего и потому осталась в Калуге, а мне дала такое напутствие: «Хлебца, Филипп, и поросятинки». — «Ой, говорю, Соечка, страшно, выпотрошат меня продотряды, как мерлушку из овцы». А она мне: «Ничего, Филипп. Дубленье упрочивает кожу, а страх — жизнь». Как видите, знание русского языка пошло ей в пользу, слова ее на меня подействовали,

и я поехал, втайне лелея мысль о хлебце, поросятинке и варенье, что было уже, так сказать, от суеты мечтаний.

Не могу похвастать, чтобы успех был огромный, однако же, променяв свой фрак и полосатые штаны, я приобрел несколько фунтов сала, краюх восемь хлеба, пшена и все это уложил в добротный мужицкий мешок. Еду в Калугу. Все вы прекрасно знаете из картин и романов, как было тесно в поездах, но так как я был тогда еще молод и к тому же привык к тесноте, то я был, в общем, доволен. Сижу день, другой, третий, приглядываюсь и вижу, что рядом со мной сидит, по знакам обряда, очень боголюбивый человек, но по настоящему чину — подозрительная личность.

Во-первых, он сел без мешка, что тогда было невозможно и невероятно, а во-вторых, еще заявил, что едет в Сибирь. Пробовали его выспрашивать, как же он туда доберется, а он одно: «Доберусь». И тут, несмотря на толкоту и тесноту, люди стали от этого боголюба отодвигаться и намекать, что хотя и боголюб, мол, но всякие подлецы бывают. А он точно прилип и все смотрит на мой мешок, да нет-нет и скажет: «Дяденька, а ведь у вас мешок-то самый большой в вагоне». Тьфу!

Однажды, к вечеру так, поезд останавливается среди поля. Ну, думаем, надо набирать воду или дрова, но слышим — выстрелы, а тогда почти каждый кулак пулемет заводил. Слышим крики: «Банда, банда!» — и суетня у вагона, как раз у нашего, и суетня, чувствуем, довольно беспомощная, — должно быть, у охраны начальство не оказалось одаренным волшебной силой отваги. Тут мне все окружающие шепчут: «Вы, говорят, человек рослый, голос у вас хвалебный, вы бы посодействовали, а то придется нам нашей мордой перед бандитами вензеля писать». Я бы, может быть, и выскочил на площадку и дальше, но, с одной стороны, мой мешок, дети, Соечка, сестра — мой аккомпаниатор, которой по состоянию здоровья тоже надо питаться; а с другой стороны — сидит и пучит на меня глаза этот подозрительный богомолец, по всей видимости бандитский исследователь. Выйду, — и пропал мой мешок, потому что этот подозрительный его упрет, даже если и бандитов отгоним. А вагон рыдает, просит, молит, а за вагоном уже по звукам можно понять, что охрана подняла вверх полупрозрачные от страха руки, и во рту их,

хоть вентилятор поставь, все равно воздуха нету. Терпя, знаете, и камень треснет. Короче говоря, охватила меня злость, и захотелось высказать кое-что своим, без сомнения, звучным голосом. «Э, думаю, что там мой мешок!» «Бери, поддувало! — говорю я подозрительному. — Бери мою провизию, черт с ней!» Сам на площадку.

Определить в точности, что происходило возле поезда, было трудно. Но бандит шел усердно, тащил пулеметы, гранаты бросал, выстрелов тогда с ихней стороны было много. Охрана стоит, и действительно — без команды, так как всех командиров перебили. Тогда я им с площадки: «Смирно! Слушать команду: по врагам революции — огонь!»

И давай, и давай... Охрана подхватила винтовки; мне в руки обломок какой-то шпалы попался, а тут и граната подвернулась, я ее хотел было швырнуть, но, к счастью, какой-то красноармеец меня за руку: «Вы, говорит, дяденька, в своих метите, а враги уже бегут». Я ему гранату вернул, так как, по совести говоря, обращаться с нею не умел.

Возвращаюсь в вагон. Поезд дает отходный гудок. Поднимаюсь на площадку и вдруг вспоминаю: «Мешок!» И стало мне жалко всего: мешка, и фрака, и полосатых брюк, и семью в Калуге. Вхожу. Смотрю — мешок тут и тип тот тоже тут сидит подле и еще ехидно улыбается. Ну, мне уже его не столь страшно. Я тоже проникся ехидством и спрашиваю: «Что, на следующей станции мрежи думаешь раскинуть? Ископаемые твои ждут?»

Он на меня смотрит, улыбается еще ехиднее и отвечает: «Да, ждут, дяденька». — «Ну, вот, говорю, они дождутся у меня штаба Духонина», — то есть конца, по тогдашней терминологии. А он ничего — пожал узкими плечиками и сидит.

Подходим к станции. Поезд останавливается у семафора. Тишина. Мой спутник смотрит на меня иронически. «Что, говорю, смеешься? Али ваши уже станцию заняли?» — «Да, — говорит он, — заняли».

И действительно, — суматоха опять. Входят люди с винтовками и прямо к нему. Вагон завизжал, а они успокаивают: «Мы продотряд. А, здравствуй, Ваня!»

А Ваня этот самый указывает на меня и говорит:

«Этого — пропустить! Он, говорит, здорово бандитов отчитал. Все «По небу полуночи...» им прокричал. А те подумали, что — черт их знает! — может, какие

новые орудия у них или новая команда. И побежали». — «Врешь, говорю, Ваня. Я им слова команды...» — «Да, вначале слова команды, верно, а там «Ангела». Я тоже в приходском учился и сочинения Лермонтова учил, я этого «Ангела» везде различу. Читал, дяденька, читал, очень отчетливо слышали. Вся команда подтвердит».

Команда кивает головами, а он мне мешок передает и говорит: «А если у вас, дяденька, есть сверх нормы, так везите себе спокойно. Это вам двойная норма за ваше чтение...»

Да, забыл. Читал я им или нет, не помню; скорее всего не читал. Но, с другой стороны, зачем они мне аплодировали тогда, в вагоне?.. Впрочем, все это к делу не имеет отношения. Теперь пришла старость, болтливость, забывчивость. Листья опадают, деревья голеют, талант вечереет, голос удалой не воротится, и уже, видно, никогда мне не вспомнить, товарищи, «По небу полуночи...». Что, товарищ директор? Я прочел хорошо? Мне цветы? Поздравления! И вы слышали, товарищ конферансье? И вы? И вы, товарищи публика?! И эти цветы мне! Простите меня, вы можете выявлять свою волю, но я же не читал! Читал? И хорошо? Удивительно, удивительно...

1940

УЛИЦЫ

Недавно, приблизительно месяц тому назад, довелось мне бродить по симферопольскому базару. Потрудившаяся вдоволь, победная и торжественная осень трубила над ним. Слышался трескучий ход колхозных грузовиков; раздавались голоса грузчиков, опускавших на землю арбузы, дыни, виноград и сливы; кони, щеголяя новыми хомутами и расчесанными гривами, ввозили телеги; а у столов, которых было так же много, как скамеек, торговался и вообще выражал свое мнение наивозможно громко пылкий симферопольский народ. Он толкался, потный, усталый, с полными корзинками, чрезвычайно довольный праздником и пышным базаром, толкался так, что, казалось, не мог найти выхода с этого базара.

И мне было трудно уйти. Я еще не весь наполнился этим шумом, сиянием солнца, этими переливающимися струями зелени; этим говором, который, как круг точильщика натачивает нож, так же натачивал мою душу. Я люблю осень, ее душистые запахи, люблю рои плодов, распиленные деревья, приготовленные для сушки и зимней обработки, наполненные бочки, прикрытые сверху мокрыми досками, стога сена, грузовики, которые везут с дач наш скарб, — и торчок самолета в бледно-голубом небе.

Но надо было спешить, так как самолет отлетал в двенадцать дня и уже нервный диспетчер скликал на соседней улице своих пассажиров, приглашая их в автобус. Я купил яблок, положил их в карман и, весьма довольный тем, что уношу с собой хотя бы отдаленную и маловесомую часть этого пленительного базара, сел в автобус. Обгоняя симферопольцев, спешивших на какой-то матч, автобус вырвался на широкое шоссе, тряска на котором становилась тем ощутительней, чем оно

становилось глаже, — и вот уже перед нами аэродром, длинная серебристая груша самолета, флаги и ровное, как ток, поле. Самолет гудел так положительно и важно, что ноги сами по себе торопились к нему.

Самолет поднялся. Я непринужденно откинулся в кресле, словно невесть как сильно наторел в полетах, и обратил внимание, что лица моих соседей изображали приблизительно то же, что хотело изобразить мое лицо. А направо от меня, у окна, сидели друг против друга два молодых человека, лица которых особенно ярко пылали удовольствием. Один из них был, по-видимому, русский, другой, надо полагать, узбек. Они явно дружили и, как видно, давно. Они шутили, толкались, прятали, играя, вещи, пищу с непринужденностью людей, отлично понимающих, что они никогда не обидят друг друга... Смотреть на них было приятно. Заметив мой взгляд, молодой человек постарше спросил:

— Вы меня узнаете?

— Молодость узнать нетрудно, — ответил я.

— Неужели вы меня не узнаете? — настаивал молодой человек. — А я помню, что вы ходили в длинной заячьей шапке и у вас был козий полушубок.

— Просто у меня тогда не было другой фотографии, и я напечатал первую попавшуюся, — сказал я.

— А Литейный? Петербург? Тысяча девятьсот двадцатый год и номер девятнадцатый на Литейном, не помните?

Я точно жил тогда на Литейном, и даже в двух домах, но ни номера их, ни мальчика, сколько-нибудь напоминающего этого молодого человека, не помнил.

— Тогда, быть может, вы вспомните, как ходили с салазками на книжный склад и вас сопровождали мальчонки? И был среди них, скажем, Сережа.

Тут словно ветер повалил забор прошлого, и я, как через тропинку, перешагнул через двадцать лет и увидал Петроград тысяча девятьсот двадцатого года! Передо мною встали улицы с деревенскими сугробами, среди которых, как изваяние, иногда вставал рыжий трамвай и долго стоял, прислушиваясь к безмолвию улицы. Люди с лицами, источенными блокадой и голодом, понурив голову, волоча салазки, шли мимо меня. Сам я недавно приехал из Сибири, ехал неделю стоя, — и ничего, доехал без особых повреждений естества. Прошло несколько дней, — и я уже тоже волочу салазки. Жил я в семье

рабочего Н. Мы таскали слежавшиеся, слепленные дождями книги с брошенных складов и топили ими печи. Изредка мы ходили на Мойку и на Фонтанку, где на баржах жили добрые матросы, прекрасно понимавшие, что такое холод и голод. «Мы» — это было несколько мальчишек и я, писатель еще без рукописей. Среди этих мальчишек был и тот молодой человек, который сидел теперь вправо от меня, в самолете, стремительно, с быстротой трехсот километров в час, несущемся к Москве.

«Кто он теперь? — думал я. — Куда он вышел? Может быть, он конструктор и, кто знает, летит на самолете, им же сконструированном, и негодует на недостатки, которые он тогда, прежде, не учел? Или, быть может, он архитектор и ему приятно видеть города, над которыми мы пролетаем? Не один и не два дома, наверное, выстроены им в этих городах! То перед нами встанет Запорожье с бесчисленными трубами, дымы которых походят на повода, за которые некогда держали предки запорожцы своих коней; то наклонится, маня извивами своих улиц, Харьков, то еще какой-то город рассыплется перед нами. Ему, привыкшему к фасадам домов, наверное, приятно видеть макеты, которые стелются теперь перед ним, и он, улыбаясь, пытается узнать: который же его? Или?.. Ведь, кажется, отец его был токарь, и, наверное, сын его пошел на тот же завод, к знакомым отца, и сам стал токарем, а затем мастером, начальником цеха. Или?»

Вот я помню холодный-холодный январский день в Петрограде, тогда, давно. По улице шел буран, низом; сверху не снежило, и ветер был сухой, морозный, снег несся пылью, со свистом по земле. Худощавый ребенок стоит рядом со мной на углу Литейного и Пантелеймоновской. Мимо нас идут рабочие в шинелях, но без винтовок. Они возвращаются с войны, к себе обратно, на завод. Какие у них лица — обожженные всеми солнцами и всеми ветрами страны, — и какие резкие голоса, привыкшие к команде! — голоса новых властителей мира. На некоторых из них надеты лапти и крашенинные деревенские штаны, — но как шагают эти ноги! Да, отныне образ жизни будет другой, — говорит каждый их шаг.

Худощавый ребенок, стоящий рядом со мной, вглядывается в эти лица. Я понимаю его. Нам обоим

холодно, но мы ждем. Мы ждем его отца. Ребенок не хочет верить, что его отец не вернется. Толпа уже давно прошла, но он все еще всматривается вдоль напорошенных грядок снега и все спрашивает:

— Идут, дяденька?

Мальчик вырос, и мальчик не забыл, конечно, этой холодной улицы времен гражданской войны; этих окон магазинов, наскоро забитых досками; этих покоробившихся и полусорванных вывесок с фамилиями людей, которые давно уже живут где-нибудь в Аргентине, Японии, Формозе или подают кушанья в парижском кафе; этих рытвин на перекрестках, в которых можно завязнуть по пояс, и этих подвалов, где постоянно колышется темная, таинственная вода. Как он мог бы забыть это? И молодой человек начал преобразовывать улицу. Сначала он починял тротуары, затем занялся мостовой, — и не он ли ковшом черпал асфальт и с наслаждением лил его в приготовленное ложе? Сейчас громадные машины расстилают перед нами гладкую улицу с такой же легкостью, как бумагу, а тогда — помните? Мы стояли толпой возле вонючего чана с асфальтом и завидовали тем беспризорным, которые могут спать в нем. А после этого юноша проводил рельсы по улицам, таким глухим, куда и бродячая собака стыдилась затащить кость, а наловчившись, юноша ушел под землю, чтобы там провести рельсы, дабы миллионы людей могли по этим рельсам ехать к университету, к институту, к знанию — к правде!

И как горело сердце этого человека, когда он в дни Октября выходил со своими товарищами на улицы и, держа знамя, шел по улицам, минуя одну за другой. Как их много, и как много он поработал! Он переименовал много улиц — и это не просто одну жестянку заменить другой, с иным наименованием. Переименованные улицы — это значит и переделанные, Тверская, например, не просто переменила свое название, она переоделась вся: от асфальта до домов. Она переделана в улицу Горького так же, как сам Максим Горький переделывал сознание людей, возвышал их сердца, окрылял их ум, выводил на площадь всечеловеческой мысли, вел к тому имени, которое «звучит гордо».

Да, так! Юноша не мог поступить иначе.

И еще вспоминается мне, как мы стоим, тоже все на том же перекрестке, и перед нами идут демонстрации. Не помню, был ли это Октябрь, или какое иное торжество, но было это глубокой осенью, и очень много питерского народа вышло на улицы. Знамен тогда было немного, и они не изобиловали надписями, — просто длинные красные полотнища веяли над густой толпой, и толпа шла мерным, военным шагом, готовая, казалось, каждую минуту сесть в эшелон и ехать на фронт сражаться. Песни пели больше те, которые относились к 1905 году, о грядущей победе, а о том, что победа совершена, еще не пели. Иногда только, как запевала, звучал стих частушки. Однако и в торжественных темпах песен пятого года, которые пела улица, можно было понять желания и уверенность народа: Октябрь с нами, время есть, и песни будут!

Худощавый мальчик всматривается в лица. Он ждет.

— Ты чего ждешь, Сережа? — спрашиваю я.

— Армию, — отвечает, берет меня за руку и тащит по Пантелеймоновской к Марсову полю. Он еще надеется увидеть полки, шинели, блеск винтовок, орудия, особо гремящие на мостах. Он хочет услышать трубы тех битв, на зов которых ушел его отец — и не вернулся.

Мальчик ушел в армию. Он не мог поступить иначе! Мне вспоминается, словно бы я встретил его в Москве. Это было несколько лет назад. С кинооператорами я ехал рано утром на автомобиле. Мы ехали от Киевского вокзала по Арбату, вплоть до Красной площади. Я видел, как запружались, сгущались улицы, как все теснее и теснее сдвигались люди, машины, орудия, кони, так что с крайним удивлением смотрел я на то, как пробирается наш автомобиль вперед. А особенно удивительны были лица! Люди стояли. Движение к Красной площади еще не началось, но переулки, нам встречные, отмечали движение страстей на лицах, как метроном отмечает секунды, и чем ближе к площади, тем прекрасней, вдохновенней и красивей делались эти лица, эти сияющие отвагой и гордостью глаза... И вдруг мне послышалось, что будто кто-то окликнул меня. Я увидал

молодого худощавого, стройного человека. Да, теперь я с уверенностью могу сказать, что это был Сережа! Он стоял перед своей ротой, молодой, перетянутый ремнями, — и не только рота, весь полк гордился им. Было что-то лихое и в то же время мудрое во всех движениях этого молодого человека, так что хотелось спрыгнуть и, схватив его за руки, торопливо спросить: «Дорогой мой, как вы этого добились?» Конечно, он бы не ответил, да если б и ответил, его ответ не удовлетворил бы вас.

Надо разговаривать долго или же плыть, вот как сейчас, в гуще этого самолета, когда в узкое окно кабины по зернышку падает дождь из тучи, которую самолет прорезает в течение одной минуты, и капли дождя такие длинные и так долго ползут по стеклу, словно им хочется доказать, что их много и от них не убежишь, — плыть, мчаться в самолете и думать, что нельзя и не успеешь при такой короткой встрече рассказать всю жизнь друг другу, но по редким намекам многое можно понять и почувствовать. Иной намек стоит целой симфонии! Да разве нельзя написать симфонию о нашей встрече, — будь кто-нибудь из нас поэтом? К тому же и самолет наш прыгает по тучам, как нотный значок... Симфония улиц Октября, симфония труда и побед!!

Я смотрел в лицо худощавого молодого человека и думал: «Где и в каком советском самолете встретимся мы опять, через двадцать лет, Сережа? Над какими мы полетим странами, какие увидим города, о каких улицах и каких Октябрях мы будем вспоминать, о каких ваших победах и каких симфониях?»

Самолет накренился. Мы увидали Химки, воды канала, и под ногами у нас беззвучно развернулись новые широкие московские улицы.

Я спросил молодого человека:

— Но чем же вы занимались эти годы, Сережа?

— Всем, — ответил он, улыбаясь. — И военным делом тоже.

— А сейчас?

— А сейчас, — ответил он, — я музыкант. Кажется, я надоел вам всю дорогу, напевая разное из своего? Не кажется ли вам, что с самолета начинается симфония, когда, гудя, поднимается он над аэродромом и не-

сется затем над городами, город за городом!.. Входят и выходят люди... возникают улицы, встречи, дома... быстро, из города в город разносятся замыслы, изобретения, — и над всем этим одна песнь победы, песнь победившего народа, она прорезает шелест знамен, звяканье прикладов, топот толпы, идущей по улице, она прорезает каждое сердце!.. Впрочем, разве расскажешь симфонию!

1940

К СВОИМ

Получив приказ, майор собрал уцелевших бойцов и сказал:

— Выход из окружения осуществить небольшими группами. В пять-шесть человек.

Он помолчал, как бы давая возможность вдуматься в грозное величие слов приказа, а затем добавил:

— Задача наша будет состоять из четырех пунктов: а) дойти до цели, в район Воробьевска, б) в дороге наводить панику на врага, в) собирать все сведения о противнике, г) беречься шпионов, а тем более не привести их с собой.

Переходы осуществлять ночью. Все. До свиданья, товарищи.

К вечеру остатки соединения, потопив орудия и разбив машины, покинули место боя.

Случилось так, что последней группой уходили те пять человек, которых должен был вести политрук Григорий Матвеевич Мирских. Группа уходила последней потому, что боец-ополченец Мирон Подпасков никак не мог уложить в котомку свое имущество. Уму было непостижимо, откуда только оно появлялось. Валенки лежали в ящике с пулеметными дисками, шапка в свертке с плакатами, полушубок среди медикаментов,— и вдобавок оказалось, что, хотя зимнего обмундирования не выдавали, Подпасков уже имел его. Наконец он нашел где-то пустой рюкзак, сложил в него зимние вещи, — но и то все не влезло. Он принес второй рюкзак и навьючил его на своего приятеля Семена Отдужа, хилого, длинного, с голубыми терпеливыми и мечтательными глазами, безмолвно говорящими о постоянной нужде и постоянной вере в то, что нужда эта

минует, — и минует по воле односельчанина его, вот этого самого Подпаскова.

— Не тяжело будет нести? — спросил Мирских.

— Зачем тяжело. Ведь это мое, — ответил Подпасков.

Лицо его, широкое, угловатое, покрытое грязным потом (такое лицо народ бесхитростно называет мордой), его переваливающаяся быстрая и хитрая походка, его моргающие глазки, подергивание плечами, словно над ним постоянно моросит дождь и холодная вода льется за воротник, ненужное множество морщин на лице и одежде — все это и при других, менее сложных обстоятельствах могло вызвать раздражение.

Раздражение и бушевало в сердце третьего бойца их группы Гната Нередки. Это был плотный, широкий и крепкий парень лет двадцати пяти с плавными движениями, глядя на которые редкий не скажет: «Какой ловкий солдат». Он действительно был ловок, смышлен, любил исполнять приказания, и ему даже кое-чем нравилась война, пыл сражений, переходы, — и как раз по нему были размеры винтовки, а с автоматом он казался еще приглядпее. К тому времени, когда майор произнес последние слова приказа, Гнат Нередка был уже готов к переходу. И вот с ранцем за плечами, с автоматом в руках, с фляжкой воды и аварийным запасом продовольствия он стоял рядом с политруком и чрезвычайно неодобрительно смотрел, как Подпасков суетится со своими вещами. Но раз политрук ничего не говорил Подпаскову, то молчал и Нередка. А он многое мог бы сказать. Он лишь доставал большой чистый и голубой платок, сморкался в него, свертывая его вшестеро, и, спросив разрешения у политрука, закуривал трубочку.

Политрук Мирских, поверх головы Подпаскова и Нередки, смотрел на место сражения, на эти сгоревшие танки, на эти разбитые снарядами орудия, взорванные блиндажи, грузовики, упавшие в канавы, и на множество немецких и русских трупов, прикрывших собою хлебные поля. Немцы прекратили огонь. Должно быть, они догадывались о маневре русских и теперь перебрасывали войска на фланги, чтобы отрезать дивизии пути отступления. Солнце, ясное и осеннее, приближалось к закату. Немало людей на этом поле видело его последний раз, и, пожалуй, последний

раз видел такое поле и Мирских. Он не часто думал о смерти, но теперь-то, пожалуй, она была близка более, чем когда-либо. Дожди, холодные осенние ночи, длинные переходы, кажется, возобновили его болезнь. Ночью, а в особенности под утро, его сильно знобило, а днем мучила испарина и головная боль. Врачу он не желал показаться и потому, что не любил лечиться, и потому, что считал, что есть множество людей более больных, чем он, более нуждающихся во врачебной помощи. Товарищам, которые, глядя на его неестественно алые щеки, посылали его к доктору, он говорил шутливо: «Койки для меня достаточно длинной не найдется». Он действительно был очень высокого роста, но высота его производила благородное впечатление, напоминая собою самую высокую клятву и самый чистый источник одновременно.

Поле битвы казалось ему необычайно красивым и могущественным. Сколько поэтов будущего побывает на нем. Сколько песен будет создано о том, как одна русская дивизия держала это поле в своих руках, в продолжение трех дней сопротивляясь пяти гитлеровским. Сколько слез прольют люди над фильмами, изображающими это сражение. И разве не вспомнят они о том, как после сражения, перед тем как покинуть его, нехитростный русский портной Лубченков, по прозванию Сосулька, маленький, сутуленький, похожий на ковшик, сидел на пенечке и наигрывал что-то на губной гармошке. Ротный баян разбили снарядом вместе с передвижной библиотекой, и он услаждал себя, подыскивая мотив на этой весьма не обильной звуками деревянной, обитой белой жестью игрушке.

— Что вы играете, Лубченков? — спросил политрук.

Лубченков не отвечал, словно спрашивали не его.

— Что вы играете, Сосулька? — спросил его политрук.

— «По Волге-матушке зимой», — ответил тонким голоском Сосулька. — А что, не похоже?

И он засмеялся.

— Если, скажем, сравнить душу человека с пальто, так от этих минометов, товарищ политрук, не только верх отпадет, но и подкладка. Песня — это подкладка. Катит себе война на огненной колеснице и подкашивает тебе и душу и песню. Так, что ли, сопелочка? — спросил он, дуя в гармошку.

И тотчас же он ответил сам себе песней. Песня получилась. Волга, широкая, зимняя, стлалась перед слушателями. Звенел колокольчик. Ямщик натянул вожжи. Возлюбленная ждала его у окна...

Даже Подпасков почувствовал, что вещи его собраны, и стоял, опираясь на лопату и думая о доме, о детях, о матери, ради которых он четыре года уже работал в городе каменщиком, чтобы получить городскую сноровку, ученье и вернуться в село и быть по крайней мере председателем колхоза. Когда Сосулька окончил песню, Подпасков сказал, указывая на поле:

— Сколько его, хлеба-то, потоптано, а, смотри, не покорено: колос-то выбивается.

Политрук уже привык к иносказательному языку, которым иногда говорили и Подпасков, и Отдуж, и Сосулька. Сейчас он их понял так, что можно двигаться вперед, все готовы. Он отдал приказание. Они пошли.

Перед войной Мирских служил директором музея. Он ценил и уважал свое дело, а главное, обладал природным и тонким вкусом. В подвалах районного музея краеведения, среди хлама, он обнаружил картину, которой, по его мнению, коснулась чья-то бессмертная рука. Ученые столицы признали ее работою Даниэля де Вольтерры. Дальнейшие изыскания подтвердили, что картина была написана по рисунку Микеланджело кем-либо из его последователей или учеников.

И сейчас, выйдя через овраг на луг, за которым стоял осенний лес, глядя на клены и дубы, Мирских вспомнил копию картины, что висит у него в третьем зале музея. Несомненно, что чья-то великая кисть коснулась ее так же, как великая кисть осени преобразила лес, что вчера еще был зеленым и однообразным. Словно Даная, во всем совершенстве телесного цвета, лежит этот лес на темной постели. Над изголовьем его висит пурпуровый полог. Выше, над самой красавицей, нежное белое облако, из которого, кажется, сыплются золотые монеты. Да, осень, поздняя, злая... Старуху служанку напоминают кустарники, — сгорбленная ветром, сидит она у ног Данаи и ловит монеты в свой передник.

Гнат Нередка по-своему понял внимательный взгляд политрука, устремленный на лес. Он сказал, подражая тому военному языку, которым обычно говорил майор:

— Вопрос придется поставить так, товарищ политрук, что большинство бойцов, попавших в лес, будет окапываться в глубине такового.

— Думаете, гитлеровцы будут его прочесывать?

— Обязательно, товарищ политрук, — у них тактика такова. Постольку и предлагаю засесть в кустарниках, на опушке, поскольку ночь еще не настала и пути нам нет.

— Поближе к болоту?

— Так точно. Немец будет искать нас на сухом месте, товарищ политрук. На болоте он боится простуды.

Они срезали две кочки, свалили их вбок и стали под ними копать ямы. Торфяная почва, черная с желтыми прожилками, была легка и удобна в копке, но только приблизительно на глубине метра показалась вода, — выходило, что в ямке придется сидеть скорчившись. Землю сбрасывали в болото. Нередка и Подпасков, как и следовало ожидать, оказались искусными землекопами. Но и Сосулька, этот кое-как, без разбора и изящества, сооруженный человечек бурого цвета, которого даже кожаная куртка и штаны не делали величественным, обращался с лопатой так, что казалось, она для него не тяжелее иглы. Он с почтением проводил Мирских к яме, накрыл кочкой и, смеясь, спросил:

— В плечах не жмет?

Нередка и Мирских, как наиболее рослые, сели в одну ямку, а трое остальных, помельче ростом, в другую. Перед тем как садиться, они съели коробку консервов «зеленый горошек», по ломтю хлеба толщиной с ладонь, — дневную порцию, — запили все это зеленой, с нефтяными пятнами болотной водой и решили заснуть часа на два. Сосулька, который никогда не верил, что противник будет стрелять, но и никогда не удивлявшийся стрельбе, сказал:

— Какая там проческа, гребенок нету.

И тотчас же после его слов над деревьями пронесся грохот, посыпались сучья, задрожала земля, словно покоробившись, и все они почувствовали в груди короткое и удушливое стеснение, совсем не похожее на то, которое они чувствовали на поле боя. Там множество людей уже одним тем, что они были вместе, от-

гоняли это позорное и подлое чувство покорности. Здесь же они были одни, и им казалось, что это на них одних валятся стволы, падает земля, неустанно летят раскаленные и острые куски железа, что это их разрывает воздушная волна.

Мирских всем своим телом ощущал, как он дрожит, — и он не мог сдержать этой дрожи. Но тело, которое сидело скорчившись рядом с ним, — тело ловкого солдата Нередки — дрожало еще сильней. Когда на мгновение огонь прекратился, Мирских, с трудом соединяя губы, проговорил:

— В чем дело, Нередка?

Обычный этот вопрос был как раз тем самым, в котором нуждался Гнат Нередка. Если б Мирских попробовал, как всегда, объяснить то, что происходит, — Нередка по-прежнему дрожал бы и, может быть, дошел до того состояния ужаса, в котором портится самый лучший солдат. А сейчас, стряхнув с себя куски земли, он пришел в себя и ответил обычным, лихим, слегка сиплым голосом:

— Минометами прекратили проческу, сейчас автоматами начнут, товарищ политрук. Прикажете наблюдать?

— Наблюдайте!

Тут они оба вспомнили, что в кочке сделана щелка. В нее видна часть проселочной дороги, холм, на который от болота поднимаются деревья, и, подальше, полянка. По всем расчетам, немцы должны были выйти со стороны полянки. Повернув вправо голову и чуть привстав, так что голова его упиралась в корни трав, торчащие из перевернутой кочки, Мирских мог увидеть через плечо Нередки часть полянки и кривой дуб на ней. Он поправил автомат, упирающийся в коленку, и положил под себя диск.

— Разрешите автомат, товарищ политрук!

— Зачем?

— Приказано навести панику.

— Панику будем наводить в темноте, а сейчас еще светло.

— Темнеет, товарищ политрук!

Мирских не ответил. В лесу послышался треск автоматов, и Нередка сказал:

— Все так же идут.

— Как «так же»?

— А так, что в три ряда прочесывают. Первым рядом он косит верхушки, вторым берет в свой рост, продольно, а третьим рядом нас топчет.

— Что?! Не понимаю.

— Третьим землю обстреливает, лунки, такие вроде как наши, ищет. Вот мне бы автомат, я б им показал кротовью мою жизнь.

— Сидите спокойно, Нередка.

— Слушаю, товарищ политрук.

Он припал к щели и, не оборачиваясь, шепотом, хотя за треском выстрелов его все равно не было б слышно, кричи он хоть во весь голос, рассказывал о том, что он видел в лесу. Мирских плотно прильнул к его плечу. Сумерки еще не сгустились, а им из темной ямы видны были отчетливо не только стволы деревьев, но и мелькавшие среди них люди. Вначале пробежала группа красноармейцев, спрятавшихся в лесу. Человек десять — пятнадцать скрылись в овражке и столько же осталось лежать на дороге. «Раненые, — прошептал Нередка, — ой, боюсь, добивать будут их, товарищ политрук». Мирских и сам опасался этого, но мысль, высказанная Гнатом, как-то совсем спутала и отяжелила его. Ему то казалось, что раненые стонут, то чудилось, что они встали и скрылись в поле, то ему казалось, что убежавшие красноармейцы вернулись и унесли их. Но вот он увидел, что на поляну вышли мерным шагом немцы, сверкнули огоньки, выскакивающие из стволов, и даже разобрал слова команды: он знал немецкий язык. «Пройдут влево», — подумал он. И, словно отвечая на его мысль, Гнат сказал:

— Где влево, прямо на них идут.

Точно, немцы шли к раненым. Автоматы замолчали, и сразу же Мирских услышал отчаянный, хриплый и длинный крик:

— Товарищи, родные!

Гитлеровцев было девять. Один из них, опустив с живота автомат, достал револьвер. Раненый, привстав на локтях, повторил свой призыв. Немец выстрелил в него. Раненый упал недвижно. Немец обернулся и сказал что-то другому, шедшему во второй шеренге, но Мирских не понял, что сказал немец. Пристреливший раненого почесал револьвером шею и пошел к следующему раненому.

— Искалеченных бьют... — пробормотал Нередка.

— Искалеченных, — повторил Мирских и громко крикнул: — А вы, что же, не видите, — уже темнота?!

И он, словно с раскату, выскочил из ямки, встал во весь рост и закричал исступленно:

— Тысячи фашистов за это уничтожу! Тысячи таких!

И когда он, весь дрожа от ненависти, стрелял по бегущим фашистам, ему действительно казалось, что он уничтожает тысячи. Выпустив целый диск, он взял нож и бросился вдогонку за убегавшими. Но тут в груди его нестерпимо закололо, он закашлялся, сел на землю и закрыл руками глаза. Когда Нередка, Подпасков и Сосулька вернулись, Мирских сидел на кочке и пил воду. Голове было мучительно больно, в ушах стоял звон, и вода не помогала.

— Вот как разыгрался, будто ракета, — сказал, смеясь, Сосулька, — пятерых вы сняли, товарищ политрук, а остальных мы распугали.

— Где раненые?

— А мы их перевязали и в деревню направили.

— Какие дальнейшие приказания? — спросил Нередка, видя, что политрук молча смотрит на них и ничего не говорит.

— Пошли, — сказал политрук, вставая. — И, кроме того, надо беречь патроны.

— Беда вроде непогоды, — говорил, ухмыляясь, Сосулька после каждого «прочесывания», направленного против них, — раз уж ты начал считаться с природой, сиди и жди.

Рассуждения его были, видимо, чем-то убедительны и смешны для всех, кроме Мирских. Он не понимал Сосульки. Не понимал, почему тот так охотно кривляется, не хочет признавать своей фамилии, а откликается только на прозвище, обидное для всякого иного, а для него, совершенно ясно, очень лестное. Однажды Мирских спросил его:

— Почему вы пошли добровольцем, Сосулька?

— А какая же война без добровольцев? Добровольцы всегда песельники. Они обчество любят, товарищ политрук! Случись в моей области партизаны, я бы туда ушел. Вы как о партизанах рассуждаете, товарищ политрук?!

Мирских, привыкший обобщать, ответил:

— Партизанить стало теперь труднее, чем когда бы то ни было. В прежнее время партизан прятался в лес, как в крепость, а теперь леса прочесываются вдоль и поперек.

— Стало быть, я не гожусь для партизанского дела?

— Надо полагать, годитесь, проверим. Вот патроны вы не бережете, а это не по-партизански!..

— Да они сами стреляют, товарищ политрук. Как увидят фашиста, так и не могут усидеть. Пуля — она женщина нервная. Прикажите отдохнуть, ноги вроде стерлись. Переобуюсь и анекдот расскажу про солдата и попадью.

Анекдотов он знал много и рассказывал их охотно, но, к сожалению, повторялся, — и это раздражало Мирских. Впрочем, его сейчас многое раздражало, и раздражение это терзало его, потому что он не мог сдержать себя, сознавая, что сдерживать себя надо. Он ворчал на Сосульку, обрывал его анекдоты, а когда тот заявлял, что он устал и ему надо или отдохнуть, или переобуться, Мирских начинал длинное рассуждение о том, как должен держать себя боец Красной Армии. Он понимал, что рассуждения его плоски и в них нет обычного огня, свойственного ему, но чем глубже понимал он это, тем длиннее делались рассуждения. Кроме того, ему казалось, что Сосулька не так-то уж устает и остановки придумывает для того, чтобы отдохнул именно он — политрук, да и анекдоты, пожалуй, рассказывает, чтобы товарищи не грустили.

Поэтому Мирских во время остановки не садился, а стоял на ногах; стараясь дышать так же ровно, как и его спутники, он только прислонялся слегка к дереву. И так он стоял, задумчивый, высокий, стройный, всегда готовый к поединку, а его товарищи казались секундантами при нем. И в конце концов они завидовали приятной и нежной завистью силе его духа и выносливости.

А в общем, получалось так, что шли они день ото дня все медленнее и медленнее, а в особенности медленно приходилось двигаться по лесу. Дело в том, что после каждого «прочесывания» гитлеровцы оставляли в лесу «кукушек» — снайперов, снабженных десятидневным запасом продовольствия и патронов, искусно замаскированных на верхушках деревьев. Эти снайперы, в большинстве своем члены фашистской партии, должны были уничтожать всех, кто проходил по лесу. При сле-

дующем прочесывании снайперы менялись. Из-за этого Мирских проводил своих бойцов по лесу всегда между тремя и пятью часами утра, когда снайперы на деревьях, утомленные бессонной ночью, засыпали. Шли босиком, на цыпочках, стараясь не шуметь и не разговаривать; сообщались друг с другом птичьим свистом, хрустом веточек, слабым хлопаньем в ладоши.

А как только приближалось утро, они прятались в ямки. Ямки они научились рыть чрезвычайно быстро и так умело их скрывали, что не раз слышали над своей головой шаги немецких солдат, а однажды и в ямку провалилась нога немецкого солдата. Солдат выругался, вытащил ногу, присел возле норы, вытряхнул землю из сапога и пошел дальше. Когда шаги замерли, Сосулька сказал:

— Так мне его дернуть за сапог в ямку захотелось, ребята, просто сердце чуть не лопнуло. Ведь сапог-то дегтем пахнет. Должно быть, с колхозника какого содрал. В ямку бы мне его, да сапогом по глазам, по глазам, по харе...

Другой раз они долго сидели в болоте, зарывшись головами в корни деревьев, свисавших с крутого берега. Гитлеровцы только что прочесали лес. Было часов семь вечера, ночь еще не наступила. Можно было б идти, кабы не «кукушки». Пятеро потихоньку вылезли из воды, выжали одежду, вернее отрепья одежды, выменённые у крестьян,— и присели на мох, все под прикрытием того же, свисающего высокого берега. Перекликнулись две-три «кукушки». Они жадно вслушивались, стараясь угадать, где же они и можно ли их снять. Все затихло в лесу.

Сосулька прошептал:

— Григорий Матвеич, не хочешь побороться для согревания?

Мирских знобило, голова болела, но он согласился. Повозившись слегка с Сосулькой, он быстро запыхался и, выбрав местечко, как ему казалось, потеплее, прилег среди корней. Корни резали тело, как колючая проволока, рот наполняла вязкая горечь, в глазах кололо.

И вдруг, сквозь эту боль, он услышал обрывок хорошей советской песни. Чей-то молодой, сильно срывающийся и, надо полагать, сильно взволнованный голос пел ее. «Только бреда не хватало...» — подумал с большим неудовольствием Мирских. Но он знал, что

бред бывает короткими кусками, а здесь мелодия все расширялась, крепла и делалась сложнее. Он привстал на локте. Сосулька сказал ему шепотом:

— Поют. Патефон, что ли, Григорий Матвеич?

— Поют, — мечтательно сказал Отдуж, — ловко поют. В патефоне куда хуже получается.

Они встали и поползли вверх, цепляясь за корни. Здесь они высунули головы и изумленно стали прислушиваться.

Лес ожил. Слышались шаги, голоса, кто-то бесстрашно лез на деревья, раза три-четыре выстрелили из револьвера, над лесом пронесся испуганный вопль «кукушки». Еще час тому назад казалось, что и воробью не уцелеть в этом лесу, так умело был прострелян каждый кустик и каждая былинка, а сейчас лес был полон советскими людьми, партизанами; полон до того очевидно, что «кукушки» в ужасе соскакивали с деревьев и бежали куда глаза глядят.

— Не-е!.. — сказал восторженно Отдуж. — Не-е, нашего человека не прострелишь!

Да, лес ожил. И ожил он, как всегда оживает творчество, — с песней. Песня царила над лесом. Песня! Пусть фашисты, вооруженные автоматами и минометами, находились в трех—пяти километрах, все равно, — песня царила над лесом. Конечно, это не была та беззаботная песня, которую мы слышали до войны, — это была другая песня, хотя она пелась на тот же мотив и на те же слова. Эта песня была тяжелая и грозная, как скрижаль, как закон. В этой песне слышался скрежет ненависти, клятва, что если не хватит оружия, — соскрести врага ногтями с нашей земли. Это было навечно скрепленное согласие на борьбу. Да, это была песня, та песня родины, которую нельзя ни победить, ни уничтожить.

Пятеро стояли, затаив дыхание. Песня скрутила их души, как скручивают листок бумажки для зажигания костра. Огонь бежал по их жилам. Они дрожали от радости и восторга.

У Мирских и Отдужа катились из глаз слезы. Мирских плакал потому, что, хотя он никогда не сомневался в конечной победе Коммунистической партии, сейчас он увидел одну из осуществляемых ею побед. Та партия, к которой он принадлежит сейчас и за идеи которой он в ранней юности сидел в тюрьме и был в ссылке, эта

партия стояла рядом с ним и пела, когда он уже настолько физически устал и ослаб, что не может петь. И она будет петь вечно! Пусть даже среди партизан, поющих в этом лесу, нет ни одного партийца, все равно следы их ведут к его партии. Вот почему плакал Мирских, в то время как крестьянин Семен Отдуж плакал потому, что понимал — люди с такой песней не отдадут колхозной земли помещику и после этой войны будут жить еще более справедливо, чем жили до нее. Иначе какая ж ценность людям и их мечтам. Сладостная слава победы уже осияла взлохмаченную, в земле и прелых листьях голову Отдужа.

А Сосулька, тот подыгрывал партизанам на гармошке, плотно прижимая ее к сухим и голодным своим губам.

Гнат же Нередка, одобряя мотив песни и ее воинское содержание, думал в то же время — с какой военной целью раздается эта песня.

Мирон Подпасков, как всегда, ворчал, переваливался с ноги на ногу и ежил плечи, словно над ним моросил дождь. Он тоже был растроган, но растроган по-своему. Ему почему-то пришло в голову, что он стал слабеть умом. Рябой и длинноухий каменщик Герасим Петрович три месяца назад занял у него, в пивнушке, четыре рубля и до сих пор не отдал. Ну, не отдал, так отдаст, черт с ним, а самое обидное то, что вспомнил об этом Мирон только сейчас. «Нехорошо, не по-дружески, — мелькнуло у него в голове, — долг надо отдавать. А вдруг он в этом партизанском отряде, Герасим Петрович-то?» Да, хорошо бы встретиться, взять табачку, покурить и сказать: «Прах с ним, с долгом-то, ради долгов живем, что ли?» И растроганные партизаны дадут пищи — каши, щей, кусок сала, потому что партизаны, как он видел однажды в кинематографе, очень сердобольные люди...

Но партизаны оказались совсем не сердобольными людьми.

Когда их, пятерых, привели перед очи начальника, он принял их как дезертиров. Особенно подозрительным ему казался почему-то Мирских... Партизанский начальник сидел на пне, ноги его были обернуты одеялом, на голове торчала шапка с ушами. Фонарь «летучая мышь» освещал его короткие руки и бритое молодое лицо с кислым каким-то выражением. Он долго рассматривал документы, фотографии и долго сверял —

подходит ли длинный рост Мирских к тому человеку, который изображен на фото, а фотография была из тех, узнать по которой человека, даже стоящего рядом с ней, можно лишь при богатом воображении. Мирских был обижен и отвечал резко, холодно. Начальник отряда, как оказалось впоследствии, районный агент уголовного розыска, задал несколько неожиданных вопросов, среди них были такие, которые указывали, что он был вполне политически грамотный человек.

Должно быть, ответы Мирских удивили начальника, потому что подобные проявленные им знания даже для себя он считал редкими. Допросив всех, он снял одеяло с ног, — ноги у него оказались забинтованными, — велел подать носилки. Его положили в носилки, он сделал под козырек, и отряд его двинулся дальше, ведя с собой двух «кукушек», которые от страха перед внезапно появившимися в таком изобилии партизанами слезли с деревьев и сдались в плен.

— Товарищ начальник, — спросил Подпасков, — а насчет нас как же?

— А чего насчет вас?

— Распоряжения никакого не будет?

— Ну, идите, куда идете, — сказал начальник.

Они и пошли.

Все молчали. Только Сосулька пытался что-то подсвистать уходящей песне, да и то у него не получалось. Пройдя минут пятьдесят, Нередка сплюнул и сказал:

— Добрый солдат. Надо думать, выдвинется, в соответствии с тем...

Но тут их догнал верхом на коне пожилой партизан и предложил им вернуться к отряду.

— Я ж говорил, покормят, — воскликнул Сосулька. — Не могут не покормить люди, которые поют.

Начальник опять сидел на пне, и ноги его, как и раньше, были обернуты одеялом. Лицо его было попрежнему непроницаемо, и по-прежнему равнодушием веяло от тона его вопросов. «Ну и человечина!» — подумал с неудовольствием Мирских. Начальник же голосом допрашивающего обратился к нему:

— Языки иностранные знаете?

«Вот зачем мы ему понадобились», — подумал Мирских и ответил:

— Знаю.

— И немецкий?

— И немецкий, — любезно ответил Мирских.

— Читаете? — тоже любезно сказал начальник.

— Да, — еще более любезно ответил Мирских.

— И пишете? — совсем уже любезнейше спросил начальник и даже улыбнулся.

— И пишу, — ответил Мирских. — У вас папироски нету?

— Как не быть, — ответил начальник и дал всем пятерым по папироске. Затем, указывая на немецкого солдата в короткой меховой куртке и коротких сапогах, сказал: — «Кукушку» надо спешно допросить.

После допроса начальник совсем подобрел. Он выдал еще по папироске и приказал отделить от скудных партизанских запасов на всех пятерых два килограмма хлеба и двести граммов масла. Хлеба им выдали действительно два кило, но масла не оказалось.

— Значит, кончилось, — сказал начальник, задумчиво глядя на Мирских. — А масло у нас было, не подумайте. Вот переводчика у нас нету, это, верно, плохо. Прошлый раз захватили мы караул. У них телефонный аппарат — связь с городом: можно все узнать, будь у меня язык. Я беру трубку, слышу — немец там дышит, а я ему — ни слова. Такая злость взяла, что и выругаться не смог. Нет, неважно у нас было поставлено дело в угрозыске, — иностранного языка не изучали.

И он задумчиво посмотрел на Мирских. Лицо Нередки, бывшего до того одобряющим и почти восторженным, приняло вдруг сосредоточенное выражение. Он опасался, что начальник предложит Мирских остаться. Как же это? Ведь распоряжения майора не было. Он быстро составил в голове сводку всех мыслей своих и нашел такую фразу, которая сразу дала бы понять начальнику, что он и Мирских в некоторой степени соседи по приказу.

— Велено идти на восток, товарищ начальник, — сказал Нередка громко, прикладывая руку к шапке. — Счастливо оставаться, прикажете?

Начальник понял его. Он улыбнулся и сказал про Нередку, указывая на него глазами Мирских:

— Высший сорт! С таким бойцом дойдете счастливо. Пока!

Километров десять спустя, в поле уже, Мирских сказал, вспоминая начальника отряда:

— Мужественный человек.

— Такой из соломинки дворец выстроит, — сказал Отдуж.

— Шутник, — добавил Сосулька.

И даже Подпасков сказал, хотя ему и хотелось бы оставить эту мысль при себе:

— Такой и в моем колхозе бы пригодился.

А еще километров через пять, когда остановились, чтобы Мирских мог передохнуть, Нередка сказал:

— Добрый солдат. Правда, он нам патронов не дал, так мы на его месте тоже бы не дали.

Препятствие во всяком походе — голод.

Последствия его и стремительны и гнетущи. Крестьяне, к которым они стучались, чтобы утолить голод, понимали их по стуку. С какой-то военной торжественностью они говорили, что хлеба нет, что весь хлеб поотнимали гитлеровцы: «Не верите, проверьте». А один крестьянин сказал, чем и привел в восторг Сосульку:

— Немец сказал: можете торговать оптом и в розницу. А можем мы торговать разве что смертью, да никто и за грош ее не берет. — И, словно прислушиваясь к чему-то, приближения чего они не слышали, он добавил: — Вон она топочет.

И они отошли от хаты, думая: вот последний, полученный ими от партизан хлеб дал им возможность дойти сюда, а кто даст им теперь хлеба?

Из села они спустились в какой-то парк. Они вдыхали запах душистых тополей, и им казалось странным, что село, которое они только что покинули, не пахло ничем. И хотя аллея была суха, но идти было тяжело и топко, словно здесь неделю шли дожди.

Они томились. Они сильно хотели есть. Их утешало несколько, что, когда они нападали на фашистов согласно пункту «б» приказа майора, те тоже были голодны, — галеты, найденные при них, были тонки, как бумага, и, пожалуй, столь же питательны. Мир стал убог, жалок и скуден. Над головами их высилась голубая осенняя пустота, похожая на погребальный убор. У, плохо!..

Первым стал жаловаться на голод Подпасков. Жаловался он своеобразно. Он вспоминал подробно, какую жирную убоину он заготовлял перед праздником. Однажды он кормил двух поросят, и случилось так, что

задолго перед рождеством у младшего отнялись ноги и его пришлось прирезать. Нарядили стол, призвали гостей, и, не поверите, поросенок ушел в один вечер. И никому, главное, не было жалко пищи... Тут он, моргая опухшими глазками, показывая исцарапанную в кровь грудь, воскликнул, обращаясь к Мирских:

— Где пища? Куда вы нас привели?

Голод, недосыпание, усталость совсем ослабили Мирских, но, однако же, он не потерял дара речи, а, казалось, стал еще речистее. По-прежнему, когда он говорил, он казался выкованным из того железа, которое было горячо. Слова его входили в человека, как револьвер в кобуру. Он никогда не коверкал слов. Он был чист, как ключ, и в то же время был ключом времени. Он сказал:

— Другой дороги не было. Может быть, вы это поймете позже, Подпасков.

— Я хочу понять сейчас.

— Тогда я хочу попросить вас выслушать меня. То, что вы видите вокруг себя, — пожарища, убийства, насилия, — дает вам понятие о том, что мы поступали справедливо. У нас один кров с вами — наша сила. Другого крова и другой родины у нас нет. Упустишь силу, отдашь ее врагу, — и не будет крова. Тут уж ничего не поделаешь, раз оказалось, что наши дома стоят у дороги войны.

Сам не замечая того, он говорил замысловато, так, как любили говорить и Подпасков, и Сосулька, и Отдуж. И эта замысловатость, и высокий его голос, сильный и гулкий, несмотря на усталость, делали слова его понятными им.

— Надо исполнять приказ, а не хныкать, — сказал Нередка.

— А если он мне непонятен? — воскликнул Подпасков.

— Чего ж непонятного? — отозвался Нередка. — В приказе всего четыре пункта.

— Да нету главного.

— Какого?

— А где тут пункт, где меня накормят?

Нередка достал свой голубой, сильно полинявший от стирки носовой платок, который он обычно стирал каждый день и сушил на кустике. Свертывая платок, он сказал:

— То, что хлеба нет, то нас не сказнит. А что вот патронов стало мало, то нас сказнит и утрамбует.

И Подпасков смолк, сраженный силой этого довода. Когда они просили хлеба, они редко слышали: «Убирайся к черту!», но, когда они спрашивали у крестьян патроны, часто раздавался этот возглас. Крестьяне так же, как и они, держали при себе последний патрон, и вовсе не для того, чтобы убить себя, — нет. Патрон был совершенно необходим для храбрости. Его берегли больше, чем ломоть хлеба, — даже и тогда, когда человек не ел три дня и предполагает этим ломтем поддержать свои оставшиеся силы.

И чем дальше они шли, тем больше встречалось им людей с одним патроном.

От убитых или бежавших немцев доставались им патроны и винтовки. Но они их не брали с собой, не столько из презрения к оружию врага, а главным образом потому, что согласно приказу они должны были принести свое оружие. Это оружие как бы уменьшало расстояние между ними и тем, далеким еще районом Воробьевска, расположенным на востоке, куда через болота, леса, вытоптанные и сожженные нивы, через опустевшие села, мимо озлобленных и мстительных врагов шли они.

Несколько патронов оставалось еще у Гната Нередки, но больше всего, несомненно, хранилось их у Подпаскова. Две котомки на нем да две на Отдуже весьма ему пригодились. Подпасков, как только уразумел, что патроны дороже хлеба и способны поднимать угасающий дух, стал менять и выпрашивать их у крестьян с удивительным уменьем. Он сразу угадывал хату, где могли найтись патроны, и умел разжалобить рассказом о своих несчастьях крестьянина, который, вздохнув и утирая слезы, доставал из-под полы две-три обоймы.

Меньше всех имел патронов Сосулька, всегда не больше тройки. «Зато о тройке сколько песен поется», — говорил он, смеясь. Подпаскова сердил этот легкомысленный смех. Ему казалось, что Мирских должен «произвести» «увещевание Сосульки», но Мирских слабел все больше, так что половину дня, меняясь, они несли его на носилках. И странное явление, — всякий раз, когда Мирских открывал глаза, он останавливал свой взор на Подпаскове. Да и Подпасков смотрел на него пристально, так что Мирских думал: «Картину эту надо

расчистить, можно новую увертюру услышать в его душе...» Он путал понятия, но мысль его была правильна, он не хотел, чтобы Подпасков оставался таким, каким он его встретил. И все время мысль эта то ширилась, то уменьшалась, то проясняясь и осмысливаясь будто под микроскопом, то ускользая, словно поглощенная ночью.

Но постепенное воздействие личности Мирских на Подпаскова уже начало сказываться. Подпасков стал заботиться о своих товарищах, политруку удалось воспитать в нем сознание, что без этого жить нельзя, сам Мирских так был переполнен этой верой, что сумел пробудить ее в других.

Однажды, когда стали меняться и ему надо было взяться за поручни, чтобы нести Мирских, Подпасков достал семь обойм, которые хранились у него, и положил их на горячую, пышущую жаром руку Мирских.

Мирских почувствовал на ладони холод и открыл глаза. Неподвижный взгляд его спрашивал у Подпаскова: «А как же ты, товарищ? Ты же отдал мне последние!» И на этот неподвижный взгляд таким же теплым, неподвижным взглядом отвечал Подпасков: «Ничего, товарищ, я ловкий, я найду!» Мирских сказал, закрывая глаза: «Спасибо, друг!» И тут Подпаскову показалось, что он давно уже копил в себе те мысли, которые теперь увлекли его сердце и увлажнили глаза, — вот он накопил их в себе так много, что он способен теперь думать о товарищах, чем он раньше занимался не с такой уж охотой, будучи способным позаботиться разве что о близких родных.

Утром, когда они залегли в чащу, Подпасков исчез.

Он не возвращался долго, так что Гнат Нередка обеспокоился. Он, пожалуй, один из всех не понимал того перелома, который произошел в душе Подпаскова, но в то же время он один мог не поверить, что Подпасков пропал.

— Хороший боец, — сказал он, — такие навсегда не пропадают. Разве что плохие инструкции получил.

Но никто не давал Подпаскову инструкций. Мирских лежал без памяти, остальные и не видели толком Подпаскова. Нередка подошел к Мирских. Мирских дышал поспешно, точно поднимающийся быстро в гору неумелый пешеход. Нередка смотрел на него, и ему казалось, что Мирских получает увольнительное свиде-

тельство от жизни и теперь отмахивается от него пальцами. И еще казалось ему, что кто-то в отдалении скачет, хотя он и понимал, что всадников поблизости нет.

Гнат Нередка сказал с тоской:

— Большая неувязка. Кто же нами руководить теперь будет?

Тогда Мирских открыл глаза и произнес последнюю речь, самую короткую в его жизни.

— Подпасков принесет вам патроны... — сказал он и сделал пальцами такое движение, словно развязывал узел. Вздохнул и умер.

Трое неподвижно и пристально вглядывались в него, словно узнав о нем что-то необычайно важное и огромное, что нельзя покинуть. Они стояли, объятые этим чувством, которое можно было назвать тоской расставания. Сначала им показалось, что ими утеряна навсегда дорога на восток. Но затем каждый стал думать о Мирских по-своему, — не расставаясь все же с общим и сроднившим их горем. Мирских лежал под кустарником. Веточка, которую он всколыхнул своим последним дыханием, еще качалась.

Нередка сказал:

— Так как мы удостоились присутствовать при такой героической смерти, когда политрук Мирских вел нас на восток, не имея компаса, то я в силу обстоятельств беру на себя командование.

— Ну, что ж... — только и мог сказать Сосулька и вынул из кармана губную гармошку.

Гармошка теперь казалась ему вздорной игрушкой, не достойной жить в такие великие дни, и он хотел бросить ее. Нередка как командир понял его, хотя раньше, часа за два до смерти Мирских, ему бы и в голову не пришло так думать. Он взял за руку Сосульку и сказал:

— Зачем бросать инструмент? Приказываю тебе при погребении сыграть товарищу марш. Пока не подошел оркестр и взамен холма не поставили памятник...

И вот над останками политрука Григория Матвеевича Мирских в поле, возле ракиты, поднялся низенький холм и надпись на обструганной жерди, над которой была прибита выплетенная из лозы звезда: «Политрук Н-ского полка Г. М. Мирских. Погиб геройской смертью за цветущую жизнь. Товарищи, уничтожайте фашизм!»

Когда составляли эту надпись, вернулся Подпасков. Он нес ящик с патронами. Он бросил этот ящик возле могильного холма, и все проникновенно посмотрели друг на друга, и всем подумалось, что вот этот ящик с патронами и есть тот вечный и нетленный памятник, который воздвигли на могиле политрука Мирских.

И, отдав честь мертвецу, Нередка сказал всем остальным:

— Приказываю согласно пунктов, шагай на восток!

Их осталось четверо.

Дорога стала еще более извилистой и топкой. К тому же пошли дожди. Гитлеровцы сжимали вокруг них кольцо теснее и теснее, заботы увеличивались, а усталости было так много, что им казалось, будто они идут уже годы по этим болотам, лесам, валежнику.

О политруке Мирских стали забывать.

Подпасков забыл о нем с той древней философией крестьянина, которая жизнь взвешивала тем — отмучился или еще мучается человек. «Да, отмучился хороший человек, мой брат», — думал Подпасков, поплакав, — и это была его человеческая скорбь. Так он мог думать об отце, когда тот умер, так он думал об умершем брате, погибшем лет пятнадцать тому назад от бандитской руки. Погоревал, поплакал — и принялся за недоделанную ими работу в хозяйстве.

Сосулька с тем великолепием порыва, который отличает всех поэтов и музыкантов, сыграл на могиле политрука марш, трогательный и протяжный, сочинил песенку, в которой вместе с покойным политруком как бы взобрался на высокую гору, откуда видна вся правда... Потом стал рассказывать анекдоты оставшимся товарищам, так как и этим трем необходимы были утешение и шутка.

Гнат Нередка забыл Мирских потому, что теперь советоваться об «идейном насыщении» было не с кем и оттого это «идейное насыщение» стало невыносимо трудным и занимало все его мысли. Приходилось из самого себя черпать воинственную гордость и решимость вести войну, более чем когда бы то ни было, смело и неуклонно. Помимо этих трудностей он, — это было всем известно, — любил пищу и физические упражнения. Упражнений было много, а пища отсутствовала. И об этом тоже стоило подумать. Он и думал.

Чаще всех, пожалуй, вспоминал политрука Мирских тот человек, с которым политрук меньше всего разговаривал, но который был понятен ему больше всех других, так как Семена Отдужа политрук считал мужиком пылким, восторженным и решительным, но из-за слабости здоровья и долго терзавшей его нужды потерявшим веру в свою решительность. Так оно и было. То, что друг его Подпасков, необычайно практичный, который даже из деревни-то ушел с Семеном за год до сильнейшего неурожая, крестьянин, постоянно думавший только о себе и о своем хозяйстве, теперь думает лишь о других и, больше того, заботится о Сосульке, песельнике, шутнике и вообще человеке пустом и вздорном, казалось Семену величайшим чудом, вызванным волей и решимостью политрука Мирских. Зависимость от Подпаскова, иногда казавшаяся Семену тяжеловатой и непонятной, была теперь и понятна и почетна. Вот почему Семен хотел возможно больше знать о политруке. Но все его товарищи знали о нем так же мало, как и он, так как познакомились с ним только перед походом, а сам политрук говорил о себе неохотно. Знали только, что он был в царской тюрьме, в ссылке, да перед вступлением в ополчение заведовал музеем, где висели картины, написанные красками.

«Почему картины? — думал Семен. — Что в них?» Живопись, картины он путал с кинематографом, а в кино он бывал редко, так как ему казалось, что там люди чересчур много двигаются и мало говорят, а вернее сказать, мало рассуждают вслух, а рассуждения людей Семен считал наиболее важным делом в человеческой жизни. Жена, которую Семен очень любил и рассуждениями которой очень дорожил, посетила, когда была на съезде колхозников, вместе с другими музей — Оружейную палату в Кремле. Она видела там царские короны, сплошь из золота с камнями, много ножей разного размера, но сколько ни вспоминал Семен ее рассказы, о картинах она как-то не упоминала, что же касается корон, то это и тогда казалось Семену пустячным делом, а теперь, когда он подержал на голове своей каску, тем более. Хорошая шапка должна быть легка, тепла так, чтобы при случае ее можно было положить под голову и заснуть на ней. «Нет, надо самому сходить в музей, — говорил сам себе Семен, шагая болотом и отмахиваясь от последних осенних и оттого крайне надо-

едливых комаров,— жена — баба приличная, но чего-то недоглядела».

— Шагай, шагай,— хриплым, надсаженным голосом восклицал через силу Гнат Нередка, смотря искоса на отставшего Семена.

— Шагаю,— отвечал Семен,— прямо в музей.

Но Гнат Нередка не понимал, в какой музей может шагать Семен. Так как Семен никогда не шутил, то Гнату думалось, что в голове у Семена не совсем ладно, и он говорил:

— Как приедем, так в околоток сходи, попроси хины.

До Воробьевска, по прямой, оставалось едва ли двадцать километров. Но эта дорога по прямой была так забита фашистскими солдатами и их орудиями, что обходить их надо было километров полтораста, не меньше, и полтораста километров сплошь болотами, сырой землей, тяжелой и холодной, где не зажжешь костра, не закуришь, где в каждом чмокании, с которым вытаскиваешь ногу из земли, как бы слышится насмешка врага.

Они стояли на краю оврага, в который надо было спускаться, так как приблизился рассвет. Овраг, скудный, общипанный, дышал на них сыростью и отвратительной, надоедливой прелью.

— Волчий овраг,— сказал Подпасков.

— Да и волки-то в нем с голодухи передохли,— добавил Сосулька, и это была его последняя шутка в тот день.

На востоке, там, где маячили лучи рассвета, слышались редкие раскаты, точно кто катал голыши. Там рокотали советские орудия. Этот отдаленный, но решительный голос давал четверым право на жизнь, но в то же время вызывал головокружение, потому что перед ними вставала обходная дорога,— все полтораста километров болотами.

Перед тем как подойти к оврагу, они обошли деревню и теперь стояли к ней спиной. Но они помнили все очертания ее: голубоватая, с черным, как головешка, выгоном и с тремя испуганными дымками из труб, она вызывала на сердце их томление и надежду. И сейчас они думали — не вернуться ли к ней, не найдется ли в ней добрая душа.

Пролетел самолет со свастикой на крыльях. Они легли, выругавшись. Когда они встали, деревня, казалось, приблизилась к ним, и овраг был еще отвратительнее, чем прежде. Они смотрели исподлобья на его бока, испокон века испещренные вымоинами, на дно, покрытое искристыми валунами, и на крылья его, покрытые кривыми дубами, среди которых так превосходно красться.

И все же они не повернулись бы к деревне, кабы не крик курицы, сообщающей о том, что она снесла новое яйцо. А им хотелось есть, и думали они также о том, что жизнь не остановишь. Этот крик курицы, слабый и чуть различимый, как испарение, разом повернул к деревне их лица. Искус был велик. Он вызывался жаждой жизни.

Принимая во внимание их слабость, они шли искусно и быстро, делая иногда в минуту шесть или семь шагов.

По мере того как они приближались к деревне, она становилась перед ними во всем опустошении войны, искромсанная, искрошенная. Спинной хребет села — магазины — были искривлены пожаром; рамы без стекол; надворные постройки без дверей. Три трупа смердили в канаве. Неподалеку, в школе, они услышали голоса, перекликающиеся на чужом языке, — и они остановились.

— Давайте мне все патроны! — сказал вдруг Нередка.

Они послушно передали патроны, не спросив — для чего они понадобились ему. Но Гнат сам объяснил своим замысловатым слогом:

— Приказываю искать помощи, поскольку все мы исключительно скомканы недоеданием. В случае вашего непоявления беру деревню под обстрел. И прошу не искажать моего приказа.

Он приказывал им искать помощи у крестьян, а сам становился в резерв, если кто-либо выдаст. Сказав это, он сделал под козырек и свернул в огород, а они двинулись вдоль плетня.

Они долго колебались, прежде чем заглянуть через плетень во двор и слабым голосом крикнуть: «Батько!» Двор не очень отличался от прочих. Так же, как и в других дворах, плодовые деревья в нем обломали немцы, так же, как и всюду, были сорваны двери и выбиты окна и так же долго не получали они ответа на свой призыв к доброте отца-кормильца.

Наконец дверь распахнулась. Короткобородый крестьянин, в проседи весь, сверкнув, словно ножом, глазами, вдруг посторонился и сипло сказал:

— Входите!

За столом в хате, против печи, вороша угли и с незакуренной папироской во рту, сидел второй крестьянин, помоложе. Он был в солдатской одежде, но босой. Взор его сверкнул с той же силой, что и у отца, так что взором, казалось, он мог опрокинуть человека, как буря лодку.

— Побираетесь и пробираетесь? — спросил крестьянин постарше.

Подпасков, к которому перешло командование, пожелал внести в отношения свои с крестьянами точность и определенность. Если предашь, черт с тобой, но чтоб сразу. И тут же он подумал, — как же все-таки они ослабли, раз забыли обменяться с Гнатом условным знаком. Ну, каким образом Нередка поймет, куда прийти на выручку? Но даже и не зная того правила, что философское слово нуждается в долго создаваемой оправе, как бриллиант или рубин, а деревенская мысль, величественная сама по себе, словно валун среди долины, Подпасков сказал грузно и тяжело, будто выкатывая валун:

— Поесть дашь, батько?

Крестьянин молча подошел к печи. Второй крестьянин передал ему горшок. На дне его лежали остатки солдатской каши, видимо из пшена, принесенного сыном. Трое мгновенно съели всю кашу, и, когда обнажилось дно, они переглянулись.

— Ну, теперь пойдемте.

И он привел их в погреб.

Погреб был тоже без двери, погребная яма — пуста, гнилая солома устилала пол. Крестьянин остановился посредине, опустил голову и развел руками, и, поглядев на этот жест, на узкие его плечи, Семен Отдуж подумал: «Не выдаст». Крестьянин сказал:

— А завтра Иван отвезет... Он на ту сторону хочет. Ну пускай его, раз хочет... пускай везет... Сын мой, сынку.

Голос у него был опустошен горем, и только голод и усталость мешали Подпаскову понять это горе. Сосулька уже спал, уткнувшись в гнилую солому, а Семен Отдуж, никак не желая огорчать друга, когда кре-

стьянин ушел, все же осмелился сказать, впрочем так и не договорив фразы:

— Никак того нельзя...

— Что никак нельзя? — грубо, как всегда говоря с Семеном, спросил Подпасков, привстав на локте и зорко всматриваясь во двор.

— Никак нельзя так о нем думать.

— Как же надо? Научи... Оправдываешь, что тебя предали. Иуду оправдываешь!

У ворот слышались чужие голоса, стукнул приклад, о стенку хаты разбили бутылку, — и словно что сверкнуло и резнуло им по сердцу. Немцы дружно захохотали. Подпасков прикрыл соломой Сосульку и шепотом сказал Отдужу: «Ложись, прикрою». Отдуж тоже шепотом ответил: «Я тонкий, давай тебя». Подпасков толкнул его в бок и зашипел: «Ложись, приказываю». Отдуж лег. Дышать было трудно, и спать уже не хотелось.

— Девок ищут, — сказал чуть слышно Отдуж.

— Не девок, а нас, — ответил Подпасков.

— Чего нас искать, мы спим, — сказал, просыпаясь на мгновение, Сосулька. Резко повернувшись на другой бок, он опять уснул.

Подпасков вздохнул.

— Вот уж верно, дуракам счастье.

— Он не дурак, — сказал Семен.

Подпасков вытряс из головы солому.

— Ушли. Вставай. Да ушли, тебе говорят!

Голоса немцев действительно слышались едва-едва. Через двор, охая, прошел пожилой крестьянин, и Подпасков сказал:

— Ой, чую я, продаст. Только чего он задерживается, интересуюсь.

Сосулька, опять проснувшись на мгновение, сказал:

— Интересовался парень девкой, а она ему двойню да исполнительный лист.

Подпасков засмеялся, и ему, тотчас же после смеха, захотелось спать. «Спи!» — сказал он строго Отдужу, и тот лег. Подпасков прикрыл его еще соломой, зарылся сам и заснул.

Проснулись они от стрельбы зениток. Солнце стояло высоко. И казалось, — выше и более горячие, чем солнце, летели над землей советские бомбардировщики. Сердца троих наполнились гордостью, а больше всех был преис-

полнен гордостью Подпасков. Он сидел на гнилой соломе, охватив колени руками, думал о том, что надо бы вырыть на всякий случай ямку, и в то же время говорил сам себе: «А плюю я на вас, людоеды». Ему было приятно так думать. Он подмигивал сам себе мокрым, умиленным глазом и бормотал вслух: «Эк тебя подмело», — и это надо было понять, что он умеет и способен исполнить любой приказ командира. То, что он стал теперь другим, подлинным человеком, совершенно не доходило до его сознания, и то, что он глазами, полными слез, глядит на небо, где летят советские бомбардировщики, казалось ему не переломом в его душе, а точным исполнением приказа. Он подтверждал это, бормоча: «Что же, раз есть приказ, мы дадим подмогу». На одну секунду мелькнула мысль о доме, но те мысли, с которыми он пошел в ополчение, то есть получить медаль, выйти в председатели колхоза,— казались ему теперь пустыми и нелепыми. Он думал о жене, но хотел увидеть ее лицо лишь тогда, когда ему разрешит родина.

— Семен, слышишь?

— Слышу, — растроганным голосом ответил Семен, и Подпаскову было удивительно приятно понять, что у Семена те же мысли, а может быть, даже крупнее и трогательнее, чем у него. Но долг командира, каким себя сейчас чувствовал Подпасков, не разрешал ему долго «кукситься».

— Я о другом, Семен. Поручаю тебе — приведешь из-под ракиты Гната. А я пока вырою ямку, и будет в той ямке лежать один человек, на всякий запасный случай.

— Слушаюсь, товарищ командир!

— Если не способен привести, так и говори. Я пойду.

— Приведу, Мирон Ефимыч!

— Смотри, доверяем жизнь, Семен.

— Уж что-что, а доверие я понимаю, Мирон Ефимыч!

И Семен, шепча что-то про себя, ушел.

Подпасков и Сосулька взяли лопаты. В углу стояла полуразвалившаяся бочка из-под огурцов. Они решили вырыть ямку под этой бочкой, а землю сбросить в погреб. Рыть было трудно, так как земля слежалась и в ней было много щебня. Рыли они без перерыва часа два, и к тому времени вернулся Отдуж.

— Приказано антервалом идти! — сказал он, вбегая в клуню. — Дай лопату, надо ямку пошире, а то Гнат будет ругаться.

Действительно, после интервала минут в пятнадцать пришел Гнат Нередка. Он осмотрел ямку и проговорил недовольно:

— Кошке в этой ямке сидеть, а не бойцу Красной Армии, — и, оглядев всех, как бы этим принимая вновь командование, он добавил: — Приказ вышел в силу того, что нас теперь четверо, и согласно пункту один должен быть в резерве. Семен, садись в яму, жди.

Семен послушно сел в яму. На яму надвинули бочку, Нередка достал из кармана клочок бумаги.

— Надо домой, кому хочется, написать. Порубят немцы, один уцелеет, передаст. Также и рапорт. Подпасков, говори адрес и что писать.

— Пиши, — сказал протяжным голосом Подпасков.— «Дорогая жена и детки. Пишу вам из отряда в немецком окружении, где мы сражаемся под руководством товарища Гната Нередки. Во всяком случае, фашисты будут уничтожены, враг будет разбит, и победа будет за нами. С получением сего я буду мертвый, и пусть дети подрастут и сражаются с лютым врагом за ту цветущую жизнь...»

— Хватит, — сказал Нередка, — бумаги иначе на всех недостанет. Сосулька, каков твой адрес?

— А ты припиши мой адрес в то, Подпасково письмо. У него жена исполнительная, она моим напишет, а бумаги еше прикурки на три тогда останется.

— Это верно,— сказал Гнат, приписывая к письму Подпаскова адрес Сосульки. — И табаку вровень, и бумаги тоже. Полезай, Сосулька, в яму, письмо будет писать Семен.

В разных они сиживали ямках, но эта, в погребе, оказалась самой душной и самой тяжелой. Но они сидели безропотно, каждый свой срок, который указывал им Нередка. На краю лежали три записки с адресами, а как только садился сменный в ямку, трое оставшихся повторяли ему, сами не замечая того, все, что они уже говорили сидевшему перед ним в ямке.

Солнце скрылось. Упала роса. Поднялась луна. С севера подул холодный ветер, и показались тучи. Пришла опять очередь Сосульки сидеть в яме.

— Под солнцем человек выше, а под луной подлее,— сказал он, надвигая на себя бочку.— Если тот батька нас выдаст, я его подкурю,— так, что он вместе с хатой сгорит.

— Молчи, идут,— проговорил Гнат.— Письма не забудь. Все согласно пункту.

— Будьте покойны, ребята. Прощайте.

— Прощай,— сказали они шепотом.

Вошел крестьянин. В руке он держал краюху.

— Коней у нас немцы поотнимали, так Иван их у немцев отнял,— сказал он просто и не спеша, протягивая им краюху.— Пойдем до коней, а то как бы немцы не хватились.

В темноте глаза его казались еще более тоскливыми, а голос резал сердце. Однако они сдерживали себя и старались не верить ему.

— На ту сторону сын хочет,— сказал крестьянин.— Ну, что ж, хочет, так пусть...

И он проводил их за огород.

Пара коней, запряженных в бричку, стояла у плетня. Иван соскочил с сиденья, поправил чересседельник, не столько для надобности, сколько чтобы скрыть слезы, затем поцеловал отца, и отец сказал троим:

— Садитесь. А то немцы догадаются.

— Да они ж все равно догадаются,— сказал сын горестно.— Не уцелеть тебе, батька!

— А, пускай!

Гнат Нередка спросил у крестьянина помоложе:

— Чего ж отец с нами не едет?

— Да нельзя. Параска больна. Как оставишь?

— Нельзя оставить,— подтвердил пожилой крестьянин.

Подпасков и Отдуж сидели в бричке. Нередка стоял, опустив голову.

— Обождь приказа,— сказал он.

Подпасков думал о том же, о чем думали остальные. Теперь уже не было сомнений, и крестьянину они все верили.

Они торопливо оглядываются, на дне брички лежат четыре немецких ружья с патронами, да и бричка, повидимому, досталась Ивану не даром, так как весь передок ее обрызган кровью. Ясно, что опасения их были напрасными, и предчувствие недоброго появилось в них из-за усталости и измучившего их голода.

И что же. Раньше получалось так, что они оставляли Сосульку на жизнь, спасали его, а теперь выходит, что оставляют его на смерть.

— Приказываю поправку, — сказал Нередка, и, круто повернувшись, он вернулся в клуню.

Подпасков объяснил пожилому крестьянину:

— Четвертого решили с собой взять.

— Да я знал, что он там сидит, — сказал крестьянин. — Мы так только полагали, что он не хочет или оставлен для вашего дела.

Четверо уселись в бричку.

— Прощай, Иван, — сказал отец.

— Прощай, батька, — ответил сын.

Нередка озабоченно посмотрел в лицо Ивана. Это было красивое, честное и гордое лицо. И он спешил к бою. Он хотел защищать родину.

— Двигай, — сказал Нередка.

Бричка вошла в лес. Она пробиралась такими топкими и непроходимыми местами, что, как ни хотелось четырем спать, они не могли не любоваться на ловкость Ивана.

— Да никакого дива тут нет, — сказал Иван. — Мы сюда постоянно за сеном ездим, каждый метр знаем. А вы бы отдохнули пока. До Воробьевска езды часов шесть.

Они и уснули.

Иван сидел, смотрел на дорогу и не видел ее. Кони шли сами. Иван думал об отце, о больной сестре и о том, что эти голодные, оборванные люди напомнили ему о его долге перед родиной, о необходимости защищать ее и что, при взгляде на них, в нем окрепла решимость уйти из дома, «на ту сторону». Он гордился тем, что они доверились ему с первого взгляда, и он решил отплатить им тем же, не покидать их никогда. От света луны он казался еще более стройным, красивым и верным. Если б в эти минуты проснулся кто-нибудь из четырех, он бы непременно подумал, что Иван очень походит сейчас на политрука Мирских, и ему могло б даже, под призрачным светом луны, показаться, что деревенский парень исчез, передав вожжи Мирских, и политрук правит теперь бричкой.

Ну что ж, ведь их теперь было действительно вновь пятеро!

2 декабря 1941 года

БЫЛЬ О СЕРЖАНТЕ

Эту быль о сержанте Морозове рассказали мне бойцы полка, где служит Морозов, и партизаны, встретившие его на пути. Случилось это в начале 1942 года, когда полк был расколот противником на части и меньшая его часть, где тогда находилось полковое знамя, остановилась в так называемом Парусном холмовье. Полк продолжал упрямо пробиваться к своему знамени. Немецкие танки, сопровождаемые автоматчиками, занимали узкий перешеек, отделявший основные силы полка от подразделения, которым командовал лейтенант Потапов и где, как я уже говорил, находилось полковое знамя...

Но предварительно надо сказать несколько слов о Василии Морозове.

Василий происходил из села Крицы, расположенного неподалеку от Парусного холмовья. Отца, сестру он не видал с начала войны. Вот теперь, когда полк перебросили в холмовье, Василий рассчитывал увидеть родных... Вместо этого, как раз накануне боя, он узнал, что его больной отец и сестра, не пожелавшая оставить отца, попали к немцам. «Что ж, колхоз им коня не мог дать? — думал со злостью Морозов. — И соседи с конями есть! Скажем, заведующая почтовым отделением — Смирнова Надя!..»

...Мобилизованный, он шел на станцию. Надя?! Желтый свет лампы льется из ее окна. Она разбирает полученные письма... еще мирные... Подняла голову. Видит? Не видит! Любит? Не любит!.. Где там спрашивать, когда за все встречи от смущенья и пяти слов не сказал. Да и что случалось при встречах? Поле. Кустарник. Пруд. Полдень. Тележка, в ней баулы. Конь... Здравст-

вуйте, прощайте... Вот теперь бы встретить, он бы сказал!.. Но где теперь встретишь?

Красноармейцы, те, что не стреляли, вызваны к редкому березняку, покрывавшему спину высокого холма, где расположились позиции подразделения лейтенанта Потапова.

Сырой, серый и длинный день словно еще удлинялся в этом полосатом и кочковатом холмовье, где остановилось подразделение.

Послышался простуженный и хриплый голос лейтенанта:

— Развернуть знамя полка. Старший сержант Морозов, к древку.

Знамя полка, освобожденное от чехла, повисло под теплыми каплями мелкого дождя.

Жидкая осенняя земля чавкала под сапогами сержанта. Он встал рядом с древком и глядел на командира подразделения, который медленно, с бледно-серым лицом, поднимался на холм вдоль коротенькой линии выстроившихся красноармейцев.

Теплый дождь сменился холодным ветром. Непригожие тучи, темные, длинные, показывающие по краям своим белую подкладку, грозили чуть ли не снегом. Лейтенант со злостью взглянул на тучи, и по этому взгляду было понятно, что он принял на себя всю вину за грозящую боевому знамени полка опасность.

Широкое бледное лицо лейтенанта с его всегда опущенным ртом приблизилось к молодому, несколько рыхлому лицу сержанта.

— Старший сержант Василий Морозов.

— Слушаю, товарищ лейтенант.

Сержант выпрямился, ловя мысль командира сквозь две бессонных ночи, грузную усталость, сплетающую тело, тоску по родным и желтому свету лампы, льющемуся из окна почтового отделения.

— Старший сержант Морозов! Если не ошибаюсь, окрестности занимаемой нами позиции вам широко известны, поскольку вы родом из данной местности?

Сержант ответил утвердительно. Он добавил, что пройдет здесь ночью с закрытыми глазами.

Лейтенант провел ладонью по широкому опущенному рту, и Морозову подумалось, что лейтенанту стыдно плакать при всех, глазами, и он плачет скрыто, ртом...

— Старший сержант Морозов, вам известна боевая история нашего полкового знамени?

И на этот вопрос сержант ответил утвердительно.

— Повторите ее вкратце.

Дыхание из груди лейтенанта вырывалось с хрипом и хлюпаньем, словно работал насос для откачки воды при сильной течи корабля.

И тогда сержант, повернувшись лицом к знамени и глядя на его багровое полотнище и золотые буквы, которые, казалось, отражались на всех лицах и во всех глазах, сказал низким, старательным и в то же время вдохновенным голосом:

— Еще в суровый девятнадцатый год, товарищи, шли в бой под этим знаменем защитники нашей родины. Бойцы полка с честью пронесли знамя по многим фронтам, вплоть до снегов Финляндии. В новых боях за отчизну пробитое пулями боевое знамя все время находилось с передовыми подразделениями полка, вдохновляя людей на подвиги...

Он говорил слова, которые много раз повторял бойцам на теоретической подготовке. Бойцы превосходно помнили эти слова, знали их так же, как знали винтовку. Но бой заставляет пересмотреть многое из наших знаний! А сила убеждения изменяет наши знания иной раз еще больше, чем бой!.. Во всяком случае, то, что сейчас говорил Морозов, многое изменило и возвысило в сердцах этих людей, защищающих дальние подступы к городу Ленина, как изменило и лицо сержанта, хотя он и не чувствовал этого. Лицо его, еще недавно такое рыхлое, нерешительное, смущенное, стало сокрушительно упорным и приобрело какой-то странный цвет. Да, все видели, что он признавал сейчас самым важным и самым необходимым спасти полковую святыню во что бы то ни стало, каким бы то ни было путем...

Морозов окончил свое краткое слово.

Подразделение пребывало в торжественном молчании.

Лейтенант, вполне удовлетворенный и речью сержанта и своим выбором, дышал ровно. Он сказал:

— Морозов, возьмешь красноармейцев Гусева и Королькова и проберешься через болота ползком, как хочешь... Знамя передашь в штаб и скажешь, что мы приняли на себя удар гитлеровцев, пока ты относил знамя. Но помни, Морозов: погибнет знамя — погибнет

полк. Согласно уставу — расформируют! Погибнет и твоя честь и честь полка.

— Не погибнет, товарищ лейтенант!

— Так что — сроки тебе малые, а кроме того, лично ты, Морозов, не должен умирать.

— Не погибнет, товарищ лейтенант!

— Полк по рации извещен, что ты идешь передать знамя.

— Будет передано, товарищ лейтенант.

Лейтенант, крайне медленно, снял с древка полотнище, поцеловал его и передал сержанту. Затем, указывая на пустое древко, воткнутое в землю, сказал:

— А мы будем биться возле этого древка до тех пор, пока есть последний патрон и кровь в жилах. Понятно? Жму руку, Морозов!

Морозов пожал руку лейтенанту, причем тот долго держал ее в своей.

После этого Морозов пошел по небольшому кругу красноармейцев, пожимая всем руки, а затем, отойдя вместе с лейтенантом в сторону, сбросил гимнастерку и начал обертывать тяжелое шелковое полотнище вокруг своего туловища. Лейтенант сказал:

— Вот и на солдата ты теперь не похож, Морозов. Растолстел. Какого села?

— Села Крицы.

— Родные в селе?

— Встретил третьего дня земляка. Говорит — остались. Отец — болен, а сестра с ним.

— Если посчитаешь возможным, зайди. Они дадут правильную информацию.

— Чего правильней. Прощайте, товарищ лейтенант.

Они подумали и не спеша обнялись. Лейтенант спросил, холост ли Морозов. Сержант ответил утвердительно. Тогда лейтенант вздохнул и сказал:

— Что холост, то одобряю. Хотя, с другой стороны, и холостой много думает, да женатый вдвое того... Ну, прощай еще раз, Морозов. Мою жену увидишь... детей...

И лейтенант вытер ладонью широкий свой рот.

Долго мерещилось Морозову лицо лейтенанта, его небритые щеки, заросшие твердым волосом, впалые глаза, и этот пригорок с твердыми кочками, и все это полосатое от поваленных берез кочковатое холмовье под длинными и словно наполненными болезненным соком тучами...

Они вышли или, вернее, выползли из холмовья.

Морозов полз впереди. За собой он слышал легкое дыхание Королькова, лесника. Гусев дышал так, словно того и гляди вскипит, как самовар.

Корольков был длинный, сухой, с белесыми усами, похожими на сосульки, да и все его лицо какое-то ледяное, застывшее. Сына его убили в начале войны. Корольков пошел добровольцем и не уставал рваться в самые рискованные предприятия. «Сын сокрушает, кличет, — говорил он в таких случаях, — мне за сына надо идти, он из меня искру высекает». И с Морозовым пойти он вызвался сам, хотя и не весьма доверял сержанту, как ходоку, считая себя опытнее.

Гусев — румяный, круглый, с нежным лицом, которое, казалось, никакая война не выдубит. У Гусева нет, подобно Королькову, личных счетов с немцами. Он обрадовался, когда его призвали, потому что ему давно хотелось, как он выражался, «дать себе подвиг для родины», а в мирной обстановке случая для подвига не представлялось. Да и какой может быть случай для подвига, когда служишь электромонтером на хорошей железнодорожной станции первоклассной магистрали?

К вечеру сильно похолодало, и все полагали, что земля подмерзнет, но земля хлюпала, как и днем. Руки и ноги увязали в слизистой и маслянистой жиже. Ночь была темна, и если б не компас с самосветящимися стрелками, сбились бы с пути непременно.

К рассвету проползли те трудные десять километров, где больше всего было немцев. Выползли точно к назначенному месту. Увидали озеро, рыжие камыши и синеватый туман над ними. Справа, в тучах, вставало солнце. Морозов объяснил спутникам, что если идти вправо, так можно обогнуть озеро по болотам и выйти на шоссе, а если влево — дорога будет легче, но тут пойдут деревни, а в деревнях немцы. Его мнение — идти вокруг деревень: и людей встретишь, расспросишь о событиях, о местопребывании полка, и вообще тут и шоссе ближе. Гусев немедленно согласился с ним, а Корольков словно обрадовался возможности поспорить.

— Немец тут нас в деревне и караулит. Разве он в болота полезет? Он там угорит сразу. Мы там из него, коли попадется, всю душу выжмем. Не-е, надо идти болотом...

Морозова раздражала самоуверенность Королькова, и сержант приказал:

— Идти в направлении деревень.

Сделали несколько шагов. Корольков спросил:

— Ты к своей?

— Чего к своей? — не понял Морозов.

— К своей деревне, что ли, тянешь?

Морозов разозлился.

— А хоть бы и к своей. Ты что, оспариваешь приказание?

— Чего мне оспаривать, я человек болотный, — криво улыбаясь, сказал Корольков.— Я чего понимаю?

Морозов хотел было прикрикнуть, но раньше того он понял, как надо прекратить начинающуюся между ними неприязнь. Он сказал:

— Гарантирую тебе вооружение — автоматы, и три десятка уничтоженных фашистов в придачу.

Лицо Королькова словно бы качнулось и мгновенно преобразилось. Улыбка загуляла по его губам. Шаг стал торжественнее.

— Вот мы теперь втроем и попразднуем встречу с гитлеровцами.

Зашли в деревню. Порожней, неправдоподобно пустой была она. Только в одном доме они нашли мяукающую кошку да в другом застали слепого старика. Корольков опять почувствовал недоверие к сержанту и сказал:

— Вот тебе и обворужение. Нет, надо было идти болотом.

Морозов спросил у старика:

— Немцы есть?

— Были вчера, а нонче как будто их здесь нету. Да ведь я слепой.

Выходя из лачужки, Морозов обернулся к старику.

— А про село Крицы, дед, не слыхал?

— Село Крицы будет через три деревни. Как минуешь Осьмушкино да пройдешь Доезжалово, попадет тебе такая роща, сынок...

— Я спрашиваю, как у них там положение?

— Положенье что ж? Положенье у всех такое, что лучше в гроб. В Осьмушкине осталось шесть дворов, в Доезжалове три, а в Крицах небось и одного нету.

Отправились в Осьмушкино. Неподалеку от села завернули в хуторок. Пожилая женщина высунулась из окна и крикнула им:

— Чего ходите? Немцы ездят как раз по этой дороге.

— Мимо хутора? — спросил обрадованно Корольков.

— То-то что и есть — мимо хутора. Заходите покушать.

Морозов сказал:

— Не, нам вооруженье требуется. Мы все нашим оставили, а теперь видим — без вооруженья скучно.

— Да заходите ж.

Зашли. Женщина угостила их кашей, показала троих ребят, сидевших в погребе. Была она тревожна, — боялась за детей и за двух коров, из-за которых не покинула хуторка... Она даже пива своей варки налила им по большой кружке.

— Порежут фашисты. И коров моих порежут, и детей. Куда мне деваться? Они все время завертывают ко мне, да днем, вишь, торопятся... а как ночь придет, порежут.

— Чего им не порезать, — сказал Корольков спокойно, — у них на нас жалости нету. Товарищ сержант, — обратился он к Морозову, — здесь бой принимаем али на дороге?

— Ишь ты, не терпится! — воскликнула в страхе пожилая женщина, а Морозов, утешая ее, сказал:

— Отправились.

И они пошли дальше.

Миновали стороной Осьмушкино, от которого осталось действительно несколько изб, и вышли на широкий проселок, окаймленный березами, чисто вымытыми дождем.

По дороге в тощей повозке ехал еще более тощий старик, понукая серую и маленькую лошаденку. Попросили старика, чтобы подвез.

— А садитесь, — сказал вяло старик, — мне что.

И разговориться не успели,— видят: навстречу три повозки, в них битком набито немцами.

— Хорошая встреча! — воскликнул Корольков.

— Кабы свободны мы были, — сказал Морозов, — а то ухлопают, кому знамя достанется?

— Еще посмотрим, кого кто ухлопает.

Между тем старик, видимо привыкший уже к боям, поспешно свернул в березы. Немецкие повозки тоже

остановились. Морозов решил, что единственный выход — брать на хитрость. Сержант, с винтовкой наперевес, бросился вперед, крича:

— Взвод, за мной! Сдавайся, немец!

Несколько гитлеровцев бросились бежать, но человек восемь залегли и открыли огонь.

Залег и Морозов.

Выстрелом разбило карабин у Королькова и ранило его в руку. Гусев стал перевязывать приятеля, а Морозов, разозлившись, схватил гранату и встал... Немцы бросились бежать. Морозов — за ними, кидая гранаты. Он бежал за ними метров двести.

Когда он вернулся, Корольков стоял на ногах, прислонившись к березе и придерживая правой рукой разбитую левую. Морозов, чувствуя себя виноватым, сказал:

— Зря мы сюда направились. Надо бы тебя послушать, Корольков.

И тут только он разглядел лицо Королькова. Оно, несмотря на рану, вызванную ею боль и бледность, наполнено было таким торжеством, что Морозов не мог не подивоваться. Корольков сказал:

— Почет событию. Разве мы в болоте могли бы их столько уложить? В честь сына... Пойдем.

И они пошли мимо убитых фашистов.

Корольков сказал:

— Ну, ребята, большой у меня нынче домашний праздник, в толстый колокол звоню. Не грех бы выпить чарочку простого. — И добавил: — Теперь вы без меня пойдете, а я уж как-нибудь к нашим вернусь. Прости, товарищ сержант, если чем обидел.

— Бог простит, — ответил сержант шутливо, и они обнялись.

Корольков повернул к подразделению, а Морозов и Гусев направились лесом дальше, на восток.

К полудню небо, как и вчера, огрузло тучами. На листья посыпался дождь.

То и дело вспоминая подробности схватки, ранение Королькова и его удивительный характер, они лезли через поваленные и гнилые деревья с опавшей корой, переходили поляны, кочки...

Птицы без обычной боязни нехотя поднимались из кустов, понимая, что людям теперь не до охоты.

Поздней ночью они вышли к Доезжалову.

Точнее сказать, Морозов только смутно был уверен, что перед ним Доезжалово. Ночью все села похожи одно на другое, и если на пашне, утомившись, делаешь огрех, обойдешь сохою участочек, то где в ночи в военное время загрязненному, затоптанному усталостью правильно определить направление?

Они стояли долго. Мелкий дождь сыпался на них. Хотелось сесть, уснуть.

— Приказывай, товарищ начальник, — решился наконец вымолвить Гусев.

Они осторожно,— насколько можно быть осторожным при таком утомлении, — двинулись вперед в темноте.

Колодец — и колодец вроде бы из доезжаловских... Приблизились...

Немецкий часовой, не окликнув их даже, пустил очередь из автомата.

Они ответили.

Задребезжали стекла, послышались крики. Выстрелы немцев стихли. Опять шум дождя, едкое безмолвие деревни.

— Что-то немец больно нервный в этих местах,— сказал сержант, неуверенно делая шаг вперед.

— Отопрел. Ему ленинградский климат отсек окорока. Разрешите, товарищ сержант, проверить обстановку.

— Не торопись. Происшествий впереди будет много.

Они шли переговариваясь шепотом. И вдруг из высокой и словно бы складчатой тьмы услышали вопрос:

— Ктой-та? Наши?

— Ваши, — ответил, радостно смеясь, Морозов. — А ты кто?

— А я Савелий.

— Ну, иди ближе, Савелий.

Совсем маленький, куда ниже Гусева, человечек обозначился возле них. Швыркая носом, он ощупал их и сказал весело:

— Двое. А страху-то на врага напустили, как сотня.

— С чего это немец-то у вас такой нервный? — повторил Гусев. — Боится чего, что ль?

— Боится. Бают, на него наша сила идет крупная. Наступление предстоит. Вот и есть у нас предложение осветить путь.

— Какое село? — спросил Морозов.

— Село наше Доезжалово, а здесь, в сараях, пшеница. Немцы грузовики, вишь, подали. Хотят увезти. А наше предложение такое: сжечь ту пшеницу дотла, пока немцы не вернулись.

— И село ваше спалят дотла, дядя Савелий.

— А пускай палят. Все равно, рано ли, поздно ли, сгорим. Но, поскольку мы во множестве...

— Давай жечь! — воскликнул торопливо Гусев. — Давай-давай, дядя Савелий!

Морозов подумал-подумал и приказал сжечь.

Из брошенных грузовиков добыли бензин, мальчики, невесть откуда вынырнувшие, притащили солому и доски. Склад обложили, и Морозов поднес спичку. Несмотря на дождь, пламя принялось дружно.

— Ну и денек, — сказал, широко зевая, Морозов.

— Не так брюхо набили, как голову, — отозвался Гусев все так же торопливо глухим голосом: — Не знаю, как ты и донесешь свое порученье, товарищ сержант, если такое каждый день.

— Донесем. Дядя Савелий, а если нам до приезда немца соснуть? У тебя не найдется такого скрытого места?

Дядя Савелий сказал, что такое место найдется, и они пошли, причем Гусев все время раздражал Морозова, так что он даже подумал: «И чего привязался, как грыжа?» Гусев все спрашивал: сумеет ли один дойти Морозов, легкий ли дальше путь, и найдутся ли провожатые? Морозов хотел спросить: «Да что ты, струсил? Вернуться или спрятаться где-нибудь хочешь?» — но, объясняя болтовню Гусева ранением, неимоверной усталостью и большими событиями дня, промолчал.

Легли. Сон пузырем надул глаза, и заснули они мгновенно.

А утром оказалось, что Гусев заснул тем сном, от которого не пробуждаются.

Раненный в живот навылет, он напряг все силы, чтобы дойти до погреба.

Морозов скорбно глядел в неподвижное маленькое лицо Гусева и спрашивал себя: «Так ли я поступал? Верно ли? Туда ли я их вел? И сам туда ли иду? И дойду ли?» И он отвечал себе: «Должен дойти. А что смерть? Придет и мой раз, да не в этот раз».

Он шел теперь один.

Когда он чувствовал, что дальше идти не может, он забирался под ель и, прикрывшись бархатными ее ветвями, закрывал глаза, прислонившись спиной к стволу. Ему было тяжко и хотелось плакать, и во сне он плакал с ревом, как можно плакать только в детстве. И, проснувшись, он чувствовал благодетельную перемену состояния.

Он выходил на тропинку и устремлялся дальше.

И наконец он вышел.

Пологий холм спускался к реке, которая обозначала свой поворот многочисленной ольхой. Между соснами, где стоял Морозов, и ольховником простиралось поле плохо выкопанной картошки. У ног Морозова лежала канава, наполненная до краев водой; у канавы низкий межевой столбик с цифрами «325». Морозов пошел от столбика, повторяя про себя: «Триста двадцать пять...» Но едва ли он досчитал до ста, как остановился.

Девушка, торопливо собиравшая картошку в корзину, выпрямилась, чтобы передохнуть.

— Надя?! Надя!

Она, прижимая к груди корзину, бросилась к Морозову.

— Вася? Откуда?

— А оттуда, откуда и все, — ответил он. — Да пойдемте в сосны: за мной, кажись, гонятся.

Он взглянул на мелкую картошку и опомнился.

— Не надо в сосны. Идите собирайте картошку.

— Вася!

— И дотрагиваться не надо. Они с собаками, кажись, ищут. Еще собака унюхает. Один вопрос. Как мои?

— Живы. — Она указала на картошку: — Для них.

— Сожгли?

— В поле живем, в землянке...

— Видел, что сожгли. Я шел... мимо...

— Разбили вас, Вася?

— Досада фашистов загложет, что они нас не разбили. Оба мои здоровы?

— Отцу получше, а Саша здорова. Поправится отец, мы пойдем.

— Адрес мой прежний, на тот же полк. Пишите. До свидания.

Сосны закрыли его.

Девушка вспомнила его костистое лицо, широкие и в то же время наполненные какой-то странной, слепой недоверчивостью глаза, вспомнила, что давно собиралась лично сказать многое, в чем признавалась его сестре; сказать, что восхищается им... Девушка догнала его, когда он, сутулясь, переходил лесную дорогу.

Она положила ему руки на плечи.

— Вот так, — сказала она. — Мы стояли рядом. Теперь для каждой овчарки ясно, — у нас один след.

— Зачем?

— Так нужно. Вы домой?

— Нет. Я шел мимо, Надя.

— Вася, вы шли домой. Я верю, что ваш полк не разбили. Тогда вам дали отпуск.

— В военное-то время?

— Ну, вы исполняли какое-то поручение и выкроили день, чтобы навестить родных?..

На лице его показалось мучительное сомнение. Он сомневался в ней? Да. Она не могла ошибиться. Но почему сомневается?

Она испуганно заглянула ему в глаза.

— Вася. Вам не надо зайти домой? Разве вам не разрешено?

Он подумал и сказал:

— Разрешено.

— Идемте. Вы отдохнете день, другой... — И она спросила прямо: — Чего вы опасаетесь?

— За мной гонятся... с собаками. Я овчарок наведу на отца, сестру... на вас.

— Ну, мы скажем — за грибами ходили, спрячем вас, Вася.

— Меня нельзя спрятать, — сказал он, упрямо качая головой. — Я шел к отцу... верно. А теперь... не пойду.

— Да чего такое?

— С собаками... опасаюсь...

— Вы мне доверяете или нет?

Он схватил ее за руку и потащил за собой в чащу.

Под ноги подвертывались стволы, чавкало болото, затем — мох, какая-то яма... Он толкнул ее туда... Тогда только она расслышала собачий лай, свистки, и ей даже почудился топот. Яма была узкая. Их плечи и туловища сблизились, и, несмотря на то, что они всем своим телом ловили звуки в лесу, они чувствовали теплоту, исходящую друг от друга.

Теплота эта, медленная, медовая, вязкая, мало-помалу уносила с собой ту смуту, которая перед тем наполнила их тела. Они уже не с такой страстностью прислушивались к звукам погони. Им казалось даже, что звуки эти утихли, ушли в сторону...

Их теперь, пожалуй, больше беспокоила та внезапная перемена ощущений, которая произошла сейчас в них. Они испытывали друг к другу высшую степень симпатии. Щурясь, они глядели на струйки света, пробивавшегося в яму сквозь хворост, прикрывавший ее, ощущали запах мокрого мха на дне ямы. А еще приятнее сознавать, что не только тебе одному радостно соседство другого, но и этот другой полон радости.

Шум леса исчезал перед шумом их сердец.

Они с удивлением глядели в глаза друг другу. Они чувствовали, что вот сейчас, с этой минуты, они навсегда принадлежат друг другу и могут, как желают, распорядиться друг другом. Разве не поразительно и мощно подобное чувство, а в особенности для тех, кто впервые испытывает его?

В такой сладкой и поневоле беспечной неподвижности они сидели долго, пока над лесом не пронесся порыв ветра, указывающий на приближение сумерек. Преследователи не нашли следов Морозова. Дождь стер их.

Они вышли из ямы, движениями рук и ног выгоняя из мышц и сухожилий ломоту от неподвижного сиденья.

— Как бы тебе, Вася, не простудиться, — сказала она с заботливостью совсем близкого человека. — Да ты и голоден небось. Пойдем, покушаешь. Мы вчера отца твоего побаловали: пирог из картошки испекли, еще остался...

— Пирог — это хорошо, — сказал он, счастливо смеясь и держа ее руки в своих. — Ух, Надя, давно я пирогов не пробовал.

Он приблизил ее руки к своим щекам и сказал, поглаживая ими лицо:

— Так, значит, поживем вместе?

— Поживем, Вася.

Тут он опустил ее руки и схватился за грудь. Лицо его исказилось, словно он вложил в грудь раскаленный камень.

— Ты что, Вася, болен?

— Здоров.

— А грудь?
— И грудь... ничего. — Он наклонился к ее лицу, так как был выше ее. — Ты, Надя, иди... А я... тоже пойду.
— Куда? — Она теперь уже не выражала недоумения, а сердилась. — Куда ты пойдешь? Тебе надо увидать отца, сестру. У тебя что, задание есть какое?
На лице его опять мелькнуло сомнение.
Она повторила вопрос.
— Да, — ответил он.
— Так что же такое? — спросила она.
И виновато он ответил:
— Не могу сказать точно...
— Чего ты боишься, Василий?
Он опять подумал и ответил многозначительно:
— Заснуть.
— Ну и что же? Если опасность — разбудим.
— Боюсь заснуть... — повторил он, и ей показалось, что в ответе этом есть что-то такое, что ей не уловить, и это раздражало ее.
— Боишься проспать. Что? — И она сказала решительно: — Тогда идем вместе...
Он покачал головой.
— Почему нельзя?
— Нельзя.
Она всплеснула руками.
— Господи, Василий... Я хочу, чтоб ты мне сказал...
— А я и сказал...
Она взглянула ему в глаза и поняла, что он действительно сказал все, что мог.
Она опустила руки древним крестьянским жестом, выражавшим отчаяние.
— Ну что ж... иди, Василий. — И уже тихо вслед, про себя, добавила: — Немного пожито, а все прожито.

Он увидел на небольшом пригорочке трех гитлеровцев. Старший из них был, по видимости, офицер. Ему захотелось приманить офицера. Он издал приглушенный крик, который, по его мнению, должен был походить на немецкий.
Офицер поднял бинокль и, осторожно шагая по росистой траве, пошел вперед. Морозов подумал, что здесь бы у него с Корольковым непременно получился спор: кому бить первому?

Корольков считал себя снайпером, но и Морозов был стрелком не последним. Морозов сказал бы, что он бьет за унижение своей невесты, которую вынужден был оставить, даже не открывшись ей — из осторожности, — куда он идет и что он несет. Он бьет за своего отца и сестру, которые, покинув сожженную гитлеровцами деревню, живут, как звери, в земляной норе, а к тому же отец болен ревматизмом. Он не зашел к отцу проститься, так как не знал, кто там вокруг. Он должен, должен во что бы то ни стало, как давший слово, донести знамя... На все это Корольков ответил бы, что да, мысли у сержанта правильные, но у него, Королькова, немцы убили сына, и он, так сказать, вместе со своим сыном обязан стрелять первым, и он никак не уступит своего права сержанту потому, что сержант бьет хорошо, но он, Корольков, лучший снайпер роты... И тут спор и прекратит Гусев, который просто предложит ударить всем вместе.

Так вот, Морозов ударил за всех вместе!

Офицер упал мгновенно.

Упал, взмахнув руками в предсмертном хриплом вопле, но дивное дело, — упавши, ползет все-таки к своим, которые залегли.

Морозов ударил еще.

Офицер вздрогнул, — но ползет.

Морозов еще выстрелил.

Офицер ползет.

— Ага, тебе хочется уползти, фашистская шкура!

Еще.

Он бил по ползущему до тех пор, пока чуть ли не все патроны высадил. Наконец опомнился и притаился.

Немцы подняли головы. Он — в эти головы.

Метил хорошо парень.

Когда Морозов подбежал к трупу офицера, то оказалось, что он весь продырявлен. Морозов присмотрелся. От пояса офицера к солдатам тянулась длинная веревка. Гитлеровцы, выходит, шли по кочкам, связавшись, как ходят по ледникам альпинисты. И, значит, когда офицер упал, солдаты тащили его к себе, мертвого...

— У-ух, ты. Приказаний ждали. От мертвого?

Морозов протяжно и размышляюще вздохнул.

— Как сон. Что-то позавоевался я. Этак, того гляди, и к нашим не дойдешь. Надо осторожней, Морозов. —

И добавил: — Ну, я волнуюсь — ясно с чего. А немец, — узнать бы... — с чего это волнуется? Веревкой, вишь, связывается.

Ему суждено было узнать, отчего так нервничали и волновались немцы!

Но прежде того он долго крался среди опасностей и страхов много километров, все время испытывая тягчайшую и мучительную усталость.

Он пробирался в обход неприятеля по глухой, презлой и пречерной чаще леса. Каждый шаг — это значит — преодолевай либо топь, либо вязкий гнилой валежник, либо сплетенные острые травы.

Каждое мгновение, словно петлей, задерживало ноги, но он шел. Гитлеровцы, вооруженные пулеметами и автоматами, патрулировали все шоссейные и проселочные дороги.

Он не знал, — в отдалении находится его полк или где-то близко...

Временами его знобило, трясло. В особенности мучителен был озноб под утро, когда сырость наполняла все вокруг. Он прыгал, стараясь согреться, потому что сумрак еще не позволял идти.

И тогда-то находило самое страшное. Ему хотелось закрыть глаза и лечь, чтобы совсем не вставать. Наступит тот сладостный и длинный покой, какого никому не доводилось встречать.

Сон, сон, сон... Вот сейчас-то, как только появится солнце, снизойдет к тебе и сон. Мягкий, длинный, похожий на теплое течение широкой летней реки, синей-пресиней. Она понесет тебя без плеска вдоль отмелей с мелким и сухим песком.

«Днем надо спать, а идти ночью...» — шептал ему полусонный бред. «Нет. Сейчас надо идти. Днем. И всегда идти!..» — «Но ведь ночь невыносимо холодна, и, в сущности, ты, сержант, не спал уже...» — «Нет! Я спал. А если засну сейчас, днем, я уже никогда не проснусь. Меня найдут немцы...» — «Ты боишься смерти? Вздор! Ты ее никогда не боялся».

И он говорил сам себе, почти в бреду, во весь голос:

— Мне приказано не умирать. Нельзя мне умирать! Ни в коем случае... И спать нельзя! Надо идти.

Нельзя!

И он стискивал зубы, раскрывая глаза с усилием, как раскрывают ворота весной, когда тяжелый и темный снег еще не превратился в лужи.

Ему нельзя умирать!

Это он повторял ежеминутно.

Усталость шептала ему, что весь путь его наполнен случайностями. Случайно он встретил невесту. Случайно вышел и к селу Доезжалову и к своему колхозу. Случайно встретились немцы. И случайно убили Гусева. Случайно ранили Королькова. Так же случайно могут ранить и даже убить его...

Нет, его не убьют.

Ему нельзя умирать!

Он ощупывал знамя на груди и, шатаясь, почти падая, шел дальше.

Когда ему не хватало сил, он шел, опираясь на стволы сосен, от одной сосны к другой. Кора их была разная, то шершавая, то гладкая. Множество хрупких, часто меняющих форму теней, — голубых, розовых, — скользило у него под ногами. Что это такое? Почему?

Ему нельзя умирать. Ни в коем случае.

И он шел, падая, вставая, волоча за собой автомат, патроны, сумку с остатками пищи. Нельзя!

Иногда из густого леса он выходил на поляну, наполненную сильным светом. Он останавливался, протирал глаза. «Отдохнуть?» Но сейчас же, вспомнив о немцах и о знамени, которое он должен донести, шел дальше.

Он встретил несколько человек. Трое из них были солдаты.

Его вид ужаснул их, они точно ответили на все его вопросы. Они указали ему, где, как им кажется, стоит 84-й.

И тогда он опять пошел вперед.

Его уже меньше мучили мысли, рыхлые, как прах, который ветер поднимает и опускает, творя сухой и едкий туман...

Нет, он поступил правильно!

Тяжело, но правильно!

Прошел мимо отца, невесты, сестренки...

Кто знает, — расчувствовавшись, — разве он не мог им сказать, куда и что он несет? Мог. Он любил прихвастнуть.

Тяжело, но иначе нельзя!

Да и наконец, разве это не в их интересах? Разве им было б слаще, если бы его арестовали немцы, нашли бы знамя?! Родных его повесили бы тоже!

И он старался придумать для Нади то, что не успел сказать, что утешило б ее; произведен, мол, в капитаны и несу устное важное сообщение в штаб! И боюсь забыть от радости и жара твоего присутствия.

Он падал, вставал, опять падал, полз — и уже теперь не по километру, а только по метру в час двигался он вперед!

Он падал чаще и чаще. Впрочем, ему не казалось, что он падает, просто шаги несколько неуверенны, да оно и понятно: в него стреляют, его уже ранили в правый бок, контузили в плечо..

Нет, ни в коем случае ему нельзя умирать. Таков приказ.

И он выполнит его во что бы то ни стало.

Главные силы полка, пробиваясь к рубежу, намеченному приказом, вели бой.

Бой был тяжелый. Артиллерия выдалбливала проход в немецкой обороне. Полк устремлялся туда, но немецкий огонь был так силен, что полк ложился. Так повторялось несколько раз. И несколько раз приходил в ярость командир полка, хотя он и понимал, что перед таким огнем нельзя не лечь. Черт, и тот лег бы перед таким огнем!

Командиру полка доложили, что из подразделения лейтенанта Потапова пришел старший сержант Морозов.

— Привести сержанта!

И его привели.

Он стоял перед командиром, весь покрытый пылью и запекшейся кровью. Одна рука его была неумело перевязана. Голова его тряслась, глаза слипались...

— В чем дело? — спросил командир.

Морозов доложил:

— Боевое знамя полка находится при мне, товарищ подполковник. Приказ выполнен.

Командир от изумления отступил на шаг, вглядываясь в этого измученного, еле стоящего на ногах солдата. Командиру даже показалось, что солдат

бредит: такие у него воспаленные глаза и дрожащие губы...

Командир приказал:

— Развернуть знамя!

И старший сержант Морозов дрожащими руками стал развертывать знамя, побуревшее от его пота, потемневшее от его крови.

— Древко! — приказал командир. — Подать древко!

Появилось древко.

И тогда, не обращая внимания на усталость сержанта,— да и он сам не обращал на нее внимания, — подполковник приказал ему поднять развернутое знамя и пойти вперед. И сообщить об этом всему полку.

Сообщили.

Старший сержант Морозов шел.

Ветер колыхал знамя.

Ветер был чуть заметный, но Морозову казалось, что ветер разрывает его на части. Тем не менее Морозов шел.

И полк шел вперед.

Шел, не обращая внимания на огонь противника, шел, готовый взять любые препятствия, шел отчаянно.

Шел и брал танки и орудия. Шел так, что командир армии, узнав о подвиге 84-го пехотного, сказал, прикрывая шуткой свою радость (он был очень сдержан):

— Что-то нынче гитлеровские гости уезжают спозаранку!

И вот старший сержант Морозов стоит на холме, таком знакомом, покрытом кочками, которые все еще кажутся твердыми, словно закремневшими. Перед ним расстилается полосатое кочковатое холмовье, и низкие тучи, словно приняв на себя зарок идти только на этой высоте, несутся над лесом. Как будто ничто не изменилось. Даже древко от знамени, воткнутое лейтенантом, стоит по-прежнему.

Нет, не по-прежнему.

Нет лейтенанта Потапова. Нет его подразделения. Усыпав бесчисленными трупами неприятельских солдат и остовами танков все холмовье, подразделение

лейтенанта до последней капли крови стойко защищало дальние подступы к городу Ленина, защищало честь своего полка.

Полк выстроился по холму, и под холмом, и по всему кочковатому холмовью и отдает честь героям.

И у знамени, которое держит старший сержант Морозов, стоит подполковник и говорит пламенную речь в честь погибших героев.

Стоит Морозов и глядит вдаль, за лес. Там находится землянка, где его ждут отец, сестра и, может быть, невеста. Да, ждут непременно! Теперь туда можно пойти и рассказать, как и почему это случилось, что он не зашел домой, а свернул в лес и тем самым обидел отца, сестру, невесту. Но они люди, и притом наши люди. Они поймут, если разъяснить им. А может быть, даже и сами догадались раньше того... Они ведь понимают, что природа войны строго запрещает слабодушие, и тем более если ты стоишь у знамени...

Он смотрел вверх, на лесные вершины, над которыми стремились тучи. Туда, вперед, надо идти теперь, вперед. Ведь он теперь узнал, почему гитлеровцы нервничали и даже связывались веревочкой, как альпинисты, когда шли по ленинградским кочкам. Они узнали, что русские перешли в наступление, о-го!..

Сердце его ныло. Он мог хоть сейчас отрапортовать, что дойдет туда, куда нужно. Он знал это. Но его сердце ныло оттого, что ему хотелось наступать немедленно, сейчас. Он ждал приказа.

— Слушай, полк!..— раздался знакомый, уже подлинно ратный голос командира.

И сердце у старшего сержанта Морозова перестало ныть.

Оно услышало приказ.

Полку, под славным его знаменем, приказано продолжать наступление.

1943

ПРИ БОРОДИНЕ

Двадцать пятого августа, накануне Бородинского сражения, неподалеку от флешей — укреплений, получивших позднее название «Багратионовых», на плоском холме, поросшем вялым и редким ольховником, встретились братья Тучковы: командир третьего резервного корпуса генерал-майор Тучков-первый и шеф Ревельского полка генерал-майор Тучков-четвертый.

Всего братьев Тучковых было четверо, и все они вышли в генералы. На войне и в семье жили дружно; в походе и дома старались чаще встречаться. И надо бы им всем четверым встретиться перед этой великой битвой, да не пришлось: третий брат, израненный в жестоком бою под Витебском, полонен французами, а Тучков-второй лежал в лазарете, мучимый изнурительной лихорадкой.

Когда братья соскочили с коней, они обнялись и прослезились: каждый из них вспомнил о брате и поклялся в душе отомстить за него. Вслух же стали выспрашивать — какое кому дело поручено в предстоящем сражении.

Тучков-четвертый — красивый, стройный, волоокий мужчина в мундире темно-зеленого цвета, нервно проводя рукой по лбу, который он увеличивал, подбривая верхние волосы, сказал:

— Я, Вихрик, клятвенно могу поднять руку: лучшего дела себе и не желал — полк защищает флеши. С нами бог и Багратион! А ты куда назначен, Вихрик?

Братья в семейном кругу называли друг друга именами, оставшимися с детства. «Вихриком» прозвали в детстве старшего брата — за его жгучую, неукротимую стремительность. «Выг» — осталось за четвертым; он в детстве, совсем маленьким, увидав месяц, сказал: «Она — выгнутая назад», — и это показалось

забавным, стали это повторять, фраза сократилась, и теперь уже плохо помнили, что значит это слово.

— Поздравляю, Выгушка. Флеши — дюжее назначение! Будете вы на них стоять, как иллюминированная картинка, — вдруг с легким раздражением проговорил Тучков-первый. — А я вчера получил специальное распоряжение главнокомандующего князя Кутузова: вывести третий мой корпус к Старой Смоляпке, с тем чтобы обрушить его на неприятельский фланг и тыл, когда французы истратят последние резервы на левом фланге армии Багратиона.

— Прекрасно, Вихрик.

— Прекрасно? — дыхание, короткое, гневное, подняло широкие плечи генерала. — Нет, не прекрасно! Прекрасно молоко, а не известковая вода. Ты можешь говорить, что я смотрю ограниченно, — говори! Но какой же я секурс, какое у меня войско, когда ко мне, накануне битвы, в корпус на четыре тысячи регулярного войска добавили семь тысяч иррегулярного?! Ополченцев! Вооруженных одними пиками! Понимаю — московское ополчение, несут крест... Нет, сударь, это вам не иллюминация, это...

— Ты, Вихрик, всегда горячишься.

— А что же, мне бледным и почтительным быть, когда они с пиками и пики расставлены по всей дуге градусного круга? Гришка, дьявол! Подтяни подпругу! — свирепым голосом, с потемневшими глазами закричал он кавалеристу, державшему его коня.

Александр Алексеевич с удовольствием смотрел на некрасивое, но пышущее силой, свежее и надменное лицо брата.

Гневная вспышка улеглась. Тучков-первый, по обыкновению бодрый, смешливый, выдумщик, развеселился. Багровость с его лица еще не сошла, но он уже хохотал над тем, что его человек с испугу так затянул брюхо коня, что тот еле дышит. Затем он обратился к Александру Алексеевичу и стал рассказывать, как приехавший вчера управляющий имением попал под французские ядра и расплакался с испугу.

— У этого на всю жизнь след от войны останется, ха-ха!

Он прислонился спиной к седлу, конь пошатнулся. Генерал громко вздохнул, и по лицу его можно было понять, что он уже придумал, как приспособить мо-

сковских ратников и их пики к бою. И видно было, что выдумка эта ему очень нравится и что она будет очень неожиданна и очень страшна для французов.

— Выгушка, а ты письмо домой с управляющим пошлешь? — спросил он. — Быстро доставит, ха-ха! Посмотрел бы ты на его рожу, — лопатой испуга не снять!

Александр Алексеевич молча передал письмо. На адресе стояло имя жены его, Маргариты Михайловны. Прочтя адрес и взвесив на руке тяжелое письмо, Тучков-первый опять побагровел, но теперь уже по другой причине. Он очень любил свою семью, хотел бы писать им длинно, подробно, ласково, а письма получались слово в слово — приказ по полку. Это раздражало его, и он завидовал своему брату, письма которого всегда были образцом эпистолярного слога. Чтобы избавиться от этих глупых и унижающих мыслей, Тучков-первый поспешно спрятал письмо брата и опять заговорил о рекрутах, теперь уже снисходительно: он-то ведь знает, как поступить со своими рекрутами, со своими ополченцами! Ему показалось, что Александр Алексеевич невнимательно слушает его.

— Разве у тебя мало рекрутов? — спросил он. — Прислали? Сто? Двести? Каковы! Перед самым боем изволили прислать укомплектование! И они осмеливаются считать своим законным правом заботу о России! У, подлецы! Я бы не только на их имущество, я бы на них самих наложил полное запрещение...

Александр Алексеевич слушал плохо, но, чтобы не обидеть брата, заискивающе улыбался. Подобно другим офицерам армии, Александр Алексеевич боялся прихода в часть рекрутов: как бы хорошо ни были они обучены, они могут разжидить если не воинский строй, то воинский дух — деятельную и беспредельную ненависть к наполеоновским мародерам, к этой жадной и беспощадной ораве грабителей. Обычно боязнь эта оказывалась неосновательной, — рекруты быстро пропитывались духом армии, воспитанной в борьбе с Наполеоном, и через неделю-другую рекрута не отличишь от старого служилого. А все же стоит появиться толпе рекрутов, как офицер смущенно заерзает, покраснеет и начнет кричать беспричинно на приближенных, как кричал сейчас на человека, державшего

повод, Тучков-первый... Но не о рекрутах думал Александр Алексеевич.

Правда, думы начались с рекрутов. Сегодня на рассвете в его полк, так же как и в другие части, пришло укомплектование, разумеется не такое значительное, как укомплектование корпуса Тучкова-первого. Пришло сотни полторы здоровых, высоких и, видимо, решительных крестьянских парней. Александр Алексеевич осмотрел их и остался ими доволен. Лицо одного рыжего парня с толстыми щеками и широкой грудью показалось ему знакомым. Александр Алексеевич спросил имя и фамилию рекрута. Гулким голосом, хотя и чуть пришепетывая, рекрут прокричал.

— Степан Карьин, ваше превосходительство!

— Во втором взводе у вас, Иван Петрович,— обратился генерал к поручику Максимову,— никак есть Карьин? Да этот и лицом схож?

— Марк Карьин тебе кто будет?—спросил поручик у рекрута.

С неподвижным лицом, тем же гулким голосом рекрут сказал:

— Отец, ваше превосходительство!

— Позвать сюда унтер-офицера Марка Карьина,— приказал генерал.

Вытирая на ходу руки о штаны, синеватый от испуга, прибежал и вытянулся перед генералом унтер-офицер Марк Карьин. Лицо его действительно походило на рыжее и мясистое лицо Степана, но война сильно выщелочила его: оно и суше и решительнее. Превосходное лицо солдата! При виде этого лица генерал вспомнил Суворова, которого ему удалось видеть однажды в детстве, вспомнил его голос, режущий воздух, как хлыст с кусочком свинца на конце, и с несвойственной ему резкостью в голосе сказал:

— Унтер-офицер Карьин! Рекрута Степана Карьина возьмешь в свой взвод!

Поручик Максимов скомандовал рекруту «вперед — марш!» — и рекрут Степан Карьин пошел за своим отцом. Генерал тоже повернулся и пошел в свою палатку. На барабане перед ним лежали листы бумаги; в бисерном футляре — чернильница, в граненом голубом стаканчике — перья... А письмо не писалось! Вернее сказать, писалось, но писалось не то.

Привязалась почему-то длинная и нелепая фраза: «Она так прекрасна, что даже непролазно сонные будочники смотрели ей вслед по улице, удивленно качая головой, пока она не скроется из глаз», причем фраза эта звучала в голове то по-французски, то по-русски. Он знал, что никакие раскрасавицы не проймут будочников. Да и что ему будочники? А фраза между тем стучала и стучала в мозг, как молоточек. «Будочники, будочники... — думал он, с улыбкой вынимая и кладя перо в граненый голубой стаканчик.— Будочники...» Он боялся думать о любви — и думал о любви.

Ему тридцать шесть лет, а Маргарите Михайловне тридцать один. В эти годы у других людей от любви остается, как при сожжении чего-либо растительного, дым, сажа, вода... А тут получился недожог, остался уголь, — и уголь тот еще в огне! Он и так и по-другому поворачивал в сердце этот тлеющий сладостно и горько уголь; ему страстно хотелось рассказать жене об этом томлении, которое при виде ее прекрасного лица вспыхивает огнем. И ему страшно было сознаться, что он не мог выразить этого. Оттого сейчас любовь его к Маргарите казалась ему обманом, который он тщательно скрывал от себя самого. Он давал думам волю, надеясь, что найдет те слова, которые надо положить на бумагу, а вместо того вдруг перед глазами вставало поле, холмы, поросшие березой и ольховником, недоделанные укрепления, поле, где решается вопрос жизни России, где разрядятся чувства, наполнявшие людей наших, чувства, обостренные отступлением... Бородинское поле!

Боясь показаться нескромным, а если украсит себя в предстоящей битве, то и чванливым, Александр Алексеевич, однако, писал слова о родине и россах, — и слова эти словно бы определяли границы его мышления, его чувств. Прикованный мыслью к Бородинскому полю, он замирал и не находил слов, которые вместе с этим говорили бы о любви его к Маргарите.

Тут ему вспомнились лица Карьиных, отца и сына, оба рыжие, мясистые, грубые, земляные.

Вот этим легко! Они в передней чувств не толкутся. Ушел — и с глаз вон. Встретились — и не велика важность. Смотрите, как, почти не взглянув друг на друга, они пошли во взвод унтер-офицера Карьина, не

выразив ни печали, ни радости. Да, таким легко — у них на все чувства один замок: два поворота ключом — закрыл, два поворота — открыл... Да, им легко!

...А им вовсе не было легко. Степан Карьин пришел из семьи в четыре работника: такой семье в такую войну — все понимали — ставки не миновать, и быть в той ставке Степану. Степан понимал это и сам сказал: «Лоб!» И уходить все же куда как трудно! В полях — уборка, на руках — молодая желанная жена, на которую смотрел, задерживая дыхание, да и женился к тому же недавно — весной.

И немного прошло времени, как расстались, немного промаршировал под барабанный бой и команду «сомкнись!», а какая тоска, какая мука и в какое долготерпение надо погрузиться, чтобы не думать о ней, о жене!

Они с отцом сидели на краю небольшого, с высокой отавой лужка. Позади, в березнячке, расположился Ревельский полк, за березнячком меньше чем в полуверсте находились флеши. Приближался вечер. Отец, хмурясь, нетерпеливо, с преувеличенным вниманием расспрашивал о деревне. Сын нескончаемо подробно, кротким голосом, отвечал ему. Отец пугал его. При отце Степан сам себе казался мешковатым, скучным и неповоротливым, хотя на самом деле он знал всю подноготную тяжелого кремневого ружья, которое выдали ему, все «экзерцисы», и даже отмечен был при стрельбе плутонгами [1].

И отцу Степан казался неуклюжим, пустым: этот и мушки на дуле не разглядит, а ведь грудь подходящая, как раз такая, какая требуется для военной работы! Марк Карьин вздыхал, и ему казалось, что генерал, отправляя сына в его, Марка, взвод, тем самым намекал, что и он, генерал, видит в сыне его неладное, требующее исправления. Марк присматривался, с какой бы стороны приступить к исправлению, исправлению немедленному, так как назавтра великий бой и опытные солдаты уже моют рубахи, обряжают себя.

— Ну, хватит! — сказал решительно Марк. — Жить им в деревне долговечно, а нам к неприятелю

---

[1] Плутонгами назывались тогда взводы. *(Здесь и далее прим. автора.)*

быть долгорукими. Ты, Степан, слушай отца! Порох нам ноне выдадут хороший, мушкетный, пули льют в нашем полку тоже хорошо, на снаряженье не пожалуешься. А бою быть лютому, чую. А ты как, чуешь?

— И-и, что ж, — сказал вяло Степан. — Побьемся, раз лезет.

— Ружье в нашем полку крепкое, отдает так, что человек может развалиться али язык сам себе откусит. Так ты, перед тем как огонь дать, вперед наклоняйся, слышишь? Откусываешь патрон — думай, чтоб порох губами не замочить. Теперь дальше. Сыпешь ты часть заряда на полку — следи, чтобы пороху лишнего на землю не просыпалось. Отдачи не бойся, порох береги. Понял? — Он остро посмотрел на сына. Сын смотрел вокруг себя, как бы ища ружье: он хотел этим выразить свое внимание отцу. Отец же подумал другое, нехорошее, и голос его погрустнел, а речь стала торопливая: — Быстро высыпай порох в канал, прибивай пыжом! Ночь, вижу, будет сырая — ишь понизуто туман крадется. Я тебе дам промасленную тряпку, ты ружье укутай, оно тебе завтра жизнь спасет. Слышишь, дурья голова?

— Слышу, — сказал Степан, глядя в небо.

Высоко в переливающемся, как закаленная сталь, небе летели журавли. «К ней, в ее сторону», — подумал Степан, и ему почему-то вспомнились большие висячие уши дворняжки, которая всегда выбегала к ней навстречу. Жена поднимала крутые плечи и смеялась. Расшитые подплечики ее рубашки дрожали... Степан не удержался и сказал в небо, как в детстве, когда желали журавлям, чтобы они вернулись:

— Колесом дорога!

— Ты чего? — строгим голосом спросил отец.

Степан забормотал:

— Бабка Ворониха говорит: раз журавли к третьему спасу летят — быть ранним морозам, а нет — так зима позже...

Отец молчал. От журавлей мысль Степана опять вернулась к дворняжке с висячими ушами, от дворняжки — к подойнику, который так легко умела носить жена, от подойника — к ее пальцам, которых вдоволь не расцелуешь... Он покраснел и сказал:

— Да, я тебе никак не успел сказать: Бурешка-то наша полегла!..

— Говорил ты уж... — хмуро пробормотал отец.

Степан пытался удержать себя, но других слов не находилось. Ему виделась эта Бурешка, тонкомордая корова с белым пятном на лбу, чудились пиликающие звуки молока, падающего в подойник... и маячили руки. Он говорил и говорил про корову: какая она удойная, какие у нее крепкие и сильные телята, — за сотню верст кругом знали про Буренушку! И надо же такой золотой, царской корове пасть перед самым его уходом! Плохо теперь будет хозяйству, совсем плохо! Когда он уходил из дому, дурной запах почудился ему, затхлость какая-то... Не к добру!

Марк смотрел в печальное лицо сына и думал: «Какой это солдат? Оскорбился, что корова сдохла! Убыток, верно, большой. Да ведь нынче вся Расея требует подпоры! На что выдумал жаловаться!» Но Марк знал, что сын у него безугомонный и что тут одним криком дела не поправишь. А злой крик уже подступал к горлу... Марк удержал себя, даже закрыл рот рукою. Он встал и, не говоря ни слова сыну, с крайне тяжелым чувством огорчения направился к генералу. После долгих переговоров — денщик был одного села с Марком — денщик согласился пойти в палатку. Генерал сидел в палатке на турецком ковре. Перед ним стоял барабан; на барабане — графинчик с водкой и два огурца. Графинчик был не почат, огурцы не надкусаны. Александр Алексеевич только что вернулся со свидания с братом. На душе его было грустно. Он отправил письмо, так и не выразив всех чувств, которые, он знал, надо было выразить! К чему тогда образование, множество прочитанных книг, к чему виденные заморские страны, встречи с умными людьми?.. Он с радостью услышал о приходе унтер-офицера Карьина. Этот грубый, колючий и искристый, как снег, солдат, глядишь, избавит его от мучительного томления. Хотя солдат был брит и опрятен, генералу он показался косматым и свирепым, как рысь. Александр Алексеевич сказал ласковым голосом:

— Говори, служивый, не бойся. Кто обидел?

— В нашем полку, ваше превосходительство, кто службу обидит, — высоким и неприятно заискивающим голосом начал Марк Карьин. — Вот сын приехал, ваше

превосходительство. Спасибо, что заметили, обозначили. — И без того вытянутый, он вытянулся еще больше и проговорил отчетливо, с расстановкой: — А сын-то, ваше превосходительство, печалится. За дён пять, как ему рекрутом идтить, пади у нас Бурешка, корова. И хорошая была корова! А пала. Теперь в хозяйстве урон, беда. Он и тоскует...

— Еще бы не беда, — холодным голосом сказал Александр Алексеевич. — Корова в хозяйстве у мужика много значит.

— У, господи, — забыв о ранжире, взмахнул Марк руками. — Еще бы да не много, ваше превосходительство. Вот я и говорю: «Степушка, ты не беспокойсь, ты смири сердце, у тебя все вернется». Так оно и есть!

— Что — так оно и есть? — еще более холодным голосом спросил Александр Алексеевич.

— Да я говорю: его превосходительство подумает. Он пишет домой-то почесть каждый день, вот и напишет матушке барыне Маргарите Михайловне: «Так, мол, и так, у того унтер-офицера Карьина и у того рядового Степана, сына его, подохла коровенка, так ты выдай телушку хоть. Из тех породных, что халадскими зовутся...» Ведь наше-то село рядом, ваше прево...

Александр Алексеевич отвернулся. Через подвернутый край палатки видны были купы деревьев — тьма словно обрезала их ветви — и за деревьями аметистовое мигание костров, которое бывает всегда после заката, в сырой вечер. Сырость преуменьшала зарево, видневшееся в стороне Семеновского оврага, там, где расположен корпус Тучкова-первого. Зарево разгоралось, и чудилось даже потрескивание, выделялись отдельные предметы — то конь, то журавль колодца, то колокольня какой-то белой церкви... Так рассказчик, развивая свою мысль, добавляет то или иное описание, подробность... Вот хотя бы рассказ об этой корове.

Вздрагивая от сырости, генерал сказал:

— Ладно, ладно, служба! Я завтра же напишу Маргарите Михайловне: получите корову. Иди, служивый, иди отдохни! Завтра — бой!

Солдат сделал быстро «кругом» и скрылся за полосой света от костра, который денщик уже развел возле палатки. Зарево у Семеновского оврага, возле Старой Смолянки, исчезло, будто его отдернули, как занавес.

Со стороны французского лагеря доносились мотивы знакомых песен. На душе было печально. Тоже грифоны! Пришли в чужую страну и поют. Или они думают, что завтра им предстоит праздник, а не русский бой?..

Генерал попробовал прилечь. Но сон не шел в голову. Он покинул палатку. Отовсюду несло кашей. Кашевары с большими ложками у больших котлов, приподнявшись на цыпочки и щурясь от дыма, брали пробу. Генерал невольно подумал, что вот сейчас унтер-офицер Марк Карьин и его сын Степан сидят у костра, ждут ужина и, наверное, говорят о корове. Внезапно, с каким-то томлением, генерал подумал: «Нет, не может того быть!.. Чтобы суворовские солдаты!..» И, накинув плащ, он пошел направо, в лесок, где была расположена рота поручика Максимова.

Полк жил своей обычной, несколько торопливой предночной жизнью. Поужинавшие солдаты крестились в сторону восхода. Другие укладывались спать, положив рядом с изголовьем чистые белые рубахи. Некоторые из солдат спали на спине, раскинув руки, как крестьяне после работы. Старые, поглядывая в сторону пылавших неприятельских костров, рассказывали об итальянском походе в Альпах. Тягости не чувствовалось, наоборот — видна была на лицах хорошая, предбоевая важность. Увидав плащ генерала, солдаты охотно вставали и отдавали честь. Им было приятно, что вот они укладываются спать и некоторые уже спят, а генерал ходит среди них, беспокоится. Откуда-то прорвался ветер, захватил лапами деревья и потряс их: ветви закачались на фоне колеблющихся костров. Генерал увидел унтер-офицера Марка Карьина. Зажав коленями сапог, он с напряжением в лице доканчивал шов... И опять генерал подумал, хотя лицо Карьина, казалось, говорило другое: «Не может быть, чтобы суворовские солдаты!..»

Услышав голос генерала, Марк Карьин вскочил, держа в руке судорожно скомканное голенище. Генерал ласково сказал:

— Сиди, сиди, служба! — и, помолчав, добавил: — Что же, передал ты своему сыну о корове?

Рядом с унтер-офицером генерал разглядел голову его сына. Теперь, при свете костра, лицо сына казалось менее грубым. Глаза его блестели совсем особенно,

каким-то жемчужным блеском, и странны были его руки — не по-мужичьи гибкие, мраморно-белые. «Нет, не о корове он думает», — сказал сам себе генерал и перевел взор на отца. Широкий, упругий, настоящий суворовский солдат стоял перед ним! «Нет, и этот думает не о корове. То есть думает обо всех коровах, которые пасутся на всей нашей земле, и о всех пастухах ее, и о всех, кто возделывает землю и собирает плоды!»

Александр Алексеевич почувствовал себя хорошо и рассмеялся неизвестно чему. Солдаты, которых незаметно скопилось возле костра уже много, тоже рассмеялись. Тогда генерал достал трубку, закурил от костра и сказал Степану:

— Вот что, молодой служивый. Я узнал, что твоя семья потеряла отличную корову. Я помогу достать другую, не хуже. Я знаю, что ты сейчас не о корове думаешь, и унтер-офицер Карьин думает не о корове. Но и корова — ничего, сгодится, верно?

Отец и сын в голос, зычно ответили:

— Так точно, ваше превосходительство, покорнейше благодарим!..

Но другое чувствовалось за этим ответом. Не о корове думы Марка Карьина! Утвердившись на мысли, что сын его действительно способен думать перед боем только о корове, старый солдат пришел за помощью к генералу. И как приятно понять, почему нахмурены сейчас эти старые, поседевшие в боях брови и почему сдвинуты эти крепкие ноги. И как приятно понять молодого солдата, еще не совсем оторвавшегося от дома, еще наполненного мыслями о красавице жене, но уже готового к бою, уже понимающего смысл и необходимость боя. Генерал сказал:

— Степан, я буду писать домой, напишу, чтобы Маргарита Михайловна почаще заезжала к твоим и писала мне о жене твоей. А потом тебе ответ передам. Спокойной ночи, братцы!

И он, четко топая сапогами, ушел. Он шел и протяжно зевал, словно исполнил какую-то большую и приятную работу. Ему хотелось крепко выспаться перед боем, но он не лег. Придя в палатку, он сел у барабана и взял перо. Сначала не писалось. Он бессмысленно глядел во влажную и пахучую темноту ночи. Костер потух. На светло-графитном небе, словно крупицы пороха, пробились звезды. Слабый ветерок чуть шевелит

полу палатки, будто скребется кто-то... И вдруг в сердце словно ворвалось что-то огромное, свежее и душисто-серебряное. Очарованный этим почти нечеловеческим чувством, сознавая, что оно приходит в жизни единожды, Александр Алексеевич стал быстро писать своей жене. Уже слова не казались ему пустыми и тусклыми; крупные и словно ярко-пунцовые фразы ложились на шероховатую, чуть влажную от вечерней сырости бумагу. Он писал о любви к ней, о любви к своему дому, к своей матери, братьям, селу, России. Ради этой горделивой и святой любви он и его солдаты — если потребует бог, родина, полководец — положат свои жизни. И вы все, оставшиеся жить, поймете это и будете жить так, как необходимо богу, родине, полководцу!

Он писал и не чувствовал, что всхлипывает, что все лицо его мокро от хороших и горячих слез...

— Проворней заряжай! — кричал унтер-офицер Марк Карьин, поминутно угрюмо поглядывая на сына, как тот «саржирует» — заряжает.

Степан саржировал хорошо, и понемногу лицо Марка Иваныча стало светлеть, и ему было легко, словно опадала опухоль. Он оборачивался к поручику Максимову. Поручик то и дело командовал барабанщикам: «сбор», «унтер-офицерам — на линию», «вперед равняйся — марш», «батальный огонь», «сомкнись», «не кланяйся ядрам, ребята...».

Шел бой. Было Бородино.

Полк равнялся, выходил. За частоколом флешей дымила пыль. Сквозь нее шли французы. Передний, высоко поднимая ногу под барабанный бой, нес на палке сверкающую штуку, похожую на круглое долото. Поглядев на эту штуку, поручик Максимов поставил рожок с порохом, оглядел затравки у пистолета и подсыпал на полку пороху. А затем поручик, так же высоко задирая ногу, как французский знаменосец, шел впереди своей роты. И была схватка — рукопашная, русская!

Но и враги крепки. Французы начали атаки, как только после обильной росы обсохла трава, часов в семь. К одиннадцати утра сделали уже восемь атак. Генерал Компан водил войска в атаку дважды. На второй раз свалили генерала русские. Взамен Наполеон послал

генерал-адъютанта Раппа. Свалили и Раппа! Наполеон приказал маршалу Даву вести войска на флеши. Даву повел, ворвался во флеши... Багратион приказывает контратаковать!

Поручик Максимов приказал роте строиться, вести батальный огонь. Поглядел на полк... прекрасный полк! С горящими глазами стоит у знамени Тучков-четвертый, и лицо у него такое, точно ниспослана ему высочайшая благодать. Вот генерал смотрит — через все роты — в лицо унтер-офицера Карьина: таков ли? И генерал улыбается: таков! Вперед, ребята, за отечество!

— Ура-а!..

Французы тяжко падают в размягченную и грязную землю. Их топчут неудержимые кони, колеса орудий, артиллерийских повозок. Их лица теряют выражение развязной удали, и беспокойное раздумье, а то и разочарование появляется на них. Французы выбиты из флешей. Маршал Даву контужен и упал вместе с лошадью. На смену ему, в буйной и пестрой одежде, на идущем размашистым шагом породистом коне приближается король неаполитанский — Мюрат. Поодаль атаку короля поддерживает маршал Ней. Таков приказ императора Наполеона. Низенький, в низкой шляпе, он наклоняется вперед и, поглаживая себе колени, покашливая и усмехаясь, вглядывается в бой... Странный бой! Странны русские! Тревожит их упорство, оглушительны их батареи. Что за постылая страна?!

Одиннадцать утра.

Снова на флеши идут двадцать шесть тысяч французов, знающих свое дело, наторевших в победах. Они идут звучным, как песня, шагом; златозвонно колеблются над полками императорские орлы, залихватски бесшабашно гремят барабаны. Король Мюрат и маршал Ней ведут войска. Виват, виват, виват!..

Против этих двадцати шести тысяч стоит восемнадцать тысяч русских — и все! Резервов нет. Отступать нельзя. Надо стоять. И стоят Марки и Степаны Карьины, стоят и падают, падают и поднимаются, наспех перевязывают раны, идут врукопашную. Пораженный картечью, смертельно ранен Багратион. Контужен начальник его штаба Сен-При.

Портупей-прапорщик Тоськин держит полковое знамя. Он моргает и время от времени, когда над пол-

ком летит ядро, мнет рукою лицо. Полк, осыпаемый картечью, стоит без выстрела, держа ружья под курок. Впереди полка прославленная рота поручика Максимова, а впереди роты — унтер-офицер Марк Иванович Карьин и его сын Степан.

Генерал-майор Тучков-четвертый в кожаном картузе и темно-зеленом спенсере с черным воротником и золотыми погончиками ждет, слегка покачиваясь от напряжения и легкого опьянения боем. Он счастлив, как никогда. Все окружающее — войска, ядра, облака в высоком и узорном небе, выстрелы и даже смерть кажутся ему веселыми, воздушными и вкрадчиво сладкими. Он вглядывается в приближающихся французов, видит скачущего короля Мюрата и чувствует, что всего его охватывает грозная злоба. И все, кто окружает его — он знает это, — тоже охвачены этой злобой. Еще три, пять минут, и они ринутся!..

И ему мерещится белая фуражка брата и его лохматая, как жнивье, бурка, которую он носит всегда во время боя. Он выстроил каре гренадер, свой любимый Павловский полк, и тоже шагает вперед. Он выходит из оврага, что перед Утицей, и проходит развалины сгоревшей деревни. На улице мечется голосистая белая курочка, а у забора, в крапиве, лежит мертвый мальчик... Вперед, за отечество!..

— Вперед, за отечество! — крикнул Александр Алексеевич, выхватывая у портупей-прапорщика Тоськина полковое знамя. Тоськин, зная, что так надо, тем не менее без охоты отдает знамя, а отдав, выхватывает тесак и шагает плечо в плечо со своим генералом. Барабанщики бьют марш-поход. Полк идет навстречу французам. Впереди — рота поручика Максимова, и в этой роте, со знаменем в руке, генерал-майор Тучков-четвертый, а налево, через пять шагов, Марк Карьин — унтер-офицер и его сын Степан — рядовой...

Было тихо и совсем почти стемнело, когда к безлюдным флешам, покрытым трупами, подъехал верхом на коне человек небольшого роста, в сером до колен сюртуке и низкой треугольной шляпе. Он поглядел на траверс — поперечную насыпь в укреплении. В траверсе, вместо русских, лежали мертвые французы. Небольшой человек в сером с трудом нашел среди них нескольких русских солдат и двух офицеров, один из которых был,

по-видимому, генерал. Обратили его внимание также и лица двух солдат — рыжих, спокойно величавых, похожих друг на друга. Это были Марк и Степан Карьины, а мертвый генерал — Тучков-четвертый. Пуля навылет убила его. Мертвые очи генерала смотрели не на человека в сером, хотя он и был императором, а на юг, где, возле Утицы, должен был стоять корпус Тучкова-первого, брата его. Мертвые очи не видели, что и Тучков-первый ранен смертельно. Не знал генерал Тучков-четвертый, что мать его, проливаючи неудержимые слезы, ослепнет от слез и горя; что прекрасная Маргарита Михайловна пострижется в монахини и построит монастырь над тем местом, где погиб муж ее. Не знал он... Да и зачем ему было знать?!

Из-за укрепления показались санитары. Они осторожно, зная, что возле укрепления остановился император, несли смертельно раненного гренадера, из тех, которых вел Мюрат. Гренадера, перед своей смертью, ранил Марк Карьин, — и очень обрадовался тому, как ловко работают он, старик, и сын его рядом. Чтобы утешить гренадера перед смертью и чтобы побольше было записано в истории красивых и звонких слов, человек в сером громко спросил:

— Сколько взято пленных?

Умирающий гренадер, словно сквозь сон, услышал вопрос императора и подумал, что вопрос этот обращен к нему. Умирающему незачем выслуживаться, он имеет право говорить правду, а кроме того, умирающий видел, что русские своей обороной разбили то непобедимое и блестящее, что было его, гренадера, жизнью. Вот почему гренадер из последних сил сказал:

— Ваше величество, они не сдаются живыми.

— Eh bien! Nous les tuerons! [1] — быстро ответил Наполеон, и было в его голосе такое, что ему самому, если б он пожелал прислушаться, могло показаться страшным.

Одно короткое, чрезвычайно тоскливое мгновение сказало ему, что существует не только Аустерлиц, но и Бородино; что отсюда, с этого дня, он вынужден будет повернуть и политику свою и, что горше всего, стратегию: всегда нападающий, он перейдет к обороне... Но он

---

[1] Превосходно! Мы их уничтожим! (*франц.*)

не остановился на этом мгновении, а, сделав сияющее и праздничное лицо, стал смотреть поверх укреплений на восток — туда, где, по его мнению, его ждали всемирная корона и всемирное раболепие.

Восток был в летучей, мерцающей дымке, где-то переходящей в глубокую тьму. Во тьме этой незыблемо и стародавно с голубоватым блещущим отливом светились огни. Это были костры русской армии, фронта которой так и не удалось прорвать Наполеону при Бородине.

1943

БЛИЗ СТАРОЙ СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГИ

В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.

Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнущей ванилью, закрывали какую-то деревню.

— Горки?

— Горки, — недовольным голосом отозвался кучер. «Ахти, батюшки, — думает он. — Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император небось уже скачет по Москве». Даже карета митрополита, темно-бронзовая, блестящая, похожая на садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их.

Тарантасы, туго набитые купечеством. Скрипучие дрожки, пахнущие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые солнцем до дна толстые офицерские баулы со спящими на них неимоверно пьяными денщиками. Прямоволосые монахи и пышноволосые дьяконы, покрывающие своими нахальными голосами трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колониальных товаров. Кирасиры на раздутых и надменных конях. Уланы на «стёпистых» — колесом шеи... Дальние помещики с крикливо-напыщенными голосами. Кухонные мужики. Плетенки с птицей, не зарезанной еще и по этому поводу радующейся: гогочущей, кукарекающей... Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи... И надо всем этим пыль, пахнущая ванилью, — должно быть, оттого, что по дороге, перед проездом государя, разбросали множество еловых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни — вслед за зрителями идет стопятидесятиты-

сячная масса войск, бывших при открытии Бородинского обелиска.

Утомленный, чувствуя жестокую, возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властностью, приказал кучеру свернуть на Псарево и проселком выехать к холмам, на старую Смоленскую дорогу, в том месте, где, позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад стояли в ожидании боя полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.

Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а более того — еще раз увидать былые места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят шесть... И двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в новеньком ополченском мундире, жавшем под мышками, стоял в кустарниках: «Ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело...»

Он смотрел на хуторок, мимо которого катилась коляска, и ему за жнивьем представлялись клубы сизого дыма, словно тысячи огромных кулаков, неизвестно кому грозящих... Земля содрогалась и была шершава, как шагреневая кожа. Ах, какой был тогда косматый и грубый день! Видишь его туманно, будто сквозь прокоптелое стекло, и тем не менее сердце болит попрежнему.

Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутином, сложились строфы «Певца во стане русских воинов», поелику «защитой бо града единый был Гектор». Здесь — защищая Москву — родились эти слова, что в тысячах списков разнеслись по всей России. Хорошей болью болело сердце, когда писались эти строки, воспевающие беспредельную решимость биться за родину, отчизну, землю, семью...

Длинный кухонный обоз, видимо принадлежащий какому-то генералу, важному и родовитому, громыхая, выходил на проселок из кустов. А там, в кустах на полянке, лакеи доедали остатки обеда, хохоча над каким-то дурачком, который плясал перед ними, высоко вскидывая ступни, широкие, растоптанные, с отдельно торчащими пальцами, так что они походили на птичьи лапы. Василий Андреевич видел и пляску, и лакеев, и даже кусок гусиного крыла во рту лакея, — и не видел ничего.

Ему представлялась его семья, мать... дивная, какая-то вся прозрачная, турчанка с длинными, заостренными ресницами над древними, медленно разгорающимися глазами. Как она попала сюда с лучезарного Босфора в прохладно душистую Тульскую губернию? Ах, не нужно думать! Жизнь — это пропасть слез и страданий. Помещик Бунин прижил с нею ребенка. Много лет спустя этого ребенка и мать взяли в семью помещика, — все же мать должна была стоя выслушивать приказания барыни. И сын этой турчанки, лицо которой всегда казалось иззябшим, стоя выслушивал приказания жизни:

Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! Счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел...

Вспоминается ему пугливый и тревожный дом Протасовых в Белёве. Поседелые от пыли и равнодушные окна, за которыми даже лазурь неба кажется серой; и мечтательная Маша Протасова с росистыми, мерцающими глазами. Он преподает ей русский язык — такой лунно-нежной и ласковой. В 1812 он у Е. А. Протасовой — крутой и незыблемой женщины с мрачными буклями над кремнистым и презрительным лбом — просит руки старшей дочери Маши. Гордо сжав губы, ему отказывают. Он уезжает в Москву. Ополчение, «Певец во стане...» и жаркий тиф, от которого остались в памяти трепещущие коралловые пятна далеких островов в неизвестном море... Еще раз он просит руки Маши. Еще раз ему отказывают... Маша выходит за профессора Мейера, а любовь по-прежнему наполняет его, так что никакие тряски дорог, никакие придворные ступени — а он поднимался по лестницам дворцов не только России, но и всей Европы, — не вытеснили его любви.

...Он услышал тягучий голос кучера:

— Василий Андреич, прикажешь у кустов ждать али на дорогу выехать да стегануть, покамест войско-то не догнало? Вон их сколько! Ведь их пропускать — к утру в Можайске не будешь!

На западе в сизоватых тенях вечера колебалось теплое и пурпурное облако пыли. Слышался мерный шаг пехоты. Трепетно скользил беглый блеск штыков. Обрывисто замирала песня, будто и в этом поле тесно ей, беспредельной, самозабвенной, русской... Василию Андреевичу приятно было ощущать рукой узорчатую

ветвь кустарника, смотреть на стадо, в зыбкой голубовато-зеленоватой дымке поднимающееся по косогору, приятно было чувствовать себя сумрачным, седым и таинственно тоскующим. Он хотел сказать: «Постоим, пропустим войско», — да не успел. Он вздрогнул от раздавшегося возле самого плеча женского голоса:

— Барин, батюшка! А то не тучковский полк идет?

— Какой — тучковский? Нет в армии такого!

В мохнатом малиновом луче заходящего солнца он разглядел в кустах старуху, одетую в длинный крестьянский зипун с широкого, должно быть чужого плеча, сильно потрепанный по краям. Старуха, стоя спиной к солнцу, торопливо запахивала рваные полы, за спиной ее колыхалась котомка. Голос у нее был испуганный, молящий, а лицо с крылатыми седыми бровями являло следы былой красоты. Надо полагать, то была богомолка, которой до гробовой доски ходить по монастырям да купеческим прихожим... Не нравились эти серые лица Василию Андреевичу.

— Иди, иди, старуха, — сказал безжизненным голосом кучер. — Иди, вот тебе кусок... Иди. Говорят тебе — нет такого полка. Чего тебе лезть?

— Иду, иду, батюшка, — торопливо отозвалась старуха, — и не надобно мне твоего куска, иду. А только сделай божеску милость... уныло у меня на душе... Земля вон, и та сотряслась, да и замерла, отдыхает, а я не могу. Ты мне скажи: не тучковские ли солдаты идут? Тьма-тьмущая войска идет, где мне разобрать, старой да грешной, где разобрать, и так быдто под колоколом, такой шум... весь день тучковский полк ищу...

«Какой тучковский? — подумал Василий Андреевич, глядя на мутно-мраморное лицо старухи. — Ах, да! Не тех ли двух братьев Тучковых, что пали при Бородине? Сегодня, кстати, при открытии обелиска показывали инокиню Марию — вдову Тучкова, что постриглась после смерти мужа... Как она постарела, однако! Да разве имение Тучковых здесь?.. И полк Тучкова — какой же! Путает что-то старуха».

Он опять обратил глаза к стаду. Было в стаде что-то стерновски трогательное. А его коляска — разве не коляска в Кале, и он сам не Йорк, и эта старуха не напоминает отца Лоренцо? Ему захотелось поговорить со старухой. Указывая на стадо, он сказал:

— Хороший скот, матушка. Тучковых?

— Не-не, батюшка, — торопливо заговорила старуха. — Зворыкиных будет скот, Зворыкиных, Тучковых здесь нетути. Тучково войско идет, мне бы на его посмотреть, батюшка... да вот хожу весь день, и все народ попадается жоской, будто кора на нем медная, прости господи... А стадо, батюшка, зворыкинское, они крупный скот держат, у них, сказывают, бык пятьдесят пудов весу...

— Эка, бабка, хватила! — сказал кучер, покачивая плечом отлично пахнущую свежей кожей, розовато-сизую от вечернего солнца коляску. — В пятьдесят пудов каркадил бывает, а ты — бык. Быку настоящий вес — от силы двадцать пуд, ты — полсотни. Откормила, ха!

Старуха Агриппина Карьина встала сегодня ранымрано, когда пухлая синева лежала еще по всей земле. Бесшумно ступая, вышла она на крыльцо избы и посмотрела на небо — каков-то нонче день? Вчера Илья, второй ее сын, — старший жил в Москве — отпустил ее с трудом. Да и как отпустишь? Хлеба, несмотря на долговременную засуху, густы, большеколосны; сжать их сжали, надо молотить поскорее, пока не ударили дожди, а они, судя по всем приметам, близко. Илья, жадный и спорый на работу, молотит с утра до ночи, цеп его стучит, высоким и крылатым говором выговаривая: «урожай, урожай», и непонятно ему, зачем стремится мать к Бородинскому полю. Верно, был случай: полегли на том Бородинском отец его Марк Иваныч и брат Степан, но ведь было это двадцать семь лет тому назад! «Панакидку» отслужить? Почему же не отслужить? Зачем только сейчас, когда такое горячее время, когда весь ты от работы в липком поту, как в меду? Вот отвезем тяжелые возы с зерном, засыплем его... привезем домой белесоватые мешки муки, испечем пироги, — вот тогда можно и «панакидку»! Непонятно было Илье желание матери, и долго он ворчал, прежде чем отпустил ее. Старуха пустилась на все хитрости — и недужится-то ей, и помолиться-то ей надо в Спасском монастыре, и свечечку-то о здравии внучка, что кашляет, надо поставить...

И вот перед нею тонкое и сырое жнивье. Восток уже рыхл и разноцветен. Подвязав полы зипуна,

опустив пониже котомку, где плещется в крынке с узким горлышком молоко, перекатываются четыре яйца, краюха хлеба, заветные два рубля — «на полную панакидку», старуха торопливо идет проселком. Путь дальний. От ее деревни лишь до Спасского шесть верст, а от монастыря до Бородина еще считают чуть ли не десять.

На сердце у старухи и легко и тоскливо. Впрочем, тоска какая-то бессильная, и старуха думает, что вот отслужит «панакидку», даст попу и дьякону установленное, услышит благодарность, и ей сразу легче станет. Поп и дьякон, разумеется, за такие большие деньги, какие она предложит им, выслушают всю ее повесть. А как хочется рассказать эту повесть! Деревня знает страдания старухи давно — из слова в слово — о том, как служил много лет в «Ревельском» Марк Иваныч, и как пошел француз, и как приказали собирать тех, кто понеугомонней, чтобы направить их в тот же «Ревельский», против французов. А кто будет безугомонней Степана Карьина? Хвощевы? Лобовы? Жилины? Мискалевы? Нет такого парня, как Степан Карьин! Он сам сказал: «Лоб! Иду, матушка, прости». И день был, как сейчас она помнит, солнечный, разве-разве набежит влажное облачко, и не из облачка упала голубая слеза, а из ее глаз. Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце — мать! И пошла она провожать его, как вечно водится, за околицу, как провожали на татарина, на печенега, на половца. Тусклым взором смотрела она ему вслед; прогрета солнцем земля под ее ногами, а кажется ледяной. Рухнула она безгласно на землю, только лишь скрылся за пригорочком Степан, что шел к своему отцу на подмогу... Простите, добрые люди, зыбкое бабье сердце. Понимаю — земля зовет, знаю — надо, а на душе холодно и немо... Выслушают ее поп и голосистый дьякон, вытрут бороды, закапанные воском свечей, и скажут: «Многие грехи тебе простятся, мать, многие, понеже муж и сын твой пали на поле бранном». И тогда скажет она: «Ох, батюшка, грехи мои тяжки!» И станет ее поп выспрашивать о грехах, и вспомнит она, как молодой любила плясать, как ела на Петровках мясное, как однажды обсчитала дьячка на три копейки и недодала творогу в «пасхальное»... И скажет поп: «Прощаются, мать, тебе

грехи твои!» — и станет у ней на душе легко-легко...

Солнце поднялось, когда она подошла к Спасскому. Привратница, с неподвижно мягким лицом и искристыми глазами, сказала ей, что весь причт и все монахини уже ушли на Бородинское, а вот ей горе — сиди у пустой обители да считай галок, которые от орудийных залпов понесутся. Старуха горестно всплеснула руками. Как же так? Ведь ей обязательно надо уговориться с отцом Николаем насчет «панакидки», на том самом, на Бородинском, по убиенным воинам: Марку и сыну ее Степану. Два рубля припасено. Она достала эти две засаленные, шелковисто холодные бумажки и показала привратнице. Привратница соболезнующе покачала неподвижным лицом и пояснила, где старуха может найти отца Николая, — не очень, впрочем, убежденная, что его найдешь.

Старуха потопталась, и так как разговаривать ей с привратницей было некогда, то, положив на скамью четыре яйца рядом с привратницей, от которой шел тонкий запах серы и ладана, спросила: «А где же инокиня Мария?» Инокиня Мария, бывшая прежде женой генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова-четвертого, погибшего вместе с мужем и сыном старухи, тоже, оказывается, раным-рано, сильно волнуясь, уехала на Бородинское. Еще бы не волноваться?! Сказывают, государь пожелал ее видеть, приказав ей встать чуть ли не у самого изголовья гроба с прахом Багратиона, который будет выставлен у подножья обелиска.

Услышав эту весть, старуха безропотно перекрестилась и пошла к Бородинскому.

Тупая, тяжкая, огненно-неодолимая жара стлалась над нею. Серая пыль поднималась на дороге, люто загораживая от нее людей. Старуха в мертвящей тоске-кручине не замечала ни жары, ни пыли, ни шумной толпы, переполняющей дороги. Она шла и шла. Полы зипуна бились по ее тощим ногам. Ласковая напряженность светилась на ее лице. Она подходила к тарантасам, каретам, бричкам, дрожкам, а то и к отдельным прохожим, спрашивая, где тут найти отца Николая, чтобы заказать «панакидку». Холодно-равнодушные смотрели на нее люди, отвечая либо кичливым пожатием плеч, либо глумливым хохотом.

А солнце поднималось все выше и выше. Томителен и зловещ был для старухи всюду проникающий блеск его. Она со страхом поглядывала вверх.

Наконец она увидала Бородино. Испугала ее строгая линия солдат в томительно торжественном блеске штыков. Все же, переборов свою робость, подошла она к усатому, расшитому серебром солдату и спросила опять-таки об отце Николае. Солдат сказал ей, что того отца Николая теперь шесть лет искать — не найдешь, так как попы сюда съехались со всей земли, и даже есть афонские! Он зевнул и предложил ей отойти в сторону.

Она и пошла в сторону, прямо по жнивью, к тому месту, где среди поля виднелся колючий купол обелиска.

Не попала она к обелиску.

Зажатая телегами, на которых лежало угощение для «отставных», некогда участвовавших в битве, собравшихся из разных мест на праздник, она видела расписанный ржаво-красными кругами задок телеги, неистово толстый круп лошади и лютые от жары морды лошадей вокруг. Оглушенная залпами орудий, криками «ура», топотом конских копыт, от которых дымилась земля, старуха, схватившись черными руками за телегу, замерла неподвижно.

В телеге спал какой-то парень с глупым лицом, похожий на тетерева и такой же краснобровый. Старуха не видела его. Гремучий и звонкий праздник несся возле нее — она не слышала его, не видела.

Не видела она памятник бородинский, у подножия которого стоял гроб Багратиона, покрытый пышным парчовым покровом. Не видела императора в яркой одежде; не видела ни разноцветных посланников, ни высоких хоругвей, зыбко блещущих золотом, ни крестов, вздрагивающих в руках священников и епископов, необыкновенно обрадованных тем, что они поют перед царем и полуторастатысячным войском. Не видела она прекрасных грузинских княгинь, что стояли возле своих мужей, сияющих белоснежной одеждой и звучным оружием. Не слышала размеренно-радостного пения клира, ни того, как митрополит, пухлый и высокий старик, приблизился к алтарю. Не видела густых колонн войск, амфитеатром поднимающихся одна над другой. Не видела инвалидов бородинских, и не видела она инокини Марии, которая действительно стояла неподалеку от

гроба, скромно опустив некогда великолепные очи, ныне окруженные зловещими темными пятнами приближающейся смерти. Не видела и отца Николая, — да и где увидеть его среди тысячи монахов и священников!

— Великой державе российской... — провозглашает первосвятитель.

— Ура-а!.. — отвечает полуторастатысячное войско.

И за всем этим грохотом, пением, сверканием штыков, хоругвей, знамен — одинокая старуха, ухватившись за грядку телеги, смотрела в небо, видела там поднимающиеся после залпов тучи неистового дыма, видела, тряслась от испуга и все же мало-помалу стала чему-то радоваться. Вот бы только найти попа, отслужить «панакидку» да рассказать ему об убиенном Марке и сыне его Степане...

Но попа не нашлось. Весь день ходила старуха по полю. Только освободится поп, только он снимет епитрахиль, только устремится к нему старуха, ан уже подскочил какой-нибудь купец или чиновник и заказывает сразу несколько панихид, что служить попу до самого завтрашнего утра! Бежит старуха к другому, а подле того стоит важный степной барин и утробистым голосом перечисляет всех героев, которым он желает заказать «вечную память». Нет старухе попа. От беготни и суеты скисло молоко в узкошеей крынке, вылила его старуха, пробралась к ключу-родничку, но еле успела наполнить крынку, как подъехали молодые чиновники и отогнали старуху. Шум, грохот, крики... нет места старухе, некому рассказать о своем горе!..

И вот, к вечеру уже, вышла она к старой Смоленской дороге, где неподалеку, говорят, пал генерал Тучков-четвертый и с ним воины русские, а среди тех воинов пали ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный, с нежным лицом, — Степушка. Стоит старуха в кустах. Ноги усталые дрожат, хочется пить. Достала она крынку с водой, заткнутую мокрой тряпкой, отдающей молоком, взяла краюху, подумала, что целый день не ела, и видит — качается громоздкая коляска, бархатное сиденье кучера, кучер седой, почтенный, и на скользкой, в клеточку, бледно-зеленой коже сидит господин с широкими и ласковыми глазами и смотрит на дорогу. Попало в голову старухе: не сын ли погиб у него в тучковском полку? Не тучковских ли солдат ждет он? И не остановятся ли возвращающиеся с празд-

ника солдаты? И она расскажет, как умерли и как жили ее муж Марк Иваныч и сын, безугомонный Степушка. Да разве для нее, для старухи, остановятся солдаты. А он небось сильный барин...

Вот и спросила у барина старуха о том тучковском полку. Но барин, надо полагать, был из дальних — скотовод, что ли? Смотрел он на стадо и спросил: не тучковское ли? И подумалось тогда старухе: «Поговорю с ним о коровках, а там, слово за слово, с коровок перебросимся на Бородино, человек он, видно, степенный, не торопится уезжать... все ему расскажу, все...» Сказала старуха, обращаясь к кучеру, который бранил ее за пятидесятипудового быка, что есть у Зворыкиных:

— И, батюшка, ведь барский скот особый. Вот возьми нас, мужиков. Куда бы, глядишь, иметь нам скотину? А есть! Есть, батюшка. Перед самым Бородинским сражением пала у нас корова. Бурешкой звали. И давала та корова, не поверишь, в один удой ведро с четвертью молока.

— Такие коровы бывают, — сказал кучер. — А про быка...

— Подожди ты насчет быка, — быстро заговорила старуха. — Ты слушай, батюшка, насчет коровенки. Муж-то мой, Марк Иваныч, стоял на самом Бородинском, в полку Тучковом... и сын, Степушка, направился к нему. А перед самым тем уходом Бурешка-то и пади. Ох, и парень был Степушка, десятерых один кормил бы! Ух, хозяйственный парень! Ему завтра в тот бородинский поход, а тут Бурешка и пади... Господи, горя-то было!..

Василий Андреевич перевел свой взор с мягко уходящего во мглу силуэта старухи на запад, где громоздились облака, кудреватостью своих украшений напоминая капители коринфского ордена. Он уже забыл о стаде, которое скрылось за косогором, и разговор старухи казался ему переполненным околичностями. Он думал: «Ее муж и ее сын стояли на Бородинском поле, может быть, их даже ранило, а она — из всего Бородина помнит только, что незадолго перед боем у них пала корова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества? Обелиск? Величие инокини Марии? Гроб Багратиона?..

Но что-то ей понятно, — продолжал думать Василий Андреевич, чувствовавший, что духота уменьшилась и ему легче, — иначе разве бы стала она искать этот тучковский полк, которого на самом деле не существует? Но как уловить ее мысли, как понять ее?»

Однако он попробовал. Он стал расспрашивать ее о корове, для того чтобы старуха рассказала ему другое — как и что чувствовали на Бородинском поле ее муж и сын. Старуха, найдя в его вопросе подтверждение своим предположениям, еще старательнее стала вспоминать уже совсем скучные подробности о Бурешке, подробности, которых она не вспоминала лет двадцать пять. Говорила к тому же она торопясь и оттого повторялась.

Василий Андреевич стоял перед ней растерянно. Что делать? Как ей помочь? Как разуверить ее, что нет тучковского полка в армии, да и надо ли ее разуверять? Может быть, дать денег? Василий Андреевич достал было кошелек, да спросил:

— Что с твоими-то сталось при Бородинском, бабушка?

— При Бородинском-то? — спросила старуха, звучно разъединяя губы. — С моими-то, батюшка, о-о-ох! — Она всхлипнула, сначала тихо, затем громче и наконец опустилась на землю, необузданно и с каким-то скрипом рыдая. — О-о-о-и-и! — рыдала она, желая сказать, что вот ничего-то ей не вымолвить, потому что грешна она, ох, как грешна.

И, понимая, что молчаливое расставание будет самым лучшим, Василий Андреевич тихо влез в экипаж и шепотом приказал ехать. Кони, словно понимая его шепот, как бы на цыпочках спустили экипаж к Старой Смолянке. Экипаж неслышно скрылся в пухлой и нежной мгле вечера.

Старуха продолжала рыдать. Правда, рыдания ее стали мягче, хотя по-прежнему шли от всей глубины сердца.

От дороги послышались шаги. Старуха разглядела фигуру солдата, видимо отставшего от части. Через плечо его болтались сапоги с короткими голенищами.

— Ну и жарища! — сказал он хрипло. — Да и ноги стер к тому же. Вот и отстал. Где тут речка? У тебя попить нету, бабка?

Старуха сказала, что речка далеко, и, хотя ей самой очень хотелось пить, она тем не менее предложила солдату свою крынку с узким горлышком. Солдат жадно схватил крынку и припал к ней. Старуха смотрела на крынку, глотая сухую слюну, и чем выше поднималась крынка в руках солдата, тем сильнее ей хотелось пить. И все? Да. Говорить с солдатом не хотелось, а тем более выспрашивать про тучковский полк. Зачем? Она только что высказалась, выплакалась до дна... И она внимательно разглядывала свою крынку, которая, словно подсмеиваясь, вздрагивала в руках солдата.

Солдат выпил воду, вытряхнул капли на траву, теплую и так жаждущую дождя, поправил сапоги и сказал:

— Вот и спасибо, бабка. Коров, что ли, пасешь? Паси, паси!..

Она ответила:

— Да за что спасибо, родной? Тебе спасибо, что не побрезговал.

И они разошлись. Солдат пустился догонять свой полк, а старуха вышла на старую Смоленскую дорогу и пошла по ней. Дорога слабо, голубовато отсвечивала. Росы не было,— а то хоть собирай по капле, так хочется пить! А до воды, до ржавого болотца на взлете, до мочажины — верст, пожалуй, пять, да и то небось пересохло. Устало, вязко ступая по дорожной пыли, старуха шла домой.

1943

НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

1

В первых числах октября 1941 года, в ярко выбеленной комнате оливкового особняка на Новинском, в Москве, важный и пожилой артиллерийский офицер, проницательно щуря чернильно-синие глаза, говорил молодому лейтенанту:

— Хочется на Бородинское поле? Мысль похвальная. При вашей похвальной патриотической мысли, вдумчиво оценив обстановку, поймете, что судьба сражения за Москву, развивающегося на пространстве трех тысяч километров, решается не на Бородинском поле. Там — эпизод. Впрочем, увидите.

Офицер добавил, что ему приятно познакомиться: он некогда удостоился чести слушать лекции Ивана Карьина, отца лейтенанта. Проницательность и матовый блеск чернильно-синих глаз раздражали.

А про себя Марк думал: эпизод ли? Бородино ли? Неважно! Другое важно — попасть на фронт и умереть *с честью.* Он так в уме и подчеркнул: *с честью.* Он не труслив,— нет, зачем же? Терзает иное: что в современной войне важнее — храбрым быть или дисциплинированным? Позорна и трусость, и своеволие,— знаю! Трусости не замечал. Своеволие? Измучило!.. И, если нельзя его подавить, растоптать,— не лучше ли умереть с честью?

Но все дело в том,— думал он,— что вспыльчивость, ужасная, неудержимая, почти болезненная, хотя он физически здоровее дуба,— дикое своеволие загубит его раньше, чем он возьмется за дело, которое и является его честью!

В двадцать четыре года погибнуть перед битвой? Из-за чего? Из-за того только...

Он не знал, из-за чего!

2

Природа одарила Марка Карьина способностями, вдобавок вычеканив, правда, без особого старания, образец физической крепости. Отец, виднейший теоретик и практик танкостроения, бесконечно любивший сына, помог Марку усовершенствовать его природные дарования. Школа развила остальное... казалось бы, живи да радуйся!

Рано Марк стал вскипать, не зная себе удержу. Слегка наклонив большой лоб, повитый темными волосами, вечером принимавшими фиолетовый оттенок, расставив крепкие ноги в больших разношенных и будто чугунных сапогах, он сдавленным голосом вызывающе ворчал:

— Надо по порядку, зачем ты меня «тыкаешь»?

Вопрос был нелепый, тупой, и было в нем что-то страшное. Многие, чтобы освободиться от гнетущего чувства неловкости, лезли драться. Марк, казалось, того и ждал: кулак у него был сокрушающий, каменный, а драться ему было и приятно и стыдно. Он стыдился отца.

Любя и уважая отца, Марк находил странное удовольствие в сопротивлении ему.

Отец мечтал, что Марк продолжит его дело. Марк же выбирал профессию, где поменьше столкновений с людьми и побольше простора. Когда вы думаете об уединении, вы естественно сразу же вспоминаете пустыню. «Песок да скалы,— думал Марк,— над чем тут сомневаться?» Но в песок и скалы он желал ехать с тем, чтобы не подчиняться им, а их подчинить себе! С трудом окончил он Лесотехнический институт и скрылся в пустыне, в тайге, в чаще. Рубил, сплавлял, кормил комара, дрался с медведями, тонул, падал с деревьев, разбиваясь почти насмерть, и вдруг явился к отцу, вывезенный несколькими «лесовиками», которые отстаивали необходимость постройки на Каме бумажно-целлюлозного комбината. У профессора Ивана Карьина другая специальность, но в Совнаркоме и плановых организациях у него друзья и знакомые, понимающие в любой специальности, способные защитить и отстоять свое понимание. «Старик обрадуется,— сказали Марку «лесовики»,— сын в разум вошел: поможет».

«Лесовики» недолюбливали Марка, да выхода другого не было: строительство комбината никак не умещалось в план.

Приехали.

А знаменитый профессор Иван Карьин, теоретик и практик громадных и неуязвимых машин, умирал.

3

Он давно страдал несколькими болезнями и, знаток медицины, хотя и не врач, понимал, что исход каждой из них смертелен. И, однако, привыкнув к мысли о смерти, он умирал с легкой усмешкой на морщинистых старых губах. Уже лежа в смертной постели, он без спешки и, казалось, без напряжения доканчивал свои работы, давал советы молодым конструкторам и каждый раз, просыпаясь на рассвете, брал свой дневник, чтобы записать события вчерашнего дня.

— Подвожу, Марк, итоги,— сказал он, увидав сына.— Хотел тебя вызвать, а ты сам. Твои каковы итоги?

Марк смотрел на длинное лицо, покрытое тонкой и серо-желтой кожей, с подпалинами табачного цвета на висках, слушал короткое дыхание, и ему было стыдно, что он избегал отца.

— Ты прав, Марк... Всякий должен выбирать ранец по плечу.— И он добавил со своей обычной многозначительностью: — Велико ли занятие отстоять проект комбината, а попомни, в какую тебе это заслугу поставят позже. У меня — труднее: танки — капризные дамы... — И, побоявшись, что сын обидится на поучение, сказал: — Твою просьбу... помогу... Перед «итогом» похлопочу и обещаю самый верный успех... Но с моей стороны тоже... будет просьба.

Выбирая слова, старик долго шевелил потрескавшимися, сухими губами:

— В дневнике... Фирсов упоминается... Личное. Лишнее. Еще напечатают, вздумай они дневники издавать...

Он закрыл глаза. Несколько минут лежал неподвижно. Затем прежняя легонькая, как пух, улыбка осветила его лицо.

— Собирался дать факту новое освещение... Фирсову... не собрался. Тогда лучше вырвать...

...Просматривая дневник отца, Марк нашел про Фир-

сова. Он вспомнил легонькую, напоминавшую Анатоля Франса, улыбочку отца и задумался. Что он знал такое о жизни, чего не знал Марк? Чем он был выше?

Поддаваясь очарованию этой неумершей улыбки, Марк подумал: «Да уж так ли виновен отец?»

Сущность дела заключалась в следующем.

Лет восемнадцать тому назад двое молодых ученых Иван Карьин и Федор Фирсов, не видевшиеся несколько лет, уговорились отдохнуть вместе на берегу моря, у подножия потухшего древнего вулкана Черная Гора — «Карадаг», в селении Коктебель.

Фирсов приехал с женой и трехлетней дочкой. Друзья поселились рядом, в одном доме. Начались купанья, прогулки по песчаному берегу, обеды под полотняным навесом, содрогающимся от ударов волн о берег.

Жена Фирсова, желая угодить мужу, — Карьин казался ей холодным и самонадеянным, — обращалась с ним по-братски, если мало сказать — дружески. Она балагурила, пела с ним песни, будила по утрам, уговаривала больше кушать, даже заботилась об его одежде. Вначале Фирсов одобрял, а через неделю-две заревновал. К несчастью, застенчивость и страх незнакомого ему раньше чувства ревности помешали ему сразу объясниться с женой. Та истолковала его ревность своеобразно. Подобно Гермионе в «Зимней сказке», она, подумав, что муж сердится на нее за то, что она мало обращает внимания на его друга, удвоила нежности. Фирсов совсем надулся, придравшись к какому-то вздору. Супруги ссорились.

Жена сгоряча пожаловалась Карьину на сумасбродство мужа. Мы часто говорим, что старость любит поучать. Молодежи, пожалуй, поучительный тон доставляет больше удовольствия, чем старикам. Иван Карьин предстал перед Фирсовым строгий, надменный. Он сказал, что возмутительно из-за глупой ревности рвать такую ценную дружбу, как их, а также оскорблять невинную женщину. «Надо понимать, что идеи прогрессируют очень медленно и, значит, нуждаются в постоянной поддержке. Таковы, например, идеи взаимоуважения...» Фирсов своеобразно принял ученую эту тираду. Он ответил презрительным знаком. Как хотите, а ученые так не разговаривают, да еще по этическому вопросу! Они расстались навсегда.

С той поры какая-то докучливая одурь овладела Фирсовым. Мало того что он упрекал жену в изменах ему в Коктебеле, он даже придумал обстоятельства, при которых она будто бы встречалась и ранее с Иваном, и женитьба эта, мол... словом, обычный ревнивый бред, который, как пламя, чаще всего освещает гримасы вашего лица, но иногда и опаляет всю жизнь. Случилось последнее. Жена не нашла сил сносить несправедливость. Она, взяв дочку, тайком покинула мужа.

Прошла неделя, другая... в начале четвертой Фирсов написал Ивану Карьину, прося указать адрес жены. Короткий ответ гласил, что «поскольку Иван Карьин ее не избирал, то Иван Карьин и не знает, где его избранница».

Да и действительно Карьин не знал, что сталось с нею. Впрочем, он обладал завидным даром не изнурять себя излишними хлопотами. Когда лет десять — двенадцать спустя бывшая жена его друга написала известному конструктору, автору книги «Танк», просьбу о содействии ее дочери, Карьин запнулся и не без усилий вспомнил ее. Однако, когда его просили помочь, он помогал охотно. Помог и здесь. Но с женой друга встретиться не высказал желания и в дневнике, который он вел аккуратно, уделил «драме юности» семь строчек. Ему и в голову не пришло, что он косвенно виновен в неудачно сложившейся жизни своего так много обещавшего друга, вскоре после их ссоры умершего...

«Да так ли уж отец виноват? — переспросил сам себя Марк, прочтя еще раз страницы дневника, относящиеся к событиям в Коктебеле.— Кто знает и кто скажет правду? И в чем она? И как и что можно исправить, если в самом деле произошла ошибка? Ведь это было так давно...»

И, однако, несмотря на все отговорки, воображение продолжало работать. Не будучи завершителем отцовского дела в области вооружений, Марк хотел в области нравственной быть ему равным, а то и выше его... Он поступил так, как завещал отец: вырвал из дневника страницы, относящиеся к истории с Фирсовым, но из своего сердца он их вырвать не хотел, да если б и хотел, то не смог бы.

Без труда он нашел адрес жены покойного Фирсова. Ответ пришел через полтора месяца и не с Украины, где она учительствовала в последнее время, а из Ногинска, под Москвой, с ткацкой фабрики, от Настасьи, дочери

покойного Фирсова. Мать умерла несколько лет тому назад. Дочь живет хорошо, — впрочем, в подробности она не пускалась, — и если ему хочется узнать что-либо о покойной, она сообщит... Почерк ее показался ему хмурым, несчастным.

Умерла! Уже одно это слово говорило ему, что жизненные сплетения труднее распутать, чем сеть, застрявшую в корягах. И, однако же, он страстно возжелал распутать то, что не распутал его отец. Девушка несчастна! Не он ли обязан сделать ее счастливой? Он представлял дружбу... любовь наконец!.. Пламень, которого недоставало его отцу и которого у него, Марка, в излишке, он соединит с пламенем, унаследованным ею. Встречи с другими девушками, бывшие у него раньше, ласковые слова, им и ему сказанные, — лишь предвестники очаровательного будущего, которому суждено начаться после встреч с нею...

Встречи же не было. Соответственно духу его современников он желал встать перед нею человеком высшего нравственного уровня. Он со дня на день откладывал поездку в Ногинск. Переписывались. Тем временем сажал на солонцах лес, хлопотал о добавочных ассигнованиях уже строящемуся комбинату, останавливал соснами пески, засыпающие хлебородный район. Началась советско-финская война. Он записался добровольцем. Его направили в школу лейтенантов артиллерии. Он окончил ее как раз перед самым заключением мира.

«Судьба, — сказал сам себе Марк. — И вообще такому пустоплету не место в мире...» Однако, несмотря на мрачный тон размышлений, подобных этим, Марк в своем деле преуспевал, сам не понимая почему. Фраза, сказанная о нем в наркомате, услышь он ее, многое бы разъяснила ему: «Человек мрачный, но работник первоклассный». В начале же Отечественной войны авторитет Марка поднялся еще выше. Он сразу же получил назначение в комбинат на Каме и опять-таки не понимал почему.

Но он не спешил в комбинат. Он ждал повестки. Он — запасной, он артиллерийский офицер и должен находиться на войне! Не дождавшись вызова, он направился к областному комиссару. Тот ему: «Когда будет потребность, вызову». Марк наговорил дерзостей, снялся с учета и уехал в тот же день в Москву. В наркомат, разумеется, он не явился: «Не до бумажного производ-

ства теперь, да и вообще хорошо бы поменьше бумажек...» Он пришел к известному генералу, другу отца, и получил рекомендательное письмо в оливковый особняк на Новинском...

4

Высоко сжатое поле, солома почти по колено. Неужели — комбайном? Здесь — на Бородинском поле? А почему бы не быть комбайну на Бородинском поле? Правда, машина, видимо, попалась изношенная — много огрехов, хватала как попало, но, возможно, беда не в машине, а в комбайнере, который боялся немецких штурмовиков и больше глядел на небо, чем на убираемое поле. Двенадцатое октября. Немцы приближаются.

Небо сердитое, бледное. Облака похожи на морщины. Все просырело так, что упадет две-три капли, и какая-то слизь с чесночным запахом наполняет воздух, рот, ест глаза.

Торчащие клочья побуревшей соломы, тронутой первыми заморозками; мокрые заплаканные осины; золотом покрылся дуб, много берез и там, подальше, в поле, обелиск с узловатым куполом... Э, да не до того! После рассмотрим купола.

В землянку он спускался боком, плечом вперед, задевая костистой и мускулистой спиной о наспех, криво сбитые стенки.

Возле поставленных один на другой пустых и гулких ящиков из-под консервов сидели двое: подполковник Хованский, резкоскулый, с узкими глазами, с длинными седыми баками, и врач Бондарин, с наружностью врачебно-внушительной и утомленной. Профессию его Марк определил тотчас же: «мыслящий рецепт», а про Хованского решил: «лубяная душа, глиняные глаза, тупые руки», — и сразу ошибся. Хованский — сообразительный, хитрый. В ответ на рапорт Марка подполковник, рисуясь, приподнялся и сказал:

— Хованский, Бондарин. Учились вместе в университете, с той поры дорожки едины и — спорим. Судьба одобряет споры, сталкивая нас...

Рассуждая так, он точил о скользкий и темный камень бритву с черепаховой ручкой. Намылил часть широкой щеки, взглянул в зеркало, будто озабоченный: его ли лицо там? В то же время он присматривался к Марку, что стоял у порога, расставив ноги в чугунных сапогах,

наклонив голову со свисающими на лоб черными волосами.

«Горяч конь, — думал Хованский. — Умно править — далеко увезет! А силища-то, силища! Вот тебе и наследственность: профессор-то был тоще щепки. А взгляд, тьфу, спаси господи, не сглазить бы... — Хованский, как и многие долго воевавшие, был суеверен. — Огонь — взгляд! Куда бы мне его? На вторую батарею? Там политрук — магистр философии, наводчики — из студентов. Туда Гегеля надо посылать. На первую?.. Нет, пошлю на третью: покойный Матвеев горяч был, да и его пыла не хватало. А этот — угодит. Этот непременно угодит! И дело третьей предстоит горячей некуда. Пошлю на третью!» Вслух же он говорил, быстро водя бритвой по щеке:

— Спорщики! Судьбы людские решаем. Сидим напролет ночи, а расставшись, три шага не отойдя, наговорим друг о друге такое, что, кажись, и минуты нельзя вместе пробыть.

Хованский мнителен, и ему нравится расспрашивать о лечении и профилактике. Это не значит, конечно, что он боится боя. «Бой — одно, болезнь — другое». Часто он беседует с Бондариным еще и потому, что тот — единственный из всех врачей — находит у подполковника рак печени. В бондаринские диагнозы Хованский верит, но лекарства его принимает с осторожностью: «Практика у него слабая, но — знания: ого!» Лекарства, выходит, по Хованскому, надо относить к практике, и он немножко прав — Бондарин много лет неудачно экспериментирует.

Бондарину в Хованском нравится ум, совершенство человеческого организма, который несмотря на сокрушительную болезнь, силою воли — чудовищной, сказочной — заставляет себя трудиться, бороться, преодолевать несчастья и оставаться бодрым, размышляющим, Хованский в противоположность многим военным скрытен — не делится душевными волнениями. В сердце его несомненно какая-то семейная драма, но он предпочитает о ней не говорить. У Бондарина — несчастье с медициной, а дома — полная и счастливая чаша, и ему хочется узнать: какие же бывают семейные несчастья? Хочется, разумеется, и помочь! Вот и сейчас, рассуждая с подполковником о семейной драме профессора Фирсова, дочь которого Настасьюшка из Ногинска попала на рытье укреплений, а оттуда в стоящий рядом его медсанбат, он, пробираясь между всеми хитросплетениями

чужой жизни, мечтал копануть и в душе Хованского. Хованский и здесь увильнул, ловко переводя разговор на свои служебные успехи, что всегда раздражало Бондарина: по службе ему не везло. Поэтому Бондарин зол, насупился и не скрывает этого.

Марк не понравился ему с первого взгляда. Самоуверен, нагл, — что за поза для офицера! — невероятно здоров физически, презирает, само собой, медицину и будет испуганно визжать на операционном столе, когда ему станут удалять какую-нибудь бородавку. Отраженно злит и Хованский. Бондарин не отвечает на его вопрос: каким образом медицина способна гарантировать спасение от нелепой смерти на войне? «Тампоном Бондарина», работой, которую он сейчас, несмотря на смертельные бои с врагом, ведет!.. И, как всегда, Бондарин слегка преувеличивает, но ему не привыкать стать. Считая себя великим диагностом, он чаще всего ошибается в диагнозе. Считая, что умный способен изучить все и быть мастером в любом деле, он три года изучал теорию словесности и научился писать плохие стихи.

В землянке чадит керосином подпрыгивающая от канонады коптилка, пахнет свежеиспеченным черным хлебом и мокрым полушубком Хованского, брошенным в углу. Вошел писарь, и Хованский опять возвращается к мыслям о лейтенанте Матвееве, командире третьей батареи.

— Бондарин, вы знаете меня? Дед — кантонист, прадед — крепостной, убит под Севастополем! Не скрою, были в нашем роду и духовные. Дядя служил дьяконом. Но где? В гвардии Семеновском полку! Весь мой род — кадровое солдатство, привыкшее к войне. Сам я ранен одиннадцать раз...

— Одиннадцать раз и три контузии, — подчеркнуто говорит Бондарин: дескать, желаете хвастаться,— пожалуйста!

— Одиннадцать раз. Но Хованские на рану сросчивы! Значит, смерть видал во всех образцах. В самых неприглядных! Храбрейшие валялись у ней в ногах, вымаливали минуточку, — еще секундочку жизни! Видал — в шелках, в бархатах, равно как и нагую, наглую, и все же не могу примириться, когда умирают такие, как Матвеев. Не могу!

Он стукнул кулаком о консервный ящик. Коптилка, сделанная из гильзы артиллерийского снаряда, подскочила и покачнулась. Врач поставил ее на место и попра-

вил фитиль. Хованский раскрыл маленький овальный чемоданчик, достал флягу, налил чарку, протянул врачу. Тот отказался. Тогда Хованский, не угощая Марка, а только кончиком глаза наблюдая за ним, выпил, сплюнул и понюхал корку черного хлеба, лежащую на мокром полушубке.

— Куда, Бондарин? Обождите, выйдем вместе.

Хованский, упершись локтями в ящик, положил широкую голову на длинные и твердые, как колья, руки с толстыми, словно вожжи, жилами.

— Дмитрий Ильич, как вы относитесь к опере?

— Изредка бываю.

— Я не об этом, а о факте вашего отношения к оперной, равно и к симфонической музыке. Что вы скажете, лейтенант?

Голос — небрежный, насмешливый, будто дразнит этот лубяной голос.

— Ни разу не был в опере, товарищ подполковник. И вообще к искусству отношусь хладнокровно, исключая кровных коней.

Подполковник повернул к нему большую голову со сверкающими азиатскими глазками и подумал: «Ну, да и мы не из пены морской родились, а из земли. Мы вас научим любить музыку». Он взял карандаш и провел им над головой.

— Слушайте!..

Он высоко, под потолок, поднял карандаш. Молчание воцарилось в землянке.

Наверху кто-то огромный и сверкающий жевал железными челюстями железо. Затем послышались такие звуки, словно лопались металлические пузыри. Запахло раскаленным металлом. Унылый, отдающий в костях звук, вопиющий об одиночестве, о смерти, поднялся и замер. Его сменила торопливая акающая бестолочь, вопящая о чьем-то неистовстве, исступлении...

Хованский опустил карандаш. И звуки, словно подчиняясь дирижерской палочке, неожиданно притихли. Коптилка качалась едва-едва.

— Что же вы услышали, Дмитрий Ильич?

— Канонаду, Анатолий Павлыч. Канонаду начинающегося столкновения за Бородино.

— Частности прочли?

— Прочел: мне предстоит много работы. Разрешите уйти?

— Слушайте! Начинается атака...

— Откуда вы взяли — атака? Я, слава богу, не маленький, слышу. Подготовка артиллерийская, и та не началась, а он — атака!

Опять загремело, заухало, заохало.

Хованский, сыпя артиллерийскими терминами, высоким голосом стал выкрикивать итоги действий, которые он считал в громе боя. Лицо горело вдохновением.

Марк невольно залюбовался этим рослым офицером, разбирающимся в звуках войны, как в своей записной книжке.

— Резюмирую: атака с фланга была поручена батальону капитана Дашуна. Шляпа! Слышите? Ра-ра!.. Наши отступили. Противник в прочной круговой обороне отражает атаки с любого направления? А? — Он указал, куда стрелять, сколько выпустить снарядов, а затем продолжал, обращаясь к Бондарину: — Слышите?! Немцы перегруппировывают свои огневые средства, тянут их на меня, снимают с фронта. Ух, приободрился капитан Дашун! Смотрите, лоб вытирает. Лоб вытирает, а?!

Он вытер лоб, как несомненно вытирал его капитан Дашун. Всякому другому, — но не Марку, — подполковник мог показаться пьяным или рехнувшимся. Марк же понимал, что такое яростная и вершинная страсть.

— Рождается новая решимость биться! Дашун оставляет на фланге одну роту, она ведет — слышите?.. — огонь. С двумя другими капитан крадется к опорному немецкому пункту с фланга. Использован танковый десант, не так ли? Слышите? Браво, капитан, брависсимо! Три танка и следовавшие за ними сибиряки... это они так четко, ровно стреляют!.. Бондарин, берите трубку и узнайте результат атаки капитана Дашуна. Атаки!..

— Не было атаки, — упрямо твердил Бондарин.

— Была. Берите трубку на «Орел»!

Бондарин спросил. Кладя трубку, сообщил — не без почтения:

— Ваша правда. Подразделения капитана Дашуна ворвались в населенный пункт и ликвидировали немецкий гарнизон.

— Умею я читать партитуру, Бондарин?

— Опыт.

— Здравствуй, стаканчик, прощай, винцо! Спорить

мне с тобой некогда: сейчас немцы на меня всю злость обрушат. Надо пойти к ребятам. Пойдем, Бондарин?

— Я к себе, в медсанбат.

Они вышли из землянки.

Подполковник угадал. Гул орудий заметно приближался к позициям полка. Правильный, огромный, с едва уловимыми пролетами тишины, он сжимал сердце и наполнял чернотою жилы. Подбежал Никифоров, комиссар полка:

— Товарищ подполковник, противник сосредоточил против нашего полка все свои огневые средства!

— При известных условиях есть возможность их уничтожить, — ответил Хованский.

Он вплотную приблизился к Марку.

— Каково здоровье, лейтенант, как, сможете?

— Сможется, товарищ подполковник, — отозвался Марк. — Прошу дать место в бою.

— Назначаю командиром третьей батареи, лейтенант! Вместо убитого Матвеева. О твоем отце слышал. Нешаткий был мужчина, окончательный! Поживем изрядно и мы. Ухожу и приветствую. На всякий случай передаю тебе тайну музыки: основой действия боя должно быть стремление атаковать во что бы то ни стало. И атаковать... как? Со-о-окрушительно-о!

5

Хованский ушел давно. Марк ждал, когда же появится обещанный командир, который его поведет и представит третьей батарее.

Рощица содрогалась от разрывов. Выглянуло солнце. Запахло прелыми березовыми листьями, грибами, мокрой землей, навозом. Где-то, у коновязи, после каждого разрыва почесывалась лошадь, тонко звякало железо, точно соединялись вязальные иглы. Вдоль рощи летело несколько ворон.

Врач, сидевший на поваленной березе и прочищавший веточкой мундштук, разглядывая на нем отверстие, сказал:

— Видали, вороны? Бой — боем, Бородино — Бородиным, а жизнь все-таки говорит: пускаю вас до своей милости. То есть пусть двигаются по реке льдины, сбиваются, образуют заторы, но под льдинами идет, как

всегда, существование живых особей. Плывут рыбы, ворочаются рачки...

— А человек на опасной льдине все же наверху.

Медсанбат врача Бондарина с юга подъезжал к Можайску. Принесли увечного: в работах по рытью укреплений плотнику бревном перебило ногу. Одна из девушек, работавших подле, наскоро перевязала плотника. Бондарин, увидав перевязку, изумился мастерству. Он приказал привести к нему девушку. Это оказалась Анастасия Фирсова, жительница Ногинска, комсомолка, бывшая еще недавно ткачихой. «Медобразования не получала! Перевязку сделала согласно санминимума». Бондарин сказал: «Дар у вас, гражданка», — и пригласил ее к себе в медсанбат дружинницей. Девушка согласилась, но поставила условие — взять и подругу: Тоню Владычеву.

Ум Бондарина, пытливый, трудолюбивый, неустанный, отставал от таланта только на один шаг, но какой это мучительно тяжелый шаг! Бондарин всю жизнь свою открывал, искал, посылал «заявки» и всегда опаздывал. Молодой или пожилой профессор только что, оказывается, пришел к таким же выводам: именно этим способом излечивается именно эта болезнь! Возьмем малярию. Бондарину современные методы лечения малярии кажутся нерадикальными. Он уезжает в ужасные места, где комаров больше воздуха. Здесь, среди поколений, в крови своей носящих иммунитет, он найдет такое лекарство, которое... короче говоря, его, больного, насильно увезли из глухого уголка Ленкорани. Лекарство он обнаружил, но на другой день после того, как его открыл ныне всем известный доктор Фабусов, открыл, не выходя из удобной лаборатории большого города. Тем не менее Бондарин радовался своим открытиям. Однако же разум есть разум. Порадуешься зря один раз, порадуешься другой, да и устанешь. Приблизительно в двадцатый раз бессмысленной своей радости Бондарин усомнился в своих талантах. Он стал раздражителен, работы, им исполняемые, не отличались уже тщательностью.

В семье он был счастлив, и была она у него большая, удачная. Старший сын, химик, профессорствовал; первая дочь заведовала психиатрической больницей; вторая — видный специалист по туберкулезу; младший — печатает стихи. Бондарин говаривал: «Моя семья — са-

мое лучшее мое открытие», и на глазах его показывались слезы, а так как ему было уже под шестьдесят, то слезы объяснялись любовью к семье. Гитлеровцы идут? Неужели Бондарин, сын народа, весь выкипел и выцвел? И подумалось ему: «Покажем ловкость!» Все прошлые труды казались ему теперь рожденными преждевременно. Пусть под шестьдесят, но он покажет проворство на пользу людям. Мысли творческие словно бы укисали, выбраживали. Он ждал вдохновения. Встреча с Настасьюшкой принесла его. Перевязка, ею сделанная, навела на мысль, — и на такую новую, что от волнения зарябило, забилось сердце. «Батюшки, так ведь это и есть «тампон Бондарина»!»

Благодарный за намек, лишенный зависти и преклоняющийся пред талантом, он всячески помогал Настасьюшке. В какие-нибудь две недели она узнала то, чего не узнаешь иной раз и в три года, но и дарование ее было не простое, а, так сказать, с зарницами. Одна беда — при виде книг, которых, к счастью, у врача оказалось мало, лицо ее тупело и превращалось в пустырь. На войне не до расспросов. Все же Бондарин с отеческой пытливостью захотел узнать о прошлом Настасьюшки. Она и передай, что говорила ей мать. И кстати уже рассказала о переписке с Марком. «Лесной человек, удивительный», — сказала она, будучи и сама не менее удивительной.

Поле, рощица, овражек, какой-нибудь захудалый садик, даже огород — умиляли и радовали ее несказанно. «Мне бы — знахаркой, — говорила она, широко раскрывая голубые и бойкие глаза, — я б тогда смерть, как лиса, со следу сбила, меня бы до кореньев допустить». Все времена года, все птицы и звери, все, что цвело и веселилось, было близко ей. Соловьи и осины, подберезовики и кроты, дубы и пескари, закаты, восходы, росы, ветра — все, все щекотало ее сердце.

Идет мимо нее красноармеец. В коротеньких сапогах, открывавших ее кругленькие икры, в юбочке хаки, в гимнастерке и пилотке, воззрилась она на березовую рощицу. Говорит солдату:

— Наберегли, накопили, нахозяйствовали, а он — кто?.. Враг! Ему, наезжему, красоту такую отдать?!

Боец смотрит на лес. Думает о родных местах, вспоминает самые веселые дни. Ага! Свадебная гулянка. Зима, поближе к концу, время свадеб. И тут вот роща

словно собралась на свадьбу. Невесты березы в талии обтянуты белым шелком с черными вышивками. Золотой газ реет над ними. В густом скопидомном золоте стволы сосен, ярки их иссиня-зеленые иглы, среди игл разбросаны шишки.

— Наезжать наезжают многие, — скажет красноармеец — пензенский или уральский крестьянин. — Да каково-то им придется уезжать? Мы нашу красоту грабить не позволим. Сила не тесто, Расея не квашня, — понаскребем такое — вспухнут! Дай время.

— И я так думаю. Подвооружимся, соберемся, и будет ему плохо.

— А что ж? Не кто-нибудь, — Советская Расея! Вот она какая — просторная.

Настасьюшка с восторгом передает этот разговор, подкрасив его слегка: фантазия — не ложь, фантазия — правда, да только попрытче. И летит та девичья фантазия по линии, добираясь до самых смертных окопчиков, забрызганных кровью, замощенных патронными да снарядными гильзами. Летит такая прекрасная, что всякому хочется с нею встретиться!

Говорят: «Хвали бесстрашно, перехвалить через край нельзя». Но кто знает наш народ, поймет, что это не так. Привыкший к едкому слову, он и в принятии похвалы, и в отдаче ее — осторожен. Оно и лучше. В кремне огня не видать. Величайшим тактом Настасьюшки было то, что веру в победу, веру в то, что неудачи временны, она сумела облечь в эти скромные и прекрасные описания русской природы. Поэтому и похвалы ее казались естественными, и вера ее — правдивой. Душе становился понятен глубокий смысл жизни. Сродно птице летать, рыбе плавать, а русскому быть красивым в минуты опасности!

6

Между землянок со вздрагивающими трубами показалась фигура комиссара. Марк устремился туда. Когда он вернулся, Бондарин сидел по-прежнему, положив тонкие руки на колени, такие острые, словно напоказ. Среди рыженьких волосиков тыльной части руки как пали несколько капелек с березы, так и лежат.

— Командира ищете? Зря. Он вас найдет. Насчет боя не беспокойтесь, бой сегодня не кончится. Война

тоже. Прежде при Бородине бились день, теперь будем биться дней десять, двадцать... Курите?..

— Нет, благодарю вас. Разрешите узнать?

— Смотря что.

— Сколько лет подполковнику?

— Сорок три.

— О! Седой уже.

— Бывает... суть не в седине...

Он, нервно стуча мундштуком о ноготь, торопливо, точно наотмашь рубя, спросил:

— А вы, лейтенант, и не подозреваете, что перед вашим приходом мы с подполковником имели рассуждения о вас лично?

— В списке пополнения моя фамилия значится, — сдержанно ответил Марк. И он хмуро добавил: — Благодарю вас за внимание, товарищ.

— ...Иван Карьин — имя известное... — без внимания к собеседнику, а будто рассуждая сам с собой, продолжал врач. — Машина много раз выручала в бою. Спрашиваю подполковника: «Не сын ли случайно?» Звоним в штаб. Угадал: сын.

— Я признателен весьма... Во время боя, да еще при Бородине... моя личность...

— В данном случае вы были не личностью, лейтенант, а канвою при другой личности, —сказал Бондарин.

Воспользовавшись тем, что лейтенант плохо слушает его, а разглядывает приближающегося к ним капитана Елисеева, врач внимательно осмотрел Марка. При первом взгляде он кажется дурно сложенным, косолапым, разметанным, при втором — находишь некую, допустим, лесную изящность, а при третьем, — третий взгляд уже женский, — влюбишься.

— Капитан, вы меня ищете? — заговорил быстро врач, суя танкисту портсигар.— Курите, курите, я только что. Докурился до глупых мыслей, до головной боли! Каков подъемчик перестрелки, а? С минуты на минуту самолеты появятся. Вы незнакомы? Лейтенант Карьин! Капитан Елисеев, сосед наш и выручатель!.. Вы ко мне, капитан?

Молоденький, только что умывшийся и весь прибранный, как оптический аппарат, капитан Елисеев несомненно всем нравился, и несомненно, он знал это, и это нравилось ему. Взгляд его больших масленистых и

словно бы намокших глаз остановился на Марке, — и Марку понравился этот взгляд, на что капитан ответил еще более ласковым взглядом, не без оттенка превосходства.

Но тут капитан вспомнил что-то.

— Карьин?.. Ох, боже ж ты мой, боже! Карьин? По верхней башне вижу — Карьин! Его голова! Сын Ивана?..

— Сын, — отозвался Марк, и ему никогда еще не было так приятно выговорить это слово.

Сильные и горячие руки охватили его. Капитан отскочил и, размахивая руками так, точно желая расколыхать всю вселенную, воззвал:

— Карьин! Сын! У тебя на мне долгу понаросло много. Получишь в любое время и в любом количестве! Благодаря тебе, может, тысячи русских жизней спасено.

— Это не я. Это — отец. Я ни при чем, товарищ капитан.

— Не скажи! Плоть есть плоть. Верно, дорогой доктор? Ты угадал, Дмитрий Ильич, я искал тебя, не спорю. Но, найдя тебя вместе с Карьиным, имею желание встречи вдвойне. Ты вознаградишь встретившихся: водкой и закусками, ха-ха? Мои машины ремонтируют. Есть полтора часа. Насущная необходимость ехать к нему в медсанбат, а, Карьин? К врачу?

Марк сказал:

— К сожалению... извините... мне надо на батарею. Я бы рад... в другой раз...

В ту же минуту появился давно ожидаемый командир, и Марк ушел.

Капитан Елисеев поглядел ему вслед:

— Предмет не бьющийся, не курящийся, не пьющийся, а?

— Вроде, — отозвался врач. — Он произвел на меня тягостное впечатление.

— Ну? А на меня — наоборот. Он... Он стоит сверх чего-то! Он живет громко, вроде меня. А отдыхая, опирается на тучи! Так, доктор?

— Вы, капитан, действительно опираетесь на тучи, а он...

— Не обижай Карьина, доктор. И вот что: я опираюсь на тучу, но на какую? Не на грозовую ли, Дмитрий Ильич?

— Вы о Настасьюшке?

— О ней. Чего скрывать? Фашиста бью, воюю — и в любом случае, самом распропогибельном, о ней думаю. Куда, на какую полку класть такое отношение?

— На полку любви.

— Не нравится мне это слово: любовь. Фокусник мышей своих и тех любит. Настало для меня время отгадать это слово. Страсть? Чувство?

— Аффект?

— Вот-вот, его еще недоставало. Аффект! Знаешь, какое слово, Дмитрий Ильич? «Всклонюся я другу, недругу: убери от меня ты подалее, не клади ты мне это словушко». Так у нас поется. И — названо оно: страдание! И опирается оно точно о грозовую... эвона, легка на помине, корыстится!

И он указал на север.

Оттуда, охватив уже четверть неба, поднималась тяжелая и обвислая, как мокрый мешок, грозовая туча.

7

Отец его редко рассуждал о религии. Когда бабка, зажигая накануне праздника лампадку, жаловалась, что «к деревянному маслу не подступишься», отец говорил о некоем собирательном крестьянине Иване Сидорове, который «дорогонько платит за поиски правды, понеже в чем правды нет, в том и добра мало». В детстве Марк часто слышал об этом Иване Сидорове. Он казался похожим на седого водовоза, по утрам медленно ввозившего во двор их домика зеленую бочку воды. Водовоз отчаянно, бабьим голосом, ругался, и Марк представлял, что вот так Иван Сидоров ругается, ища правду, и похожа та правда на подпрыгивающую в колеях зеленую бочку.

С детства запомнилось крепко: отец доставал старинную книгу в кожаном переплете с мягко звякающими медными застежками. «Здесь не религия, сударыня, — говорил он матери, — а красота». И Марк знал, что в этом отец не кривит душой. Красота — древние слова, розовые птицы, печально-радостный узор, пение, золотое, гладкое, легкое. На всю жизнь запомнился звучный колокольный голос отца, читающего древние сказания.

И оттуда шло это: «И бысть ему скорбь велия».

Тем временем третья батарея поднималась на холм, опускалась, выкатилась на берег реки, вдоль которого

набиты мшистые сваи, тявкнула оттуда; обогнула излучину; промчалась мимо какой-то церковушки с тремя главами, со следами пулеметных очередей; и опять выкатилась к реке. Река теперь была другая и по размеру и по цвету. Узкая, в лозняке, насмешливо голубая, веселая, будто нет и не будет ей дела до войны, и неважно ей, что килем вверх торчит тут у берега катер.

Да, грузен труд артиллериста, тяжелы пушки, глубоки грязи, грозен и беспощаден враг, которого жди за каждым кустиком. Светловолосый, как в песне, Ванюшка Воропаев, крановщик с Уралмаша, сказал очень метко:

— На войне, товарищ лейтенант, угодником стать легко, а вот праведником попробуй.

Это значит — угодить просто. А знать правду войны, ее музыку, ее ритм — куда труднее.

И, стоя по колена в грязи, когда мутная, как кисель, холодная вода текла за голенища сапог, а проклятое орудие никак не вкатывалось на пригорок, а тягач глох, Марк думал: «О, как прав Воропаев, как прав! И ему легко, ибо он все-таки уже праведник, а я? Он-то ведь угадал уже музыку войны. И не он один. Вот он присматривается к орудию и сейчас так повернет его, что оно само вкатится. А я?»

Праведники? Хорошее слово, все объясняющее! О войне, ее смысле они говорят редко. О враге говорят теми же словами, какими на Руси испокон веков обзывают палачей, катов. Пленных провожают недобрым взором: «Вожжи нужны, а то бы на осину». Все думы — возле орудия. И кажется, что помимо снаряда летит еще рядом с ним кусок их воли. На всякое затруднение, даже беду, уже готов выход. Прищурится, и глядишь, согласно приказу, в ноль-ноль столько-то батарея на позиции и ведет огонь.

И, разумеется, далось это уменье не сразу, но, вот, как далось, кто обучил и приладил, допытаться невозможно. Матвеев? Да, Матвеев, но до него был Петренко, а там — Самсонов, и десятки сержантов, старшин, рядовых — ловких, умных, ладных...

У Марка с батарейцами сразу установились правильные взаимоотношения. Они нравились Марку. А батарейцы рады были своему новому командиру. И похоже, что у всех чувство одинаковое — большая лодка, много сильных гребцов, у руля знающий, а главное, смекали-

стый. И этот, смекалистый, сам над собой чувствует сметку подполковника... Эх, всю бы жизнь так прожить: в отваге, в сметке, в ладу!

Бойчее себя чувствовал также и оттого, что с каждым часом понимал их больше и больше. В редкие передышки, чаще всего после еды, он присаживался к ним, слушая их разговор. Сперва он казался беспорядочным и даже бессмысленным, но вскоре стал обнаруживаться высочайший смысл.

Разговор обычно начинал сержант Никита Редлов, тридцатилетний мужчина с тяжелой челюстью и предобрым лицом. На сцену одновременно появлялись какой-то племенной рыжий бык в тонну весом, которого колхоз менял на ветряк, и вражда двух колхозов из-за неправильно срубленной сосны на кладбище. Редлов служил тогда в каком-то «Земельном управлении» и ездил, как он говорил, «ликвидировать этот сосново-бычий конфликт».

— Я им говорю: «Ну, чего блеете, мужики? Ловчей вас людей в области нету, а вы быка обменять не в состоянии». Тут они кричат: «Да зачем они у нас сосну срубили!» — «Постойте, говорю, давайте разложим событие на основные части». — «Это тебя, сукин сын, надо разложить да выпороть, а не нас!» — кричат, будто не понимают, а самим все очень хорошо известно.

— Кропотовцы-то? Село умнейшее! — подхватывает наводчик Стремушкин, бывший плотник, тощий, белесый и самый говорливейший на батарее. — Я, товарищи, все области прошел и в Кропотове был три раза, а однажды в осень рубил им колхозный коровник — богатейшее здание...

— Так это ты, Стремушкин, сосну-то на кладбище срубил?

— Я знаю, кто рубил, — внезапно входит в разговор татарин Батуллин. — Я зимой катал им валенки, ух, теплый село, жирный народ, веселый...

Собрались люди с разных концов страны, — а страна маханула и в Азию, и в Европу, и уперлась одним крылом в Америку даже, — и у каждого своя профессия: крановщик, плотник, пимокат, трубопроводчик, тракторист, огородник, тончайший знаток ягодных растений, печатник. Но, оказывается, все они бывали в Кропотове и, мало того, знают его наизусть! А велико ли село, сотня домов!

Неужели так-таки все и бывали? Не врут ли? Да и существует ли вообще это село Кропотово, племенной бык в тонну, ветряк и пень от нечаянно срубленной сосны на сельском кладбище? Почему удвинули это село дальше, в уральские степи, почему оно оказалось самым нужнейшим, что каждый из них побывал там? И почему там такие ловкие, умные, богатые и щедрые жители и такие простые дети? Мечта, созданная дружбой? Идиллия, порожденная войной?

Это сомнение возникло, когда Марк впервые услышал и разобрался, что дело с быком и сосной происходит именно в Кропотове, в уральских степях. Позднее, после двух-трех разговоров, сомнение исчезло, — и объяснить и возникновение его и исчезновение было крайне трудно, да и нужно ли! Марк попробовал прервать их беседу о Кропотове вопросом:

— Редлов, вам известно, что мы стоим на Бородине?

— А как же, товарищ лейтенант? Политрук объяснял, а в Можайск приезжал профессор. Читал лекцию. Кутузов, Багратион, редуты. Что ж! Земля хорошая, противник и лезет.

— А мне, товарищи, — заговорил скороговоркой Стремушкин, — мне сюда идти было боязно. Это Бородино я в школе учил. Учитель сердитый орет на нас: «Чтоб от корня до корня мне подать». А оно длинное. И стоят на нем, товарищи, богатыри. Ну как не смутиться?.. А пришел, гляжу: вдругорядь тот же народ стоит. Я тоже встал.

— Вдругорядь! — отозвался светловолосый крановщик, — а я вперворядь его вижу и скажу: парализовать хочет...

И он затейливо выругался.

— На «нее» и в щель взглянуть жутко, — отозвался кто-то.

«Она» — это смерть. О «ней» говорят редко и без насмешки. И обычно, когда скажут о «ней» что-нибудь, то разговор прервется и возобновляется о другом, обычно опять вспоминают о Кропотове.

Однажды молчание продолжалось дольше, чем обычно. А затем произошло совершенно неожиданное. Воропаев, светловолосый крановщик, вытер узловатые руки о штаны, пригладил усы и, простодушно глядя в хмурое лицо Марка, спросил:

— Разрешите обратиться с вопросом, товарищ лейтенант?

— Прошу вас, — сказал Марк.

— Настасья Федоровна Фирсова родственница вам придется, товарищ лейтенант, или — кроме знакомая — ничего?

Спросил он небрежно, словно бы походя.

— Знакомая, — сказал Марк с усилием. — Постой. Воропаев! Да разве она здесь?

— Ну, а вы будто и не знаете, товарищ лейтенант? Хозяйка! Все поле в ее руках. Смерть не страшна, а умирать противно, не то бы ранам радовался, потому — она лечит. Полевая терапия, товарищ лейтенант!..

Отступление, ужасающие бои, неудачи, — и дружба, господство возвышенного, вера в себя, в отечество... Хорошо!

Праведники? Несомненно, праведники! Люди, шагающие с правдой и мечтой в душе. Люди из Кропотова...

8

— Сожалел небось, Марк Иванович, что тайгу да зверей оставляешь? Кто в лесу жил, знает: дерево, не говоря о звере, и то привыкает к тебе. Отходишь от него, ветру нет, а оно колышет-машет ветками, и на зенитках, приглядись, роса. А солнце полуденное. Как это в лесотехнике-то называется, Марк Иваныч?

— Сентиментальность, Настасья Федоровна, — ответил Марк.

— Ну, кто меня так зовет? Зовут меня Настасьюшкой, будто няню. Да и по словам я старушка ведь, Марк Иваныч?

И она думает: «Не такой он, каким нашел его Бондарин, который, будь ему воля, запретил бы ей совсем встречаться с Марком. Давали парню ноши не по плечу,— легкие, он и заскучал и подумал, что мир в ладонь. И стал он выбирать ношу потяжелее, и наткнулся на «ошибку с Фирсовым». Парень смелый, решительный, дай ему эту ношу, — донес бы, не согнулся, да на ту беду вторая ноша: война. И уж две-то ноши: фирсовскую, непонятную, и вторую — военную, ему не унести! Значит, надо парню помочь сбросить ту, надуманную ношу — фирсовскую. Пусть себе, с богом, несет военную

ношу, — лишь бы донес. А донесет! Собой крепок, буен во хмелю небось, но душой и разумом чист. Жалко такого отпускать, да какая же с ним дружба? — медведь с ним дружи!»

— Я давно собирался увидать вас, Настасьюшка, — говорит Марк в напряжении. — И приехал бы, считай себя достойным встречи.

— Чем же один человек может быть перед другим недостойным, Марк Иваныч?

— Мой отец украл у вашей матери...

— Ах, Марк Иваныч! Откуда у вас эта муть? Чем ваш отец мог обездолить мою маму? Вы не думайте плохо о мамином счастье, Марк Иваныч. Да и о моем тоже. Мама моя вышла за другого, за бухгалтера, жили они хорошо, и бухгалтер был очень доволен, что вот она — с профессором разошлась, а с ним живет. И меня он любил. У ней от него двое сыновей было, они сейчас в Ногинске; один учится, другой на фабрике, где я работала. На фабрике мне было хорошо, Марк Иваныч. Интересно. Траву ведь ткешь! Ткешь себе, и чудится, что целое поле превращаешь в кружева, в коленкор или в бумазею. Жалованье получишь, конфет купишь или варенья... нет, я своей жизнью была довольна, Марк Иваныч. Я семилетку, слава богу, кончила, и теперь меня Дмитрий Ильич на сестру милосердия готовит, сдам экзамен, на фельдшерицу учиться буду...

Марку подумалось, что разговор идет неправильно: не о том он мечтал, когда рисовал встречу с ней. И он сказал:

— Не сохранилось ли, Настасьюшка, в вашей памяти... это очень важно для меня!.. беседы с матерью... и ваш вывод: в той ссоре наших отцов — кто виноват?

Настасьюшка ответила совершенно безмятежно:

— Да кто их знает, голубчик! Не нам их судить. Все трое покойники. Раз так случилось, что поделаешь?

— Сделать многое можно, — горячо заговорил Марк, — и мы, дети наших отцов... взяв на себя все, что осталось от прошлого...

— О прошлом-то, Марк Иваныч, как раз больше всего и врут: оно ведь не встанет опровергать. И я так думаю, что взяли мы от прошлого только хорошее, в первую очередь — жизнь. Вот стоим мы с вами на Бородине, а сколько о нем песен пето...

Еще более поспешно, боясь утерять мысли, Марк сказал:

— Да, да! Но о Бородине после. Дневников, записок у вашей матери не осталось? По запискам раскроем: в чем же дело, почему сломали жизни?

— Какие жизни, Марк Иваныч? Мамаша жила хорошо, отец помер, — вольно ему было два литра после рыбной ловли пить, я... Да вы на меня гляньте: чем же я несчастна?

Марк напряженно вглядывался в нее. Черты лица ее мелкие, и вообще она вся какая-то мозаичная. Розовые уши ее немножко велики, она понимает это и убирает их под платочек, кокетливо улыбаясь и поправляя шинель, падающую с плеч, тем движением, каким цыганки поправляют шаль. Назвать ее несчастной? Почему же? Тогда чем же Марк способен ей помочь? Но почему же ему хочется говорить о помощи ей?

— Не-ет, разве я несчастная, Марк Иваныч? Я поднимусь высоко. Есть такие, которые считают, что человек не должен выше их носа подниматься. И начнут тебе свет застить. Тех я оттолкну! Я добрая, но отталкивать умею. Свету мне хочется, Марк Иваныч!

— Законное желание.

Она повела плечами. За этими плечами лесок, а за ним поле. Темные воронки дыма стелются по нему. Из серой ямы неба пикируют самолеты. Сыплется на поле пулеметный град. Снарядом повалило дерево. Лохматое, плетенное из веточек, воронье гнездо упало с вершины и застряло, катясь, в колее дороги. Раненый, идущий по колее, перед тем как войти в палатку врача, смущенно очищает грязь с сапог о гнездо.

Марк уходил мелким, лесным шагом, высоко приподнимая ноги. Большие следы его сапог четко отпечатывались на обочине. Рыжая вода заполняла эти следы... Так ли она поступила? Правильно ли, что так быстро сняла с его плеч «фирсовскую» ношу? Она не налгала, нет, — она несколько пофантазировала на тему о своем стремлении «повелевать». И относительно книг она не лгала — Лермонтова, например, она любит больше, чем Пушкина. Но ведь о своем счастье она не лгала? Да, она скоро будет счастлива.. с кем?.. с ним?.. Не потому ли «отваживала», что любит другого? Нет, нет, как так можно думать?!

— Настасьюшка, Настасьюшка, что задумалась? Он — интересный, да? Интереснее капитана?

— Какого капитана, Тоня?

— Господи! Да капитана Елисеева.

— Стыдилась бы!.. Копеечные мысли!.. И вдобавок где! — на Бородинском поле!.. Мало работаешь, идем...

9

В землянке мало перемен. Мозолит глаз коптилка, телефон с засаленным от долгого употребления шнуром, папка с приказами, испещренная отметками красным-синим карандашом, закапанная чернилами. По-прежнему вздрагивает коптилка от взрывов, и по-прежнему знамя, стоящее в углу, в клеенчатом чехле, слегка отделяется от стены; тогда кажется, что кто-то хочет его вынести, но, раздумав, ставит обратно. По-прежнему в землянке Хованский и Бондарин. Широкоголовый, недвижный, словно одеревенев, сидит за ящиками из-под консервов Хованский, прислушиваясь к чему-то такому, что слышит он один. Красные его руки оттягивают ремни портупеи. Во всех движениях его серьезная и умная многозначительность, и Марк не думает о нем: «философ музыкальной баллистики». Он думает другое, еще неясное, но, должно быть, очень хорошее...

— Лейтенант Карьин явился по вашему приказанию, товарищ подполковник.

— Садитесь, лейтенант.

И опять безмолвие; пристальное безмолвие, наблюдающее за силой и движением врагов, необозримые ряды которых теснятся на древнем русском поле... Странно, но после разговора с Настасьюшкой Марк стал чувствовать себя гораздо свободнее, даже к Бондарину нет прежнего, несколько презрительного отношения. Неужели придется заменить «мыслящий рецепт» — «мыслящим врачом»? — думает он, с улыбкой глядя на Бондарина.

— Как на батарее, лейтенант?

— Все в порядке, товарищ подполковник. Со снарядами есть неувязка, но снабженцы обещали...

— Снаряды привезли. Психическое состояние бойцов?

— В Москву врага не пустим.

Хованский взялся за телефон.

— Нет! Не отдавать ни в коем случае! — вскрикнул он, бросая трубку.

И он опять повернул лицо к Марку. Лицо это показалось Марку усталым, больным, измученным бессонницей сражения. Утешал Бондарин. Бурное волнение пылало на его лице. Он, видимо, страстно желал устремиться в разговор и сразить в нем кого-то:

— А, Марк Иваныч! Попали вы на именины войны. Стремление отбросить, покорить врага достигло наивысшего накала. Я это стремление ощущаю более резко, чем всегда. Я вижу, как всегда: ко мне все нити сражения, вернее, перерезанные нервы. Но они еще трепещут, и я вижу много. Многое, голубчик! «Тысячи падали. Но первые ряды казались целы и невредимы: каждый пылал ревностью заступить место убитого и безжалостно попирал труп своего брата, чтобы только отомстить смерть его». Эти строки были написаны по другому поводу. Но я прочел их сегодня... три ночи бессонных... перед сном читал Карамзина... прочту, уроню слезу, — страшна ты, история русская, и...

— История Европы еще страшней, — глухо кашляя, сказал Хованский. — Мы привыкли — Возрождение, французская революция, Кромвель, сорок восьмой год, Коммуна... Это — окна. А о доме судят не по окнам. Вы в простенки взгляните! Виселицы, пытки, костры, насилия, надругательства над нациями, искусством. Рыцарство? Ха-ха! А вот в результате исторического шествия всей этой сволоты и появляется великий гной, мировая гангрена, которую мы с вами сегодня, изволите видеть, лечим, Дмитрий Ильич.

— И вылечим, Анатолий Павлыч, вылечим, клянусь!

— Что мне ваши клятвы? Берегите их к концу.

— Концу чего?

— Сражения. Там они понадобятся, когда придется клясться, что с поля не уйдем, пока не падут враги. Впрочем, что о вас заботиться? У вас жару на сотню клятв хватает. Молодая у вас кровь, Дмитрий Ильич!

— Да и у вас не княжеская. Прошлый раз я, простите, злобствовал и, кажись, назвал вас поповским сыном...

— Поповский сын не позорней какого-нибудь другого. Мне-то все равно: поп ли, дьячок ли, купец ли, а лишь бы папаша. Не видел я папаши! И матери не

знал. Дед, сказывают, из дворовых, а фамилия — княжеская. И за княжескую кличку бежала за ним всегда насмешка, отчего дед и пил нещадно. А может быть, просто выпить предлог искал? Глупости все эти фамилии, двадцать пять рублей им цена. Суть не в этом. В другом. То, что я вижу в вас, Дмитрий Ильич, трепет от труда! — Он глубоко, будто на столетие, набрал в себя воздух и сказал: — Труд — самый великий меч человека, его защита и его счастье. Платон в «Федре» сравнивает душу человека с телегой, запряженной парой волшебных коней. Кони-то хоть и волшебные, но один из них с пороком, норовит, негодяй, вместо верха — вниз. Но возница мудр и тверд. Благородный, трудолюбивый конь пересилит порочного, вывезет. Вывезет, как вы думаете, лейтенант?

Марк сказал:

— Он уже вывозит, товарищ подполковник.

Хованский захохотал:

— Вот оно, великодушие молодости! Они хотят разделить славу с отцами. И правы! Отцы тоже не дураки. Например, врач Бондарин, вам, я уверен, сегодня пришла в голову великая мысль? Вы накануне открытия! Человечество с легкостью будет залечивать раны! В природу надо еще много вложить труда. И вы вкладываете, Бондарин, а? Читали вы первую книгу Бытия, лейтенант? Нет? Еще прочтете. В конце шестого дня: «и увидел бог все, что он создал, и хорошо весьма». Обрадовался. А почему? Да потому, что был уверен — придут Бондарины и поправят то, что недоделано, а недоделанного много: и в природе и в человеке! Например, болтливость. Да еще во время боя.

— Болтливость — порок, если бой не налажен. И дай бог нам побольше такой болтливости, как ваша, Анатолий Павлыч.

Хованский опять захохотал, широко раскрывая темный рот.

— Начальник и подчиненные! Речь представителя подчиненных по случаю юбилея начальника. Впрочем, перед тем начальник хвалил подчиненного.

Марку было чрезвычайно трудно следить за беседой. К тому же подполковник явно многословен, а врач — излишне и даже бессмысленно горяч. «Не скрывается ли здесь, как и прошлый раз, что-то иное? — встрепенувшись, подумал Марк. — Спорят они о труде,

а думают обо мне». Но, пожалуй, на этот раз было другое.

Бондарин достал портфель, вытащил оттуда пачку поспешно набросанных заметок. Посыпались медицинские термины. Хованский, к удивлению Марка, превосходно разбирался в медицине. Даже сквозь свое невежество Марк понял, что подполковник высказал несколько дельных мыслей. И это наряду с тем, что он отдает приказания о бое, выслушивает донесения, соглашается или возражает своим помощникам.

К Марку они оба относятся теперь по-другому. Почему? В бою никаких особых дарований Марк еще не проявил. Он был послушен, не больше. Для него в бою хорошо и то, что дисциплинирован, но разве не нужна в сражении выдумка, молниеносное вдохновение? «Такими разве хаживали в бой деды наши?» — «А разве ты знаешь, какими? Бывало, ходили такими, а бывало, прийдя, делались другими. Мы знаем начало и конец действия, а самый процесс его кто уловил? Кто расскажет мне истинную музыку прошлого сражения, когда вон, по словам Хованского, до сих пор спорят о том, как протекала Бородинская битва...»

Промежутки в буре предвещают еще более ужасный всплеск ее.

Внезапно канонада прекратилась. Наступила тишина да такая, что упади пылинка — прогрохочет громче грома. Сырой холод потряс Марка.

Хованский откинул назад плечи. Из угла, из тьмы, выступил долговязый писарь. Держа шинель двумя пальцами, он подал ее Хованскому и вышел торжественно, словно на цыпочках. Хованский надел шинель, закутал ноги, опять уселся насупившись. От его шинели пахло табаком, машинным маслом, мылом. Из одного кармана торчало полотенце. Должно быть, ходил на речку окунуться, да и забыл вынуть, — купался он, говорят, до льда.

— Воспитывался я в военной среде, знаете, — сказал он, редко моргая длинными ресницами. — А военная среда к женщине на словах относится хорошо, а на деле — значительно хуже. Здесь, Дмитрий Ильич, тоже не мешало бы подлечить среду. Был я однажды на маневрах. Пришел из Рязани, — стояла наша часть тогда в Рязанской. Батарею мою поставили на хуторе. Так, одно слово, что хутор. Торчит полугнилая изба среди

полугнилого поля, у гнилого болота, и вокруг темень, ветер, осень, жуть. Жена у меня тогда в городе находилась. Думаю: что бы хоть жене приехать? Да откуда она узнает, что я здесь? Маневры, бросают влево — вправо, бросили на хутор — пятые сутки неизвестно для чего. И вдруг трынь-трынь, — тогда еще колокольчики водились, — въезжает пара. Она! И была у меня дочка трех лет. До того часу, как они сюда, на хутор, въехали, не помню, как относился я к ней. Растет — ну и расти!.. Въезжает пара, жена возле ямщика, сама белей мела. Говорит: «Ты?» — «Я, мол. Что случилось, в чем причина приезда, да и как нашла?» А она дочь сует в руки, шепчет: «Не могу, тоска загрызла, объясни, что происходит со мной?» — «Да глупость, мол, происходит! Зачем приехала? Что отвечать начальству?» — «То и скажешь, что тоска». Пожили они у меня день. Я настаиваю: «Надо уезжать, и без того неприятности». Уговорил. Да и жена поуспокоилась. Правда, у меня сердце ныло. Выйду, погляжу на небо, небо в тучах, и тучи те прямо у моих сапог. Махнешь направо — дождь, налево — слякоть, а в полях что-то катится, и воет, и свищет. Вдуматься по сути дела, самая обыкновенная русская непогодь, которую и бурей-то, собственно, назвать нельзя. А тоска непогодная, туманная! Поехали. Через день непогодь как топором отхватило, батарея моя вышла к месту назначения, и в каком-то районном центре получаю телеграмму: «Ваша супруга, товарищ командир, скончалась». Поскользнулись кони, когда ехали от меня, покатило тарантас по откосу, а тут река, омута, — и захлестнуло. О дочери ни слова. Я телеграфно спрашиваю. Молчат. Я — в город. Уже похоронили обеих! Я пришел на могилку. Кладбище старинное, в деревьях. Деревья как золотым металлом осыпаны. А я стою, гляжу на этот темный холмик, где еще следы лопат — приглаживали землю могильщики, и думаю: «Ведь вот отчетливо помню, что полюбил их неслыханно, когда сходили они с крылечка и над ними простерлось наше бессонное небо. Полюбил ведь? Вчера пылало сердце, а тут захирело в сутки?» Что это? Нелепости в жизни? Предчувствия? Или случайности, которые сопровождают каждую бурю? Этих ответов я дожидаюсь сейчас, а тогда была просто мука, звериная, грубая мука. И самобичевание: не будь бы я годами холоден, разве бы они ринулись ко мне? Дождались бы!.. Простите, я вам

не повесть читаю поучительную о сгоревшем доме, а у меня такая своеобразная манера отдыхать в затишье. Я просматриваю карты, на которых бит, перед тем, как взять карты, на которых выиграю.

И прояснившимся, великолепным голосом, напоминавшим Марку голос отца, он спросил с отменной простотой:

— Хорошо вы встретились с Настасьюшкой?

— Хорошо, — ответил Марк и не солгал. Чувство, оставшееся после встречи, было подлинно хорошим, словно побывал в большом, отлично содержимом фруктовом саду. Выразить это чувство трудно, но надо. Хованский ждет. На добром лице Бондарина тоже напряжение. Марк, немного помявшись, сказал: — Видите ли, товарищ подполковник...

— В таком случае не трудно сказать — Анатолий Павлыч.

— Я боюсь нагрубить, Анатолий Павлыч, если попытаюсь передать мои чувства, испытанные мною при встрече с Настасьюшкой.

— Раз боитесь нагрубить, значит, не нагрубите.

— У меня осталось такое впечатление, — сказал Марк, уже повертываясь к Бондарину, — что я ложусь спать в двенадцать, а она в восемь. Я работаю в ночи. Она — днем. А все же для нас обоих солнце блестит одинаково прекрасно...

— Как здоровье, лейтенант?

— Превосходно, товарищ подполковник.

— Отправляйтесь на батарею: она нацелена на врага; батарея, вообще говоря, хорошая. Но встречаются неприятные мелочи, наблюдайте за ними внимательно. Знаете, шелуша орешки, тоже наешься вдоволь. Поприглядитесь.

— Есть приглядеться, товарищ подполковник.

10

Да и приглядываться не пришлось.

Два разведчика — Батуллин и Прокопьев отправились узнать, что творится у противника. Три часа идет редкая перестрелка. Противник к чему-то готовится, перегруппировывает силы. В разведке Прокопьева ранили, и в это же время фашисты открыли сильный ми-

нометный огонь. Батуллин, «не выдержав техники», по его словам, покинул товарища и прибежал на батарею. Политрук и Воропаев, первые встретившие его, говорили, что никогда они не видали такого испуганного посинелого лица.

— Мертвец, и тот чище, — добавил Воропаев.

Добро, что случайно оказались под рукой санитары, которые и вынесли Прокопьева! А если б их не было? Погиб бы хороший боец, пал бы позор на батарею! Уже сейчас подполковнику известно... откуда?

— Откуда известно?! Не знаю! — тем же несколько беспечным голосом сказал крановщик.

Марк приказал привести Батуллина.

Приближалась ночь. Торопливо, точно подводя счет, били по лесочку немецкие минометы. Батарея им не отвечала. Спрятавшись в лесочке, на полянке, возле старинного колодца, заросшего высокой крапивой и лопухом, батарея бросала снаряды на левый фланг, к реке. Сюда, по предположению Марка и по словам разведчиков, движется основная сила удара немецких войск.

Ковыляющей походкой, выкидывая вперед каблуки, подошел Батуллин. Лицо его, раскосое, круглое, было так бледно-прозрачно, что казалось, можно разглядеть сквозь кожу решетку костей. Увидав это виноватое лицо, политрук и будущий сержант Воропаев потемнели, точно сейчас разглядели трусость.

И тут-то ужасный взрыв ярости, которого так страшился Марк, охватил его. Наклонив голову с просторным, заполненным вспухшими жилами лбом, расставив чугунные сапоги, сумрачный, вздрагивающий, он ворчал глухим голосом, от которого Батуллин сотрясался больше, чем от пикирующего штурмовика.

— Глядите на него! Всматривайтесь!..

— Товаришш командир, товаришш литинант... — бормотал Батуллин, медленно ворочая треснувшими от внутреннего жара губами.

— Уходи! Уходи, чтоб батарея тебя не видала! Уходи под минометы! А оттуда приведешь «языка». Слышишь? «Языка»! Немецкого! Без «языка» не пустим! Налево кругом!..

Батуллин сделал «налево кругом» и, как был без шапки, без винтовки, так и пошел. Уже по дороге добряга Воропаев нагнал его и вручил ему винтовку:

— Ты ничего. Ты не бойся, Батуллин, главное дело! Ты считай, вроде меня, — весело пожито, красно похоронено.

Батуллин неожиданно рассердился. Зубы его сверкнули. Лицо исказилось.

— Кто хоронись? Не буду хоронись! — прошипел он и скрылся в голых кустах.

Воропаев глядел на размерно вздрагивающие ветки кустарника. Верх их еще зеленоватый, а низ уже надел темную шубу зимы, закутавшись дебелым мхом. «Дал маху лейтенант. Уйдет поэзия!» Разговоры о домашности, которым часто предавался Батуллин, светловолосый крановщик называл «поэзией, детским дерьмом». То ли дело Уралмаш или хотя бы Кропотово, товарищеское веселое село, работящее, вдумчивое, где все друг за друга, каждый другому наседка. «Жалко лейтенанта, надо его поберечь: кропотовский парень, оттуда! Только как же это он, при кропотовском уме, маху дал?»

Но оказалось, что лейтенант маху не дал.

Батуллин вернулся с «языком».

А перед его приходом было жарко.

Батарея, понимая, что все ее спасение в точности работы, действовала с чудовищной, невозможной, казалось, для живых существ точностью. Хотя позиция была новая, но каждый шаг по неровной и незнакомой еще земле был рассчитан сразу: столько-то секунд на проверку. Чутким ухом батарея улавливает в трубке полевого телефона голос корректировщика, что «с пяти попаданий», «с четырех», «с трех»... «объект разрушен». Марк вносит сообщение в клеенчатую тетрадь, широкую, как тот чехол, которым обернуто шелковое знамя, — и да будет она священна, эта тетрадь, как знамя!

Чем сильнее сгущалась ночь, чем ниже спускались осенние тучи, до липкой влаги которых, казалось, достанешь затылком, тем чаще рассыпались пониже туч коварным, серебристо-желтым блеском вражеские ракеты, тем быстрее и удачнее сыпала в ночь, в наступающих немцев третья батарея свои смертоносные, злые снаряды. «Помирать хотите под иллюминацию? Пожалуйста!» — изредка говорил Воропаев, наблюдавший за подноской снарядов.

И ярость, которой был охвачен Марк и которая не исчезла с уходом Батуллина, а еще увеличилась, ужа-

сающим своим восторгом охватывала не одного его, но и всех, стоящих рядом с ним. Подражая своему бешеному лейтенанту, солдаты, как и он, наклоняли головы, расставляли ноги и после залпа глядели на ракеты, будто по их блеску пытаясь угадать: сколько же уничтожено сейчас гитлеровцев?

Давно от сотрясений обрушился древний колодец, стоявший небось с Наполеонова нашествия; давно осыпались деревья, засизевшие было осенним инеем; давно в волдырях привыкшие к работе руки подавальщиков снарядов, а командир батареи неутомим. Он смотрит на приборы, проверяет радиста, телефонирует и чрезвычайно радуется, когда ему удается переброситься по телефону словом с Хованским, который почему-то тоже в эти часы охоч с ним поговорить. Говоря, он представляет себе Хованского. Голова его, в седом жестком волосе, широка, как кастрюля, а тело длинно и тонко, будто тесина.

— Как можется, лейтенант? По левому флангу?

— Сможется, товарищ подполковник. Так точно, по левому!

И лейтенант спешит к орудиям.

— Еще, ребята, по противнику! Действуй, артиллеристы!..

И то сказать — третьи сутки не дают артиллеристы немцу ударить по дивизии с левого фланга. Рушат и рушат.

— ...Куда прикажешь с ним идти, товаришш литинант?

Ух, знакомый голос! Знакомый? Лейтенант кинул трубку полевого телефона.

— Батуллин? Черт! Ты?

— Так точно, товаришш литинант!

— И с «языком»?

— Так точно, товаришш литинант. Большой «язык», едва засиловал. Думал, осиротеют у меня в колхозе, под Уфой. Он мне наперерез! Я — в один прыжок!

Голос у разведчика сиплый, но какая теплота, какая чертовски приятная теплота!

Марк осветил фонариком фигуру гитлеровца. Человек не тряпка, да и ту изомнешь, если ползти тебе под огнем минометов. Помят и немец, рослый и, видимо, силищи неимоверной. Еще недавно, там, за спиной своего огня, был он напыщен и высокопарен, а вот как

пробрила смерть, так и стал он пуст и мелок, что противно и смотреть.

— Завоеватель? Ефрейтор, сволочь? — слышится взвизгивающий от злобы голос Воропаева. — В Кропотово им! Прикажете пулю, товарищ лейтенант? Она зудит по нем. Прикажете?

Лейтенант спешно приказал вести пленного в штаб полка. Батуллин, самодовольно лоснящийся, повел его. Не доходя шагов ста до штаба, он решил показать штабным, как удалые разведчики приносят «контрольных пленных». Он взвалил огромного гитлеровца на спину и, согнувшись, потея и пыхтя, принес его к землянке. Немец лежал на его спине смирно, стараясь не задеть татарина локтями; испуганно был раскрыт рот ефрейтора со вставным стальным зубом вверху.

Едва Батуллин скрылся с полянки, как внутри Марка все запенилось и запетушилось. Приятно, леший его дери, чертовски приятно!

Приятно, что угадал сердце Батуллина. Теперь много будет угадываний. Другого порядка, разумеется. Приятно, что в ярости не потерял себя, а, наоборот, нашел! «Тра-та-та-та-та, тра-та-та!» — насвистывал он. И орудия подпевали ему в голос: «Тра-та-та-та, тра-та-та!» И лес вторил.

«Нет-с, Марк Иваныч, вы в этом деле не уронили тени отца!.. Да, в этом. А в другом? В каком? Ах, — Настасьюшка!..»

Подумал о ней, и радость его не умножилась... Живет для себя? Живи. Славы ищешь? Ищи. Я ни при чем! Я не из вашего комода, не ваш выдвижной ящик...

...Перед рассветом орудиям дали отдохнуть. Воропаев принес в котелке пахнущую дымом кашу. Марк густо, по лесной привычке, посолил ее и стал жадно есть. В голосе Воропаева,— он «заводила» в батарее,— чувствовал уважение. Он учтиво подавал хлеб: любимые Марком горбушки. Марк понял — батарея нашла настоящего хозяина и подчинилась. Что ж, приятно!

И еще ему приятно сознавать: гул сражения, в котором он участвует, в несколько дней изменился для него. Изменился заметно. Вначале — что греха таить! — он чувствовал себя песчинкой в урагане. Теперь же Марку уже кажется, что он выдернул из себя наиболее вредное, наиболее суетливое, от которого в диком страхе пучеглазится человек. Добыто «оно» с трудом,

с тяжестью, будто не дни прошли, а годы. А разве остальным «оно» легко досталось? Мало искривилось людей, мало истоптано дорог гвоздистыми ботинищами войны?.. Невелика третья батарея, а послушаешь бойцов — сколько народу погибло, пока не подобрались ладные...

Сквозь залпы орудий, каждый из которых выбивает себе дорогу по сквозящим верхушкам деревьев, сквозь едко-мягкий вой минометов Марк услышал лязг танковых гусениц. Машина спешно пробирается лесом. «Чья бы, куда бы?» — подумал Марк, и ему пришло в голову, что, поглощенный жизнью своей батареи, он забывает спросить, как же обстоит дело на всем Бородинском поле, этом небольшом участке великого сражения, происходящего на гигантском пространстве: от тундр до кипарисов.

С ловкостью, свойственной удачливым и счастливым людям, капитан Елисеев поставил свой танк на холмик, возле опушки. Гусеницы чавкнули последний раз, и, вытирая руки тряпкой, с масленистым, сияющим довольством лицом в люке танка показался сам капитан. Разумеется, так же, как и Марк, он почти не спал эти ночи, но какая разница в выражении лица! Марк, хотя внутренне и чувствовал себя превосходно, внешне казался угнетенным. Капитан Елисеев? Разве подумаешь: ну, подгулял немного! По-прежнему волосы капитана цвета спелой пшеницы, нежна кожа на длинной шее, даже грубый ворот кожаной потрескавшейся куртки похож на дивный ожерелок из каких-то приятных рыженьких камешков.

По-прежнему капитану нравится шептать вам на ухо, обдавая ваш затылок теплым дыханием. Слова его, включая и самые обыкновенные, вроде «задание», придают вещам и поступкам удивительную волшебную силу. Второй раз видел его Марк, а как стал близок этот человек!

— Есть на моем сердце твоя отметка, — шепчет он на ухо Марку, — по такому случаю и заехал. Надо поговорить. Увидимся ли еще, — не знаю.

— Предчувствие есть?

— Почему так: предчувствие? Предчувствие — это когда угорит человек от нужды. Другое, друг, другое! Ливень крови вижу, — так бьемся. А какой рекой плыть, ту и воду пить.

Слова у него прихотливо плещутся. В юности он был пильщиком, и есть в его словах что-то от прежнего рукомесла: опьяненно свистит пила, сыплются розовые, пахнущие сыростью и смолой опилки, рубаха вздувается от движения...

— Стало быть, другое?

— Другое. Сердце! Про тебя тут, перед приездом, промелькнула напраслина. Дескать, профессорских сынков знаем: дурье сплошь. Ха-ха! Я да еще Настасьюшка в тебя верили. Что? После приезда? Нет, после приезда твоего я с ней не говорил о тебе. Молчали. Да и зачем жевать вслух! Но перед самим собой мигать не хочу! Хованский прав и Бондарин прав: любит она тебя. И ты ее, вижу, любишь! Москва, сказывают, с одной спички сгорела. Так что же нам чмурить над людьми, издеваться: не бывает любви с одного взгляда! Бывает? Бывает пламя? Сжигает?

— Сережа!

— А?

— Взгляни на меня.

— Гляжу!

— Похож я на того, каким вы меня вылепили?

— Ты почему так: не годен? Чем? Что ты скрываешься?

— Шарю день и ночь в себе и не нашарю. Чего мне тебя, Сережа, морочить, да и зачем себя портить разговором?..

Он хотел объяснить ему все думы, которые накопились в нем о Настеньке. Достаточно его ткнуть, еле-еле уколоть, как он уже поймет тебя. С ним можно... И тотчас же пришло в голову: «С ним-то более чем с кем-либо нельзя! Уж кто-то, а Елисеев не поймет. «Какое право, — спросит он, — имеешь ты говорить о ней плохо, сухо, низко? В каком гадком деле ты ее видел? Слово дурное ты о ней слыхал?»

— Марк! Ты опять молчишь? Мне, друг, костылять некогда, мне надо на новые позиции спешить. Я урвал десять минут. Говори, Марк. Не хочешь ты меня морочить? Понимаю! А в чем? Да не мешкай, друг! Говори. Жду.

Марк сказал:

— Не хочу кричать на всю округу во время боя!

Неожиданно словам этим капитан Елисеев придал

большое значение, — истолковав их, разумеется, по-своему.

Он сказал:

— Спасибо, друг. У смерти коса низко ходит, укос травы будет большой. Но про меня не думай, что я, как трава, попаду под ту косу! Нет! Я бы к тебе тогда никак не заехал. Я уязвлен, но не заколот. И уязвленный — пойми... — я могу за твое счастье радоваться.

«Ну, что он пристал ко мне с этим счастьем?» — подумал в горечи Марк. Вслух же сказал:

— А как положение на Бородинском?

— На Бородинском? В порядке. Я к тебе почему заехал? — зашептал он опять на ухо. — Почему за тебя радовался? Только потому, что ты хороший? Э-э! Мало ль их, хороших. Я, друг, не так ограничен умом. Нет! А потому, что ты бился лихо! И лихо мне помог на левом фланге! Вот ловко, думаю, от отца — машина, от сына — снаряды. Ух, не отвертеться немцу!

— Совсем не такой я хороший, Сережа.

Капитан выхватил планшетку, развернул карту поля и, тыча сломанным карандашом в испачканный маслом лист, сказал:

— Вот. Иду на правый фланг! Приказ.

— Да ведь левый-то важнее?

— Перебрасывают. Приказ. Не обсуждаю. На правый, так на правый... Иду. Возле — как его? — музея встречаю машины. Медсанбат Бондарина продвигается к правому флангу. Э! Значит, быть там всему пылу. Настасьюшку вижу. Два-три слова. Из них — половина о тебе. Тогда, думаю, свиньей мне быть не заехать, не сказать? Миновало меня счастье, а что поделаешь? Тысячи могут стоять в пространстве. Но в том же пространстве троим тесно. И весь разговор!

— И все-таки на правый — лишнее.

— Приказ.

— Приказ?

— Приказ, выполненный на «отлично», — победа. Вот и весь разговор. Будет тебе приказ — бить по правому флангу, — ты меня поддержи.

Марк вспомнил множество толстых книг о стратегии и прочем и увидал, что точкой опоры теперешнего маневра немцев является бесповоротная решимость завершить маневр атакой, сокрушающей русских на левом их фланге. А мы в это время отдаем распоряжение отвести

войска на правый фланг?! Марк привел из книг много примеров. Капитан слушал, моргал глазами и думал о своем: о Настасьюшке. Удивительный человек! Бой у него должен быть в голове, а он — Настасьюшка! И, чтобы отвлечь его от глупых дум, Марк сказал:

— Что же касается нашего разговора о Настасьюшке, то — ни я ее не люблю, ни она меня, да и не встретимся мы с нею больше. Так сложилась обстановка.

Капитан Елисеев протянул вперед руки, будто думая благодарно обнять Марка, но только хлопнул в ладоши и сконфузился от этого мальчишеского жеста. Чтобы скрыть свою радость, он сделал вид, что очень серьезно думает о стратегических расчетах Марка. Он сказал:

— Ты предполагаешь: немцы обеспечивают внезапный удар на левом фланге и мы тоже маневрируем? Допустим. Но зачем же тогда перебрасывать на правый фланг медсанбат Бондарина? А ты знаешь, он опять открытие осуществляет! Буду, говорит, на поле сражения его проверять... И-и, батюшки-светы, Волга-река, времени-то сколько, а мне надо в ноль-ноль...

Он прыгнул в люк и оттуда крикнул:

— Великая у тебя душа, Марк Иваныч. Вся в отца! Ы-ых, Волга-река, и покрошу я нонче врага в твою честь!..

Танк щеголевато встал на дыбы, боднулся и, прокладывая переулок в кустарнике, пошел напрямки на правый фланг боя, чтобы, развернувшись, с ходу атаковать немцев. Елисеев думал: «Есть еще по дороге родничок, напьемся студеной...» Он остановился у родничка и зачерпнул котелком водицы, студеность которой отдавалась в висках.

11

В те минуты подполковник Хованский думал о Марке. Только что был получен приказ, подтверждающий приказание, отданное полчаса назад: направить все силы к правому флангу и во что бы то ни стало отбить фланговую атаку противника, а затем самим перейти в атаку, дабы немцы откатились к Дорохову, где их ждут... О том, что немцев ждут у Дорохова уничтожающие русские силы, подполковник только предполагал, но и иначе быть не могло.

Подполковник вспомнил Марка Карьина и его третью батарею, действующую превосходно и само собой явно гордящуюся своей превосходной работой. Он сел в автомобиль и приказал везти себя на третью.

Было это около двух часов пополудни.

Тогда же на третьей батарее ранило Михася Ружого и насмерть зашибло осколком мины наводчика Стремушкина, тощего настолько, что все в нем казалось упрощенным донельзя. Зашибло его тоже пустяковым осколком, не крупнее горошины, словно для того, чтобы показать, что смерть и таким делом не гнушается.

Перед смертью Стремушкин, широко раскрыв рот, кричал навзрыд:

— Сестрица-а, сестрица, ох, больно мне, больно-о!..

Минутами сознание приходило к нему. Он глядел на Марка, на приятеля своего Воропаева, губы его не двигались, а взгляд говорил: «Простите, товарищи, много в запас было приготовлено терпенья. Вот не хватает!» И, закрыв бесцветные глаза, он изгибался, выпячивая тощую плотничью грудь. Болтались на материи полуоторванные пуговицы гимнастерки, выпачканные кровью.

Люди убывали. Резервы не успевали пополнять. Оставшиеся, собрав силы, отталкивали смерть, но она, упругая, как резина, возвращалась снова. Опять распахивалась, визжа на петлях, подвальная дверь неба. Тягучий и смертно-медовый звук немецкого штурмовика простирался над леском, и на мгновение вся земля, отдавая звук, превращалась в деку, в доску инструмента, на которой натянуты струны. «У, страшновато... — мелькало у всех в голове.— А что поделаешь: бывает еще страшней! Где страшней? У кого бывает? Где-то, не у нас...»

И одновременно с этим люди бьются, а некоторые разговаривают так, как недавно говорил милый капитан Елисеев. Поворотливые, расторопные, они презирают врага и уверены, что в конце концов, как ни тяжко, а мы фашиста побьем. Каждым мускулом, каждым нервом приспособляясь к длительному бою, они твердят: «Не уковырнешь! Будем биться. Будем говорить о своем счастье, заботиться о нем в размерах дум, какие кому положены от природы. Один из нас думает необъятно, другой — набирает поуже, но все мы гребем в одной лодке, к одному берегу. Везем, гребем, и плевать нам на тебя, вражеская сила! Не лезь в терн, обдерешься».

После двух пополудни на батарею приехал подполковник Хованский.

Незадолго перед его приездом отошел Стремушкин. Глаза его совсем обесцветились, слились с измученным темным лицом, лицом походов, горя, ранений, муки нестерпимой. Глаза его были еще полуоткрыты, когда к нему подошел подполковник. Он закрыл Стремушкину глаза и сказал:

— Что поделаешь, дружище, что поделаешь?! — И добавил очень смутно, видимо занятый другой мыслью:— Знаю, и во сне будешь биться. И трудней, чем наяву, да что поделаешь, дружище!

Он на виду осунулся, постарел, волос его отдавал зеленью, а лицо потемнело. Глядя сумрачно и твердо, говорил он негромким густым басом:

— Приметно бьетесь, приметно, ребята. Всему Бородинскому полю приметно. Если так и дальше, увидит немец во сне хомут. Так! — обратился он к плотному высокому артиллеристу лет тридцати. — Нефедов, как можешь?

— Да, кажись, сможем, товарищ подполковник,— зардевшись от радости, ответил артиллерист. — Вот пожрать не дает, сволота, это он сознательно.

— Сознательно, сознательно. Он и на свет-то обнаружил себя сознательно. Да в бреду уйдет, Нефедов!..

Подполковник отошел ко второму орудию, которое было задето неприятельским снарядом. Опытным глазом он осмотрел его, поежился, как будто на сквозняке, и отвел Марка и политрука в сторону.

— Подбили второе?.. — сказал он, и опять в голосе его послышалось, что он думает совсем о другом.— А на сотню выстрелов хватит? Как, лейтенант, сможете?

— Пожалуй, и до трех сотен дотянем, — ответил Марк, пристально глядя на подполковника.

Распоряжения Хованского замелькали одно за другим. Занят он, верно, своей думой, а то и горем, но все же видит он зорко, так, что лишь очень опытный ум разберется в этой суматохе, казалось бы, беспорядочных и даже бесцельных фраз. Через час, как опытнейший портной, он заштопал все дыры и прорехи, которые Марку были чуть ли не в диковинку. Выпрямившись, строгий и одновременно очень довольный своей распорядительностью, подполковник сказал:

— Ну, надо нам расстаться...

Провел розовыми ладонями по портупее, темной и лоснящейся от долгого употребления, и, не замечая, что спрашивает уже в четвертый раз, спросил:

— Снарядов хватит на сутки? Бьете?

Марк, объясняя вопрос подполковника усталостью, ответил:

— По-прежнему, товарищ подполковник. По главному направлению немецкого наступления.

— Полагаете, оно там, на левом?

Марк, недоумевая, молчал.

— Вам виднее?

Марк не отвечал.

Короткая синяя тень подполковника движется на отлогий холмик, где еще видны следы танка капитана Елисеева. Марк тщетно старается угадать его мысли, но ничего не видит, кроме его тени, сизых щек и широких скул.

В руках у подполковника карта. Он тычет в нее коротким, поросшим рыжим волосом пальцем:

— Вот... вот... Кто у вас на наблюдательном пункте?.. А, дельный мужик, способен себя выказать. Но считаю необходимым, лейтенант, и вам встать туда: на непродолжительный срок и проверить.

Марку приятно, что ему разрешили пойти ближе к неприятелю. Но он сознает, что Хованский делает это не напрасно. Что за этим кроется? Почему он вдруг разрешает Марку зайти далеко вперед, когда ранее ни под каким видом не разрешал?

«Вам виднее?» — сказал он насмешливо. А если и на самом деле ему, лейтенанту Карьину, виднее? Мало он посылал разведчиков? Мало приводил пленных? Ведь отовсюду слышишь — враг ведет основные свои силы на левый фланг, а тут приказывают последними снарядами бить по правому, когда достаточно трех-четырех ударов по левому, чтобы немцы откатились!

«Вам виднее?» Да, мне виднее...

На одно мгновение Марк словно бы спотыкнулся, а затем давно знакомая ему злость прорвалась и знакомым жаром наполнила голову. Как всегда в таких случаях, ему стало тесно.

— Товарищ подполковник, — он начал не своим, ворчащим голосом, весь дрожа, нахохлившись и заливаясь шершавой краснотой: — Товарищ подполковник!..

Хованский, не обращая внимания на рокочущий голос Марка, сказал Воропаеву, заложив руки за спину:

— Благодать-то, Воропай, какая! Сейчас бы зайцы шуровали этим осинничком да выбегали на опушку, а тут мы стоим...

Он выкинул вперед руки и торжественно, словно подавая святыню, сказал только три слова:

— *...на Бородинском поле!*

Замолк.

Замолк и Марк, — недвижный, разбитый этими тремя словами, тоном, каким они были произнесены. Так вот она какова, грозная музыка боя!

И предстало ему Бородинское поле.

Гордец к гордецу, плечом к плечу, стоят здесь русские. Стоят против всей силы, собранной немцами в Европе, против германских, французских, бельгийских, голландских и прочих пушек, танков, минометов, бомбардировщиков. Деды стояли день. Мы стоим четвертый и еще четыре простоим, не заметив, не дрогнув, не возроптав...

«Не дрогнув, не возроптав? А оспаривать приказ командира — это что такое?»

Чувство вины заполняло Марка так, что он не сознавал, как ногти пальцев впиваются до крови в ладони. Он проклинал свое глупое самомнение, а сказать об этом ему было не под силу.

Подполковник между тем думал: «И не так уж он горяч, как я предполагал. Знать, горячность-то на фашистов хлынула! Хороший командир выйдет и хорошо по правому флангу ударит. Нет, что ни говори, а наследственность — великая штука». Вслух же он сказал:

— Значит, сокрушительный огонь по правому флангу. И наблюдайте сами, лейтенант, за огнем.

— Есть сокрушительный огонь по правому флангу, товарищ подполковник, — не поднимая еще глаз, ответил Марк. — Есть наблюдать лично за огнем, товарищ подполковник.

Он поднял глаза.

Он увидал широкую голову Хованского, узкие рыскающие его глаза... И какое это превосходное, чудесное, умное русское лицо! Нет выше счастья, как смотреть в это лицо, слушать глухой, пахнущий табаком голос,

быть помощником, сыном... Если этот голос покинет его, Марк умрет с тоски.

— Других указаний не будет, товарищ подполковник?

— И это не легкое, лейтенант. Как, сможете?

— Сможется, товарищ подполковник. Разрешите открыть огонь?..

И на поляне наступила тишина, та приблизительная тишина боя, когда слышишь голос соседа. Батарея готовилась к ответственному поручению, и всем своим существом Марк хотел сказать, что он умрет, но выполнит это поручение... Но сил не было сказать вслух.

Длинные ресницы Хованского быстро двигались. Он несомненно сумел прочесть правду на лице Марка, и правда эта понравилась ему. Он повеселел, похлопал Марка по плечу, рассказал коротенький анекдот артиллеристам и полез в свою «эмку».

Через час Марк был уже километрах в трех от своей батареи, на передовом наблюдательном пункте. Отсюда он руководил обстрелом. Его сопровождал Воропаев, таща за собой ящик с полевым телефоном.

В лесочке, где стояла его батарея, он мог лишь вообразить то, что происходит в поле. Сражение разгоралось. Виденное им позавчера было лишь вступлением в бой, а не самим боем.

Теперь он видел бой!

Перед ним простиралось огненное море, дышащее жаром, грохочущее, плещущее смертью прямо в лицо. Теперь ему стало ясно, почему он опомнился сразу же, едва подполковник назвал ему Бородино, священное место, где сражались и сражаются русские. Искренне он сознался самому себе, что желает наилучше биться за родину, а значит, и наилучше понять себя. Спасибо Хованскому за его чуткость!

Все горит, шатается, колеблется. Немецкие огнеметы сосредоточили свое пламя на двух русских дзотах... Ага! Понятно! Надо заставить немцев повернуть на Дорохово?

— Огонь! — скомандовал он. — Мы их заставим повернуть.

Откуда-то, в обход дзотов, идет гитлеровская пехота. Марк слышит свист первых пуль, но откуда они — ничего не видно. Впереди холмистое поле, закрывающее горизонт. Посреди поля дерево.

— Придется нам, Воропаев, на дерево лезть, — сказал Марк.

— Скосят огнеметом, да и поджарят, — сказал, смеясь, Воропаев. — Пускай жарят, на то они и людоеды.

Влезли на дерево. Но и оттуда ничего не видно.

— Меньший прицел... — сказал он по телефону. — Огонь!

И оказалось — угадал! Первые выстрелы весьма удачны. Снаряды ударили и по наступающей цепи гитлеровцев, и по танкам. Когда Марк, миновав дерево, прополз дальше, к концу холмистого поля, он увидал трупы фашистов, сраженных его снарядами, и два случайно подбитых танка.

— Те же данные. Огонь!

В стереотрубу он видит клубы разрывов, поваленные деревья, воронки от снарядов. Мимо деревьев, чуть кренясь, торопятся танки. Он узнает походку капитана Елисеева.

Дальше — враг. Засек. Огонь!

Клубы приближаются к немцам. И к ним же приближается капитан Елисеев.

— Куда, под наши снаряды? Куда тебя черт прет, дурак?!

Танки медленно, словно нехотя, все же приближались к месту разрыва наших снарядов. Марк кричал на батарею, требовал штаб... В густых черных потемках дыма, там и сям, обозначались резкими толчками машины Елисеева. Изредка, с ходу, они стреляли, и тогда дымную темноту прорезал оранжевый луч света.

Должно быть, за танками шла наша пехота...

Помнит Марк, что до боли в глазах он вглядывался в пожарища, в танки. Но дым от взрывов, вздымающиеся воронки не давали возможности ничего разглядеть. Подзадоривая себя воспоминаниями, он рисовал очертания танка, на котором приезжал к нему Елисеев, — именно этот танк видит теперь Марк!

Именно этот танк взметнуло вверх, вбок и шмякнуло оземь так, что звук упавшего железа донесся сюда...

Именно к этому танку спешили, — идя от волнения в рост, — наши санитары, санитарки... Скорей, скорей!..

И именно к этому танку бежала тоненькая девушка, за нею врач с длинной сумкой... Да скорее же!

Наискось, по направлению к тому же подбитому русскому танку, идет цепь немецкой пехоты. Если бить по немецкой цепи, то ударишь и по своим?!

— Те же данные... Огонь!

Помнит Марк: после залпа с осторожностью, — хотя для чего, непонятно, — приподнялся он на руках и поглядел вперед. Теперь дым походил на темные окна. Уцелевшие березы походят на рамы. И в окнах пустота. Смерть?

От земли пахнет мятой. Он уперся в засохшие стебли ее и раздавил, вытер скользкое и словно бы линяющее лицо; тотчас же мучительные думы охватили его: «Куда они девались? Что с ним стало?.. Отступили наши? Где немцы?..»

И, будто отвечая на его вопрос, вокруг него опять завизжали пули. Значит, гитлеровцы перебили наших и приближаются? Значит, погибли Бондарин, Настасьюшка, капитан Елисеев, сотни превосходнейших русских людей?

Погибли и не отомщены?! На Бородинском мы поле или нет?

Он закричал:

— Еще левее... огонь! Безостановочно, слышите?

Утомленный, измятый, он полз назад перед самой цепью наступающих немцев, все время указывая цели своей батарее. Падали немцы, падали их танки, — и каждый раз он возвышал голос и резко указывал еще более точную цель. Наконец он подполз к первым деревьям лесочка, где стояла его батарея. Он прислонился туловищем и горячим лицом к прохладному стволу дерева, и ему показалось, что сейчас откроется дверь и он войдет в большую прохладную комнату, — там он отдохнет вдоволь.

— Товарищ лейтенант,— послышался откуда-то с вершины гула голос Воропаева,— какие распоряжения?

— Биться! — ответил лейтенант. — Биться, черт их дери, до последнего...

И, оторвавшись от ствола, он вошел в лес.

Лес уже горел.

Ело глаза. Затыкало глотку дымом. Ветра не было, и закатное солнце похоже было на вымытую луну.

С востока прислали пушки, но артиллеристов не хватает. Если расставить всю прислугу, превратив ее в наводчиков, то и тогда не хватит.

Он бросился к телефону.

— Держись, — ответил Хованский. — Найдутся артиллеристы — пришлю. Не найдутся — держись все равно. Сможешь?

Марк, согнувшись над телефоном, неуклюже и хрипло смеясь, ответил:

— Сможется, товарищ подполковник.

— Значит, свидимся.

Щелчок. Подполковник положил трубку.

Марк не помнил, в какой последовательности шел дым от горящего леса и в какой последовательности шли атаки танков на этот лес. Иногда сквозь дым и треск падающих деревьев доносился к нему вдруг визг собак, невесть зачем появившихся.

Мимо пробежали пехотинцы: выбивать гитлеровцев из захваченного ими дзота. Выбили, вернулись, — перекололи парашютный десант.

— Огонь!

Ночь. Ночь на Бородинском.

Немцы бьют из пулеметов трассирующими пулями. Зажигают фары танков... Наши, навстречу фарам, — свет десяти прожекторов.

Вечер был бы совсем прохладен, кабы не дым. С какой радостью глядели, когда орудия выкатились из леска, оставив позади себя догорающие деревья. Выстроились в линию, нашли родничок, умылись.

Шурша соломой, подошел Воропаев.

— Присядьте, товарищ лейтенант, — строгим голосом сказал он, — закуты нет. Да и к чему? Солнце встанет, немца лицом к лицу встретим. Он ждет. Я соломки подстелю.

— А ты, Воропаев? — с усилием спросил Марк. — Подполковник звонил: ты произведен в сержанты. Как, сможешь?

Воропаев сказал с простотой, которая казалась даже искусственной:

— А я, как все, товарищ лейтенант. Пятый день смогли, сможем и десятый. Только бы по двести грамм сейчас, это бы да!

Марку не хотелось водки, но не хотелось и огорчать Воропаева.

— К вечеру подполковник обещал исхлопотать.

После прохладной воды руки горели. Горело и лицо. С жадным вниманием приглядывался Марк к своим по-

темневшим и дрожащим рукам, пытаясь усталостью объяснить то, что происходило у него в сердце. Он верил в проницательность Хованского, в его знание военного дела, но, с другой стороны, разве Марк не видел Елисеева, Бондарина, Настасьюшки и разве не над ними, милыми и хорошими, разорвались снаряды, посланные по его, Марка, приказанию?!

— Воропаев, у тебя зеркальце...

— В мешке, товарищ лейтенант.

— А, вспомнил. У меня есть...

Потолок, неожиданно оказавшийся над ним, резко рванули. И тут же, еще более резко, рванули из-под ног землю. Вслед за тем открылось бесконечно широкое и бесконечно глубокое пространство. Не закрыть глаза нельзя. Он сделал движение рукой, как бы запахивая шинель, и закрыл глаза.

Разорвавшаяся на холмике в наполовину затоптанных следах от елисеевского танка вражеская мина сбила Марка с ног, и осколки металла врезались ему в бедро и в плечо.

Полчаса спустя наши войска перешли в контратаку, и гитлеровцы повернули на Дорохово.

12

Когда орудия действовали исправно и били точно, Марк думал, что действуют и бьют они так потому, что из штаба полка ему дают замечательные приказания. А когда орудия стреляли плохо и расчеты суетились без толку, Марк думал, что вся эта бестолковщина от запаздывающих приказаний. Он и не замечал того, что полк уже давно не дает ему приказаний, ограничившись регистрированием того, что Марк делает.

— Не трогайте его,— говорил, с трудом скрывая свой восторг, Хованский.— Он попал на дорогу. Не сбивайте!

Изредка Хованский брал трубку и был счастлив слышать приглушенный расстоянием молодой голос Марка Карьина:

— Сможется, товарищ подполковник.

Это «сможется» уже обошло Бородинское поле и покатилось, подхваченное ветром войны, дальше, по всему полю сражения, от Баренцова до Черного...

Марк не знал этого.

Не знал он и того, что произошло с капитаном Елисеевым.

Капитан, попив воды из родничка, пришел на правый фланг и стал в засаду, прикрывшись плотными и приятно пахнущими кустами черемухи. Загремели батареи. На поле развернутым строем выходили немецкие танки. Капитан насчитал их сорок два и, чтобы не огорчаться, перестал считать. «Сорок против троих, четыреста против троих, — все равно не поверят», — сказал он сам себе, внимательно наблюдая за противником.

Видны башни, тускло поблескивающие от свежего утреннего воздуха.

— Понадуло смерти во все щели, — сказал, посылая бронебойный снаряд, капитан Елисеев. — Обидятся на меня немцы, а иначе нельзя.

И он послал еще снаряд.

От первого снаряда свернуло башню головному танку; от второго — дым, грохот, взрыв; от третьего — громоздким машинам захотелось вдруг искать другую дорогу, менять курс, увеличивать скорость; от четвертого — «Ага, понадобился кобыле ременный кнут!» В тот момент, когда залпы батареи Марка Карьина пришли на помощь, в поле уже пылало семь немецких танков. И кто знает, запылал ли бы восьмой, потому что немцы уже нащупали, откуда идет уничтожающий огонь, и два прямых попадания уже грохотом отдались в елисеевском танке... помогла карьинская броня, помог сыновний огонь.

— Наделили талантом всех родных — и отцов и сынов, спасибо!.. — сказал капитан Елисеев, зажигая восьмой немецкий танк.

...Не знал Марк и того, что произошло с врачом Бондариным.

Втайне, уже несколько дней, надумал и приготовил он новое противогнилостное средство. Проверить легко: раненых не успевают перебросить в тыл, а некоторые, заслышав о Бондарине, приходят издалека. Проверил. Разумеется, от той перевязки, которая натолкнула его на мысль о новом средстве, не осталось и следа, да и дело оказалось не в перевязке. Но Настасьюшку он уважал, надышаться не мог на ее молодой и радостный талант. Он с нею первой поделился своими выводами и показал первых, излеченных им больных. Три часа назад был на розово-синем теле отвратительный гной-

ник. Настасьюшка сама омывала его. А теперь уже и тело приобрело другой вид, словно бы оттаяло, и гнойник исчез бесследно.

— Дмитрий Ильич, счастливый вы! Как оно на вас налетело?

— Напился допьяна, вот и налетело,— нарочито грубым голосом сказал Бондарин.—Налетел, голубушка, «тампон Бондарина» и всех с ног сбил.

Ночь напролет Бондарин писал в Медсанупр свою «заявку». Поутру он пожелал непосредственно на поле сражения проверить действие своего «тампона». Тампон не только удаляет гной, но сразу же, приложенный к ране, затягивает ее. Уговоры были бесполезны, да и не особенно уговаривали — работы много, врачей не хватает, хочет в поле — иди, не маленький ребенок.

Настасьюшка пожелала сопровождать его. Прошел слух: ранен капитан Елисеев, но о том, что слышала она об этом, Бондарину не сказала. Он проговорил, глядя в ее глаза, голубые, словно налощенные морем камешки:

— Надо идти туда, куда вас, пичужка, зовет не сердце, а долг.

Она не поняла его.

— Куда меня зовет сердце, Дмитрий Ильич?

— К щеголю зовет, пичужка.

— Он не щеголь.

— Догадалась? Капитан Елисеев — щеголь: бой ведет щегольски. И не верю я, что он ранен...— Он подумал и добавил: — Абсолютно не верю. Такого человека не убить врагу, не ранить: он слишком ловок. Марка Карьина могут надломить. Горяч, упрям, а ловкости немного не хватает. Впрочем, приобретет... Знаете, когда капусту квасят, так для гнета кладут сверху каменья. Война тем же самым занимается по отношению к Марку Карьину... Так-то, пичужка!

Он осмотрел полевую сумку, все ли взято, ощупал карманы, нет ли чего лишнего, проверил, правилен ли адрес на «заявке». Настасьюшка стояла, опустив руки. В глазах ее он читал тоску. И он поднял ладонь ко лбу, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжание голосов раненых и санитарок, измученных боем, он думал. Открытие, совершенное им, помогло ему как бы встрепенуться. Он почти невзначай сказал о капитане Елисееве, а вдумавшись, понял, что надо кое-что досказать.

Миленькая пичужка любит капитана и сама себе еще не призналась в этом. Что же касается Марка Карьина,— то какие ж мы дети! В сущности говоря, ни ей нет дела до него, ни ему до нее. Дай бог, если они останутся друзьями, да и это надо ли? Разные люди, разные пути.

Приучив себя говорить людям, которых он уважает, все, что он думает о них, Бондарин высказал свои мысли Настасьюшке. Она малость подумала и с поразительной простотой, ей свойственной, ответила:

— Вот и верно, что пичужка. Посмотрел в мою маленькую душу, да сразу и понял. Люблю, Дмитрий Ильич.— И она добавила: — А мне, значит, лучше идти к батарее Карьина? Жалко мне Сережу бросать и вас, Дмитрий Ильич, оставлять жалко. Вы меня известите в случае чего.

— Обязательно, пичужечка.

Известить не удалось.

Бондарин успел наложить «тампон Бондарина» троим раненым. Возле четвертого уложила самого Бондарина фашистская пуля. Случилось это перед тем, как Марку привиделся в поле танк капитана Елисеева, который в то время стоял в засаде; почудилась ему и фигура Бондарина, который хотя и шел по полю, но по другую сторону черемуховых зарослей, как и не мог Марк само собой видеть в поле Настасьюшку.

Не мог видеть потому, что в это время Настасьюшка, два медика-студента и санитары пробирались горящим лесочком к батарее лейтенанта Карьина, который с непонятным уменьем и поразительным упорством отбивал все атаки немцев и подготовлял нашу контратаку, ломая у немцев коммуникации...

Без памяти был Марк, не знал он и не видел, как маленькая девушка, «пичужка», после того как убили санитаров, ранили студента-медика, сопровождавшего Марка, взвалила его себе на хрупкие плечи и, помогая студенту, вынесла Марка из-под огня.

Не знал он и того, что, услышав о ранении Марка, подполковник Хованский охнул и уронил со стуком тяжелые, словно мертвые руки на стол.

— А все равно не отойду,— сказал он.— Пока сочится кровь, не отойду! И никогда не отойду. Будем биться!

Он приказал соединить его с третьей батареей.

— Кто говорит? — спросил он сурово.

И услышал:

— Сержант Воропаев, товарищ подполковник. Принял командование батареей, держусь. Извиняюсь, немцы приближаются. Отобью атаку, доложу об ихних потерях, товарищ подполковник. Скажите только, лейтенант Карьин Марк Иванович жив?

— Жив, жив,— торопливо ответил подполковник, не веря своим словам. — И будет жив, бейтесь!

— За нами дело не станет... Извиняюсь, идет!

13

Марк полуоткрыл глаза с трудом. Веки словно свинцовые и еще по краям посыпаны песком.

Он увидал мелкую речку с длинной, не по ее размаху, широкой отмелью. Словно от стыда за свое хвастовство, речка скрылась в кочках, потемнела. На песке — следы птиц, улетевших отсюда последними... Ветер свежит лицо, заносит следы птиц... И Марку не хочется ни о чем думать. Заносит, и пусть заносит. Возле борта машины усталое лицо Настасьюшки с мокрыми волосами, приставшими ко лбу. Глаза ее широко раскрыты, будто выкатываются. «Что с вами, Настасьюшка?» — хочет спросить Марк и раскрыл было рот, но равнодушие, наполняющее его голову, опять сдвигает губы. Кончик носа у нее синеет, на скулах коричневатая краснота... Пусть!

Милое детское личико. И пусть!

Милое отцовское лицо. Чье? Хованского? И пусть.

Они о чем-то говорят. Кажется, о том, хватит ли покрышек до Москвы. «Какой вздор? При чем тут покрышки?» — подумал Марк, и ему отчетливо вспомнился обрывок разговора с Бондариным. Говорили о том, что Настасьюшка не любит читать книги.

Книги? Разве дело в книгах? Дело в любви. Сейчас это видно совершенно отчетливо, как вон те следы птиц на песке. И странно, что его волновали и возмущали в ней какие-то пустяки, а главное не взволновало его, главное-то он увидал сейчас.

Честолюбие, которым она бахвалилась? Ах, какая чепуха! Или она лгала на себя,— сознательно, может быть, даже,— или же она заблуждалась? Разве люди с такими страдающими глазами способны быть често-

любивыми? Ну, что она сделала для своего хваленого честолюбия? Ничего. А если прикажут, она без промедления, немедленно отдаст жизнь за... как это отец читал... «за други своя»? Отдаст красоту, молодую и горячую кровь, погасит прелестные голубые глаза с тонкими детскими бровями. Честолюбие? Нет, не честолюбие, а скрытность великолепной души, прикрывающей себя, как крыльями, этим честолюбием!

Для человека, так же как и для картины или архитектурного сооружения, необходим ракурс, точка, с которой возможно разглядеть его по-настоящему. Для Марка, разглядевшего сейчас Настасьюшку, таким ракурсом была мокрая прядь волос на ее усталом от работы и волнений, чудесном и умном лбу.

Разглядеть он ее разглядел, но думал о ней с холодным равнодушием тяжко больного человека. Мелькнул в его воображении лесок, по которому на носилках несли его. И ему пригрезилось, что несла его Настасьюшка. Но по-прежнему холодно он думал о шумящем лесе с его запахом сырого дыма и о руке Настасьюшки, которая поддерживала его голову. «Если так... значит, конец?» — подумал он и хотел сказать прощальные слова, но желание появилось и ушло быстро. Его молодое лицо приобрело цвет металла... оно было страшно.

«Если бы жив был Бондарин...» — подумала Настасьюшка и заторопила шофера:

— Скорей в Москву! Записку не потеряли? Шофер, когда вы поедете через Бородинский мост...

«Позвольте,— сказал сам себе Марк,— но ведь я на Бородинском поле?»

Он думал, что эти слова взволнуют его,— они не взволновали. Мало того: показалось странным, что недавно лишь намек на значение Бородина остановил дикую вспышку свойственного ему гнева, а теперь...

«Конец,— подумал он,— конец тебе, Марк?»

Машина прошла не более шести километров, как оказалось, что до конца жизни еще далеко. Равнодушие кончилось. Вначале разбудила колющая боль в боку, затем он наполнился злобой, когда увидел толпы беженцев, и особенно поразил его седой интеллигент. Серый просторный костюм его был выпачкан грязью, известкой и разорван на коленях. Он шел быстро, почти вровень с машиной, сжав кулаки и вытянув вперед руки. Брови его приподняты, рот раскрыт. Он выкрикивает... и от

криков его хочется повернуть машину, вернуться к своим орудиям, бить, бить, дни и ночи напролет!.. Было трое детей, племянница, мать, жена... жили вместе...

— Будь вы прокляты, прокляты, прокляты!..

И кажется так, через всю Россию, идет этот несчастный, у которого фашисты убили все, что можно убить... убили и разум его... потому что, кроме вот этого «будь вы прокляты», он уже ничего выкрикнуть не в состоянии...

И Марк повторяет:

— Будь вы прокляты, прокляты!..

Машина повернула к Москве, увозя его, потерявшего сознание.

...Перед тем как пробудиться и приподнять голову, чтобы наполниться необычайным счастьем жизни, которого он не испытывал никогда, он пробуждался несколько раз. Он видел белый квадрат палаты и себя в центре этого совершенно равнобедренного квадрата. От равнобедренности кружилась голова, и он спешил закрыть глаза. Ему казалось, что он шагает по квадратам, поднимается, опускается, опять поднимается. День жаркий, солнечный, квадраты стоят на теплой песчаной отмели, и он слышит:

— Тампон Бондарина!

Плеск воды. Блеск металла. Что-то теплое, приятное вливается в его тело. И опять голос:

— Тампон Бондарина!

Знакомая фамилия, но он не может вспомнить, чья она.

Это его почему-то сердит, и когда он снова открывает глаза, он спрашивает сестру, вытирающую ваткой термометр:

— Кто такой Бондарин, сестра?

— Не знаю.

Увы тебе, Бондарин! Тебя постигла участь многих знаменитостей — остался титул, произведение, «тампон Бондарина», дарующий жизнь, а кто был открывший его, что его мучило и что ему мешало, кому это известно?

14

Марк поднял воротник тулупа и сел в машину. И опять Бородинский мост, грузовики, недостроенные дома.

За Кунцевом, едва они миновали столбы высоковольтной передачи, машину встретил злой северный

ветер. Он будто железной щеткой мел широкое шоссе, подскакивал к машине, тряс ее, стремясь сорвать на ней свою непонятную злобу. «Крути, крути немцу хвост, а не мне»,— думал Марк, глядя, как ветер крутит стеганый капот на радиаторе и глушит пар, выскакивающий из-под плохо завинченной покрышки.

Чем дальше по шоссе, тем меньше плакатов и тем больше надолб, скрещенных и скрепленных попарно железных балок. Начали попадаться немецкие мины, сложенные по обочинам шоссе кучками. Металлические края их прихватил иней. В одном месте ветер раскидал снег, выкопав что-то серовато-коричневое, скорченное, похожее на камень. Шофер, безбородый, молодой, передвинул папироску из одного края рта в другой и сказал:

— Успокоился. Видно, машинку не ту встретил.

— Противники?

— Парашютист, кажется. Их тут много выдувает, товарищ старший лейтенант. Сорвали голову на Москве, ну и обижаются.

«Скоро? Скоро?» — думал Марк. Мучительно хотелось поскорее попасть к своей части, обнять Хованского, получившего звание полковника и уже командующего дивизией. Большое открытие сделал покойный Бондарин, а вот в диагнозе Хованского ошибся. Нашел рак печени, а оказалось, что у полковника обыкновенная малярия и достаточно было принимать хинин!..

За Дороховом свернули на проселок. Здесь, возле полусожженной сторожки, в три часа дня будет ожидать,— так вчера сговорились по телефону,— капитан Елисеев. Он едет куда-то в объезд Москвы.

А место унылое, не для встреч. Равнодушные, обгорелые бревна, клочья грязной соломы, торчащей из снега, мелкий осинник, тщетно пытающийся закутаться в снега. Холодно ему, дрожит он... И ветер здесь тоже какой-то промозглый, невеселый. Марк посмотрел на часы. Ого! Половина четвертого? Придется подождать. Все равно темнеет теперь рано и ехать придется ночью.

Шофер морщится. Ждать ему не хочется. Марку скучно смотреть на его будничное и скучное лицо с постоянно торчащей тухнущей папироской в углу рта. Он отошел в сторону и присел поодаль, позади дома. Здесь тише, не дует, и приятно думать свои хорошие, добрые думы.

Вот неподалеку Бородинское поле. Сейчас оно неподвижно, занесено снегом, торчат кое-где остатки разбитых немецких танков, валяются каски, побелевшие от мороза, следы гитлеровского отступления. А что было недавно — осенью? Как гремели орудия! Как много стояло народу... и как много полегло его... полегло...

«Не отдали Москвы!»

«Не отдали»,— повторил Марк, и ему особенно приятно, что есть какая-то маленькая буква, принадлежащая ему, в длинной поэме о том, как не отдали Москвы. Хорошо! Хорошо глядеть на этот снег, нежно опускающийся к дороге, хорошо слушать осторожное поскрипывание валенок шофера, подшитых кожей, хорошо ждать приятеля, хорошо его расспросить и, наконец, очень хорошо думать о себе, что ты изменился, стал другим, строже, умнее и что все твои страхи, которые ты испытал там, на Бородине, осенью, не опустошили тебя, а, наоборот, многому научили и продолжают учить... В голове зашевелилась ленивая мысль: «А хорошо бы, пока не стемнело, развести под елкой костерик, погреться,— в машине продувает». Но лень встать, распахивать теплый и приятно пахнущий тулуп, лень вообще шевелиться. «Вот оно,— как замерзают»,— сонно думает Марк, зная, что не замерзнет в тулупе, валенках, стеганой шапке и вязаной безрукавке. Так просто захотелось побаловать себя, вспоминаючи о Бородинском поле, думая, что впереди еще предстоят Бородинские поля.

...Из-за угла дома он слышит приглушенные голоса. Шофера о чем-то спрашивают. Елисеев? Сережа? Марк вскакивает и бежит. Три мужика, волосатых, страшных, заиндевевших, в лаптях и рваных полушубках, рваных валенках, держа вилы наперевес, ведут пленных. «Десант, что ли, переловили? — думает Марк, здороваясь с мужиками.— Откуда тут быть пленным? Фронт дальше». Он спрашивает мужиков. Они раскрывают большие крестьянские рты и замерзшими губами наперебой начинают что-то кричать. «Подожди, подожди, не путай меня,— говорит Марк мужику постарше: — Говори ты, куда немца ведешь?» — «Немца-то!— кричит обрадованный почтительностью офицера мужик.— Немца-то сдавать, ваше благородие, ведем. Князь Хованский, сказывают, принимает пленных. Нам их велено

сдать, промерзли мы, ваше благородие. Где тут князь-то стоит?» — «Подожди, подожди,— говорит Марк,— какой князь? Откуда вы пленных взяли? Откуда ты ведешь-то? Кто ты такой?»—«Да партизаны мы, ваше благородие. Поручик Иван Карьин забрал их, немца-то, пушкой пугнул и велел вести к князю Хованскому, он, говорит, принимает». Второй мужик подхватывает: «Промерзли мы, ваше благородие, сдать их никак не можем, надоели они всем, ни люди, ни земля тех немцев не берет. Вот и ходим мы... Помилосердствуй!..» — «Позвольте, позвольте,— волнуется Марк,— но это же я — Иван Карьин, и разве Хованский — князь, какой же он князь?!» И смотрит на дорогу. Дома нет. Машины нет. Елка, под которой он сидел, крошечная, еле видна из-под снега, а вместо осинника стоят широкие сосны. «Позвольте,— думает Марк,— как же так, ведь нынче тысяча девятьсот сорок второй год, а не тысяча восемьсот двенадцатый».

...Он услышал смех. На него бросилось что-то мохнатое, ловкое. Его тормошат, обнимают. Перед ним чудесное, милое лицо капитана Елисеева. Нагнувшись к уху Марка, капитан шепчет, что все замечательно, что он очень доволен, что Хованский ждет не дождется, что на батарее все живы-здоровы и рады его видеть, что Воропаев уже вернулся... Откуда? Да он кончал школу и теперь, обученный, будет командовать третьей, которая действует здорово...

— А Настасьюшка? — спрашивает Марк, и хотя ему приятно будет узнать о ней, но он сознает, что вопрос этот вошел в его голову лишь потому, что надо узнать обо всех. Он помнит что-то опрятное, голубое, необыкновенно внимательное — и всё. Ни лица ее, ни фигуры явственно он представить не в состоянии. Если можно так выразиться, она стала для него отвлеченностью. Даже странно слышать оттенок благодарности в словах Елисеева: он все еще думает свое — «дескать, отказался Марк, сознательнейше взвесив «за» и «против». Какой вздор живет иногда в голове очень умных и здоровых людей, вроде капитана Елисеева! Понять бы ему: был мальчик, думал исправить ошибку отца, — ах ты, юноша, — а прошло время, сделался взрослее, понял, что не все исправишь в мире, да и не все надо исправлять.

Елисеев шепчет.

— Настасьюшка, друг, идет далеко! От нее ждут бондаринских способностей. Касаясь личной жизни, скажу, что мы соединились навечно. Да что я? Она, коли надо, гвоздь из стены взглядом вырвет: выдающаяся личность. Играй, ветер! Шуми по этому случаю, песня. Пляши, жизнь! А помнишь?..

— Что, Сережа?

— Помнишь, фашист нас все с фланга брал? А теперь мы ему под фланг подобрались, да так загнем полу, что бежать ему не убежать! Мы теперь так живем: маневр и атака. Маневр и сокрушительная атака! И ты, Марк, тем же жить будешь.

Он стоит перед ним, распахнув полушубок и не обращая внимания на холодный ветер. На золотистых бровях у него повисли сухие прозрачные январские снежинки. Руки у него — словно из меди, а лицо — огненное от заходящего солнца, глаза — прикажи только — способны пробуравить насквозь землю. Как с ним приятно быть вместе, а того приятней дружить!

Они долго стоят на январски звонкой, закатнозолотистой дороге, смотрят друг на друга и не насмотрятся. На душе у них просторная весенняя оттепель. Они — друзья навсегда, навечно.

1943

ПОД БЕРЛИНОМ, У ГАЛЛЬСКИХ ВОРОТ

1

Денщик Афоня, ступая на носки, отчего он казался совсем огромным, точно он шел на ходулях, внес осторожно, как горячее блюдо, вычищенный мундир капитана, обшитый золотым галуном, и золоченый прибор: шпагу, гренадерскую суму, щетку с медным щитком.

Капитан Кирилл Дорофеев, опираясь на здоровую правую руку,— левую пробила пуля,— поохивая, присел в холщовых носилках и стал натягивать мундир. Денщик, согнувшись, но все еще балансируя на носках, помогал ему.

Было это ранним утром 8 октября 1760 года.

«Если скачет Ислентьев, — думал капитан, — ему меня не миновать». Дело в том, что махальный дал знать: вдоль фронта,с правой стороны реки Шпрее, приближается всадник, по мундиру судя: адъютант строгого графа Чернышева, командующего тремя крупнейшими соединениями войск, — двух русских и одного союзного, австрийского, — подошедших к Берлину, столице Фридриха II и Прусского королевства.

— Ислентьев скачет? Адъютант?

— Да что тебе тот адъютант, батюшка? Опять коня торговать будет, — рассыпчатым ярославским говорком тараторил Афоня. — Небось знобит?

— Потрёсывает.

— Раны-то сквозные, стало быть. Не от них трясет, батюшка.

Афоня был старый солдат, капитан — молодой капитан, как старым солдатским приметам и не верить? Да и почему бы не верить вообще приметам? При-

мета — значит, примечай, а старые люди пустяки не примечали.

— Отчего ж трясет, Афоня? — с наигранной беззаботностью спросил капитан.

— Трясет либо от адъютанта: коня тебе жалко, либо к дождю: кони чешутся, да и небо, гляди, как разутое. А скорее — быть бою.

— За Берлин?

— А для чего ж иначе к нему подходить?

Действительно, для чего? Но если бой за Берлин, то тем более нужна Красавка. Без нее Берлин не взять.

Распухлая и разбитая армейскими колесами земля ослабляла топот коня. Ислентьев, несомненно. С чем скачет?

Сторона палатки, обращенная на юг, была поднята, и Дорофеев разглядел наконец среди шалфейно-желтых сосен фигуру адъютанта Ислентьева, маленькую, тоненькую, похожую на бекаса, но в широкой, как подойник, шляпе.

— Быть бою, — сказал капитан. — Лихо скачет!

— То-то и говорю, что тебя трясет, — весело отозвался денщик.

Конь под Ислентьевым был широкий, с почтенной лоснящейся мордой и глубокими, как дупло, ноздрями. Не доезжая шагов двадцати до палатки, Ислентьев осадил коня и опять уставился на Красавку, заводскую кобылицу, принадлежавшую капитану.

«Заводской конь», — императорских конных заводов, — гордость каждого кавалериста, и военный артикул Елизаветы разрешал таким заводским коням суконные попоны лосиного цвета с обшивкою вокруг золотым галуном и с императорскими вензелями из золотого шнура по углам. В армии болтали, что капитан Дорофеев получил коня от графа Кирилла Разумовского, а перед тем хлопотала супруга его, а перед супругой хлопотал академик Ломоносов, которому будто бы капитан обещал добыть в Берлине какие-то ученые труды, а эти ученые труды, из-за военных дрязг, самому ученому достать невозможно.

Распространяя свойственный только ему запах аниса и ладанного благочестия, щуря продолговатые и проворные глаза, адъютант сел на складной стул

возле носилок Дорофеева и, вздохнув, заговорил с простосердечностью, которой не мог утаить:

— Приятный у тебя конь, Кирилл.

— Отдан, брат, конь.

— Кому отдан? — испуганно вскричал адъютант.

— Отечеству. Если погоним немца из Берлина... плюну на раны... влезу, поскачу, замучаю... все палаши иступлю о немецкие головы... всех порублю! Коня мне жалко?! — И Дорофеев откинул свою большую голову с покрасневшими веками на подушку. — И коню конец, раз понадобится!

— А что тебе в Берлине понадобится?

— Честь России.

— Только?

— Больше не жажду.

— А, говорят, для Ломоносова стараешься. Чернокнижные манускрипты, сказывают, ищешь!

Дорофеев вздохнул и прикрыл веками глаза.

— Эк тебя пруссаки убрали, — сочувственно оглядывая его, сказал адъютант. — Шесть ран?! Еще одна, и совсем бы распороли. Гнев твой понятен, Кирилл, но ты не расточайся на него до бою, — добавил он наставительно. Затем, помолчав, спросил: — Так не продажный? А мой конь, Кирилл, полный мертвец. Восемь каких-нибудь верст и слабой рысью, а весь в мыле, хоть выжми... А может, по старой дружбе, продашь? Большие деньги...

— Аудитор тоже предлагает большие деньги.

— Какой аудитор?

— Плешаков, начальник нашей полковой канцелярии. Поставками на армию крупно заработал.

— Сравнил меня с каким-то Плешаковым!

— Деньги одинаковы.

— Я, Кирилл, часы золотые, аглицкие, с камнями, приложу.

И он достал из кармана камзола толстые, тусклого ровного золота часы с розовым эмалевым купидоном на крышке, стреляющим из длинного лука. Капитан остро посмотрел на часы, вздохнул и, поспешно поборов зависть, сказал:

— Не продам.

И желая уже окончательно прикончить адъютанта, Дорофеев вытянул шею и, побагровев, крикнул громко:

— Алешка-а, послать Красавку в рысь!..

Коновод взлетел на коня. Адъютант даже зажмурился. Некоторое время спустя он заговорил сиплым от пережитого волнения голосом:

— Лазутчик, говорят, к тебе прибыл?

— Пленный наш солдат от пруссаков бежал. В прошлом году его, раненного под Франкфуртом, немцы полонили. Нефед Лепкин. Самый рослый в полку, почти сажень... да и ратной прилежностью бог его не обидел..

«Обидишь вас!» — подумал с неудовольствием адъютант, оглядывая безукоризненное, несокрушимое никакими бедами и лишениями тело гиганта, ровно дышащее перед ним. Сколько ран! Другой бы раз уже пять потерял жизнь, а этот не пожелал оставить поле боя и, словно назло всем лекарям, еще лучше, чем прежде, командует эскадроном. Он почему-то напоминал «драгил», задний брус в карете государыни, который в прошлом году в Петербурге видал Ислентьев. Правда, ничего другого ему не удалось увидеть: уж очень велика и тесна была толпа, но этот выгнутый массивный брус, служащий для поддержания и укрепления рессор, да и вообще взаимной связи частей, хорошо запомнил.

— А мне говорили: лазутчик. Я и полкового аудитора приказал сюда прислать, вместе допросим.

— Допросить? Что ж, допросить следует.

— Особенно ежели с ним баба.

— Про бабу откуда знаешь?

— Слышал. Молодая, говорят, и красивая.

— Молодая, верно, но сказать — красивая, не скажу. Порожних костей много, жидка. Ни весу, ни цвету.

— А где ее немцы изловили?

— В нашу сторону отец ее гурт скота гнал продавать. А дочь вез учиться в Варшаву: мать у нее — полька.

— Надо ее в Варшаву и отправить.

— Оказия будет, отправим.

Адъютант достал узкую, серебряную, с черныо, табакерку. В палатке распространился отчаянно пахучий запах табаку. Они вложили в нос по большой щепоти, и лица их на мгновенье стали пьяно печальными.

— Не люблю я женщин-лазутчиков, — сказал адъютант наставительно. — Женщине — не воевать. Женщине — править дом.

— Ну какой же она лазутчик! Ведь еще неизвестно, что она скажет.

— Я не о ней, — беря вторую щепотку, сказал адъютант, — я — о женщинах. Они должны править домом. Тебе — письмо, чаю, от невесты, которой и надлежит править твоим домом, а?

И адъютант передал Дорофееву письмо, которое привез, среди военных бумаг, курьер из Петербурга. Коли от невесты — хорошо, и тогда не следует говорить капитану то, что Ислентьеву мучительно хочется сказать. Но только не от невесты! «Алмаз, роза и железо в одной глыбе!» Железо — это, конечно, он сам, капитан; алмаз — адъютант, но кто — роза? А вдруг супруга самого Разумовского, президента академии? До этой розы, пожалуй, лучше и не дотрагиваться: внучатная сестра императрицы.

Адъютант расслабленно улыбнулся. Голубая бумага свеже шелестела в пальцах капитана. Лицо его выражало непритворное удовольствие. Адъютант пощупал меховое волчье одеяло, которым были прикрыты ноги капитана, и спросил:

— Волков сам набил?

— Сам, — пе отрываясь от письма, сказал Дорофеев, — в прошлом году, позади Франкфурта, помнишь?

— Допрос кончу, поговорим еще о Красавке?.. Может быть, надумаешь?..

— Не продам.

— А если — за Красавку красавицу?

— Какую? — по-прежнему не отрываясь от письма, вяло спросил Дорофеев.

«Э, была не была!»

— А вот ту, которую будем сейчас допрашивать. Польку. Вы влюблены друг в друга, и она к тебе пробиралась.

— Ко мне?

«Чего он это? И зачем? — подумал Дорофеев, и сразу все вокруг стало любопытным. — Ловишь? Ну, давай погоняемся. Может быть, и про Красавку зудел, чтоб подвести разговор?»

2

Вошел полковой аудитор Плешаков, а за ним маленькая стройная, гибкая девушка в длинной шали, желтой полосатой юбке с нежно-лиловой каймой. Юбка и шаль были, видимо, только что тщательнейше выстираны и даже выглажены, зашиты, но никакие стирки и починки не могли привести в порядок эти свирепые и пугливые одновременно лохмотья. Впрочем, девушка чувствовала себя свободно; только пунцовые пятна на щеках выдавали беспокойное ее волнение.

Аудитор Плешаков, пожилой мужчина, более чем когда-либо походил на дыню из «зимних», овальную, с ровной и гладкой корой, покрытой тонкой, редкой сетью морщин и рубцами, которые изображали у него рот, нос, глаза. Был он, как и дыня, сплошного желтовато-зеленого цвета, без запаха и, как дыня, очень прочен для сбережения впрок.

Ислентьев приторно-любезно обратился к девушке:

— Генералу Тотлебену вы, сударыня, отказались показания давать? И графу Чернышеву лишь склонны отвечать?

Генерал Готлиб-Генрих Тотлебен был назначен командовать соединением, в котором находились и конногвардейцы капитана Дорофеева, благодаря интриге придворных кругов, близких к наследнику Петру, в свою очередь, как известно, близкого Фридриху II Прусскому, врагу России. Генерал Чернышев был в ссоре с Тотлебеном и, не имея доказательств для уличения Тотлебена в прямой измене, говорил, что Тотлебен склонен к «слепой торговле», то есть поощряет контрабанду.

— А вы кто?

— Я адъютант генерала графа Чернышева.

— О сударь! Многое хочу сказать, многое...

И она залепетала, трогательно пришепетывая, путая украинские слова с немецкими, русские с польскими.

Записывал аудитор. Лицо его ничего не выражало. Дорофеев глядел в потолок палатки, колеблемый чуть заметным холодным утренником.

А девушка говорила. Отец ее вместе с другими дворянами русских родов ехал позади гуртов скота, продаваемого русской армии. Земли их уже много лет под Австрией, но сердцем они русские! Немцы через третьих лиц предлагали им продать гурты королевской армии, обещая много золота. «Нет, — сказал отец, — лучше меньше золота, но чтоб было оно русское!» Не так ли, сударь?

— Россия золотом не бедна, — сказал адъютант. — Продолжайте, сударыня.

И тогда немцы многих ранили. И — отца! Их увезли, разлучив. О, она отбивалась!

— Даме, а тем паче девице, отнюдь не след участвовать в баталиях, — проговорил, кривя губы, адъютант. — Перейдем, сударыня, к тому, как вы попали в Берлин?

Ее держали в одной немецкой семье. Обращались, как с птицей, на которой дергают перья! Хотели получить письмо к отцу, чтоб тот спас ее: торговал с немцами или, того хуже, был шпионом. Письмо? Никогда! И она убежала вместе с одной подругой! В городе Гарделеген живет ее троюродный дядя по материнской линии, поляк. Он пивовар, делает знаменитое пиво «гирлей».

Но, когда наконец они добрались до Гарделегена, оказалось, что дядя приглашен пивоваром в Берлинский Королевский замок. Ну что ж! Они пошли в Берлин. Дядя их пожалел, приютил. Он — добрый. Они вязали ему шарфы и разговаривали со служанками, подававшими пиво в главные залы замка. Жили они во флигеле, возле пивоварни. И вчера от служанок они узнали такое, что почли нужным бежать, но подруга испугалась, хотя именно она встретила возле рынка скрывавшегося гренадера Лепкина. Тогда она переползла вместе с гренадером берлинскую ограду, чтобы сообщить командующему нечто такое, что может поколебать славу России...

— Ничто не может поколебать славу России, — вытянув вперед острое лицо, сказал адъютант. — Но что ж, однако, сударыня, вы узнали?

Она замолчала, глядя в землю. Пунцовые пятна на ее щеках погасли, а вместе с тем было в ней что-то свежее, весеннее, похожее на душистый и белоснежный ландыш. «Нежна и вместе с тем как смела, — думал,

глядя на девушку, Дорофеев. — И неужели она способна налгать, что мы с нею где-то встречались? А может быть, действительно встречались? Встреча могла быть короткой, и на впечатлительное юное сердце...»

Капитан, как вы видите, был высокого мнения о своей наружности. Возможно, поэтому он не говорил истинной причины получения Красавки, предпочитая двусмысленный слух, распространяемый о нем в армии?

Девушка пытливо глядела на аудитора, видимо не очень-то доверяя ему. Тоже хорошо. Но адъютант ловок, и сердце Дорофеева сжалось, когда он увидел, что девушка обманута. «Этак, пожалуй, он обманет ее, убедив, что мы встречались?» И тут же почти с ужасом подумал: «А чего ж мне бояться? Красавку мне жалко, что ли?» Увы, ему было еще жалко Красавку!

Адъютант сказал девушке следующее:

— Его превосходительство граф Чернышев, к сожалению, занят, иначе он сам говорил бы с вами, сударыня. Он просит его извинить.

Девушка сделала реверанс. Лицо ее просияло. Она еще в начале разговора ждала этого извинения! Невинно и славно улыбаясь, она сказала:

— Мой поклон графу, сударь! Я скажу, что узнала. Сегодня вечером в Королевском замке предстоит заседание Прусского совета. Принц Вюртембергский...

Трое офицеров, слушавших девушку, переглянулись. Каждое слово о принце Вюртембергском сейчас очень важно. Он только что привел сильный, хорошо вооруженный корпус пруссаков, чтобы спасти Берлин от падения.

— Итак, принц Вюртембергский?.. — спросил адъютант.

— Принц вчера вечером пил пиво с генералом Гюльденом и утверждал, что сделает на совете предложение, которое уничтожит русских!

— А в чем то предложение, сударыня, заключается?

— Принц Вюртембергский знает — у союзников сил больше, чем у немцев. При общей атаке союзников он видит состояние пруссаков безнадежным. Поэтому принц видит спасение Берлина в неожиданном натиске своем на одного из союзников.

Адъютант, взволнованный, встал:

— На кого же принц хочет сей натиск совершить?

— На графа Чернышева,— ответила девушка, вновь приседая. — Мой поклон графу.

— А чем ответил на сию мысль принца генерал Гюльден?

— Принц Вюртембергский хочет графа Чернышева силами своего корпуса атаковать, а генерал Гюльден дал согласие тот корпус своими тринадцатью эскадронами подкрепить.

— Ого!

Офицеры опять переглянулись. Генерал Гюльден прикрывал своими тринадцатью эскадронами Галльские ворота, и четыре дня тому назад капитан Дорофеев, равно как и полк князя Прозоровского, к которому он был причислен, тщетно пытались атаковать эти ворота. Теперь, при поддержке войск принца Вюртембергского, генерал Гюльден способен внезапным ударом уничтожить и полк Прозоровского и эскадрон Дорофеева.

Адъютант, поблагодарив девушку, приподнял полу палатки. Девушка ушла, приседая и улыбаясь. Адъютант, перечитав записанное аудитором, велел ему немедля отправляться в канцелярию и составить акт подробнейший, чтоб доложить графу Чернышеву. Лицо адъютанта приобрело вид почти зловещий:

— Сегодня вечером — заседание Прусского военного совета. Похожие сведения и другие лазутчики принесли.

— Ну, какой она лазутчик!

Склонившись к уху капитана, адъютант вдруг прошептал:

— Кирилл! Откроюсь. Граф общую атаку Берлина завтра на семь утра назначил.

— И слава богу!

— Что слава богу? А если принц Вюртембергский — упредит? А если он не на Чернышева, а на австрийцев бросится? Австрийцы, и без того боясь пруссаков, все лето меняют планы. И сейчас, после форсированного марша на Берлин, изволят отдыхать. Ударит принц, бросят они свои рыдваны и убегут!

Откровенность адъютанта была приметна капитану. Всегда лестно знать, во-первых, планы командования, а во-вторых, прекратился этот двусмысленный разговор о Красавке. Отплачивая за откровенность откровенностью, капитан Дорофеев горячо заговорил:

— Илья Иваныч, слушай. Атакуя сами, немцы заранее считают противника неизбежно погибшим и бывают храбры. Наоборот, наше наступление и решительный удар в штыки наводит на немцев страх. Они бегут.

— Правда. Но что ты хочешь сей правдой сказать? — сухо спросил адъютант. Ему не нравились измышления капитана. Зачем тогда нужны генералы, если капитаны способны понимать науку стратегии?

А капитан между тем набрал в грудь воздуху.

— Не будем говорить, ты устал, Кирилл, — сказал адъютант.

— Нет, не устал.

И капитан заговорил крепко и круто. Глаза его ненасытно сверкали, правая здоровая рука необузданно рассекала воздух.

— Илья Иваныч, доложи графу мою мысль. Вдруг да немцы раньше нас выступят, вдруг да Прусский военный совет — примет предложение принца? Что тогда? Тогда генерал Гюльден поведет на графа Чернышева — целехонькими! — все свои тринадцать эскадронов, не считая пехоты. Илья Иваныч! Пусть граф разрешит атаковать нам сегодня Галльские ворота! Мы сомнем эскадроны Гюльдена, и принц Вюртембергский струсит нападать!

Адъютант сказал недовольно:

— Над тобой, Кирилл, есть начальство: полковник князь Прозоровский. Но и оный командир полка не осмелится входить с такими безумными замыслами...

— Безумными! Да ведь мы четыре дня назад почти захватили Галльские ворота, и кабы дали нам подмогу...

— Подмогу! Всегда неуспех свой и глупость мы на отсутствие подмоги сваливаем.

И адъютант внезапно спросил:

— Где и когда прежде ты виделся с лазутчиком этим?

— С лазутчиком?

— Ну, да. С тем, что палатку покинул пять минут назад.

Капитан Дорофеев, помолчав, ответил:

— В прошлом году, на масленой, в Варшаве.

— Стало быть, любовь?

— Стало быть.

— Стало быть, меняешь Красавку на лазутчика?
— А как ты это сделаешь?
— Да уж сделаю.
— Тогда меняю.

3

Дорофеев приказал вынести себя подальше за палатку.

Воздух уже нагрелся, и только орудийные дымки словно нехотя мешались с клубами тумана, поднимающегося от рвов, окаймлявших невысокую земляную ограду предместья Фридрихштадт. Два бастиона выступали из ограды. Галльские ворота, серые, из толстых каменных плит, с подъемным мостом на склизких, скрипучих цепях, впускали и выпускали пехотинцев, кавалеристов и мещан, укреплявших палисадами рвы и бастионы. «Было б не ворота вначале брать, а бастионы,— подумал Дорофеев, вспоминая атаку Галльских ворот, при которой он был ранен:— Коли пойти на приступ с большой решимостью, да окружить бастион, да ворваться в него, — конец и ему, конец и Галльским воротам!»

И чем больше он приглядывался, тем вернее казались ему эти соображения. Бастион, — особенно правый, — явно открытый с перешейка, соединяющего бастион с валом. Недаром немцы тщательно закрепляют «горку» — палисадами, а отлогости рва одевают фашинами, роют во рву волчьи ямы и, должно быть, подводят фугасы. «Атаковать-то атаковать, да небось позади бастиона много орудий и жди сильного огня», — продолжал он размышлять, сердито поглядывая на позиции генерала Гюльдена.

Немцы стояли на высотах, прикрывающих бастионы, ворота и ограду предместья. Позади полевых орудий — десятка три домиков, крытых соломой, огороды, узкие поля. Некоторые домики горели. Жителей не было: они скрылись за стенами. Солдаты шарили в домах и разбегались при виде офицера с палкой.

— Вот она, прусская жизнь!

Разумеется, русская тоже не краше, но та хоть далеко, а все далекое кажется милым.

И капитан Дорофеев, чтобы забыть о легкомысленно сказанном адъютанту, о мнимом знакомстве своем с девушкой-лазутчиком, — продолжал размышлять.

Пруссия!

Стада королевских оленей, наполняющих леса, топчущих огороды и нивы. Олени — наглые, злые, нападают на прохожих, и прохожие, которым запрещено стрелять в оленей, ходят с большими трещотками в руках. Отсюда видно — на пригорке, неподалеку от Галльских ворот, виселица и эшафот. На виселице болтается зять одной торговки, сказавший, что в королевстве стало бедновато. А на эшафоте вчера отрубили сначала руки, а затем голову барабанщику, который бил сторожа в саду, чтоб тот дал ему яблок.

Во всей Пруссии только и слышишь о расстрелах, повешенных, шпицрутенах. Битье, особенно солдат, приказано воспевать в стихах, и выпущены гравюры, разрисованные художниками, показывающие, как надо бить. Каждый должен наизусть знать слова Фридриха II: «Что касается солдата, то необходимо, чтоб он боялся своих офицеров больше, чем тех опасностей, навстречу которым он должен идти».

Успех войны, по мнению Фридриха, зависит от его тяжелой палки и тяжелого его кошелька с золотом. На дневках, немедленно по остановке, особые солдаты идут резать палки, — и вот почему разбитое в сражении войско трудно собрать: оно разбегается по лесам, превращаясь в открытых разбойников. И в последние годы Фридрих спасает свое войско тем, что боится давать сражение, и все увеличивает и увеличивает муштровку, стремясь превратить солдат в совершенную и бессловесную машину. А если пруссаки сражаются, то в сраженье такое войско ведут густыми колоннами, сдерживая его палками, офицерскими пулями и особой системой маршировки, благодаря которой все внимание солдат уходит на эту маршировку с ее сложнейшими манипуляциями. Густые колонны, кроме того, помогают удачной стрельбе. Стреляет несколько рядов солдат, один за другим, — и Фридрих палками добился того, что солдат делает шесть выстрелов в минуту и таким образом колонны представляют собой механическое орудие стрельбы... Худо, худо!

«Конечно, и Русь не рай. Адъютант, человек просвещенный, бывавший в Париже и Лондоне, не моргнув глазом, предлагает менять Красавку на девушку-лазутчика, которая к тому же, кажется, еще и дворянка? И не замечает того, что капитан Дорофеев солгал, дабы хоть сколько-нибудь облагородить эту мену! Впрочем, и сам капитан хорош: девушка-то ведь ему понравилась, иначе б разве он отдал Красавку с такой легкостью? Нет, худо, худо! А что поделаешь? Как ее спасти? Ведь эти мерзавцы по рукам ее пустят. Вот кабы доказать, что она не лазутчик. А где докажешь!»

Да, Пруссия!

Поодаль, возле «единорога», знаменитой шуваловской гаубицы, стоял бежавший из прусского плена гренадер Нефед Лепкин, тот, что привел с собой девушку, которую адъютант называет лазутчиком. Капитан сразу было и не узнал его. Исцарапанный, голодный, с шальными глазами, он словно исцелился! Каптенармус нашел ему новый кафтан, сапоги, черный галстук и даже перчатки с замшевыми обшлагами. Широко расставив тупоносые сапоги, Лепкин весело глядел на капитана, и усы его, приглаженные черным воском, — не кверху, как у драгун, а вдоль щек, пробритых посредине, — лежали наподобие двух стрел. Левая рука его прикасалась к палашу, правая — к медной бляхе гренадерской сумы. К погонной перевязи плотно пристегнута фузея.

— Добро, Лепкин, добро, — задумчиво глядя на солдата, сказал капитан. — А ты мою Красавку видел?

— Так точно, — с некоторым недоумением ответил солдат.

— Хорош конь?

— Так точно, — с еще большим недоумением сказал солдат, глядя в прищуренные глаза офицера.

— То-то же, попомни.

И, повернувшись к денщику Афоне, капитан спросил:

— Адъютант, кажись, лазутчика в эскадроне оставил?

Тогда Афоня, стараясь разобраться в происшедшем, затараторил:

— А мы ей старуху нашли. Ничего, поворотливая старуха, — из полячек. Без старухи как же девке одной жить? Наши гренадеры не обидят, а казак... казак в авангарде хорош, а в ариергарде — не приведи гос-

поди! От казака одно спасение — старуха. Их старухи отпугивают, они их ведьмами считают. Да и лачугу мы ей нашли, ничего — поворотливая лачуга.

Лачуга действительно оказалась поворотливой: куда ни поверни, отовсюду дует. Правда, гренадеры уже навесили дверь, устроили трубу на кровле, натаскали дров и пожертвовали старухе котел. Медно-красноватое пламя шевелилось в печи, пахло мхом, сыростью. Девушка сидела на дубовом обрубке, прикрыв ноги соломой.

Афоня расставил козлы, носилки капитана положили на козлы. В лачуге стало совсем тесно, и капитан приказал гренадерам выйти. От его глубокого и тяжкого баса старуха испуганно подползла к окну, заткнутому соломой.

— Сударыня, позвольте представиться: капитан Кирилл Максимов Дорофеев, командир эскадрона Санкт-Петербургского конно-гренадерского полка. Рад оказать любую услугу, коей вы пожелали б осчастливить нас, сударыня.

И он разъяснил прежнее свое поведение:

— Боевые заботы и труд во славу россов не позволили мне быть доселе более учтивым.

Девушка поднялась с обрубка и, делая реверанс, ответила:

— Премного благодарна, сударь. У меня все есть. Кроме того, мы, Долматовы, привыкли переносить напасти. Я — знатной и шляхетской фамилии герба панов Долматовых, сударь. В Галиции, Польше, Киевщине — мои предки. Наш герб: четыре порфировых поля. На одном поле: звезда, к которой мы всегда идем. На другом — три трубящих славу рога. На третьем — скрещенные сабли, защищающие нашу славу. И на четвертом поле — рыцарь, душащий змею, которая думает преградить путь нашей славе и нашей звезде. Где ей преградить?! В роду у нас были епископы, полководцы, мы сидели за одним столом с королями... вот каков наш род, сударь!

И, решив, что она достаточно ошеломила капитана, девушка умолкла. Бедняга не родовит, и ему трудно в том признаться. Она внимательно смотрела на его лицо, ставшее от волнения желтым, но желтым и красивым, как ярый воск самого лучшего качества; видела глаза, блестевшие желтым огнем, как смола на

солнце. «Не родовит, ну и что ж? — подумала она. — Не замуж же мне за него выходить?» И она спросила с любезностью, столь изысканной, какой она никогда не достигала прежде:

— Вам, сударь, вероятно, бывает здесь очень тоскливо и хочется домой?

— Мы вознаграждены за всю прошлую тоску вашим посещением, сударыня.

— О, что я?! — воскликнула она, скромно потупясь.

— Война — ледяная вода. Женщина — вода жизненная, — сказал галантно капитан. — Девичья красота, сударыня, это душистый дым счастья, веющий на сердце воина.

— Что вы, сударь!..

— И я — весь в сем дыму! — внезапно воскликнул он с горячностью, его самого удивившей. — Я почти задыхаюсь...

— О сударь, помилуйте, — пролепетала девушка, складывая молитвенно руки на груди.

— И благословляю небо! И мои жалобы к нему окончены, ибо я увидел жемчуг жизни. Благодарю несказанно, сударыня, того благожелателя, который привел вас ко мне...

Тут капитан вспомнил, что доброжелателем этим был Нефед Лепкин, вспомнил его нос, дюжий, как сундук, его огромную железную фигуру и подумал, что, пожалуй, он чересчур горячо благодарит своего подчиненного. «Экое давление, прости господи! Откуда оно?» И ему стало стыдно.

Не слишком ли много пышных слов для девушки, которую он, подобно древнему печенегу, выменял на коня? Он смущенно умолк, прямо глядя в лицо девушки, теплое, хорошее, с синевато-черными, уже заметно соединившимися бровями. По ее лицу было заметно, что девушка понимает его внезапно вспыхнувшую страсть. И он решительно сказал самому себе: «Хватит! Возвысил ее, утешил. Не мальчик — баловаться». Между тем девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее вела вверх, как лестница, и много любопытного встречалось на этой лестнице: например, глаза, подернутые влажной кокетливостью. «О женщины! — подумал капитан. — Каждого пророка вы считаете вещим. Даже меня!»

Она спросила:

— А когда побьете пруссаков, приедете к нам в гости, господин капитан?

— Месяц не успеет переменить шкуру, сударыня, я буду у ваших ног, — галантно ответил он. «Ах, какой вздор, какая глупая привычка к галантности!»

Она захлопала в ладоши.

— Вот хорошо!

И оба рассмеялись. Затем он наклонил голову и сказал, что ему пора. Она позвала носильщиков. Подобно любезной хозяйке, она вышла его провожать. Старуха, прислуживающая ей, рослая, сутулая, похожая на медведицу, держа в руке пук лучин, стояла у порога и смотрела им вслед.

Девушка, идя, продолжала болтать. Она описывала свой дом, характеры троих своих братьев, балы, на которых бывала. Она шла близко от носилок. Дыхание ее пахло луком, солдатской кашей и сухарями, а кудри и движения ее были как у царевны. «Ну, хватит же! — думал с досадой капитан. — Возвысил и утешил, чего еще?»

Вдруг лицо ее изменилось, пошло пятнами, словно по нему ударили крапивой, нос заострился, и что-то в ней стало подстерегающей борзой.

Она указывала на правый бастион:

— Видите? Красуется — толстый до крайности? Генерал Гюльден! Я узнала его! Ему перед тем, как пить пиво, подавали топленое молоко в серебряной кружке. Он смеялся над вами! Он говорил, что вы вскормлены диким мясом и с вами поступать следует, как с дикарями. Капитан! Генерала Гюльдена нужно уничтожить.

Глаза у ней от злобы стали цвета и вида вялого винограда, когда его кладут на солнце перед тем как жать и готовить вино. Лицо — пепельное, холодное. Много горя видела эта девушка, не все еще она поведала. И снова капитан сказал галантно:

— Постараюсь, сударыня, доказать вам в бою полное свое уважение и нежность, если не любовь.

— Ах, докажите! — воскликнула девушка. — И я... У нас, у нашего герба есть обычай: закрепить обещание, поцеловав как самого... самого близкого, целуют вот сюда...

И, плутовски улыбаясь, она дотронулась мизинцем до своей щеки, где заканчивается еле заметный, сладостный пушок, очерчивающий ее верхнюю губку.

Капитан наконец решился спросить:

— Сударыня, вас называют лазутчиком...

— Очень хорошо! Я рада помогать русским.

— Однако желательно, чтоб вы доказали свое благородное происхождение.

— Зачем?

Как ей сказать правду? Она не поверит, рассмеется. Пусть-ка попривыкнет, освоится, глядишь, и сама поймет, что война не танец на паркете. И капитан сказал со вздохом:

— Зачем? Чем благороднее происхождение, тем выше награда.

— Я уже награждена, сударь.

— Кем?

— А вы не замечаете?

И, сделав реверанс, она исчезла в своей лачуге.

4

Капитан Дорофеев, важно и самодовольно выговаривая слова, окончив чтение диспозиции, присланной командиром полка князем Прозоровским, оглядел слушателей. Они, глядя ему в рот, молчали. Стал накрапывать дождь, и крыша палатки заколебалась. Капитан повторил с удовольствием последнюю фразу диспозиции:

— «Сию атаку наисовершеннейшим образом произвести, и всякий к своей части усердие наиспособнейше пусть да промыслит, чтоб славу россов и честь их удержать и возвеличить!»

В атаку на Галльские ворота должен был идти гренадерский полк, поддерживаемый двумя батальонами пехоты и иррегулярной конницей — казаками. Атака назначалась сегодня, в два часа пополудни. Это не будет атакой по всему фронту: общий штурм назначен на завтра, на семь утра — согласно сигналу: тремя брандскугелями, горящими бомбами, вверх. Но это было то, чего так страстно жаждал капитан Дорофеев! Он первым ударит в генерала Гюльдена, в Галльские ворота, в бастион, первым и внезапным ударом начнет битву

за Берлин! Именно в этом-то и заключалась мысль его, которую он просил адъютанта передать генералу Чернышеву. Не важно передана ли ему эта мысль,— в диспозиции о том ничего не говорится,— сам ли Чернышев пришел к ней, важно, что штурм начинает Кирилл Дорофеев! Ого!..

Диспозицию Дорофеев читал своим помощникам: поручику Сокореву, покрой кафтана которого всегда был похож на покрой полотенца, а лицо, важностью своей и неподвижностью,— на государственную печать, и подпоручику Кречетникову, мягкому и податливому, похожему на пирог с рыбой. При чтении был аудитор Плешаков и офицер из штаба полка по фамилии Пригоршня, человек неослабной храбрости, постоянно просившийся из штаба в строй. Сейчас, глотая завистливую слюну, он думал о Дорофееве: «Вот кому везет!.. И в атаку идет первым и девку какую на коня выменял!»

Пригоршня спросил:

— Красавку-то, Кирила Максимыч, адъютант уже взял?

— После штурма.

— Уговор, что ли, такой?

— Подразумевается. Кто же коня у офицера отнимает перед штурмом?

С коня разговор, того гляди, может перейти на девушку, а об этом ли толковать перед боем? И капитан Дорофеев сказал Пригоршне:

— Прошу князя прислать литавренную повозку со знаменем.

— Куда тебе повозку, Кирила Максимыч?

В «литавренной повозке» возили полковое знамя конно-гренадер. Ярко раскрашенная повозка была украшена деревянной вызолоченной статуей Минервы с копьем и щитом в руке.

Дорофеев с гордостью объяснил Пригоршне:

— У нашего эскадрона порода такая, что он привык воздвигать на взятом укреплении шелковое знамя и Минерву.

— Пойдем, Плешаков? — спросил Пригоршня.

— Я позже,— подумав, ответил аудитор.

Аудитор Плешаков рассчитывал: атака — опасная, в прошлую атаку капитан Дорофеев получил шесть ран, сегодня он может получить шестнадцать. Аудитор

совсем не желал смерти капитану,—по-своему аудитор был честный человек,—но каждый имеет право предполагать, что, получив двадцать две раны, офицер, даже самый здоровый, скончается.

Оставшись наедине с Дорофеевым, аудитор спросил:

— Ой, взаправду, за Красавкой не посылал?

— Конь у меня.

— Мог послать, да ты отказал.

— Повторяю, не посылал!

— Почему?

— А бог его знает!

Аудитор сказал вполголоса, часто мигая глазами:

— Надо бы с Красавкой-то решить. А то я купил бы.

— Второй девки такой не найти.

— Ну, девок на свете много.

— Для меня не так-то уж выбор велик.

Аудитор помолчал, видимо думая о словах капитана. Затем, почесывая верхнюю плохо пробритую губу и моргая еще чаще, чем прежде, сказал протяжно:

— А может, способа не находит, как тебе этого лазутчика передать.

— Она уже у меня.

— На время. А навсегда?

Дорофеев тихо спросил:

— А у тебя такой способ есть?

— Есть.

— Она, брат, самого благородного польского роду.

— Плевать. Ты подумай, Кирила Максимыч.

— Подумаю.

За палаткой под ногами уходившего аудитора зашуршала трава, башмак его задел за что-то металлическое, тяжелое, и аудитор матерно выругался. А где-то в стороне служили молебен, звякало кадило, и донесло запах дыма.

5

Был час дня.

Барабанщики выстроились позади шеренг, флейтщики продули флейты, пластуны ползли к немецким окопам снимать караулы — атаку предполагали сделать внезапной, из оврага прямо на высоты, прямо к Галльским воротам.

С востока молчаливо и надменно, похожие на курганы, шли тяжелые тучи. Легкий ветер крутил золотые искры хвои, и серая ограда, ворота и бастионы вдали казались косматыми, зловещими.

— Кабы дождь да буря не помешали...— пробормотал Нефед Лепкин.

Он укреплял носилки капитана. Их ввиду боя и отчаянной, труднопроходимой дороги понесут четверо возчиков. Денщик Афоня и сам Нефед определены охранять капитана.

— Без бури не обойтись,— отозвался денщик,— я еще ее утром приметил. Да авось справимся до бури.

— Справимся,— сказал капитан.

Денщик завил напудренные волосы капитана в пукли, убрал в косу, оплетенную черным кожаным ремнем так, что бант пришелся на самом воротнике. Затем он надел на левую ногу сапог,— правая была повреждена штыком и находилась в лубке,— выправил согласно артикулу белые штабель-манжеты на четыре пальца выше сапога, полюбовался, как он их гладко накрахмалил, и спросил:

— Вооруженье какое прикажете подать, батюшка?

— Шпагу. Пару пистолетов. Бодро действуй, Афоня!

И он быстро спросил:

— Седлай Красавку. Пистолеты в ольтры вложил?

Поручик Сокорев, приятель аудитора, охнул:

— Кирила Максимыч! Да неужель ты Красавку поведешь?

— А что она, лучше людей?

— Коня персидской крови — под бомбы? Добро б в сражение на нем, а то для красоты ведешь.

Капитан сказал, проверяя пистолеты:

— Красота в жизни тоже не репейник. Без красоты жизнь будто колос с головней: раскроешь, зерна будто все, а раздавишь зерно — вместо муки черная пыль. Нет, Красавка в бою за мной пойдет... вместе с музыкой! А вы, судари,— сказал он поручику Сокореву и подпоручику Кречетникову,— к месту!

И было около двух часов дня.

У подножья холмов, на которых расположились немецкие войска, взметнулось махрово-красное пламя, и пенистый дым, подхваченный сырым ветром, на время закрыл от взоров Галльские ворота и бастионы.

Горели стога сена, которые зимой предстояло ощипывать королевским оленям.

— Ха-ха!..

Веселье охватило гренадеров. Пламя означало, что пластуны сняли немецкие караулы, прикрывающие холмы.

— Вперед, с богом,— вполголоса, точно он уже находился у окопов, сказал капитан.— Виват Елизавете!

— Виват, — тоже вполголоса отозвались гренадеры.

И, не оглядываясь на своих коней, которых они оставили в леске, гренадеры углубились в кустарники, а оттуда спустились в овраг, заросший высокой травой и смородинником.

По дну оврага, постепенно углублявшегося, вился ручей и лежали отполированные камни красновато-розового цвета, похожие на большие капли сургуча. Смородинник сменился ивами, ручей рос и серебряно стучал в камнях, как сердце.

Округ, кроме ив и травы, ничего не видно, закрыто, будто попали в погреб, и все же они чувствовали себя веселей и веселей. Выскочил из травы заяц, присел возле камня, глядя на солдат вытаращенными глазами. Кто-то соболезнующе прошептал:

— Эх ты, сермяга!

И заяц, словно приняв это слово за брань, подпрыгнул, дрыгнул задними ногами и скрылся в траве.

Небо над оврагом было обрюзглое, чахло-серое. Ивы слабо качали свои ветви, и узкие листья их походили на золотые кусочки слюды. Штыки задевали за ветви.

Гренадеры наклонялись, приближая лицо к гранатам, которые лежали в их руках, словно камни, подобранные в овраге. Слышалось тяжелое дыхание: ведь помимо патронов несли и по три гранаты каждый, а в ней одной почти десять фунтов весу!

Впереди эскадрона, показывая дорогу, шли пластуны, бородатые казаки с кирпично-красными лицами, очень озабоченные. Попалось несколько пруссаков, зарезанных этими пластунами.

Капитан посмотрел в лица своих носильщиков. Они были потные, но веселые, словно не в овраге они идут, а по чистому полю, среди колосистой пшеницы. Сутулясь, они шикали на воробьев, которые вдруг как горох сыпались из-за ив. Среди желтой листвы воробьи казались забавными, светло-зелеными, а глаза — фио-

летовыми. Но вот с вершины оврага дохнуло пряным теплом, должно быть, проходили неподалеку от горевших стогов сена. Лица построжали.

— Служба! Дай понюшку,— хрипло сказал один из пластунов.

На него зашикали, и он замолчал.

— Прибавь шагу! — прошипел капрал.

Мелькали штыки, медные щитки на шапках, медная пуговица на епанче — плаще капрала, черная патронная ладанка Нефеда Лепкина, медная бляха на покрышке гренадерской сумы, где лежат гранаты. Как много меди!

От быстрого шага носилки качались. Капитан придерживался за край носилок, поправляя свисавшую то и дело епанчу, которой были прикрыты его ноги. От солдатских сапог летели на епанчу куски темной, густой глины.

— Здесь!

И пластуны остановились, озираясь, будто не веря, что привели эскадрон в самую средину холмов, в средину прусских войск. Слышалась чужая речь. Сердце у капитана тяжело и радостно заколотилось, словно выбиваясь из-под свинцовой покрышки. Он взвел курок... забил барабан... засвистела флейта...

— Ура-а!..

И оврага как не было!

Открылась вершина холмов, зияющая ямами. Из ям выскакивали пруссаки. Только часть их успела разобрать ружья, а остальные, бросив свое вооружение, кинулись к подъемному мосту Галльских ворот. Сшибая солдат, мчались к мосту длинные фуры, а одна, запряженная четверкой, понеслась навстречу русским, и рослый белолицый пруссак, опустив вожжи и раскрыв широко рот, рыдал в ней во весь голос. Лошади, словно слепые, летели в овраг.

Свирепым, широким шагом, держа в слегка согнутой руке гранату и непрестанно дуя на фитиль, от которого подымался легкий дымок, пахнущий селитрой, шли гренадеры. Гренадеры хотели успеть попасть вместе с пруссаками на мост, пока тот не подняли.

Но ближе к мосту пруссаки, подавив в своих рядах смятение, оправились. Они выстроились и открыли частый ружейный огонь. Батарея с правого насыпного бастиона попыталась очистить противолежащие ей высоты,

занятые теперь русскими. Бастион пытался управлять полем боя! «Так я и думал, так я и думал,— весело глядя на огоньки батареи, бормотал капитан.— Вот ворота проломим и до тебя доберемся».

И, словно подхватывая его мысль, русская «демонстрационная батарея», а по-солдатски «сбивальная», ударила по бастиону. Тотчас же одно из ядер подбило прусское орудие. Прислуга орудия бросилась в разные стороны, и небольшая собачонка, цвета пемзы, визжа, забегала от артиллериста к артиллеристу, видно не зная, к кому пристать.

— Не расстраивать, братцы, линии. Не расстраивать! — кричал капитан, глядя на мерно шагающих, как сеятели, гренадер.

Линия и не расстраивалась, несмотря на то что пруссаки стреляли упорно и метко. Падали. Стонали. Подбегал широкоскулый лекарь. Уносили. Вставали. Шли вперед. Бросали гранаты. Снимали фузеи, стреляли. Линия все ближе и ближе подходила к мосту.

Пруссаки, пятясь, с ужасом глядели на этих великанов. Солдаты выкатывали белки глаз, а офицеры фридриховскими палками били солдат по плечам.

А на бастионе от нервной торопливой пальбы уже разорвало несколько орудий. Русские отвечали на это криком «виват», думая, что орудия разорвало нашими ядрами. Капитан тоже кричал «виват» и хохотал до боли над лопнувшими орудиями, хотя он и знал истинную причину этих разрывов. Фридрих не любил артиллерии: она мешала стройности вахтпарада. Пушки поэтому лили у немцев из чугуна, а не из дорогой орудийной бронзы, для которой требовался сплав из девяноста процентов меди и десяти процентов олова. Чугунные же пушки мало прочны, тяжелы, а от шлака в чугуне, ржавчины и раковин часто разрываются... И разве это не смешно?

— Ха-ха-ха!..

Рослый вороной скакун вынес на мост самого генерала Гюльдена. Генерал был в нежно-розовом мундире, белых штанах, а на голове скакуна качался киноварно-красный султан. Оглядев поле сражения, генерал крикнул что-то, отодвинул коня к перилам, и мимо него, сверкая длинными палашами, в желтых шапках и латах, прямые, как снопы, поскакали кирасиры.

— Респект, уважение от нас им дать, братцы! — покрывая своим криком весь шум сражения, заорал Дорофеев. — Держи-ись, братцы!

Невесть откуда появились казаки. Впрочем, в стычку с кирасирами они не вступили, а, ловко разбросав вокруг гренадер колючие рогатки, — нечто вроде козел, — ускакали. Гренадеры, положив фузеи на рогатки, встретили кирасир огнем и гранатами. Кирасирские кони вздыбились, понесли.

Поручик Сокорев подбежал к капитану, прося позволения отбросить рогатки и взять пруссака в штыки. Он быстро и жарко дышал, и покрой его кафтана уже не походил на полотенце, а скорее на крылья. Несколько утомленный волнениями, непривычным положением, в котором он принимал бой, капитан Дорофеев попрежнему чувствовал себя счастливым. И, глядя в сияющие счастьем глаза поручика и видя счастье на обширных лицах солдат, и опрокинутых кирасир, и черные крупы убегающих на мост коней, капитан торопливо сказал:

— В штыки, ребята! На мост!..

И тяжело угрожающим басом он прокричал своим носильщикам:

— А вы чего? К мосту меня, дьяволы! Али селезенки подвело?.. Виват!

— Виват!

Дальнейшее Дорофеев помнил обрывками, словно он в суете сбился со счета или впал в забытье.

Помнил он, как яростно раскачивалась его люлька, как откуда-то сбоку выскочило два пруссака с судорожно искривленными ртами. Пруссаки присели, увидев его пистолет, присели и его носильщики. Он выстрелил. Его понесли дальше.

Стены бастиона, ворота, половинки которых были окрашены суриком, приближались.

Стараясь выкричать переполнявшую его озорную радость, он повторял команду по нескольку раз... и во время одного из этих выкриков ему показалось, что он слышит позади себя, в отдалении, детский чудно чистый голосок. Неужели это ты, девица великого герба Долматовых? Откуда появились, сударыня, Анна, Аннушка? Он пригляделся. Никого!..

Капитан посмотрел на ворота, на ограду из битой земли с торчащими из нее плитами песчаника, засиженного птицами. Никого!

6

Наши подкатывают малые единороги и беспрестанно крупной картечью бьют в реданты, построенные пруссаками перед мостом. Доносится дребезжащий стук ядер, ударяющих в половинки ворот, что цвета сурика. Пруссаки, оставив наконец реданты, устремляются на мост. «Следом, следом! — торопит капитан. — Не дать им, чтоб мост подняли! Ребятки!..»

Доски моста покрыты жидкой грязью. Из-под сводов несет сыростью и навозом. Скользя по грязи, несколько самых шагистых гренадер влезают на мост вместе с пруссаками. Они пробивают дорогу прикладами.

— Пробраться к вороту, которым поднимают мост, перебить прислугу, а буде возможно, оборвать цепи! Живо!..

В большой зале возле ворота у цепей — схватка.

Гренадер пронзил штыком пруссака, который не отходит от ручки ворота, и сам, не щадя ни своей жизни, а прусской тем более, — бросил дымящуюся гранату в мостовые цепи, через узкое отверстие, по желобу, выползающие наружу. Граната шипит. Гренадеры, все же решив спастись от взрыва, отступают к дверям. Умирающий пруссак зубами вырывает фитиль из гранаты, сует его в воду желоба.

— Хвалю пруссака, ну а вы — вперед-таки!— кричит Дорофеев.

Схватка начинается снова. Гренадеры возвращаются в залу. Они падают один за другим. Ворот крутится. Цепи медленно ползут, таща на себе потухший фитиль гранаты. Мост начинает отрываться от стенок рва. Из рва пахнет илом и кровью.

— Коня!

— Какого, Кирила Максимыч?

— Какого коня, дьявол? Красавку.

Усаживается капитан в седло с великим трудом. Он опирается одной ногой в стремя, а другую в лубке вытягивает вперед, как пику. Наездник он хороший, да и конь понимает его.

Денщик Афоня крестится и со штыком наперевес бежит за Красавкой.

Мост скрипит, крякает железным голосом, и в утробе его что-то глухо отдается. Огромный, похожий на утюг, он отошел от земли на добрый аршин, и Красавка чув-

ствует, что ей не вспрыгнуть на мост, да если и вспрыгнет, — седок не удержится. Конь, униженный, ржет, перебирает копытами, роет зубами помост... и капитан, бросив поводья через голову коня, валится, — к счастью, на здоровую ногу.

Когда он поднимает голову, он видит рядом с собой денщика Афоню, двух своих носильщиков и неизменного Нефеда Лепкина. Появляются еще гренадеры, которых ведет подпоручик Кречетников. Надо выручать наших, которые дерутся возле ворота!

— Ну, держись! — строго, отрывисто и громко говорит капитан Дорофеев.

Он разряжает в пруссаков пистолет и выхватывает шпагу, ту шпагу, у которой светло-вишневый, с золотой нитью, темляк и на клинке славянской вязью надпись: с одной стороны — «Виват, Елизавета Великая», а с другой — «Богу и отечеству».

Идет капитан, держась одной рукой за руку Нефеда Лепкина, идет, не спуская с пруссаков глаз, идет бесшумно по скользкой сырой покатости. Глаза его безумны, высунутый язык облизывает губы. Он бормочет первые пришедшие в голову слова, которые каким-то образом попадают в такт отвратительно скрипящим цепям моста:

— Баю-баю-юшки-баю... баю-баю... баю!..

Боль в разбитой ноге чудовищная, челюсти от боли нельзя соединить, и рот кажется широким и сквозным, как сеть. Он втягивает в себя воздух — и выхватывает шпагу. Падает пруссак, тревожно суча ногами, из кармана камзола его вываливается курительная трубка.

Мост рвануло кверху.

Капитан встал на колено. Пруссак прорвался к нему, бьет его прикладом. Он собирает последние силы, отпрыгивает и весь замирает от нестерпимо сладкого ужаса. Он падает.

Падает он с моста на растянутую внизу епанчу гренадер, которые стоят на краю рва, под пулями и ядрами.

Капитана несут, а он кричит:

— Ребятушки, на правый бастион!

Ему хочется объяснить, почему надо теперь штурмовать правый бастион. Но тут ему становится так больно, что из глаз катятся слезы, ледяные и тяжелые, словно пули.

Беспамятство его длится недолго, минут пятнадцать. Некогда!.. Он открывает глаза. Надо отдать приказание, — если не взяли, то надо сжечь мост. Он чихает. Голова удивительно чистая и ясная, только гудящая, как шершень, боль в ноге, да левая рука словно вшита во что-то громоздкое вроде шкафа... Зажечь мост, чтобы пруссаки не ударили нам во фланг.

— Соломы! Смолья!

Саперы уже возвращаются от моста с бранью почти удушливой. Раньше бы он посмеялся такой брани, но сейчас не до смеха. Мост зажечь не удалось, материал сырой, не занимается пламенем. Изрубить тоже нельзя: с обеих сторон обит толстыми сваями... Так он и застрял в двух аршинах от земли, а с него свисает мертвая голова пруссака, которого капитан проткнул перед тем, как упасть; та самая голова, что прилизана и с низкими ушами...

— Водки!

Ему подносят серебряную чарку, и он слышит приятный ласкающий голосок:

— Виват, сударь!

Лебедино-нежное прикасается к его щеке, к тому месту, где оканчиваются прямые, как стрелы, навощенные усы. Он глядит в ее глаза, и они ему кажутся большими, как чаши.

— Анна? Аннушка, великого рода Долматовых?

— Молчите, сударь, молчите, вам приказано молчать, — щебечет девушка и бежит к широкоскулому полковому лекарю, карабкающемуся на бастион.

Капитан слышит звук литавр. Он кладет голову на край носилок и смотрит с бастиона вниз, через ров. По недавнему полю боя, с которого убрали еще не всех раненых, едет полковая «литавренная повозка». Знамя не развернуто и укреплено древком у передка.

На повозке стоит литаврщик в парадном мундире. По пояс мокрый от усердия, он бьет в литавры и глядит в небо. Там жадные, мрачные и тупые тучи. В воздухе пряная духота. Быть ливню! Успеть бы до бури. И литаврщик бьет, бьет, а позади повозки, закатив от восторга глаза, заливается барабанщик такой дробью, что отдай душу, и мало!

Хлюпают сапоги подпрапорщика, сопровождающего полковое знамя. Пахнет от рвов тиной, порохом. По красному фону повозка украшена деревом с позолочен-

ной резьбой, а над балдахином — вызолоченная статуя Минервы, конечно, с копьем в руке и щитом в другой, на кого-то страшно похожая, но на кого — капитан не может вспомнить.

Повозка останавливается у стен бастиона. Подпрапорщик быстро и ловко развертывает знамя из китайского шелка с разводами. Оно — белое, с красными флемами. В средине — парящий двуглавый орел. Под ним — арматура из гренадерской амуниции и оружия. Над орлом в облаках и сиянии золотой вензель императрицы, а по углам, на флемах, — пылающие гранаты, и внизу крупными рубиново-красными буквами: «Санкт-Петербургский Конно-Гренадерский».

— Салютацию! — слабым голосом говорит капитан.

Над бастионом у Галльских ворот развернуто знамя российской армии. Гренадеры делают ему салютацию ружьем, а капитан Дорофеев поднимает шпагу.

7

— Где ж адъютант? — спрашивает Дорофеев с трудом.

— Богу душу отдали, — отвечал Афоня, косясь. — Отдали, да вот возьмет ли бог такую душу.

— Чего?

— Самоубийством. Перед самым боем. Письмо, что ли, из Питера привезли. Сударушка бросила. А по-моему, за безбожие...

— Чего?

— На девку боевого коня перед сражением менял. Обесконивал, выходит. А девка-то из православных, я сам видел, по-нашему молилась.

— Попа!

— Да зачем вам попа?

— Венчать!

— Эка! И подождешь, не трудно.

Сыро. С трудом раздули костер. Капитана знобит, но он в том не сознается. Он смотрит на мокрые, блестящие сапоги солдат, в которых отражается пламя костра, и ему хочется поближе к огню. Голова по-преж-

нему ясная, и, если б не озноб, он был бы совсем счастлив.

— Только б тебя, батюшка, не сглазили,— бормочет где-то в темноте, рядом, денщик Афоня,— а там выздороветь чего стоит.

— А ты как?

— Я?.. Я — ничего. У ярославца, коли шаровары целы, тело выживет.

— В грудь, навылет,—доносится голос широкоскулого лекаря. — Выживет.

Бредится ему, что ли? То ему кажется, что венчание свершено, что Берлин взят, что адъютант жив и приехал требовать Красавку, что он читает адъютанту письмо, которое хотел скрыть. В письме этом благодетельница, почтеннейшая супруга коннозаводчика, с которым он познакомился у Ломоносова, сообщает ему, что невеста адъютанта вышла за другого. Говорить? Не говорить? Вспоминается широкая добрая улыбка седовласой супруги коннозаводчика. Он сопровождал как-то карету коннозаводчика верхом на плохом, очень плохом коне. Конь завяз, чуть ли не по спину, в грязи, — и супруга, выглянув из кареты, рассмеялась. А затем, рассердившись на себя за этот недобрый смех, уговорила мужа продать, — и притом дешево, — Красавку. Пятый час...

— Пятый час, слышите, капитан?

— Вы?

— Я.

— А где же поп? Я вас, Анна, люблю. И готов перенести от вас любые наказания, понеже вел себя как подлец, променяв Красавку на вас.

— И очень хорошо, капитан! Иначе я не была бы вашей...

— Женой!

— Пятый час, слышите?

Лужи на куртинах светлеют. Пятый час, но армия вся на ногах, надела чистые рубахи и смотрит в небо: сигнал тремя горящими брандскугелями назначен в семь, но кто его знает?! Хорошо вокруг. Воздух свежий, звезды, словно вымытые, играют, как мальчишки весной, в лужах.

Вдруг в пятом часу с грохотом, визгом и свистом падает подъемный мост. Капитан подскакивает на носилках. Атака? Неужели генерал Гюльден осмелится после такого урока?!

При алой заре, не закрывающей очарованного блеска звезд, на мосту показывается трубач. Белый конь под ним стоит, опустив голову, и сразу понятно, о чем будет трубить прусская труба.

Дорофеев слышит голос трубача, который плохим русским языком читает кому-то письмо коменданта Берлина генерал-лейтенанта Рохофа:

— Комендант согласен капитуляцию учинить, причем и депутатеры города Берлина при сем следуют.

В семь часов утра через все берлинские ворота в столицу вступают русские войска. Конно-гренадеры маршируют через весь город к Королевскому замку. По дороге они выпускают из заточения пленных и заложников, снимают в гауптвахтах караулы.

Где же войска прославленного Фридриха?

Оказывается, ночью 8 октября действительно заседал Прусский военный совет, и действительно принц Вюртембергский внес свое предложение о немедленном нападении на русских. Но генералы предпочли убежать. Военный совет отклонил предложение принца, и, говорят, генерал Гюльден был первым, кто голосовал за отклонение. Военный совет постановил: немедленно, под прикрытием ночи, начать отступление всеми силами в направлении Шпангоу. И пруссаки побежали, бросая оружие, повозки, бросив все драгоценности и золото королевства...

— Ух, соснуть бы! — зевает Дорофеев, слушая рассказ Афони.

— И спи. Кто тебе мешает? Поставим караул у дверей.

И капитан Дорофеев засыпает. Спит он, плотно сжав губы, с таким выражением лица, точно хочет чихнуть. А ему и правда хочется чихнуть. Зала в Королевском замке, где он спит, велика и обширна, но в ней почему-то пахнет чадом и паленой шерстью. Однако спит он долго.

— Невесту проспал. Ждала она, ждала...

— Догонять!

Под вечер четыре гренадера в парадных мундирах несут его в носилках через весь город. Можно было бы найти коляску, но он привык к носилкам, и ему в них кажется покойней. Гренадеры шагают быстро. Берлинские обыватели удивленно смотрят на этих великанов,

а того удивленней на великана, лежащего в носилках с таким счастливым лицом.

Подводы с золотом двинулись в путь, когда капитан спал.

Но вряд ли они далеко ушли! Груз тяжелый. Золота много. Контрибуция с Берлина — полтора миллиона талеров, то есть больше, чем полное годовое содержание всей российской армии. Это заплатил только один Берлин, а то ли еще заплатит Фридрих, когда его поймают?!

На берегу Шпрее гренадеры заклепывают прусские пушки, скатывая их в реку. Другие сложили огромные костры из ружей и жгут. Рядом, на площади, у эшафота палач палит «печатные письма», которые составил Фридрих против русских.

— Бодро, добротно,— бормочет Дорофеев, вглядываясь в даль.— Неужели не догоню? Ну и ты хорош, Лепкин. Говорил же: разбудить!

— Я будил, да ты, Кирилл Максимыч, ругался...

Миновали Галльские ворота. Караул наполовину из казаков, наполовину из австрийцев отдал честь. Спросили про обоз. А вон в лес входит!

Обоз шел медленно, по спицы увязая в песке. Ящики с золотом из темных дубовых досок, похожие на детские гробики, прикрыты рогожами. Возчики, держась рукой за грядку, другой похлопывая прутом, одеты в сермяжные кафтаны с синими воротниками, с обшлагами. Лица у них обыденные, простые, точно они везут не золотые слитки, а дрова. Такие же обыденные и простые лица у казачьего конвоя, и только пять офицеров, сопровождающих сокровища прусского короля, настроены более торжественно. Они гадают о балах и танцах, которыми, несомненно, встретит Петербург ошеломляющее известие о взятии Берлина русскими.

На одном из ящиков сидит, закутавшись в зипун, девушка. Возле нее дремлет, покачиваясь, старуха. Девушку взяли попутчицей, до Варшавы, по просьбе капитана Дорофеева. Начальником обоза аудитор Плешаков, о котором в приказе сказано, что он назначается к этому месту как «знающий не токмо военный, но и естественный закон».

Услышав голос Дорофеева, девушка сбрасывает зипун и кричит мальчишеским звонким голоском, которым она кричала вчера, во время боя:

— Виват, капитан!

Дорофеев поправляет на шее парадный шарф из черного шелка с золотом и несколько раз кивает ей головой. Он смущен, и слова застревают у него на губах. Помолчав, он отзывает аудитора Плешакова в сторону и говорит, указывая на Красавку, которую ведут за ним:

— Твоя. Только дождись попа.

Попы все перепились, с великим трудом нашли одного и теперь отрезвляют, окупая в Шпрее. Через час, поклялся, крест держать сможет.

— Господи! Батюшка, Кирилл Максимыч, да я...— И у Плешакова от неожиданности выступают слезы.— Мне? Красавку? Дозволишь сейчас взять?

— Бери.

Девушка тянется к капитану. Он прижимает ее руки.

Обоз с прусским золотом стоит, ждет попа. Один из солдат, встав ногой на колесо, набивает трубку. Лицо его серьезно, важно, ему люб чин свадьбы, и он боится лишь одного, что солдаты плохо будут подпевать, а какая ж свадьба без хорошего хора? Но, может быть, и выйдет: уж очень счастливы лица жениха и невесты, и кто же, глядя на эти лица, будет петь плохо?

13 февраля 1945 года

В ГОРАХ БУХ-ТАЙРОНА

Из города Меди на строительство водохранилища в горах Бух-Тайрона ехал гастролировать укротитель тигров Святослав Аркадьевич Плонский.

В эти августовские дни 1943 года над всем Центральным Казахстаном стояла незакатная, неугасимая и нестерпимая жара. Ледники таяли. Реки разлились.

Святослав Аркадьевич — рослый, тяжелый, словно из свинца, с лицом цвета серого сафьяна, саркастическим и задумчивым, медленно покинул грузовик, чтобы, насупясь, замереть у разлившегося горного потока. Укротитель был человек образованный и начитанный; он считал себя поклонником изящной литературы восемнадцатого века. В Виннице, на Украине, немецкие фашисты сожгли его квартиру с небольшой антикварной библиотекой.

Давно, когда он еще учился своему ремеслу, тигр, играя, переломил Святославу Аркадьевичу два ребра, а попозже тигрица, тоже играя, повредила ему правый глаз. Святослав Аркадьевич после этого стал склонен к некоторым обобщениям. А высказывая свои обобщения, употреблял витиеватые образы, если не восемнадцатого века, то начала девятнадцатого, во всяком случае. Так вот и теперь: глядя на разлившийся горный поток, на остатки снесенного потоком моста, он сказал:

— Торопитесь, сударь? На свидание с морем? Не скоро, не скоро, ибо я знаю, а ты нет. Перед тобой пустыня Бетпак-Дала! Не считая гор, дорогой мой. Конечно, река стремится к морю. Но море течет само по себе. И вообще свидания недолговечны.

Воды, не обращая внимания на его мудрые изречения, клубились и прибывали. Почва под ногами его

тряслась. Струя воздуха играла штанами укротителя. Со стороны ледника, вдоль разлившейся речки, шел сильный и влажный ток.

«Пусть его играет штанами, как шторой в окне,— думал укротитель.— Но погано, что он играет обстоятельствами. Я ведь предчувствовал, что мост снесен, и торопил шофера... подвергал зверей тряске, раздражал их перед самым аттракционом... и — зря! Машинам по расписанию — прийти к мосту в четыре часа дня. Я их пригнал к двум — и зря! Мост снесло».

Словно уловив его мысли, из кабины высунулся шофер Дементьев с лицом бледным, горьким и длинным. Он уныло прокричал:

— Глазомерно определяя: еще б полчасика подогнать, успели б. А теперь какие приказания, товарищ командир? Обратно, в город?

Укротитель сказал:

— Человек может не обедать, но зверь любит точность. Подойдет вторая машина, и, если не переправимся, будем кормить зверей здесь.

Шофер скрылся в кабине так поспешно, будто зверей собирались кормить его телом. Укротитель снисходительно улыбнулся и подумал: «Когда шофер впервые везет зверей, ему естественно хочется поскорее избавиться от них. Хорошо еще, что настроение шофера не передается зверям, хотя, кажется, Кай-Октавиан чувствует раздражение». И он продолжал думать: «Вот резко-сухой, черствый, но, к сожалению, необыкновенно крупный и красивый экземпляр тигра! Он родился в неволе и презирает удобства цирковой жизни. Соседи по делу, старшие тигры Тиберий и Калигула, романтизируя прошлое, наболтали ему, наверное, всяческой чуши о прелестном быте в Уссурийской тайге, и этот дурак пользуется теперь всяческим поводом, чтобы выявить свои мрачные мысли!»

Впрочем, не оттого ли Кай-Октавиан так любопытен укротителю? Хочется подчинить его окончательно, выбить у него из башки романтические бредни, чтобы впредь он не скалил зубы, когда укротитель заставляет Кая-Октавиана лезть на высокую голубую тумбу.

— Ужо тебе! — сказал Плонский, сурово глядя на поток, словно на тигра.

А торжествующие и пенящиеся мутно-оранжевые валы по-прежнему волокли камыш и кустарник, словно собираясь где-то остановиться и свить гнездо.

Большой ствол арчи — древовидного можжевельника — застрял между уцелевшими сваями моста, которые были обвиты гирляндами камыша. Валы, шипя и шушукаясь, рвали сучья арчи, и можжевельник, толстый, в обхват, трепетал, как былинка. Да, надо искать брод, пока не поздно! Вода не идет на убыль.

Укротитель обернулся ко второму грузовику, который тем временем остановился наверху, перед спуском к реке. Шоферы и ассистенты укротителя сошлись, чтобы покурить и посовещаться. Ассистент постарше, с толстой трубкой во рту, говорит, что Марья Анисимовна, супруга Плонского, предупреждала... а она всегда предупреждает с поразительной точностью! Второй ассистент — гладкий, приземистый — возражает: «Если Плонский обещал, надо выполнять обещание. Возвращаться нельзя. Да и Марья Анисимовна не предупреждала, а, наоборот, как все наши отважные женщины, высказывалась за поездку». Молоденькая девушка-шофер в сером комбинезоне глядит на него одобрительно. Она побаивается тигров, но ей лестно везти такой страшный груз...

Укротитель вынул из кармана большие серебряные часы. Он владел вещами только крупными и вескими. И вообще он все делал крупно и веско, как это делали его отец и дед, знаменитые дрессировщики и укротители. И с этой весомостью в каждом слове он приказал своим ассистентам и шоферам:

— Через три четверти часа найти брод.

— Где ж тут найдешь? — с беззастенчивой унылостью сказал шофер Дементьев.— Она разлилась, как в паводок.

— Вы лично, товарищ шофер, военный? Значит, умеете и любите исполнять приказания? Люди в горах работают день и ночь. Никаких развлечений! А тут, в условиях войны, мы привозим к ним тигров. Тигров! — подчеркнул укротитель.— Фильм — это механизм, клубок пленки; его поставить трудно, а возить легко, а тем более показывать. Тигра и поставить трудно, и возить, и показывать. Разве это товарищи, работающие в горах, не поймут?

Плонский несколько преувеличивал значение своих тигров. Но шофер, как бы то ни было, расчувствовался и проговорил:

— А разве я отказываюсь?.. Лично я хоть и ранен и уволен на поправку, каковую произвожу на строительстве... Доставить? Раз приказано — доставлю! Спасибо, товарищ командир, за разъяснение.

И шофер повернул влево, вверх по потоку, искать брод. Его сопровождали ассистенты.

От обильных испарений воздух был душен и мглист. Бродоискатели быстро скрылись за холмами.

— Ну, если мне душно, так зверям и совсем.

Укротитель снял полотно с клеток.

Три тяжелые объемистые клетки с тиграми стояли на первом грузовике. Второй вез длинные железные прутья, окаймлявшие арену цирка во время представления, и, кроме того, разобранный туннель, по которому тигры бежали к арене. Поверх туннеля лежали голубые тумбы, круги для тигровых прыжков, колокол, в который звонил тигр Тиберий, а внутри туннеля — корзины с мясом для зверей и чемоданы с костюмами.

Почувствовав лучи солнца, тигры привстали. Зевая и щурясь, они поглядывали на укротителя. Они привыкли к переездам, но тряска по камням мало нравилась им. Особенно был гневен Кай-Октавиан, хотя он и старался сделать свою морду беспечно смеющейся. Фыркая и глотая слюну, глядел он на поток, глубоко вдыхая запах разлившихся мутных вод. Он впервые видел, чтобы всегда смирная вода могла так беснoваться! Ее беснование до известной степени подтверждало рассказы о привольной тайге, слышанные от старых тигров. Глаза его потемнели, и блестящий зеленоватый огонек заиграл в них.

Укротитель резко сказал:

— Замкнуть пасть. Лечь!..

Кай-Октавиан с подчеркнутой мягкостью опустился на дощатый пол клетки. «И охота вам, Святослав Аркадьевич, кричать? Я очень спокоен и вполне вам повинуюсь»,— говорил его взгляд. Укротитель же подумал: «И как врет, мерзавец».

Воды между тем поднимались и разливались. Их мутные валы уже не бурлили между сваями, уже не крутили камыш, не сотрясали ствол можжевельника. Все это или унесено, или ушло под воду. Обрушился и

тот обломок скалы, на котором двадцать минут назад стоял укротитель. И он подумал: «А что, если броду не найдут? Возвращаться? Но ведь я обещал. И они, в свою очередь, обещали поднять производительность. Ах, нехорошо! Почему они никого у моста не поставили дежурить? Неужели воды разлились так внезапно?..»

И укротитель вспомнил троих стахановцев из гор Бух-Тайрона, на прошлой неделе специально приезжавших в город Меди, в цирк. От имени строителей Бух-Тайрона говорил Максимов, русский, десятки лет ходивший по тайге. В горах Бух-Тайрона он работает только три года. Улыбаясь, он говорил: «Горы здесь — ничего, паря. Да сухи, комара нету. А я к комару, будто к чаю, привык». За эти три года Антон Максимов успел от чернорабочего-забойщика дойти до лучшего бригадира водохранилища, до звания лучшего стахановца строительства Бух-Тайрона! Вот как...

Укротитель с почтением слушал Антона и вспоминал своих тигров. Было что-то в повадках, в жилистых руках Максимова от царственно раскатистой жизни тайги. Его взор заставлял погружаться и углубляться в чащу лесов, размеры которых постепенно увеличиваются и вырастают на ваших глазах... По его инициативе строители приглашают тигров Плонского к себе в гости! Но стоит перевести взгляд на его двух спутников — людей Востока, на юношу и старца,— как начинаешь сомневаться: действительно ли это Максимов, выходец из сибирского леса, пригласил тигров? Вспоминаешь камыш рек, пески пустыни, а особенно белый, кубами, восточный город, утопающий в благоуханной весенней зелени. Чудесно-прекрасное лицо юноши: матовое, с длинными глазами, лицо мечтателя и воина, лицо человека, который с одним кинжалом пойдет на тигра; лицо человека, который понимает звериную силу и то, как трудно ее укрощать.

Тут укротитель опять вперил взор в Антона Григорьевича Максимова. Какая неукротимая сила!

— Теперь, видишь, нам колхозники помогают: ведут канал,— продолжал говорить Максимов.— Теперь у нас воды будет вдоволь. Ну и у колхозников посевы обеспечены. Теперь надо показать, что все у нас в порядке,— и цирк приехал. На фронте мои-то четверо сынов...

— «Тигров» подбивают?

— Бьют,— ответил Максимов и скромно, чтобы показать, что его работа ни в коем случае не идет в сравнение с работой сынов, добавил: — А мы тут смотрим, как тигров на табуретки рассаживают.

— На тумбы,— поправил укротитель и сказал: — Проехать с тиграми по горной дороге двести километров — трудновато. Но я приеду ко дню открытия канала и покажу образец своей работы. Взамен чего вы обязываетесь, товарищи, показать и свои образцы? В университете, где я учился, про меня думали, что я откажусь от профессии отца. Пророчили мне звание философа или физика. А я окончил университет, и потянуло меня к зверю...

— Вроде как бы в тайгу,— сказал Максимов.

— Вроде как бы в тайгу,— повторил укротитель.— Стал я продолжать опыты над зверями, начатые моим отцом. И не раскаиваюсь. Меня называют любимцем Москвы и Ленинграда. Хочу быть любимцем и Бух-Тайрона. Поддержите?

— Будьте покойны.

Заговорил человек Востока, седобородый старец, Тайшегулов:

— Будет большой праздник у колхозников. Канал — это много га плодородной земли, много отечеству хлеба. Пустыню укрощаем, правда?.. Ничего не страшно. В камышах возле Балхаша — красивое озеро, правда? — живет красивый зверь: тигр. И тигра, между делом, укротили! Все укрощение надо показывать! Тигра надо показывать. Ха-ха...— Он тихо рассмеялся и добавил: — Мы тебе воду укрощенную показываем, ты нам — тигра. Кто чем гордится. Каждому свое!

— Каждому свое,— согласился Плонский.— К сожалению, тигры на Балхаше вывелись. Эти — уссурийские тигры.

— Тигры — везде тигры. Они — злы.

— Природа,— уклончиво сказал Плонский, который любил зверей.

Старик понял его и сказал, улыбнувшись:

— Верно. Природа требует укрощения.

Продолжение этого разговора произошло на квартире укротителя. Жена его со дня на день ждала ребенка. Ждала она терпеливо и скромно, а скромность и терпение всегда до слез трогали укротителя. Марья Анисимовна была хорошенькой белокурой женщиной,

бесстрашным эквилибристом и жонглером. Когда Плонский сказал, что горняки Бух-Тайрона участвуют во всесоюзном соревновании и он, Плонский, должен помочь им, она утешила:

— Придется мне, Святик, родить без тебя. Постараюсь справиться. Но вот меня Кай-Октавиан беспокоит.

— Пусть он тебя не беспокоит,— проговорил укротитель,— хотя добраться до сердца Кая-Октавиана трудно. Но недаром я учился в университете. Это меня к чему-нибудь да обязывает, и что-нибудь я могу...

...И вот теперь Плонский стоит возле бешеного потока, думает о жене и чувствует, что в спину ему насмешливо и загадочно смотрит горящими зрачками Кай-Октавиан. А на них со всех сторон мутно смотрят высокие горы с бледными утесами, усыпанными пучками голубовато-желтых кустарников, которые издали принимают нежнейшие и редчайшие тона... Смотрят они и думают: «Посмотрим, внемлет ли Кай-Октавиан нашему зову или твоему, Святослав Аркадьевич?..»

Наконец ассистенты и шоферы вернулись.

— Брод-то есть, а вязкий,— сказал шофер Дементьев.— С грузом где пройти? Да и вода, видишь, прибывает.

— С каким грузом? — спросил укротитель.

— С живым,— косо глядя на клетки с тиграми, сказал шофер.— Груз в клетке, упадет с платформы — потонет. Накрениться в этой струе ничего не стоит. А он, тигр, не пробка. Он клетки из воды не поднимет. В ней, в клетке, в каждой, глазомерно, не меньше тонны.

— Клетки разборные.

— Разборные. Да тигр-то не разборный. Клетку, допустим, разберу, а тигра — в портмонет? — И шофер мотнул головой в сторону гор.— Добро, уйдет туда, а если — в другую сторону? В мою?

Кай-Октавиан перевел с потока взор на шофера. Глаза его насмешливо щурились, а усы шевелились. Шофер икнул и отвернулся. «Ну, какой же ехидный зверь!» — подумал укротитель, а вслух он спросил:

— Вы партийный, Дементьев?

— Без,— ответил шофер и, указывая плечом на девушку, добавил: — В комсомоле.

Плонский обратился к девушке:

— Звери, товарищ комсомолка, принадлежат не мне, а государству. Они должны прибыть в срок в намечен-

ное место, как и все должно у нас прибывать в срок, и в намеченное место, и в надлежащем состоянии.

Второй шофер хрупким своим голоском отозвался:

— Я поддерживаю ваше требование, товарищ укротитель. Но три клетки вброд не перевезти. Или поодиночке, или по предложению товарища Дементьева — зверя отдельно, клетки отдельно. Он ведь об этом беспокоится, а не о себе.

— Конечно, не о себе,— сказал Дементьев с гордостью.— Когда я лично о себе беспокоился? Есть мне время!

И лицо Дементьева побагровело. Он крикнул:

— Вы что, хотите тигра голым везти? Давайте осуществим.

Укротитель проговорил:

— Осуществим.— И он обратился к ассистентам: — Мы поставим тигров в положение «Б».

Подобно многим новаторам, Плонский имел не только свой метод работы, но и свою терминологию. Так, например, положением «А» называлось появление тигров на арене и выравнивание их в шеренгу; положением «Б» — усаживание тигров на тумбы; положением «В» — старик Тиберий звонил в колокол... Плонский обратился к шоферу:

— Сначала мы вторую машину, как более слабо нагруженную, отправим на тот берег разведать трассу. К моменту ее возвращения мы выведем тигров из двух клеток и перетащим эти клетки на вернувшуюся машину. Тяжесть уравняется. Тогда мы выпустим из клетки третьего тигра, Кая-Октавиана, и поставим их всех в положение «Б». К сожалению, тигры привыкли работать втроем, иначе бы мы оставили Кая-Октавиана в клетке. Таким образом, на полотне машины мы приступим к репетиции, а вы поведете машину на тот берег. Там мы подведем машину ко второй и переведем зверей в положение «К», то есть обратно в клетки. Осуществим? Ваше мнение, товарищ шофер?

Шофер Дементьев смог сказать пока одно:

— Перевозим, значит, их голых...— и некоторое время спустя глубоким шепотом, который он старался сделать беззаботным, добавил: — Не возражаю. Осуществим так осуществим.

Пошатываясь и горбясь, шофер влез в машину. Укротитель думал, что шофер так и застрянет там. Но

шофер оказался более сложным человеком. Он тотчас же вылез с ключом в руке и направился заводить мотор. Он заводил мотор, глядел, как двинулась, шурша щебнем, вторая машина через речку, видел, как ассистент с трубкой помогает девушке-шоферу выгружать машину, а приземистый и гладкий ассистент развинчивает и вынимает болты из клеток, слушал, как мурлыкают обрадованно огромные коты, покидающие свои клетки.

Конечно, Дементьев испытывал страх. Но что ж тут удивительного? Дементьев — уроженец Прибалхашья. Если он не видал тигров и не охотился на них, то, может быть, его отец и дед испытывали на себе силу этих толстых лап. И совсем нет позора в страхе, раз человек способен преодолеть страх. Шофер Дементьев, заводя туго поддающийся мотор, способен был даже объяснить укротителю, что наравне с тиграми его, шофера, беспокоит девушка-шофер:

— Она...— «Трах! Трах!» — Пыль здесь сильно вредит мотору, товарищ командир.— «Трах, трах, трах!» — Она шофер третьего класса. Я за нее страдаю. Я ее учу. Я — первого класса. Выходит, моя первая профессиональная обязанность тигра везти. А не могу же я на две машины сесть?

— Она справится. Девушка, видно, смелая.

— Смелая-то, верно, смелая. А все-таки — женщина. Не женское оно дело, с тиграми ездить. Легче, Валя, легче! — закричал он в сторону второй машины, возвращавшейся с противоположного берега. — Не видишь, они без клеток, голым-голы.

Некоторые при опасности умолкают, но другие, как это было заметно по шоферу, впадают в неумолчную болтовню. Дементьев помогал перетаскивать по наклонным слегам клетки на вторую машину, глядел, сильно ли осели рессоры, проверял мотор — и все время говорил и говорил:

— Уравновесились, девушка? За худо примись, а худо — за тебя, а? Уравновесили, товарищ укрощающий. Теперь машина пройдет... Трогать? За кем очередь? Надо ей вперед, второй? А за ней и я.

— Прошу вперед вторую,— размеренно-радостно говорил Плонский. — Двинули.

Он старался говорить громко и четко, как обычно говорил на арене, рассчитывая, чтоб его слышал весь цирк, а особенно тигры. Надо сказать, что тигры сейчас

удручали его, и ему была понятна болтливость шофера. Невольным движением — что случалось в другое время редко — он нащупывал револьвер у бедра. «Предпочту его убить, чем выпущу в горы»,— думал он, глядя на Кая-Октавиана, который с особенным удовольствием покинул клетку и встал на тумбу в положение «Б». Чувствовалось что-то неладное в настроении тигров.

Вторая машина раскачивалась и тряслась. Дементьев, идущий по ее следу, вел свою машину легко и осторожно, точно канатоходец тачку. Толчков почти не ощущалось. «Навсегда бы мне такого шофера»,— почти с умилением подумал Плонский.

Тигры сидели покорно. Даже Кай-Октавиан рассматривал арапник укротителя, а не поток. И, однако,— неладно...

Вдруг, посредине брода, машина с тиграми остановилась.

— Что, Дементьев? — крикнул Плонский.

— Мотор,— глухо отозвался Дементьев.

И он выпрыгнул из кабины. Вторая машина тоже остановилась. Показалась голова ассистента с трубкой. Дементьев, поднимая кожух мотора, сказал ассистенту:

— Не видишь, женщина — белей муки? Поставь машину на берег. А женщину уведи подальше. Подышать. Вонь от этого зверья, а не воздух для девушки. Верно, командир?

— Погуляйте, Алексей Валерьич... цветов нарвите...— сказал укротитель.— Шофер прав.

Плонский подозревал, что мотор исправен и что Дементьев для шофера первого класса берет на себя чересчур много обязанностей. Укротитель сказал только со всей выразительностью, на которую он был способен:

— Останавливаться крайне опасно. Звери — не мотор.

— У меня мотор — зверь,— ответил Дементьев беспечно. Он, видимо, уже освоился с обстоятельствами.— Занозистый.— И он указал на мутную воду, бурлящую у его колен.— Скора еда толокно: замеси да в рот понеси! Какой области, товарищ укрощающий? С Украины? А я местный.

Тем временем вторая машина остановилась на противоположном берегу. Ассистент увел девушку-шофера рвать цветы.

Дементьев тотчас же обнаружил, что мотор его в исправности. Шофер направился к кабине. И тут он почувствовал, что ветер, дувший перед тем бойко и звучно с ледников, внезапно прекратился. Горячий потолок приблизился к самому его темени!.. Шофер нагнулся... Мимо него пронеслось громоздкое тело... Мертвящая темнота на мгновенье охватила его. Он зажмурился. Донесся голос укротителя:

— Кай-Октави-а-ан!..

«А, да это тот кот?! — подумал шофер.— А мне почудилось, снаряд». И, рассмеявшись, он открыл глаза.

В машине осталось только два тигра.

Третий, пользуясь тем, что укротитель повернулся к шоферу, выпрыгнул на берег. Покачивалась опустевшая голубая тумба.

— Ушел? — спросил шофер.

Укротитель смотрел на берег.

— Трогать? — грустным голосом спросил шофер.

— Прошу вас,— ответил укротитель.

Итак, арена, на которой производил свою репетицию со зверями Святослав Плонский, раздвинулась. Арена теперь занимала всю глубину ущелья, широко раскинувшегося от брода. Ущелье, как бархатом, покрыто кустарниками, травами, низкорослыми и узорчатыми дубами. Бледно-желтое, залитое солнцем, напряженное ущелье уходило до полосы трепетно-синих ледников, соприкасающихся с пронзительно ясным небом. «Широка ж ты, арена!..»

Внизу, под досками и железом машины, крутились первобытно-холодные воды, принявшие вдруг фиолетово-синий оттенок, как бы подтверждающий, что они бегут от ледников. Во всем и всюду чувствовался зов к вышине. Щебень на берегу был раскидан легкими копытцами диких коз и тяжелыми копытами домашнего скота, приходившего сюда на водопой, и раскидан поспешно, словно они спешили к вершинам. Тигру ли не спешить туда?!

Хотя Кай-Октавиан вышел впервые в своей жизни на дикий берег, он не ощущал шаткости. Он шагал, плечистый, большеголовый, царственно и медленно, с твердостью ставя свои толстые, как портерная бутылка, лапы. До самозабвения ему было приятно сознавать себя свободным! Правда, его тревожили какие-то мухи, жившие возле водопоя, но разве он не знал о них по рассказам старых своих друзей по работе, там, в цирке, в цир-

ке, уже далеком теперь от него, как воспоминание детства? Он уходил. Он уходил пока в горы, а там будет видно! Он уходил, нюхая следы скота и с удовольствием предвкушая, как некое существо будет дрожать и трепетать у него в лапах... Короче говоря, он уходил на охоту!

Машина с двумя тиграми быстро выскочила на берег.

Укротитель видел, что девушка-шофер и ассистент собирают цветы, словно они ничем иным в жизни не занимались! А тигр Кай-Октавиан как раз идет к ним навстречу! Тоже — первый помощник! И укротитель сказал размеренным своим голосом второму ассистенту, оставшемуся с ним:

— Вы назначаетесь первым моим заместителем. Алексей Валерьич отныне переводится на ваше место. — Затем он обратился к шоферу, который выскочил из машины и ждал распоряжений: — Кидайте мясо в клетки. Из корзин. Больше! Свистите: «На пищу».

Шофер вложил было пальцы в рот...

— Не вам. Ассистенту. Вы — вилы! На вилы — мясо, в клетку! Кай-Октавиан должен вернуться. Должен.

Отстегнув кобуру револьвера, укротитель побежал наперерез тигру.

Раздался металлический свист: «К пище, тигры!» Тиберий и Калигула, послушные зову, прыгнули в свои клетки. Кай-Октавиан было остановился. Он даже приподнял лапу, как делал всегда, когда оканчивал еду. Он ведь шел в свои горы, на охоту!..

— Повторить свист!

Ассистент опять засвистел.

Кай-Октавиан остановился во второй раз.

Плонский уже перерезал ему дорогу. Он поднял арапник и наполовину вынул револьвер. Кай-Октавиан, расставив короткие лапы, наклонил голову и глядел на укротителя совсем не домашним взором. «Кто ты такой?» — спрашивал этот взор.

— Назад! В клетку! — отрубил Плонский.

Кай-Октавиан шевельнул усом, словно отбрасывая этим движением обрубок. «О, да ты забываешься!» — говорило это движение.

Шофер Дементьев спустил ноги за дверцу кабины и, упершись локтями в колени, наблюдал за беседой между укротителем и тигром. Он не сомневался, что укротитель уговорит тигра, иначе на правах шофера первого класса

он должен был идти спасать девушку. Белое лицо Дементьева выражало умиление.

— Зверь-зверь, а по экскурсии тоскует,— мягко сказал он гладкому ассистенту.— И пожрать хочется. И сомневается, что запрут.

Гладкий ассистент, стоявший возле раскрытой клетки Кая-Октавиана, проговорил:

— Вы б заперлись сами. А если он на вас, на чужого, прыгнет? Он не цыпленок...

— Кабы цыпленок, я б его сам взял,— спокойно ответил шофер.— Только какой ему расчет — на меня? У меня в руке ключ, а в клетке — готово мясо.— И, встав, он крикнул Плонскому: — Товарищ укрощающий! Он запах мяса плохо чует. Ветер относит. Разрешите, я ему — поближе, на таком, глазомерно, расстоянии, чтобы успеть в клетку сбросить...

Плонский не отвечал. Он вынул револьвер. Тигр фыркнул, попятился было, а затем опять стал на прежнюю позицию, в положение «А».

— Я — мужик. Я и сено могу с вил,— продолжал шофер,— могу и мясо кинуть.

Сквозь шум потока Плонский расслышал шаги по щебню. Он перевел глаза. С плаксивым выражением длинного белого лица к укротителю шел шофер Дементьев, держа на вилах кусок мяса. Плаксивое выражение было у него оттого, что он держал во рту свисток ассистента, который по-прежнему дежурил возле дверей клетки, готовый захлопнуть ее.

— Ну, так свистите же,— громко сказал укротитель.

Шофер засвистел со страстью почти милицейской.

Тигр чуть повел плечом в сторону свистка. Шофер параболой, точно меча сено на стог, бросил вилами мимо тигра в клетку большой кусок теплого и пахучего мяса, а сам повалился — для безопасности — на землю. Мясо шлепнулось на сухой и горячий пол клетки. Ассистент наклонился, готовясь хлопнуть дверью...

Тигр собрался прыгнуть...

Но для того чтобы прыгнуть, он несколько попятился. Берег подломился под ним. Он упал в воду, но не на перекате, через который проходил брод, а в глубину!

Плонский кинулся к обрыву. Под ним, среди корней, которые крутил и ломал поток, что-то барахталось и фыркало. Корни, многочисленные, дубовые, крепкие, образовывали непроходимую сеть. Густая тень обрыва

лежала на корнях и на воде. Трудно было разглядеть там желтое могучее тело. Но наконец Плонский разобрался. Тигра зажало между двумя мощными корнями. Он напряг силы. Показалась его морда, мокрая, присмиревшая, полная испуга, почти ребячьего.

— О-о!..— услышал возле себя Плонский голос шофера. Шофер, подобно псарю, порскающему по острову и ободряющему собак «оканьем», орал и на тигра!

— Шофер, трос!.. Которым машину!..

— Понятно.

Плонский схватил трос, накинул его на корень:

— Дергай.

— Через машину?

— Через.

Когда платье на теле укротителя высохло — ибо, после того как спасли тигра и он стремглав испуганно влетел в свою клетку, Плонский сам свалился в воду и ассистент с шофером не без труда вытащили его,— Плонский важно говорил, стоя возле машины со зверями и разглядывая букет, поднесенный ему девушкой-шофером:

— Красивые цветы. Но не цветы нам сегодня принимать бы, а розги. Что вы, в частности, не слышали свистка, Алексей Валерьич?

— Я исполнял ваше приказание,— пробормотал Алексей Валерьич, разглядывая трубку, которая дымилась теперь уже во рту гладкого ассистента — и дымилась исправно, — я собирал букет.

— Вы собирали букет, но вы потеряли место моего первого помощника. Вперед, шофер.

Речка скрылась за дубами. Плонский наклонился к своему первому помощнику и сказал то, что он пе мог сказать в присутствии шоферов. Его чрезвычайно беспокоит Кай-Октавиан.

— Вы заметили — ненависть. Настоящая ненависть. Он даже не прикоснулся к мясу. Отказался от пищи. Как мы его сегодня выведем на арену?

— А надо.

— Надо,— сказал укротитель. — Мы обязаны.

Волнообразно, массивно вырастали террасы и утесы, изрезанные глубокими бурыми ущельями. Скоро начнется плоскогорье Бух-Тайрон, окончатся впадины, покрытые зеленью, встанет дикий камень, и в достаточном количестве. Говорят, что прежде через это плоскогорье даже птицы боялись летать, как через море, и верблю-

дов, из-за отсутствия травы, поили соком арбузов. Зелени не бывало даже и весной, и караваны старались идти через плоскогорье напроход, без остановок. Теперь многое изменилось и особенно изменится, когда колхозники окончат канал...

«Надо. Обязаны и мы!»

Укротитель вспомнил, что, когда машины тронулись, он услышал словно бы гул в горах от взрыва. Не подняли ли перемычку?

Укротитель посмотрел на свои большие часы. Они показывали двадцать минут пятого. «Да ведь это же просто. Как я не догадался!»

— Стой!

Он выпрыгнул из машины.

— Я забыл револьвер на берегу... Выбросил, когда тянул Кая... Обождите меня...

И он пошел обратно. Ассистенты и шоферы удивленно смотрели ему вслед. Револьвер-то находился у него в кобуре.

Он вскоре вернулся и спросил шофера:

— Дементьев! Когда вы рассчитывали прибыть к переправе?

— К мосту?

— Да, к мосту.

— Так его ж снесло!

— Вот я вас и спрашиваю: когда вам было приказано вашим начальством прибыть к мосту, — снесло его или нет, все равно?

— К четырем дня.

— А вы прибыли на два часа раньше?

— Жал, товарищ укрощающий.

— Напрасно, выходит, жали, мой друг. Полчетвертого строители взорвали перемычку, остановили поток, и воды его хлынули в котловину, где предположено быть Бух-Тайронскому водохранилищу. Теперь ясно?

Все по-прежнему глядели на укротителя с недоумением.

— Боже мой! Они не понимают. Да ведь строители хотели сделать нам подарок: моста нет, но и потока нет. Я сейчас был у потока. Его нет.

Шофер свистнул.

— Конфузное дело, товарищ командир.

Плонский сказал, указывая на горы:

— Мы все заинтересованы в четкой работе зверей, тем более что они принадлежат нашему государству. Поможем зверям. В чем заключается эта помощь? А в том, что, если люди узнают о наших переживаниях при переправе через речку, когда звери даже вырывались на свободу, зрители неизбежно взволнуются и передадут это волнение зверям. Звери очень чутки к настроению зрительного зала. Волнение может кончиться плохо. Я предлагаю: инцидента у речки не было. Переправа прошла благополучно, ровно в четыре часа дня, как и намечалось. Понятно?

Шофер Дементьев сказал:

— А два часа, которые мы нагнали?

— Нет. Переехали ровно в четыре часа. Как посуху!

— Есть как посуху! — сказал шофер Дементьев. — Понятно.

И шофер с бледным лицом и девушка в сером сдержали свое слово.

Для этого они сели в первый ряд и хлопали укротителю отчаянно, с веселыми и беззаботными лицами. Укротитель в безукоризненном фраке, с орденской ленточкой выходил на аплодисменты. Лицо его было, как всегда, спокойно, и сдержанная улыбка была на его губах.

Арена цирка приобрела свои нормальные размеры, хотя позади наскоро сколоченных скамеек виднелись корпуса строительства, красивая электростанция и озеро, образовавшееся от запруды потока. В озере уже отражались горы, и даже слышался гам птиц, пробуждающихся от аплодисментов...

После представления артистов чествовали. За столом укротитель сидел рядом с почетным стахановцем строительства — Антоном Максимовым, который говорил:

— А мы вам здорово ответили? Велели приехать к мосту в четыре дня. Думаем: снесет мост, все равно речку отведем и пустим в пустыню. У нас тут посевы, брат, намечены — у-у... Ну, и для вас — повернули поток без десяти четыре... Как переехали?

— Как посуху, — ответил укротитель и взглянул на шофера Дементьева, который сидел напротив и прислушивался к разговору.

Дементьев сказал:

— Глазомерно, как посуху! — И он поднял стакан с вином за здоровье жены укротителя, которая согласно

полученной сейчас телеграмме благополучно разрешилась дочкой.

И Дементьев сказал:

— Я тоже телеграмму отбил. Дружок у меня, начальник гаража, жених... — Он указал на девушку в сером и добавил: — Ее жених! Я ему отбил, что, как мною лично проверено, его невеста вполне может отвечать за шофера второго класса.

Дементьев, как видели все, был чересчур разговорчив, но все желали слушать не его, а укротителя. И поэтому стахановец Максимов завел разговор о тиграх, обращаясь к Плонскому. Он пожелал получить «исчерпывающие данные по поводу укрощения». Плонский сказал:

— Тигр — зверь. Работать с ним трудно. Но человек, как всегда в битве со зверем, должен выйти победителем. И я стремлюсь к тому — и выхожу победителем. Разумеется, при помощи других товарищей. Общими силами мы ставим тигра в положение «Б», то есть на тумбу...

Мысли его, как видите, не отличались новизной, но говорил он мерно и веско, и все слушали его внимательно. Он бы мог вдвойне и втройне увеличить эту внимательность, скажи он все то, что знал и о чем умалчивал, но о чем рвался сообщить своей жене. Кай-Октавиан больше не скалил зубов, исполнял приказания немедленно и с полным уважением глядел на руку укротителя, который, раскланиваясь с публикой не без уважения к своему дарованию, шептал, скрестив руки:

— Ужо тебе!

1945

СОКОЛ

Возле кички, ближе к носу ладьи, обдуваемые теплым низовым ветром, сидели на жердях государевы сокола. Воевода Одудовский, плывущий в Астрахань, должен был отправить их далее, в дар персидскому шаху. Подле птиц постоянно дежурили ловчие, а поодаль, у борта, красовался стрелец в ярко-зеленом кафтане. Изредка стрелец выходил на кичку — настил из досок за бортом, откуда судовая команда отпускает и поднимает якорь,— и тогда стрелец видел в блеклых волнах оранжевую русалку с загнутым хвостом, нарисованную на «скулах» судна, белую резьбу по борту, квадратный и низкий парус, флюгер на мачте, длинную алую ленту под ним и вверху вырезанного из листовой меди архангела Михаила, трубящего в трубу благополучие и счастье путникам.

Трюм государевой ладьи был туго набит кипами мехов, кои надлежало обменять у персидских купцов на крупный, рассыпчатый рис, на сладкие да пахучие сушеные фрукты, на тонкие разноцветные шелка и на редких прирученных зверей, которых так любил царь Алексей Михайлович. Кроме тех мехов, в трюме лежали ядра и порох для астраханского войска. Лежала и обильная снедь воеводская, так как воевода плыл не один, а с женой да двумя дочерьми, которых показывал Москве в чаянии женихов. Женихов не нашлось, боярыня сердилась, боярышни капризничали, как малые детки, а веселому умному воеводе все было нипочем. Дородный, смеющийся, румяный, в белой длинной рубахе из индийского шелка и в лазорево-синих атласных штанах, ходил он по судну и веселил всех.

Старался воевода развеселить и тех иноземцев, которых государь повелел доставить в Персию, ибо оттуда собираются они пробраться к себе в затейливую и

ученую Флоренцию. Иноземцам — страшновато. Путь домой через Волгу, Персию или Турцию — далекий и неверный, а что поделаешь?.. Другие пути, в тот 1664 год, еще более неверны. Через Польшу? Дороги туда забиты русским войском, сама Польша горит внутренними беспорядками, русские осаждают Глухов, шутит в степях гетман Тетеря, и непонятно, к кому он хочет: то ли к московскому царю, то ли к польской республике. Через север? Куда там. В Швеции — смута.

Иноземцев плыло на судне шестеро. Старшего из них звали мессер Филипп Андзолетто, его правую руку — Мальпроста, остальные были помощники в работе да слуги. Работали иноземцы в Москве золотую кожу да мебель и, наработав достаточно мехов и монеты, затосковали по дому. Особенно тосковал мессер Андзолетто.

Мессер Филипп — согбен, с красными, воспаленными глазами, и оттого кажется он чересчур старым и жадным. Мальпроста — высок и строен, потертый шарлахово-алый кафтан лежит на нем ловко, мягкие кисти его рук белы, и он ими гордится, стараясь прикоснуться до всего, что попадается на глаза. Он — удал, ловок на разговор, на охоту, на обольщение,— и женщины любят обольщаться им. Оттого мессер Филипп считает его хитрым и двоедушным, а держит при себе лишь потому, что — золотые руки. Филипп Андзолетто сгорбился на непрестанной, бессонной работе и на ней же испортил глаза; как ему бы, казалось, не ценить того, кто так несравненно умеет делать золотую кожу и драгоценнейшую резную мебель. А как ценить, если у тебя молодая жена и сердце твое молодо?..

Август выдался строгий, сухой. Словно что-то требуя, резко и неуклонно дул с низовья встречный ветер-лобач. Судно двигалось мешкотно навстречу грузной, пепельно-серой волне. Река омелководела, было много перекатов. Мужичья лямка не помогала, и в бечеву впрягали лошадей. Лошади тянули до тех пор, пока перед носом судна не образовывались груды песка, которые мужики и разгребали лопатами. Иноземцы шли тогда к носу судна, ждать, когда оно тронется.

Они с грустью глядели на пепельно-серые копны мокрого песка, медленно тающего в воде. Путь домой казался теперь особенно долгим. И, понимая их тоску, подходил к ним воевода Одудовский.

— Поесть-попить, люди добрые, не желаете ли? — спрашивал он радушно. — Брага есть, мед? Да и я с вами выпью!

Мессер Филипп сказывался недомогающим, а Мальпроста всегда соглашался. Накрывали стол. Слуга лил брагу в кубки. Воевода поднимал кубок за здравие гостей и, указывая на государевых соколов, говорил:

— Хороша охота? Приедете в Персию, шах покажет вам этих птиц в деле. Я бы тоже показал, но приказано держать их на жерди, смирно.

— Персы — грабители и обманщики,— возражал Андзолетто.— Они нас обдерут и убьют, где там, синьор воевода, видеть нам соколиные охоты.

— А по-моему, милый учитель,— говорил Мальпроста,— синьор воевода прав. Персы чтут искусство, а равно и людей искусства. Мы сделаем красивое, обитое золоченой кожей седло для шаха, и он покажет нам свою соколиную охоту. И повелит проводить нас тихими дорогами вплоть до нашего родного моря!

На лице у мессера Филиппа появлялась такая скука, что воеводе Одудовскому делалось не по себе, и он, взяв кубок, отходил к соколам. Он слегка поднимал кубок, как бы за здравие этих прекрасных государевых птиц, и обращался оттуда к иноземцам:

— Жаль, мессер Филипп, что ты презираешь охоту. Ты бы порадовался и возликовал душою, глядя на этих кречетов. Смотри, как они атласно-белы! Они будто сами собой, во славу бога и спасителя нашего Иисуса Христа, испускают из себя свет. Эти кречеты, мессер Филипп, родятся у нас на севере, и нигде больше! Посмотри на этого, третьего с краю, в синем колпачке. Он весь цвета белого рога, и даже у нас, на Руси, он считается за редкость.

— Слава, слава государю, вырастившему такого сокола! — воскликнул Мальпроста.— Ах, имей я эту птицу, я бы гордился ею, словно архангелом!

— Тьфу! Тьфу! Надо, Мальпроста, гордиться добродетелями, а не птицей,— говорил мессер Филипп, сверкая красным своим глазом.— Чти ранг человека, а не ранг птицы.

— Выше всего я чту ранг красавицы, дарящей меня любовью, затем — ранг короля, которому я делаю мебель и который мне платит исправно, а затем — ранг

птицы, подобной этому кречету! — восклицал Мальпроста.

А мессер Филипп шептал молитвы. Он не желал слушать нечестивые речи, затрагивающие его и без того затронутую тайными помыслами душу. Ибо, глядя на волны, он смущенно переводил свой красный, воспаленный взор на прибрежные пески. Но и пески, — да простит господь бог грехи наши! — но и пески лежали волнами, напоминали ему о прелестях его молодой жены. «Вси бо предстанем судилищу...» — бормотал он и не находил сил окончить молитву. Его тянуло — стыдно сказать! — к Мальпроста. Хотелось узнать мысли помощника, а главным образом те, которые относились к молодой жене, к волнующим ее прелестям... «Вси бо предстанем судилищу...»

Судно, содрогаясь, заскрежетало по песку. Внизу, в трюме, что-то упало. Сокола на жерди затрепетали крыльями. Выплеснулась брага из кубка воеводы... Значит, опять вышли на прямую, глубокую воду, на плес.

— Обрыв видите? — спросил воевода.

— Видим, видим, — отозвался Мальпроста.

— Обрыв кончится, начнется село князя Подзольева. Богат князь! Много медов, да и романея водится. Хлебосольный, хоть и с придурью. Да вам небось с тоски да устатку на любую придурь весело посмотреть?

Стол убрали. Судно готовилось к причалу. Воевода пошел переодеться. Иноземцы остались одни.

Шли вдоль высокого светло-оранжевого обрыва. Обрыв весь в точках, норках. На обрыве — погост с тускло-сумрачными крестами и церковь грубой работы. Значит, верно, скоро село. Сел попадалось много, и мессер Филипп привык к ним. Не удивляло его и богатство, не удивляла и боярская придурь; видывал он и расписные хоромы князей, подражавших Коломенскому дворцу, видывал он и бедные хижины крестьян. Что ему княжья придурь? Он хочет домой, во Флоренцию.

Разве он не заработал ту пору, когда можно жить и не покидая прекрасных берегов Арно? Во Флоренции, неподалеку от главного моста, некий Каппиччо продает гостиницу. Дом этот хорошо посещается, так как стоит в центре города. Хватит ему золотить кожи, он хочет позолотить свое сердце! Он передаст Мальпроста мастерскую кож и мебели и, таким образом, избавится от его лисьего взгляда, который делается совсем душным, когда

тот глядит на молодую жену хозяина. Мессер Филипп не допускал мысли об измене жены, но он знал, что такое годы. В его годы жениться — это все равно что призывать дьявола в полночь. Тьфу, тьфу!.. Мессер Филипп незаметно перекрестился и пообещал к тем мехам, что он вез для вклада в монастырь, прибавить еще бобровый мех для приора...

— Дорогой учитель, знаете ли вы, на какую придурь князя Подзольева намекал воевода?

— Нам уже не любопытна московская придурь,— сказал строго мессер Филипп.— Пожалуй, нам пора подумать о персидской.

— О, напрасно, мессер Филипп! Только жирный, самонадеянный воевода способен назвать любовь придурью. Любовь — жизнь! Жизнь — любовь. Так думает весь мир, и русские в том числе.

Прохаживаясь по палубе, они остановились возле жердей, где сидели сокола с «опутенками» на лапах и с клобучками из мягкой кожи, закрывающими глаза, чтобы до самого «пуска» не видали они птицы. Мальпроста, любуясь на кожу клобучка, что поднималась и падала возле отверстия, прорезанного для дыхания, сказал:

— Читали вы, синьор учитель, книгу «Декамерон» некоего флорентинца Боккаччо?

Мессер Филипп сухо ответил:

— Вздорная и пустая книга. Мессер Боккаччо написал ее вскоре после чумы,— да избавит нас господь от нее впредь! — после чумы, свирепствовавшей в нашем великом городе. Ему б следовало написать книгу смиренную и богоугодную, а он поступил постыдно. Весь его «Декамерон» повествует о том, как жены наутек, подобно зайцу от собак, убегают от своих обязанностей, а монахи... тьфу, тьфу!.. Однако, Мальпроста, я, как справедливый человек, отдаю ему должное. Боккаччо раскаялся и написал позже «Корбаччо», книгу, наполненную почти аскетической ненавистью к женщине. Да будут прощены грехи его и да будет принята мирно душа его на небеса!

— Синьор учитель! Аскетические добродетели невыполнимы. Человек имеет право на любовь...

Мессер Филипп рассвирепел:

— Кто тебе сказал эту глупость?

— Глупость? Это — правда, синьор учитель! Она повсюду в воздухе. И даже здесь, в этих диких лесах, рождающих кречетов, в этой жадной до денег и почестей Московии. И в доказательство я расскажу вам о князе Подзольеве, историю любви которого узнал случайно. Но прежде всего прошу вас, учитель, вернуться к книге достопочтенного поэта Боккаччо, к «Декамерону». Помните ли вы, мессер Филипп, новеллу о соколе?

Мессер Филипп сказал, что, чем он будет запоминать гадости, лучше пусть ему отрежут руку. Мальпроста воскликнул:

— Новелла совсем не гадка, мессер! Это возвышенный пример любви, рассказанный с таким же мастерством, с каким мы делаем наши милые кресла и золотим наши дорогие кожи. Синьор Боккаччо рассказывает о некоем кавалере, долго и бесплодно ухаживавшем за одной прекрасной дамой. В любви к последней он прожил все свое имение и стал беден. Но он продолжал вздыхать по ней и плакать. И от всего его имущества, некогда принадлежавшего ему, у него остался лишь сокол, при посредстве которого, думаю, кавалер и добывал себе пищу. Он любил этого сокола безмерно. Так безмерно, что дама, насколько я понимаю душу дам, дама позавидовала этой любви. Однажды кавалер посетил даму. Как всегда, он стал говорить ей о любви. Она, смеясь, сказала: «Кавалер! Если вы желаете доказать мне свою любовь, заколите вашего сокола и — съешьте его!» И, что вы думаете, синьор учитель? Кавалер зарезал свою любимую птицу. Зажарил! И он съел своего сокола, о великий боже!.. Но, что более удивительно, дама, дотоле непреклонная, полюбила кавалера.

Мессер Филипп Андзолетто сказал, что по-разному можно относиться к поступку кавалера, но нельзя отказать ему в том, что он последователен. Книга же Боккаччо безнравственна. И, поджав губы и с усилием подняв голову, мессер Филипп посмотрел на берег реки осуждающим взглядом.

Ладья пристала к берегу. Упал с шумом парус и «гай», стая грачей поднялась с соседнего гумна. Судовая прислуга выбросила жалобно поскрипывающий трап. Вошел посланец князя, поклонился воеводе и сказал, что, прослушав обедню, князь Подзольев прибудет на судно, чтобы пригласить воеводу и гостей откушать хлеба-соли.

А на берегу, в рваных портках из дерюги, вывернув ладони и широко расставив босые, с большими пальцами ноги, стоял огромный седой мужик, один из крепостных князя. Насупив брови, напряженно глядел он на судно, на иноземцев, на соколов государевых, на государева стрельца в зеленом кафтане. По-детски неразумно и опасливо посматривал он: как бы не сглазили эти тонконогие иноземные черти, как бы не нанесли порчи? Уйти б, а уйти не хотелось. Мужик был говорлив, и казалось ему, что без его рассказов осиротеет свет...

Мессер Филипп глядел на берег, на седого великана мужика, и грезилась ему Флоренция, мост через Арно, гостиница некоего Каппиччо. С узкого балкона ее слышны и крики ослов на мосту, видны и лица погонщиков, их хворостины, а того ясней видно сейчас плотное тело его молодой жены, видно, как она юлит юбкой туда-сюда... Ах, какая ребяческая, какая горькая тоска на сердце и как далек еще путь до Флоренции!

— Вы хотите слышать продолжение истории о соколе, мессер Филипп?

«Ах, этот Мальпроста! Ему б только любоваться на женщин и болтать о соколах. На московском сильном хлебе и дешевом мясе он располнел, стал розов и румян, окаянный Мальпроста!..»— подумал мессер Филипп.

— Какую еще историю?

— Историю удивительную, синьор учитель.— И Мальпроста продолжал: — Продолжение ее произошло триста лет спустя после того, как появилась книга «Декамерон» прославленного синьора Боккаччо. Из этого я вывожу то положение, что искусство более бессмертно, чем какой-либо дворянский род.

— Когда ты станешь дворянином, Мальпроста,— да поможет тебе в том бог! — ты будешь думать по-другому.

— Кто знает... но вернемся к князю Подзольеву, учитель. Вон его хоромы. Они велики и обширны. Велико и обширно все имение князя. Он горд под старость, а еще более горд, говорят, был в молодости. Он гордился своим умом, своей охотой и с большой торопливостью высказывал свою гордость. К тому ж отец его сильно увеличил богатство, а сестер и братьев у него не было, и, когда старый князь умер, синьор Юрий Подзольев остался единственным наследником. Он не знал, что делать со своими бесчисленными имениями и громадными капи-

талами. Представьте, синьор учитель, крышу, у которой нет стропил, нет тех самых бревен, которые всегда и везде служат основанием крыши.

— Бог — основание крыши нашей жизни, равно как и основание всего дома,— сказал, крестясь, мессер Филипп Андзолетто, одновременно стараясь отогнать воспоминание о крестном знамении, которое так плавно и красиво творит его молодая жена.

— Но ведь вы сами, синьор учитель, говорите, что схизматики отвернулись от истинного бога? Следовательно, князь Подзольев вдвойне не имел стропил. Но князь был удал, он настойчиво искал,— и вот он встретил вдову боярина Мышарикова, очень богатую и очень степенную женщину, посвятившую себя после смерти мужа делам благотворительности и религии, тем более что детей у нее не было. Ей он бросит свои деньги! К ногам ее!.. Жениться на вдове, как вам известно, мессер Филипп, считается зазорным у русских. Но страсть настолько поглотила князя Подзольева, что он желал только этого зазорного поступка. Вдова плохо верила в его любовь. Прошлое растрясло ее, словно дурная дорога. Редко удавалось князю поговорить с нею. Подарков она не принимала. Князь Подзольев худел от любви, заперся в своих хоромах... И великие деньги оказались ненужными.

— У варваров,— сказал мессер Филипп,— любовь принимает грубые формы.

— О синьор учитель! — воскликнул Мальпроста.— Я рассказываю вам пример, доказывающий, что любовь одинакова и в теплом и в жарком климате, и на берегу Арно и здесь, на берегу Оки. Князь Подзольев умирал от любви. Царь московский Алексей Михайлович, вы знаете об этом, мессер Филипп, очень любопытен к жизни своих подданных, и он не замедлил узнать о затворничестве князя Подзольева, хотя и не знал причины этого затворничества. Царь уверен, что все болезни можно излечить охотой — и особенно охотой соколиной. Кроме того, царь уважал заслуги покойного старика Подзольева. И царь прислал в дар молодому князю любимого своего кречета. Редчайшего белого кречета, синьор учитель! Молодой князь, получив подарок, подумал, что надо показать его прекрасной и недоступной вдове, тем более что тогда вдова должна будет принять молодого князя. Кто откажется увидеть дар царя? Вдова действи-

тельно приняла молодого князя. Она посмотрела на кречета, перевела взор на молодого охотника и внезапно сказала: «Зарежь, изжарь и съешь этого кречета. Тогда я выйду за тебя».

Мессер Филипп Андзолетто сказал:

— Дьявол пришел к ним сбоку, Мальпроста, а они не заметили его. Помолимся за их грешные души.

На это Мальпроста ответил:

— Я хотел бы иметь жизнь этого дьявола, синьор учитель! Князь Юрий Подзольев, да будет благословенно его имя, съел кречета. И она вышла за него замуж. И они стали счастливы настолько, что царь, узнав о поступке князя, лишь рассмеялся. И прошло пятнадцать радостных лет, и оба они живы и наслаждаются доселе, синьор учитель! А вы говорите — дьявол!..

Мессер Филипп не стал спорить, да и к тому ж над селом, хоромами и рекой понесся такой горячий, рьяный колокольный звон, что на душе мастера золотых кож полегчало. Показалась толпа. Впереди ее шел высокий сутулый князь Юрий Подзольев. Платье на нем было скромное, но дорогое: однорядка песочного цвета с золотою строкою.

Звонко, по-боевому ступая, он прошел трапом на палубу, степенно отдал поклон воеводе. Воевода был польщен быстрым приходом князя. Накрыли стол. Но перед тем, как приступить к трапезе, князь попросил показать ему царские дары, которые вез боярин Одудовский персидскому шаху.

Благодаря рассказу Мальпроста мессер Филипп особенно внимательно рассматривал князя Юрия Подзольева. Князь был худ и длинен, как лестница. Лицо имел нездоровое, аспидно-серого цвета. Широкие костлявые плечи его указывали, с одной стороны, на былую силу, а с другой — на какой-то застарелый едкий недуг.

Полуприкрыв тонкими веками пемзовые сухие глаза, князь словно нехотя осматривал царские дары, нехотя принимал пищу, нехотя отвечал воеводе и только изредка остро посматривал на иноземцев,— и странен был этот взгляд. Он и спрашивал, будто сам же отвечал на вопрос...

Иноземцы вкушали за отдельным столом. Мальпроста, отличавшийся вообще ненасытным стремлением к еде, теперь ел мало. Он во все свои выпуклые глаза

смотрел на князя, словно ожидая от него чего-то необыкновенного.

Покушав, князь встал и повторил свое приглашение, посланное утром через своего приближенного: отведать и его хлеба-соли, а буде явят милость, то посмотреть его животы-хозяйство. И к иноземцам он подошел. Слегка склонив голову, он спросил их: не пожертвуют ли иноземные гости частью своего времени, чтоб посетить его дом и трапезу? И опять странно вопрошающим показался иноземцам его взгляд. Мальпроста сказал самому себе, ловя этот взгляд: «Спрошу!» А спросить он хотел — правду ли говорят, будто князь Юрий в младости съел ради любви своего лучшего сокола?..

Пока мессер Филипп удивленно шамкал желтым своим ртом, подыскивая слова, Мальпроста, расшаркиваясь, выразил князю живейшее удовольствие и радость. Они так наслышаны о богатстве, а особенно о княжьей соколиной охоте, так жаждут ее увидеть... При этих словах князь, опять пытливо взглянув на иноземцев, отошел.

И село княжеское, и хоромы, и церковь, и службы — все поражало богатством, пышным, широким. Казалось, человек пожертвовал жизнью и честью для того, чтобы изумить других, ошеломить, задохнуться! Смоляно-бурые, вековечные и крепкие стояли могучие избы мужиков. Из закрытых пригонов доносился сытый говор скота. Пахло молоком, хлевом; густой дремо-пунцовый огонь виден был в печах; на крыльцо от печей выбегали бабы с лицами ежевичного цвета. Они низко кланялись проходящим.

Церковь снаружи была расписана цветами, а внутри — излагалась в поучительных и приятных картинах вся Библия. Направо, у клироса, было место князя. Здесь на стене худой и высокий старик в оранжево-красной ризе с гордым взглядом спускался в корабль. И было написано: «Иона сниде в испод корабля». Иноземцы не могли прочесть этой надписи — и потому, что их оставили на паперти, и потому, что церковнославянский язык им был непонятен. Впрочем, прочтя, едва ли б поняли смысл ее. Один лишь умный воевода Одудовский правильно разобрался в этой надписи. Он посмотрел на строгий взор Ионы, а затем сказал князю:

— А кого случится в смирение посадить, тот да сиди смирно. Ибо если и возопил Иона в испод, в низ кораб-

ля, так тот Иона был пророк. Князь Юрий Михайлович, неужто ты этого не знал?.. Сидеть тебе смирно.

Князь, точно не слыша слов воеводы, перекрестился на образ несговорчивого Николы, что находился против его места, и пожелал отслужить молебен о здравии царя. Мясистогубый поп начал, дьякон со злым сарацинским лицом подхватил песнопение, и в бронзово-серой дымке ладана исчезло надменное лицо Ионы и весь корабль его.

После молебна пошли осматривать хозяйство. Показывал князь конюшни и своего редкого чубарого коня, имеющего по белой шерсти рыжие пятна, а хвост и гриву черные. Конь храпел и бился возле стойла, словно неукротимый водопад. Глядя на коня, спросил воевода Одудовский:

— Неук? Не выезженная ни в упряжь, ни под верх? — и добавил, точно уже знал ответ князя: — Неук бьет, а обойдется, смирней коровы идет. Сиди смирно.

И опять был какой-то особый, скрытый смысл в его словах, но князь не верил этому смыслу и молчал. Он лишь, подойдя к коню, потрепал его по неудержимо длинной гриве.

Глядели игреневых, изжелта-рыжих, с белой гривой и белым хвостом; глядели чало-пегих, а затем перешли в «череду», коровье стадо, а из череды — в пчельник, в погреба, в амбары, на мельницу, шатровую, что поворачивается по ветру не воротом, а самим ветром. Добрых три часа ходили они по хозяйству, устали и проголодались. Князь заметил это и пригласил их к столу.

И хоромы у князя Подзольева были внутри расписные, до пояса в больших махрово-красных цветах, а от пояса в мелких эмалево-зеленых листочках. Мебель под цвет, под размер дома и не громоздка. Кажется — живи да радуйся! И, однако, во всем — и в селе, и в церкви, и в хоромах, и в службах — чувствовалась постоянная, неистребимая холодность; словно ворвалась сюда «фуга» — зимний ветреный холод, что продолжается иногда недели и загоняет отары в балки, ворвалась и поселилась здесь навсегда. От этого стойкого, решительного и непременного холода стынут руки и ноги, а того более стынет сердце.

Как начали, так и докушали молча. Не помогли ни жаренья, ни варенья, ни печенья, ни пироги, ни рыбы, ни птицы. Пасмурно сидел князь, пасмурно кушал и пил

воевода. Хмуро сидели за отдельным столом иноземцы. И напрасно неугомонно суетились вокруг столов курчавые слуги.

Гости встали. Пора и домой. Пора судну отправляться, солнце склоняется уже к западу. Гости низко поклонились князю. Поклонился им и князь. Спасибо за хлеб-соль. Спасибо и вам, что не побрезговали.

«Значит, уходить? — подумал неугомонный и своевольный Мальпроста. — А как же — сокол? Узнаю ли правду? А как же ее узнаешь, если вовремя не уловишь?» И решился тогда на вопрос неуимчивый Мальпроста. Поклонившись еще раз, он сказал:

— Князь Юрий Михайлович! Славитесь вы и охотой соколиной. Но не показали вы ее нам. Неужели так мы и уедем, не повидавши дивной охоты?

Князь изменился в лице. Бешенство потрясло всю его длинную фигуру так, что затряслись дивно алые кисти у его кушака. Но он быстро сдержал себя и ответил:

— Ладно, если ты такой уж задорный охотник! Покажу покои для воспитания соколов... да и соколов...

Они пришли в крыло дома, в большие покои с высокими окнами, чтобы солнечные лучи входили свободно и согревали ловчих птиц. Притолоки в окнах были широкие: для помещения жердей, на которых сидит птица. В изразцовых печах — по белому фону синие птицы, — несмотря на лето, тлел огонь, чтобы сокол у огня встряхивался и вытягивался, а это показывает его полное здоровье.

— О истинный боже, — воскликнул восхищенный Мальпроста, — как чудны твои дела и как все это прекрасно!

Князь порозовел. Восклицание хотя было произнесено и на чужом языке, но для охотника все языки понятны.

На полу лежали широкие дерюжины с травою — буде вздумают сокола слететь для прохлаждения ног. Невысоко от пола, поперек покоя, были протянуты березовые жерди, тоже для соколиного баловства. Под жердями стояли широкие лохани со свежею водою, а вокруг лоханей все было осыпано речным песком и мелкими камушками.

— Дивно, дивно! — опять воскликнул Мальпроста. — По всем приметам вижу перед собой добрых, настоящих соколов.

Князь сказал:

— Добрый сокол должен быть широк в плечах и сжимался бы комком и закладывал крыло на крыло так, чтобы концы правильных перьев уподоблялись разогнутым ножницам. Сокол, развешивающий крылья и не подпирающийся, показывает вялость.

— Так, так, князь! — воскликнул Мальпроста. — Флорентинцы считают, что у сидящего доброго сокола голова между плеч должна казаться как бы вдавленною. И должны быть у него толстые «еми», лапы, и большие когти. И весь он на руке вашей должен быть тяжел, как младенец. Добрые у вас, князь, сокола, безукорные!

Со вздохом сказал князь:

— Вижу много укора моим соколам. Но вся моя жизнь в том, чтобы вывести такого сокола, какого не было ни у кого...

Вдомек и в примету, пожалуй, было его восклицание понятно лишь воеводе Одудовскому, но воевода устал от пищи, дышал тяжело, и хотелось ему спать. Зевая, шагал он позади беседовавших и рад был видеть свое судно, берег и ковер, на котором можно было вздремнуть. Устал и мессер Филипп Андзолетто, устал, и мерещилась ему в туманном видении Флоренция, берег Арно и беспокойные, волнующие прелести его молодой жены... Не устал лишь один неугомонный Мальпроста.

Вернулись на берег к ладье. На том берегу княжьи ловчие били соколами птицу. Но не глядел туда князь.

Мальпроста видел с высокого берега Оки стремительные, словно затканные серебром воды таинственной русской реки; видел он, как через эти воды идут плоскодонные лодки, как вздуваются рубахи гребцов, как лодки до краев наполнены дичью, а там, па том берегу, возле озер и притоков, все еще продолжается соколиная охота, все еще скачут всадники, махая «вабилами», слышен стук трещоток и рокот тулумбасов, поднимающих птицу с воды, все еще сокола делают «ставки», стремительно ударяя птицу сверху. Эти сокола и эти охотники — княжьи, а князь и не смотрит на них, князь думает о своем, еще небывалом соколе, которого он еще вырастит!

И тогда спросил Мальпроста — то, что он жаждал спросить, как только увидал князя Подзольева:

— Синьор князь! Таинственно прошлое, и недоступно для человека знание будущего. Может быть, поэтому

и нескромно выспрашивать человека о том, о чем он сам не желает думать. Но я молод и отважен. Я спрошу! Ибо я вернусь во Флоренцию, и там меня будут расспрашивать: видел ли я князя Юрия Подзольева и правда ли, будто этот князь из-за любви к своей подруге зарезал и скушал редчайшего сокола? И еще меня спросят: видел ли я эту несравненную подругу?..

И опять бешенство пронеслось и сотрясло все тело князя. И опять он сдержался и сказал иноземцу:

— Мне вера: говорить тебе, иноземец, правду. Того кречета государева звали Носник. Кречет тот был с севера, а на севере зовут так умельцев, которые проводят судна, лоцманов, знающих русла. Кречет, как и все сокола, чем старее, тем ленивее в ловле. Носник не знал старости. Он был твердый, постоянный и неуклонный...

Князь вдруг наклонился к лицу Мальпроста, схватил его за виски и наклонил вниз.

— Видишь? — вскричал он. — Видишь, пристали к берегу лодки с дичью? Видишь бабу возле лодок? Кричит, суетится — нескладная, грубая, не выезженная ни в упряжь, ни под верх скотина? — Он отпустил Мальпроста и, всплескивая руками, воскликнул: — Неужто я ее любил?.. Полно, ради ее ли зарезал государева кречета?! Неужли она, как саранча пожирает хлеб, пожрала меня?!

Во рту Мальпроста от изумления язык словно отмерз. Он раскрыл большой сочный свой рот и молча смотрел на князя. А князь продолжал молотить:

— Она, она!.. Это она, проклятая, все содеяла!.. Это из-за нее пожолкло, как от порчи, мое сердце и, будто в засуху трава, высох и осыпался с моей головы волос. Из-за нее, узнав о судьбе Носника, государь рассердился и сказать изволил про меня: «Вот дурак!» Так и пошло. Так и стал я дураком! Так и пошло по всей Руси и в другие земли и дошло до какой-то там поганой Флоренции! Государь у нас добрый, слава ему! Но одного его доброго слова «дурак» хватило на то, чтоб я навсегда остался в этих лесах разводить скот да строить избы. А мои сверстники бьются с татарами на востоке, бьются с врагами Руси на западе, и идет им слава, и честь, и песня. А какая песня пойдет обо мне по Руси, что обо мне скажет честной народ?! Жил-был дурак, съел из-за глупой бабы государева кречета... Погибло все! Топчусь я на этом берегу возле Оки, опрокинут я,

и дует на меня ветер, и проходит мимо меня жизнь, как ветер через бездонную бочку...

Молчал Мальпроста, потрясенный правдой его слов. Мил ему был князь, мил и близок.

Князь холодно смотрел на иноземцев, а если и говорил с ними, по иной причине. Услышав, что приехали иноземцы вместе с воеводой и что иноземцы те — искусники, князь подумал: «А какое ж искусство больше всех ценит царь Алексей Михайлович? Соколиное! И раз иноземцы-соколятники едут с воеводой, то и везут к шаху персидскому русских кречетов...»

Спросил князь с великой надеждой в голосе:

— Почему вы так горячо хотели посмотреть моих соколов? Али государь говаривал вам о моих соколах? Али государь ждет, что я выращу сокола лучше Носника? Али государь стал думать обо мне лучше, чем прежде? Что вы мне скажете, други?!

Князь Юрий был мил и близок иноземцу Мальпроста. С радостью бы ответил Мальпроста утвердительно на княжий вопрос. Но как он мог ответить? Давно уже царь забыл о князе Юрии Подзольеве, давно уже считает его старым, беспомощным, неспособным.

Ответил безмолвно, взором Мальпроста: «Молчит о тебе царь. Перетерпи и ты, отмолчись, коли можешь».

И князь отошел от него.

Рулевой закричал:

— Отчаливай, ребята! — и повернул широкий размокший руль.

Судно качнулось. Хоромы, церковь, избы мужиков, пестрая челядь княжья и сам высокий сутулый князь Юрий Подзольев — все скрылось за кораллово-красным лесом, над которым висело темно-пурпуровое солнце, говорящее, что и завтра быть тому ж ветру, какой и сегодня.

Дюжий лоцман с окладистой бородой в синей рубахе, раздуваемой ветром, вывел ладью на плес, на самый судовой ход. Ладья шла самосплавом, да и мужики помогали бечевой. Бечева то натягивалась, то шлепала по воде, летели с нее искристые капли, и проносились под ней молочно-белые чайки.

— О чем, Мальпроста, говорил с тобой князь Подзольев? — спросил вдруг мессер Филипп Андзолетто. — Не о соколе ли? Раскаялся ли он в своем глупом поступке иль и впредь думает поступать так же?

Мил был князь Юрий флорентинцу Мальпроста. И сказал он:

— Нет, не раскаялся князь. И впредь думает поступать так же.

Поджав губы, замолчал мессер Филипп Андзолетто.

— О истинный боже, как чудны твои дела! — прошептал Мальпроста, глядя на волны, которые поднимал строгий и сухой ветер, и на стрельца в зеленом, что стоял на носу ладьи, возле кички, и на спящего воеводу Одудовского, и на согбенного мессера Филиппа Андзолетто, который распухшими красными глазами смотрел вперед и тосковал по молодой жене, и тосковал по Флоренции, и по реке Арно, где неподалеку от главного моста некий Каппиччо продает гостиницу... Мессер Филипп страстно хочет домой, а путь туда такой далекий и неверный, о, истинный боже!..

1946

ОПАЛОВАЯ ЛЕНТА

РАССКАЗ

Сергей Сергеич Завулин, доцент Педагогического института по кафедре западноевропейской литературы, в сопровождении студента Валерьянова шел вдоль набережной Волги. Приятным, грудным и раскатистым голосом он излагал историю постановок «Макбета» в России и за границей. Излагал, вот почему. Областной театр имени А. Н. Островского долго и усердно готовил «Макбета». Спектакль имел успех. Завулин тут же, на общественном просмотре, предложил областным властям устроить для студентов и передовых рабочих трехдневную Шекспировскую конференцию, чтобы «умственная алчба молодежи была насыщена и гений творческой настойчивости еще ярче запылал над славным нашим городом». Досаждая всем чрезмерной своей восторженностью, он встретил в фойе студента Валерьянова. Студент читал журнал «Большевик». На живой и проворный вопрос Сергея Сергеича о постановке студент, сдержанно похвалив Шекспира и Областной театр, выразил колкое желание увидеть в театре современную английскую пьесу: о войне, втором фронте, психологии теперешних англичан... Взорвалась обычная завулинская петарда! Сергей Сергеич уже не отпустил студента. Он увел его с собой и теперь, морщась от досады и упоенно вздрагивая после каждой своей фразы, словно яблоня, с которой трясут плоды, доцент восклицал:

— Помилуйте, Валерьянов! Война с фашизмом повышает и без того повышенный интерес к мощным шекспировским страстям. Мы воюем за гуманизм. Шекспир — рожден гуманизмом, он — высшее проявление его. Теперь, воистину, мы видим творца истории человека не по пояс, а во весь рост. Мы уподобились и даже превысили лучшие идеалы человечества. Люди — не кактусы, как прежде, колючие и искаженные; люди — ши-

роколиственны! И они широколиственны, широкожадны в искусстве. Помилуйте, как же иначе? Уместно вспомнить гусеницу, что, кажется, навечно заткалась и укуталась в свои сети, даже она, под упорными лучами солнца, взлетает обновленной! Неужели же вы, взмыленный великим прибоем истории, прислонитесь сердцем к пошлому рационализму в искусстве?

Завулин говорил образным, метафоричным языком, редко употребляемом профессорами. Язык его смущал педантов. И это было одной из причин, почему он, перешагнув за сорок, все еще не получил звания профессора. Поэтам и молодежи видно было, что Сергей Сергеич, во-первых, превосходно почувствовал язык Шекспира, а во-вторых, он не забыл своего крестьянского происхождения. Перо гения и плуг пахаря одинаково глубоко и легко вздымают родное слово и землю. Студенты всегда слушали его очень внимательно.

Валерьянов слушал его тоже внимательно, хотя, от непривычки к дневным спектаклям, студент утомился, ему хотелось есть, и он опасался, что опоздает в столовую. Кроме того, ему в институте предстояло ночное дежурство. Костлявый, с голодными голубыми глазами, в длинной черной одежде, студент тихим и почтительным голосом, по-прежнему не оспаривая величия Шекспира, продолжал отстаивать свое мнение. Современная драма, пусть сто раз менее талантливая, способна воздействовать в тысячу раз сильнее шекспировской. И совсем не по части пошлости! Шекспир требует историко-литературного комментария, а главное, первоклассных актеров. Современную пьесу комментирует сама жизнь. Первоклассные актеры не обязательны. Они и не обязательны вообще в жизни, если ей дано нормальное направление...

Не дав закончить фразы студенту, Сергей Сергеич взволнованно проговорил:

— Боясь обеспокоить себя поисками первоклассной роли на земле, вы соглашаетесь на любую, данную кем-то другим роль? Это что? Слабость? Или боязнь мечты? Боязнь ошибок? Я не верю в вашу душевную слабость: на войне вы хорошо показали себя. Значит, вы боитесь мечтать! Будь кто другой на вашем месте, Валерьянов, я, не колеблясь, назвал бы его мысли пошлым рационализмом. Боязнь мечты! Именно боязнь мечты извращает путь истины. Лучше кривые, непра-

вильные, даже смертоносные тропинки мечты, чем прямая и широкая магистраль пошлости. Не верю! Он уже прошел широкий перистиль, перед ним открылся перрон мечты, а он клятвопреступно возвращается, ползет через подворотню к чужому мещанскому двору?!

На эту новую петарду своего учителя студент хмуро ответил:

— Между мной и мещанским двором, Сергей Сергеич, давно уже вырос высокий перпендикулярный откос. Разрешите закончить свою мысль?..

По набережной, четырьмя потоками, двигались плохо одетые люди. Два потока направлялись к пароходным пристаням, два — к вокзалу. Между потоками, разделяя их, со щеголеватым грохотом скакали по сизым булыжникам телеги и грузовики, доверху полные одеждой, обувью, пищей, снарядами. Четыре потока лип, чванливо украшенных осенним золотом, лениво перебрасывались листьями. Несколько фуражек, три крестьянских шапки и шляпа приподнялись и наклонились в сторону доцента. Остановился только один. Он надолго помешал студенту закончить его мысль, а Сергею Сергеичу — выразить почти щеголеватое внимание к мысли студента.

Студент увидал упрямый и круглый затылок, не прикрытый ни фуражкой, ни шляпой, ни шапкой. И не нужно было особой проницательности, чтобы увидеть, какое пагубное отчаяние преследовало этого пожилого человека. Отчаяние кольнуло и сразу проникло в сердце студента, сотрясло и целиком охватило Сергея Сергеича.

Пожилой человек стоял в полоборота к студенту. Он опасался повернуться, словно перед ним могла тогда встать опасность падения в пропасть... а так еще есть надежда идти, найти... он бормотал, казалось отвечая на чьи-то вопросы:

— Тринадцатилетняя. Прилично одета. Имя? Неонилочка. Неонилочка! Любимица. Нежил. Баловал. В школе не появлялась с утра. Обошел знакомых. Родных нет: приехали недавно. Умерла, убили?.. Всюду разослал телеграммы. Где она может быть? Кто погубил?..

Сергей Сергеич с острым вниманием смотрел на круглый затылок бормотавшего. Студент почти физически мог ощутить колебания Сергея Сергеича, не зная, впрочем, в чем состоят эти колебания. Вскоре доцент подвел свое лицо к лицу пожилого человека с круглым

затылком и, явно стараясь придать наибольшую познаваемость своим словам, проговорил:

— Губит не «губа», забитая льдом, товарищ Румянцев, а губит губа, забитая молчанием. Что вы скажете?

Пожилой человек прикрыл воспаленными веками глаза, несколько секунд подумал и, не ответив доценту, клонясь вбок, пошел. Сергей Сергеич уже суетился вокруг садовой скамейки. Похлопав руками, как курица крыльями перед тем как сесть на насест, Сергей Сергеич плавно опустился на скамью.

— А что вы скажете? — обратился он к студенту. — Я всегда думал, что в книге легко открывать чужие ошибки. Еще легче написать такую книгу. Труднее открыть ошибку в жизни, струящейся мимо нас, и подвести ее под книжное правило. Не подумайте, что я доказываю бесполезность книг, я говорю, что требуется гораздо больше остроумия для открытия, уличения и ареста преступника, чем для составления руководства для агентов угрозыска и следователей. Но, опять повторяю, труд составителей подобных книг не становится оттого ненужным и пустым. Я, например, в данном положении, чрезвычайно рад был бы прочесть что-нибудь по нашему вопросу, Валерьянов. Но, кажется, вопрос только разрабатывается, а что говорить о преступнике, если я уверен, что он не совершал преступления?

Студент от натуры был хмур, от молодости — застенчив, а особенно смущался он с доцентом, про которого говорили, что достаточно взгляда, брошенного на него знакомым, как готова длинная, затейливая и забавная история! Это была вторая причина, почему Завулину не давали звания профессора. Завулин знал об ней и говорил: «Русский человек, будучи едва ли не самым фантастичным в мире, предпочитает считать себя реалистом». Студент был подвержен любопытству. Путешествия он считал первым и вернейшим способом удовлетворения любопытства. Сергей Сергеич Завулин никогда и никуда не путешествовал, разве только за город, на рыбную ловлю, которую любил страстно: «Потому что в жизни не мог поймать ни одной рыбы и хочу поймать щуку». Путешествия и поездки, по его мнению, лишь расстраивали и мешали воображению. Мало того, он решительно отказывался от командировок, даже в центр. Это была третья причина, почему ему не давали звания профессора. Первой причиной, почему его не лишали

звания доцента, как должно было бы поступить согласно трем предыдущим причинам, была та, что он превосходно знал свой предмет, с жаром говорил на лекциях дельные и забавные вещи и полон был оптимизма того редкого оттенка, который никогда не впадает в оптимистический догматизм.

В силу этих обстоятельств студент испытывал смутное и напряженное состояние человека, находящегося в глубоко утаенной засаде. На повторный вопрос Сергея Сергеича: «Что же вы скажете?», студент смог издать звук вроде вспышки пистона, без последующего выстрела, так как в патроне не оказалось пороха.

Тогда Сергей Сергеич, тоном учителя, сказал:

— Ну, что ж, свершим в таком случае умственный обзор города и над городом. Взгляните на дома, реку, набережную и тучи. Замечаете ли вы что-то несравненное, чудесное, фантастическое, вроде бриллиантовых подвесок в ушах лошади? Последите, например, взором путь от набережной до пединститута...

Отсюда до института довольно далеко. Правда, путь, вследствие своей живописности, мало утомителен. Все время вы идете вдоль чарующей и размашистой, как песня, Тургеневской набережной, усаженной липами в дни, когда создавалось «Дворянское гнездо». Особенно хороша здесь осень. Вы попираете ногами золотые отрепья листвы. От цвета и запаха их голова ваша слегка кружится: «в расхмель», как говорят здесь. А листвы наверху еще много-много! Липы под ветром с реки качаются, словно рваные попоны загнанных шекспировских коней, коней Гамлета, Лира, Цезаря... Недаром наш город любит Шекспира!.. А небо за липами простое и легкое, как русская развалистая телега, что мчится на ярмарку под сыпучий и серебряный звон бубенцов... Да, недаром наш город любит Островского!..

Но сегодня небо странное. Студент пристально всматривается. Небо густое, тучи низко опущены и какие-то тревожно разноцветные, словно вдребезги разбитая радуга. Студент уныло глядит на журавлино-длинные притоки Волги, разделяющие невысокие холмы, поросшие мелким и беззаботным леском. Во всем окружающем только и беззаботности, что этот лесок! Плоты, пароходы, баржи, — и высокие, груженные лесом, и почти в уровень воды, — с нефтью — плыли в том же густом, неприятном разноцветии, что и город.

— Что же вы скажете?

Студент ответил:

— Дым и пыль. Предприятий за войну выстроено много. Большой город лежит в долине, замкнутой невысокими, но плотными горами. Волга здесь узка, извилиста и тоже приперта горами. Ветру неоткуда пробиться, чтоб развеять дым и пыль...

— Объяснение верное, как на уроке. Со своей стороны добавлю техническое определение. «Аэрозолями» называется распыление веществ, различно окрашенных. Их легко рассортировать. Вон там, влево, над церковью пророка Илии, вы видите пурпуровый дым? Это — индулин. Правей от церкви, над Пионерским сквером, ближе к Воскресенскому монастырю, — желтый дым. Аурамин. Между ними, над розовым кубом обкома партии, — индиго. Но разве я смогу описать вам аэрозоли, Валерьянов? Нам их сегодня весьма красочно опишет инженер Хорев. Мы его непременно должны увидать! Это очень способный инженер. Я ему послал два билета на общественный просмотр «Макбета», но инженер не пришел. У него есть печатные труды по аэрозолям. Он что-то там изобретает в области искусственного рассеивания аэрозолей, а может быть, коагуляции их с целью вызвать дождевание аэрозолей, не знаю. Меня интересует другое. Инженеру Хореву известно, что туманы над промышленными центрами, вроде нашего, содержат довольно большой процент органических и минеральных растворимых веществ, образовавшихся при сгорании топлива, известен и вред, причиняемый ими промышленности, иначе он бы не работал над искусственным рассеиванием или коагуляцией аэрозолей. А вот — возникла ли у него в голове мысль: данные условия подходят к тому, чтоб в аэрозолях возникли своеобразные животные организмы?

— Микробы, несомненно, — сказал студент.

— Ну, микробы! О микробах знает и младенец. Я повторяю: своеобразные и небывалые организмы.

Слово «небывалые» доцент произнес серьезно и подчеркнуто. Валерьянов и секунды не допускал, будто разговор действительно идет о каких-то небывалых животных организмах. Что касается его, то ему за глаза хватит и обыкновенных животных организмов! Мыши и крысы, например, в общежитии замучили! Валерьянов подумал: «Терзается. Плохо поступил. Потерял человек дочь, подходит к нему — горе выплакать, а тот ему, гру-

бо и нелепо, о какой-то губе. А теперь уводит себя в сторону небывалых организмов». И ему захотелось успокоить мягкую и добрую душу доцента. Валерьянов проговорил:

— Вряд ли нам, Сергей Сергеич, посредством наших библиотечных каталогов о западноевропейской литературе, открыть те небывалые организмы, о которых вы говорите. Инженеры, закончив дела по устройству города и предприятий, взглянут, если понадобится, и в небо.

— Закончив дела?.. Валерьянов, вы и сами не знаете, какую блестящую мысль вы изволили сказать! Закончив дела! То-то и затруднение, что они не желают заканчивать дела. Они — трусят.

— Кто?

— Инженер Хорев и его соперник — инженер и доктор технических наук Румянцев. Я ему тоже послал билет на «Макбет». Он не пришел тоже! Со стороны посмотреть, причина уважительная: дочь потерял, ищет. Но вот вопрос: потерял или выгнал. Вы его, Валерьянов, видели. Ну, и что же вы скажете?.. Едва я ему намекнул о «губе», — он убежал. Почему? Напомню, «губой» на Севере называют морской залив. Обская губа. Я не утверждаю, что лет десять тому назад Хорев и Румянцев встретились и поссорились в Обской или другой губе. Но вот врач Анисимов, служивший тогда на пароходе «Основатель», утверждает, что они могли бы встретиться. Могли бы!.. — протянул он насмешливо. — То-то и затруднение, что они не встретились. А ссора произошла! Безмолвная. Такая яростная, что, кажется, они в росте сократились, уменьшились. И десять лет не встречались. Да, что там десять, сто и тысячу лет не желают встречаться! Узнав, что кресла их на «Макбет» рядом, — не пошли. Ну, что — «Макбет», опыт, настоятельно необходимый не только нашему городу, но и всей стране, — тянут, отсрочивают, лишь бы не встретиться на одной комиссии, лишь бы не говорить друг с другом...

Завулин помолчал, пропуская грузовик, и, перейдя поспешно улицу, проговорил:

— Лишь бы не говорить!.. Что же они опасаются услышать? Оба они люди советские, проверенные самоотверженной работой, оба знатоки своего дела, характеры у обоих сносные... что же произошло? Что может произойти? А может произойти только одно: в пылу десяти-

летия копившегося раздражения кто-то из них обвинит другого обвинением страшным, но почти не поддающимся проверке. Кто-то из них отпустил на свободу «оранжевую ленту».

Он прислонился спиной к палисаднику, запальчиво глядя на студента, поверх толстых очков, своими близорукими глазами. От странного освещения у него был тот голубо-серый цвет лица, который носит название — дикий. Лицо у Сергея Сергеича большое, с огромной челюстью и с такими толстыми губами, что кажется, достаточно ему шевельнуть концами губ — и длинная речь готова! Вдобавок к словам он разыгрывает все время у губ что-то сложное своими тонкими пальцами. Пылко, а вместе с тем и жалобно он воскликнул:

— Валерьянов! Способны ли вы впасть в ужас перед лицом необъяснимой пока физической опасности? Должен признаться, — я пугаюсь и слабею. Я внутренне рассыпаюсь, как глиняный горшочек, в который ударили сапогом.

Сквозь пепел недоумения, растерянности и даже одури на лице студента выступила краска. Он жаждал физической опасности! На войне студент перенес тяжелое ранение в область сердца и едва выжил. В теперешнем своем состоянии студент не знал, какую порцию физической опасности физически он вынесет, но он желал ее побольше. И он сказал:

— Попробуем, Сергей Сергеич. Пока жив, можете опираться. Но вы преуменьшаете свои силы.

— То преуменьшаю, то преувеличиваю. Чашки весов воображения скачут весьма динамически, но вес гирь — воли неизвестен. Кладешь — пуд, а тянет, дай бог, полфунта.

Говоря о воле, он достал портсигар и начал крутить папироску. Три года назад он бросил курить. Но мало отшвырнуть искушение, надо еще и смеяться — в поучение другим — над искушением. Когда он волновался, он брал табак, крутил папиросу, вставлял ее в мундштук — и раскручивал ее обратно в портсигар. Измельчив таким образом табак до пределов пыли, он переходил к нюханью. Разумеется, он не нюхал! Для чего-нибудь дана воля? Он подносил понюшку к носу, смотрел на нее поверх толстых и сверкающих стекол — и высыпал понюшку на землю величественно, как сеятель сыпет зерно. Израсходовав этим путем содержимое портсигара, он наби-

вал его свежим табаком. Среди городских курильщиков воля его котировалась очень высоко.

— Весьма признателен, Валерьянов. Возможно, ваша воля потребуется мне нонешней ночью. Помните: «омерче солнце и воздух от дыма»? Так вот, мы узнаем, отчего помрачилось сердце инженера Румянцева. А если он не хочет искать свою дочь, мы найдем ее!..

Обогнув палисадник, наполненный бурной черемухой и беспощадным шиповником, безжалостно, казалось, впившимися друг в друга, они остановились в школьном дворе.

Широко-щедрый двор сверкал ослепительно и лучисто. Хлопали рамы. Школу проветривали, и она, будто смеясь, бросала на двор весь свет, который ей удавалось собрать с блистательных туч, клубящихся над городом.

Показалась вторая смена, рдяная и легкокрылая.

«Литератор», бывший ученик Завулина и заместитель директора, беззаботный и безмятежный, как сон, обрадовался случайной встрече. Он желал услужить. Завулин попросил стакан воды. «Литератор» блаженно-ярким голосом заговорил об учебниках, которых не хватало, теплой осени, которой было так много, заготовленных дровах, которых, возможно, хватит, школьном огороде, который, возможно, обеспечит завтраками детей. Доцент пил воду маленькими глотками, безумно широко махал шляпой и рассеянно посматривал на проходивших мимо учениц. Он обратил внимание педагога на одну. Она приближалась медленной и уверенной походкой.

— Чей этот гордый карапуз? Хорошо идет. К почету.

«Литератор» заблагоухал радостью, поощренный чуткостью бывшего своего учителя.

— Прекрасная, умная девочка. И вы, Сергей Сергеич, угадали. Горда, замкнута, слова не добьешься. Да и то сказать, на два класса идет вперед выше своего возраста. Одиннадцать лет... Надя. Дочь Ольги Тиондер. Знаете, видный работник Областной плановой комиссии? Еще недавно ездила, по шефскому заданию, от города в Орловскую область... Мы через нее восстанавливаемым школам области направили подарки: библиотечку, географические карты...

— Прекрасно, прекрасно! — в восторге воскликнул доцент, поднося свернутую папироску ко рту. Табак ли попал ему в нос или другое, но он чихнул столь крепко, что на мгновенье заглушил хлопанье рам. Папироска,

мундштук, недопитый стакан свалились в шляпу, которая, описав пленительную и свободную параболу, упала далеко, у палисадника. Крошечная девочка, бросив книжки, кинулась за шляпой. Доцент — за книжками. Они столкнулись. Сергей Сергеич упал, вернее, хотел упасть. Сидя на корточках, он подал девочке книжки. Сдержанно улыбаясь, она вернула ему шляпу и отошла своей задумчивой походкой. Возвращая стакан «литератору» и нежно глядя вслед девочке, доцент сказал мягко:

— Улыбочку-то удалось выманить, а?

Перед тем как скрыться за школьным палисадником, Сергей Сергеич обернулся. Девочка возвратилась. Она усиленно искала что-то в том месте, где обронила книжки. Пряча в бумажник, под удивленным взглядом студента, крошечный обрезок дешевой ленточки, оранжевой и узкой, выпавшей из учебника и подобранной Сергеем Сергеичем весьма поспешно, доцент проговорил:

— Идите обедать, Валерьянов. Обедать и размышлять. Вы не болтливы и не поэтичны, и это, пожалуй, жаль. Чужую фантазию так же трудно подталкивать, как располагать по классам солнечные блики на песке. Однако прошу заметить, что исчезнувшая дочурка инженера Румянцева учится здесь же в утреннюю смену, а мать девочки, уронившей книжки, — жена инженера Хорева. Ей тоже был послан билет, и она тоже не пришла на «Макбет». Размышляйте, я вам дам знать о себе!

Смеркалось, когда Завулин появился в квартире инженера Хорева и жены его, работника плановой комиссии, Ольги Осиповны Тиондер. Как раз перед приходом доцента муж рассказывал жене, насколько готов его «эксперимент 27». Еще три месяца, и опыт можно будет произвести в общегородском масштабе! Три месяца? Жена возражала против этого срока. Меньше чем через три месяца — невозможно! — и не раскрой муж свою мысль с крылатой и свирепой горячностью, ее плодоноснейшая пустошь осталась бы незасеянной, и доцент не произвел бы того шума, великолепие которого он отнес к силе своего красноречия, хотя, надо сказать, в тот вечер он был звонко и певуче красноречив, как всплеск волны.

Ах, какой чудесный вечер удалось провести доценту! Чудесный вечер в чудесном кабинете. Правда, супруги были недовольны его приходом. Жена — вначале,

а муж — чем дольше, тем глубже. Высокий, в полосатой одежде, похожий на тын, он глядел на доцента своими громоздкими глазами, словно очерненными копотью. Среди прочих знаний своих он превосходно знал зоологию, и взор его говорил: «Эх ты ястреб! Ястребок «Falco tinnunculus»,— а попросту — пустельга, способный ловить только мышей и насекомых. Пустенькая, вздорная пустельга!» Пустенький-то пустенький, но, кроме того, инженер предчувствовал, что внешне ответ на вопрос: «почему он не был на «Макбете», и мог быть убедителен, но внутренне для него самого он был вздорен, пустельговат. Готовился к важнейшему совещанию областных работников по экономии топлива? Согласен сидеть на совещании с человеком рядом, хотя и не говоришь с ним уже десять лет, но не согласен сидеть с ним рядом в театре? Что это за отдых сидеть в театре, неподвижный и надутый, как бутылка?! Пустяки! Он и в театре сидел бы веселый и рядом хоть с чертом, если бы приготовил «эксперимент 27». Он отсрочивает эксперимент на три месяца, самое меньшее. Кое-какие аппараты не проверены. Он отсрочивает решительно и бескомпромиссно.

Поздоровавшись с доцентом, инженер замолчал. Он умел молчать так внушительно, что человек, на которого обрушивалось его молчание, чувствовал себя опустошенным и разоренным. Пресный, полинялый взор его опустошал и разорял всех, кроме Ольги Осиповны, на которую никакая тусклость и мутность не действовали. «Об этом еще следует препираться», — говаривала она в таких случаях.

Ольга Осиповна — кореняста и приземиста, из тех людей, которых от Курска до Новгорода называют «окоренок». Окоренок — это комлевая часть пня, корневище, лапа с кокорою; такие кокоры употребляют на фундаментные столбы под избу и на воротную верею. Голова Ольги Осиповны, приятной овальной формы с голубыми, добрыми глазами, крепко и устойчиво сидела на свежей шее с двумя алыми родинками под подбородком. Ее раздосадовал приход Завулина не потому, что она плохо относилась к Сергею Сергеичу. «Он живет швырком, — говорила она о доценте, — но из окна не способен выпрянуть», а это было почти похвалой. Досадовала она потому, что действительно горячо готовилась к областному совещанию по экономии топлива. Она не страшилась выступлений. Наоборот, до-

казывать и убеждать, броситься на противника, полить его холодной водой, придавить и отбросить было для нее великим наслаждением, даром эпохи. Но выступать по обычной теме, когда предстояло выступить, загреметь и упасть, как громовая стрела, это все равно что закупоривать шлюз плотины втулкой от бочки. Должны были встретиться и предложить свои опыты два таких ума, как Хорев и Румянцев. Ультразвук и электрофильтры Хорева. Сверхэкономический метод сжигания топлива инженера Румянцева. И фильтры Хорева, а еще более коагуляция аэрозолей посредством ультразвука должны были бесконечно взволновать совещание! Уже несколько лет город жалуется на аэрозоли, а нонешняя осень, душная и неподвижная, даже трудно выносима. Не говоря уже о вреде аэрозолей в гигиеническом отношении, сернокислые и азотнокислые туманы буквально пожирают оборудование и строения! А засорение аппаратуры и механизмов, а порча технических масел? А кто уносит окислы металлов цветной металлургии? А — взрывы? В этом году произошло два взрыва аэрозолей. К счастью, на предприятиях не было рабочих, но разве это счастье будет повторяться каждый раз?..

Нет, она не страшится говорить, как ей и не страшно молчание. Допустим, ей неудобно выступать в защиту «эксперимента 27» или против «сверхэкономического метода Румянцева», потому, мол, что первый — ее муж, а второй — уже десять лет в ссоре с ее мужем по неизвестной никому причине. Но правда для нее дороже, чем ссоры двух друзей. И разве она побоится выступить в защиту предложения инженера Румянцева?.. И разве она побоится молчать, испытывая удовольствие, что присутствуешь на обсуждении крупнейших вопросов современной техники?! Но молчать оттого, что оба инженера опять отсрочивают свои опыты, и говорить, и готовиться к выступлению на обычную тему о мелких предприятиях, которые всюду и всегда немилосердно жгут топливо... готовиться трудно! Вот почему она досадовала на приход Завулина, пока не разобралась, зачем он пришел. Вот тогда-то и начался шум, и доцент Завулин позже имел возможность процитировать Неемию студенту Валерьянову: он-де «пря́хся со стратигами». Сергей Сергееич в цитатах соблюдал равновесие. Западу он противопоставлял Восток, Востоку — Запад. Пророка Неемию, полулирически, полунасмеш-

ливо, он процитировал про себя, когда входил в кабинет инженера.

Кабинет словно вычерчен тонкой иглой ксилографа, иглой какого-то искуснейшего резчика по дереву. Полка с книгами, кресла, столы, две-три гравюры с морскими видами не существуют сами по себе, они лишь едва намечены, им предназначено поддерживать человеческую мысль, быть тоном в картине. И, что самое главное, никакого постановочного замысла при создании этого кабинета не существовало. Ксилография получилась сама собою. Предметы беспрекословно подчинились мысли человека, подчеркивали ее. И доцент пожелал, чтоб его мысль была равной мысли Хорева. Он желал, чтоб инженер полностью понял его. Поздоровавшись, Сергей Сергеич сказал:

— Я шел сюда не без смущения. Мне припомнился первый закон Ньютона. Каждое тело пребывает в покое или совершает равномерное движение по прямой линии, если на него не действуют никакие силы. Я мало знаю технику, любя и уважая ее. И как мне ее не уважать? Всю жизнь я сидел в литерной ложе у самой сцены западноевропейской литературы, наслаждаясь великим зрелищем творчества. А теперь? Ложа осталась, а сцена заполнилась призраками из мрака с пустыми тыквами вместо голов. Со сцены несется запах сжигаемых трупов — людей и книг, крики грабителей и расхитителей. Ужасно! Сцену надо очистить, и сцена очищается. Моим народом! При помощи техники, создаваемой моим народом. Мне ли не быть благодарным этой технике, этому народу? И вот, Гавриил Михеич, позволительно ли мне спросить? Я — доцент, скромный учитель, читаю лекции. Таких много. Я — ложка, при помощи которой студенты вкушают пищу науки. Но ведь студенты — сыны народа, и, значит, ложка исполняет очень полезную роль? И, значит, ей позволительно вопрошать? Так вот, я спрашиваю. На основании первого закона Ньютона, как объяснить, что тело «эксперимента 27» пребывает в покое? Разве на него не действуют, не воодушевляют никакие силы? Помните, что я, Гавриил Михеич, задаю вам этот вопрос не зря, У меня уже сейчас понизилось сердце, а если вы оставите меня без ответа, я совсем почувствую себя покинутым. Разумеется, если ваш опыт имеет значение военной тайны?..

Хорев сдержанно проговорил:

— Мы по-разному передаем людям тайну творчества. Я — машинами. Вы — поэзией. Я плохо разбираюсь в поэзии. Вы, по-видимому, плохо в машинах. Вряд ли мы столкуемся.

— Другими словами, — подхватил Сергей Сергеич, — народ наш льет пушки. И это не тайна. Но сколько, какие и где мы льем пушки — тайна.

Хорев молчал.

Сергей Сергеич проговорил:

— Простите настойчивость. Я только что от Румянцева. Он знаком с вашим экспериментом? Он отрицает элемент военной тайны в вашем эксперименте...

Хорев поспешно подавил на губах скептическую улыбку:

— А в своем?

— Механическая беспровальная цепная решетка для сжигания угля? И в другом оборудовании для котельных хозяйств... он допускает некие элементы военной тайны. Но он мне сказал: «Черта лысого немец украдет у моих кочегаров. А вас я приравниваю к моему кочегару». Ну, что вы на это скажете?

Хорев молчал.

Сергей Сергеич свернул папироску. Развернул ее. Хорев молчал. Безмолвствовала и жена его. Трое стояли вокруг тщательно отполированного письменного стола, крышка которого блестела, как тугой парус, смоченный попутным ветром. Сергей Сергеич, подумав, что парус-то, дьявол его дери, обязан нести хоть к каким-нибудь берегам, сказал:

— Или я ошибаюсь?.. Мне показалось, что вы, Гавриил Михеич, относитесь неприязненно к мнению инженера Румянцева. Он отзывается о вас с большой похвалой. И так как я психолог, и мне показалось странным, что три человека одновременно не пришли на «Макбет», я спросил. Он отрицает наличие какой-либо ссоры между вами.

Ольга Осиповна проговорила:

— Прямой ссоры не было. Румянцеву трудно быть долго кому-нибудь приятным. Мы и убрали весла.

Хорев молчал. Он стоял как бы в оцепенении, массивный, как мачта с полными парусами. А в парусе стола отражалась повелительная и плотная его фигура. Капитан! Капитан дальнего плавания, куда направляете вы

свой парус? В дыму, в аэрозолях? Вы, как ни странно, наслаждаетесь дымом. Чем больше дыма, тем эффектнее его фильтровать и коагулировать или, говоря проще, превратить в дождь. Вы полюбили дым. Но ведь дым получается в результате старого технического порядка, в результате плохого сжигания топлива? Инженер Румянцев хочет улучшить сжигание топлива, уничтожить старый котельный порядок посредством решеток или чего-то там другого, что представляет собой некую небольшую военную тайну... А вы цепляетесь за старое, за старый порядок, хотя комната у вас новая. Развалившаяся система техники меняется, а вы хотите удержать ее в равновесии, Хорев! Вы испугались опытов инженера Румянцева!.. Вот что хотел сказать Сергей Сергеич, но, порабощенный повелительным видом Хорева, сказал другое, обращаясь к Ольге Осиповне:

— Убрали весла? Раздружились?

— Да, к сожалению. Он себя представляет вроде красивого цветка, хотя это мало к нему подходит...

— Ха-ха... Цветок? Нет, нет, какой же он цветок!

Хорев молчал.

— Мы его давно не видали, но все говорят, что он славолюбив и мнителен. Ему и тогда все время казалось, что над ним посмеиваются. Он наблюдал окружающих настороженно.

— И сейчас наблюдает, Ольга Осиповна.

Сергею Сергеичу хотелось добавить, что он ощутил в комнате Румянцева запах водки. Он — пьет? Сидя за столом над чертежами своих котельных установок?.. Он ищет в водке того, чего не достает ему в жизни?.. А чего?.. Чего не достает?..

Сергей Сергеич сказал:

— Если уж начался разговор, разрешите его вести с полной ясностью. Аэрозоли над нами, но мы не должны сами-то гадить. Не так ли, Гавриил Михеич?

Хорев молчал.

Сергей Сергеич свернул и развернул папиросу. Ольга Осиповна тоже молчала. Ну, и люди! С ними крепи паруса, доцент! Они привыкли молчать, а каково нам?..

Сергей Сергеич сказал:

— На чем мы, Ольга Осиповна, остановились? Ах, да!.. «Он наблюдает окружающих настороженно».

— Наблюдал.

— И наблюдает. Словно вся вселенная — котел, под которым он должен улучшить сжигание топлива. Работает он чудовищно. Вы знаете, до приезда сюда он был старшим инженером одного крупного донбасского завода? Котлы, котлы. Топливо, топливо. Экономия, экономия! Из экономии стремился,— когда пришлось увозить,— вывезти последний гвоздик и вместо гвоздика оставил немцам половину любимых своих котлов. Половину энергетического хозяйства завода!.. Уходя, немцы взорвали эту половину. Котлы!.. Кто не поймет неистовства Румянцева?

Сергею Сергеичу хотелось описать мокрое от слез лицо Румянцева. Он покинул его комнату полчаса назад. Лицо стоит перед глазами. Но, может быть, им неприятно это описание? Неприятно это не то сумасшедшее, не то пьяное бормотание. «Дочь — вернется. Она поможет мне в работе. Она вырвется из плена. Я отомщу. Тысячи таких детей, миллионы погибли в войне...» Жена умерла давно. Внутри его огромная нежность. Он обрушил ее на свою дочь. И вместе с тем работает чудовищно. Котлы... А котлы-то и не вывез! Дочь увез, а потом оставил. Теперь дочь исчезла. Он страдает. Ему кажется, что его все осуждают,— и за исчезновение дочери, и за гибель котлов. Ему трудно живется в этом городе, где случайно он встретил старых друзей... друзей, которые не разговаривают с ним.

Впрочем, Хорев вообще мало говорит.

Сергей Сергеич сказал:

— Восстановление и подъем своей личности он должен найти в немедленном осуществлении своего опыта, необыкновенно облегчающего труд кочегара. Он сам кочегар!

Хорев молчал. Казалось, он занял вакантное место злого молчания, к которому давно стремился. И пусть ему, доценту, кажется! Что он лезет в душу, понукает? Хорев знает сам, что делает. И пусть понимает доцент, что его болтовню терпят из-за жены. Ольге хочется разобраться в том, что происходит, и она думает, будто этот болтун в состоянии ей помочь. Чушь! Низкое любопытство, подлая и пошлейшая болтовня!.. Вот что думал Хорев, когда молчал. Скулы его чуть-чуть покрылись потом: верный признак возбуждения, уклонения от нормы. Но что поделаешь, если перед тобой умствует пустельга? Хорев гнушался им.

— Ольга Осиповна! Нужны ли другие доказательства моей правоты?

— Нужны?.. Не думаю.

— Ведь вы были недавно в местах, освобожденных от оккупации. И быть, хоть косвенно, ответственным...

— Румянцев преувеличивает свою ответственность! Я говорю про котлы. Он вообще склонен преувеличивать. Впрочем, состояние его духа очень понятно нам...

И она обратилась к мужу, как позже определял Сергей Сергеич «со сверхмерной интенсивностью». Сергей Сергеич наблюдал за нею сосредоточенно. С его стороны это не было зыбким и сонным любопытством. Это было кипучим и рокочущим делом его сердца. Она вслух спрашивала Сергея Сергеича, одновременно, взором, спрашивая мужа. Не подменил ли ты, любимый мой, свой высокий и торжественный идеал чем-то, может быть, более удобным, но пагубным? Подменил, может быть, частью самого себя? Так, вместо науки для общества, некий индивидуум закатывает науку для себя — и бывает очень доволен, курица!..

— Вам известно, стало быть, товарищ Завулин, что Румянцев совершенно приготовил свой опыт?

— М-м-м...

Доцент поиграл папиросной бумагой и, не свертывая папироски, опустил бумажку в портсигар. Что он знает? Он наг, гол и беспомощен в вопросах техники. Однако из разговора с Румянцевым доцент вывел заключение, что со стороны технической барьеров нет. Касаясь же психологической стороны: даже исчезновение жгуче обожаемой дочки не помешает удаче опыта. О, Румянцев поистине творец, кочегар и — гора!

Ольга Осиповна сказала мужу:

— Гаврюша, поневоле, право, становишься на ту точку зрения, что оба опыта...

— Вы, Ольга Осиповна, поддерживаете оба опыта — одновременно и немедленно? Произвести то есть? — вскричал Сергей Сергеич.

— Что — моя поддержка?

— О, не в меру застенчива! Ну, а вы что скажете, Гавриил Михеич? Вы ведь всегда в боевом порядке?!

Хотя Сергей Сергеич, бесстыдно почти, обкармливал Хорева цветами своего красноречия, инженер не сдавался. Жестко и надуто улыбаясь в жизнерадостные, как бы быстрокрылые глаза Сергея Сергеича, инженер отрица-

тельно мотнул головой. «Ну и манеры! — подумал Сергей Сергеич. — Прямо грузовик какой-то. Вы хотите сказать: «Румянцев есть Румянцев. Его котлы и решетки — его дело. А мой «эксперимент 27» — мое. Убирайтесь!»

Терпеливо перенося мотательные движения инженера, Сергей Сергеич упрямо следовал взятому им направлению. Он говорил сам себе: «Меня — срубите, но увлечь в сторону — никогда! Ну, я вас понимаю, Хорев. Ах, как бойко и щемяще понимаю. Если б вам так понимать Румянцева!.. И я защищаю и оправдываю вас, хотя вы напрасно отказываетесь. Ух, эта многажды воспетая взыскательность художника! Стремление доработать то, что давно доработано. Не стой режиссер над душой и не вырви из рук автора экземпляр пьесы, Шекспир до сих пор дорабатывал бы «Макбета». Так и вы, Хорев. «Эксперимент 27» пора произвести. А что касается мыса Нох, то тут разговор особый...»

Сергей Сергеич потому так долго и рассуждал сам с собой, что не знал, как и приступить к особому разговору. В его воображении высился мыс Нох, море, берег и скалы цвета магния, тускло-фиалковое небо, в глубине суши — озерко, и над ними клубы дыма, и в нем — еле уловимые, блеклые оранжевые полоски, свивающиеся к концу дня в круги. Вообще-то название «оранжевая лента» дано доктором Афанасьевым. Местные люди называли это явление короче и выразительней: дышло, или чашка, или челнок... словом, что-то округлое. Говорят, стоило попасть вам в район озерка к вечеру, вдохнуть испарения, увидеть «дышло», как вы начинали шагать все быстрей и быстрей, описывая постепенно уменьшающиеся круги. Обвороженный и влекомый чем-то непонятным, вы падаете в полном изнеможении на берегу озера. Наконец вы привстаете, опираетесь и смотрите в воду, как смотрят на улицу, опираясь на выступ окна. И вы умираете. Лицо у вас такое счастливое, словно вы умерли оттого, что не вынесли счастья. Это выражение счастья хранится на вашем лице долго, — пока труп окончательно не разложится. Смерть и счастье — объединились. Они долго бросают свои лучи на окружающее. Смерть — обдумайте это! — прельстительна!

Сергей Сергеич никак не мог согласиться с последним утверждением. Смерть — прельстительна? Никогда! Никак! Смерть — неизбежна?.. Ну, и что же? Ты предполагаешь шантажировать меня гнусной чернотой про-

пасти, развертывающейся за словом «смерть»? Я пугаюсь этого таинственного шума, гудящего где-то там, в темноте? Испуганный, замер я на краю пропасти? Да, я стою на краю пропасти, темный и массивный, как домна; и в тот момент, когда ты думаешь, что я валюсь в пропасть, я сверкающим словом, увесистым, как длинный лом, пробиваю летку, и слепящий вихрь раскаленного металла жизни льется из домны, жадно освещая таинственную пропасть. Жизнь побеждает! Она — бессмертна. Тьмы нет. По камням мы спускаемся на дно пропасти, к шумящему потоку. Мы спускаемся с напряженной жаждой исследователей...

Таковы были мысли, волновавшие Сергея Сергеича. Сердце его в груди стучало тяжело и звонко, словно пест в медной ступке, где толкут различные элементы и различные зерна жизни. Он сознавал, что не приличествует сейчас приступать со своими вопросами под нависшие брови инженера Хорева, как под яро опущенные рога быка, но если не сейчас, то когда?! Когда он узнает истину о загадке мыса Нох?.. Спрашивал он Румянцева. Тот ответил коротко: проплывал мимо на «Основателе», на берег не спускался, будучи болен. И сразу же вернулся к тоске о дочери: «Неонилочка, куда ты?.. почему?..»

Сергей Сергеич сказал откровенно, без вступлений:

— Допуская даже факт счастливой смерти, сомневаюсь, чтобы счастье это настолько закреплялось в организме человека, что тленье было перед ним бессильным! Какая бессмысленная всепокоряемость! И когда?.. В условиях человеческого существования, которые еще совсем прелиминарны! Я говорю, Гавриил Михеич, о смерти на мысе Нох...

— Ясно мне,— отрывисто и сурово произнес Хорев.

Сергей Сергеич обратился к Ольге Осиповне:

— В глубине мыса Нох вспыхнул пожар. Горели каменноугольные толщи. Земля нагрелась. Довольно крупная площадь вечной мерзлоты, которую геологи датируют концом плиоцена, оттаяла. Образовалось озеро глубиною до двухсот метров. Вода в нем была теплая. «Исследования последних лет показали, что в вечномерзлых толщах на протяжении многих тысячелетий сохраняются в анабиотическом состоянии зародыши, а возможно, и зрелые формы многочисленных мелких организмов — от водорослей и бактерий до мелких

ракообразных,— прочел он по бумажке выдержку из «Общего мерзлотоведения», труда, изданного Академией наук в 1940 году.— Среди этих форм, в количестве многих десятков видов, оживленных после тысячелетий анабиотического состояния, безусловно, могут оказаться и инфекционные виды. Это последнее обстоятельство необходимо предвидеть при проектировании мероприятий, ведущих к деградации вечномерзлых толщ в широких пределах». Подчеркиваю: безусловно!.. А раз — безусловно, что ж удивительного, если в уродливом тумане, плавающем над странным озером на мысе Нох, могли появиться узкие оранжевые ленточки...

— Оранжевые? — воскликнула Ольга Осиповна.

— Врач Афанасьев, плывший на «Основателе», сказал, что он слышал об оранжевых...

Хорев вдруг захохотал печальным, как показалось Сергею Сергеичу, оловянным смехом:

— Ха-ха! Чушь. Ха-ха!.. Отрицаю малейшее правдоподобие! Ха-ха!..

— Возможно, когда вы, Гавриил Михеич, посетили мыс Нох, явлений «оранжевой ленты» не наблюдалось. Но «Основатель», пристававший к мысу несколько позже...

— Он не видел четырех умерших,— буркнул Хорев.— Их уже похоронили. Счастливого пути, товарищ Завулин.

Табак катышком упал в портсигар. Завулин прикрыл за собою темно-зеленую, цвета вишенника, дверь кабинета.

— Пустельга.

— Доцент? Ты преувеличиваешь.

— Воображает о себе: фантаст. На самом деле стелется по земле, как слепящий и вонючий дым.

Ей с детства мерещился образ человека, исцеляющего мир от болезней и войн. Ей мечталось: она помогает этому творцу. А он — помогает ей. Это — ее муж, друг, брат... И вот этот любимый сидит теперь против нее, положив руки на парус стола. Что ей — Завулин?! Впрочем, очень хорошо, что он есть. Пусть болтун, но она благодарна ему. Он указал ей на ее обязанность.

— Ты решила, Оля, завтра выступить на совещании?

— А ты вроде растерян?

— Защищать необходимость...

— И немедленное осуществление «эксперимента 27». Разве я тебе не жена? Кто лучше жены поймет тебя?

— Ты знаешь, противников у меня много. Им покажется смешным выступление жены в пользу экспериментатора...

— Экспериментаторов! Повторяю, я буду защищать оба опыта.

— Румянцева?

— Румянцева необходимо вытащить из унылой норы душевных страданий. Да! На огненный, кипучий и раздольный берег. Ты сегодня, дружище, пойдешь к Румянцеву.

— Я?

— Или лучше пойти мне?

— Надо ли идти вообще?

И тогда он повторил ей то, что уже много раз ей рассказывал:

— Затылок у него был большой, розовый и круглый, как тарелка. Я познакомился с ним в университетской библиотеке. Я смотрел на затылок. Розовость эту не прикрывали, а только оттеняли белокурые волосы. Смотрел и думал: «Какой уверенный и какой наслаждающийся счастьем жизни человек!» Я хотел тогда, возможно, больше увидать таких людей, напитаться ими, нагрузиться ими, чтобы в мир войти уверенным и гордым. Понравился мне и постоянный жест его — точно он вспарывает ножом, снизу вверх, какой-то мешок. Скорее всего, мешок с зерном. Казалось, он каждую минуту вскрывает мешки с зерном: питайтесь, веселитесь, творите. Он говорил, что молодость должна быть щедра, а старость — скуповата. Он раздаривал книги, одежду — и одеяла не имел, прикрываясь отцовским пальто. Мы поселились с ним в одном общежитии. В первый же день нашего совместного пребывания здесь он сказал: «Аэрозоли? Брось ты цепляться, брат, за ученые названия. Пыль есть пыль. Подует береговой ветер и унесет в сторону твои аэрозоли, как относит снег или человеческий голос. А попробуй-ка отнести в сторону мои котлы! Надорвешься. И выходит,— переходить тебе, дружище, в наш институт. Я уже забросил там насчет тебя удочку. Будем совместно работать? У, хорошо! И заметь, проблемы подчинения одного другому не ставится! Мы не звери, чтоб раздирать добычу. Мы ставим и выполним проблему дружбы. Вдвоем — мы разом! — и полное всемогущество над техникой. При известных условиях мы создадим такой мощный и экономный котел, что

внутренность земного шара позавидует. Ты, как и я, мечтаешь помочь человечеству? Давай вдвоем?! Пары разведены! Скатерть накрыта. Пир жизни начинается. Иди! Вперед!» Пропитанный машинным маслом, круглоголовый, плечистый, он говорил раскатистым, приятным до слез голосом. Я испытывал волнение. Еще секунда, казалось, и я запылаю, как смолистая щепа.

Но проходила секунда, и я примечал, что мое волнение исчезало. Румянцев искренне желал мне помочь, и это желание ослепляло его. Он был уверен, что я одолею неодолимое, неинтересное для меня. Наука о котлах казалась мне тиранством над человеческим разумом. Я содрогался при виде этих черных масс железа, а горы каменного угля наводили на меня скуку. Я высказал это Румянцеву. Он назвал меня дергающимся и щебечущим фантастом. Я промолчал. Мне не хотелось его хулить и порицать, но его темные, мерцающие глаза, его упрямый, круглый затылок казались мне глазами и затылком самого искаженного и запутанного фантаста.

Я не презирал мечтания, да и как обойтись без них в моей профессии? Я мечтал оздоровить города, не будучи врачом. Пируэт замысловатый! И нужно очень образно представить себе, как я осуществлю свою задачу. Поэтому воздух города всегда был душен для меня. Пользуясь малейшей возможностью, я уходил в леса и поля. Мне мерещился гигантский вентилятор над городом, над каждой улицей. Врачи лечат ветви, в лучшем случае, корни болезней, а я хотел вырвать весь гнилой пень. Мне казалось, что я уже касаюсь этой машины... именно тогда, в годы первых пятилеток, возникла среди нас удивительная и верная любовь к машинам. Гордость машин! — я сказал бы. И машины плодились около нас. Мы словно растили новую породу животных, может быть, более близких, чем собаки. Поломки и повреждения, причиняемые машинам, доставляли нам такую же скорбь, словно раны живым существам. Исступленно и кипуче мы создавали новых друзей. Румянцев возился с котлами, как со щенятами. Словно кони, скакали вокруг меня аэрозоли, которые я хотел покорить посредством мощных вентиляторов и коагуляции. Для последней цели я изучил радио, работал над ультразвуком. Фильтры и вентиляторы, думалось мне, лишь паллиатив; аэрозоли разрастаются, и полностью их уничтожит ультразвук...

Я не был, как видишь, беспочвенным фантазером. Я предвидел. Я усердно работал над проблемою фильтров и вентиляторов, и напрасно этот доцент намекает, что я поехал к Охотскому побережью разыскивать там какую-то дурацкую «оранжевую ленту». Это его предположение и рассердило меня больше всего...

Жена проговорила, улыбаясь:

— Он выразил гипотезу. Он, по-моему, попробовал как бы овеществить загадку жизни и смерти, образно дав ей название «оранжевой ленты». Это — ангел или дьявол, что хочешь. Но в современной форме. Согласись, что на посторонний взгляд твой отъезд на Охотское побережье мог показаться странным. Где-где, а уж там в воздухе нет никаких аэрозолей. Можно подумать, что ты бежал от твоих аэрозолей.

— Ты могла подумать?

— Я? Нет. Мог подумать Румянцев. Сколько я знаю, он был всегда уверен, что ты перейдешь в конце концов на работу к его котлам. С этой целью он и поехал к тебе. Иначе он, как всегда это делал, когда отдыхал, просто поехал бы в Крым.

Инженер сказал:

— Восемь лет изучал я науку и одновременно восемь лет — практику на заводе. Что-нибудь да узнал, когда пришлось быть и обмотчиком, и электромонтером, и радистом, и монтером на радиостанции?.. Восемь лет носил я рабочую куртку и снял ее лишь после защиты диплома. Узнал много хорошего, а касаясь наших с тобой отношений, Оля, припоминаю твои слова. Ты мне однажды, на третьем году нашей совместной жизни, говоришь: «Что такое любовь? Это — когда двое вдохновенно и возвышенно верят друг другу и улавливают на сердце другого такое, что он и сам еще не в состоянии уловить. Материалы по аэрозолям и ультразвуку собрали. Вопрос состоит в том, какую наиболее эффективную и дешевую машину построить. Это надо обдумать зрело, не торопясь, оторвавшись на время от твоей текущей работы над фильтрами и взявшись, быть может, для разрядки, за другую работу. Поехал бы ты, Гавриил, один. И подальше. Так далеко, чтоб если тебя внезапно любовь ко мне потянет, то тебе и не выехать сразу. Я тебе верю. И ты мне веришь». Поцеловал я тебя. Поцелуй широкий, как река. Говорю: «Повторить эффект Эдисона?» Ты, помню, смеешься. У нас поговорка

тогда такая носилась, что если, мол, Эдисон, в условиях капиталистических, добился таких успехов, то нам, в наших социалистических условиях, надо добиваться втрое и вчетверо большего. Я говорю: «У меня мелькало нечто подобное, смутное. Предлагают — рейд, три года на Охотском побережье. Сам за все: начальник радиостанции и почтовой конторы, глава сберкассы и глава поселка. Причем ничего этого еще нет, надо все это самому строить, создавать. Поеду. Тебя оставляю — Румянцевым». С Румянцевым, помнишь, мы еще дружили. Нина, жена его — подруга тебе. Впрочем, почему вы дружили, до сих пор не пойму. Нина — восторженная, блаженная какая-то, и восторженность — все по пустякам. Пуговку красивую увидит: «Ах, какое теплое и святое чувство», фотографию, скажем, фонарь светит и дом, и в окне дама с дочкой: «Ах, какое неизъяснимое и невыразимо-отрадное чувство!» Дочери тогда было, кажись, годика четыре, любила ее болезненно, имя тоже дала странное, зубную боль напоминающее, Неонилочка. Удивительно ты полновесной казалась около них, Оля. Ну, да что это я так неодобрительно о Нине, покойнице, разговорился?..

Жена сказала:

— Не надо быть уступчивым перед самим собою. Не надо молчать! Даже в разговоре с Завулиным твое полумолчанье тебе навредило. Так я предполагаю. Правда, высказать себя — нелегко. Идешь, как слепой, хватаясь за первые попавшиеся предметы. Но все же — идешь! А молчание — это душевная слепота. Душная, несносная...

Она вынула крошечный носовой платок и уголком его вытерла себе глаза. Это ее движение показалось инженеру очень трогательным. Он вспомнил, как семь или восемь лет назад он покидал жену, уезжая к Охотскому побережью, чтобы повторить «эффект Эдисона». Широкая в плечах, тонкая в талии, с ясным и отрадным лицом, нежно глядя на него, она вот так же вытирала концы глаз и хотя не плакала, но зыбкая, темно-синяя влага дрожала у ней в глазах. «Она права. Надо высказаться,— думал инженер.— Обоим нам необходимо найти причины и объяснения — почему были друзья с Румянцевым, а тут все стало противно... и растаяло». Нет, пожалуй, и противны-то не стали друг другу, а именно — растаяло и уплыло, и осталась одна какая-то унылость. Не сочувствие, а именно унылость охватывает, когда

начинаешь вспоминать, что перенес Румянцев — неудачи с опытами, смерть жены, эвакуация, брошенные котлы, опыт над которыми, казалось, уже был близок к успешному завершению, и вот теперь исчезновение дочки...

Что же касается утверждения жены, что молчание — слепота, а разговор — душевное прозрение, инженер не мог с этим согласиться. Он ценил молчание. Оно часто помогало ему в работе. Но в данном случае жена, похоже, права. Разговор и воспоминания помогут ей найти то, что она не могла найти. С женщинами часто так бывает. Инженер не очень хорошо знал женщин, однако относительно их способа отыскания истины посредством длинных разговоров и воспоминаний он был убежден.

Инженер продолжал:

— Пункт мой на Охотском побережье — фундаментальнейший по своей дикости. Выгрузились мы и принялись за создание. И создавали, далеко глядя вперед. Там только так можно работать. Выстроили избы для жилья, а за ними — овины, где предполагали сушить зерно, хотя опыты посевов его еле-еле начались. Мы верили, что здесь будет город, где будут ходить в зверинец в гости к роскошным и сытым зверям наши упитанные дети. О школе и университете я даже и не упоминаю, это само собой. Смущало нас лишь, что рейд перед гаванью, где должны стоять корабли с полным грузом, а если будет надобность — и вооружением, — рейд никуда не годится. С виду красив, как букет, а на самом деле — открыт ветрам, мелок и утыкан беспокойными и праздномотающимися островками.

Выгрузили мы с собой небольшую радиостанцию, а вообще готовились развернуть мощную громаду. В подготовке к приему этой громады прошел год. Приближается осень. Получаю долгожданное радио: пароход «Основатель» везет вам груз, полторы тысячи тонн. И одновременно сообщается, что пароходом плывет ко мне в гости инженер и доктор технических наук Румянцев. Переспрашиваю — ты ли, друг сердечный?.. И тебя, в Москву. Получаю грустный ответ — умерла Нина. Румянцев оставил дочку свою на твоих руках, а сам, получив трехмесячный отпуск, решил посетить меня. Жалко мне его, а с другой стороны, приятно, что увижу. Сердце скачет и прыгает, будто камень по насыпи с откосом.

«Основатель» запрашивает о состоянии льдов. Если нашу «губу» — рейд забивает льдом, пароход тогда не пришвартовывается, а уходит в море. Осень здесь капризная. Спрашиваю метеоролога. По его данным, ветра не будет, а по словам старожилов и приметам: быть ветру, а значит, быть и льду в бухте. Небо медно-зеленого цвета и бродит, словно в него дрожжи брошены. «Кому верить? — думаю. — Приметам, или своим, еще не выкристаллизовавшимся знаниям, или метеорологу? Поверю-ка я лучше метеорологу», — думаю. И сообщаю — путь свободен, в «губе» благополучно.

«Основатель» подходит к губе, а в это самое время налетает ветер, вокруг — пегий сумрак, губу начинает забивать льдом, и как назло — красивейшим, густо-сине-алым, будто леденцами. Пароход грозится: «уйду в море». Как быть? Медикаменты, одежда, книги учета, продукты, оборудование большой радиостанции и, кроме этого, друг мой, Румянцев.

Снег, дождь, льды. Не хочется в такую погоду уступать власти дикой стихии. Подумали мы, и я радирую: «В рейде — островок, выгрузим, за целость груза именно я отвечаю». А в голове — погано. Не дай бог разыграться шторму, в шторм островок заливает волнами, и тогда груза нам не видать. Спрашиваю у метеоролога: как насчет шторма? Нет, говорит, шторма не предвидится. Не верю я ему. Однако посылаю: «Готовьте выгрузку, иду к вам по льду».

Идем. С парохода спускают лодку. Лодка идет вдоль кромки льда, а лед уже охватил островок. К островку пароходу пристать нельзя. Пароход идет метрах в двухстах от лодки. Вот оно, жидкое положение! Как теперь быть с грузом? Лед — тонок, качается от морской волны... но говорю: «Выгрузить на лед все полторы тысячи под мою ответственность!» Начинаем выгрузку на лед. Со льда — на островок. Людей мало, команда парохода помогает, и сам инженер Румянцев в одном пиджаке таскает стальные конструкции для радиостанции.

Лед крутит, ломает. Шторм не шторм, а баллов много. Подламывает лед. Стальная, очень нужная нам балка уходит в воду. Румянцев уцепился за нее, она его тащит — он под лед! С ним за балку уцепилось еще пятеро, я подскочил — не дали балке утонуть. Румянцев мокр с головы до ног. Капитан несет его на руках

в лодку. «Мне, говорит, рисковать кораблем нет интереса. Я вам груз сдал и ухожу». — «Пожалуйста, — говорю ему, — мы снисхождения не просим. Однако Румянцева вручите мне». Румянцев кричит и ногами болтает, а с ног вода, как из крана: «Мне, кричит, с ним насчет аэрозолей спор надо продолжить. Пустите меня!» — «Крайне любопытно, — говорит капитан, — как вы в снег и бурю через льды мокрый пойдете? Мне это смотреть нелюбопытно. Успеете до отхода корабля, переедете — ваше счастье. А не успеете — выгружу вас либо на мысе Нох, либо на обратном рейсе».

Пароход ушел. Румянцев, разумеется, не успел переодеться, да если и успел, мелкий лед все равно помешал бы ему доплыть до нашего островка. Впрочем, тогда мне было и не до Румянцева. Волны бьют в островок, раскидистые, дьяволы, лиловые! Почти достают до груза. Добыли мы «кунгасы», большие шлюпки, и под жесточайшим каменным ветром перевезли груз с островка на берег. Три дня, три ночи, почти не евши, а про сон и не упоминаю.

Рассортировали груз. Вот теперь, думаю, сосну. А метеоролог у койки: «Товарищ начальник. Получена радио: зима предстоит ранняя». Я натягиваю сапоги, пью стакан кофе и стакан водки, говорю: «Если ранняя, надо немедля начинать монтаж радиостанции, чтоб успеть до зимних холодов». Он мне: «Жители поселка воодушевлены, но в монтаже ничего не понимают». Я ему: «Тогда проведем конференцию ознакомления с монтажом».

Вышли мы монтировать наш радиоцентр. Гололед, ветер — зловещий, серый. Руки у тебя прямые, как брусок, леденеют, хоть точи нож. А внутри плавишься весь от злости к этому гололедному ветру, потому что работа трудная, станцию ведем почти стометровой высоты.

Смонтировали, пустили. Вместо двенадцатидневного срока, по инструкции, я ее — в девять суток. Составляю депешу-рапорт о пуске станции начальству, запрос «Основателю», — когда, мол, идете обратным рейсом, ну, и тебе, Оля, приветствие. Только отбили рапорт, радист сообщает: станция отказывается работать. Почему?

«Люлечный и антенный тросы вышли из блока и застряли между щекой и блоком».

Меланхолия, прямо! Зима уже хлынула. Метель прутковое железо гнет, как стебли травы. Вой. Свист.

Просто, душа горбом со страха. Кого я пущу в такую метель на стометровую высоту?

Был у меня мачтовик Ехов. Из поваров. Я его сам и приготовил в мачтовики. В тихую погоду ничего, можно пустить такого, но в бурю — пусть лучше кашу варит. Выражает он, разумеется, желание подняться. Я ему говорю:

«Хотя станцию вывести из строя невозможно, однако, Ехов, правила техники безопасности категорически запрещают подниматься зимой на такие мачты».

«Зимой? Летом-то на нее и теленок поднимется».

«Категорически, говорю, запрещает мачтовикам, но насчет начальников станций умалчивает. Важно мне еще подняться и потому, что я в дороге должен придумать рационализаторское предложение, которое навсегда гарантирует мачтовое устройство от подобных неприятностей. Давай инструменты, я поставлю трос на его место».

Мачтовик протестует:

«Нам невыгодно, товарищ начальник, говорит, если вы разобьетесь. Мы останемся без консультации и помощи. А если я разобьюсь, то найдется у кого, по крайней мере, консультироваться. Я не пущу, хоть пишите выговор».

Записал я ему за грубость выговор и полез.

Повреждение я исправил. Рационализаторское предложение оформилось, а что касается чувств, то скажу тебе, Оля, нет ничего страшнее метели на стометровой высоте!..

Хорев подошел к жене, нежно взял ее руки, поцеловал ладони и прижал их к своему лицу. Жена смотрела поверх его головы, словно все еще видя его в метель на стометровой мачте радиостанции. И теперь, как и прежде, все его слова и поступки казались ей необыкновенными, а жизнь с ним, как и жизнь вообще, казалась ей огромной и возвышающей, так что дух захватывало! Она гордилась им, гордилась собой, всем окружающим... и на мачте он стоял не один, а с нею... Хорошо чувствовать под ладонями его крепкие, милые щеки!.. Слезы показались у нее на глазах. Он увидел их и сказал:

— Голубушка, родная моя, дорогая! Ты всегда была со мной, и я всегда был с тобой...

Она знала, что это так, но все же спросила:

— Даже там, на мачте?

— А на мачте тем более! Стою на омерзительно холодной перекладине... одна из тех балок, ради которой едва не утонул друг мой Румянцев... жесткая, железная; закоченевшим ногам кажется не толще кнутовища, того гляди, переломится. Да еще вдобавок визжит под ветром!.. Фонарик, что висит у меня на груди, светит тонко, почти шепотом. Стометровая конструкция скрипит и качается в зыбучем и вертлявом пространстве. Голова кружится. На сердце — смертельная, сосущая тоска. Фонарик искренне хочет пробиться через метель, тушится, а она, смолистого лакированного цвета, деспотически властно наскакивает, отрывает руки... Оригинальное создание!.. И мысли у меня... оригинальные... я ими не восхищался. Злился на себя. Неужели нужна стометровая колокольня, холод, дрожь, мрачнейшая метель, чтобы увидеть самого себя, без всякой снисходительности? А между тем я действительно тут только, целиком, впервые разглядел самого себя. Себя тогдашнего, а не теперешнего, конечно. Если парафразически, истолковательно передать свое настроение, я обратился к себе со следующими словами: «Ты — рохля и дурак! Ты — тунеядец! Вместо того чтобы остаться с женой и работать, ты убежал куда-то, к черту, на Охотское побережье. Зачем? Мыслить, обрабатывать материалы? Тьфу, насекомое! А еще хочешь повторить эффект Эдисона. Разве Эдисон убегал от жизни, от города? Прихлебатель ты, а не творец. Настоящий творец создает при любых обстоятельствах, и чем они запутаннее, сложнее, тем ему приятней победа». Вот какое у меня было состояние. Это не значит, что я прерываю свое трехлетнее обязательство и возвращаюсь, предположим, домой на «Основателе» или что я отказываюсь от усмирения аэрозолей и перебегаю к котлам Румянцева. Нет, я осудил себя и вынес приговор: делать одновременно две работы, так, как будто бы их делали два человека. И делал. Создал поселок и целиком закончил теоретическую часть труда об аэрозолях. Трудно было, но делал... Ложное умствование, глупая фантазия должны быть наказаны. — Он ухмыльнулся. — С этой стороны Румянцев отчасти был прав, когда называл меня фантазером. Но странно, едва я вытравил фантазию и стал реально смотреть на жизнь, Румянцев перестал со мной встречаться. Вот это уж, извините, фантастика и причудли-

вость! «Основатель» подходит к мысу Нох... Мыс Нох от нашего поселка километрах в девяноста... Я радирую четырем подчиненным, которые там работают, что, мол, моя бухта забита по-прежнему льдом, поэтому предлагаю инженеру Румянцеву остаться на мысе Нох, а указанные подчиненные, к которым идет смена, доставят его в поселок. Он мне: «Благодарю, состояние здоровья приказывает возвращаться пароходом «Основатель», очень жалею». И все! И уплыл. Ха-ха! Состояние здоровья?! Кому, кому, а ему не извинительны такие вздорные причины. Он здоров как бык, как племенной бык!

Жена прервала:

— Румянцев знал, что те четверо подчиненных твоих, которым пришли на смену, умерли внезапно и странно?

— Они умерли, и умерли почетно, а не странно. Трое из них заготовляли рыбу для поселка, а четвертый разводил огород. На мысу, в толщах, каменноугольный пожар уже несколько лет. Мы решили воспользоваться теплотой. Все четверо — редкого трудолюбия люди, ну и переутомились, надорвались, хотели горы наворотить к приходу смены.

— Но разве не странно, что все четверо?

— Жалко их, но не странно. Бывает, тонут корабли с целой командой и пассажирами. А почему ты напираешь на слово «странно»?

Жена промолчала. Молчание ее показалось инженеру многозначительным. Он подумал и сказал:

— Я со злости и досады, так же, как и ты сейчас, решил: струсил, мол, Румянцев, поддался игре воображения. На пароходе было много людей, которые впервые видели мыс Нох. А это, на первый взгляд, твердыня скорби и смущения. Представь высокую, голую галерею, без крыши, из камней самого густого ежевичного цвета. Почва меж камней из мелкого песка. От внутреннего жара, что ли, не знаю, песок зеленого цвета. Заканчивается галерея теплым озерком, над которым постоянно клубится туман. Ну, люди и поторопились создать «оранжевую ленту». Я уверен, что и Румянцев приложил к легенде свои идейки, которые в его котлы не уместились...

— Ай-я-яй, милый! Ты — злишься?

— Злюсь. Он должен был подчинить себе легендотворцев с парохода, а он встал с ними наравне! Смеющиеся лица, отсутствие тления! — насмешливо, глухим

голосом проговорил инженер. — Отсутствие тления потому, что их похоронили в вечной мерзлоте, а смеющиеся лица... не было смеющихся лиц. Позже, когда мы перевозили покойников в поселок к их родственникам, я видел... разве, чуть-чуть улыбались. Нет. По-другому я думал до того о Румянцеве! Дать себя одурить...

Жена охватила его шею руками и, нежно заглядывая ему в глаза, сказала:

— Только ты напрасно думаешь, дорогой, будто я злюсь и досадую на Румянцева. Знаешь поговорку? Сонливого не добудешься, ленивого не дошлешься. Мне думается, что в отношениях друг к другу мы и сонливы и ленивы. И мы все страдаем. Страдает и Румянцев. Я не допускаю мысли, чтоб он подослал к нам Завулина; проболтался просто, а проболтался доценту тоже от душевных мук. А теперь — этого довольно! Кроме того, его еще и потому тебе надо увидеть, что мне для выступления на совещании требуются от него материалы...

— Ну, уж вот это, извини, фантастика!

— В твоих устах — это бранное слово. Но, право, мой дорогой, ты сам очень, очень фантастичен. Хотя бы, например, в том, что простому факту моей любви к тебе умеешь придать фантастические очертания. Получи за это.

И она крепко поцеловала его, так крепко, что, по внутреннему признанию Хорева, он лишился разума, стал мягкий, словно шерсть или иной материал для набивки, и ему ничего не оставалось делать, как ответить ей безмолвным поцелуем.

Студент Валерьянов был холост. Приятность и сладость супружеских бесед он в некоторых случаях, вроде теперешнего, должен был заменять рассуждениями с самим собою. Вступи он в разговор на эту тему со своими друзьями-студентами, он много потерял бы в их мнении. И они, а тем более он сам, считали его характер трезвым, трудноплавким, огнеупорным, несмотря на сложнейшую действительность, ранения, науку, которую надо догонять без спотыкания.

Студент дежурил. Еще не светало, хотя кончался третий час ночи. Сад за раскрытым окном был аспидно-серый, неподвижный. У кровли, в темноте, позванивало полуоторванное колено водосточного желоба, и эти звуки напоминали ему родное село, где рядом с отцовской избой стояла большая и длинная школа с множе-

ством постоянно отрывающихся водосточных труб. Студент сидел за столом чванно и надменно, глядя на книгу для дежурных, кружку с чаем и кусок хлеба. Он думал: съесть ему этот хлеб или оставить на утро?

И еще он думал о доценте Завулине. Невольно он должен был сознаться, что Сергей Сергеич покорил его, и особенно тем, что ждал от него физической помощи. Валерьянов еще не знал, в какой мере он способен проявить эту помощь, но, судя по ненасытному аппетиту и презрению к этому маленькому куску хлеба, судя по жажде к деятельности, он проявит себя в достаточных для доцента размерах. И все-таки никогда не было у него такого командира, с таким странным строением отдельных частей! Очки, подбородок...

Студент встал и гордой, важной походкой подошел к окну. Он облокотился так, словно не подоконник был ему подпорой, а он — подоконнику. Это помогало ему думать, ибо дум много, и изучить их возможно лишь с прилежностью.

Например, Шекспир? В данном случае причем тут печальное событие военачальника Макбета и его жены, которых увлек к водовороту смерти поток их честолюбия? Меньше всего можно сейчас говорить о личном честолюбии. Люди его не лишены, кто говорит. Но гений самоотверженности ведет нас к победе вовсе не потому, что мы лично честолюбивы. Мы, если уж говорить правду, честолюбивы ради народа, ради тех идей, которые он несет. Сущность макбетовского честолюбия — все-таки домашняя рухлядь, а наше честолюбие совсем из другого материала! И с этой точки зрения инженер Хорев, его жена и другой инженер Румянцев не пришли на общественный просмотр «Макбета», будучи заняты на работе, честь им и хвала!

Сад безмолвен. Позванивала легонько водосточная труба.

Студент вернулся к столу. Он решительно опустился на дюжий стул, выпил полкружки чая и взял хлеб. Трудно двигаться и размышлять при желудке, в который нечто, скромно называемое аппетитом, словно бьет ногой.

Жуя хлеб, он оглядел комнату. В одном углу стояли аппараты для гимнастических упражнений; в другом, возле книжного шкафа, гипсовый слепок с головы Фрунзе. Какая разница между той войной и теперешней!

Тщательно собрав крошки и высыпав их в рот, он опять направился к окну. Светало. Уже виден был сад института с его мелкими украшениями, похожими на залежавшийся галантерейный товар. Над садом висело облако, тяжелое, словно из красного железняка.

Внизу, под окном, стоял с блуждающим взглядом Сергей Сергеич. Доцент, должно быть, не спал всю ночь. Волосы его уныло свисали, будто пшеница, побитая градом.

— Ба! Сергей Сергеич! — окликнул его студент.— Заходите.

— Мы уезжаем,— сказал Завулин.— Собирайтесь.

Студент проговорил:

— Я не кончил дежурства, а затем не получил хлеба на сегодняшний день. Вы бы хоть предупредили.

— Предупреждал. Когда вы мне гарантировали свою физическую силу, это и было предупреждением. Как же вы поедете без хлеба, минимум на три дня?! И уже машина ждет.

Он отчаянно взмахнул руками.

— Несомненно, что дочка Румянцева ушла по Московскому шоссе, в Москву. Мы ее догоним и возвратим отцу. А вы, Валерьянов, не хотите ехать! Если б вы или я имели личную заинтересованность в проблеме Румянцев — Хорев. А то ведь чистейший и зеленый, как озимь, гуманизм! Гордитесь. Румянцеву особенно крепко надо помочь. Он сейчас немее и неподвижнее камня. Я — от него. Затем на минутку забежал к Ольге Осиповне. Она готовится к речи в защиту Румянцева. И напрасно! Если мы ему не поможем и не найдем с вами, Валерьянов, его дочурки — никакие речи его не спасут! Совещание посмотрит на его лицо и, чего доброго, промолвит: «Какой замысел способна реализовать эта курятина? Кого хвалит Ольга Осиповна?» А между тем доложу я вам, Валерьянов, Ольга Осиповна умеет придать удивительную вещественность своим словам. И я не ошибусь, если скажу, что муж ее не ценит. Вообще — он сиплый, и был бы он выдернутой из ткани питью, если б не она. Фанфарон! Кургузка!.. Недосягаемая, умнейшая женщина, а он как недожаренная кулебяка...

— Ваши обидные слова, Сергей Сергеич, не вяжутся с вашим общим хорошим отношением к людям,— хмуро потупившись, сказал студент.

— А все потому, что вы меня, Валерьянов, раздражаете! — мотая головой, ответил Завулин. — Так не едете? Жаль. Вы мне показались прожорливым на подвиг. И ехать-то, главное, недалеко. Километров шестьдесят, туда, где начинаются Зеленяцкие Рытвины. Дальше она уйти не может. Там — лесозаготовки, угольные шахты, на каждом шагу — люди, пройти незамеченной — где ей?.. Ну, что ж, не едете? Как же мне ехать к тому месту, где требуется огромная физическая выдержка и стойкость?..

Сергея Сергеича, несомненно, огорчал отказ студента.

Но, с другой стороны, несомненно и то, что Сергея Сергеича огорчило б, окажись студент легко убедимым, сговорчивым. Сергей Сергеич страшился путешествий, даже на самое короткое расстояние. Эти мысли студента немедленно же подтвердили слова Сергея Сергеича. Доцент, увиливая в сторону, вдруг пылко заговорил о топливе, котлах и топках Румянцева:

— Тепло и огонь — самое важное на войне, не правда ли, Валерьянов? Этим побеждаем. Огнем — по врагу, а внутренним теплом — в отношениях друг к другу!.. И пусть Румянцев встретил меня сыро и грубо, — я его понимаю... но он мне бросил пару слов, и я, без замедлений, уразумел, что мы при сжигании топлива используем весьма малый процент тепловой энергии. Есть отчего прийти в ужас! Бросаем в печь, допустим, полено, а половина его бессмысленно, превращаясь в аэрозоли, улетает в воздух!

«А не взять ли мне у приятеля сухари? — продолжал думать студент.— Ему дам свою карточку. Тогда и смогу уехать».

— Молчите? Не верите? Улетает иногда и больше половины полена. Таким образом, половина нашего топлива — дым, аэрозоли, Хорев!.. Да и вообще, я начинаю думать, что тогда лишь, когда горе минует, мы осознаем его истинные размеры. Так, до открытия Румянцева знали мы эфемерность наших топок? Пойдем дальше, и мы придем к заключению, что тяжесть, которую мы с вами, предположим, несем, измеряется не ее весом и размерами, а продолжительностью пути. Например, если б в современной мировой литературе по-

явился новый Бальзак, мы бы поняли, насколько плохи и плоски современные писатели...

— Современных писателей всегда считали плохими и плоскими, в том числе и Бальзака! — крикнул студент и скрылся.

«Пожалуй, он обиделся, — топчась на месте, подумал доцент. — Что это со мной? Какой-то дешевый хмель, как от табака. Обижаю людей, кручусь... этак они меня, черт знает, за кого сочтут! Вот этот студент, например...»

Сергей Сергеич ошибался, думая, что студент обиделся, но Завулин был прав, когда думал, что студент кое в чем судит о нем превратно. Взять хотя бы путешествия. Студент был уверен, что Сергей Сергеич боится путешествовать, а именно никто другой, как Сергей Сергеич, не любил так страстно путешествия. Он только не хотел вступить в путешествия вполне приготовленным, главным образом, физически. Природа дала ему слабые ноги, плохое сердце, близорукие глаза. Рядом многолетних упражнений он исправил сердце, укрепил ноги и хотя не победил близорукости, зато приспособил ее так, что она не мешала ему. Готовясь к путешествиям, он не держал библиотеки, и вообще, количество вещей, его обслуживающих, свел к военному минимуму. Что же касается семьи, едва ли не самого большого препятствия для путешественников, — он не миновал семьи. Жена его, сухопарая, с длинными ножками, длинным носиком, похожая на кулика, относилась к нему презрительно, правда, не лишая его детей, — их было трое, здоровенных, голенастых, широколобых, прожорливых. Семья его, как и весь город, называли его «куражным чудаком», и чтоб с корнем вырвать это прозвище, ему надо было совершить законное и в то же время поразительное по своим результатам путешествие. Иначе — пусть будет «куражный чудак»! Противодействующие силы, как видите, были огромны.

Когда началась война, он подумал, что нет ничего благородней походов, — путешествия, шествия в пути, — воина, защищающего свою родину. С трепетом явился он на призывной пункт. Сердце и ноги его нашли отличными, но глаза... посмотрев в его глаза, ему сказали: «В крайнем случае, мы можем вас зачислить нестроевым. Но мы уверены, что ваша кафедра — ваш

строй, ваша война». После того как это было ему сказано, Сергей Сергеич с жаром, почти багряным, с цветистостью, почти луговой, с доблестью, почти непобедимой, и с добродетелью, абсолютно святой, читал свои лекции о западной литературе. «Есть кафедра западных литератур! — восклицал он. — Но в такую войну, как теперешняя, нет запада и востока, а есть прогресс, цивилизация, защита культуры. Вы, наполняющие зал, вы дети Шекспира и Навои, Данте и Пушкина, Расина и Шевченко, Э. По и Достоевского, М. Горького и В. Гюго,— вы защитники мира и свободы!» Большая, переполненная аудитория института гремела благодатными, как весенний дождь, рукоплесканиями. Руководство института, примирившись с его чудачествами, серьезно поставило вопрос о присвоении ему звания профессора. Правда, заведующий кафедрой сказал: «Жаль только, что он не любит путешествовать, это в наши дни носит некий оттенок консерватизма». И все улыбнулись. Впрочем, это была хорошая улыбка. В конце концов городу нравился этот чудак, не любящий путешествовать. Пусть в городе, наполненном самыми яростными путешественниками, из всех, когда-либо существовавших, будет один, который никогда не путешествовал! Понятно поэтому, что студент Валерьянов нравится Сергею Сергеичу. Ну, во-первых, шутили, что у студента «такая успокаивающая фамилия», во-вторых, мощная фигура, способная пролезть и пройти через любые дебри, и вместе с тем беспечное,— хоть он и старается его хмурить,— беспечное детское лицо. Он — силен. Единственный недостаток студента — ранение в область сердца, но если сердце не остановилось, его уже не остановишь, оно выберется из любых неприятностей. Человек есть существо, приводящее других в восторг. Вот его назначение, вот его сила, вот его подвиг! И как восторг нельзя разжижить и разрядить, так же нельзя столкнуть человека с пути подвига и счастья. И, наконец, студент Валерьянов много путешествовал. Пусть он делится своими воспоминаниями с доцентом. Без спутника тому не обойтись. Трудно теперь произвести Сергею Сергеичу модификацию, изменение своего вида, хо-хо-хо... Так думал город о Сергее Сергеиче. Много было истины в этих думах, но, как видите, имелись кое-какие и ошибки. Впрочем, почему же не быть ошибкам? Сергея Сергеича нельзя поставить в ряд

с великими людьми, а, как известно, даже в оценке великих людей современниками случались ошибки.

Пока Сергей Сергеич размышлял о своем теперешнем чрезмерном беспокойстве, о своем положении в городе, вернулся студент Валерьянов. В рюкзаке за его спиной позвякивали сухари и торчал кусок солдатского одеяла.

— Я готов,— сухо и отрывисто сказал он.

Сергей Сергеич необыкновенно обрадовался.

— Прекрасно! Прекрасно, Валерьянов,— залепетал он.— Покудова есть в атмосфере тепло и не грянули холода, мы можем увидеть явление «оранжевой ленты». Я нашел способ приманить к земле эти странные организмы, обитающие в аэрозолях. А то придут морозы, и существа подохнут, как щенки. Тридцать — сорок градусов мороза, ха-ха-ха!.. Хотел бы я посмотреть, как они себя там почувствуют под норд-вестом. У нас зимой яростные норд-весты, неправда ли, Валерьянов?

Студент, поправляя за плечами рюкзак, проговорил:

— Прежде чем сесть в машину, должен предупредить вас, Сергей Сергеич, что я не верю в эти ваши оранжевые существа. И если еду, так еду из человеколюбия. Раз вы доподлинно узнали, что девочка ушла по Московскому шоссе...

— Доподлинно, доподлинно. Личный и вдумчивый намек Ольги Осиповны, из которого я заключил: по Московскому шоссе! Умнейшая женщина, пленительнейшая!.. Она и рекомендовала мне: обратиться к врачу Афанасьеву. Тот по поручению Облздравотдела едет в район, и как раз по Московскому шоссе. Афанасьев — душа и без того, а для Ольги Осиповны — особенно. Очаровательная женщина! Вся она розовая, сверкающая... В ней есть что-то от терцины, неправда ли, Валерьянов?

Они пересекли сад и вышли к липовой аллее, за которой высились чугунные институтские ворота, необыкновенно узорчатые, в розовых лучах рассвета похожие на иконостас.

— От терцины? — сразу не поняв доцента, спросил недоуменно Валерьянов.

— Ну да, от терцины! Знаете, у Пушкина?..

В начале жизни школу помню я;
Нас там, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго...

— Насчет величавости — ваша точка зрения, — пробормотал студент,— а только какая же она смиренная? Да и одета не убого, насколько я мог заметить...

Липовую аллею подметал дворник, старый-престарый, сутулый-пресутулый. Он не столько мел, сколько опирался на метлу, такую же древнюю, как он сам. Воздух был неподвижен, сух, а пыль и опавшие листья, поднятые метлой, застывали неподвижно, похожие на старинные кружева. Кружевные стояли за аллеей ворота, весь в бронзовых кружевах, грузно возвышается за воротами старинный собор, и маленькая здравотделовская «эмка» у ворот похожа на пуговицу. Переводя взор с дворника на ворота, а оттуда — на разноцветный сонм куполов, доцент, не слушая Валерьянова, говорил:

— Когда Данте искал для «Божественной комедии» подходящую стихотворную форму, он создал терцину. Под влиянием Данте эта строфа распространилась по всему миру. И если Данте использовал ее для грозных и обличительных своих замыслов, Пушкин — для лирических, мы — для...

— Так то ж Данте да Пушкин! — в негодовании пробурчал студент.— Куда-а мы к ним со своими терцинами?

Доцент прервал свою речь. «Кажись, я не того... — подумал он, с тревогой наблюдая свое неоглядно беспокойное состояние.— Кажись, я глупости порю? С чего бы, когда такой ответственный момент?»

В машине, скрестив на груди могучие руки, спал у руля врач Афанасьев. Сложения врач сверхъестественного, голос его громоподобен, и, хотя ему за шестьдесят, волосы его целы и черны, и никто ему не дает больше сорока. Похоже, что он знает секрет вечной молодости, во всяком случае, среди больных он считается лучшим врачом. Живет он широко, страстей у него много, но самая главная — страсть к морю.

Заваленный по горло практикой и преподаванием на разных курсах, он в течение войны ни разу не видел моря. Он тоскует по морю, не снимает с плеч морской куртки с золотыми якорями на пуговицах, и тоску свою

выливает в рассказах. Рассказы его грубы и описывают самые примитивные чувства: обжорство, драку, погоню за зверями, столкновения с разбушевавшейся стихией, но говорит он так горячо, что у слушателей дух захватывает. Конечно, с тоски по морю, Афанасьев рассказывает чересчур густо, он и сам понимает это,— прощаясь со слушателем, он так жмет тому руку, что слушатель шатается от боли — и, однако, не эта ли густота прельстительна? Только перед одним Сергеем Сергеичем врач не испытывает шершавого чувства неловкости: Сергей Сергеич верит каждому слову «ценителя моря».

— Едем?

Врач просыпается. Он с неудовольствием рассматривает детски трезвое, круглое лицо студента. Студент, несомненно, будет мешать рассказам, но Афанасьев верит в свои силы: зажгу!.. Зевая, он заводит мотор и говорит:

— А мне, батенька, снилось Эгейское море и архипелаг. Самое огороженное по красоте место во всей вселенной, доложу я вам!..

— Вы и в Эгейском плавали? — спросил Сергей Сергеич, усаживаясь рядом с врачом.

Афанасьев, в сущности, Эгейского моря не видел. Это, пожалуй, самый позорный случай в его жизни. В Стамбуле, гонясь за дешевизной, он купил дюжину сквернейшего греческого коньяку. Вместе с врачом на Дальний Восток плыл его племянник-агроном, такой же косматый коренник, как и его дядя. Попробовав первую рюмку, дядя сказал, что коньяк этот, как снег в сырую погоду — пристает к полозьям... определение оказалось пророческим. Двенадцать бутылок связали и слепили их ноги, и они очнулись лишь в Средиземном море. Капитан парохода утверждал, что и дядя и племянник наклонялись довольно низко к Эгейскому морю, но Афанасьев, хоть убей, ничего не мог вспомнить. Пропустить такую исступленную оргию морской красоты, о, боже!.. И вот уже много лет врач Афанасьев видел во сне густое и раскатистое, как октава, Эгейское море...

— Плавал, — сказал, широкобежно хохоча, врач. — Плавал! Конечно, плаванье по современному Эгейскому морю не то, что плаванье в седой древности, когда водились и нимфы и сирены...

— Нимфы — сухопутный миф, а сирены — морской.

Причем миф есть только миф,— отозвался с заднего сиденья студент, подпрыгивая на ухабе.

Врач обогнул обоз ломовиков, везущих с фабрики пухлые тюки бумазеи, погудел крестьянской подводе и, миновав последние домики предместья, выехал на широкое Московское шоссе, обсаженное четырьмя рядами берез. Здесь он обернулся к студенту и своим хохлатым, царственно могучим голосом проговорил:

— Миф?! Вы в этом уверены, юноша? Так уж вам все и известно, что происходило три или пять тысяч лет тому назад? Миф?! На ваших глазах вымерли зубры, морские коровы, кончаются бобры, лоси, котики... Пятьсот лет назад в Новой Зеландии водилась бегающая птица моа, три метра высоты, в два раза с лишком выше меня... — Он явно преуменьшил для эффекта свой рост.— Птица! В два-три раза выше меня! Вы, юноши, вполне можете и моа назвать сухопутным мифом. А что касается меня, я верю в море и в сирен и хотел бы послушать их пение! И даже, черт побери, не стал бы привязывать себя, подобно Одиссею, к мачте...

— Что ж, и Одиссей — миф,— упрямо продолжал студент. — И Гомер — миф. И вся так называемая Древняя Греция на семьдесят пять процентов, по-моему, миф.

— Говорите уже — на девяносто девять! — прорычал Афанасьев. — Эх вы, мифолог! — И, толкнув локтем доцента, Афанасьев стал рассказывать, как ему в Каспийском море пришлось наблюдать «выемку» осетра. Море чуть рябилось, и в воде, покрытой факеловидными пятнами, цвета блеклого золота, осетр имел совершенное сходство с сиреной; разве что не пел... И что думаете? Съели осетра с особым аппетитом...

Студент неслышно фыркнул в платок. Сергей Сергеич, не выразив ни малейшего сомнения, сказал:

— Душисто вы рассказываете, Петр Александрыч. Ваши рассказы всегда напоминают мне оливы, знаете эти деревья? Вы бы рассказывали почаще Ольге Осиповне. Легкокрылая, благороднейшая женщина. И, на мой взгляд, одинока и в пустыне. Такой сизокрылой надобен, я бы сказал, громодерный спутник. Муж у ней, допустим, достойный человек, но разве он ее достоин?

Врач возразил:

— Это вы, Сергей Сергеич, напрасно. Гавриил Михеич имеет вкус к морю. Вы заметили, какие он мор-

ские виды собрал? И где, в нашем городе! Тут из валов водятся только коленчатые валы, хо-хо!..

— Ясная женщина, умильность в ней есть...

— Умильность есть, не спорю,— сказал врач, обгоняя грузовик с полосовым железом.— Она понимает «малых сих». Возьмем такое. Едет она в Орловскую область. Там слышит: в оккупацию девочки, помогавшие партизанам, имели явочный знак — кусочек оранжевой ленточки. У вожатого отряда Ольга Осиповна достала метров десять этой ленточки и привезла в город. Кусочки этой ленточки стали выдавать лучшим, сердечным ученицам школ... Моя внучка тоже получила. Сантиментально, но есть возвышенная умильность...

— Это вам, что же, сама Ольга Осиповна сообщила?

— Сама.

— Почему же она мне не сказала?

— А я знаю? Может быть, потому, что ваши дети еще полугрудные и в школу не ходят.

— Как, полугрудные, когда старший в третьем классе? — плачущим голосом сказал Сергей Сергеич.— Умолчать о смысле «оранжевой ленточки»! И сказать — вам?! Ведь она должна же почувствовать, что «оранжевая лента» имеет для меня тревожное и жгучее значение?..

— Да чего вы горячитесь? — спросил, недоумевая, врач.

— Чего? А того, что по следу «оранжевой ленточки» я ищу дочь инженера Румянцева.

— Она уже нашлась.

— Как — нашлась?

— Учила уроки у подружки и готовила обед для семейства подружки. Мама там больна. Я же вам говорю: оранжевая ленточка, ради нее. Сантиментальность, умильность, но сейчас это не вредно, сейчас это, я бы сказал, полезно. Души несколько обугрюмились, обуглились. Надо дать им искрометность, на первый раз хоть сантиментальную, как одуванчику.

Сергей Сергеич протянул руку к рулю:

— Стойте. Куда вы меня везете?

— К Зеленецким Рытвинам. Куда хотели.

— Я е-ехал отыскивать девочку. Девочка нашлась. Куда мне ехать? Зачем вы везете меня к Зеленецким Рытвинам?! Ну, вас я, Петр Александрыч, понимаю. Вы, допустим, жаждете спутников. Но Ольга Осиповна?

Дальновидная, милая, вдумчивая... Она-то знала, что девочка нашлась?

— Думаю, что знала.

— Как же она могла так поступить?

— Женщины — существа неизмеримые, как океан,— сказал, смеясь, Афанасьев.— Единственное спасение, как и в океане, относиться к ним бесстрастно. Кстати, об оранжевой ленте. Случилось это в Охотском море. Охотились мы на мысе Нох. Охота — неудачная. Садимся на «Основатель». Отплываем — и сразу: полоса цветных туманов с преобладанием оранжевого цвета. Плутали мы долго, были даже четыре случая смерти от «оранжевой ленты», и я хочу рассказать вам один, для разгадки которого требуется особая пытливость, свойственная, пожалуй, только вам, Сергей Сергеич.

Сергей Сергеич, в полном недоумении и отчаянии, воскликнул:

— Позвольте, вы говорили прежде, — «оранжевые ленты» видели вы над озерком мыса Нох?!

— Да вы, голубчик, не спутали?

— Как я мог спутать? Я вас переспрашивал несколько раз. Еще вы рассказывали, как четверо умерли с ослепительно счастливыми лицами.

Врач, от изумления, снял даже руки с руля:

— Решительно не помню!

— Боже мой, я, как цыпленок в яйце, уже сделал наклев в скорлупе и готов был освободиться... Вас я прощаю, Петр Александрович. Вам не удивительно спутать, вы имели столько встреч и потрясающих событий в море... но Ольга Осиповна, она-то даже ни разу не купалась в море!..

Студент подался вперед. В крошечном зеркале, прикрепленном вбок против сиденья шофера, отражались пыльные березы, вспаханные под озимь поля, мерцающие окна деревень, и среди всего этого — жалкое и беспомощное лицо Сергея Сергеича, его очки, мокрый от волнения подбородок, плохо, торопливо выбритый. Особенно почему-то этот подбородок растолковал многое студенту, а главное то, что Сергей Сергеич влюблен в Ольгу Осиповну, влюблен, едва ли сам зная об этом!

«Фу, какой же я дурак! — думал сконфуженно студент.— И как я сразу не мог догадаться? А еще смотрел и слушал Шекспира?» Впрочем, причем тут Шекспир. Сергей Сергеич не знает о своей любви.

Ольга Осиповна и не догадывается, как не догадывается и Гавриил Михеич или этот врач. Что же касается девочки и оранжевой ленты, дело объясняется просто. Ольге Осиповне понадобилось отослать на день-другой Сергея Сергеича за город. Он ей мешал. Он болтлив, способен наболтать глупости. Пусть прокатится! Ему для здоровья полезно, тем более что рядом — врач.

«Ну, а я-то тут — какая спица в колеснице? — раздражаясь на себя, думал студент.— Мне надо заниматься, а прогулки мне зачем?»

Ответа не было. Он досадовал на себя, а к тому же езда на автомобиле доставляла ему удовольствие. Врач правил умело, машина, несмотря на выбитую дорогу, шла быстро. Как было бы приятно ехать, поезжай они по делу!.. Мелькнула лощина. В углублении на дне ее, где росли мелкие липы, мальчишки драли луб. Студент вспомнил слова отца, когда тот отпускал его в город учиться: «Даже луб драть, и то надобна наука». И как же иначе? Луб легко отрывается, когда теплая погода, малый ветер да малый дождь. Тогда, говорят, кору ветром откачивает, дождем отмачивает, теплом отпаривает. «Луб?! — думал с каким-то негодованием студент. — Луб — дело, а вот, куда и зачем мы едем?»

Холмы удлинялись, увеличивались, словно стадо, которое гонит к водопою пастух. Показались Зеленецкие Рытвины — глубокие овраги, поросшие по дну осинником, поверху — сосняком. За Рытвинами виднелись горы, а у подножия их — нефтяные вышки и какие-то треугольные высокие здания, должно быть, входы в каменноугольные шахты. Места эти, видимо, хорошо были знакомы врачу. «Вот это колхозниками запущено под лес,— объяснял он,— а вот тут, вправо, разделывают под пашню. Трудолюбивый здесь народ па редкость, лечатся только старухи».

Чаще стали встречаться грузовики, наполненные тусклыми глыбами каменного угля. Лес был сильно прорежен, и озорно блестели в зеленой глубине его далекие глыбы скал. Горы! Горы невысокие, российские, нашей удали по пояс, но все же горы, все же скалы, обрывы, пропасти, ручьи, орлы, и — кругозор, кругозор!

Сергей Сергеич повернулся к студенту.

— Хорошо?! — с сияющим лицом спросил он.

Лицо студента ответно засияло, и он, невольно улыбаясь, сказал:

— Очень хорошо.

Врач захохотал счастливым хохотом:

— Ну, еще бы! Почти море. Я знаю, куда править.

Возле речки, сапфирной и речистой, у свежесрубленного моста, они увидали лафет тяжелого немецкого орудия, бог весть как попавшего сюда. На краю лафета, устремив глаза в лес, сидел пожилой человек, по-видимому, охотник: две легавых собаки дремали у его ног. Лесом, невидимо, с вдумчивым грохотом, катился поезд с углем — от шахт. Врач спросил, здороваясь с охотником:

— Много выводков, Андрей Андреич?

— Страсть! И заметьте, как война, так эта птица плодится и плодится. Надолго, Петр Александрович?

— То-то, что на день, Андрей Андреич, — ответил врач, спускаясь к речке.

В такт поезду врач размахивал и постукивал ведерком, в такт стучал мотор автомобиля, в такт жил лес, — и в такт всему этому благолепию хотелось жить и Сергею Сергеичу и студенту. Когда врач вернулся и голубая, певучая струйка воды полилась в радиатор, Сергей Сергеич, переглянувшись со студентом, сказал:

— Мы, Петр Александрыч, надумали по лесу побродить. Грибы или что другое...

— Одобряю, одобряю, — басом отозвался врач. — Сам бы остался, да работы сегодня предстоит много. Надо осмотреть три больницы, может быть, операцию сделать: веко у одной молодайки испортилось. Обратно поедем поздно ночью, не возражаете? Ночью — дорога, как в море, — строптива и шумна, ха-ха!

Он показал им дорогу к больнице, где они его найдут ночью, влез в машину, и машина пошатнулась под ним... «Как конь под Тарасом Бульбой», — подумал доцент. Машина скрылась. Охотник поднял собак и тоже скрылся. Сергей Сергеич и студент остались одни.

Сначала они шли молча, а когда пересекли овраг и углубились в лес, где тесно, плечом к плечу, стояли удалые, красногрудые сосны, и когда начали попадаться грибы, они разговорились. Оба они вспомнили кудрявые и задорные забавы своего детства: доцент — в городе, студент — в деревне. Слушая студента, Сергей Сергеич думал о враче Афанасьеве. Чем он так мог повлиять на Сергея Сергеича и на студента? Умело и с удовольствием исполняет свои обязанности? Да, мало

ли людей умело и с удовольствием исполняют свое дело! Мечтает? Но мечтает и Сергей Сергеич. Жизнерадостен? А разве Сергей Сергеич, а тем более студент не жизнерадостны?.. Нет, тут есть что-то другое...

Грибов они набрали много. Студент ушел за водой, а Сергей Сергеич лег на теплый камень, подпер голову рукой и обратил несколько вспотевшее, усталое лицо к долине.

Горизонт замыкался кобальтовой синью Волги. Над нею висели бронзово-бурые облака с ярко-оранжевыми краями. Оранжевые пятна падали на город, — еле видимый, еле различимый, — и город был какой-то высокоцветный, сказочный. Асфальтовые шоссе, во всех направлениях пересекавшие долину, — хрупкого черного цвета с бело-зеленой каемкой, а проселочные дороги,— от глины, что ли,— самого густого и яркого красного цвета с едва заметной просинью. В воздухе пахло хвоей, грибами; нежно-печально покрикивала какая-то птица «ре-ре-ре... ре-ре-ре...». И ласкающая, легкая, как кисея, грусть качалась на сердце. Хорошо!

Хорошо делать свое дело, знать и любить его и не мешать людям в их, может быть, самые важные и ответственные моменты жизни. Как правильно поступила Ольга Осиповна, что заставила доцента уехать к Зеленецким Рытвинам! И каким чутьем обладает врач Афанасьев, сразу понявший ее намерения! И каким пустым, грошевым, какой вздорной и перелетной птицей показал себя в этом событии Сергей Сергеич? «Оранжевая лента»! Боже мой, какая напыщенная чепуха! Ему, видите ли, мало тех чудес, которые совершают на фронте и в тылу наши люди, он захотел еще поставить гору на гору...

Вернулся студент. Смеясь, он сказал:

— А я думал, вы, Сергей Сергеич, уже грибы вычистили.— Он поглядел в долину и сказал: — Да, красиво! При таком виде и я, пожалуй, не почистил бы грибов.

Тем не менее он вынул ножик и ловко и быстро стал сдирать шкурку с крепких и широких, цвета липы, грибных шляпок.

— Неделю бы здесь прожить, — сказал Сергей Сергеич несколько виноватым голосом.

— На неделю хлеба не хватит, — отозвался студент.

И он вдруг спросил:

— Вы, Сергей Сергеич, по-видимому, предполагали, что оранжевые организмы, возникшие в облаках, — если допустить существование таких организмов, — появились в результате действия газа из шахт и нефтяных скважин, соединенного с городскими аэрозолями? Извините неточную терминологию...

— Что — терминология?! Ваша мысль понятна.

— Тогда не справиться ли нам о составе газа и, вообще, познакомить с вашей гипотезой лаборатории шахт и нефтяных разработок?

— А зачем? Все равно никаких оранжевых организмов нет. И напрасно я вас смутил, Валерьянов.

Доцент достал портсигар, свернул папироску... и сказал, развертывая ее:

— Я ошибался. Инженер Хорев чувствует, ценит и уж никак не обижает свою жену. Разумеется, он и...

— Любит ее, — сказал студент, подвешивая котелок с водой к огню. — Грибы мы обварим разочка три, сольем воду, а там и маслица в них, Сергей Сергеич?

— Да, маслица, — задумчиво ответил доцент.

Студент хлопотал, а Сергей Сергеич все смотрел в долину, точно черпая оттуда утешение. Да, так оно и было! Грусть, словно ветвями прикрывавшая его сердце, сквозисто и трепетно таяла и уходила. Он наполнился пылающим и сладким теплом, несколько отличным от того, каким он горел еще вчера на Тургеневской набережной у Волги.

Студент, испытывая некоторую застенчивость, изредка поглядывал на Сергея Сергеича. «Вот она, какая — безнадежная любовь!» — думал он, и ему хотелось иметь так же много лет, как и Сергею Сергеичу, и чувствовать так же, как и он, неотвязную и шальную любовь, — даже и сам не зная о том!.. Помешивая грибы в котелке, студент вспоминал всех своих знакомых девушек, но ни одна из них не была похожа на Ольгу Осиповну... Впрочем, что он знал о ней?

Жадно и свирепо хрустя сухарями, глотая нежно скользкие и живительные куски грибов, студент говорил с грустью:

— Ну, до чего ж этот сухарь едок, до чего ж зло едок!..

И, съев за один присест всю трехдневную порцию сухарей, студент сказал:

— Так я же абсолютно здоров! Мне надо было в лес попасть. Это и есть термометр жизни.

Сергей Сергеич радостно рассмеялся:

— Как вы сказали, Валерьянов? Термометр жизни? Очень хорошо определили. Именно, и вы и я, оба измерили температуру нашего духа. И оказалась — нормальная. Так тому и быть!

Часов в десять вечера они нашли машину врача около больницы. Появился Афанасьев, сутулый, утомленный, «наработавшийся, батенька, до самой макушки». Он сел к рулю и всю дорогу рассказывал о том, как самоотверженно работают доктора в районных больницах и как трудно добиться от них — «в силу этой самой самоотверженности» — точных данных о их работе.

— Молчат. Я им кричу: «Да говорите же! Страна должна знать!» А они мне: «Страна должна знать о фронте, а мы — тыловые». Все, говорю, одинаковы! Да говорите же!.. — кричал он, наклоняясь к уху Сергея Сергеича, словно тот был одним из районных докторов. — Помимо страны, с меня и Наркомздрав требует.

Избела-желтоватый свет фар освещал фиолетовую дорогу, раскидистые березы, которые казались оснеженными, телегу, студеные глаза коня, трактор с гусеницами, похожими на меховой воротник от клейко приставших комьев глины, темпераментный грузовик, застрявший в канаве, и поблекшего шофера в фуражке, люто сдвинутой на ухо.

Сергей Сергеич слушал, дремал, и, хотя слышал все, что говорит врач, ему снилась «кухта» — рыхлый снежок от испарений и туманов, пристающий к деревьям; снились дороги, какая-то песня, какие-то всадники, поднимающие легкий ветерок, от которого кухта хлопьями валит с деревьев; снилось и детство, отец, бородатый преподаватель естествознания в школе, объясняющий ему, что такое «кухта», откуда и почему она нависла на деревьях так многолико и стооко...

Очнулся он от дремоты уже на заводе, где устанавливались «решетки Румянцева» под «котел Румянцева» производительностью 180—190 тонн пара в час. Сергей Сергеич стоял позади Румянцева, глядя ему в черный, блестящий и мокрый от напряжения затылок. Румянцев, положив на колено лист кальки, что-то объяснял кочегару, одетому в брезентовый лазорево-синий комбинезон и широкую кожаную шапку, слезавшую ему

на уши. Голос у Румянцева жгучий, розовый, радостный, и весь он — радостный, жгучий, розовый, так что Сергею Сергеичу несколько неловко стоять возле него: он сам себе кажется прозаичным и мелким. «Решетка» — большое и длинное сооружение, вся так и сверкает жемчужными кнопками, регуляторами с кругами и делениями, искрометными, тесно соприкасающимися колесами, иглистыми валами и колосниковым полотном, которое от угля кажется мохнатым и пушистым. Похлопывая кулаком по этому полотну, Румянцев сказал:

— Семьдесят три решетки в семидесяти трех предприятиях города. — Начертив эту цифру рукой в воздухе, инженер продолжал: — Завтра ровно в одиннадцать пятнадцать утра. Топливо полностью выгорает, шлак механически сбрасывается в бункер — аэрозолей нет!.. И не нужны никакие фильтры и прочее... А главное, вместо пятнадцати кочегаров — один. Из пятнадцати мы освобождаем четырнадцать, штука?

Взяв под руку Сергея Сергеича, он ведет его в свой кабинет. Здесь он садится за стол против Сергея Сергеича и, ласково улыбаясь, смотрит, как тот крутит свою папироску.

— Плохо крутите, — вздохнув, сказал инженер. И, взяв портсигар, он в одну минуту накручивает десятка два папирос. — Курите, пожалуйста.

Сергей Сергеич неловко пыхтит. Он не знает: что ему, раскручивать эти папироски или, черт возьми, закурить? Не знает он, зачем Румянцев пригласил его в кабинет и зачем прислал записку, прося зайти в любое время дня и ночи.

— Бывали вы на Севере? — спросил Румянцев.

— Вам ведь, наверно, известно, что я никогда не выезжал из нашего города, — сконфуженно прошептал Сергей Сергеич, сам не понимая, чего он конфузится.

— Значит, не появлялось потребности от чего-то... вроде непреложной истины... отделаться?.. А я почему спросил? На Севере есть береза, называют ее кустовой. Растет она по болотистым и холодным местам кустом, не образуя высокого свода. И, когда делается ей особенно топко и холодно, мечтает она о переезде. Но ясно, ехать не может.

Встав, он сказал громко:

— А я — уезжал! Не понимая того, что я представляю из себя кустовую березу. Душа моя — в холоде

и топкости. И не оттого, что топкие и холодные окрестности, а оттого, что любовный фонарь унесен другим. И даже не фонарь, а солнце. Солнце у меня взял другой! В остальном я развиваюсь совершенно нормально. Здоров, силен, приношу известную пользу, котлы и решетки, видите, выдумал, но вот в личном счастье незадача одолела. Так хожу, работаю, ем — все нормально, повторяю, а увижу ее — и душа превращается в кустовую березу. Унизительно?

— Я не нахожу.

— Я тоже не нахожу. Отчего и нашел нужным с вами побеседовать. Вы человек Ольге Осиповне посторонний, вам ей легко будет передать...

— Мне?

— Не слова и отнюдь не признания, — где мне? — а одно вещественное доказательство моей любви. Я бы вам про любовь не сказал, кабы оставался. А то уезжаю. Меня сегодня в Донбасс, на прежнее место, вызвали. Дьявольски приятно уезжать! Был у меня вчера Гавриил Михеич. Примирялись и примирились. Смотрю на него, думаю: «сказать?» Он у меня допытывался, — почему я на мысе Нох тогда не слез? Одну половину, правда, я ему сказал: нельзя отрывать изобретения от жизни, нельзя бежать от нее. Оказалось, в один день одни и те же мысли нам пришли. Прекрасно!.. Но вторую половину правды я ему не сказал. Я ее тоже на мысе Нох понял. Там — очень величественно и красиво... не мне передавать, я техник... священная и сама в себя влюбленная красота!.. Возле красоты такой понял я и свою красоту...

— Как вы — хорошо! — воскликнул Сергей Сергеич. — Как вы замечательно сказали. Именно лицезрея красоту, понимаешь ты свою любовь. Ведь тогда и кустовая береза — прекрасна, если любовь?

— Прекрасна? — спросил, подумав, Румянцев. — Пожалуй, вы правы. Прекрасна. Но когда ты делом и замыслами — лес, в некоем чувстве сознавать себя кустом — стеснительно...

— Розы тоже на кусте цветут!

— Хорошо. Пусть будет по-вашему. Но сверх того, сверх красоты есть мучительное чувство, что любишь ты безнадежно и что сейчас понял ты это, а до того, несколько лет, и понять это не мог. Я свою покой-

ную жену любил, развратом не занимался, после ее смерти дочку решил воспитывать и, хоть оставил ее на руках у Ольги Осиповны, так проехаться хотел с превосходными чувствами... А тут, на мысе Нох, посмотрел, понял себя и не возжелал увидеть друга Хорева. Никогда и никак! Дабы не воскресало, дабы умерло. Много лет прошло. Встретился в театре...

— Но ведь вы не пришли на «Макбет»?

— Далеко до «Макбета» это произошло. Шли «Без вины виноватые». Вот уж подлинно мы с ней — без вины виноватые. Увидел ее в фойе. Идет — стройная, томная, и необыкновенно реально ее вижу, а остальных, как сон... Вижу, глаза ласковые, сердечно она всегда ко мне относилась, три раза на дню о здоровье спрашивала — единственная у ней слабость, — вижу все это и, сжав себя, превращаюсь в мертвый камень.

— Ужасно!

— Пожалуй, что — и ужасно. Так вот, смотрю я на Гавриила Михеича и думаю: «сказать?» А зачем? Что, мне или ему легче будет? Но, с другой стороны, и молчать не могу, потому что нашел подле кресла, там, в театре, кусочек оранжевой ленточки. Видимо, доставала она платок из сумочки, ну, и обронила. Схватил я этот кусочек — и вроде раскаленного угля. Вот он.

Румянцев, громко стукнув ладонью, положил на стол смятую, с развитыми нитками на краях, оранжевую ленточку.

— Знаю. Глупо, слезливо, мелодраматично. Достаточно пожилой дядя — другому, еще более пожилому, жалуется. Ну, а если не могу? Знаю, война, погибают миллионы, страдания и труды необыкновенные у нас, и стыдно, казалось бы, советскому инженеру хныкать над оранжевой ленточкой...

— Но любовь есть любовь, — сказал Сергей Сергеич. — И вы напрасно говорите о ней иронически. Чем больше я думаю, тем сильнее не нравится мне ваше сравнение себя с кустовой березой. Почему вы должны унижать себя? Ну, допустим, вашу любовь нельзя проявить, вы должны молчать о ней. И что же? Разве она от того становится постыдной?

— В чем-то вы правы, Сергей Сергеич, в чем-то и я прав. Может, мне мою любовь надо унизить, чтоб она не так пламенела надо мной?.. Но продолжаю. Смотрю я на эту оранжевую ленточку... Ольга Осиповна и де-

вушкой любила оранжевый цвет... впрочем, разговор не о сущности цвета. Приходит как-то дочь и говорит, что отличные ученицы у них в школе имеют право получить кусочек оранжевой партизанской ленточки, которую привезла Ольга Осиповна. Трогательное движение, жаль, что к нему педагоги отнеслись отрицательно, хотя само собой эта оранжевая ленточка — случайна и не типична... Взяла она книжки, ушла к подруге — вместе заниматься. А у меня такое сумасшедшее и тягостное чувство, что дочь мою похитили, сбежала она от меня... тогда как, в сущности, я хотел от нее сбежать, я!..

— Почему же вы меня выбрали? Там, на Тургеневской, помните свои слова?

— В вас есть чувство красоты, пускай иногда нелепой и тяжкой. Но — красоты. Вы, Сергей Сергеич, сами вроде мыса Нох. Думаю: поймет. И вы поняли. Вы даже поехали мою дочку отыскивать по Московскому шоссе. Позвольте поблагодарить вас.

Не вставая, видимо, все еще поглощенный своими думами, Румянцев пожал руку Сергею Сергеичу, а затем сказал, протягивая ему оранжевую ленточку:

— Будет просьба. Верните ей это. И скажите... у вас это не получится нелепым... что, мол, нашел Румянцев в театре и, признавая, что вышел из детского и юношеского возраста, возвращает... хотя и будет страдать до тех пор, пока не будет страдать... А лучше последнего не говорить?

— Лучше не говорить, — сказал Сергей Сергеич, кладя оранжевую ленточку в бумажник неподалеку от другой, тоже оранжевой ленточки...

— После отъезда?

— Что, после отъезда?

— После отъезда, говорю, передадите?

— Ну, да.

И уже у дверей, прощаясь с Завулиным, Румянцев сказал, весь сияя:

— А ведь дочка-то моя, теоретически, добилась оранжевой ленточки. Практически она ее получить не могла, так как это движение педагоги нонче отменили. С моей точки зрения, они не правы, но я, как видите, человек односторонний.

Вдруг одно совершенно неожиданное соображение осенило Сергея Сергеича:

— Иван Валентинович!.. — пробормотал он смущенно, — я сваливаю вам в беспорядке... загромождаю вашу голову вопросами...

— Пожалуйста, пожалуйста, голубчик Сергей Сергеич!

— Известно вам зарождение рассказа о четырех, умерших со счастливыми лицами?..

— А, на мысе Нох? Ну, как же! Для меня там все прозрачно. Во-первых, никакого счастья у них на лицах не было. Но из этого, конечно, не значит, что они умерли недостойно. Заметил я у них на лице очевидное пренебрежение к смерти, русское, удалое. А счастья — нет. Ибо мы понимаем, а они тоже понимали, смерть — люта и лиха...

— Это совпадает с моими мыслями... — поспешно сказал Сергей Сергеич.

— Теперь относительно сущности рассказа. Боюсь, что это я заготовил доски, из которых досужее воображение Афанасьева сколотило бочку легенды и пустило ее по бесконечному океану. В те минуты я был наполнен думами о своей громоздкой и безнадежной любви. Я высказал Афанасьеву, что, мол, эти четверо тоже, может быть, подхваченные безнадежным смерчем любви, тем не менее умерли счастливыми и, что, мол, может быть, и мне предстоит подобное... Мысли ваши, как вещи под залог, рекомендуется отдавать надежному человеку. Афанасьев — прекрасная личность, но воображение его жгучее, будто крапива. А что, разве легенда о четырех и по сие время ходит?

— Уже умерла. Да и не жалко. Хлам, пустословие.

Сергей Сергеич преувеличивал. Ему немножечко жалко было исчезнувшую «оранжевую легенду». Стараясь заглушить в себе это чувство, он спросил:

— Выступала на совещании Ольга Осиповна?

— Голубчик! Вы не слышали ее? Какое горе! Вы многое потеряли. Начала она, словно саблю выхватила из ножен, — блеск! А дальше — ясно, прозрачно, ну, прямо сияние утренней звезды, честное слово!.. Замысел мой — и о решетке и о котлах — раскрыла с удивительной силой. И одновременно выдрала нас — меня и Хорева — за уши. Мы немедленно согласились на опыт, а то бы еще месяц или два тянули...

И он пустился разглагольствовать о свете и прозрачности, словно он светомер был какой... Одно бес-

спорное заключение мог вывести Сергей Сергеич из слов Румянцева: тот, после выступления Ольги Осиповны, полюбил ее еще сильнее... Довольно быстро Румянцев устно подтвердил догадку Сергея Сергеича. Торопливо, словно боясь остудиться, он проговорил:

— И в конце концов хорошо, что я ее полюбил! Кому я мешаю?! Да, это — для меня страдание, но прекрасное страдание. И пусть лучше оно будет, чем не будет. Вы меня, Сергей Сергеич, понимаете? Вам это не кажется пустым набором слов? Вам ведь, теоретически, любовь знакома по мировой литературе?! Ах, как печально, что вы не присутствовали на ее выступлении, какой освещающий перспективы оратор!

— До известной степени лучше, что я не присутствовал на совещании, — сказал, криво улыбаясь, Сергей Сергеич, — не всякий, как вы, может умеренно относиться к своему страданию.

— К любви? По счастливому стечению обстоятельств она вас не коснется.

— Разумеется, не коснется, но все же лучше подальше от заразы... она велика, как глыба...

— Именно глыба, обвал, ха-ха-ха!..

И, смеясь, весь блестящий от смеха и машинного масла, — да еще, захватив по дороге масленку, словно ему еще мало скользкости и гладкости, — Румянцев проводил Сергея Сергеича до дверей котельной.

«Зачем я взял эту ленточку? — с досадой думал Сергей Сергеич.— Все уладилось благополучно: оба опыта начнутся одновременно, семейство Хоревых — счастливо, я по-прежнему шутливый и безвредный дурачина... Ну чего я потащусь к ней с этой ленточкой?»

Однако ленточка тащила его за собою. Вместо института он направился к Ольге Осиповне. Не доходя малость до ее дома, он остановился и опять задумался. Бессонная ночь сказывалась. Томила жажда, глаза слипались, хотелось спать. «Наболтаю опять какие-нибудь глупости», — подумал он и, довольно неожиданно для себя, пошел в достраивающееся здание городской автоматической телефонной станции, где Хорев монтировал электрофильтры собственной конструкции. К удивлению Сергея Сергеича, инженер по телефону высказал горячее желание немедленно увидеть доцента, и еще больше удивился Сергей Сергеич, что инженер оказался очень вежливым, словоохотливым и, почти

до приторности, любезным. «Вот оно, какое бывает счастье!» — с легким неудовольствием подумал Сергей Сергеич.

Они обошли все три секции АТС мимо всех четырех тысяч «телефонных точек». Сергей Сергеич имел возможность сравнить пасмурную, низкую котельную — этот желудок предприятия — со светлыми, просторными залами АТС — глазами и ушами предприятий... но Сергею Сергеичу было не до сравнений. Он смотрел на Хорева. Инженер заметно похудел, изменился, его трясло, словно в лихорадке; без того темное лицо его было цвета чернозема... нелегко давалась ему удача!

Инженер провел его в большую комнату. Здесь во всю ширину трех стен стоял какой-то аппарат, отчасти похожий на камин, или на орган, или на то и другое вместе. Инженер сказал, что это «санометр», снаряд для измерения силы звука и, отчасти, для создания ультразвука, позволяющего произвести коагуляцию аэрозолей, то есть слипание частиц, дождевание. Если и все пойдет дальше так же благополучно, завтра, в 11. 13 утра будет произведен «эксперимент 27»... между нами?.. эксперимент — шаткий, а в случае успеха может иметь военное значение... между нами...

— В одиннадцать пятнадцать? — спросил доцент.

— Нет, именно в одиннадцать тринадцать. В одиннадцать пятнадцать — опыт Румянцева. Собственно, его решетки и котлы даже нельзя и назвать опытом. Опыт он давно закончил, это — массовое применение. Он задерживал его потому, что боялся — не удастся проследить сразу за всеми решетками и котлами, а кадры помощников еще не окончили его курсы. Вчерашнее совещание настояло на немедленном применении опыта.

И он глубоко, с сожалением, вздохнул.

Ах, это вчерашнее совещание! И в течение всего совещания и сейчас Хореву казалось, что Ольга Осиповна темно и запутанно говорила о решетках и котлах Румянцева — а прозрачно и ясно об «эксперименте 27». Румянцев хотя и благодарил, но по лицу его очевидно, что он ужасно недоволен. Впрочем, человек он благородный — он горячо настаивал, чтобы Хореву дали эти две минуты... «эксперимент 27» требует так много электроэнергии, что в течение двух минут все предприятия, учреждения и дома города будут

лишены тока... очень сложна и проводка... а если эксперимент не выйдет... Благородный человек! А надо было говорить об его опытах не так лениво...

— Ну, я вам не буду мешать,— виновато произнес Сергей Сергеич. И он добавил, неизвестно зачем: — Разрешите завтра, после одиннадцати тринадцати, после эксперимента?..

— Если выйдет, если выйдет!.. — почти с отчаянием вскричал инженер.

Да, нелегко ему доставалась удача!

Свою жизнь Сергей Сергеич находил относительно удачной хотя бы потому, что он не запутался во всем происходящем вокруг него. Правда, поворачивался он с трудом, разве только в постели, с боку на бок, с легкостью, но и эта легкость была такая, словно он во сне тащился по глубокой, по колено, осенней грязи. Он опять не спал всю ночь. Встал он с головой, набитой какой-то нудной пылью, как чулан для помещения ненужных вещей. Жена не подала ему повода для брани. Впервые в жизни он назвал ее, всеми глубокоуважаемого педагога, дождевым червем.

— Не вижу здесь ничего обидного,— с невероятно обиженным лицом сказала жена,— дождевой червь вполне полезен.

— Польза пользе рознь, матушка, — сказал Сергей Сергеич и, не допив чаю, отправился на Тургеневскую набережную.

Было десять часов сорок минут утра.

В золотом столбе листьев, возле скамейки восточной формы, напоминающей стихи формы «газель», топтался студент Валерьянов. Вчерашний день он прожил без Сергея Сергеича и — тосковал. Всегда-то он считал себя умеренным и даже равнодушным, а тут — изволите видеть! Тоскует не только по Сергею Сергеичу, но и по этой скамье восточной формы, напоминающей стихи «газель», широкие, просторные, плавные — и пленительные! Ах, как приятны восточные мотивы романтиков и как неприятен реально встающий перед вами романтический мотив! Зачем, например, этому пожилому, сорокалетнему человеку влюбляться в молодую женщину, а ему, молодому студенту, неприятно следить за этой любовью и бояться, что как бы влюбленный не открыл в себе эту любовь? Тоже, нашелся убаюкивающий!

Доцент плюхнулся на скамью. Возле него упал второй столб листьев. Плавно размахивая руками, словно А. Фет — строчками, когда тот в совершенстве овладел трудной формой «газели», доцент сказал:

— Меня глубоко заинтересовал «эксперимент 27». Да, а работа решеток... и котлы... Отсюда, Валерьянов, мы увидим все результаты.— Он вынул портсигар, скрутил папироску, раскрутил ее и, глядя в табак, как в часы, сказал: — Уже одиннадцать. Чертовски бьется сердце, а у вас?

Студент промолчал. Ему хотелось ответить: «Если у меня по каждому опыту, пусть имеющему военное значение даже, будет биться сердце, что оно стоит тогда?» Но сердце у него билось. И смотрел он так же, как и доцент, на небо, на реку, на город.

День был того же, как и позавчера, странного цвета опала. Сутулая река, без блеска, пугливо жалась к берегам. Лязганье рулевых цепей, звуки падающего или поднимающегося якоря слышались невнятно и заунывно. Облака, цвета солоди, охватывали солнце, словно шины колеса. Пахло лопухами, щепой, тиной, плотами. Из опаловой дымки поднимались трубы заводов. Какое сейчас, наверное, полыхает пламя у топок, какое напряжение у людей, а трубы передают его не больше, чем восклицательный знак в конце фразы. Нужно произнести вслух всю фразу, чтобы значок приобрел смысл...

Студент думал о том же, но по-другому. Он знал, что в эти часы город работает с особенной силою и эта сила всех увлекает за собою. Все утро студент занимался усердно, и ему казалось, что он усвоил за эти несколько часов столько, сколько не удалось бы усвоить за три месяца. И еще почему-то вспоминалась ему деревенская картина, виденная в детстве. В землю воткнут толстый кол, на который надета крепкая втулка от колеса. Во втулке — рычаг, и плечистый мужик, тяжело шагая, медленно повертывает втулку, втулка гнет полоз... дерево темнеет от напряжения, мужик покрякивает, дерево гнется... так и получаются полозья, которые потом лихо катятся по сахарно хрустящему снегу, катятся в город или на ярмарку...

— Одиннадцать часов тринадцать...

И доцент умолк. Очки его запотели. Короткими

своими пальцами он поспешно протер их... и охнул забавным, тепленьким голоском.

Студент не заметил этого оханья. Он сам охнул, — тяжело, шумно, словно уронил парус.

Дым над городом яростно клубился. Обозначились явственно пять смерчевых потоков. Эти треугольные, остриями вниз, гигантские смерчи были разноцветны — от землисто-бурого до дивно-пунцового. Преобладал, впрочем, оранжевый, особенно на вершинах подплясывающих конусов. Вершины их были хрустально-оранжевы, а середина отливала бархатом.

Дымчатый тент над палубой домов стал чахлым, а затем бесшумно разорвался на пять частей. Образовалось в облаках пять провалов, и в провалах плавился свет солнца — ослепительный, прекрасный, чудесный свет, заливший дома.

Аэрозоли, тучи почернели, как греча, побитая морозом.

Аэрозоли уходили. И Сергей Сергеич готов был побиться о любой заклад, что весь многотысячный город, разинув рот, глядел на то, как угнали аэрозоли. Но Сергей Сергеич не мог побиться о заклад, услышал ли город ультразвук. Впрочем, нельзя сказать, чтоб и Сергей Сергеич слышал его. Он его ощутил всем телом, как ощущают тепло или ласку. Накатилось что-то отрадное, большое, вызывающее радость, и Сергей Сергеич отдался этому чувству без напряжения, без сопротивления... и, однако же, не очень жалел, что оно исчезло.

Уже опять бренчал, перезванивая, трамвай, и опять висли на нем мальчишки. «Эксперимент 27» окончился. В воздухе стоял легкий и приятный запах дубового мха. Крыши домов словно покрыты лаком, это на них осели аэрозоли... а что же еще уловлено помимо лака, что означает запах дубового мха?.. Едва ли мы скоро узнаем о том, что уловлено.

Студент, поймав мысль Сергея Сергеича, сказал, глядя на него с огромным уважением:

— Эксперимент, несомненно, имеет военное значение. Смотрите, как замолчал город, будто все несут военную тайну. Это уже не теоретический вывод, а явление нашего ума на практике. Так все понимают.

Сергей Сергеич ждал, что скажет дальше студент. У Сергея Сергеича было такое чувство, когда вы ви-

дите яблоко, которое налилось и засквозило, или когда на небосклоне при вашем приближении засквозит и заредеет лесок... К сожалению, студент замолк. Он не видел смерти странных облачных созданий, убитых ультразвуком. Но разве сам Сергей Сергеич мог утверждать, что видел гибель «оранжевой ленты»? Разве он кружился, подпрыгивал и бежал куда-то, как те четверо у озерка на мысе Нох?! Хотя разве он не испытал ощущения счастья и легкие всплески его уходящих волн не слышит теперь?..

— И все-таки жаль! — сказал он. — А может быть, и не жаль, что их не видали.

На низменности, вдоль реки, по новой железнодорожной ветке, выстроенной во время войны, шел поезд, груженный танками. Воздух чист и прозрачен. Видны не только лица танкистов, но и восхищенное лицо мальчика, пасущего у откоса гусей. С соседнего аэродрома поднимается самолет. Мальчик переводит на него взор. Да, этому народу не жить кой-как, не перемогаться, не теньтенькать, а постоянно приводить доказательства теоремы героизма.

В голове началась барабанная дробь. Сергей Сергеич нервно пощупал бумажник, где лежали две ленточки. Студент сделал такое движение, точно боялся, что Сергей Сергеич упадет в обморок, хотел подать ему воды.

По набережной шли Хорев, Ольга Осиповна, Румянцев и несколько человек в штатском и военном, по-видимому, члены комиссии, принимавшие «эксперимент 27», решетки и котлы. Все они говорили, перебивая оживленно друг друга. Молчала только Ольга Осиповна, да и то, пожалуй, потому, что взоры и слова всех обращены были к ней. Особенно старался один член комиссии, низенький, кругленький, от волнения покрытый сплошной мокретью, как отпотевший предмет, перенесенный из холода в тепло. Он вскрикивал, отскакивал и, казалось, вспархивал на коротеньких крылышках.

Сергей Сергеич во все глаза смотрел на Ольгу Осиповну и на ее мужа. Так вот оно, какое счастье! Хорев — прежний, вчерашней худобы и истощения как не бывало. На нем матово-желтая кожаная куртка с большими, слегка отвисшими карманами, свежая синяя рубаха, толстый вязаный алый галстук — и эта одежда

очень молодит и красит его. Портфеля при нем нет, и вообще нет никаких бумажных доказательств его славы,— разве что на лице. Лицо и шаги у него, словно у венецианского дожа, когда тот шел по набережной к «Буцентавру», чтоб обручиться с морем.

И все же Хорев казался Сергею Сергеичу некой наборной вещью, соединенной из мелких частей, а не вырезанной целиком. Вот — Ольга Осиповна, другое дело! Она сразу создает впечатление поразительного единства. Все у ней, и в отдельности, великолепно. Ум, голос, походка, светлые, пепельные волосы, простые серьги в ушах кажутся бриллиантовыми; голубое платье, украшенное широкими желтыми вышивками, необыкновенно прекрасно на фоне темно-багровой стены дома, трепещущей, как отсвет пламени. А загорелые руки, обнаженные выше локтей, боже мой, как они красноречивы!..

— Хороша! — сказал со вздохом студент Валерьянов, когда Хорев, Ольга Осиповна, Румянцев, раскланявшись, прошли мимо.

Это восклицание не было главным и существенным средством, исцелившим Сергея Сергеича, оно было вспомогательным и содействующим, вроде фактурной книги в учете товаров. Однако и оно отчасти содействовало тому, что доцент решил отнестись к этому меткому определению сущности Ольги Осиповны без суетливости, беспокойства и всполошливости. Две ленточки он отошлет с любезным письмом, объясняющим ситуацию,— сразу же после отъезда Румянцева. Письма и лекции лучше удаются ему, чем душевные излияния, тем более относительно чужих чувств, вроде чувств Румянцева... ведь он, Сергей Сергеич, похитил ленточку у дочери Хорева совершенно с иной целью, чем этот затылистый Румянцев: он хотел помочь последнему найти свою дочь!..

— Да, недурна, — отозвался Сергей Сергеич.

Он встал. Барабанная дробь в голове уменьшилась. Однако шелест сопровождал его, словно он головой, как набалдашником трости, раскидывал вороха этих золотых листьев, сладостно сухих, огнедышащих красками под этим великолепным солнцем, как певучая лютня, брошенным в средину благовонного неба.

— Значит, опыт Румянцева тоже удался?

И он ответил:

— Конечно, да. Ведь «эксперимент 27» только единожды уничтожил аэрозоли, а они больше не сгущаются. Значит, котлы и решетки Румянцева работают, как он и обещал, успешно сжигая топливо без остатка. Я радуюсь за него...

И он опять присел, словно ему трудно было переносить радость на ногах. Барабанная дробь в голове утихла, исчез и шум, на сердце было ясно, светло. Улыбаясь влажными губами в почтительно глядящее на него лицо Валерьянова, он говорил и чувствовал, что каждое произнесенное им слово уносит что-то временное и пустое, как при промывке руды уносятся пустые и легкие частицы земли.

— Мы, друг мой, присутствовали при редком физическом эксперименте и при столкновении чувств, которые вы, по молодости своей, быть может, и не поняли. Такое стечение обстоятельств никогда,— в моей жизни во всяком случае, — никогда не повторится. И я счастлив, что мне удалось все видеть, а главное — слышать звук в небе, звук умирающих Оранжевых Лент. Не смейтесь надо мной, дружище. Посмотрите на крыши. Лак высох, они покрылись порохом. Мне кажется — это останки Оранжевых Лент. Вряд ли эти существа сочувствовали человеку и его делам, — и я рад, что Хорев уничтожил их...

И он перевел взор на реку. Глядел он на нее с тихой, незакатной грустью, словно река уносила часть его жизни. Студент слушал его и чувствовал, что расхмель, который он всегда видел у Сергея Сергеича, овладевает сейчас им, Валерьяновым. Низменность, промытая весенней водой и разделенная невысокими холмами, по которым вилась железная дорога, казалось, приобретала особые всесозидающие краски. Воздух, струившийся над нею, был кипучий, бессмертно-молодой, пышно-ароматный. «И этого человека, — думал студент, — я хотел предупредить и предохранить от любовной горячки, когда он, сам по себе, каузальный человек, человек, заключающий в себе причину причин!.. Куда мне?!»

И с особо высокой, восторженной почтительностью он выслушал последние слова Сергея Сергеича перед тем, как тот встал со скамьи восточной формы, чтобы идти читать лекцию. Почтительность эта сняла со слов все плоскости, как с шара снимают выпуклости, и он

превращается в многогранник и, если он из редкого материала, то начинает блестеть и увеличивается до блеска бриллианта. Возможно, что мы более умеренно и равнодушно относимся к Сергею Сергеичу, и он духовно не усыновил нас, тогда блеск этого бриллианта будет мало виден нам. Ну, что ж, меньше барыша от жизни!..

Сергей Сергеич сказал:

— Не думайте, Валерьянов, что, разглядывая в небе Оранжевые Ленты, я хотел уничтожить знание. Допуская такие мысли, вы допустите, что я провожу параллель между, скажем, катоптрикой, современным учением об отражении лучей света, и — гаданием на зеркале у древних. Нет! Мне так же, как и вам, хотелось и хочется очистить знание от сомнительных и недостоверных элементов. Мой взор кверху — только прием. Я убежден, как и вы, что существует и достижимо истинное знание, адекватное своему предмету. Это знание достигается с трудом, а какое знание достигается без труда? Сонники отбивают ото сна. Наука же не отбивает от науки. И как приятно дойти до абсолютно достоверных начал, до тех начал, на которых строится широкошумное и многоцветное здание науки. Мы — увальни, мы — лежебоки с вами, Валерьянов, научившись кое-чему, пойдемте учиться по-настоящему!..

6 февраля 1944 года

СИЗИФ, СЫН ЭОЛА

Солдат сразу узнал их, родные горы!

В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их, — оранжевы. Сразу узнал он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой, южной стороны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим — и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам, — он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр признал его больным пелтастом, слабым для службы в легкой пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: «Как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников?» Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!..

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастя, будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то я буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то, чтоб сохранить приобретенное Великим. Да и сохранишь ли ты это, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий! Хватит предзнаменований! Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например, окрашивателя шерстяных тканей...

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, убиравшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копье, и оттого, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой, чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; который видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана, и берега Гидаспа, и топкие берега

Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые, с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженными, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка, с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, наклонилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, черно-фиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли вьючные мулы и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями акинфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф, — сказал он. — Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикиян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время,— сдержанно сказал солдат,— сильные и спешащие путники сокращали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы

и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала? — спросил солдат. — Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники? — спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копье и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью. — Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковатой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола, — ответил старик, боязливо оглядываясь.

Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь,—ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших о такой опасной теме.

Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

* * *

Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидал пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге? — подумал он. — Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, потных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатого его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которой несло дымом и оливками. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.

«Почему нещадном? Откуда нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»

Он остановился, положил вооружение на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней, несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что с нетерпенья бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Боги дозволяли ему вооружиться. Он привязал меч к поясу, а остальное вооружение сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя, словно днем на площади.

А здесь днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и приходит в голову: «Ну, какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусочек ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими лицами и разгульными глазами. Возле дверей в корытах лежала валяльная глина, и два раба, мерно раскачиваясь, месили ее ногами, и глина верещала у них между пальцами... Ах, обманули его

тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, а Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шагу. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Опять — предзнаменование? Он быстро обогнул ее.

* * *

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх снизки белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкой и гнилой воронки. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватали солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни срывались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он отчаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиваиды, отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед

не далее как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал, россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стены, и впустило мягкие, влажные фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезнувшую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, испускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине... И солдату захотелось ухать, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидал россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи, он уже подходил с опаской, держась за меч и взывая к богам и к Эолу в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн,

что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-прежнему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидать врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятясь, в эту долину веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

* * *

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидал дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и, скорее всего, походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивавшееся внизу, у края лощинки, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкую, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоясанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиною в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его ног впивались в ложе потока, и с изумлением увидел Полиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем! — дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр. — Много я видел чудес, но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь. Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад! — Он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову толкая вперед камень.

— Кто ты, о диво? — спросил солдат Полиандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь. — И он прорычал: — Р-р-рад! За хижиной колодец. Спустись. Сбоку — яма. Р-р-рад! В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Теперь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятясь, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось: великан несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидал две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином, вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахну́ло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь! — воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой и снегом добавил немного пряностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно,

подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу несся, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, посматривая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козьи шкуры, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник?.. — спросил он хриплым басом. — Я р-рад!.. Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно, и на сердце у Полиандра тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве эта тропа не в Коринф?

— В Коринф?.. — с усилием спросил хозяин. — Р-рад! В Коринф!

Великан подал гостю воду для омовения. Он глядел, как солдат моет ноги, а затем руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал: что такое Коринф. И солдату пришло в голову, что снискать у этого великана доброжелательное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину! — воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой козы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указав на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить. — И он захохотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем, и хозяин придвинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал

людей. Солдат жадно ел мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидал после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться!

И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад! — пророкотал тот. — Р-рад. Пей. Р-рад!

И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал за вином состязаться в споре, желал рассказать про то, что он приобрел, нажил и — разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно, — ответил, широко улыбаясь, хозяин. — Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно, — ответил хозяин. — Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний? — спросил солдат.— Разве ты продал свою хижину, сад и ниву? Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня, — сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами. — Рад! Последний день.

— Слава Зевсу, — сказал привычным голосом солдат. — Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал раздельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А, жрецы? — сказал солдат, прихлебывая вино. — Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс, — настойчиво повторил хозяин. — Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс? — спросил несколько насмешливо солдат.

— Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем! — проговорил, заикаясь, солдат. — Ты Сизиф!

И так как хозяин утвердительно закивал лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я, — ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал, как толстые дубовые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это ты.

— Это я, Сизиф, — ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши. — Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было:

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Надругался. Зевс наказал меня. Мне вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И — сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф ответил:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневил богов ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои выводы.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем, — воскликнул солдат, — нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей, — сказал, смеясь, Сизиф. — Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу, — принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат. — И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, собирал плоды. — Хозяин кивнул головой, и солдат продолжал перечислять трудности его жизни: — Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки! — вскричал хозяин. — Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покорен богам. И вот Зевс простил меня!

— Хвала мудрому Зевсу, — сказал солдат. — Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.

— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов? — сказал с презрением солдат. — Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю, — ответил Сизиф. — Я катал камень. Кто такой Александр?

— О, боги! — воскликнул солдат Полиандр. — Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том, как он разбил царя Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничего не знаю, — ответил Сизиф. — Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем, — вскричал солдат, — я расскажу тебе все от начала до конца! Налей мне вина.

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

* * *

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ними, и едва доносился сюда, в хижину, лепет ручья. Сизиф сидел, обхватив большими руками колена, и медно-красные лучи света из очага освещали его лицо и глаза, ставшие водянисто синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотах на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними сталось? — спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином.

— Хвала богам! — воскликнул он. — Мы переправились через Геллеспонт и, принесши на развалинах, наверное, тебе известного Илиона жертву предку нашему Ахиллесу, направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут доходить люди.

И, распаляясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал:

— В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеке желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от любви к ним. Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом — ты видишь его, о Сизиф, — я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну верхом на козлах и

баранах в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!..

— Р-р-рад! — закричал, поднимая чашу, хозяин. И рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогател Коринф. Отсюда и разбогател царь Кассандр, который со мной поступил неблагородно...

Солдат пошатнулся от злобы, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа, — ответил Сизиф.

— И ты будешь опять царем Коринфа! — воскликнул солдат. — И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видимо, хочется приобретать, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтоб окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты знаешь... Знаешь ли ты, о Сизиф, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!..

— Р-р-рад!.. — рыкал хозяин. И рыкали, поддакивая ему, горы за дубами, в глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город... Но на самом деле в подожженном городе страшно. Персы и индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут под пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, а в добычу попа-

дают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилия и кости их тупится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Полиандр сказал:

— Твои козьи шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем? — спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами. Полиандр обмакнул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног и сам он, Полиандр, — военачальник, стоящий плечо о плечо с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе! — вскричал он. — Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полол, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы — диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полдня.

— Я р-р-рад... спать... — рыкал, разевая твердый, прямой рот, Сизиф. — Р-р-рад...

— Ты царь Греции, а я твой соправитель... — И с этими словами солдат Полиандр лег на ложе, по привычке, сунув под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыв овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

* * *

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный, дрожащий страх в плюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он немедленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полоску света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидал, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх в гору, по своему ложу огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачахну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь... Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покатил камень.

* * *

И перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...

Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал ее невнятно, и солдат не расслышал ее, а если б и расслышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять в раскаленный отливок металла. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услышать снова отвратительный, визжащий и дрожащий полет камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не

по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда! Ну, а где ж тогда его родное место? Он выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрепье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой конечности кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера сглупу окрасил ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, эх... И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянусь собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гомер называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола, ты обманул меня! И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..

19 сент‹ября› 1944 года, Переделкино

АГАСФЕР

Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил кинофабрике написать сценарий «Агасфер». Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мира, поразил мое воображение. Надо думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению.

Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм, — сказал один из режиссеров и задумчиво добавил: — Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально».

Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству? Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обрабатывавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен, Шлегель, Жуковский, Гете, Евгений Сю, Эдгар Кине, Кармен Сильва, Франц Горн, Ленау... какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин,— лишенных всякой реальной связи, — что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький, несколькими строками, в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского народа, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизнеспособностью». Это, скорее всего, тема публицистики, чем художественного произведения,— если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны.

Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно, в наше время всевозможных удач, — стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников!

Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха!

«Моя любовь к тебе бессмертна и вечна», — говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной, — может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна, — сказал я ей, — то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Гееновой. Ах, как нехорошо и плоско!

Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я второй сверху, и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и для того, чтоб приходить ночью, надо было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Не удивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем.

Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посетителя рисовалась уныло и расплывчиво. Это был

человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло.

Тощим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию.

Несмотря на слабость и явное истощение, вызванное, несомненно, войной, я не испытывал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настороженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидал явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными, камуфляжными пятнами.

И слезы эти мне показались притворными. Я пожал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа ночи на пороге коридора перед незнакомым человеком!

— Что нужно? — спросил я.

Утирая полой плаща слезы, посетитель ответил:

— Мне настоятельно нужно переговорить с вами.

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Нет, я сам.

Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился, благодаря своему слабому виду, отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату.

Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кееновой! И опять завизжало внутри — «гиена, гиена!», и стало очень нехорошо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличенной вежливостью спросил:

— Вы москвич?

— Нет, я космополит и не прописан нигде.

Это происходило до антикосмополитической кампании, и поэтому я не обратил на его слова внимания.

В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не доставило

мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой.

— Что же вам нужно? — переспросил я.

Он повторил:

— Мне нужно настоятельно переговорить с вами.

— О чем переговорить?

— Переговорить о моей и вашей судьбе, — ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе.

Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества.

— Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы взаимно связаны?

Он ответил:

— Нахожу, что связаны.

— Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы?

Он молчал. Я более кратко и более зло повторил свой вопрос. Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил:

— Я молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обращении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровержимые доказательства.

После некоторй паузы он добавил:

— Видите ли, я действительно космополит Агасфер.

— То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарии? Но и тут разговора не получится: я отказался от работы над сценарием!

— Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич, — сказал посетитель, откидывая назад длинную голову.— Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер... ну, да вы сами знаете легенду!

Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатах и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастыр-

ской кельи... я расхохотался, хотя вообще я человек не смешливый.

Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки.

— Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору, — сказал я, продолжая смеяться, — но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фауста и Дон-Жуана, — а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае, — вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!..

— Вполне разделяю ваш смех, — ответил унылый посетитель, медленно поворачивая ко мне длинную голову. — Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор...

— Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временности? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав?

— В чем?

— В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утешьтесь: вам долго не жить.

— Ах! Ну, зачем вы так?

— Затем, что так хочу!

Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив», вызвал бы ужасное отвращение к себе.

Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно опершись ладонями о край письменного стола. Стоит — и хохочет. Мало того — хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота!

«Это шпион, подлец, провокатор, — твердил я самому себе, — не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор, и я разоблачу тебя, мерзавец,

разоблачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу, — и головой о стену, головой».

Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца.

Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрав ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной.

Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорбления?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение.

— Если вы из арестованных... даже уголовник...

— Что вы, Илья Ильич!

Тогда я повторил:

— Кто же вы и зачем ко мне?

Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если б я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не была стойкой! Я пожалел его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости, — и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил:

— Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер?

Хотя и нехотя, но я отозвался:

— Значит, имя Агасфер — прозвище?

— О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господа... ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Витемберге, с радо-

стью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тиснеными преимущественно. Они были небогаты... на границе разорения... впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи,— и я нищ!

— Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей?

— Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-либо нужны деньги!

— А, вы были влюблены?

— Да.

— История несчастной любви?

— Про́клятой любви!

— Кем про́клятой?

— По-видимому, той же любовью: выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога.

— Ого!

— А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита.

— У нас есть богоматерь Мария.

— Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка, роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократичная. Нет бога, кроме бога любви.

— Простите, плотской или духовной?

— Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление.

— Следовательно, плотская любовь выше всего?

— Если угодно, да!

— Ваши родители были евреи?

— Вы — по Розанову?

— Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях.

— Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы.

— Агасфера все называют евреем.

— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду.

— Знаю.

— Что же вас превратило в Агасфера?

Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, мучившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее:

— Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь.

— Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег?

Он ответил:

— Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную?

— Ее звали Клавдия фон Кеен.

— Как?

— Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по-видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда...

— Продолжайте о ней.

— Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей. Я же настаивал на венце, свадебном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее... «Но это невозможно! — восклицала она с негодованием. — Твои родители бедны». — «Я разбогатею и прославлюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!» — отвечал я, и она испуганно крестилась, а через минуту, испуганно прижимаясь ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты сбираешься делать?»

Я и сам еще не знал.

В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, падавшими на плечи волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима была приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафтана и панталон, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, но мне одному пришла в голову ужасная и безнравственная мысль...

— Вы это поняли сразу же?

— О нет! Значительно позже. — Он вздохнул: — Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня...

— Вы только что сказали, вас погубило другое?

— Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные манускрипты. Вспомнился мне и манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был Матиас Парис, английский хронограф, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса, человека с древним лицом и древними словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин,

по-видимому? Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог претории, Карталеус, ударив его кулаком в спину и презрительно усмехаясь, сказал: «Иди, чего медлишь?» На такие слова приговоренный ответил: «Я могу медлить. Но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». И он направился дальше, а Карталеус, который по обязанностям своим не должен был покидать претории, пошел за ним, влекомый тоской скитаний... И вот, тысячу лет спустя, архиепископ Григорий, объезжавший епархию, встретил Карталеуса рыдающим среди изголуба-серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не умрешь! Вы понимаете, Илья Ильич, о какой мысли я говорю?

— Догадываюсь.

— Приятно. Позволите продолжать? Итак, мысль эта — я разовью ее вам дальше — мелькнула во мне еще тогда, при чтении хроники Матиаса Париса. «Почему легенда о Карталеусе застряла в этой хронике? А ведь благодаря ей можно заработать и славу, и деньги, и любовь той, которая меня не любит!» Итак, глядя на пилигрима, я думал: «Карталеус, Карталеус! Бессмертный, ты забыт! Я воскрешу тебя. Большие деньги и слава ждут того, кто видел Карталеуса, беседовал с ним, сумей только найти те убедительные, те звонкие, те медно-красные слова, при звуке которых дрожит сердце каждого христианина». И вот, глядя на этого пилигрима с древним пергаментным лицом, мне показалось, Илья Ильич, что я нашел эти слова, я уже стою на пороге к богатству и славе!..

По мере того как мой посетитель углублялся в прошлое, я глядел на его жесткие и редкие, как хвощ, волосы, и мне виделся высокий храм в Гамбурге, ромбическилистные окна, откуда льется пепельно-серый свет ранней весны, длинные ряды деревянных скамей, звук органа, гложущий сердце, склоненные головы молящихся — и этот пилигрим с лицом цвета тех растений, что, прикрепляясь к скалам, разрушают их. Видел я и Пауля фон Эйтцена, его жадное вальковидное лицо, серо-белые, потрескавшиеся от волнения губы.

— Я был беден и нищ. Она — дочь миллиардера, по теперешней терминологии. Я ее любил, жаждал ее, я был силен, крепок. Она тоже. Как нам соединиться под вен-

цом, а не в шалаше рыбака или разбойника? И я подумал: «Агасфер! Ага значит, по-турецки, начальник, ну, а сфера — вы знаете, что такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоряжаться бессмертием». И я обратился к богу. Я просил его соизволения на великую ложь: «Разреши мне выдумать Агасфера! Разреши! Это — миф, мечта, глупость. Но именно благодаря мифу, мечте и глупости расцветают люди. Ну что изменится, если одной глупостью в мире будет больше?» Ответа, конечно, не последовало, но моя великолепная выдумка успокоила и развеселила меня. Агасфер, Агасфер! Придуманное слово, которое еще совсем недавно казалось чужим и далеким, стало теперь близким. «Я люблю тебя, Агасфер, ты ведь обогатишь меня? Был Карталеус, римлянин; я махнул рукой — и вот встал ты, Агасфер, еврей, и превратился в предка тех прòклятых, кто во множестве живет сейчас на южной окраине Гамбурга!..» Ха-ха!

— И тогда?

— Мне стыдно, Илья Ильич. Разрешите, на этом прекращу свой рассказ? Я предполагал, что смогу его передать вам подробно, однако я не могу удержать слез при той мысли, имея которую никогда не заснешь: нельзя издеваться над богом любви!

Мой посетитель порывисто встал. Пачка журнала «Русский архив» с мягким шумом упала набок. Длинное лицо посетителя почти сплошь покрывали слезы. Но почему по-прежнему я не чувствовал к нему жалости? Влага? О, эта влага на лице, несомненно, издавна защищала его!

Сверх того, я чувствовал и усталость: напряжение, с которым я следил за его рассказом, было довольно сильным. Хотелось спать.

Я пробормотал что-то о том, расскажет, мол, в другой раз. Посетитель, тягуче шаркая ногами, покачал отрицательно длинной своей головой, и мы расстались. Хотя уже светало, но стекла на лестнице не пропускали света, и фигура моего посетителя едва-едва была различима. Впрочем, мне показалось, будто он стал несколько выше ростом и шире в плечах, да и его голова словно бы стала круглее. Того ради, я вышел даже на площадку. Тонкие шаги посетителя зачастили. Он исчез. Стараясь освободиться от нелепых предположений, меня одуряющих, я вернулся в свою комнату и лег.

Отказ от работы над сценарием «Агасфер» по-прежнему лежал на столе. Я встал и перечел его. Он показался мне пресным, мало энергичным. Я переписал, придав ему более резкую форму, — хотя что мне сердиться на кинематографистов? Не они же подсылают мне Агасфера и не им же принадлежит этот нудный и надоедливый, как овод в летний день, бред? Кому же тогда? Не мне ли самому?

Последующие часы я чувствовал себя мерзко, а последующие дни были еще более мерзки и противны. Лето было дождливое, с частыми холодными северными ветрами. Я бродил вдоль лентовидных набережных Москвы-реки и, не найдя сил справиться с тоской, пришел в военный комиссариат. Молодой лейтенант принял меня ласково. Он немедленно направил меня к врачу, тот — к другому, и, наконец, трое, посовещавшись, сказали, что сердце мое действует неважно, наружный вид хуже... «Вы что, даже вроде и ростом стали ниже? А ну-ка, смерим?» Я встал к линейке. Врачи с недоумением переглянулись и поправили какие-то цифры в моем «деле». Затем старший врач сказал:

— И вообще, куда вам торопиться на фронт? Поправляйтесь.

— Друзья ждут, — отозвался я, хотя никаких особенно друзей на фронте у меня не было: я командовал ротой связи и давно уже не получал известий оттуда.

— Подождут.

— А галлюцинации у меня могут быть? — спросил я вдруг, совершенно, впрочем, не надеясь, что врач ответит правду.

Он снова выслушал меня, расспросил и сказал:

— Галлюцинации? — Помолчав, он добавил: — Могут. Но особенно не беспокойтесь: они скоро, месяца через два-три, исчезнут. Курите? Бросили? А вы закурите.

И он угостил меня папиросой.

Папироса успокоила. «Бред? И отлично! — думал я, весь дрожа от радости. — Раз доктор признал, что у меня бред, значит, он скоро исчезнет. Выздоровею, забуду про этого Агасфера... и поскольку у меня бред, не отбить ли мне любовника у Клавы? Вот будет потеха, когда он окажется Агасфером!»

Клава служила приемщицей телеграмм в почтовом отделении на Ордынке. Я пошел к окошечку Клавы. Я стоял в очереди, слышал за окошечком ее голосок, так хорошо мне знакомый, ее рука выбрасывала квитанции и сдачу, раза четыре возникала и исчезала возле меня очередь; наконец, когда помещение опустело, в отверстии показалось ее бледно-серое истощенное лицо с большими глазами, и она спросила без особого удивления:

— Каяться пришли?

— Каяться, — ответил я. — Простите за Геенову.

— Как? — спросила она со смехом.

— Я переделал вашу фамилию.

— Разве? Не помню. А если и переделал, то очень даже недурно. Геенова?! Это даже выразительно. Я себя, Илья Ильич, действительно чувствую гиеной, у которой перебили ноги. Они где живут, в болотах?

— Гиены-то? В камнях и песках.

— Ну, там подыхать легче. В болоте куда труднее. Да, хорошо! — добавила она, вздохнув и подавая посетителю телеграфный бланк.

Мы подождали, пока посетитель писал и оплачивал телеграмму, а когда он ушел, Клава подняла на меня мокрые от слез глаза и быстро проговорила:

— А я ведь продалась, Илья Ильич! Не махайте руками и не ахайте: надо торопиться сказать, а то посетители придут. Не за деньги, конечно, — за пропитание и комнату. Подманил один, из рыбного треста: он, должно быть, пирожки с рыбой продает на сторону. Переехала к нему, расписались...

— Какая же это продажа, если расписались?

— То есть формально все правильно, а по сути — продажа. Старый, брюхастый, мордастый, лысый, противно: я из-за него сверхурочные полюбила.

— Оделись, по крайней мере? — спросил я, не знаю зачем.

Позже я понял, зачем так спрашивал: очень мне не хотелось, чтоб она подвиг какой-нибудь свершила. Боялся! Чувствую: если подвиг, конец, все прощу и, может быть, так полюблю, как никого и никогда не любил. И она меня поняла — жалко ей стало меня: «Ради меня, Клавы, которая за пироги продалась, да мучиться? Вот еще!»

И она сказала:

— Оделась неплохо.

— А ну, покажитесь, выйдите!

— Что же, по-вашему, я на службу в манто ходить должна?

— Уж и манто!

— Уверяю.

— И мама с вами переехала? Племянница маленькая... как они?

— Все живы-здоровы. Заходите, Илья Ильич, с мужем познакомлю, он в конце концов ничего. Конечно, никаких подвигов не свершал,— воровать пирожки — какой же подвиг? — а все-таки добрый, и это хорошо... вот лысый только! Не нравятся мне, Илья Ильич, лысые.

— Агасфер не лыс,— вдруг сказал я.

Она помнила мои рассказы об Агасфере. Но вспоминать, по-видимому, ей эти рассказы было тяжело и неприятно; она спросила нехотя:

— А кто это?

— Да один из бессмертных, помните?

— Нет,— ответила она и с каким-то непонятным раздражением спросила у посетителя: — А зачем, собственно, вам четыре бланка? Время военное, бумагу надо экономить.

И она бросила посетителю два бланка. Выросла очередь, и я ушел, так и не сказав ей, что меня мучает бред. Да и зачем говорить? Жалость, что ли, я собираюсь у нее возбуждать? Жалость, конечно, стоит где-то рядом с любовью, но я в бреду, и мне не нужна ни жалость, ни любовь! Леченье мне нужно, леченье... но чем?

Постепенно я начал успокаиваться. Сон улучшился. Жизнь казалась более сочной и возвышенной, взоры встречных не были колючими. Несколько нежных и слабо вьющихся мыслей указали мне на некий растущий замысел, которому еще не находилось названия. Сценарий, пьеса, повесть? Я не знал, что это еще такое...

Бороздчатый и глубокий звонок разбудил меня. Я подпер спиной стенку дивана. Срезанный, укороченный, иглоподобный звонок повторился. Я узнал эту манеру... а, подлец!

И почти со злорадством я раскрыл дверь. «Пауль фон Эйтцен, ты? — хотелось крикнуть мне.— Ах, черт! Или за душой пришел?!»

Мой посетитель,— клянусь, заметно укороченный и как бы снизу обкусанный,— кивнул мне головой, быстро прошмыгнул в мою комнату. Он, теперь уже не без грации, уселся на кипу «Русского архива» и, не объясняя причины своего появления, сказал голосом почти задушевным:

— Мы остановились, кажется, Илья Ильич, на том, что мне пришлось вдохнуть жизнь в имя Агасфер?

— Что же, батюшка, вы и вправду меня заморочить намерены? — сказал я раздраженно, в то же время испытывая некоторое смутное удовольствие при виде моего посетителя. — Бу́дите вдобавок. — И я указал на раскрытый диван, на подушки, простыни.

— А вы и далее продолжайте думать, что спите,— хихикнул мой посетитель.— Мистика нынче в упадке и презрении, а сон еще имеет все права, тем более сон бархатный.

Единственно потому, чтоб посетитель не подумал, будто я и на самом деле чувствую себя спящим, я сказал, что согласно печатного экземпляра «Нового сообщения об Иерусалимском жиде, именуемом Агасфер» и принадлежащего перу Пауля фон Эйтцена, имя Агасфер впервые широко было брошено в мир в 1602 году. Так, во всяком случае, утверждает Гроссе, видевший экземпляр этого сочинения.

— Да, приблизительно так,— сказал посетитель.— Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдалбливать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориеусом. В Италии — Баттадие или брат Джиованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедес, что в переводе означает «толкнувший бога». Я же упорно настаивал, что имя мое — Агасфер!

— Почему вы так настаивали?

— Если идея ясна, ее выражение словом тоже должно быть ясным и точным, не правда ли? Я считал, что имя Агасфер полностью выражает мою идею. Человечество должно быстрее привыкнуть к этому имени и знать его хорошо. Кое-где этому моему желанию сопротивлялись, но вскоре я получил более того, что желал. Счастливый случай помог тому. Впрочем, относительно счастливый, конечно. Пилигрим, о котором я вам

рассказывал прошлый раз, был приглашен на обед к фон Кеенам. Должен добавить также, что Клавдия фон Кеен уже имела жениха, нет, нет, не меня! По этому одному мне надо было торопиться. Женихом Клавдии был некий Карл Бреман, пьяница, распутник и не без пытливости,— в известном дурном смысле, разумеется. Он был богат, княжески богат. Фридрих Варизи, тот, что был в одежде пилигрима и что ходил к святым местам замаливать грехи, тоже оказался человеком не безденежным. Пилигрим на обеде влюбился в Клавдию — и немедленно посватался. После обеда женихи отправились в кабак,— был очень хороший кабак на южной окраине Гамбурга, под вывеской «Золотые ножницы». Здесь-то я с ними познакомился. Сильно напившись, они начали ссору,— разумеется, из-за невесты. Выждав момент, я сказал: «Ну, что вам, двум благородным и крайне честным людям, ссориться из-за какой-то продажной твари?» Они потребовали объяснений. Я сказал: «Я дам вам доказательства, а не словесные объяснения. Сколько, по-вашему, она стоит, если вы двое ляжете с нею на кровать? Предупреждаю, цена не малая». И я продал ее.

— Продали? Опоив и затащив в притон?

— Она пришла туда сама.

— Почему?

— Чтоб доказать свою любовь! Разумеется, тут подшутила немножко и Афродита. Она, при рождении Клавдии, вложила в нее чересчур много плотского. Я воздвиг слишком большую плотину, через которую это плотское не имело сил перелиться. Клавдия и не подозревала, как дрожит от напряжения эта плотина! Ну, отуманенная плотью, самопожертвованием, любовью и одновременно презрением ко мне, она согласилась. Та ночь была для меня не из важных. Я трясся от негодования на себя, на Клавдию, на этих двух плотоядных подлецов... Когда Клавдию утром увезли к ее тетке, где обычно у нас происходили свидания, я бросил два трупа, Карла Бремана на пилигрима Фридриха Варизи, против дома самого богатого еврея, обвинив в убийстве всех евреев квартала. Свидетелей я нашел с легкостью: это были те же самые латники, которые убили, по моему приглашению, и Карла Бремана, и пилигрима Фридриха Варизи. Еврейский квартал пылал, а я шел по городу и всем встречным рассказывал об Агасфере: самые

долговечные легенды рождаются в огне пылающих городов, вспомните Трою.

Я говорил: при выходе из церкви я остановил пилигрима и спросил: «Кто ты? Откуда пришел? Куда идешь? Сколько пробудешь в Гамбурге?» Вот какие вопросы я будто бы задавал ему. И он будто бы ответил мне, что он — именем Агасфер, а по ремеслу — сапожник и что он будто бы собственными глазами видел, как прибивали Христа к дереву римские воины и как поднимали его на воздух и так далее! И с того времени Агасфер пошел... Он посетил много стран и городов, в доказательство чего он привел много подробностей о жизни других народов. О жизни Христа он тоже сообщил мне много нового, чего нет даже у самих евангелистов. Особенно подробно он описывал мне последние минуты Христа, так как, видите ли, он лично присутствовал при всем происходящем, при его смерти...

Так началась слава Агасфера — и моя тоже.

— А Клавдия фон Кеен?

— Она-то и оказалась истинной виновницей всех моих ужасных страданий. Когда я, пустив легенду об Агасфере, пришел к ней с деньгами, полученными путем, вам известным, она прокляла меня. Вы думаете, за то, что я ее продал? Ну, это было бы не логично, а она обладала, повторяю, немалым умом. Она же ведь сама согласилась на продажу! Нет, она прокляла и выгнала меня за то, что я убил тех, кто оплодотворил ее... тех двух мерзавцев! Каково? Она, видите ли, не в состоянии видеть убийцу отцов ее детей,— словно она собиралась сразу родить четырех, по крайней мере. Посчитав ее проклятие недействительным и глупым, я ушел от нее, однако вожделея ее в сердце своем и дав себе слово никого никогда не желать, кроме нее!.. Но позвольте продолжить о моей славе?

— Она, по-видимому, сразу же стала доставлять вам большое удовольствие?

— Да! Это было начало мести, проклявшей меня Я тогда еще ни о чем не догадывался.

Меня начали всюду приглашать.

Из мелкого студента, сына жалкого торговца кожами, я быстро превратился в уважаемое лицо. Всюду, с амвона, и в частных домах, и в гостиницах, я рассказывал о своих встречах с Агасфером! Меня слушали

жадно. Я приобрел много денег и много славы. Я ездил по Германии, был во Франции, посетил Италию.

Я говорил, кажется, что на мои расспросы Агасфер ответил, что во время суда над Христом он жил в Иерусалиме и занимался сапожным ремеслом? Кое-какие подробности о кожах, которые благодаря занятию моего отца я знал превосходно, делали рассказ мой совсем правдоподобным.

Агасфер, по моему рассказу, вместе с другими евреями, считал Христа за лжепророка и возмутителя, которого следовало как можно скорее уничтожить. После того как Пилат отдал Иисуса на распятие, его должны были провести мимо дома Агасфера. Агасфер стоял у дверей дома, держа в руке ребенка, а в другой — сапожную колодку. Волосы на его голове, как у всех сапожников, были стянуты ремешком, чтоб не падали на лоб.

Проходя мимо и сгибаясь под тяжелым обрубком дерева, Иисус остановился возле дверей его дома, чтобы отдохнуть. Он прислонился к стене, но Агасфер из злобы стал гнать Иисуса, требуя, чтоб он шел туда, куда лежит его путь. И тут, обливаясь слезами, я приводил фразу, которую вычитал в хронике Матиаса Париса и которая будто бы принадлежала Карталеусу: «Я могу медлить,— сказал будто бы Иисус,— но труднее будет медлить тебе, ожидая моего прихода». Иисус пошел, и тотчас же Агасфер опустил на землю ребенка, снял с головы ремешок и, держа сапожную колодку в руке, последовал за приговоренным. Он присутствовал при его распятии, страданиях и смерти.

Я рассказывал о них подробно, и люди рыдали, когда я говорил, что Агасфер дрожал от непонятного страха, прижимая к телу колодку, которую все еще не выпускал из руки. Колодка эта была придумана мною, и я гордился этой выдумкой: она опоясывала реальностью несколько костистое и выдуманное тело Агасфера. После смерти Иисуса Агасферу стало совсем страшно, и, будучи не в силах оставаться на месте, а того более — вернуться в Иерусалим, он отправился странствовать, и странствует по сей день.

— Он — бессмертен?

— Да, я утверждал, что он — бессмертен.

— А разве вашим слушателям не казалось странным, что Христос оставил в живых одного грешника?

С образом милосердного Христа это чрезвычайно мало вяжется.

— Они верили. Я говорил, что, по мнению Агасфера, его оставили в живых до Страшного суда затем, чтобы он свидетельствовал верующим обо всем случившемся и убеждал бы маловерных. И так как никому не хотелось в те времена быть маловерным, то мне верили. Меня щедро снабжали деньгами, и обо мне шла слава как о великом проповеднике.

— Несмотря на то что реального Агасфера не существовало?

— Именно поэтому! Миф. Легенда. Глупость. И все бы шло отлично, кабы не любовь Клавдии фон Кеен. Ну, разумеется, и моя любовь к ней. Не Христос, а она, эта любовь, породила Агасфера и превратила его в реальность, то есть в меня самого.

— Однако!

— Долгое время я сам думал, что Агасфер — лицо выдуманное. И еще бы! Я подсмеивался над людским легкомыслием и с удовольствием смотрел на шафранно-желтые монеты, которые получал как плод этого легкомыслия. Однажды, после длительной и многолетней поездки по Испании, я вернулся в Гамбург. Я остановился в гостинице «Меч и яйцо», так как думал, что после многих лет отсутствия мои комнаты в нашем доме могли быть заняты другим. Я хотел дать время, чтобы освободили их.

Слуга раскладывал мои вещи, а я пошел к нашему дому. Он показался мне более возвышающимся над другими домами, чем когда-либо, и носил он другой, несколько голубоватый цвет, тогда как прежде камень нашего дома был сильного бурого цвета. Я спросил у привратника, дома ли и как благоденствует высокопочтенный Отто фон Эйтцен, то есть мой брат.

Привратник ответил мне, что Отто фон Эйтцен умер восемь — десять лет назад, и что все фон Эйтцены перемерли, и что дом перешел по наследству к их дальним родственникам. Тогда я воскликнул, побледнев и дрожа всем телом: «Как так перемерли, когда перед тобой сам высокочтимый доктор Священного писания и слуга господа, сам Пауль фон Эйтцен!» Привратник перекрестился и сказал, что никто из фон Эйтценов не мог бы дожить до такой глубокой старости, ибо Паулю фон Эйтцену, да успокоит господь его душу, ныне было б сто

сорок лет: последний раз он покинул Гамбург, направляясь в Испанию, шестидесяти с лишним лет.

Я устремился в гостиницу. Я подбежал к зеркалу. Как сейчас помню бахромчатые украшения из дутого серебра по краям языковидного стекла, в котором отразилось мое лицо. Я погрузился в него взором. Тусклое, почти растекающееся стекло показало мне длинное лицо с крючковатым носом. Несколько пергаментных пятен указывали на древность этого лица, а в остальном вы едва б дали ему пятьдесят лет. Правда, взор был притуплен и свежесть губ была обманчива... но сто сорок лет, но сто сорок лет!

Шатаясь, я вышел на улицу.

Я пересекал площадь неподалеку от еврейского гетто, когда вдруг позади себя услышал слово, произнесенное с явным ужасом: «Агасфер». Я обернулся. Еврейский мальчик, болезненный, со слабо закривленными ногами, шерстистый, большеглазый, с длинным серповидным ртом, который я помню отчетливо, глядел на меня.

Несколько детей, должно быть уважая в нем вожака, спешили к нему. Он сказал им громче, указывая на меня: «Смотрите, Агасфер!» И словно множество пробок, выпрыгивающих из воды на поверхность, когда упавшая бочка с пробкой расколется о дно, также выпрыгнуло и заплясало по всем улицам и переулкам гетто: «Агасфер, Агасфер, мимо идет Агасфер!»

Я почувствовал страх, тоску скитаний, которая уже давно мучила меня, но только теперь выявилась с неудержимой силой. Я бросился бежать.

Я бежал по Гамбургу, и вслед мне неслось: «Агасфер, смотрите, бежит Агасфер, ударивший нашего господа!» Эти слова прилипали к моим ногам, как расплавленная смола. Я смотрел на небо, покрытое приближающейся розовой корой заката, и молил небо ниспослать мне ночь. Ночь пришла. Но какая она была потрескавшаяся,— как моя душа. Я лежал в кустах. Все мышцы мои казались закостенелыми, но тоска моя была столь велика, что я встал и пошел!

Я шел и шел, а только лишь останавливался, мне казалось, что я углубляюсь в такие бездны ужаса, перед которыми страх смерти как лист перед величиной целого дерева. Я — Агасфер?! Я — тот Агасфер, о котором спорили люди весь семнадцатый век, о котором писались

книги, легенда о котором с необычайной быстротой облетела всю Европу. Я — бессмертный Агасфер?! Не говорит ли это мое воспаленное воображение, а на самом деле я сластолюбивый старик, начитавшийся глупых книг, все мысли которого обращены назад, в историю далекого прошлого!

Мой посетитель почти задыхался. Его красно-синий рот был широко открыт, обнажая колесовидный оскал больших и острых зубов. Круглая тень его фигуры качалась по стеклам книжного шкафа, и мне казалось, будто лопасти парохода неслышно падают в воду, опускаются и выползают вновь... Я моргал глазами, чувствуя сильную слабость.

Как в прошлый раз, посетитель прервал рассказ внезапно, словно его вспугнули. Он вскочил и заметно более твердыми шагами выскочил в коридор, на площадку лестницы и дробно, словно еж, засеменил по ступенькам.

Я еле доплелся до выходных дверей, когда он уже был внизу, и я отчетливо услышал голос лифтерши: «Илья Ильич! Опозналась, значит?»

Жутко мне стало, когда я, вернувшись в комнату, разобрался во всем смысле этих слов лифтерши.

Можно думать о вашем посетителе как о помешанном или о том, что вообще все его посещение пригрезилось. Но когда после его ухода вы чувствуете чудовищный упадок сил, когда его фигура приобретает *ваши очертания*, когда его голос становится похожим на ваш и когда лифтерша путает его с вами, вы должны будете принять его за реальность хотя бы для того, чтобы бороться с ним.

Я лежал пластом на диване и чувствовал себя придавленным и беспомощным. Мысли мои притупились. В голове стоял неприятный шум. Мой рот и зев были покрыты сухим и раздражающим налетом. Меня лихорадило.

Но коль скоро мне грозила погибель, раз мне не было уже покоя, я должен победить, пускай даже эта победа и ускорит мою погибель. Победить! А как победить? Добро б Агасфера можно было схватить за горло, придавить и выдавить всю правду. Нет! Физической силой здесь немногого достигнешь, а умственной хватит ли у меня? На его стороне многовековая опытность и знание людей, на его стороне — несомненная жестокая лов-

кость, а что на моей, что я представляю из себя?.. Впрочем, довольно самоизысканий! Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда. Борись, бейся, если пришла беда!

Все последующие дни, преодолевая мучающую меня слабость и головные боли, я провел в напряженнейших размышлениях. Прежде всего я задал себе вопрос: почему Агасфер, вернее сказать, фон Эйтцен, пришел в Москву и почему именно ко мне? Он умен, хитер; то, о чем он говорит много, не имеет никакой ценности, а то, о чем он говорит мало, но о чем он молчать не в состоянии, несмотря на всю свою ловкость, — важно и ценно. Того ценней то, о чем он умалчивает.

Прежде всего, почему он толкует так нелепо слово «Агасфер»: какой-то ага сфер, начальник небесных сфер, когда это испорченное древнеперсидское слово Ксеркс. По-еврейски оно читается «Ахашверош», что почти соответствует его звучанию в клинообразном персидском шрифте. И дело тут вовсе не в небесных сферах, а в земных, очень земных. Ксеркс!

О, человечество много знает и много думает! Поистине, оно не бросает слова на ветер, а тем более на ветер вечности. Отдельная человеческая особь — смертна. Это — закон мудрый и постоянный. Ибо бессмертно лишь человечество. Поэтому человек, мечтающий о личном бессмертии,— глупо тщеславен, самоуверен, недалек и бесхарактерен, трус даже. Надо быть гордым, смелым, откровенным и верить в смерть и не бояться ее. Ибо тогда лишь придет настоящее бессмертие — бессмертие человечества. А теперь — о Ксерксе. Царь Ксеркс Первый, сын Дария Гистаспа, правил Персией в 486—465 годах до нашей эры. Он был вял, недалек, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался чудовищной самоуверенностью и тщеславием. Он называл себя бессмертным и верил в это. Жестоко подавив восстание Египта, сомневавшегося в его милостивом бессмертии и жаждавшего самостоятельности, царь Ксеркс задушил такое же восстание в Вавилоне. После этого он направился душить Грецию. Греки разбили его войско, сам он позорно бежал, и хотя война с греками продолжалась еще двенадцать лет, он уже не принимал в ней участия. Он пил вино в гареме, раз-

бирал ссоры своих жен и разоблачал интриги своих министров. Убожество его ума и скудельность его сил, наконец, вызвали такое отвращение, что его зарезали люди, которые должны были его стеречь: начальник его стражи и главный евнух гарема... Недурен был характер у этого вечного странника, которому человечество прилепило имя царя Ксеркса? Какою едкою укоризной звучит это слово — Агасфер!

Однако несомненно, что фон Эйтцену много лет, быть может, больше того, в чем он сознается. В хронике Матиаса Париса я нашел фразу, над которой не задумывались раньше и о которой фон Эйтцен почему-то умолчал: «По словам преподобного Григория, армянского архиепископа, Карталеус, достигнув столетнего возраста, заболевает какой-то болезнью и впадает в род экстаза, после чего снова поправляется и возвращается к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Да, почему умолчал об этих строках фон Эйтцен? Не заболевает ли он сам этой болезнью, этим родом экстаза и не встретились ли мы с ним в конце его столетнего возраста? И откуда считать столетний возраст? С того ли дня, как он стал бессмертным, или же со дня его рождения?!

Конечно же, с того дня, как он стал бессмертным!

Я перечел легенды и обнаружил, что последний раз Агасфер посетил Гамбург в 1744 году. Из Гамбурга он поспешно направился на восток. Предыдущие его посещения были более часты, но меня интересовало другое — посещал ли он Гамбург в 1644 году? Оказалось, посещал. А столетие позже? Ну, разумеется! Ведь сам же он сказал мне, что, окончив учение в Виттенберге, он приехал к родным в 1547 году. Правда, три года разницы... а если это намеренная разница? Разница, чтоб запутать меня, не открывать того, чего ради он посещал Гамбург каждое столетие, не открывать пути, по которому он уходил из Гамбурга — пути на восток?

Почему именно на восток?

Я еще раз тщательнейше перебрал все его слова и выражения, все его мельком брошенные фразы, и особенно остановился я на его возвращении в Гамбург, когда он впервые узнал, что превратился в Агасфера.

Если помните, он сказал, что не заехал к родным, а оставил слугу с багажом в гостинице «Меч и яйцо». Что это за гостиница и что это за странное название?

Даже среди тогдашних вычурных названий гостиниц это одно из самых необыкновенных и самых малоправдоподобных. Нужно помнить, что немцы всегда старались возвеличить слово «меч», иронизируя над словом «яйцо» и особенно «яичница». Сопоставить эти два слова вряд ли бы отважился, да особенно в семнадцатом веке, какой угодно хозяин гостиницы.

Несомненно, что сопоставление это нужно было Агасферу для чего-то другого. Для чего же?

В рукописном отделе Исторической библиотеки есть ненапечатанный труд профессора Трубо: «Эмблемы и символы средневековья». Я без особого напряжения нашел сочетание «меч и яйцо». Опираясь на слова Кассиодора, Приока и Аммиана Марцеллина, а также на ученые примечания Гиббона, Линдеброгия и Валуа, профессор Трубо утверждал: «Нетрудно понять, что скифы должны были чтить бога войны и бога жизни с особым благоволением. Но так как они не были способны ни составить себе отвлеченное о них понятие, ни изобразить их в осязательной форме, то они поклонялись своим богам-покровителям под символическим изображением меча, воткнутого рукоятью в землю, возле острия которого лежал другой символ — символ жизни — золотое яйцо, золотое солнце».

Ага! Восток, скифы, меч, золотое яйцо... Сто почти лет мучает фон Эйтцена страх смерти, страх наказания, и к концу столетия страх этот приобретает особенно острую, непереносимую форму. Страх влечет его на восток, туда, где под символом «меча и золотого яйца» находится его смерть! Да, да, я понял его! Смерть фон Эйтцена лежала где-то на востоке. Мы мало говорим о своей смерти. Легенд об Агасфере, кроме заносных, не рождалось у нас на востоке, потому что фон Эйтцен избегал востока.

Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающим о нем, дает ему надежду на жизнь. Именно этому человеку Пауль фон Эйтцен должен рассказать о своей смерти! Если он способен обнаружить смерть бессмертного — Пауль фон Эйтцен умрет в ужасающих страданиях. Если же человек будет недостаточно дальнозорок, он погибнет, снабдив Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в новое путешествие, в новые сто лет!

Вот к каким необычайным выводам пришел я, размышляя об Агасфере и Пауле фон Эйтцене. Вы можете говорить обо мне что угодно, но вы должны согласиться, что при обстоятельствах, в которых находился я, других выводов быть не могло. Повторяю, я реальный человек реальнейшего двадцатого века, живущий в наиреальнейшем государстве, и если я пришел к таким необыкновенным выводам, значит, я имел к этому серьезные основания. Одно из них было то, что я *уменьшился* в росте, голова моя начала суживаться и *удлиняться,* голос ослабел. Короче говоря, я приобретал вид Агасфера, в то время как Пауль фон Эйтцен, несомненно, приобретал *мой вид!*

Я живу в Замоскворечье, неподалеку от Крымского моста. Вы помните, наверное, этот мост, похожий на среброкрылого жука, эти крылья, сахароподобно сверкающие на июльском солнце; рыжеватую кайму реки под ним; Парк культуры и отдыха рядом, откуда выглядывают дула трофейных пушек.

Я шел через мост, возвращаясь из продмага, к которому я прикреплен. Ноша легка, но нести ее было тяжело: руки мои словно из песка, да и сам я весь бесформенный, мешкообразный.

Где-то *надо мной* раздался знакомый голос:

— Не помочь ли вам, Илья Ильич?

Вровень со мной,— нисколько *не ниже* меня,— шел мой, так хорошо знакомый, посетитель. Лицо его заметно поправилось, костюм был на нем новый, с широкими модными плечами и едва ли не из американского материала и вообще весь его колер был нахальный, лососево-красный. Шагал он с чрезвычайной подвижностью, передергивая плечами от удовольствия и даже пританцовывая:

— Оздоровляющий воздух и сияние, Илья Ильич, а? Я всегда, пересекая Москву-реку, чувствую себя, видите ли, очищенным. Целебнейший город, батюшка, наицелебнейший. А я на вас смотрю и думаю,— кажется, он? Изменился! Во мне — смятенье! Испуг! Обморок. Ха-ха-ха!.. Таких бы делов человек наделал — беда, а тут до чего довели, ха-ха-ха!..

С его точки зрения, он совершенно правильно сделал, что выбрал для разговора улицу. Он мог плести, сколько ему угодно, вставлять любые и необходимые для него *слова,* а я — только разводи руками. Мой ослабевший

голос не покрывал бы текучего шума улицы, и фон Эйтцен всегда мог бы сослаться на то, что не слышит. И выходило так, что он очень остро издевался надо мной, а так как он брал всю мою жизнь, то и над моей жизнью. Так тому и быть...

Нет! Именно поэтому-то и не быть!

Я собрал последние силы, вскочил, под режущий уши свист милиционера, в трамвай и, не обращая внимания на брань и крики, протискивался к выходу. «Изгонять чертей, так изгоняй решительно!» — бормотал я, выскакивая через одну остановку.

Так же поспешно я перешел улицу и поднялся, прыгая через ступеньку, к лифту. Лифтерша еле успела спросить: «Братец будете Илье Ильичу?» — причем неизвестно было, к кому обращен был ее вопрос: ко мне или к фон Эйтцену.

Я бросился на диван. Стакан, наполненный водой, плескался в моей руке. Я медленно, глоток за глотком, поглощал воду и смотрел на встревоженное лицо Клавы. Да, да, она ждала меня в моей комнате!

Я предложил Клаве чаю. Она отказалась. Собственно, мне ей нечего было предлагать. Чаю у меня не было уже несколько месяцев. Иногда я ездил к своим знакомым в Толстопальцево, собирая там в лесу листья брусники. Я утверждал, что настой из брусники очень тонизирует, гораздо больше, чем настой чая. Вряд ли знакомые верили мне. Они спекулянты, у них водится чай, сахар и даже печенье. Они, по-видимому, считают меня за сыщика, из тех, которые голодают,— есть и такие,— и которых можно подкупить продовольствием. Они усердно угощают меня. Мне стыдно,— какой я сыщик! — но я не отказываюсь от еды и говорю многозначительно. Ах, какая гнусная жизнь!

— А вы очень изменились, Илья Ильич.

— Ослабел.

— На улице, возможно, я бы вас не узнала.

— К лучшему.

— Зачем меня обижать, Илья Ильич! Я вышла замуж по любви.

— Пару дней назад вы говорили другое.

— Врала.

— И насчет лысины?

— Нет, насчет лысины правда. В конце концов как его не любить? Ко мне, представьте, явилось пятеро родных из разбомбленного города. Больные, голодные. Теснота ужасная. Именно тогда он предложил стать его женой. Именно тогда я полюбила его.

— За доброту?

— Это великое качество!

— Ко мне вы некогда испытывали другое чувство, не правда ли?

Она промолчала. Я переспросил:

— Другое? Более плотское, а?

Она сказала:

— Пожалуй, я уберу вашу комнату. Вы, Илья Ильич, наверное, не убирали ее уже несколько дней...

— Недель, пожалуй.

Был вечер. Она убрала комнату, заварила листья брусники, попробовала мой хлеб, отложила его в сторону и, вяло улыбнувшись, достала из сумочки пирожки. Она молча положила их передо мной.

«В конце концов почему мне их не есть?..» — подумал я. Я не успел додумать, как пирожки уже были съедены. «Свинья и я, свинья и она, и безразлично, из какого корыта едят эти свиньи». Понимая, по-видимому, мои мысли, она, глядя мне твердо в глаза, медленно проговорила:

— Я буду приносить вам каждый день. Это тоже доказательство, что не совсем продалась.

Я вдруг обеспокоился. Связки «Русского архива» куда-то исчезли. Но она ведь не переставляла ничего! Ах да! Уходя сегодня в продмагазин, я их убрал под кровать. Я быстро сказал:

— А уж поздно, и у вас пропуска нет, Клава?

— Откуда ему быть?

— Еще полчаса, и тогда вам придется остаться здесь. Соседи, правда, тихие.

— Зато вы, Илья Ильич, нынче громкий.

Она засмеялась. Нехороший и недобрый был это смех! И, однако, он нравился мне.

— Клавдия фон Кеен тщетно преследовала Агасфера сотни лет, — сказал я. — Он страстно желал, чтобы она догнала его: пусть даже это будет смерть! Мучительнейшее состояние, и все же он жаждал его.

Она ничего не сказала мне на эти слова: словно и не слышала. Полчаса между тем миновало. Она опять

взглянула на меня тем твердым взглядом, от которого я весь содрогался, провела ладонями по своей голове, словно собираясь расплетать косы, но затем, раздумав, видимо, положила руки на колени. Так она сидела минут десять — пятнадцать, затем неторопливо поднялась и медленно, но умело разложила постель.

— Кабы полгода назад...— начала она, взбивая подушку.— Но люди так глупы, так глупы! Илья Ильич.

— А?

— Бросили бы вы думать об этом Агасфере.

— Да я уже от него отказался, от сценария то есть. А между прочим, почему?

— Не люблю я евреев.

— Вот тебе на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность.

— Ничего. Да и я им. Впрочем, я и татар не люблю.

— А русских?

Она вдруг обняла меня и поцеловала.

По-видимому, со мной случались обмороки, которые я, так сказать, переносил на ногах. Во всяком случае, я совершенно не помню, когда исчезла Клава и когда появился фон Эйтцен.

С усилием размахивая руками, точно ломая скалы, я внезапно спросил его.

— Клавдия фон Кеен гнала вас к смерти, обещая у порога ее свою любовь? Так? Вы — шли, но, не дойдя до смерти, быть может, трех шагов, пугались и кидались к тому, кто пожалует вам свою жизнь. Сейчас я тот, к которому вы свернули. Ну что же, я согласен. Я дам вам жизнь, если вы назовете место, где вы должны встретиться с Клавдией фон Кеен... то место, которое вы скрывали сотни лет.

Шероховатое и *округлившееся* — мое! — лицо Агасфера словно покрылось тонким слоем мыльной пены. Сквозь этот слой вспыхивали и испуганно гасли кроваво-красные глаза. Я со вкусом повторил:

— Да, вы должны мне сказать, где находится ваша смерть, Агасфер! Пора. Вам, по-видимому, известно, что до сих пор в Пикардии и Бретани, когда ветер неожиданно взметет придорожную пыль, простой народ гово-

рит, что это идет Агасфер. Мне хотелось, чтоб говорили: «Пыль есть пыль, и это даже не пыль от Агасфера»,— и смеялись бы, ха-ха-ха... Пришло время!

Он сел опять на экземпляры «Русского архива» — откуда они? — и, вытянув ко мне *мясистую* — мою! — круглую голову, словами как бы пополз ко мне, чтобы завиться вкруг меня и — задушить, высушить:

— А не забросить ли нам всю эту болтовню, как зазубренный топор, а, Илья Ильич?! Не взять ли, так сказать, извозчика и отправиться в другую сторону?..

— Беда, ха-ха-ха, бежать надо от беды, ха-ха-ха!..— смеясь через силу, чтобы ошеломить его, сказал я.— Ведь вы остановились на рассказе об Испании? Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять?..

Я поймал его! Он поддавался моему смеху. Он испугался! Он послушно шел за мной, за *моими* словами, за *моими* мыслями. Потирая руки, я глядел на него, а он бормотал:

— Да, да! Анно, тысяча пятьсот семьдесят пять? Господин секретарь Кристоф Краузе и магистр фон Гольштейн пребывали некоторое время, видите ли, в качестве посланников при королевском дворе в Испании, а затем в Нидерландах. Вернувшись домой в Шлезвиг, они рассказывали, подтверждая клятвами, что видели в Мадриде удивительного человека, которого двадцать один год назад видели в Московии...

— Верно. Ха-ха-ха...— откинувшись на спинку дивана, сказал я.— Он пришел из Московии? А что говорит — анно, тысяча шестьсот сорок три, а?..

И тогда Агасфер послушно сказал:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? Илья Ильич!..

Я сказал совсем строго:

— Ну?

И тогда Агасфер сказал то, что я ждал страстно:

— Анно, тысяча шестьсот сорок три? В Кристмонде правдивым лицом из Брауншвейга написано, что в то время известный чудесный человек находился в Вене, затем в Любеке, затем в Кракове, а затем пошел в Гамбург, намереваясь побывать...

— Где побывать? — грозно привстав, спросил я.

— В Московии,— ответил он шепотом.

— Появлялся ли он в Московии?

— Хроники говорят: там его многие видели.

— Агасфера?

— Да.

Я воскликнул с торжеством и тревогой:

— И для приобретения жизни вы должны вызвать к себе *жалость* того, кто даст вам *жизнь* и возьмет вашу *смерть?*

Он прошептал своим, уже размочаленным, голосом:

— Вы меня, Илья Ильич, ведь жалеете...

Это был не вопрос или утверждение, это была просьба, унылая и молящая. Я расщепил его на мельчайшие волокна, и он сознавал это! Ему оставалось одно: вызвать во мне жалость к нему. Ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать «несчастненьким», ту жалость, которую в наши дни, когда много кричат о России и русских, вызвать особенно легко.

Я сказал:

— Ну что же, мне жалко вас, фон Эйтцен.

Если бы вы видели, как он подпрыгнул! Столетия он привыкал сдерживаться, а вот, смотри-ка, не сдержался. Он завизжал почти по-собачьи:

— Боже мой! Как хорошо, Илья Ильич!

«Считает меня совсем за дурачка»,— подумал я с раздражением, и жалость, если она действительно была, покинула меня.

Играя им, я сказал небрежно:

— Ну, что нам говорить о смерти! Вам, несомненно, пришлось многое испытать, однако смерть от вас далека. Очень далека.

— Разумеется, хе-хе-хе, далека, разумеется! В том-то и беда, Илья Ильич, что далека, хе-хе-хе! Мое столетие, видите ли, не кончилось.

— Ну, какое там столетие? Вам едва ли дашь шестьдесят лет.

— Значит, мой возраст не внушает вам опасения? — произнес он настолько вкрадчиво, что у меня похолодело под ложечкой. Но нащупывать истоки его смерти доставляло мне такое болезненное, а вместе с тем приятное удовольствие, что я не прервал опасной нити разговора, а сказал:

— Какие опасения!

Он весь так и расплылся в улыбке, скорпионоподобной, если допустить, что скорпионы способны улыбаться.

Я внезапно повернулся к нему всем телом и спросил:

— Ваша смерть — на востоке? Вы приблизились к ее центру? Поэтому-то вы можете жить здесь более трех дней?

Думаю, что фразы мои обрушивались на него с тяжестью тех скал, о которых я говорил недавно. Он съежился и как бы вползал в какую-то щель, тряся головой и судорожно перебирая пальцами. Только взгляд его готов был пробить меня, как доску гвоздем, и, содрогаясь от ненависти к этому взгляду, я сказал:

— Она ужасна, *ваша смерть,* фон Эйтцен?

Я услышал шепот из щели:

— Да!

— Она — непереносима, эта ваша смерть, фон Эйтцен?

— Да!

Я продолжал наносить удары:

— Где же она находится, *ваша смерть,* фон Эйтцен? Скажите мне адрес вашей смерти? Огорчил? Печалюсь, ха-ха-ха! Кручина большая, но говорите мне адрес вашей смерти!

Он быстро привстал. Или он хотел убежать, или — броситься на меня. Но, привставши, он, словно накрепко увязанный веревками, что от резкого движения впивались в тело, рухнул на пачки «Русского архива», из которых хлынула пыль.

— Она... она здесь...— еле шевеля распухшими, толстыми, точно из войлока, губами, ответил он.— Она, видите ли, здесь, Илья Ильич, здесь...

— Не молвя — крепись, а уж молвя — держись,— едко сказал я ему.— Так что же это значит: «здесь»? Здесь, в Москве?

— Возле...

— Да вы что, издеваетесь надо мной?! — крикнул я.— Говорите мне точный адрес!

Разговор с ним мне стоил дорого. Силы мои заметно уменьшались. И покуда сознание не покинуло меня, я подзадоривал себя всячески, а ему всячески показывал, что сил во мне еще много. «Самое главное, самое главное, не дать ему ускользнуть, надо показать ему мое могущество»,— твердил я.

Он, поежившись, ответил:

— Станция Толстопальцево. Киевской железной дороги. От станции влево. Третья поляна. По ту сторону тропинки, на юг, шестое дерево... в корнях.

И тогда я резко задал ему последний вопрос, которого, по-моему, он особенно боялся:

— Какой вид у вашей смерти?

Я заметил уже давно, что слово «смерть» он не произносил. Оно шатало его, валило с ног. Поэтому, едва только он проявлял желание увильнуть, я бил его этим словом.

— Лежит... лежит, видите ли... лежит, Илья Ильич!

— В чем лежит ваша смерть? В коробке? В бутыли? В суме? В кошеле?..

Он кивнул.

— В кошеле?

Он еще раз кивнул, но совсем слабо.

О чем мне еще говорить с ним? Усталыми глазами я смотрел, как он, шатаясь и держась обеими руками за дверки книжных шкафов, плелся к выходу. Мне страстно хотелось, чтоб он исчез возможно скорее, особенно после того как я заметил, что он *разного* со мной роста и что моя кепка, которую он взял со стула по ошибке, была ему как раз по его *круглой* голове.

После его ухода я почувствовал изнеможение, голова закружилась, и я грохнулся на пол. Очнувшись, я стал перебирать в памяти происшедшее. Голова работала, хотя и медленно, но ясно. Одно обстоятельство, на первый взгляд пустячное, заставило меня вскочить.

Я припомнил свою привычку: когда я говорю с кем-либо, мои руки машинально берут со стола книгу и начинают ее поглаживать по переплету, как вы, например, ласкаете кошку по шерстке. Так вот, *то же* самое делал мой посетитель! Мороз, именно вяжущий и мелкощетинный, мороз подрал меня по коже. И в то же время неизвестно почему я вспомнил и начал бормотать фразу из Островского: «Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет». И я не мог припомнить: то ли это из «Бедности не порок», то ли из «Грозы». Боже мой, да и какое мне до этого дело, когда тут такие змееуползающие дела!

Его день жизни двигался по моей, как двигается поршень на всем протяжении цилиндра машины. А мой день?! Неужели я позволю усыпить себя... Прочь! Да вставай же, Илья Ильич! Руки! Ноги!

Превозмогая тошноту и боль под сердцем, я нашел какую-то палку и, опираясь, потащился к выходу. Кожа моя лупилась, словно я ее обжег на солнце, а руки до локтей были покрыты клейким потом.

Не помню уже, каким образом добрался я до кассы пригородных поездов. Знаю только, что с севера попрежнему дул холодный ветер, а края низких облаков, быстро бегущих по небу, были оранжевы, блестяще-шелковы.

— Вы давно ждете? — услышал я слабый голосок Клавы.

— Жду фон Эйтцена,— без всякого удивления ответил я.

— Кто он?

— Агасфер. Но ему недолго им быть.

— А почему, собственно, он должен смотреть вместе с нами комнату, где жить нам?

«Нам? Значит, мы почему-то должны передать кому-то... — может быть, родственникам Клавы или Агасферу?..— мою комнату и переехать в Толстопальцево?» — подумал я смутно и сказал:

— Я хочу показать тебя Агасферу. Ты не отказывайся: это доказательство твоей любви ко мне.

— Согласна и на большее.

— А на что именно? — спросил я с трепетом.

— На все, что ты велишь.

— Нет, не на все! — закричал я громко.— Мало ли какие идиотские мысли мелькнут в моей голове. Ни в коем случае нельзя подчиняться всему! Ни в коем.

— Именно всему. Это и есть любовь.

— Но мне приходит в голову чудовищное. Если оно придет, не верь ему.

— Я верю всему, что ты говоришь.

— Даже существованию Агасфера?

— Даже!

— Ха-ха!

— Чему ты смеешься?

— Как быстро ты дисциплинировалась.

— Тебе не нравится?

— Нет. Мне бы хотелось видеть тебя недисциплинированной. Давно когда-то на островах Фиджи прибывший туда путешественник узнал, что стоящий перед ним вождь дикарей съел семьсот островитян. Путешественник сказал: «Но неужели вам, вождь, не противно было

есть людей?» Вождь, вздохнув, ответил: «Есть их было действительно противно,— они такие недисциплинированные!» Смешно, верно?

— Смешно.

— И будет смешно, если я тебя захочу съесть?

— В Ленинграде одна моя подруга отдала свое тело своему любимому. Там, знаешь, ведь сильный голод,— ответила Клава спокойно,— и там всякое случается. Мы будем ждать?

— Агасфера? Да, мы будем ждать. Если я напугал его — он придет. Если же он нашел лазейку... впрочем, я не уверен!

Ушел трехчасовой. Следующий в четыре десять.

Двое каких-то знакомых с корзинками подошли к кассе. Они ехали по грибы. С участием они расспросили меня о здоровье и дали адрес гомеопата. Покупали билеты огородники с лопатами, завернутыми в тряпки, военные. Какой-то курносый юноша в полосатых брюках пожимал украдкой руку девушке, а та, нежно и гибко качаясь, улыбалась, показывая ряд крепких, северных зубов. Ушел и — четыре десять.

— Спал хорошо, милый?

— Великолепно.

Где уж там великолепно!

Всю ночь меня мучил бред и тупая, печатеобразная боль в боку. Я вставал, поднимал затемнение. Переулок наш выходит на широкую улицу. Я видел движение машин, везущих орудия и снаряды. Там где-то фронт, моя дивизия, товарищи, а я здесь — совершенно беспомощный. Ах, еще бы хоть ложечку силы, крупицу жизни! Я б ее употребил так умело, так умеренно, что никакому Агасферу не миновать и не обмануть меня!

— Что-то говорит мне, дорогой, — он не придет.

— Нет, придет!

Она права. Он не придет! Он взял от меня все, что ему надо взять. А я... я — умирай!.. Я — покидай эту изумрудно-зеленую, шелестящую непрерывно листву, эту девушку в полосатой юбке, что улыбается крупными, как бобы, зубами и жмет руку молодому человеку. Пусть не мне, пусть, но я счастлив, что вижу, как она жмет ему руку и как шелестит это дерево, возле корней которого богатые впадины, где в жаркий день приятно прилечь... Нет Агасфера? Найди его! Поймай! Но где найдешь его, у кого спросишь и как спросишь?.. Граж-

дане, вы не видели некоего Агасфера, похожего... похожего на меня, а, ха-ха-ха!..

Голова моя гудела, как пустое ведро. Я сжимал зубы, закрывал глаза. Я тер руками лицо, потому что кожа казалась мне грязной, — и сам я грязный, глупый, сбивчивый и бестолковый, как плоскодонная лодка.

— Клава, ты меня любишь?

— Безумно!

Вопрос, разумеется, банальный, да и ответ не лучше, но в глазах ее светится такое, что ярче и выразительнее любых не банальных слов.

— И готова доказать?

— Я уже доказала: бросила мужа и...

— Подожди, подожди!..

Я отвел ее от кассы. Мы остановились против входа на перрон. Я вспомнил, как ночью, перед рассветом, подошел к окну и поднял синюю бумагу, этот паспорт войны. Небо было холодное, глубокое, как только оно бывает поздней ночью. На краях стекол осела роса, и в ней дрожали разноцветные звезды. Я глядел, не отрывая глаз, на эту росу. Мучительный стыд охватил меня. Как я беспомощен! Неужели я ничего не придумаю?..

— Подожди, я потребую от тебя большую жертву... огромную! Быть может, бóльшую, чем отдать мне на съедение свое тело.

— Я готова, милый.

— Не торопись, не торопись! Видишь ли, эти слова будут вроде заклинания: он, Агасфер, должен явиться на них. Ты сейчас будешь Клавдия фон Кеен, и ты должна будешь вернуть свою любовь Агасферу.

— Вернуть? Но я его никогда не видела, дорогой.

— Увидишь, как только скажешь, что согласна вернуть. Согласна.

— Я подчиняюсь тебе, дорогой.

— Нет, ты скажи, что согласна!

— Согласна,— ответила она твердо.

— Агасфер, вы?!

Клава с удивлением переводила глаза — с меня на него.

— Похожи? — спросил я быстро.

Она нехотя ответила:

— Есть некоторое сходство.

«Некоторое? Ха-ха! Абсолютное!»

Он теперь — высок, широкоплеч, широколиц, с маленьким подбородком и узкими, пронзительными глазами. Я — низенький, узкий, длинноголовый и тусклый, тусклый. И, глядя на него, я думал последними остатками *моего* интеллекта: «Вот она, снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел!» Я, разумеется, как всегда, преувеличивал. Отдано не все, раз я в состоянии бороться и думать,— однако отдано много. А как же иначе? Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног?

Лишь бы не сплошать, лишь бы не промахнуться, Илья Ильич!

Я твердо знал, что не промахнусь. У меня есть средство для достижения цели. Неопровержимо, что он *должен* отвечать на мои вопросы о его смерти. Почему *должен?* А потому, что тысячу лет назад мои свободолюбивые предки — скифы признавали только двух богов: меч, защищающий нашу свободу, и — золотое яйцо, символ нашей жизни и творчества. Этим священным мечом они пронзали зло, и хотя не убили его совсем, хотя и зло осталось, но ведь остались и потомки, которые тоже могут держать меч! Ибо меч свободы на моей земле, и когда я с моей земли спрашиваю врага и он видит в моих глазах отблеск стали бессмертного меча моей родины, он, дрожа от злобного испуга, *должен* отвечать мне.

— Адрес вашей смерти,— спросил я,— Толстопальцево?

Он молчал, не отрывая глаз от Клавы. Какой там меч, какие скифы, какое там золотое яйцо! Любовь владеет и повелевает миром, а все остальное — шовинистическая болтовня и умственное ничтожество. Именно любовь, а не меч и золотое яйцо ведут нас в Толстопальцево!

— Толстопальцево?

Растопырив пальцы и поводя ими перед лицом Агасфера, я повторил свой вопрос. Мне было нелегко. Даже мои пальцы, казалось, натыкались на колючие взоры моего посетителя, а про сердце и говорить нечего. Мне все думалось, что я вот-вот сорвусь, как срывается напряжение, когда свернешь нарез винта. Хмелем кружилась голова, во рту был дикий, острый вкус:

— Агасфер! Вы что, думали смести меня метелкой, как сметают пыль со стола? Вы думали, что вся моя жизнь уже в ваших руках, Агасфер? Нет! Нет! Пусть вы взяли половину моей жизни, пусть даже три четверти, девять десятых, а все же ваша жизнь вот где...

И, почти дотрагиваясь до его, от волнения покрытой словно мелкими и серыми чешуйками ⟨руки⟩, я раскрыл емкую мою руку.

— А вы куда? — по-прежнему пристально глядя в лицо Клавы, спросил он.

— В Толстопальцево.

— А вы? — крикнул я ему.

— В Толстопальцево, — ответил он.

— Так поехали же!

Он послушно выпрямился и, огромный, сероволосый, поднялся надо мной с такой покорностью, что у меня, перед моим собственным могуществом, захватило дух. Я пролепетал:

— Указывайте путь!

Кассирша Киевской пригородной выбросила нам три билета шестой зоны. Я взял твердые темно-желтые квадратики.

Он сидел на скамейке против меня, опустив круглую голову и зажав руки между колен. В вагоне сильно курили, проходили певцы, пренебрежительно ставившие гармошку на колено и рассыпавшиеся фальшивыми звуками; слепой инвалид с заношенными ленточками ранений рассказывал об обороне Севастополя; девушки-зенитчицы смотрелись в карманное зеркальце, излучавшее густо-сплоченный свет. Почти без толчков, словно курьерский, несло вагон, и молочницы говорили, что пригородные поезда водят самые лучшие машинисты, а огородники с уважением поддакивали: «Как же иначе, молоко ведь расплескаешь!» И неизвестно было: кто над кем подсмеивался.

Вместо нижней пуговицы у воротника гимнастерки болталась и падала на небритую щеку его длинная суровая нитка. Я смотрел на этот крошечный подбородок фон Эйтцена, так не вяжущийся со всем большим и круглым его лицом, и думал: «Кто же он, наконец? Шутник, диверсант, сумасшедший, больной манией преследования, контуженный при бомбежке или — потерявший

семью? Узнаю я правду, или он опять убежит от меня? И что произошло, что заставило меня поверить ему? И кто я такой? Шутник, сумасшедший, контуженый?..» Нитка падала ему на толстые, распухшие губы, он нетерпеливо снимал ее, и ветер, рассеянно падавший в окна вагона, перебрасывал ее на грудь.

Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия заспал ее, как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только нельзя научиться?! Какие бы можно было написать мемуары и каким бы можно было быть преподавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария или фильма?!

Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узкокрылые молодые грачи, учившиеся летать.

Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают певцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцена, сказала:

— Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой густой взор на меня.— Верно говорю, инвалидушка?!

Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она, при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву:

— Вы не отказались от вашего решения?

Она ответила с тоской:

— Нет.

И, помолчав, добавила:

— Если вы настаиваете.

Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Эйтцен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену:

— Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь.

Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала:

— Я ничего не понимаю, но раз он так хочет...

И она опять умолкла.

Шагая по остаткам «козьих ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники — спрыгивали на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!»

Начальник станции, хромой, в большой алой фуражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупно-ребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать.

Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это *мои* волосики, мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил:

— Адрес вашей смерти — Толстопальцево?

Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед.

Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где она собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили!

Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье.

Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых листка, даже и летом падающие с осин,

небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдачу...

Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всему странному происшествию.

Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепельно-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевы, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкоре.

Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь завитый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал. Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойди дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя.

Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размеров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами вытрясают пыль из савана.

Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырчатые воды. Откуда эти древние вековечные болота? Под Москвой?!

— Дорогой, долго еще идти? — послышался позади тихий и ласковый голос Клавы.

Не оборачиваясь, я ответил:

— Скоро.

— Скоро! — подтвердил фон Эйтцен.

Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня.

Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеленым мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядшими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять охватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки.

Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был во всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет.

— Здесь!

И он взглянул на Клаву.

— Узнаете? — спросил он.

— Я никогда здесь не была.

— Обманул? — крикнул я.

— Зачем, зачем мне вас обманывать? — воскликнул фон Эйтцен. — Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб!

И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве:

— Узнаете теперь?

— Да ничего я не узнаю.

— Уйдете со мной?

«Ой-ой-а-а-с-с-ф!..» — подхватил ветер.

Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схему горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию.

Кругло, железно-выпукло ударил гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вздох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под собою.

Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку, к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс и, несмотря на то что противник мой был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек.

— Держи его, милый, держи! — слышал я рядом с собой голос Клавы.

— Не убежать, шалишь!

Дуб лежал, вытянув кверху толстые, цвета густой умбры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.

В глубине, между вывороченных камней, я увидал продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.

— Клад!

Молодая женщина толкнула меня локтем в бок и, смеясь, очень, по-видимому, довольная, устремилась к сундучку. Фон Эйтцен, оцепенев, глядел на мои руки. Губы его еще шевелились:

— Пожалуйста, Илья Ильич, очень прошу вас, осторожнее. Опасно...

Фон Эйтцен стоял среди кочек, в болотной нежно-лиловой лужице. Там было мелко, едва доставало до лодыжек, и, чтобы лучше видеть сундучок, он поднялся на кочку. Мальчишеское почти веселье овладело мною. Я крикнул:

— Слушайте, вы, припухлость! Ведь тут действительно меч и яйцо. Я вам сейчас покажу...

— Не трогайте, не трогайте! — продолжал он вопить, присев на кочку.— Умоляю вас, не трогайте!

Я всецело был поглощен находкой. Приятно и мило было прыгать по корням дуба, которые качались подо мной; приятно было взять в руки пепельно-серую холодную сталь лезвия; приятно было смотреть на рукоятку, сделанную, должно быть, из мамонтовой или слоновой кости в виде медведя, ставшего на дыбы, а еще приятней было взять тяжелую сумочку. Меч был короткий, не больше метра; вдоль его шел глубокий желобок, по дну выложенный золотом.

Размахивая мечом, я поднялся вверх по корням и опять встал на стволе. Радость, переполнявшая меня, требовала исхода. Я легонько ударил мечом по суку, толщиною не менее как в три пальца, и сук упал, скошенный. Однако с этой штукой надо быть осторожным! Она чертовски остра.

И я крикнул своим спутникам:

— Идите ближе!.. Сейчас во всем разберемся.— И я начал рассуждать, разглядывая меч на полном свету: — Сначала думал: старинная штука, а затем — откуда старине знать нержавеющую сталь? Ведь он много времени, столетия, быть может, лежал под дубом. И не заржавел! Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его, а?..

Осторожно обернув часть лезвия носовым платком, я взял меч под мышку и, освободив руки, начал растягивать кольца металлической сумочки.

Тощий, срывающийся крик фон Эйтцена донесся ко мне:

— Умоляю-ю...

— Да идите вы к черту,— сердито сказал я,— что вы там, дядя, беситесь? Билет я вам дал, если вам неприятно смотреть на меня, возвращайтесь на станцию.

И, не раскрыв сумочки, я спрыгнул со ствола и пошел через просеку к моему спутнику.

Лицо его приобрело махрово-красный цвет. Он начал пятиться, и, странное дело, он уже не казался мне такого высокого роста, как прежде. Мало того, он был значительно *ниже* меня, а *удлиненная* его голова была непропорционально велика по отношению ко всей его фигуре. Впрочем, ни рост его, ни его *длинная* голова не занимали меня теперь так уж остро. Занимало другое. Его манера пятиться. Он пятился, мелко-мелко шагая, и все вокруг кочки, в той лиловато-нежной болотной водице, куда он попал, когда я его толкнул.

Он кружил по этой лужице, показывая мне то спину с высоко вздернутым ремнем из брезента, то суровую длинную нитку от пуговицы. И вот еще что было удивительно: он кружился и, клянусь, на глазах моих уменьшался в росте, словно винтообразно уходил в землю, хотя почва не понижалась, и тина не засасывала его, и вода по-прежнему доходила только до лодыжек.

— Ну, знаете, вы, дядя, фокусник,— сказал я, смеясь,— и если б вот не это дело...

— Да, да, надо посмотреть, что в сумочке,— сказала, тоже смеясь, Клава.

Тут я услышал голос фон Эйтцена.

Он сердито кричал:

— Я имею на нее все права! Почему она не идет ко мне?

— Слушай, дорогой, — сказала мне Клава, — его, кажись, засасывает: надо ему помочь!

— А и помоги, — сказал я, растягивая кольца сумочки, что отливала вишневым и слабо позванивала. — Протяни ему жердь, их здесь много.

— Он требует руку, милый!

— Ну, дай ему руку, раз он требует.

Кольца сумочки легко раздвинулись, и я увидел на дне небольшое, не больше голубиного, золотое яичко. На душе у меня стало легко и весело; я радостно рассмеялся.

Я осторожно достал яичко и положил его на ладонь.

Приятное, теплое чувство все росло и росло во мне. Казалось, прибавилось во мне сил, казалось, увидал я родные и широко знакомые места, казалось, встретил я ближайшего и любимого человека... даже рот был у меня окрашен каким-то невыразимо чудесным ощущением. Ух, хорошо! Ух, замечательно! А небо в ушастой шапке из туч! А горностаевые березы! А сосны, стволы которых ближе к вершине окрашены в цвет абрикоса! А базальт родного чернозема, тот базальт, через который не пробиться никакому врагу! Замечательно! Чудесно! Здравствуй, родной мой мир, так высоко поднявший свои бобровые ресницы!

Мне хотелось ощупать яичко со всех сторон. Я зажал его в руке.

И вдруг я почувствовал в руке своей медленное, еле ощутимое биение, словно я держал в руке крошечную птичку. «Тик, так, тик, так...» — билось в моей руке сердце жизни, и это биение было так сладостно, что я закрыл глаза.

Ветер утих. Лес стоял в голубом безмолвии, пробивавшемся ко мне сквозь прикрытые веки. Ах, так бы и стоять, стоять вечно, вросшим в этот лес, в это безмолвие...

Тишину вдруг разрезал грызущий и прерывающийся на невыносимо высоких нотах звук. Всплеснулась вода...

Я раскрыл глаза.

Возле кочки, вкруг которой кружил фон Эйтцен и куда направилась Клава, ходили легкие, нежно-голубые

круги. Они делались все реже, реже, все медленнее, медленнее, и вот, вот прошел последний, такой тоненький, точно ниточка пробежала по воде, — прошел и скрылся навсегда.

— Клава, Клава! — крикнул я.

Лес безмолвствовал. Тропинка к станции шла прямо, длинная и безлюдная.

Наш темный дом с ярко-желтым подъездом и двумя серыми арками ворот, разрезающими его на три части, стоит возле крошечной площади. К площади выводят вас переулки, узкие и истертые, почему-то всегда напоминающие мне подтяжки. Я шел по одному из переулков.

Мне нравится московское затемнение. Это резко очерченный и выразительный снимок войны. Недавно был дождь. В переулке тускло поблескивали мокрые булыжники. Позади меня ревела, трещала и бушевала Москва. Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения. Подвалы домов пахли перегноем и водой. Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынутием жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере. Мне виделся он в маленьком итальянском городе, что-то вроде Римини во времена тирана Сигизмондо Малатеста, так умело соединявшего высокое художественное и научное образование пятнадцатого века с умышленной жестокостью.

«Нет, что ему делать в Москве? — думал я с усмешкой. — И как это мне взбрело в голову писать о нем сценарий? Он не для нас, и мы не для него. Глупо».

Вспомнив свою работу над Агасфером, я вспомнил и Клаву. Перебивая и вытряхивая пыль из томов «Русского архива», я нашел между книг ее профсоюзный билет. Странно, что я так долго не вспоминал о ней. Где я ее видел в последний раз? Ах да, в Толстопальцеве! Она была с кем-то мне знакомым, но с кем — не помню. В тот день я мало набрал грибов. Перед отъездом на станции какой-то старик рассказывал, что два грибника, мужчина и женщина, подорвались на немецкой мине. Помню: размахивая почти пустой корзинкой, я возразил старику: «Да немцев и не бывало в Толстопальцеве!» — на что старик сказал: «Тогда на собственной», и стал описывать приметы погибших. Приметы

подходили. Клава и ее спутник? И все-таки я не верил старику, так как не желал ее смерти, хоть она меня и разлюбила.

Нужно ей вернуть профбилет и, кстати, сказать, что ничего против нее не имею.

Ну, пусть разлюбила! Тому прошло много времени. Собственно, не так много, но здоровому время, когда ты был болен, кажется очень далеким. Я пошел в квартиру, где она жила. Мне сказали, что Клава, вместе со своими родственниками и мужем, давно уехала на Украину и адрес ее неизвестен: должно быть, счастлива — не жалуется.

— Ах, вот как! Извините за беспокойство, и до свидания.

— До свидания.

Итак, я шел переулком. Вспомнив опять измену Клавдии и ее теперешнее счастье на Украине, я сплюнул — не так, чтоб очень ее оскорбить, но сплюнул. Затем я вынул платок, чтоб вытереть губы, — и вдруг, поскользнувшись, обронил его.

Наклонившись, я увидел, что через переулок, от тумбы к тумбе, низко над мокрыми булыжниками, протянута проволока. В Москве «пошаливало» хулиганье. Впереди, приближаясь к западне, крупно шагал, размахивая портфелем, какой-то широкоплечий человек. Я крикнул ему:

— Осторожней: проволока.

И кинулся под арку ворот, прорезавших дом насквозь. Под аркой мне почудились две неясно маячивших фигуры. Я решил проучить мерзавцев.

Фигуры бросились во двор, что-то хрипло говоря друг другу. Пространство двора упиралось в развалины школы, разбомбленной немцами еще в 1941 году. Я побежал наискось. Фигуры не успели скрыться в развалинах. Я схватил их и, стуча голову о голову, приговаривал:

— Не блуди, гадюка, не блуди!

Один из них кричал:

— Ой, не буду, дяденька, не буду! Не буду: кулак-то какой большой!

В последнем пункте я с ним согласен. Природа одарила меня, но и я одарил природу. Челнок моей жизни не так легко опрокинуть, хотя река, по которой мы плы-

вем,— бурна, как и подобает разливу. Горестно зарыдает тот, кто попробует броситься на меня. Я — крепок, великолепно натренирован, широк в кости, и рост мой, пусть не с гору, однако и не с левретку. Без особого напряжения могу я, например, пробежать из одного конца Москвы в другой с грузом в пятнадцать килограммов. Спортивное мое увлечение — лыжник и пловец. В здоровом теле — здоровый дух.

7 сентября 1944 г. —
5 ноября 1956 г.

МЕДНАЯ ЛАМПА

Я был влюблен. Хотя это было очень давно, еще до войны 1914 года, но я отчетливо помню это чувство, мучительно терзавшее меня. Она меня не любила! Мне нужно добиться ее любви. Как? Я не знал еще, что и до меня миллионы и миллиарды влюбленных задавали себе этот вопрос. Впрочем, если бы и знал, все равно я бы продолжал спрашивать себя. В человеке заложено так много надежд!

Я работал тогда единственным наборщиком единственной типографии Павлодара, что лежит на Иртыше. Тогда это был крошечный уездный городок. Теперь здесь строится комбайновый завод, величайший в мире, и к концу пятилетки в Павлодаре будет, говорят, до полумиллиона жителей. Впрочем, наверное, и среди этого полумиллиона по-прежнему многие молодые люди задают себе тот самый вопрос о неразделенной любви, который я задавал в крошечном уездном Павлодаре,— и задают с той же, если не с большей, мукой.

Я получил жалованье. Вторично в своей жизни! За целый месяц! И снова я понял, какое это важное событие. Должно заметить, что первую получку я распределил настолько глупо, что стеснялся теперь и думать об этом. Ах, пора знать, что денежки трудовые, что я, черт возьми, не так уже молод!.. Было мне тогда восемнадцать лет.

Выдав тетке, у которой столовался, кое-что на пищу, я робко задумался над остальными деньгами. Надо взъерошить, ознаменовать эти полные величия дни, этот жадный шаг в жизнь! А как?.. Выпивкой, приглашением соседей и родственников? Кто придет ко мне? Кому я любопытен? Жалкохонек покажусь я им со своими девятью рублями семьюдесятью пятью копейками. Тогда пожертвовать эти деньги с высокой целью? А куда? Где

она, эта высокая цель? Во всем городе мне был знаком едва ли десяток людей, которые разве чуть-чуть жаждали этой высокой цели.

Позвольте, ведь я влюблен! Правда, ей на мою любовь плевать, но если я предстану перед ней в каком-нибудь великолепном платье, с какой-нибудь небывалой вещью... Мало ли как поворачиваются сердца! Да, приобрести что-нибудь ценное. И поскорее.

Часы, например. Они будут чутко тикать возле сердца, отмеряя то пленительные, то мрачные, то бесплодно-слепые минуты моей жизни, и отме́ряют так много, что уже и седина ляжет ко мне на виски, и когда-нибудь, где-нибудь в Гималаях, Кордильерах или на Соломоновых островах, я взгляну на их истертые крышки, на этот наивный циферблат и с трудом вспомню день их приобретения — и мою первую разделенную любовь!

Я решил осмотреть ценности нашего павлодарского базара. На базар попадают, миновав постоянно ремонтируемое здание городского училища, того, что самого юдольного серого цвета, самой раскатисто-дикой преисподней, того, перед вымазанными известкой окнами которого стоит кривоногий инспектор в чесучовой паре и почему-то с серебряной чайной ложечкой в руке, стоит, вперив очи в раскаленную зноем железную крышу, где ходят, высоко поднимая лапки, одутловатые голуби.

Я снимаю перед ним фуражку. Именно в его дочь я влюблен безнадежно. «В нее многие влюблены,— читаю я на его лице,— но выйдет она, за кого я пожелаю. Отнюдь только не за тебя, сопляк!» Однако он вежливо отвечает на мой поклон,— меня познакомил с ним мой дядя-подрядчик, лицо почтенное. Он даже спрашивает:

— На базар, за покупками?

— Да, получил жалованье.

Павлодарские магазины и склады кажутся мне столь объемистыми, что им впору торговать с целым континентом. Прельстительно и то, что двери магазинов широко раскрыты, тогда как двери обывательских домов и ворота плотнейше заперты на засовы, замки, щеколды и охраняются множеством собак. А улицы гладки и чисты, как парус; засыпаны песком до пояса, и деревьев в городе нет, словно листва их не выносит этой песчаной тяжести.

Итак, я — на базаре. Оглядевшись, соображаю, что пока, кроме меня, покупателей нет. Сердце колотится;

губы вялы, будто из пастилы. Неужели для меня одного развернут все эти товары, полезут на все эти бесчисленные полки и мне все это надо перетрогать, обо всем поторговаться?

— Пожалуйте, господин, пожалуйте! — кричат приказчики.

Выходят, отложив шашки, на пороги лавок и сами хозяева:

— Сделайте почин, милостивый государь.

Бакалея, галантерея, скобяные, сено, мука, колбасы — все к моим услугам! Могу купить аршин шелку или ляжку барана, балалайку или Библию, калоши или пульверизатор с резиновой грушей, с резервуаром из цветного стекла и с роговой трубочкой, из которой запашистой струей цедится на ваши ноги едкая жидкость.

Я вовсе не хотел, чтоб торговцы, как полено, расщепили меня на части. «Бесстрастие, бесстрастие!» — шептал я, и, обратив, так сказать, это желание в наличные, я сделал самое бесстрастное лицо, какое только мог вообразить. Оно одновременно стало и рделым, — и тут меня приняли за зеваку. Руки торговцев, было остановившиеся, снова двинули шашки по клеткам. Приказчики вернулись к дверям, к конику и опять уставились в верхний угол лавки, где играли солнечные зайчики. Прекрасно! Не будучи покупателем, мне легче думать о покупке. Я — свободен и могу выбрать для своей любви все, что хочу!

— Но — что?!

Тротуар перед магазинами из каменных плит. Город не избалован камнем — песок, да глина, да разве кирпич. Жара — летом, морозы и ветра — зимой зубасто и насмешливо мельчат все крупное, даже сахар и тот предпочитают здесь покупать не колотый, кусками, а песком. Поэтому каменные плиты тротуара для меня милы, как гребни Гималаев или Кордильер. Камни долго держат тепло, ступать по ним приятно — они нежат меня, благодаря им солнечный жар проникает насквозь.

Однако что же мне купить? Какой предмет прельстит ее?

Медленно иду я от магазина к магазину, от окна к окну, беспрепятственно сближаясь с теми товарами, которым почему-либо суждено быть моими. Осмотрев их сбоку, сверху, в упор, снизу, отхожу и немедленно

забываю о них. Сафьяны, севрюжий клей, мебель из пихты, оправа для браслета, наждак, шелковые ленты — зачем мне они, зачем мне этот извод денег? Вещи и выбор их начинают раздражать меня, будто я нес чернила, разбрызгал и закапал всего себя.

Часы, желанные часы из накладного золота ценою в 9 руб. 75 коп., и те не прельщают меня. Извертываюсь легко, чтобы уйти — и навсегда — от витрины часовщика. Лениво-колючий вид базара надоел. Хоть бы встретить знакомого, хоть бы появился Степа Носовец! Так зовут городского потешника, пьянчугу и проказника, служащего городской пожарной команды. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник, я иногда калякаю с ним.

О любви Степа говорит необыкновенно цинично. Разумеется, я не отношу его выходки к моей любви, но все же сознание, что любовь можно свести к чему-то несложному, от чего легко отмахнуться, в какой-то степени облегчает меня.

Мгновения текут так медленно, что кажется, они далеко издали машут, дают сигналы флажками. Я гляжу теперь не в магазины, не в окна, а промеж магазинов, где валяются кирпичи, окурки, грязная оберточная бумага и где пахнет завалью и навозом.

Возле чайного магазина спит, прислонившись отекшей головой к стене, босяк. Возле ног его — меднокрасный сосуд, похожий на крестьянский двухносый умывальник, который всегда раскачивается, роняя в лохань крупные звонкие капли холодной воды. Но, приглядевшись, я нахожу в нем сходство с теми светильнями, которые переселенцы из Украины называют «каганцами». Светильня грязна, запылена, и ласкающий блеск старой меди с трудом пробивается сквозь грязь. Светильня валяется у самых колен босяка, это единственное имущество его. Скоро хлынут на базар мальчишки, утащат или спрячут светильню...

Босяк чем-то похож на Степу Носовца, разве что ростом пониже. Шевелю его за плечо:

— Эй, эй, проснись, спрячь лампу!

Босяк сопит, дергает плечом, носом, и от гримас толстое лицо его делится, как пароход, на две части: надводную и подводную. Подводная — рот, подбородок, лошадино-мускулистая шея — покрыты слюной, а нос, лоб

и волосы — сухим песком. Он открывает глаза, круглые и яростно-впалые, недобрые, но очень серьезные глаза.

— Спрячь лампу-то,— повторяю я,— упрут.

— А ты купи, раз беспокоишься,— привстав, говорит босяк.— Уступлю задешево, поди-вот.

— Куда мне ее? У меня есть лампа. Десятилинейная, с пузырем, с абажуром. А эта — коптилка, нос набок от вони своротит.

— Своротит! Коптилка! — пренебрежительно восклицает босяк. — Сам ты, поди-вот, коптилка, раз не видишь! На эту лампу свежо надо смотреть. Дурак на ней закоптится да обожжется, а умный — наживется. Лампа особая.

— Чем же она особая?

— Ты про Аладьину лампу слышал?

— Не Аладьина лампа, а лампа Аладдина, счастливец такой был. Нашел лампу, открыл, а из нее Дух: что прикажешь, то и выполнит.

— Вот-вот!

И босяк, тыча светильник мне под нос, кричит:

— Его лампа!

— Так то — сказка!

— Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда. Его лампа, тебе говорю!

Босяк прячет лампу под полу рваного пиджака. Он уйдет, а я так и не узнаю, откуда ему известна сказка об Аладдине и его волшебной лампе и почему он решил, что именно со мной удастся такое глупое надувательство.

— Не там жмешь, простота,— смеясь, говорю я.

— А я и не жму, поди-вот. Ты сам на себя жмешь. Я тебя разбудил или ты меня?! Ты! Ты и хочешь купить!

— Привязался с этой покупкой! Зачем лампе у меня стоять?

— Стоять?! — с повышающим пренебрежением в голосе спрашивает босяк.— Стоять у тебя она и не может. Стоять ей только у меня.

— Так зачем же тогда продаешь?

Он, отхаркнув слюну, вплотную подходит ко мне и холодно говорит:

— Я, поди-вот, и не продаю ее насовсем-то. Продаю на время. Насовсем зачем мне ее продавать? Никакой

выгоды. Отпущу ее на часок, на полчасика — и обратно. Пока там человек ее трет, вызывает Духа, я на те денежки чекалдыкну сороковку. Я всем желаю счастья.

— Почему же для себя не вызвал счастья?

— Как не вызвал?! — восклицает босяк. — Я вызвал и пожелал.

— Чего же пожелал?

— А пожелал я, чтоб лампа Аладьина всегда при мне находилась. За какую б цену я ее ни продал, кто б ее ни украл — она вернется!

— Замечательно.

— Чего ж лучше?

Я смеюсь. Босяк смотрит на меня холодными, хищно-круглыми глазами, и мне не по себе. Я хмурюсь и думаю: «Тоже, находка! Фокусничает нахал какой-то». И одновременно верится, что он говорит правду.

— Откуда она у тебя?

— Сказка. Начнешь узнавать, откуда сказка пришла, сказки и не будет. Все дело, поди-вот, в простоте. Надо хлопать глазами и верить. А нашел я ее в городе Мукдене в русско-японскую войну, унтером был, георгиевский кавалер. Смотрю — китаец. У забора. Сдох. И лампа возле. Ну, я ее и потер папахой, думаю — продам. Он, Дух-то, и является. Большой, волосатый, вроде попа: «Проси чего хочешь, солдат». Я ему: «Дай, для начала мысли, полсороковки и в закуску сотню пельменей». Очень я пельмени любил.

— И многим ты ее потом давал?

— А, брали. Мне — верят. У меня рот хоть и хлюпает, слабый, а глаза, поди-вот, находчивые. Но мне верят! И, опять, я много не беру. А если счастье задешево, его хватают.

— Хвалю.

— Чего хвалить! Ты скажи: берешь лампу?

— Сколько в час?

Похлопывая себя руками по ляжкам, он рассудительно осмотрел меня и сказал:

— Беру, как извозчик: полтинник за первый час. За второй час — рубль, а за четыре часа — девять рублей семьдесят пять копеек, а?

Я вздрогнул, словно промок в ледяной воде. «Откуда он знает, что у меня есть ровно девять рублей семьдесят пять копеек?» — возбужденно думал я, глядя

на лицо босяка, которое делалось все более и более непроницаемым. Я нерешительно пробормотал:

— А зачем мне лампу на четыре часа?

— А вдруг вздумаешь куда-нибудь прокатиться? У меня которые, случалось, и к умершим родным в рай или в ад катались.

— Ну и как?

— Оба места вроде Нерчинска,— сказал босяк, густо отхаркиваясь. — На редкость ты, поди-вот, раздумчивый. Берешь али нет? Жалко тебе, что ли, твоих девяти рублей, не заработаешь больше? Разум-то у тебя есть? Тебе говорят: любое желанье Дух исполнит, в любое место укатит и вернет!

Тогда я, не без застенчивости, спросил:

— А любовное, скажем, желание? Допустим, она меня... не любит? Может тут Дух?

— Не может,— сказал грустно босяк.— Что не может, то не может. Я его и так и этак улещал — ничего! Приглянулась мне годков пять тому назад жена одного попа. И она, поначалу, вроде мигала, а потом говорит: «Закон не позволяет. Нам, попам, развода никак добиться нельзя! А без развода я не согласна». Я Духу и говорю: «Разведи!» Он отвечает: «Не в состоянии. Если мы во все любовные шашни начнем встревать, от нас живой нитки не останется». А я ведь тогда богатый был, купец, вроде Дерова. И ничего не помогло! Спился я, скурился, разочаровался я: мне все постыло. Только и жизни что лампа,— утешаю людей, особенно дураков.

«Черт его знает, что он несет! — подумал я с негодованием.— Какая дикая чушь! Однако почему же эта чушь кажется мне такой убедительной? Значит, что-то в этом есть?»

И я спросил:

— Что же, долго тереть?

— Ты три, пока «он» не придет. Да ты не бойся, «он» не пугает. «Он» больше в виде козла является. Так, рыжий козел из себя, на ногах стоит прочно.

Босяк показал на углубление возле ручки:

— Ты три здесь! Грязь сотрешь, медь появится, сердце у тебя начнет действовать... «Он»! Встанет пристойно, поди-вот, и скажет: «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство...— это я его так научил...— Ка-

кие, ваше высокопревосходительство, распоряженья, какая выпивка-закуска?»

— Постой, постой! Зачем же тебе, простота, торговать лампой? Ты ведь у Духа всегда можешь потребовать лучшей водки-закуски?

— А какой мне, поди-вот, в том интерес? — сказал босяк.— Мне тоже поговорить с человеком хочется.

«Разумеется, вздор, чепуха, самый наглейший обман», — думал я и все же стал торговаться: в человеке так много надежд!

Сторговались на девять рублей. Семьдесят пять копеек босяк оставил мне на карманные расходы. Взяв мои деньги, он побежал в трактир, а я па четыре часа сделался владельцем волшебной лампы Аладдина.

Босяк скрылся с быстротою нерукотворной, и, как всегда, когда исчезает талант, действительность стала серой и скучной. Базар уже не казался мне таким сказочно-огромным, плиты грели уже не так горячо, и раскаяние облепило меня. Держа тяжелую лампу, я думал: «Боже мой, как глупо, как непростительно глупо! И глупее, чем в первую получку. Там хоть я купил идиотский плащ с застежками в виде львиных голов, кепку, трость, а — сейчас?! Непроходимая глупость: в двадцатом веке поверить, что существует лампа Аладдина!»

И одновременно с этими непригожими и неприглядными мыслями робко бились и другие. А что, если — прикоснуться и потереть ее? Что, если появится Дух и я скажу ему: «Немедленно доставить меня... скажем, скажем... в Петербург, в лучшую типографию, печатающую «Солнце России»! Сделать меня метранпажем этого журнала!» Дух немедленно преодолеет огромное пространство, доставит меня в великую столицу, и заведующий типографией скажет мне: «Господин, приступайте к вашим обязанностям, верстайте «Солнце России».

Так-то оно так, а что, если Дух не явится? Я, как дурак, непрестанно три эту гадкую коптилку? Где-нибудь за углом спрятался босяк, или приказчики, или проказник Степа Носовец, подстроивший всю эту затею?! Нет, если уже верить и применить способ трения к этой лампе, так лучше в укромном месте. Там, в случае неудачи, швырну ее в сторону и пойду домой.

Вниз по течению Иртыша, верстах в двух-трех от города, имел я любимое укромное местечко. Песчаный оранжевый яр, с прослойками плотной серой глины, круто обрывался у самых вод. Выходы твердой, словно камень, глины спускались к воде неровными ступеньками. Иногда, при высоком настроении, сиживал я на верхних ступеньках, почти на уровне степных трав, а чаще всего внизу, у самой воды, мерной и необъятно-необъездной. Ноги медленно уходили в песок, и разные пугливо-мягкие чувства волновали меня.

Я направился к яру. Послышались шаги. Догонял босяк:

— Эка дрябла память! Поди-вот, и не сказал, в каком месте сподручней тереть?

— Сказал.

— Сказал, значит? Тогда счастливо оставаться.

И он повернул к городу.

Его слова воодушевили: «Лампа действительно волшебная! Иначе зачем же ему догонять меня?» Да и говорил он таким деловым и уверенным тоном, и круглые глаза его глядели так спокойно.

Налево от меня — степь, полоса пыльной белой дороги, опять степь и за нею — заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, густо-синий Иртыш нес свои струи, неразрывные и неразлучные. Я занял самый верхний выступ глины.

«Ну что ж, попробуем,— сказал я сам себе, глядя на лампу. — Прокатимся в будущее и в прошлое; растворимся в пространстве; разборчиво, без развязности, разделим по пунктам все мечты и выберем лучшую, а затем уже осуществим ее ради любимой».

И я повернулся лицом к солнцу, к югу. Во-первых, пусть козел, в которого, по словам босяка, воплощается Дух, встанет ниже меня. Существо, стоящее ниже, не так пугает, с ним легче разговаривать. Во-вторых, при блеске солнца, отраженном водою, появление Духа не будет столь волшебным. Достаточно волшебно блестит солнце и играет вода. В-третьих, если опыт не выйдет, мне удобнее швырнуть лампу в Иртыш... Последний раз вспомнил я босяка, его слегка посеребренную временем голову, его походку, плечи, шею. Он слегка скептик, жизнь перекалила его, как орехи на огне,

и оттого я посердобольничал, дав ему за лампу 9 рублей. Достаточно было 6 и полтинника. Но в конце концов что деньги! Важна вера в человека. Кому иначе верить? Базару, этому огромнейшему саквояжу с вещами?! Нет, коли я сам решительно захотел редкое, чего там нюнить и хныкать!

Я здесь — один. Степь, Иртыш, яр, выходы глины. Один, с волшебной лампой на коленях. Один посередине сказочно-волшебного и разнообразнейшего мира. Надо выбирать.

Ибо — верю. Сижу. Жду. Тру.

Собственно говоря, я еще не тер лампу. Я держал ее с наивозможной осторожностью, чтобы Силы, которые должны направить ко мне Духа, отнюдь не подумали, будто я тру. Времени у меня достаточно. Я не тороплюсь. Я желаю произвести самый аккуратный выбор, сказав точно и ясно явившемуся Духу, чего я хочу.

Разумеется, я не хочу никаких фокусов вроде скатерти-самобранки, бессмертия, шапки-невидимки или неразменного рубля. Мои симпатии лежат в другой, более серьезной области. Я много читал, кое-что знаю и вовсе не желаю поощрять суеверие и нелепые выдумки. Можно, конечно, вызвать Духа и приказать ему застроить всю степь от меня до Павлодара мраморными дворцами, золотыми фонтанами и садами самого причудливого свойства, ну, а кому какая польза, зачем это?

Если проревизовать мои мысли, то окажется, что они всегда исходили из чувственного познания внешнего мира с разумно действующими в нем законами причинной связи. Правда, в данном случае с лампой цепь этих законов будто обрывалась. Но здесь нет ничего сверхчувственного. Стоит только появиться Духу, как я допытаюсь у него: «Где находится оборвавшееся звено цепи, где здесь разумная связь? Иначе я не могу признать Духа и всего того, что он делает! Я должен доказать самому себе сущность внешних предметов, независимо от моих, возможно даже самых фантастических, представлений». Должен признаться, что я тогда еще не знал имени моего мировоззрения, а его уже звали реализмом!

Без озорства, без озлобленности, разумно и просто надо найти подходящее и, конечно, почетное место в этом мире. Лампа способна доставить и поставить меня на это место, но в ее обязанности не входит указывать

мне на это место, а тем более говорить — имею ли я такие способности, которые помогут мне удержать это место?

«Однако посмотрим!»

И с вышины своего яра я взглянул на Российскую империю.

Я обладаю возможностью выбрать в ней любое место для труда, наук, жилья или наслаждений. Я могу выбрать любую профессию, любой чин, любое состояние, вплоть до состояния сумасшедшего, любую сумму денег, любые сокровища и здания, вплоть до Зимнего дворца, любых друзей, любые способы передвижения, любых коней, любые яства и зрелища. Словом, я могу выбрать себе счастье.

Мало того, я могу покинуть пределы Российской империи и, кажется, распространить свои желания за пределы Земли, скажем, на Марс или Юпитер. Если я пожелаю достаточно настойчиво, я сам могу превратиться в Марс или Юпитер или в эту самую волшебную лампу Аладдина, с тем чтобы давать людям счастье.

Но, во-первых,— что такое счастье? В восемнадцать лет так ли уж человек отчетливо знает — в чем счастье других? А во-вторых, эти другие сами-то знают весь размер и всю сумму их счастья? Если б знали так уж отчетливо, неужели они не услышали б о лампе Аладдина, находящейся в руках босяка, и не стерли б ее до размеров пятака, вызывая свои желания?

«Давай-ка, прежде чем думать о чужом счастье, в котором ты плохо разбираешься, подумай о своем. Да, Дух не может дать тебе ее любви,— добивайся сам! Прекрасно. Я приду к ней в новом, необычайном виде,— и тогда она полюбит меня. И затем оба, счастливые, мы дадим людям счастье, потому что, владея счастьем, легко его раздавать и другим. Но в каком виде она меня полюбит? За что?

Кем же мне быть?

Кого она способна полюбить сразу же?»

Ну, конечно, того, кто стоит выше всех людей. Того, кто управляет страной. В данном случае — император. Ведь я могу быть императором. Духу это ничего не стоит сделать, он привык. Каждый, к кому попадает эта лампа, хочет быть, наверное, императором. Значит, императором? Если мне не нравится быть императором России,

я могу быть императором Англии, Китая, Африки, Америки и прочее. Выбор довольно разнообразный.

Все несчастье в том, что из-за моей застенчивости я ни разу не разговаривал с девушкой, в которую был влюблен. Однако я достоверно знал, что она брала в общественной библиотеке лишь либеральные журналы и газеты, а она, кажется, не очень настаивала на том, чтоб в России был император? Да и, по совести говоря, какой я, к черту, император! Глупо.

Разумеется, читая либеральные газеты, она ищет в них либерального героя, человека-освободителя? Отлично! Долой императоров!

Конечно, не так-то легко сойти с меридиана, который уже почти принадлежит тебе. И с легкой грустью я спустился ниже на одну ступеньку из глины. Степь и легкий ветерок из нее мешали моему воображению, внутри было как-то мерзко. Я прислонился к яру. Город и степь исчезли. Я сидел как бы на троне. Лампа грелась у меня на коленях, словно котенок.

Я продолжал свой выбор.

Я не измельчу себя, если выберу обязанности и жизнь героя... скажем, вроде Геракла, достославного мужа древности! Недавно мне пришлось прочесть о нем. Это вполне уважаемая личность. Он посвятил всю свою жизнь подвигам ради счастья людей. Он исходил по земле, всюду сражаясь и претерпевая крайние неудобства. И был в награду приравнен к богам. Не попробовать ли мне нечто в этом роде?.. Правда, судя по сказаниям, герою надо обладать большой физической силой. Она у меня есть, хотя и не в таком большом размере. А если развить? Мне нравится путешествовать. Я всегда завидовал Дон-Кихоту. Он обладал малыми средствами, а отправился почти во всемирное путешествие. Он не свершил его только из-за телесных немощей. Непонятно: почему над ним смеется весь мир? А ведь все дело в том, что пророки не зерно: они в своем отечестве, как известно, не прорастают. Выйди он за пределы тогдашней Испании, я уверен, он встретил бы драконов, и кентавров, и сирен. Если в наши скептические времена существует Дух Медной Лампы и я в него верю, то совершенно ясно, что в те времена водились Духи и позабавнее этого! Достаточно было старику ухлопать какую-нибудь сирену, как он бы прославился и все начали бы говорить о нем... Да, старик был слабее меня, зато он

обладал другим преимуществом. Он мог направить все силы своей души к одной конечной цели, тогда как у меня стремления разбросанные, как поленья, когда колют чурку. Иду, например, по дороге. Нужно убрать корягу, мешающую движению телеги. Я ее сталкиваю в овраг. Вижу там еще корягу и спускаюсь, чтобы убрать подальше и эту! Телега тем временем уходит. Долгий путь мне придется проделать пешком! Я суетлив, пестр, бессистемен. Надо отказаться, пока не поздно, от лестной обязанности Геракла, благодетеля человечества! Это несомненно.

Вот какие горести, вот какую правду открывает любовь!

А может быть, ей плевать на одиночных героев и она предпочитает тех, кто ведет толпы, тех, кого обычно называют полководцами?

Итак, полководец?

В людском мнении, полководец идет вслед за Гераклом, героем. Полководец ведет солдат, изредка говоря им об обязанностях по отношению отечества, а главным образом используя комбинации желаний голода, жажды охотничьих желаний, честолюбия и удачнейшего возвращения домой. К сожалению, я мало знаю о полководцах. Возможно, мои знания близоруки, тем более что и солдат-то я видел не тех, которые воюют на поле брани. В нашем городе есть только конвойная команда, сопровождающая по тракту конокрадов и бродяжек. Трудно представить, чтобы эти мордатые, толстые, в чугунных сапогах парни испытывали эмоции голода, жажды или охотничьих наслаждений, а еще менее — эмоции честолюбия. Даже чувство удовольствия и то не так-то уже ярко начерчено на их беспечно-розовых лицах. Нет, где мне полководить над ними!

Сомнительно, чтоб ей нравились полководцы. Ни одного офицера, ни даже чиновника нет среди ее знакомых!

Итак, полководцев и чиновников можно отбросить.

Незаметно для себя я спустился еще на несколько ступенек и теперь находился посередине яра, на самом припеке. К берегу подплыло толстенное фиолетово-голубое бревно со слабо окрашенными в канаусный цвет краями и начало лениво биться в песок. Оно оторвалось от проходившего мимо плота; начался, по-видимому, летний сплав леса. Скоро поспеют арбузы, их повезут

на плотах, и плоты шеренгой вытянутся вдоль Павлодара. Я люблю нырять с плотов. Пахнет мокрой корой, арбузами, и есть опасность, что тебя утянет под плот... и неужели она скажет про тебя, что «так ему и надо»?

«Боже мой, что мне делать? Кого она способна полюбить? Может быть, побежать в город, спросить у нее?

Нет! Догадаюсь же я! Догадаюсь так удачно, что она сама придет сюда, почувствовав, что здесь осуществилась ее мечта.

Продолжаем».

Купец?

Торговать?

Нет, нет, нет! Я два года служил в лавке помощником приказчика и знаю, что это такое — торговать. Подлость это, гнусность.

Тогда — банкиром?

Банкир? Это очень солидно. Дом с молчаливыми окнами и певучими дверьми. Блестящие, лакированные конторки клерков. Касса. Бухгалтеры. Телеграммы. Биржа. Колебание цен. Ты сидишь в глубине своей конторы и наблюдаешь. Тебе подчиняются заводы, фабрики, типографии. Ты устраняешь препятствия, мешающие твоей наживе, и не думаю, чтоб умершие от твоих ловких операций слабо проклинали тебя. Но ты холоден, безжалостен, ты набил кассу акциями и зорко выглядываешь новые препятствия...

Она — добра, отзывчива, и вряд ли ей захочется быть супругой злого, сухого и жадного банкира.

Не хочу быть банкиром!

И заводчиком не хочу быть. Равно и тем инженером, который кланяется этому заводчику. И не хочу быть типографщиком! Я видел, как мой хозяин-типографщик, охваченный страхом, что заказчик уйдет, брал заказы себе в убыток или искал их по городу или за городом, у мукомолов. Он столбенел перед ними подобострастно и униженно, сидел на краешке стула, а в это время к его жене приходил любовник, и вся улица гоготала, что типографщик собирает деньги для этой толстой бабы с накладными косами... Стыдно и думать, что я буду владеть типографией!

...Есть точка в небесном своде, противоположная зениту. Она называется надир. Поищем-ка мой надир. А что, если мне сделаться, скажем, архиереем! И мне

сразу же представился собор, широко-белоснежный, наполненный людьми. Над головами колышется дымок ладана, этот запах надежды ковыльного цвета. Архиерей смотрит — и видит всех несчастными, и в глазах его и на лице скорбь. Эта скорбь в превосходной ризе, багряной и парчовой, что еще сильнее подчеркивает ее, так же как и серебряные и могуче-безбрежные голоса архиерейского хора.

Скорбь — хороша. Она отвечает моим намерениям. Я вижу вокруг много скорби, да и во мне ее немало. Несчастья других людей для меня точно собственные несчастья. Я уже испытал это много раз... много-то много, а вдруг да, — как это и случалось с кое-какими архиереями,— скорбь взмахнет крылышками, уйдет, уныние ослабнет, а физические силы окрепнут и мне захочется плясать? Да, плясать, и пьянствовать, и радоваться, и думать, что мир не так уже плотно, как мешок с мукой, набит скорбью. Тогда — что?

Нет! Не ходить мне в митре, налитой тревожным блеском драгоценных камней, не любоваться панагией, и не будут меня приветствовать серебряноголосые дисканты и могуче-безбрежные басы.

И, кроме того, она с такой яростной скукой идет в церковь!

Тогда — путешественником? Да! Путешественник — это воля знать и видеть, что не видали и не испытали другие. Это — пустыни, горы, моря, охоты, крушения, раскопки древних городов, голос вечности.

Но, с другой стороны, путешествия — не есть ли борьба с чувством неуютности мира, с чувством неприятной боязливости, чуждости? А отсюда и стремление избавиться от этого чувства, уйдя в неведомое? То есть это — желание превратить неведомое в известное и знакомое. И затем, всю жизнь путешествовать, жить на голой земле, приобретать насморки, ревматизмы, катары, убивать красивых животных и уничтожать красивую неизвестность.

Она, насколько мне известно, ни разу не выезжала из Павлодара и не ходит гулять на пароход, когда тот, тяжело дыша, ложится возле пристани и выбрасывает мостки. Даже на пароход «Апостол Фома» и то не ходит, а что может быть прекраснее этого парохода?

Значит, и капитаном парохода тоже мне не быть?

Но что же, что?

Взволнованно я спускаюсь еще па ступеньку. Я сижу на самом солнцепеке, в пахуче-страстном дыхании зноя. Неподалеку от меня — подкабель. Вода течет по глине и капает вниз равномерно, как часы. Считаю: один, два, три, четыре... О, как быстро идет время! Надо выбирать скорее.

Цель? О, цель моя не затуманена никакими чувственными желаниями или вожделениями. Мне ненавистны люди, для которых другие — только лишь любовницы, повара, конюхи. Фальстаф, Дон-Жуан, Гаргантюа возмущают меня. Накаленные своими желаниями, они бегут по миру высунув язык, ничего не видя в нем духовного и высокого и не понимая, что холодная и мрачная материя смеется над ними.

Нет! Хочу подчинить холодную и мрачную материю себе. И в самом мятежном ее виде, при самом диком ее сопротивлении.

Моя подруга будет помогать мне.

Значит, наука?

Да!

Тру лампу?

Нет, нет! Еще не тру.

Я только многозначительно гляжу на нее, и она — на меня. Тускло и таинственно блестит древняя медь, и кажется, она шепчет: «Торопись, время крылато и капризно-вспыльчиво, торопись, золотой и вольный юноша!»

Сейчас, сейчас! Я почти выбрал.

Наука?!

Благо людей, обладающее для меня притягательной силой, сосредоточено для меня в науке. Когда унижается, лжет, клевещет или боится наука — меня охватывает печаль. Мне любы книги, аппараты, уют лабораторий. Мне нравится научное уединение, беседа с веками.

Итак — наука?

Какая ж наука? Их много. Физика, социология, химия, астрономия, биология, метеорология...

Видите ли, весьма трудно взвесить сразу все степени трудности. К тому же мой ум смущается перед отвлеченностями. Математика ломает меня, например, пополам... Это не так легко — выбрать научную специальность.

Кроме того, моя Возлюбленная, вернее сказать — та, кто может, при известных условиях, стать возлюбленной,

плохо учится. Инспектор этим очень огорчен. Она больше думает о красоте своих бровей и изгибе носа, чем о красоте научных истин. И как странно, что это-то мне и нравится!

Жаль, но с наукой, кажется, я расстанусь...

...Незаметно я спустился к самой воде. Лампа отражается желто-зеленым пятном. Бревно откатывается, прикатывается, то открывает, то закрывает это отражение. Солнце подвинулось к закату. Зной спадает.

Я все еще не выбрал. А наверное, уже прошло часа два?

Надо пересмотреть все сначала.

Император? А, ерунда!

Герой?

Почему я отказался от героизма? Убоялся тюрьмы, клеветы, страха смерти и страданий. И не стыдно тебе?

Стыдно! Плохо мне. Я весь как дерево, издолбленное дятлом, живого места нет. Мне трудно и тяжело держать лампу; я словно пил из нее, напился, напичкан... нужно подумать со свободными руками, помахать ими.

И я ставлю лампу рядом с собой, на последний глиняный выступ, за которым — полоска песка и вода. Иртыш.

Итак — огнеглазый и чистосердечный герой?

Герой побеждает все и всех, а значит, и ее сопротивление.

Я буду героем!

Позади, по яру, слышится шум. Кто-то плюхнулся ко мне.

Босяк! У него самоуверенные глаза, веселые телодвижения. Он хорошо выпил, погулял, отдохнул и пришел. Я схватываю лампу.

— Поздно, брат! Не, не, тереть нельзя: ничего теперь не выйдет.

— Да разве прошло уже четыре часа?

— Эка, поди-вот, хватил! И четыре прошло, и пять минут лишка.

Я оторопело гляжу. Он берет осторожно лампу и прячет ее под полу пиджака, а затем не спеша лезет по глиняным выступам вверх. Бормочет: «Жара тут какая, поди-вот». Кусочки глины с цветным отливом ломаются под опорками и падают.

— Постой, постой! — опять кричу я. — Ты, брат, не плутуй!

Босяк останавливается на верхней ступеньке яра и смотрит на меня вниз. Мне кажется, я читаю на его лице сожаление.

— А чем же я плутовал? Четыре часа, поди-вот, прошло!

— Подожди. Да как тебя зовут-то?

— Михнов Вася. Василий Михнов, значит, семипалатинский мещанин, скорняком когда-то был... А твое время кончилось!

Он вынимает часы. Честное слово, это те самые часы из накладного золота за 9 руб. 75 коп., которые недавно смотрел я.

— Дай мне лампу! На секунду! Я — выбрал!

— Шали!

Я ползу вверх по глине, срываюсь. Но голова у меня ясная, лазорево-ясная. Я — счастлив. Я возьму у него на одну лишь секунду лампу — и всё!

Знаю, кем мне быть, догадываюсь.

Я выскочил на яр.

Передо мной — полоска степи водянистого цвета, затем белая полоска песка — дорога, телеграфный столб возле нее, ястребок, чистящий перья на телеграфном столбе, а дальше опять степь и за нею, самого густого синего цвета, цвета индиго, город. Заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, оранжевый яр, белый песок у воды, качающееся бревно и он, Иртыш, сизый, с голубоватым отливом.

И — больше ничего и никого!

Один, без лампы и без Духа, стоял я в тоске, пламенной и страстной, один посередине мира.

Один, именно тогда, когда мне надо быть Васей Михновым, семипалатинским мещанином, который был когда-то скорняком... «О великий Дух Земли! Я узнал тебя. Тебя родила земля. Ты ее вдохновение, и она так уверена в силе этого вдохновения, что не побоялась дать волшебную Медную Лампу в руки жалкого пьяницы Васи Михнова, ибо радость и творчество не погибают даже и в руках пьяниц».

Но я был один, и вскоре мысли мои показались мне вздорными.

Я не встречал больше мою любовь. Она вскоре покинула Павлодар, перебравшись зачем-то в Семипала-

тинск. Кстати, я, кажется, забыл назвать вам ее имя? Ее звали Ольга Залуцкая.

Когда я позже вспоминал о встрече с Васей Михновым, мне эта встреча казалась не очень-то умно рассказанной аллегорией. Экая, подумаешь, хитрость! Медная лампа, босяк, Иртыш, задумчивая и красивая девушка, выбор пути.

Но вот недавно я купил в комиссионном магазине медную лампу. На первый взгляд она мне показалась очень похожей на ту, которую давал мне Вася Михнов. Но, приглядевшись, я понял, что лампа совсем другая. По-видимому, я просто тосковал по молодости.

Разглядывая эту медную лампу, я написал одному очень дотошному знакомцу в Павлодар: не знает ли, что случилось с Ольгой Залуцкой? Месяца четыре спустя знакомец ответил, что судьба Ольги Залуцкой — странная. Из Павлодара она уехала в Семипалатинск — рожать. Как позже выяснилось, ее соблазнил или взял силою какой-то пьянчужка, некто Вася Михнов. По-видимому, соблазнил, так как, когда ребенку было полгода, он явился к Ольге и увел ее с собой. Встречали их в Омске и Челябинске — нищими. Ребенок их тоже нищенствовал. «Есть люди, которых прельщает горе и падение: в нем они ищут счастье свое»,— добавлял мой знакомец.

И он был прав, пожалуй!

Да и я тогда, у яра, был прав.

3 октября 1944 г. —
16 ноября 1956 г.

ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ

I

Отец поэта выделывал превосходные кривые ножи, какие ковал и дед отца, и прадед. Оттого земля дома ремесленников иль-Каман от беспрерывного поступления угля и сажи стала несравненного черного цвета. Однако и на эту прокопченную землю зарились богачи, раскинувшие вокруг мастерской оружейника свои сады, увеселительные беседки и влажные фонтаны.

Народ уважает тех, кто кует хорошее оружие, и отчасти из страха перед народом, а главным образом из трепета перед острыми ножами, которые умели не только выковывать, но и применять с редким искусством ремесленники иль-Каман, судьи признавали право их владения.

Споря с богачами, не разбогатеешь. Иль-Каманы любили целительный блеск цветов и сочные плоды, но как они ни рыхлили землю, как ни заботились о ней, она дарила им лишь семь жалких кустов роз. Вдобавок копоть и сажа быстро превращали расцветшие розы из белых в серые, а из алых — в махрово-черные. И все же цветы эти возвышались среди ржавых кусков железа, куч шлака и угля, подобно драгоценным выпуклым шелковым узорам на какой-то онемелой ткани, которая давно выцвела и обветшала.

II

Мальчик Махмуд и в ковке ножей, и особенно в отделке их проявлял изумительную ловкость и разумение. На рукоятку ножей он ввел орнамент роз, а лезвие украшал тремя полуразвернутыми лепестками. Заказчики

предсказывали ему большое будущее. Быть может, ему суждено увидеть лучшие времена Багдада и он будет каким-нибудь крупным купцом, или мореходом, или устроителем процветающей компании караванов? Не его ли верблюды пойдут в далекую Бухару и Китай, а корабли — в Индию и Цейлон?

И отец его, обольстившись догадками заказчиков, подумал: «Что я знаю о будущем? Они много ездили и, несомненно, видят будущее лучше меня».

И отец повел мальчика к своему другу, судье багдадского базара, кади Ахмету. Кади Ахмет считался шутником, а это, как ни странно, украшает суд, обещая победу истцу и легкое наказание ответчику. Кади Ахмет преподал мальчику начатки грамоты и поэзии, сказав, что остального — а оно огромно! — он должен добиваться сам. Иначе какая цена его ножам, если торговец, продающий ему железо, будет продавать ему уже готовые лезвия и рукоятки?

Затем отец повел его ко второму своему другу, законоведу Джелладину, который скривился и закалился, изучая Коран, лучше и крепче самого удачного из ножей, выкованных отцом, и дедом, и прадедом.

III

Едва мальчик успел погрузить свое сердце в грохочущие и оглушительные видения пророка Магомета, за которыми Джелладин настойчиво указывал на Закон, — отец мальчика погиб, и мальчик вернулся к горну, к наковальне и к токарному станку предков. Всепожирающий, страшный «греческий огонь» поверг отца в глубины Средиземного моря, когда тот, в обществе таких же осунувшихся и голодных ремесленников, вздумал плыть в Италию, чтобы там выгодно продать свои изделия, а при случае подраться с теми, которые не желают покупать эти изделия. Багдад в те дни раздирали смуты, сталь для лезвий и рог для рукояток подорожали. Детей и жену нужно кормить, — и не продавать же свой домишко богачам, посредники которых все чаще и чаще стучались в деревянные ворота, источенные временем и червями.

Заказчиков не было. Ища занятий, молодой человек выходил к набережным Тигра, куда, медленно уравнивая

бортами беглый свет на переливающихся волнах, пришвартовывались морские суда, пришедшие из Красного моря и груженные товарами Индии: душистым и драгоценным деревом, лечебными травами, пряностями, шелком.

Моряки с рыжевато-бурыми от ветров щеками спрыгивали на камни набережной и торопились в притоны, пить,— о, беззаконные!— пить вино и ласкать таких же беззаконных и бесстыдных женщин. Глядя на моряков, молодой человек вспоминал своего доброго и ласкового отца, и сердце его клокотало. Он предлагал свои услуги морякам, а они говорили:

— Видишь эти товары и видишь склады, тоже полные подобных же товаров? Мы их привозим напрасно. Караваны могут, конечно, отвезти их к Средиземному морю, но какой толк?

И они подробно рассказывали о неистовом владычестве византийцев, которые овладели всем Средиземным морем и не позволяли Багдаду перевозить индийские товары в Европу. Молодой человек, рдея от злобы и желая вонзить все свои ножи в горла и утробы византийцев, говорил:

— Да, да! Мой отец погиб в море от огня византийцев. Я хочу им мстить, и хочу научиться плавать по морю, и прошу вас взять меня! Я научусь и пойду в Средиземное море во имя пророка и халифа...

— Да будет прославлено имя его!— восклицали моряки.— Но мы не знаем, пойдет ли еще в путь наш корабль. Команды наши полны, а новых кораблей не строят. Пойдем с нами и выпей с горя вина!

— Пророк запретил пить вино,— говорил молодой человек, отходя от моряков, а они, глядя ему вслед, говорили между собой, что из него выйдет добрый моряк, в свое время, конечно.

Тогда Махмуд иль-Каман,— ему в те дни шел девятнадцатый год,— начал сочинять стихи. Поэт жил в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи,— да будет прославлено имя его!— и стихи были о силе Багдада и о силе халифа, законного имама пророка, меча правоверных. Он прочел стихи кади Ахмету, и тот сказал:

— Стихи твои, пожалуй, еще лучше и оригинальней твоих ножей. Но если Багдаду не нужны твои ножи, то зачем ему поэзия?

IV

Поэт, светлый душой и телом, часто повторял про себя волнистые и жгучие, как пламя, слова 74-й суры Корана: «Эти одежды — твои. И ты держи их чисто! И ты избегай гнусностей. Например, не раздавай милостыни в надежде вновь собрать ее». Поэтому он все чаще и чаще составлял стихи и оглашал их перед потухшим горном, когда, после судебных занятий, кади Ахмет навещал его. Поэт говорил:

— Заботящийся о вере и мести за веру, я хочу быть лучшим поэтом! Не затем, чтоб низко льстить халифу и быть плетевидным, подобно плющу, а во славу пророка.

Кади Ахмет, подвязав торбу с кормом к голове своего гнедого и пожилого мула, садился возле узкой двери мастерской на коврик, который расстилала госпожа Бэкдыль, мать поэта. Кади выпивал из тыквенной бутылки, которую постоянно держал у пояса вместо ножа, некоторый целительный состав и говорил:

— Мне нравятся разговоры о поэзии. Но когда поэзией роют землю, словно конь передней ногой, это тревожит меня.

— А как же иначе? — восклицал поэт.— Багдад видит, что халиф стал чересчур уступчивым. Багдад хочет силы, а не уступок! И кто, как не поэт, должен быть посредником между халифом и Багдадом?

— Хм...— бормотал кади, отхлебывая из тыквенной бутылки, лоснящейся в его руках.— Хм... посредник... Посредник чего перелетающая птица, ведущая свои крылья с севера на юг? Посредник тепла и света, быть может, ха-ха? Я несколько иначе думаю о поэзии, дорогой мой. Она напоминает мне женщину, утомленную ночными ласками и перед сном выбалтывающую много прелестных безделиц. Жизнь наша — ворочанье с боку на бок перед вечным сном, и ничто так крепко не помогает уснуть, как безделицы. Признаться, я огорчен, что познакомил тебя с поэзией, Махмуд. Мне кажется, ты понял ее превратно.

— Я понял ее превратно? — восклицал своим грохочущим голосом Махмуд. — Разве она не меч и не огонь ислама? Поэзия должна наполнить гордостью сердце халифа!.. Мне горько думать, что не халиф, а эмиры, его вассалы, гордятся своей силой. Вы слышали, наверное, кади, что некий нечестивец — начальник одного дикого племени — мерзавец Али, выстроивший мощный замок

в Алеппо, возгордился и присвоил себе прозвище Сейфф-ад-Даулы, «меч династии»...

— Вот дурак! Ему мало хлопот с самим собою, так он придумал хлопоты над покроем платья для какой-то новой династии.

Поэт продолжал:

— Увы! Это не династия халифа ал-Муттаки-Биллахи...

— Суд требует,— сказал наставительным тоном кади,— при каждом упоминании достопочтенного имени халифа прибавлять: да будет благословенно имя его!

— ...а его, подлеца Али, собственная династия! И не позор ли для Багдада, что кое-какие арабские племена склонили перед нечестивцем Али свои бороды, а поэты воспевают его в стихах? Теперь именно, как никогда, мы, оставшиеся поэты, должны воспеть нашего халифа!..

— Да будет прославлено имя его! — сказал кади и отпил из бутылки.— Что касается меня, то я полагаю, что при таких сложных обстоятельствах полезнее было б употреблять настой мускатного ореха, полыни, хмеля, который, как видишь, употребляю я. Иначе твое чело раньше времени покроется морщинами, глубокими, как трещина в горной породе, а нрав твой станет подозрительным и выпытывающим. Если бы мне удалось увидеть халифа, я б сообщил ему немедленно рецепт моего состава...

— А я бы прочел ему свои стихи! — прокричал, задыхаясь от страсти, поэт.

V

Кади Ахмет жалел поэта и желал ему добра. Наполнив до краев свое сердце добрыми пожеланиями, кади Ахмет, видя, что поэт чересчур часто ходит к набережным Тигра, в результате чего уйдет когда-нибудь в море, а богачи, потеряв Махмуда из виду, вновь затеют тяжбу, и старуха мать и малолетний брат поэта останутся без крова, кади уговорил законоведа Джелладина пойти к визирю и выхлопотать для Махмуда небольшой заказ на ножи.

И он получил заказ.

Вновь запылал горн, младший брат качал мехи и подкладывал угли. Махмуд шлифовал нож или вытачивал ему из рога подобающую рукоятку.

Кривыми ножами перерезают горло скоту и неверному, если он попадет в руки мусульманина. Горло в таких случаях перерезают с молитвой во славу пророка и халифа,— вот почему поэт для визиря особенно тщательно выделывал ножи, а один нож, тонкий и короткий, сделал таким, что на нем как бы постоянно жила слизь, струящаяся из горла перепуганного и умирающего врага.

Когда принесли к визирю первую партию ножей, он, вспомнив, что ножи эти рекомендовал ему шутник кади Ахмет, пересмотрел сам все ножи и, остановив свой взор на тонком и коротком, как бы покрытом слизью из горла ужаснувшегося врага, остался очень доволен и сказал:

— Действительно, этот Махмуд иль-Каман искусный мастер. Я возьму этот нож себе. — И, разглядывая нож, он увидел на лезвии его семь роз и три изящно выгравированных лепестка на рукоятке.— Необыкновенно искусный мастер.

Визирь призвал кади Ахмета, передал ему свою благодарность и приказ о новом заказе.

Кади сказал в ответ:

— Не удивляйтесь, о визирь, что мастер Махмуд пришлет вам благодарность стихами. Он грамотен, знаком с каллиграфией и в свободное время составляет стихи.

— Стихи? — И визирь сказал: — Халифа утомили поэты. Пишут о любви к женщине, воспевают ее рот и ноги. Как будто у нас нет коней и оружия!

— Поэт Махмуд поет лишь об оружии и мести византийцам.

— Оружие? Превосходно. Византийцы?.. Хм... Истинный правоверный ненавидит византийца, но... мы ведем сейчас с ними некоторые переговоры об эдесской святыне... Ты слышал? Скоро я соберу законоведов и кади. Ты будешь приглашен. Можешь взять с собой и этого поэта. Если будет свободное время, мы послушаем его. И я ему сам посоветую не писать о женщинах. Тьфу. Недавно, обсуждая повод, почему эмир Эдессы вдруг подарил мне тридцать пять своих самых любимых невольниц,— мы осмотрели их. Возможно, я отношусь к эмиру Эдессы несколько предубежденно и мне не нравится его манера вести переговоры с византийцами, но эмират у него большой, он выбирал для себя лучших женщин, и уверяю тебя, кади, я не нашел среди них хотя бы одну,

которая была достойна поцелуя в лоб. И тогда Джелладин выразился о женщинах так метко, что даже ты, кади, позавидовал бы.

Визирь расхохотался.

— Ха-ха-ха! Джелладин сказал... ха-ха! Истый воин Закона должен относиться к женщине, как садовод к ивовой корзинке для упаковки фруктов. Не все ли ему равно: старая корзинка или новая? Лишь бы довезти до Базара Суеты свои фрукты. Ха-ха! Я бы добавил — коль есть вообще расчет везти фрукты.

Кади Ахмет возвел глаза к небу. Визирь, читавший в глазах кади одобрение своим словам, ошибался. Кади Ахмет хотел бы сказать: «О верхушка Закона! О зубцы Мысли! Любили ль вы женщину?» Но даже болтливый кади умел иногда молчать перед сильными.

Кади, верхом на своем гнедом муле, плелся из дворца визиря.

Был вечер, сонный, спелый, когда все вокруг тебя кажется свежим и новым, словно видишь это впервые. И небо, размышляющее над твоими делами, и последний луч заката, и первая звезда, и слабый вздох ребенка, засыпающего в колыбельке, которую мать осторожно уносит с плоской крыши своего дома. И Багдад, и вся жизнь казались кади Ахмету большой, значительной, поддерживающей и заботящейся о нем... И он стал мурлыкать про себя песни. Он хотел бы спеть какую-нибудь любовную песню, сочиненную его молодым другом — оружейником. Искал — и не мог найти. И он опечалился в сердце своем, потому что если ты в такой вечер не найдешь песни друга, то что значит дружба твоя?

VI

Кади напрасно печалился.

Мореход с радостью пристает к материку. Но с не меньшей радостью он видит и острова, направляя к ним свой корабль. Багдад и его слава для поэта — материк. Но если вам встретится на долгом и тяжелом пути поэзии небольшой остров, влекущий вас тенистыми деревьями, травой лужаек и рыхлой, влажной почвой возле родника, разве вы минуете его?

Махмуд глядел в тот вечер, так же как и кади, в середину неба и видел его повелительную и массивную

глубину такой же сочной и ласкающей, какой видел ее кади. А может быть, он видел ее еще более целительной, чем кади Ахмет. Ведь кади Ахмет на своем пути мог сейчас разговаривать лишь с гнедым мулом, а поэт говорил с возлюбленной. Он стоял с нею, рука об руку, на маленькой и плоской, как лужа, крыше своего черного одноэтажного домика. Он стоял и пел новые стихи в честь этой женщины, пел их вполголоса, но звуки эти были для нее столь оглушающи и прославляющи, что она и дрожала и плакала от радости счастья.

А он, кичась нежностью и плавностью своих стихов, позволял им смягчать опаленную пожаром корабля, на котором сгорел его отец, свою воинственную душу.

И душа его сладостно и несколько испуганно ныла, точно очищенная от коры часть древесного ствола.

VII

Госпожа Бэкдыль, мать поэта, хорошо вела хозяйство его. Получив второй заказ на ножи, она попросила задаток. Одну треть она отдала сыну, чтоб он купил сталь для лезвий, а две трети взяла себе, сказав, что задолжала и что надо выплатить долги. Между тем долгов у нее не было, а, наоборот, еще от первого заказа она удержала кое-какие деньги. Ей не терпелось купить трех хороших коз, которые бы давали молоко и тонкую шерсть для прядения. Сыновья, особенно младший, нуждались в еде, а сыр и козье молоко весьма полезны. Кроме того, они сильно пообносились.

Разумеется, госпожа Бэкдыль рассчитывала, что ее сыновья когда-нибудь заработают достаточно много денег и она наведет должный порядок в доме. После потери мужа госпожа Бэкдыль часто прихварывала, пальцы ее дрожали, и, подобно блуждающему огоньку, ее дразнила надежда, что она приобретет трех невольниц, коня, двух ослов и множество овец и коз!.. Невольницы прядут, ткут, делают сыры, убирают полы и двор, подкидывают угля в горн: качают мехи. Когда они плохо работают госпожа Бэкдыль слегка бьет их, они кричат, и все соседи, слыша крики, говорят между собой, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

Поэтому, прежде чем спуститься на площадь, где продают коней и коз, госпожа Бэкдыль, томимая надеждой на покупку рабынь, обошла ряды, крытые дырявыми ци-

новками, сквозь которые щедро падало жаркое солнце, и где было душно и тесно, и где продавали невольников и невольниц.

Конечно, мать хотела б купить белую невольницу с плотным телом, отлично вскормленную, от которой легко можно было б добиться послушания. Черные невольницы много спят и едят, подвержены чесотке, и от них плохо пахнет. Белые — зато дороги, особенно сейчас, когда багдадские воины слоняются без дела, а если вздумают воевать, то, наоборот, сами попадают в невольники к византийцам!.. Были у нее, кроме рабочих, и другие соображения. Сын ее возмужал, силен, и в нем уже клокочет желание, создающее много несчастий, если его не победить с помощью жены. Женить, женить!.. Люди болтают, что Махмуд безобразен и потому не сможет увлечь красавицу, которая бы согласилась на бегство или пустить его в гарем, опоив своего мужа.

«Безобразен! Безобразия нет, а есть трусость. Он же не труслив, а значит — красивее многих красавцев. Если же он не увлекает красавиц, то лишь потому, что работает для матери и своих стихов. Значит, я должна найти ему рабыню!»

Она не спешила. К солнцу и пыли она привыкла, базарный шум доставлял ей наслаждение. Она шла мелкими шажками, пыль тонкой мутно-желтой струей катилась между пальцами ее тощих ног, голых до щиколотки. Она размышляла вслух:

— Безобразен? Широкие, растопыренные уши, как парус? Подсмеивайтесь!.. Этими ушами мой сын слышит в мире то, что ваш ленивый слух никогда не услышит! Толстый, короткий, как кулак, нос с огромными ноздрями? Он чувствует далеко запахи счастья! Вашему ли расслабленному носу обладать таким нюхом, дряблые псы! Узкие глаза? А зачем ему видеть все горе в мире, бездельники, не видящие ничего, хотя глаза у вас больше подноса!..

Размышляя так и прицениваясь, госпожа Бэкдыль шла по рядам, где по одну сторону, в своем естественном безобразии, сидели и возлежали на полу многочисленные черные невольники и невольницы, а по другую — раскрашенные и завитые — на скамейках, которые подчеркивали их иноземное происхождение, сидело несколько белых женщин. Позади, стремясь оттенить их подержанную красоту, висели ковры.

Поодаль, на коврах, возлежали купцы, изредка глотая кофе. Иногда вставал какой-нибудь продавец и подходил к белым невольницам, чтобы похвалить красоту их, а где красоты невозможно было обнаружить, восхвалял их послушание и работоспособность.

Обойдя ряды, госпожа Бэкдыль оцепенело остановилась и сказала с глубоким вздохом:

— Неужели ничего нельзя поймать лучше? Чахнет, чадит Багдад, факел ислама! Разве это женщины? Разве таких женщин продавали лет десять тому назад? Кобылицы были, и племенные кобылицы притом, а не женщины!

Торговец сказал:

— Мать, ты сама была, быть может, десять лет назад кобылицей, а теперь ты сжатая полоса.

VIII

Шакал не перекричит торговца рабами, гиена не поборет его своими гнусностями. Госпожа Бэкдыль смолчала. Стоящий рядом с нею знакомый мастер морских лодок и припасов рыбной ловли сказал:

— Ваша правда, госпожа Бэкдыль. Мы разоряемся! Всех сильных невольников забирают себе вассалы, а в столицу халифа — да будет прославлено имя его! — поступает дрянь, отчего происходят язвы, вред и ущерб. Поверите ли, вчера я купил у этого негодяя черного раба, с виду мощного и, казалось, даже щеголявшего своим здоровьем. Приказываю ему сегодня тащить лодку к реке, чтобы испробовать ее ход... он падает, у него горлом кровь! Я привожу его обратно, чтоб обменять или получить свои деньги, а торговец не хочет ни того, ни другого!

— Негодяй!

И госпожа Бэкдыль добавила:

— Подумать только, господин мастер лодок! Ведь давно ли, при покойном халифе ал-Матадида, в двухсот восемьдесят первом году хиджры привели сюда три тысячи пленных...— И она продолжала, передавая базарной прозой одну из стихотворений своего сына: — А теперь? Сын одного из этих сопляков... их за бесценок продавали вот здесь, возле этой навозной кучи, которая называет себя торговцем рабами!.. Подлец Али, прозвавший себя «мечом династии», смеется над Багдадом! Пощечина аллаху!..

И он еще осмелился при своем вонючем дворе завести каких-то поэтов. Поэты?! Паралитик ал-Мутанаби, пьяница Абу-Фарас, гнусавый Ан-Нами. Всех их пора выставить вот сюда, в эти ряды!.. — И она продолжала, указывая дрожащей рукой на белых невольниц: — Смотрите, до чего дошло! Какую-то грязную черную девку выдают за белую, а просят за нее столько же, сколько за коня или верблюда! Купите-ка, попробуйте. Она не только не сможет услаждать ваш вкус и слух, она так малосильна, что, поставь на нее клеймо вашего дома, она сдохнет от волнения!

И мать Бэкдыль радовалась, говоря это, потому что ее неудовольствие происходящим вполне соответствовало ее денежным средствам. За невольниц просили так много!

Едва она закончила свою речь, как одна из белых невольниц, высокая, худая, с повисшими грудями и впалыми голубыми глазами, вдруг склонилась на бок и упала со скамьи прямо на каменный пол головою. Лицо ее, и без того равнодушное, стало не живее камня и словно бы покрылось плесенью смерти.

Торговец закричал, махая кулаками в сторону матери Бэкдыль:

— Она сглазила ее, этот дух преисподней, эта чахлая рвань!

Между тем надсмотрщик базара, он же и врач, наблюдающий за чистотой и здоровьем, кинулся к владельцу невольниц:

— Ты обманул меня, подлец! Я поверил тебе, что она здорова. А ты просто показывал мне ее в тени, а стоило выйти солнцу, как она упала! Ты заражаешь базар и других невольников.

И он повел его к кади Ахмету.

Торговец, склоняясь перед кади Ахметом, бормотал:

— Господин кади! Она была вся прелесть и блеск. Я ее кормил сладкими лепешками, мясом и давал ей даже вино, да простит мне это аллах. Она была как померанцевый цвет, но эта старуха сглазила ее, и я требую от старухи вознаграждения!

Кади Ахмет узнал мать поэта. Ему захотелось сделать добро и невольнице, и матери поэта, а кроме того, торговец был отвратителен. Пока торговец и старуха бранились, кади рассматривал невольницу. Она лежала на полу, сырая от болезненного пота и как бы вся закутанная

страданиями. И все же кади Ахмет увидал в ее лице что-то свежее и ясное, а в движениях ее тела — гибкость.

Кади Ахмет сказал, обращаясь к матери поэта:

— Женщина! Ты могла сглазить, сама не зная того. И ты должна понести наказание.

И он сказал, обращаясь к торговцу рабами:

— Мужчина! Ты своими беспутными словами вызвал действие дурного глаза. И ты тоже должен понести наказание.

Подумав, кади Ахмет добавил:

— Женщина! Ты возьмешь невольницу и заплатишь за нее цену двух коз. Мужчина! Ты подчинишься этой цене. Молчите, иначе вы оба будете ввергнуты в тюрьму.

Он глотнул из тыквенной бутылки и сказал:

— Уходите. Суд окончен.

IX

Махмуд посмотрел на невольницу, худощавую, чужую, со светлыми спутанными волосами, которые катились по ее костлявой спине, словно дрова, сплавляемые по горной реке россыпью. И он посмотрел на худую козу, которую купила мать, потому что, испуганная Законом, она отдала слишком много денег торговцу рабами и козу пришлось купить самую плохую.

Махмуд сказал:

— Зачем они? Что с тобой случилось, мать?

Она проговорила, уважая Закон и слова кади Ахмета:

— Девушка будет чистой, теплой, тяжелой, как морской прилив. Я откормлю ее. И коза тоже будет откормлена!

Как ни уважал он свою мать, но он не мог удержаться от хохота.

И, вспоминая хвастовство матери о морском приливе, он хохотал всегда, когда видел козу и невольницу вместе.

X

Минуло три месяца, и он перестал хохотать, глядя на нее. Слова матери сбылись. Невольница стала чистой, и ее походка расстраивала его чувства и мешала ему составлять песни. Он издалека чувствовал ее теплоту и ее глаза, уже не впалые,— они сияли голубым огнем, и

взгляд их, нежный и приятный, останавливающийся на нем, заставлял его насвистывать и потягиваться.

А девушка с улыбкой вспоминала свой испуг, когда впервые вошла в этот черный дом, обитатели которого показались ей неграми. Но вскоре она увидала, что их зачернила работа и что если их мыть долго, то, быть может, отмоешь и добела! И она с радостью взялась за стирку. Затем оказалось, что это добрые, ласковые люди, любящие цветы, и она с радостью поливала семь кустов жалких роз, и розы цвели так, как они не цвели никогда.

Так произошло начало любви.

Любовь взрастала медленно и осторожно. Даже кади Ахмет не замечал ее. Правда, он долго не появлялся к ним, возможно сомневаясь в своей прозорливости, но однажды, чересчур много хлебнув из тыквенной бутылки и боясь в таком виде явиться домой, приехал к ним и, садясь на коврик, спросил:

— Женщина! Довольна ли ты своей покупкой?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я довольна. Даже коза и та поправилась.

И она поклонилась ему.

Кади Ахмет сказал:

— Из всех судебных процессов, проведенных мною, этот, пожалуй, был самым удачным. Дело в том, что я редко лживо толкую Закон, а тут я толковал его совершенно превратно. Не сделать ли мне из этого подобающие выводы для следующих процессов?

И он долго сидел у них, наслаждаясь своей бутылкой и своим остроумием, и в первый раз поэт слушал его с неудовольствием: не потому, что кади говорил плохо, а потому, что поэт спешил к ней.

В любви к ней поэт проявил ожидание. Он не набросился на нее, как должно хозяину рабыни. Он дал взрасти и ее и своему чувству, и когда эти чувства слились, они охватили их, словно огромный вал прилива, и он сказал матери:

— Мать, ты была права. Она — чистая, теплая, и чувство к ней у меня огромно, как прилив.

Мать радовалась его словам, хитро улыбаясь. Она знала, что когда она купит ему еще двух невольниц, его чувство ко всем трем будет огромно, как океан, а она будет хлестать рабынь по щекам, упрекая их за нерадивость, и они будут кричать, и соседи будут говорить, что у госпожи Бэкдыль крутой характер.

XI

Однако бывали часы, когда он грустил. Любовь, как поется в песнях, — цветок. И он нашел этот цветок! Но все же, сколь ни мил цветок, — это флора небольшой местности. Его цвет, его букет цветов — меч, обнаженный в защиту халифа! И халиф, направляющий этот меч! И Багдад, воплями и песнями воспевающий этот меч! И над жидкой кровью неверных цветут его стихи, стихи Махмуда иль-Каман!..

Девушка, думая, что он огорчается любовью к рабыне, сказала ему:

— Я не простого рода. Я скажу тебе то, чего не говорила и в чем не признавалась другим арабам. А даже отрицала это и хворала непрерывно от этой лжи. Я не хотела, чтоб византийцы хвастались, что они продали дочь князя! Мой отец — начальник одной из дружин князя Игоря и сам княжеского рода. И братья мои, Сплавид и Гонка,— князья.

— Кто такой князь Игорь? — спросил поэт.— Багдад никогда не бился с ним и не получал от него дани.

— Князь Игорь никому не платит дани. Он со всех берет дань! Он — владелец обширной земли Русь, где лето с теплыми и короткими дождями, а зимой земля покрывается колеблющимся и зыблющимся снегом.

— Мой отец в детстве видел снег. Он выпал однажды в Багдаде. Снег держался три дня. Много людей тогда умерло от холода и испуга.

— Мы не боимся ни холода, ни испуга. Мы — Русь. Помнишь базар? Я собиралась умереть от негодования, что какая-то черная негритянка торгует меня, но добрый судья помог мне увидеть видение счастья. Я верю, что принесу тебе счастье, а свое я уже получила от тебя.

Махмуд спросил:

— Где же ваша страна, скажи? — И он поспешно добавил: — Удивительно, как плавко сердце, охваченное любовью. Твоя страна уже близка мне, и я томлюсь по ней. Я хочу знать о ней все, что ты только помнишь!

— Моя страна лежит далеко, по ту сторону шипящей, как змий, на весь мир Византии. Моя страна растирает в пыль и в песок своих врагов, и с времен князя

Олега Византия платит нам дань! Три года назад Византия отказалась платить нам дань. Тогда наш князь Игорь собрал войско и с обширной реки Днепр пошел к Византии...

— А, поход варваров! — сказал поэт. — Я слышал о нем. Византийцы ведь прогнали вас?

Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, сказала, чувствуя, что по правам своим она уже обязана предостерегать поэта:

— Ты опрометчив, Махмуд. Верить утверждениям византийцев! Их правда всегда в тумане, несмотря на то что над Константинополем всегда ясное небо. Варвары? В нашей стране — большие чудные города, наши ладьи управляют всем Черным морем, и наш меч, ослепляющий врагов, грозен всем и каждому! Варвары?! Ха-ха!.. Завистливая, струящаяся ложью Византия, стараясь унизить нас, называет нас варварами, и ты повторяешь это унизительное слово, Махмуд?

Защищаясь от ее справедливых упреков, поэт спросил:

— Как же случилось, что страна ваша велика, богата воинами и оружием, а ты, дочь князя, попала в плен?

— Как?! Из-за слабости Багдада.

— О-о! — воскликнул он с горечью.

XII

Дав улечься буре, поднявшейся в нем от ее обжигающих слов, Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки, продолжала:

— В девятьсот сорок первом году, по общепринятому византийскому летосчислению, князь Игорь, повторяю, собрав войско на множество судов, двинулся на Константинополь. Три года назад... Горе, горе, о Перун, бог Киева и славян!.. Я преклоняюсь перед твоими стихами, Махмуд, но никакой сборник твоих стихов не сможет описать страданий, перенесенных мною. Когда я придумываю месть византийцам, любые их мученья кажутся мне только подбиранием колосьев, а не полной жатвой. Мсти им, Махмуд, мсти им! Они убили твоего отца, и вот я плачу о нем теми же влачащимися долгими слезами, какими плачу о моем брате Сплавиде!

Она вытерла свои слезы, и рукав ее платья от пальцев до локтей был мокр от слез.

— В числе других женщин, желающих увидеть славу Руси, я сопровождала войско. Еще при Олеге мой отец, витязь Буйсвет, погиб накануне того дня, когда наш князь прибил свой длинный коленчатый щит к Золотым Воротам столицы византийцев. Олег огромным молотом вбивал гвозди с такой силой, что гром стоял над Константинополем и жители прятались в погребах и ямах, опасаясь землетрясения!..

— О, красота, о, прозрачность аллаха! Твой рассказ, милая, идет стройной линией, как войско. Говори, говори!..

— Повторяю, под Константинополем коварный византиец убил моего отца, спрятавшись за дуб, когда отец подвел своего коня, чтоб напоить его из родника. Я была в дни похода Олега еще ребенком, но я помню вопли матери. И теперь, когда Игорь направился в поход, я сама хотела видеть, как он прибьет к Золотым Воротам свой щит. И я поднесла ему небольшое золотое украшение для этого щита. Так сделали многие наши девушки, отчего щит заблестел, как солнце и был тяжел, как телега, груженная зерном. Но князь наш силен, и он носит щит с легкостью...

— Он красив, ваш князь Игорь? — спросил, побледнев от ревности, поэт.

— Нет, нет! — поспешно сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки.— Он сутул. Вернее сказать, горбат! И он косит одним глазом. Он совсем некрасив, и редкая девушка влюбится в него...

— Редкая! Значит, все же влюблялись?

— Я говорю в том смысле, что не знаю такой девушки! Уважение к князю и любовь — это совершенно разные вещи, Махмуд.

Она солгала? Едва ли. В свое время, как и многие девушки Киева, она притаенно вздыхала по князю Игорю. А теперь и на самом деле он казался ей уродливым, и она искренне клеветала на него, называя его и горбатым и косым. Не будем осуждать любовь, она прекрасна, даже и при такой, правда наивной, клевете.

Слова ее звучали искренне. Поэт сказал:

— Братья тебя обожали, наверное? И ты у них единственная сестра? Но как же случилось, что они взяли тебя с собой в битву? Согласись, брать девушку в по-

ход, да еще против таких гнусных врагов, как византийцы, по меньшей мере неразумно.

— Я убедила их, сказав, что наше хозяйство расстроилось и мне самой надо последить за их добычей. Они легкомысленны! Они склонны к игре в кости, к вину. Кроме того, им не везет в игре. Так, недавно вернувшись из похода на печенегов, братья привели шестьсот пленников, и ни одному из пленных не было больше двадцати лет...

— О, богатая добыча! — воскликнул поэт.— У нас такой витязь уже презирал бы халифа, называя себя — тьфу! — «мечом династии». Хочу повидать твоих братьев!

— И вы подружитесь! — сказала она, сжимая его руки.— Но только Сплавид уже погиб, а выздоровел ли другой — не знаю...

Она помолчала.

И он спросил:

— Подозреваю: они проиграли шестьсот плененных печенегов?

Грустно улыбнувшись, она сказала:

— Да, проиграли, в пять дней. И вот, когда я им напомнила об этом проигрыше, добавив, что они проиграют и богатую византийскую добычу, — они взяли меня с собой.

Был вечер. Над высокими стенами, окружавшими дома Багдада, шелково шелестели деревья, уходя в сиреневую тьму вскачь приближающейся ночи. Весна кончалась, и этим вечером, быть может, прошел последний ее, тихо мерцающий, дождь. Во всяком случае, между вершинами деревьев и водой, шумящей у их корней, прижавшись друг к другу, расселись соловьи и пели, всячески расцвечивая свои песни.

Вслед за деревьями в сиреневую мглу скрылись и широкие разноцветные купола мечетей, и только тонкие минареты, как мечи пророка, пронзали небо. И небо, пронзенное мечами веры, истекало нежным светом, постепенно заменяясь другим, тревожным и мрачным. Это было световое кольцо вокруг луны, которое показалось раньше самого светила, и показалось оно над медресе эль-Мустинсериэ.

По переулку проехал всадник. Быть может, это был кади Ахмет? Мул всадника хлябал подковой и он, в такт этому хлябанью, бормотал какую-то песню.

— А возможно, твои братья и правы, проигрывая все в кости? Зачем нам добыча, пленные и золото? Воин и поэт не должны ли быть расточительными?

И он расточительно назвал ее луной, и небом, и красной медью своего трубящего радость сердца, и мечтой счастья!

И, захватив ее мизинец указательным пальцем своей руки, ходил с нею по крыше домика, такой же тесной, как и дворик внизу, где лежали под навесом куски металла, из которого он ковал свои кривые ножи, украшенные лепестками, и лежал сухой помет для топлива, спрессованный в кирпичи, и лежали древесные угли для горна. Там же, возле козы, укладывалась на ночлег мать поэта, госпожа Бэкдыль, потому что дом она предоставила любовникам. Мать радостно вздыхала, слыша глухой говор счастья, доносящийся с крыши. Ах, если б еще двух рабынь, и как бы все было великолепно, и как бы соседи завидовали тогда иль-Каманам!..

XIII

Они не спали всю ночь, и на рассвете, ослепленный счастьем, поэт поднял голову с ложа и спросил:

— Однако, моя любовь, ты не объяснила мне, как же Багдад мог помешать князю Игорю в его мести византийцам?

— В год нашего похода,— сказала Даждья, дочь Буйсвета, сестра Сплавида и Гонки,— в Багдаде и во всем халифате была смута. После смерти халифа и поэта Ар-Ради...

— Он был плохой поэт!

— Может быть, поэтому вы не могли так долго выбрать нового халифа и резали друг другу горло?

— Я, как и ты, ненавижу смуты!

— Прекрасно. Тогда ты скоро поймешь меня. Тебе известно, что на восток от Византии, направленный против Багдада, стоял тогда с большим войском умный и опытный доместик схол Иоанн Каркуас?

— Да.

— И тебе известно также, что, когда Багдад ослабел, Иоанна и его войско византийский император увел к западу? На нас.

— Нет. Этого я не знал. Я слышал только, что Иоанн ушел.

— Иоанну добавили войска, которые готовились вторгнуться в Южную Францию. А мы уже в это время дрались с византийцами в Вифинии! О, мы их били! Я имею основания думать, что мы били их прекрасно! Они пускали от нас коней и свои тонкие ноги во всю прыть. Мы подошли к Никодимии, а по берегу Черного моря — к Гераклее и Пафлогонии. Византийцы перепугались. Они собрали все имеющиеся у них таинственные машины, извергающие воспламенительный «греческий огонь». Привели свой флот, которому в иные времена стоять бы против багдадского флота...

— О, горе! — простонал поэт.— Горе Багдаду!

— Византийцы сожгли наши ладьи. Наше войско отступало. Старшего брата Сплавида изрубили мечами. Младшего, раненного, уносили трое дружинников — все, что осталось от славной дружины князя Буйсвета! Защищая братьев, я взяла лук. Меня ранили в плечо. Вот сюда, смотри! Трое дружинников всего... кого же нести? Меня? Брата? Я сказала: «Разложите костер. Зажгите. Я встану на вершину огня. А скажите в Киеве, чтобы Русь пришла сюда за моим пеплом. И чтоб посыпала этим пеплом главу византийского императора и растоптала его корону на моей могиле!»

— Хорошие, всегда вспыхивающие слова!

— Костер пылал. Я сидела на вершине его. Дружинники унесли брата, так как византийцы были близко. Но у византийцев большой бог, он вставляет иногда днище в такую бочку, которая, казалось бы, совсем развалилась. Вдруг хлынул ливень, потушил костер, и меня сняли с костра обгоревшей, но живой. Я не хотела выздоравливать. Я звала и видела дух моего отца Буйсвета и дух моего брата Сплавида!.. Тем временем Иоанн Каркуас, отправленный вновь на восточную границу, увез меня с собой. Больную, они пытали меня, чтоб узнать мое звание. Я молчала! Тогда они плюнули мне в лицо и в числе других рабов обменяли за какого-то проткнутого багдадским ножом византийского старикашку-вельможу... Я сгорала, духи отца и брата стояли рядом со мной... Ты, Махмуд, подарил мне сердце и создал мне душу. Я жива! И я сильнее, чем когда-либо, жажду мести византийцам.

Ее слова радовали его. Он сказал:

— Мы будем мстить!

XIV

Мстить! Но как?

Несколько дней подряд, не отходя от горна и станка, поэт делал ножи. Подруга его дергала веревку, которая раскачивает мехи, подающие воздух в горн. За работой поэт неустанно думал: «Если визирь заказал мне так много битвенных ножей, то, значит, ожидается сражение с неверными. Багдаду, а значит, и всему халифату известно, что византийцы подошли к стенам Эдессы и, упоенные славой, требуют выдачи эдесской святыни. Властный эмир Эдессы приутих и приехал советоваться с халифом. Не пора ль пропеть песню перед халифом?»

Поэт стучал молотом по металлу, и ему грезилось, что он стоит перед халифом и слова его стучат по сердцу повелителя, извергая искры.

Даждья спросила:

— Что такое убрус, о котором мать принесла весть с базара?

Махмуд сказал отрывисто:

— Эдесская святыня.

— Чьей веры святыня? Мусульманской? Христианской?

— Той и другой.

— Как же — и той и другой? Вы называете себя правоверными и, однако, признаете христианскую святыню?

— Пророк Исса, или, как его называют византийцы и несториане, Иисус, освящен в Коране.

— Еще одна слабость Багдада!

— Где ты нашла слабость?

— Говорят, святыня — это полотенце, которым однажды утерся пророк Исса. На полотенце нерукотворно отпечатался лик пророка Иссы. Как же так? Ведь пророк Магомет запретил поклоняться идолам и всяческим изображениям?.. О, вы рабы собственной слабости! Вы поклоняетесь какой-то тряпке, потому что ее нарисовал византийский художник. У греков были великие художники, а у вас, арабов, никогда не было художников, и не потому ли пророк Магомет запретил рисовать портреты?

Махмуда раздражала ее болтовня, тем более что в ней заключалась правда. Но что она твердит — сла-

бость, слабость! Нельзя же, в самом деле, ковать ножи и собираться на битву, сознавая в то же самое время себя слабым?

И он сказал:

— Молчи. Ты мешаешь работать.

— Наоборот. Я помогаю тебе работать, так как развиваю твои мысли. Нужно быть последовательным. Если ты мусульманин, зачем тебе христианская святыня?

— В халифате много христиан, и Коран...

— Коран приказывает тебе уничтожать неверных!

— Молчи! Что ты понимаешь в Коране? Ты языческой веры...

— Я языческой веры? — воскликнула она.— Моя вера одна: если любишь, люби со всем, что есть в этом человеке. А ты мне кричишь: молчи! Убей меня тогда. Коран приказывает тебе уничтожать неверных, а ты мне не веришь!

На лице ее выразился гнев и презрение. Отталкивает ее, дочь Буйсвета, сестру Сплавида и Гонки? И губы ее сжались так, словно она собиралась плюнуть ему в лицо.

Как, плевать в лицо арабу? Поэту? Нечестивая! Он отбросил молот, потому что был зол и чувствовал опасность.

Она, распахивая одежды и указывая на свою белую грудь, воскликнула:

— Бей ножом! Вот ножны для твоего ножа, неверный и неверующий.

Он отступил от нее и сказал:

— Ты глупа.

— Значит, ты меня не любишь?

Он молча ушел.

XV

— Что такое поэт? — спросил сам себя кади Ахмет, увидав входящего к нему Махмуда.— Это основа радости. Человек и его жизнь зачастую — игра судьбы. Поэт берет из этой игры наиболее веселые моменты и словами, тающими во рту, рассказывает о них другим, с тем чтобы люди были выносливы и снисходительны. Итак, мы ждем твоей песни, поэт!

— Я сам жду от вас, добрый кади, и от вас, о перст Закона Джелладин, помощи и указаний.

— Прекрасно! Будем утешаться вместе.

И кади Ахмет подбросил ему подушку, чтоб поэт мог облокотиться, и указал место на ковре рядом с собою. Вследствие своей снисходительности к людям кади был беден. Однако он никогда не жаловался на свою бедность, а даже восхищался ею, говоря, что у бедного всегда отлично работает желудок и он оттого может без помехи наслаждаться благами жизни, вроде воздуха, солнца или цветущих деревьев. Багровый, полнокровный, рыжебородый, он возлежал на рваных, жестких подушках с таким счастливым лицом, словно подушки мягче пуховиков, а лохмотья их глаже шелка. Он курил дрянной табак и пил с удовольствием плохой, дешевый кофе, который варил себе сам не потому, что его не уважала или не любила жена, а потому, что не хотел затруднять ее. С женой, что редко бывает среди праведников, он жил дружно.

Против кади сидел законник Джелладин, согнутый, изможденный и порядком озлобленный. Его уму принадлежало изречение: «Есть Закон, есть и ты». Встретив вас, он не желал вам ни доброго утра, ни доброго вечера,— он желал вам законно провести свое время. И он пичкал людей текстами законов, как неразумная кормилица ребенка грудью, обижаясь и негодуя, что обкормленный ребенок кричит. Джелладин глядел на людей так, точно готовился бить их сейчас кнутом или подвергнуть пытке. И только когда человек не подавал признаков жизни, Джелладин смотрел на него милостиво, передав его другому судье, который, он допускал, знает Закон так же, как Джелладин.

Из всех людей, пожалуй, только один кади Ахмет находил удовольствие от встреч с Джелладином. «Наш ум как нож — остер, когда имеется хороший брусок,— говаривал кади.— Кроме того, у него, бедняги, имеется лишь одно наслаждение — Закон, а его, как я знаю по опыту судьи, очень тяжело переварить. И я надеюсь в конце концов познакомить его хоть с парочкой из тех многочисленных и разнообразных наслаждений, которые известны мне».

Чего хотел сам Джелладин от кади Ахмета? Быть может, свидетельствования на суде беззаконий кади Ахмета, когда проницательный халиф — закон законов — разглядит все проступки кади Ахмета и сменит его и отдаст самого под суд, и на этом суде будет главным

судьей Джелладин? Кто знает! Как бы то ни было, Джелладин, ходячий сборник форм и образцов, ежедневно посещал кади Ахмета, ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов.

— Какой же помощи ты ждешь от меня, Махмуд? — спросил Джелладин.

Махмуд сказал:

— Я хотел бы прочесть свои стихи перед лицом халифа, да будет благословенно имя его!

— Так. Да будет благословенно!

Джелладин проговорил:

— Махмуд! Не считаешь ли ты нужным прочесть вначале свои стихи перед моим лицом? Твои стихи, я знаю, излагают закон правоверных. Кто же лучше меня толкует Закон?

Махмуд, огорченный своей первой ссорой с подругой, думал, что не сможет с должным чувством прочесть свои стихи, призывающие к битве против Византии. Оказалось, что ссора не помешала пылу чтения, а придала ему большую силу.

Джелладин, обдумывая стихи, смотрел в пол. Кади Ахмет улыбался, щекоча рыжей бородой свой нос. Он сказал:

— Мило. Очень мило. Мне представилось, что это стихи не об усмирении Византии, а о важности усмирения возлюбленной. И не лучше ли отбросить Византию и оставить возлюбленную, которой у тебя, Махмуд, еще нет, но которая придет, если ты будешь по-прежнему с таким совершенством сочинять. Что же касается халифа, то ему теперь не до стихов. Эдесса! Святыня!.. У халифа, насколько мне сейчас известно, слабый и частый пульс, и, кроме того, халиф жалуется, — да будет благословенно имя его! — что его мучают мурашки на спине и зуд в пятках. По-моему, он чересчур много кушает дынь, а дыни к весне, уже теряя свою целебность, вызывают лихорадку.

— Беззаконно так низко говорить о халифе! — торжественно провозгласил Джелладин своим воспитывающим голосом, один звук которого напоминал формат какой-то толстой книги законов. Даже в обсуждении болезни халифа должна проявляться сдержанность.

Он встал.

— Махмуд, при случае я сообщу твои стихи визирю. Я их запомнил, у меня отличная память. Тебе нужно,

правда, внести кое-какие вставки, необходимые с точки зрения Закона. Зайди ко мне завтра, я тебе их сообщу. Возможно, стихи твои визирь передаст халифу. Другого пути нет. Стихи, как и тексты Закона, идут по соответствующим ступенькам.

Махмуд сказал:

— Я хотел спросить еще: что такое эдесская святыня и как могло случиться, что мусульмане и христиане чтут ее равно?

Джелладин, остановившись в дверях, сказал:

— Предание, которое скоро халиф введет в форму Закона. На эту тему я рассчитываю сказать длинную речь в совете, созываемом визирем.

— Вернее сказать, предрассудок,— проговорил кади Ахмет.— Один из обаятельных предрассудков, которые так любит человечество. Чудо. Будучи мусульманином и кади, я допускаю чудеса. С ними легче жить. И потому чудес на земле много. Не удивляйся, Махмуд, нерукотворному убрусу, или мандилии, как называют эту картину византийцы. Я слышал, например, что в Индии на скале имеется отпечаток ступни некоего пророка Будды. Отпечаток этот цел и поныне.

Он вздохнул и продолжал, ласково глядя на Джелладина, который высказывал нетерпение:

— Чудес много, и всего чудеснее моя жена в полнолуние, хотя я и устаю на другой день. Именно сегодня мне предстоит встреча с ней. Она, когда появляется полная луна, начинает испытывать ко мне благосклонность. Надо думать, родительница зачала ее при полной луне, и жена моя, вам это известно, наверное, тщетно добивается от меня продолжения нашего рода...

Джелладин прервал его, торопясь к своим свиткам:

— Аллах вас наказывает, кади, за беззаконие, не давая вам продолжения рода!

Он скрылся, а кади продолжал:

— Скорее всего, аллах заботится о моем спокойствии. По слабости своей я отдал бы своего сына на воспитание к Джелладину, а этот ученый в преподавании слишком любит ускоренные переходы, подобные военным переходам. Дорога Закона — суха, камениста, раскалена. Не будем торопиться.

XVI

Кади Ахмет сказал:

— Возьми ступку, Махмуд, и потолки кофе, он уже прожарен. У тебя сильные руки, а мне нужно беречься к сегодняшней встрече с женой.

Глядя, как Махмуд ловко толчет кофе в каменной ступке, кади говорил:

— Вернемся к твоей просьбе, мой милый поэт. Завтра, повторяю, я буду усталым, — годы, поэт, годы! — и мне вряд ли захочется говорить об эдесской святыне перед приехавшим эмиром и нашим почтенным визирем. Халиф, да будет тебе известно, не принял эдесского эмира. Почему? Халиф знает, что он делает, и пока он не сказал нам своих дум, нам незачем о них догадываться. Завтра поэтому визирь и собирает нас, чтобы в присутствии эмира Эдессы обсудить в сильнейшей степени затруднительное положение с эдесским чудом, именуемым убрус или, чаще всего, мандилия. Чудеса приятны, но с ними столько хлопот и усталости! Аллах, я заболтался, и ты столько успел натолочь кофе, что мне его хватит на месяц, а он выдыхается. Сыпь сюда!

Он подставил ему кожаный мешочек для кофе и глядя, как запашистый коричневый порошок тонкой струей льется в мешок, говорил:

— Итак, я буду усталым, как луна на ущербе. От усталости скажешь глупости. Бездельники вдобавок извратят смысл слова. И пищеварение твое испорчено на неделю. А в пятьдесят лет весьма необходимо заботиться о желудке, Махмуд! Поэтому я с удовольствием передам тебе мои соображения, Махмуд. Ты соединишь их со своими,— получится убедительно, красиво. Два мешка всегда лучше, чем один.

— И я могу читать стихи?

— Стихи? Избави тебя аллах от стихов! Кто же читает стихи на государственном совещании, да еще по такому сложному делу, как эдесская святыня? Тебе нужно, чтоб на тебя обратили внимание. Визирь уже знает о твоих ножах. Теперь он узнает о твоем уменье говорить, которым ты обладаешь, как я заметил давно. Ну а затем придут стихи. Джелладин прав — надо помнить о ступеньках!

Он отложил мешочек с кофе в сторону, достал кофейник и попросил Махмуда раздуть угли в жаровне:

— Я все забочусь, видишь ли, о том, чтоб у меня было поменьше усталости. Но впрочем, что такое жизнь, если в ней не будет усталости? Получится сплошная беготня! Я верю в чудеса и думаю, что возможно, ты, Махмуд, получишь когда-нибудь командование кораблем, хотя ты совершенно не знаком с морским делом. Но, аллах, мало ли мы знали адмиралов, которые, получив командование флотом, именно в тот момент впервые вступали на корабль. И всего удивительней — они побеждали! А ты, Махмуд, хоть знаешь поэзию, что для командира корабля имеет немаловажное значение. Таким образом, я считаю, что есть вероятность рассчитывать тебе и на штурм Константинополя. Кстати, скажи, Махмуд, что ты будешь делать в Константинополе, когда войдешь туда?

— Я сожгу его!

Кади вздохнул:

— Вот так поступают все влюбленные. Сначала они добиваются любви, а затем, добившись, сжигают ее. Один только я постоянен, хотя, признаюсь, очень устаю в дни полнолуния. Что поделаешь! Старуха моя толста и тепла, и мне было б жаль сжигать ее. Это обстоятельство я тоже отношу к области чудес.

Кофе сварился. Кади Ахмет налил две чашечки. Они неторопливо выпили, рассуждая об эдесской святыне, а затем кади зевнул и сказал:

— Мне нужно поспать перед вечером. Прошу тебя не обижаться и хорошо запомнить мои слова об эдесской святыне, которые я тебе советую сказать завтра. Что главное? В таких запутанных делах, как багдадские, лучше терпимости нет ничего. Джелладин, если рассуждать по совести, недопустимо омерзителен. Мое мнение — святыню надо удержать в Эдессе, она связывает и христиан и арабов вместе, иначе они поссорятся. А христиан у нас много.— И, потягиваясь, он добавил:— И это самые кляузные люди из всех, кого я видел на суде.

Он дотронулся до его щеки своей медной бородой и быстрой, резвой своей походкой подошел к ковру, поправил подушки, лег и немедленно уснул.

XVII

Когда Махмуд вернулся домой, Даждья подметала пахучим веником из полыни комнату, где он имел обыкновение отдыхать. Рваные ковры были выбиты и починены. По углам комнаты стояли в больших горшках розы. Она отбросила веник и обняла его. Руки ее пахли розами и полынью. Он сказал:

— Забудь ссору. Я был глуп.

— Я давно простила тебя. Мне казалось без тебя, что ты ушел совсем. Где ты был?

Он сказал ей о совете у визиря и о том, что кади Ахмет предложил ему говорить.

— А свои мысли ты сказал ему?

— Он меня о них не спрашивал.

— Лень! Но насколько важно для тебя, что ты скажешь визирю, настолько же важно, чтоб визирь захотел выслушать тебя.

— Он захочет!

— Захочет, если ты и в безмолвии своем покажешь ему себя умным.

— Как же я безмолвно могу показать себя умным?

— Это называется придворным поведением. У нашего князя Игоря тоже есть свой визирь. Он часто посещал наш дом, и я беседовала... наш визирь умен. Ваш, мне думается, похож на него. Слушай... Нет, в начале поговорим об эдесской святыне. Отдавать ее, по-твоему, или нет?

— Никогда!

— Твое мнение и мнение кади Ахмета сходятся?

— Да.

— Понятно, что ты не мог сказать ему своего мнения, потому что своего у тебя и не было.

— Я имею свое мнение!

— Какое же?

— Отдать святыню — невозможно!

— Ты только что говорил, что это мнение кади Ахмета, и, наверное, Джелладина, и вообще всех ученых дураков. Ты не в счет, потому что ты мало учен. А я училась в Киеве кое-чему, и, быть может, большему, чем твои ученые дураки, и их хорошо понимаю. Итак не отдавать? Допустим — не отдавать.

Она помолчала, пристально глядя в глаза Махмуду, а затем сказала:

— Тебе известно, что на багдадской границе попрежнему стоит доместик схол Иоанн со своими войсками?

— Да.

— И тебе, быть может, известно, что князь Игорь за три прошедших года после последнего похода на Византию сильно вооружился? И что он опять пойдет на Византию?

— Допустим.

— Допустим. Также можно допустить, что доместика схол Иоанна уведут с багдадской границы против князя Игоря, если византийцы почувствуют, что Багдад слаб?

— Да, да!..

— И теперь-то, несомненно, князь Игорь разобьет доместика схол Иоанна! И мы с тобой будет пить вино из черепа Иоанна! И я буду петь песню... Слушай.

Она вполголоса стала напевать. Слова песни были непонятны, но мотив ее говорил о торжестве возвращения домой. Она пела и одной рукой била в воздух, словно в руке ее был тяжелый молоток, в другой — щит, а перед нею высились очертания Золотых Ворот!

Не допев песни, она сказала:

— Но если доместик схол Иоанн не покинет вашей границы, нам трудно будет с тобой нанести византийцам поражение. Нам, багдадцам!

Он поцеловал ее в губы. Отшатнувшись, она сказала шутливо:

— Я же язычница! Кого ты целуешь? — И добавила: — Не кажется ли тебе, что, требуя эдесскую святыню, византийцы испытывают наши силы и поход Игоря уже начался? Значит, вам сейчас выгодно показать византийцам вашу слабость. Халиф у вас — человек превосходного ума. Выскажи ему то, что он думает, и он выслушает твои стихи.

— Что же он думает?

— Халиф думает, что сейчас полезно показать византийцам свою мнимую слабость. Халиф думает, что Багдад должен отдать византийцам эдесскую святыню, что полезно озлобить Багдад этим грабежом. Отдача святыни не рассорит, а соединит багдадских мусульман и христиан. Они понимают, что после этой святыни византийцы могут потребовать и жен их, и детей... Что ты на это скажешь, Махмуд?

Махмуд молчал. Он согласился с ее доводами. Он пробормотал, уступая:

— Но честь Багдада...

— Тебе дороже честь Багдада, чуть-чуть поколебленная, или победа над византийцами и череп доместика схол Иоанна, отделанный в виде чаши?

Помолчав, он воскликнул:

— Откуда в тебе столько ума и лукавства?

— Я — женщина,— смеясь ответила она. И добавила:— А теперь позволь я расскажу тебе, как поступить, чтоб визирь обратился к тебе с предложением речи.

XVIII

В полдень кади Ахмет верхом на своем муле приближался к дворцу визиря. Мул, несмотря на свой пожилой возраст, подобно хозяину, был любопытен: он часто останавливался и осматривался. Кади не торопил мула. Люди заблуждаются, когда говорят, что куда-то опаздывают. Никогда и никуда нельзя опоздать. Горести везде найдут вас, а счастье — совершенная случайность.

Махмуд шел рядом, ведя за повод мула.

На площади перед дворцом они увидали множество съехавшихся всадников, слуг и мальчишек. Продавцы воды и сладостей выкрикивали цены. Кади сказал:

— Я истинно чувствую усталость: полнолуние в моем возрасте вредно. Мне хочется выпить, а баклажка моя пуста. К сожалению, я не вижу ни одного знакомого торговца, продающего тайком нужный мне настой. Неужели я их всех успел упрятать в тюрьму? Весьма жаль, если так.

Они подошли к воротам, чтобы через них вступить во двор и подняться по лестнице, предназначенной для бедных и скромных посетителей. По ту сторону ворот, в деревянной клетке, сидел, для примера другим, какой-то мудрец, ложно толковавший Коран. Он выл от голода и болезней, и кади Ахмет сказал, направляясь к нему:

— Печально лишать визиря удовольствия слышать эти вопли, но пусть, если ему нравятся вопли, прогуляется он по окраинам Багдада. Он много сидит, а прогулки рекомендуются врачами. Кроме того, конечно, я свершаю, как судья, беззаконие, кормя этого негодяя.

Но я слаб, и в подобных случаях мне мерещится клетка, которую для меня сколачивает Джелладин, и мне делается стыдно, что я не помогаю самому себе.

И он сунул в клетку мудреца кусок лепешки, которую держал за пазухой, так как знал, что за столом визиря, если даже кади и пригласят к нему, он получит лишь воду для мытья рук.

Дворец визиря примыкал своей оградой к дворцу халифа. Дворец халифа был из розового плотного камня, дворец визиря — из зеленоватого и порыхлей. Все это знаменовало собой, по замыслу архитектора, цветущую розу и листву, поддерживающую розу. Дворцы разделял обширный сад с дорожками, посыпанными редкостным черным песком, с лужайками, фонтанами и бассейнами. В воде плавали диковинные рыбы, а на лужайках бродили прирученные дикие животные.

Когда кади и поэт проходили мимо евнухов и невольников во дворец, то, несмотря на то что они поднимались по самой бедной лестнице, слуги с безмолвным неодобрением оглядывали их жалкие одежды. Махмуд по молодости застыдился. Кади Ахмет заметил это и сказал:

— В жизни, как и на войне, важно, чтоб хорошо прикрывалось главное укрепление. В данном случае — ум. Ты не страдай, поэт. Твои внутренние одежды блистательнее одежд любого из этих блюдолизов. Впрочем, впоследствии, одевшись сам в блистательные одежды, ты с удовольствием вспомнишь свои страдания на этой лестнице бедных. Но тогда твои внутренние одежды, к сожалению, будут бедней.

В зале совета они были усажены в пятом ряду, позади богатых торговцев и видных мастеров оружия, сухопутного и морского снаряжения. Впереди всех сидел Джелладин. Законовед, вымытый, вычищенный, глядел вперед со свирепым видом, готовый во имя Закона, подобно псу, стерегущему отару овец, броситься с воем навстречу любой опасности. Законовед не видал никого и ничего, кроме дверей, через которые должен был войти визирь. Тем не менее кади раскланялся с ним и сказал:

— Вежливость — большая обуза. Она мешает видеть мир в истинном свете. Но это, пожалуй, и лучше. Когда имеешь возможность, вроде меня, часто судить людей

за пустяки, надо хоть вежливостью исправить вздор, который ты порешь.

Знакомый мастер морских лодок, услышав резкий голос кади, обернулся к нему и озабоченно спросил, почему рабы нынче столь малосильны. Вот он покупает в течение года уже четвертого раба, и все они страдают желудком и малокровием! Он разорится. Ему самому приходится сталкивать тяжелые лодки в воду, это унижает его достоинство, отпугивает покупателей!

И мастер лодок с соболезнованием осведомился у Махмуда: жива ль их белая невольница, которую он отговаривал покупать, а госпожа Бэкдыль все же купила. И ему стало неприятно, когда Махмуд живо сказал ему, что девушка здорова, отлично трудится и все ею довольны. Тогда торговец осведомился, жидкой или твердой пищей они кормят невольницу и дают ли ей рыбу. Прошел слух, что злой волшебник Аббикон, насланный византийцами, портит в реках и море рыбу и что именно поэтому питающиеся рыбой ослабели.

Кади Ахмет сказал:

— Во-первых, Аббикон не волшебник, а лишь злой дух, присылаемый неким волшебником Бади каждые семь лет для ловли рыбы. Последний раз он был в наших водах четыре года назад, и сейчас ему здесь делать нечего. Во-вторых, рекомендую вам давать рабам впятеро больше рыбы, чем вы даете, и тогда никакой волшебник или злой дух не ослабит их. Вообще я заметил, что люди довольно легко справляются с волшебниками или злыми духами и гораздо трудней с самими собою. Я могу вам рассказать совершенно достоверную историю о волшебнике Бади...

Но тут вошли стражи, за ними чиновник, который громко прокричал о приближении визиря и глубокоуважаемого гостя его, эмира Эдессы, достопочтенного Омара ал-Бараби-Сагайн.

Визирь медленно нес на тоненьких ножках свою большую желто-серую яйцевидную голову, старавшуюся изобразить уважение к гостю. Гость, попадая в шаг визирю, семенил за ним толстыми ногами, и маленькая властная головка его, круглая, с густыми черными бровями, часто вздрагивала. Эмиру казалось подозрительным, что халиф так долго не принимает его, и он боялся узнать по лицам законоведов и кади свою судьбу. Эмир приехал в Багдад, рассчитывая свалить на плечи

халифа, как религиозной главы ислама, всю ответственность за передачу эдесской святыни византийцам. И эмира злило, что его принимает визирь, которого халиф всегда может сменить, утверждая, что по глупому приказанию визиря передана святыня.

XIX

Визирь сказал:

— Законоведы и судьи! Халиф — да будет благословенно имя его! — повелел мне спросить вас: отдавать или нет великую святыню Эдессы, так называемый убрус, или мандилию пророка Иссы. Византийский император в обмен клятвенно обязуется отвести свои войска от стен Эдессы, вернуть нам три тысячи пленных, а за понесенные нами в войне убытки выплатить немедленно двенадцать тысяч серебряных монет. И, разумеется, заключить вечный мир.

Законоведы и кади задумались, стараясь угадать то, чего хотят халиф и визирь. «Великая святыня» — значит, раз великая — отдавать нельзя! С другой стороны, слова «вечный мир» визирь произнес без иронии. Значит, надо отдать. Но слово «клятвенно» он, несомненно, произнес с усмешкой. Значит, нельзя отдавать?!

Встал Джелладин, быть может, единственный, кто не вдумывался в затаенный смысл слов визиря и кто пришел на совет с готовой речью. Выпрямляясь в воздухе, как пес во время прыжка, он заговорил. Он говорил долго и обстоятельно, подтверждая свои слова изречениями из Корана.

Прежде всего Джелладин разъяснил собранию, что убрус, не будучи *законной* святыней, вследствие ложно толкуемого предания, является тем не менее *святыней,* поскольку ей поклонялись много веков мусульмане. Стало быть, эдесский убрус — Закон, и мы его чтим! Затем Джелладин перешел к требованиям византийского императора. Они *незаконны!* Святыня принадлежит Эдессе, и в продолжение веков *никогда* византийский император не требовал ее, тем самым признавая законность пребывания ее в Эдессе. И честь ислама *никогда,* а сейчас тем более, не позволяла и не позволит признавать требования императора Константина осуществимыми. Нельзя желания византийцев принимать как закон, потому что, принимая их как закон, мы должны и самих

византийцев принять как друзей, а 5-я сура Корана говорит: «Тот, кто примет христиан за друзей, кончит сходством с ними. И тогда аллах не будет путеводителем нечестивых!»

— Нам путеводитель аллах и Магомет, пророк его, начертавший эти слова в Коране. Коран есть Закон, и Закон *говорит:* эдесскую святыню нельзя передавать византийскому императору! — заключил торжественно Джелладин.— И эти слова, с которыми, мне думается, согласится все собрание, я прошу вас, достоуважаемый визирь, передать могучему халифу, да будет благословенно имя его!

Визирь почтительно наклонил голову, и некоторым показалось, что он согласен со словами Джелладина.

Тогда встал другой законовед, рослый и красивый старик в зеленом парчовом одеянии. Несмотря на свой внушительный вид, он не привел иных доводов, чем те, которые высказал Джелладин, и визирь попросил его говорить короче. Затем говорил третий, размахивая свитком Закона с таким убеждением, что свиток упал на ковер и кое-кто рассмеялся.

Визирь зевнул, втягивая щеки далеко внутрь.

Лицо Махмуда не потому, что он добивался этого, а потому, что много и долго спорил о том с подругой, невольно следовало за выражением лица визиря, и, когда визирь зевнул, Махмуд тоже зевнул и даже потянулся.

Эти повороты тела, эти изгибы лица и даже излучины одежды Махмуда — все показывало визирю на какую-то взаимность между ним, визирем, и этим молодым человеком с широкими, как бы закоптелыми руками, почтительно склонявшимся к кади Ахмету. «Да это, пожалуй, тот оружейник и поэт!» — подумал визирь, и он еще раз поглядел в горячие, упрямые глаза молодого человека. Уловив взор визиря, кади Ахмет полузакрыл веки, словно задремав; и, внутренне улыбнувшись этой невинной хитрости, визирь, выслушавший к тому времени четвертого и пятого законоведа, которые говорили приблизительно то же, что и Джелладин, сказал:

— Говори о ты, молодой человек, сидящий рядом с кади Ахметом. Халифу будет любопытно знать, что думает багдадская молодежь об эдесской святыне.— И, желая ободрить Махмуда, визирь добавил: — Говори смело.

Визирь любил гулкие и звонкие голоса, и его голос казался ему самому чрезвычайно гулким. Поэтому визирь порадовался, когда голос Махмуда наполнил не только зал совета, но и разлился по всем лестницам.

Махмуд говорил:

— Да будет благословенно имя халифа! Неподатливым, норовистым, строптивым врагам ислама — смерть!.. Да будет то, что я выскажу, понято в истине, а что будет не понято, пусть не будет рассмотрено как намеренное умолчание, а лишь как обмолвка моя, человека неопытного в совете и впервые представшего перед светлые очи нашего уважаемого визиря. Благодарение аллаху, смуты в халифате залечиваются. Но их целиком залечит хорошая победа над неверными. Нам не долго ждать этой победы. Однако, к сожалению, надо признать, что победу эту мы не получим под прославленными вратами Эдессы, потому что город расслаблен плохим руководством, трусостью отдельных военачальников и — я не побоюсь сказать — явным предательством! Да, я вижу предательство, хотя еще, по неопытности своей, не вижу лица предателя. Зато, я уверен, это лицо видит халиф, да будет прославлено имя его!

Голос Махмуда гремел.

Визирь уже не предавался зевоте. Положив тонкие руки на острые колена, он наклонился вперед и рассматривал Махмуда. Щеки визиря надулись и были розовы, как щеки дремавшего кади Ахмета. Визирь, с легкостью принимавший настроения халифа, как гипс принимает очертания статуи, делается слепком ее, с радостью и одобрением смотрел на молодой гипс, из которого скоро отольются замыслы халифа. «Только бы он не вздумал читать стихи о войне с Византией,— мелькнуло в голове визиря.— Зачем говорить о войне, когда мы говорим о мире!»

Лица законоведов побледнели. Лишь Джелладин ничего еще не понимал, злясь на кади Ахмета. Зачем кади, обжорливый дурак, привел сюда этого молодого самоуверенного болтуна? И над участью его думал Джелладин! И ему преподал он начатки Закона?!

Визирь перевел глаза на лица законоведов. Бледные? А не подозревали ли вы или даже знали о переговорах эмира Эдессы с проходимцем Али, «мечом династии»?

XX

— Багдад нанесет поражение врагу. Ислам покроет их города кровью, а сердца позором, как штукатур покрывает здание той краской, какой хочет! И мы уничтожим всех, кто, подобно преступнику Али, осмелившемуся назвать себя «мечом династии», мешает нам в создании победы. Но нужно быть здравым. Поражение главного врага придет некоторое время спустя после того, как мы *отдадим* эдесскую святыню. Святыню *нужно* отдать. Сегодня нет другого средства бороться с византийцами и получить мир и многочисленных арабских пленных, которых они обещали вернуть и вернут несомненно, так как им *тоже* необходим мир с Багдадом. Мне кажется, что на Византию идут славяне, князь Игорь... Мы же, заключив мир, получив наших пленных и византийские деньги, сможем вооружиться...

Визирь снисходительно прервал Махмуда:

— Ты слишком много говоришь о вооружении.

— Я — оружейник,— сказал Махмуд.— Я, о визирь, кую ножи.

— А, это ты куешь хорошие ножи, которые принес мне кади Ахмет? Продолжай же, кующий ножи.

Махмуд сказал:

— Утверждают, что убрус, или мандилия,— несокрушимая защита Эдессы. Но эта защита *не защитила* Эдессы, и мы вынуждены вести довольно постыдные переговоры с византийцами. Зачем же нам держать святыню, которая, будучи защитой, не защищает? Не лучше ли вернуть ее византийцам, тем самым усыпляя их настороженность. Пусть она теперь «защищает» их! Отдать не позволяет нам честь Багдада? А держать при себе святыню, отказывающуюся нас защищать,— честь? Она смеется над нами!.. Весьма полезен этот поступок будет и для греков-христиан, подданных халифа, и тех, что византийского толка, и тех, что несторианского. Они, увидав, что убрус безропотно переходит к византийцам и не защищает Эдессы, не замедлят, разочаровавшись в своей религии, перейти в истинную, в ислам. Говорят нам, что мусульмане чтут убрус. А зачем? Вовсе не нужно замыкать дом на десяток замков, достаточно иметь один, но хороший. Коран — вот замок ислама! Истый мусульманин в иных святынях не нуждается. Именно силою и правдою Корана будет взят

Константинополь, и, когда он будет сожжен, на пепле его халифу поднесут золотой поднос, чтоб он выпил чашку кофе и отдохнул от трудов своих!.. Я сказал все, о достопочтенный визирь.

Махмуд поклонился визирю, эмиру, всем законоведам и кади, а затем особо поклонился своим учителям — кади Ахмету и Джелладину. Кади Ахмет сделал вид, что проснулся. Его багровое лицо и рыжая борода лоснились от удовольствия. Ему казалось, что Махмуд смело и горячо передал собранию как раз те мысли, которые хотел высказать и сам кади. Кади Ахмет забыл вчерашнее свое мнение, покоренный остроумным софизмом Махмуда относительно «чести Багдада» и «чести эдесской святыни». Такая фраза стоит многих святынь!

Джелладин негодовал по-прежнему. Он встал и прокричал:

— Закон открыл глаза Махмуду. Он прав в части преследования преступников, благодаря которым наши войска потерпели поражение. И да покарает закон предателей, которые вещь накладного золота выдают за золотую. Что же касается передачи святыни византийцам, он говорит неправильно, и не слушай его, о визирь! По молодости лет он еще не знает всего Закона!..

— Что еще скажут законоведы и кади? — спросил визирь.

Законоведы и кади сказали, что Махмуд прав и что аллах осветил его разум.

— Тогда мы поблагодарим аллаха,— сказал визирь,— и пойдем каждый к своему делу.

И когда все ушли, визирь сел на коня и поехал во дворец халифа.

Два дня спустя было обнародовано решение халифа о передаче эдесской святыни византийцам. В иных обстоятельствах это решение обрадовало бы эмира Эдессы, но тут он опечалился, багдадские врачи внезапно нашли у него какую-то опасную болезнь, которую можно излечить лишь в Багдаде. И визирь приказал ему не покидать столицу.

Визирь призвал Джелладина, кади Ахмета, Махмуда и сказал им:

— Джелладин, знаток Закона! Ты поедешь передавать византийцам эдесскую святыню. Ты прост и честен и хотя ошибся, но ты все-таки лучше всех знаешь Закон. Тебя посылает халиф.

— Халиф — Закон, и да будет благословен Закон,— сказал Джелладин.— Я всегда повинуюсь Закону.

— Мы так и думали,— проговорил визирь.— И нам кажется, ты лучше других сможешь защищать перед византийцами честь Багдада. Чтоб показать наше миролюбие, ты будешь сопровождать эдесскую святыню до Константинополя. Мы не посылаем с тобой грамот к императору, потому что не знаем, примет ли он тебя. Но если примет, передай ему нашу дружбу.

Обращаясь к кади Ахмету и Махмуду, визирь сказал:

— Поедет также кади Ахмет, он наблюдателен, любопытен и сможет увидеть в Константинополе то, что полезно перенять Багдаду. Кроме того, он весел, знает толк в кушаньях, и он усладит ваше путешествие. Начальником вашего конвоя будет оружейник Махмуд. Идите, и да будет с вами благословение халифа!

Они пошли. Визирь, подумав, сказал:

— Ты, Джелладин, останься. Ты — первый среди посланцев халифа, и мне нужно передать тебе деньги и одежду, потому что вы все честны и оттого плохо одеты, и византийцы могут подумать о вас дурно. Махмуд! У тебя византийцы сожгли отца?

— Сожгли, о визирь. И мое сердце...

— Понимаю, понимаю. Чувство мести законно, и сам пророк настаивал на этом. Но нужно считаться и с государственными соображениями. Кади Ахмет, знаком ли ты с мифологией древних и читал ли ты Аристотеля?

Кади Ахмет осторожно сказал:

— Давно когда-то и почти забыл, о визирь.

— Надеюсь, однако, ты сможешь объяснить своему ученику, что Пегас древних уже не обгоняет коня халифа.

— Так, визирь, так!

XXI

Когда они вышли из дворца, Махмуд спросил у кади:

— Кто такой Пегас? Что он говорил?

— Он хотел сказать, что воинственные стихи рано или поздно будут петься. Как ни плотны и долголетни были бы слои мира, под ними всегда лежит война. А военная песня облегчает войну, ведет напрямик к врагу, и поэт представляется воином, совлекающим доспехи с врага.

Кто же совлекающий доспехи не будет прославлен? Будь уверен, Махмуд, что к славе ведут окольные и не различимые во мгле времени пути. Таково мнение визиря об Аристотеле.

— А Пегас?

— Пегас — конь, которого тебе даст визирь. На нем ты въедешь в Константинополь. Это ретивый конь, но он любит, чаще всего не к месту, воинственно ржать. Бей его чаще по морде, и он не станет особенно беспокоить тебя.— И кади, не без грусти, добавил:— У нас слишком большое различие в возрасте. Иначе я б рассказал тебе о преимуществе любовной песни перед воинственной, и, быть может, ты, вообразив, что оставляешь в Багдаде нежную возлюбленную, спел бы нам что-то очень удивительное.

Махмуд смолчал. Песня эта теснилась у него на сердце. И на самом деле, не с рыжим же кади Ахметом делиться ею?

Он пропел ее в тот вечер своей возлюбленной.

Он пел о судьбе, кривой, как его ножи. И пел о семи розах на рукоятке. Это семь дней недели, в которые он беспрерывно страдает по Ней. Пел он о трех лепестках на лезвии. Не напоминают ли они Тебе, о милая, клочковатые облака па небе, которые уходят, уходят... Как ни крива судьба, но перед нашей любовью она очистится, словно лезвие. Исчезающие туманы разлуки не напомнят ли Тебе когда-нибудь, когда мы всегда будем вместе, эти уходящие клочковатые облака? Я приду к Тебе! Я приду к Тебе, милая.

Конь его был далеко за Багдадом, когда Даждья вышла на крышу его дома и, глядя на запад, запела эту песню. Багдад спал. Но шел мимо дома оружейника один влюбленный. И он услышал песню, и она пронзила его сердце, и он запомнил ее, и пошел к своим друзьям, и поделился с ними своей находкой. Он исполнил песню, и друзья одобрили ее. Обнаруживший песню был скромным, он говорил, что в устах неизвестной певицы эта песня во сто крат великолепней. На другую ночь друзья пошли искать певицу. Влюбленный забыл улицу и дом. Друзья шли и в пути пели песню, надеясь, что эхо приведет их туда, где рождается этот переливчатый звук. И в поисках дома, с крыши которого неслась чудесно-тоскливая песня, они обошли весь Багдад, и когда

остановились, то услышали, что весь Багдад поет эту песню, потому что весь Багдад услышал ее. Был конец весны, а любовь в конце весны особенно чутка. Кроме того, город Багдад обширен, и обширна любовь его, и многие хотели прийти к Ней, а Ее не было.

— «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе!» — пел Багдад.

Халиф проснулся на рассвете, разбуженный этой песней. Он спал хорошо, чувствовал себя бодрым, даже молодцеватым. Ему подали серебряный кувшин и таз для омовения. Радостно содрогаясь от холодной воды и слыша в кустах сада щебетание и лепет птиц, а за оградой эту песню, он спросил, глядя на светло-лиловое, прохладное небо и редкие облачка на востоке, схожие с цветками гвоздики:

— Я не разберу слов. Что они поют?

Ему объяснили. Он улыбнулся благосклонно и сказал:

— Дети. Ну что ж, пусть поют.

XXII

Жарким летом 944 года бесконечный лес копий князя Игоря двинулся, шурша сухой травой, по днепровским степям. Войска шли к Дунаю, оставляя позади себя широкие пыльные дороги. Тут были люди великого племени русь с широкими, тяжелыми мечами; рослые всадники племени полян с круглыми белыми щитами, на которых были охрой нарисованы змеи; приземистые, быстроногие тиверцы и белобрысые кривичи, которых никто не мог победить, когда нужно было драться внутри укреплений. Кроме того, шли нанятые князем Игорем гладколицые, с тонкими бровями печенеги.

А по Днепру спускались ладьи, и когда они вышли в Черное море, они покрыли его, как покрывают ковром пол. Впереди, сотрясая море и пугая волны, плыла огромная ладья князя Игоря. Она была украшена золоченой статуей Перуна, а по борту узором из серебряных пересекающихся линий. Рядом с Перуном стоял большой щит, сверху донизу унизанный золотыми бляшками. Время от времени князь Игорь, высокий, длиннолицый, с проседью на висках, подходил к щиту и

поднимал его, словно готовясь поднять его еще выше, к цоколю арки Золотых Ворот.

И византийцы содрогнулись. Зажглись толстые свечи перед иконами, дым ладана наполнил храмы, неистовым всенощным бдением молились монастыри, и сам трудолюбивый император Константин отложил разрисовку киноварью и золотом заглавных букв к гигантским сборникам «Житий святых», которые должны были состоять из ста томов, изложенных красивым слогом ученого мужа Симеона Метафраста. Император встал на молитву, высказав сильное желание, чтобы в Константинополь для спасения столицы возможно скорее прибыла эдесская святыня и войска доместика схол Иоанна Каркуаса.

XXIII

И в Эдессе была засуха и жара, и сады эдесские, славящиеся плодами, были бедны, так что цена на оливки поднялась, и жители жаловались, поражаясь своей скудости. Они объясняли бедствие тем, что их великая святыня покидает город. И никто из жителей не вышел навстречу посланникам халифа.

Джелладин, кади Ахмет и Махмуд долго стояли на высоких стенах городской крепости.

С крутых каменных стен видны были рвы, наполненные тухлой водой, в которой плавали трупы. По берегам рвов стояли вымазанные толстым слоем глины стенобитные машины византийцев. Машины были так высоки и громадны, что, казалось, до них невозможно было дотянуться рукой. Возле машин на земле, в прикрытиях из циновок, утомленные зноем, спали византийские солдаты, и слышен был их безмятежный храп.

К посланцам халифа, на стены, пришел в сопровождении знатных прихожан эдесский епископ Павел, низенький лысый старичок с воспаленными глазами, говоривший хриплым басом. Поодаль от них шел епископ несторианского толка со своими священниками и дьяконами. Джелладин принял их, сидя на бочке с древесной смолой.

Христиане были одеты нищенски, но разговор их изобиловал обещаниями золота, и видно было, что они не лгут. Они выкупят арабских пленных! Они выплатят халифу те деньги, которые ему обещают византийцы,

и в срок более быстрый. И это не дерзость или стремление отделаться словами, а вполне ясные предложения, которые они готовы осуществить хоть сегодня! В речах, задыхаясь от волнения, они делали частые остановки, и Махмуд дивовался на них, и ему хотелось посмотреть эту странную эдесскую святыню.

Джелладин сидел непреклонный, довольно однообразно повторяя слова о Законе и законности всех распоряжений халифа. После долгих прений Джелладин резко, от имени халифа, приказал выдать убрус.

Епископ Павел воскликнул:

— Лучше закрыть глаза Эдессе, как покойнику, чем отдать икону!

И епископы, священники и миряне ушли не поклонившись.

Джелладин приказал подать коня. Он направился в лагерь византийцев, чтоб сообщить им решение халифа. Завтра убрус будет выдан.

Джелладин долго не возвращался. Был уже вечер, и Махмуду, начальнику конвоя, сообщили, что народ оцепил главный эдесский собор, устроил вокруг него возвышение из камней, перекрыл камнями центральные улицы города. Город теперь разделен на две части, и одна половина в руках восставших. Махмуда особенно взволновало, что мусульмане города помогают христианам оружием и таскают им камни.

Весь дрожа от волнения, Махмуд нашел кади Ахмета, который спал в прохладном месте погреба для вин. Махмуд сказал кади о восстании, которое он намерен немедленно подавить с ужасающей жестокостью. Он готовит своих воинов к атаке. Во имя халифа и Корана, он приказал им не щадить никого! Он пылал от злобы и жажды сражения, и пот лился по его темному лицу.

Кади Ахмет выпил из своей баклажки, вытер шею мокрым полотенцем и сказал:

— Жизнь подобна дорогой гостинице, где за все нужно платить. И лучше было бы мне научить тебя спать на собрании у визиря, чем говорить блестящие речи. Впрочем, дело испортил не ты, а Джелладин. Вместо рыбы, которая переваривается желудком легко, он вздумал кормить народ дровами. Я предпочитаю, как и народ, рыбу. А также отговорки, которые похожи на рыб резвостью своего бега, легкостью в еде, и только идиот может подавиться их костью. Едем!

— Ты поедешь со мною сражаться? — спросил Махмуд.

— Нет,— кротко сказал кади.— Это ты поедешь со мной, без оружия, и будешь смотреть, как я сражаюсь словом. Помни, что я судья и привык говорить в столице, а здесь глухая провинция.

Кади приказал заседлать своего мула, взял лепешку в руку и, жуя ее, направился к главной баррикаде восставших, к эдесскому собору.

Подъехав к баррикаде, он почтительно поклонился древнему зданию собора и, вызвав предводителя восстания епископа Павла, повел перед ним речь. Вначале он с глубоким почтением отозвался о святыне. Он никак не хотел порочить ее или презирать. Отнюдь! Он также не желает круто изменять взгляды восставших, и они, пожалуй, правы, что взялись за оружие. Он приехал только затем, чтобы напомнить восставшим о главном положении, которое они упустили из виду и которое он, кади Ахмет, глубоко чтит. Они забыли о существовании чуда, то есть о сущности эдесской святыни. *Чудо!* Чудес много, и они замечались неоднократно. Во-первых, в Эдессе много церквей, и в каждой из них имеется копия убруса. Не кажется ли вам, что *копия,*— а это будет чудо,— представится византийцам оригиналом? Копия убруса из второстепенной церкви, ночью, перейдет в главную, а отсюда, завтра, к византийцам. Во-вторых, если допустить, что византийцы увезут оригинал, то опять-таки нужно помнить о чуде. Эдесская святыня свершит чудо и сама возвратится домой, обратно в Эдессу! Неужели эдессцы так уж сомневаются в себе, что не могут умолить святыню вернуться обратно? Эдессцы, доблестные, отважные, показавшие чудеса в защите своей святыни! Эдессцы, трупы которых наполняют рвы, окружающие город!.. И в-третьих, нужно принять во внимание и теперешнее положение города. Город разрезан на две части. Одна половина города будет драться с другой, стены будут обнажены, а византийцы что же, будут смотреть? Они начнут штурм, немедленно возьмут город и ограбят его так, как еще не грабил никто и никогда! И в-четвертых, есть одна замечательная, всегда победоносная вещь. Эта вещь называется — ожидание.

— Я прошу вас подумать об ожидании,— заключил кади Ахмет.— И я жду вашего ответа.

Он отъехал от баррикады в тень платана, достал свою лепешку и начал ее есть. Когда он собрал с платка, разостланного на коленях, крошки и высыпал их в свой рот, он повернулся к баррикаде. Эдессцы разбирали ее. Он хлебнул из баклажки, чмокнул языком и сказал, обращаясь к Махмуду:

— Разве я был неправ, утверждая, что здесь глухой угол и что здесь нетрудно говорить? Они даже и не знают, что представляет из себя истинный оратор! Здесь я мог бы пойти далеко вперед, не опасайся я лишней заботы.

XXIV

Джелладин вернулся в сопровождении Авраамия, епископа византийского города Самосата. Авраамий по распоряжению константинопольского патриарха должен был принять икону. Епископ, продолговатый и бледный, как гребок для мешания извести, был одет в широкие, украшенные камнями и золотом, парчовые одежды. На голове его качалась митра, нагрудный знак горел драгоценностями, а жители Эдессы кляли его и смотрели на него с ненавистью, словно он совершил растрату общественной кассы.

Воины-рабы выстроились на площади, рассматривая отделанный крапчатым мрамором собор. Епископ Авраамий, громко читая молитвы, поднялся на ступени паперти и здесь остановился. Он стоял, клал крестное знамение и о чем-то думал. Затем, повернувшись к епископу Павлу, сказал, что ему было сейчас видение. Убрус находится не в этом соборе. Здесь лишь копия убруса. Эдессцы спрятали подлинный убрус, но он найдет его. Видение укажет ему путь!

И Авраамий, сев на коня, поехал по улицам Эдессы. Он ехал, не спрашивая ни у кого дороги, хотя в городе был первый раз. И эдесский клир в глубокой горести шествовал за ним. Они подошли к храму, расположенному возле городского рынка. Авраамий опять поднялся на паперть и опять долго молчал, размышляя. И опять он сказал, что ему было видение и что в этом храме не подлинный убрус, а тоже, хотя и хорошая, но — копия. И он сказал, что видение направит его стопы дальше.

И все окружающие ужаснулись такой проницательности. Ужаснулся вслух и Махмуд, сопровождавший шествие.

Кади Ахмет сказал:

— Несомненно, это ужасно. Но ужасно не потому, что видение, а потому, что у византийцев всюду прекрасные шпионы. Кроме того, у епископа прекрасная память, раз он, со слов шпиона, по памяти узнает дорогу. Впрочем, можно допустить, что шпион его, известный лишь ему, идет впереди нас, в толпе. Кроме того, епископ ужасно хороший мим, как и все византийцы, добавим. Единственно, что они наследовали от древних эллинов,— это отличную актерскую игру. В политике и в театре их следует опасаться.

Наконец в жалкой кладбищенской церкви епископ Авраамий обнаружил подлинный убрус. Византийцы возликовали, а жители Эдессы стали рыдать и бить себя в грудь и в голову. В арабов полетели камни. Один угодил Джелладину в плечо, а другой рассек Махмуду лоб. Кади Ахмет, перевязывая его, сказал:

— А в меня, хвала аллаху, камень не попал. Вы заплатили пошлину за проезд через ораторский мост, принадлежащий мне, и пошлина эта не велика.

Подали балдахин из серебряной парчи с золотыми кистями. Балдахин внесли в храм, и оттуда, с песнопениями, в облаках ладана, эдесская святыня направилась к воротам города, которые были распахнуты. На стенах Эдессы стояли жители, рыдая и крича. А за стенами, на равнине, распростерлись византийские воины, и стенобитные машины были пусты, потому что все византийское войско ползло на коленях к главным воротам.

Кади Ахмет сказал Махмуду:

— Если ты хочешь знать, что такое жизнь, вглядись внимательно в эти стены и в эту равнину. Жители Эдессы плачут и стонут от горя. Византийские войска делают то же самое от радости. Мы же не понимаем ни того, ни другого. Мало того, мы не видим, а возможно, и не увидим, из-за чего одни радуются, а другие горюют. Рассуждая здраво, мы вправе предполагать, что под балдахином вообще нет ничего.

— Что же тогда, кади, представляет из себя жизнь? Бессмыслицу?

— Грохочущий с гор поток, Махмуд, в котором нетрудно утонуть, если не научиться плавать.

Джелладин, оборачиваясь к ним, воскликнул:

— Ты учишь его безнравственности и пороку!

Кади Ахмет сказал:

— Я учу его хладнокровно задумываться над жизнью, быть справедливым, а также и страстным в чувствах. Тогда он не только переплывет поток, но сам будет создавать горные потоки.

К убрусу вели раненых, слепых, калек и убогих. И слышны были крики, что уже появились первые исцеленные. Жители Эдессы, умоляя икону вернуться к ним, рыдали так, что казалось, стены города колеблются.

Кади Ахмет сказал:

— Вот я недавно говорил о чудесах. Но не удивительное ли чудо, Махмуд, что мы видим все это? И я предчувствую, что мы увидим еще более чудесные вещи. Я не хотел бы присутствовать при главном чуде, хотя именно я выдумал его: внезапный уход убруса из византийского войска и возвращение убруса в Эдессу. Мне хочется повидать Константинополь.

— Гнездо разврата и вместилище беззаконий? — спросил Джелладин.

— Определение, допустим, правильное. Константинополь — гнездо злых духов. Но разве для того, чтобы бороться со злыми духами, не нужно знать их силу и их возможности? Например, мне говорили, что у византийцев чудесное вино. Я охотно верю в это чудо и с удовольствием проверю его. Византийцы много пьют, а кто много пьет, тот, естественно, ищет лучший источник. Я не спорю, что Багдад имеет свои достоинства, но вино в нем отвратительное, и у меня всегда жжет под ложечкой, когда я пробую его, с тем чтобы узнать состав злого духа. И мне тогда делается тошно, точно уже наступило полнолуние...

Махмуд, думавший о чудесах, которые свершал убрус, спросил:

— Кади! Византийцы — неверные и нечестивые, подлежащие мукам и в этой жизни и в будущей. Как же аллах, — а чудеса, несомненно, свершает аллах, — как же он свершает их сейчас над неверными?

— Аллах свершает чудеса над неверными затем, чтобы ослабить их. Неверные в конце концов перестанут верить в свои силы, будут надеяться на чудо, и тогда верные, то есть мы, победят их. А нам, верующим, аллах свершает меньше чудес, чтоб мы не ослабли

и верили в свои силы. Он открыл нам лишь Закон, что есть непрестанное чудо, и его вполне достаточно нам.

Джелладин воскликнул:

— Впервые в жизни ты высказал хорошую истину, кади!

— Но...— продолжал кади, кланяясь в сторону Джелладина со своего мула.— Но возможно, что главное чудо, по неисповедимым путям аллаха, заключается в том, что все это нам лишь мерещится. Эдесса, убрус, вот эти войска, сквозь которые мы сейчас проезжаем и которые нас не замечают, кроме византийского чиновника, указывающего нам дорогу, и даже вот это персиковое дерево, на котором, из-за необычайной жары, так мало плодов. Я поверю в достоверность всего происходящего тогда лишь, когда попробую константинопольское вино. По-моему, нет ничего реальнее вина, хотя оно иногда и опьяняет. Но что такое опьянение? Состояние, в котором животное кажется человеком, а дурак — умным. В трезвой жизни подобное состояние случается урывками, а в пьяной — оно идет непрерывной полосой. Но что лучше: ухабы или полоса гладкой дороги? Дерево, покрытое цветами, или голые сучья зимой? Если персиковое дерево покрыто сплошь плодами, это вам кажется милым и реальным, а если я, пьяный, вижу весь мир, как персик, прекрасный, почему это вам не кажется реальностью из реальностей?

Джелладин плюнул через голову коня, и плевок его, как удар копыта, пал на землю так, что пыль встала столбом.

— Ты, кади, бродяга мыслей! — вскричал он.— И я горько раскаиваюсь, что только что похвалил тебя.

И он поехал вперед, чтоб не слышать кади Ахмета.

XXV

Джелладин отъехал, а кади Ахмет продолжал говорить в том духе, высматривая в лагере византийцев какую-нибудь харчевню, где можно было б закусить и выпить. Харчевни были закрыты. Все торговцы вышли встречать убрус. Кади Ахмет огорчился и сказал:

— Это печально. Неверные не должны быть столь ретивы в своей вере, которая есть туман и наваждение злого духа. Ведь получится таким образом, что мы до

самого Константинополя будем питаться сухими лепешками и пить сырую воду, которая при жаре очень вредна. Я ожидал другого. И неужели у них другие торговцы, чем у нас?

После благодарственного молебствия в палатке византийского военачальника состоялся пир. Арабам в их палатку принесли обильную пищу, но так как византийцам было известно, что арабы не употребляют вина, то вина и не подали. Кади Ахмет отозвал стольника подальше и сказал ему:

— Дорогой! Путь до Константинополя далек. У меня старый и глупый мул, и я уже проверил, что, когда он не идет, ему полезно дать кружку вина.

Стольник удивился и сказал, что в таком случае византийцы дадут немедленно уважаемому посланцу молодого и крепкого на ноги мула.

Кади Ахмет сказал:

— Уже держась на этом муле двадцать лет, трудно слазить с него. Кроме того, сколько я потратил денег! Подумайте, в Багдаде поить мула вином! Когда я влезаю на него, у меня такое чувство, будто подо мной мешок денег. А я человек бедный, и мне жаль расставаться с такими чувствами. Лучше дать ему вина, поскольку пророк нигде не запрещал употреблять мулу вино.

Стольник приказал подать вина. Но так как византийцы не знали, сколько же употребляет мул вина, то обратились к кади. Кади сделал удивленное лицо и сказал:

— Он, старый дурак, не видит разницы между водой и вином и пьет вина столько же, сколько и воды.

И ему принесли большой мех, и кади привязал его на спину мулу, позади седла. Кади прикрыл мех свисающим с плеч дорогим пепельно-серым плащом, выданным ему по приказу визиря. Когда фляжка была пуста, кади под плащом, ощупью наполнял ее и говорил, поднося ее к своей рыжей бороде:

— Это небольшое чудо, но оно приятно.

Мула же он водил сам поить, и византийцы, которым было выгодно видеть, что арабы пьянствуют, делали вид, что не замечают обмана.

Византийский военачальник прочел перед воротами Эдессы грамоту, «хрисовулл» императора Константина о вечном мире, передал арабских пленных и положенное

количество серебряных монет, и византийские войска отошли от Эдессы.

Балдахин серебряной парчи с золотыми кистями двинулся к городу Самосату.

Арабские посланцы ехали в конце процессии. Между ними и византийцами наблюдалось такое расстояние, какое необходимо для того, чтобы улеглась пыль.

XXVI

Влажная и плодоносная долина Евфрата была выжжена солнцем. Ореховые деревья, оливы и виноградники пожухли и поблекли. Кони и козы, тощие и жалкие, бродили, не находя пищи. Река была так мелка, что ее перешли вброд, не замочив колен. Однако поселяне, надеющиеся на чудо дождя, которое им принесет убрус, радостно выбегали навстречу процессии. Их широкие наивные глаза были наполнены слезами. Они дарили мясо и рыбу несшим икону и целовали следы ног священников.

Кади Ахмет сказал:

— Они неверные, и я должен бы желать им зла. Но мое сердце болит, глядя на эти несчастные нивы, и мне хочется молиться с ними о дожде.

Ночи были душные. Жаркая тьма обнимала землю. Сон не приходил. Так как они ехали по горестным местам, где, несомненно, орудовали злые духи и волшебники, то кади Ахмет, не боявшийся действий злых сил днем и даже насмехавшийся над ними, ночью ощущал страх и потребность защиты. Он будил начальника конвоя, и они покидали палатку.

Отовсюду из тьмы шли на них шорохи, трески и какое-то сухое быстрое шуршание, похожее на шаги. Кади узнавал во тьме очертания злого духа Аббикона, уничтожавшего рыб и зверей. Мерещился ему также волшебник Бади и его похотливая любовница Гозар, которые портят людей, насылая им судороги и ломоту в костях. Он видел и злого духа Фозуллу, безобразного, способного одним взглядом испепелить ум человека. Кади Ахмет вздыхал, прижимался к Махмуду, а тот хватался за меч. Кади поспешно читал суры Корана. Махмуд молился рядом с ним. Махмуд не видал ни злых духов, ни волшебников. Ему виделись синие глаза Даждьи,

и сердце его исступленно ныло, и ему хотелось домой, и он думал, что это злые духи показывают ему возлюбленную, чтобы он не выполнил приказания халифа и бежал к ней.

— Даже вино и то не помогает мне! — шептал кади.

Но приходило утро, и духи зла исчезали, и опять булькала влага в тыквенной бутылке кади, переливаясь в его горло. Улыбаясь, он говорил:

— Благодарю тебя за помощь, Махмуд. Я слаб, но счастлив, что слабость моя усиливает мне наслаждения утра.

В городе Самосате эдесская святыня оставалась несколько дней, пока не записаны были все чудеса, свершенные ею. Скорописцы, со слов исцелившихся, заносили на пергамент подробности болезней; свидетели, священники, врачи подтверждали их своей рукой и печатями, и курьеры мчались в Константинополь, чтобы доставить императору и патриарху эти драгоценные пергаменты. Записано было также, что, после того как убрус удалился из долины Евфрата, над всей долиной пронеслись обильные дожди.

Узнав об этом, кади Ахмет сказал:

— Есть и омерзительные чудеса, и из них самое омерзительное то, которое творят чиновники и блюдолизы.

XXVII

Через несколько дней после ухода из Самосата они увидали горы и вступили в них. Они медленно поднимались по широкой каменистой дороге, усеянной обломками желтых скал. Скалы поросли колючими серыми кустарниками. Монахи пели непрерывно и громко, утверждая, что ранним утром на звуки этого пения из серых кустарников к процессии приближались львы, чтобы увидеть и поклониться святыне. Одетые в грубо выделанные шкуры, дикие племена выстраивались на дороге. У ног их лежало оружие, и свирепые лица выражали покорность.

— Таких людей и такое оружие любопытно посмотреть, — говорил кади, стараясь приблизиться к диким племенам. — В иных обстоятельствах вы имеете возможность увидать их лишь мертвыми.

Однажды ночью, при свете факелов, они вошли в замок какого-то феодала. Их на мосту замка встретил

епископ этой местности в кольчуге и препоясанный мечом, который он обнажил во славу своего бога и кинул на каменный настил моста, чтобы убрус пронесли над ним. Рыцари, неловко сгибая колени, склонились рядом с епископом. И в замке пировали до утра, восхваляя убрус и дальновидность императора, овладевшего этим убрусом.

Погреба, из которых носили прислужники вина, были расположены неподалеку от помещения, где возлежали арабы. Им принесли барана, изжаренного целиком, но, так как Джелладин не знал, зарезан ли баран согласно Закону, арабы отказались есть. Когда уносили барана, кади Ахмет нырнул во тьму вслед за прислужниками и вернулся нескоро. Но вернувшись, он весело размахивал руками, и от его бороды пахло вином и жареным мясом. Он сказал:

— Они будут пить до рассвета. Я начинаю верить, что по-своему они крайне набожные люди.

Кади Ахмет рано разбудил Махмуда. Кади думал о чем-то хорошем, и глаза его влажнились, словно пропитавшись превосходными мыслями. С его лица не ускользала улыбка, и Махмуду тоже стало весело. Он вскочил:

— Пора ехать?

— Смотря куда,— сказал кади.— Если к Константинополю, то мы поедем вечером. Епископы пьяны. Их протопросвитеры пьяны. Пьяны все, и если б аллах не возбранял мне это, я бы прославил пьянство. Благодаря их пьянству мы увидим с тобой поучительное зрелище. Город!

— Разве здесь есть город? Вчера ночью мы не слышали шума города, не видели огней и не было колокольного звона. И большой город?

— Большой. Такой большой, что Багдад и Константинополь по отношению к нему что ступица к колесу.

Они прошли двор замка, где в беспорядке спала пьяная прислуга. Ворота замка были открыты, и вратари тоже спали пьяным сном. Мост был опущен. Махмуд возмутился такой беспечности, а кади сказал:

— Я же тебе говорил, что они надеются на чудо и глупеют с каждым днем.

На мосту они остановились и, садясь в седла, посмотрели на замок. Во втором этаже, в зале, где стоял балдахин с убрусом, догорали свечи, и возле свечей на

коврах, положив головы в направлении святыни, спали монахи. Свечи образовали, оплывая в одну сторону, большой нагар, и от них несло запахом горячей одежды.

— Превосходный замок и превосходнейшее вино! — сказал кади. И он стегнул мула, чтобы тот поскорее обогнул гору, на которой стоял замок.

Они увидали великую плоскую равнину и русло высохшей реки. Вдоль этого русла, заваленного валунами, тянулась набережная и стояли руины домов, церквей и увеселительных ристалищ.

— Развалины! — сказал Махмуд.

— Иные развалины поучительнее цветущего города,— проговорил кади, погоняя мула.

Они въехали в предместье, где некогда были маленькие домики бедняков. Вскоре перед ними начали подниматься большие белые, и красные, и синие колонны, облепленные колючими травами. Трава хрустела под ногами, как некогда под ногами времени хрустели, разрушаясь, эти высокие мраморные дворцы и храмы. Да, это был когда-то могучий и славный город! Так как равнина возвышенна и к тому же было раннее утро, то весь город можно разглядеть довольно ясно.

Они поднялись к акрополю.

Кади достал свою тыквенную бутылку, лепешку, предложив Махмуду позавтракать. Махмуд отказался.

— Как называется город? За какие грехи и кем он уничтожен? — спросил он.

Кади сказал:

— Никто не мог мне сказать этого!— И он продолжал:— Люди думают, что устроить праведную жизнь так же легко, как перенести парус с одного борта лодки на другой. Но гляди, вот что осталось от их намерений.

— Это потому, что тогда не было пророка Магомета! — сказал Махмуд.

— У них был свой пророк, и они строили свой город на развалинах другого. Вспомни замок, из которого мы только что выехали. Разве владелец замка не старается выстроить возле себя новый город и разве он не уверен, что знает правила жизни лучше, чем кто-либо до него?

Махмуд строго посмотрел на кади:

— Что же делать? Не жить?

— Я говорю это именно к тому,— ответил кади,— что жизнь прекрасна и что не нужно отчаиваться. Как ни удивительно, но и старый глупый властитель, у которого умно лишь его вино, немножко прав. Он знает действительно немного больше, чем жители этого разрушенного города. Жизнь! О Махмуд! Законы жизни более просты, чем те, в которые веришь ты и похожий на тебя нерастворимый Джелладин.

Махмуд засмеялся — таким нелепым показалось ему сравнение с Джелладином. От смеха ему захотелось есть, он попросил у кади кусок лепешки и немного отхлебнул из бутылки.

Они продолжали объезд города. Кади, вглядываясь в развалины зданий и разбитые фигуры богов, сказал, что город, несомненно, принадлежал древним эллинам, когда они поклонялись Зевсу и Аполлону.

— Джелладин утверждает,— проговорил Махмуд,— что эллины наказаны аллахом за беззаконие, так как хотели людскими руками вылепить бога, которого никто не может изобразить. И не ходят ли и сейчас по развалинам призраки этих ужасных богов?

И он положил руку на меч.

Кади ничего не ответил, заинтересованный холмиком крупного серого песка, сквозь который просвечивало что-то ослепительно-белое и манящее. Он спрыгнул с мула, разгреб песок руками и обнажил мраморную фигуру младенца с крылышками и колчаном и луком в руке.

— Идол! — воскликнул в страхе Махмуд.— Отбрось его!

Разглядывая кроткое, улыбающееся лицо ребенка, кади Ахмет сказал:

— Быть может, Джелладин и прав. Смотри, какое человеческое выражение у этого мальчика. Они достигли удивительно многого в деле создания богов, эти эллины! Не помешай им варвары, они, пожалуй бы, создали и истинного бога. Вглядись. Мальчик почти смеется от удовольствия, что ему еще раз удалось посмотреть на мир. Разве тебе не хочется смеяться вместе с ним?

Кади рассмеялся, ребенок улыбался, а Махмуд смотрел на них с ужасом.

— Не находишь ли ты, Махмуд, что наш халиф немного похож на этого божка? Правда, халиф, занятый

серьезными делами, редко улыбается и староват, но есть у них что-то общее...

Тогда Махмуд в двойном негодовании, что кади похвалил божка неверных, а затем сравнил его с халифом, стегнул коня, подскочил к кади, выхватил божка и кинул его на близстоящую колонну. Божок разбился в мелкие куски.

У кади на глазах показались слезы, он всплеснул руками, а затем улыбнулся и сказал:

— Что разбито, то разбито. Разрушен целый гигантский город, и что в сравнении с этим какой-то жалкий божок?

И они повернули к замку.

Когда они возвратились в замок, Джелладин готовился к утреннему намазу и омовению. Во всей его фигуре видна была строгость и страх, точно вокруг он видел такое, что исправить и повести по дороге Закона совершенно невозможно.

И они встали на молитву. Махмуд молился с достоинством воина. Кади — с повелительным лицом судьи, заканчивающего скучный процесс. Джелладин молился так усердно и долго, что казалось, он молится о том, дабы вся земля провалилась, и никак этого вымолить не может.

К концу молитвы начали просыпаться византийцы. Послушные и дисциплинированные воины, они, согласно повелению императора, глядели на все, что делают арабы, одобрительно. Кроме того, ненавидя своих еретиков, вроде несториан и нечестивых поклонников Ария, они чужую, воинственную религию меча и зеленого знамени уважали. Особенно им нравился начальник конвоя — плечистый, в латах, посреди которых поблескивал тщательно начищенный серебряный полумесяц. Лицо Махмуда казалось им каменным и глубоко равнодушным ко всему, кроме приказаний своего невидимого командира.

XXVIII

Незадолго до прихода в монастырь Евсевиу, где убрусу предстояло пробыть довольно продолжительное время, на горном перевале процессию захватила буря.

Вокруг них лежали лиловатые скалы, которые от дождя стали агатовыми. Ветер бешено носился вокруг

скал, таща откуда-то снизу толстые и широкие листья, которые прилипали к лицу и закрывали глаза. И это было страшно.

Над балдахином, взметнутые кверху, блестели неестественно ярко при свете молний золотые кисти, и видны были черные фигуры монахов, которые по-прежнему продолжали исполнять свои службы. Голоса монахов не было слышно, и их большие черные рты беззвучно раскрывались, принимая в себя, как в промасленные воронки, целые потоки дождя. Каменистая почва не впитывала влаги, и чистые прозрачные ручьи журчали возле ног коней и мулов, точно торопясь уйти из этих мрачных нелюдимых мест.

И сразу же, как только вышло солнце, скалы высохли, опять стали тускло-лиловатыми, а небо над ними походило на самую лучшую сгущенную глазурь, которой покрываются дорогие вазы.

Кади Ахмет, стряхивая с плаща капли, сказал:

— Неоспоримое преимущество бури в том, что после нее испытываешь довольство и хочется есть.

И он обратился с просьбой о пище к византийскому чиновнику, сопровождавшему их. Кади жевал кусок мяса, густо посыпанный крупной солью, а Махмуд сказал, с грустью глядя на чистое небо:

— Мне бы хотелось идти именно в этой буре на Византию, а не в шуме этой нелепой и безбожной процессии.

— Так, сын мой, так,— одобрительно промямлил Джелладин, который никак не мог согреться после бури.

Кади Ахмет сказал со смехом:

— Ого! Он уже тебя называет сыном.

— Берегись,— сказал сердито Джелладин,— как бы я не назвал тебя отступником!

— Путешествие наше дошло едва ли до средины, а мы уже ссоримся,— сказал с грустью кади Ахмет.— Неужели к концу его, здесь, на чужбине, мы обнажим друг против друга ножи? Прости меня, Джелладин.

В конце концов Джелладин был приятный старик! Когда он не говорил о Законе, а случалось это с ним редко, он высказывал дельные мысли. Так, например, он хорошо рассказывал о науке вождения караванов в пустыне и не плохо высмеивал преподавателей Корана в медресе эль-Мустенсериэ. Кроме того, он понимал

медицинское дело и оказывал врачебную помощь в случае нужды своим спутникам.

Он понял кади и мягко сказал:

— Во имя Багдада я прощаю тебя. Держи свой дальнейший путь с миром.

Из-за бури, вызвавшей обвалы и преградившей камнями дорогу, процессия задержалась на перевале. Неподалеку, в неприступных горах, жили пустынники и аскеты. Дабы не мешать их созерцательной жизни, епископ Самосата приказал не извещать пустынников о движении убруса.

С перевала видна была желтая гора и черные пятна пещер, где жили пустынники. Когда вгляделись, то увидали, что дорога к ним выстлана ровным плитняком. И стали говорить, что ангелы спустились ночью, перед приходом убруса, и выстлали эту дорогу.

Должно быть ангелы сообщили также пустынникам об убрусе, потому что, как только установилась ясная погода и стража начала расчищать перевал от камней, на плоской дороге от горы показались шатающиеся тени. Шли волосатые, завернутые в травы люди, опираясь на длинные посохи. Они поддерживали друг друга, шатаясь от непривычного хождения, хотя дорога была глаже пола дворца визиря. На отполированных плитах, как в неподвижной воде, отражались старцы, и вся процессия поклонилась им в ноги. Побежденные такой святостью, арабы слезли с коней и тоже поклонились пустынникам.

Махмуд воскликнул:

— О Джелладин! О кади! Я ничего не понимаю.

Джелладин молчал, не находя соответствующего текста Закона, а кади пробормотал:

— Быть может, волею этих людей создается добро, удерживающее огонь, которому предстоит испепелить все грехи Византии.— И он добавил: — Что такое добро? Дружба честных людей, верящих друг другу. Дружба создает чудо жизни. И чем она чище, чем ее больше, тем лучше и возвышенней жизнь. Я предвижу время, когда дружба и правда уничтожат границы и примирят враждующие народы...

Пустынники поклонились убрусу, сотворив песнопения. С лиц их струилось ослепительное сияние, и они почти юношеским шагом повернули обратно, и казалось, что их гора приближается к ним.

Так как пустынники были нищи и голы, то они поднесли в дар убрусу несколько ветвей какого-то дивно благоухающего растения, которое цвело лишь на этой неприступной горе. Всю дорогу до Константинополя ветви испускали благоухание, пересиливающее благоухание ладана, и кади Ахмет был очень доволен, когда однажды кусочек ветви упал в пыль и никто не заметил падения, кроме кади. Кади Ахмет подобрал кусочек с пятью плотно прилегающими к стволу светло-коричневыми листочками. Он сунул кусочек в свою тыквенную бутылку и сказал:

— Моему настою не хватало именно этого запаха.— И добавил: — Я все более и более убеждаюсь, что люди очень похожи на тех жуков, которых почитают в Египте и которые необыкновенно искусно умеют скатывать в шар пищу, необходимую для их потомства. Если правда, как утверждали древние,— а их знания были очень прочны,— что земля наша похожа на шар и аллах выкатал ее из ничего, то есть из навоза, то почему же из навоза жизни не может и человек выкатать себе хорошее будущее? В конце концов что такое эта удивительная гора с пустынниками, которую вы видели? Навоз, не больше. И, однако, смотрите, каких результатов добились пустынники, упорно стремящиеся к своей цели! Слюной своего восторга они растворили камни и выстлали гладкую дорогу, какой мы не видали и во дворце визиря. Причем они лишь косвенно дотрагиваются до истины. А чего ж достигнут люди, когда они будут жить не толчками, как эти тощие византийцы или как даже мы, хотя багдадцы способны делать более резкие толчки, а плавно и осмысленно? — И, глотнув из своей бутылки, он заключил: — У них будет великолепная жизнь и чудесное вино! Но, впрочем, я не пожалуюсь и на это, которое пью. Замечательная трава. Она разглаживает душу!

Джелладин сказал:

— Кади! Ты опять потворствуешь преступникам и нечестивцам.

А Махмуд проговорил:

— Если б подобное подвижничество помогло Багдаду в войне с византийцами, я бы заселил одним собою и своими песнями не только эту гору, но и окрестные!

Кади сказал:

— Ты и так на горе, хотя и не видишь ее. Но если б ты на самом деле переехал сюда, мне б было жаль тебя оставлять здесь. Твои песни вызывают во мне многие и весьма разнообразные мысли, полезные не только тебе, но и мне. Весьма гадательно, чтоб я встретил другого такого внимательного и в то же время так пренебрегающего мною слушателя.

Ночью в горах было зябко, и странно было вспомнить, что еще недавно они с таким удовольствием пили холодную воду. Зажигали костры, и монахи швыряли в пламя целые деревья. Неловко подпрыгивая, монахи старались согреться не только огнем костра, но и телодвижениями. Арабы сидели неподвижно, закутавшись в свои верблюжьи плащи, и прыжки монахов казались им молениями.

— В горах и холоде,— сказал кади,— жизнь мне с трудом представляется имеющей смысл, и я понимаю христиан, восхваляющих вино. Быть может, у них много гор и им нечем согреваться? Кроме того, вино придает содержание любому бессмысленному камню.

Дрожа от холода, Джелладин говорил:

— Содержание жизни — лишь в Законе. Я не одобряю, кади, что ты ставишь вино выше Закона.

Махмуд редко вступал на скользкий путь спора. Подождав, когда спорящие, исчерпав свои аргументы, умолкали, он оборачивал лицо к востоку и из учтивости, не желая мешать песнопениям возле балдахина, заводил свою песню. Он пел о Багдаде, о его набережных, о теплых камнях, сковывающих Тигр, об его воинах, об его искусных и неустрашимых ремесленниках и торговцах, об его несравненной красоте и оружии! В синем, мерцающем блеске светился ему Багдад, а глаза его возлюбленной были синей индиго, и слезы ее увеличивали блеск их!.. Перед самым его отъездом она сказала, что ждет ребенка. Кто он будет, этот маленький иль-Каман? Оружейник? Поэт? Торговец? Воин? Или законовед вроде забавного Джелладина? Или судья вроде милого и веселого кади Ахмета? Приходила в голову песня «Я приду к Тебе. Я приду к Тебе», но он стеснялся ее исполнить и умолкал.

Кади, выражая общее чувство, говорил:

— Порядочно!— И добавлял:— Наискось от присутствия, где я сужу людей, есть кофейня. Твоя песня напоминает мне ее. Там приготовляют превосходное яб-

лочное пирожное с каплей вина и ломтиками апельсина. По приезде в Багдад я немедленно угощу тебя, о поэт!

Затем они ложились спать.

XXIX

Убрус медленно приближался к столице.

Они шли долинами, где жара была умеренной, так как недалеко было море. Люди убирали жатву. Повислые парчовые кисти балдахина покрывались вялой бархатистой пылью, поднимаемой грубыми подошвами подбегающих отовсюду поселян. Жнецы втыкали свои серпы в снопы. Пастухи бросали стада. Богатые несли в подарок убрусу лучшие свои украшения и одежды, а бедняки — смиренную кисть винограда или меру пшеницы. Опять всех сопровождавших икону обносили холодной водой, от которой сладко дергало в деснах и испарина выступала на плечах. Подавали воду и арабам, и кади Ахмет говорил:

— Порядочно. А помните — горы?

И все улыбались.

Благоуханная свежесть садов дышала на них. Возле дороги начали поблескивать многочисленные источники, струи которых катились по желобу, заканчивающемуся головой какого-нибудь зверя, иссеченного из камня. Дорога кишела навьюченными мулами, ослами и телегами. Это торговцы и крестьяне спешили снабдить столицу фруктами и мясными припасами. Блеяли овцы, ржали кони, гоготала птица, сквозь решетку корзин поблескивала рыба. Иногда через толпу, щелкая бичом, продирался всадник в серо-зеленом плаще и высоком блестящем шишаке с гербом. Это посланец какого-нибудь командующего армией или начальника крепости спешил доставить письмо императору.

Наконец в лицо им пахнула тяжелая и сильная прохлада. Один раз, другой. Сады на холмах расступились. Напрямик, развевая их одежды, дул решительный и свежий ветер. Перед ними был Босфор.

Кади Ахмет почтительно дотронулся правой рукой до головы и до сердца и сказал:

— Прекрасен ты, о Босфор! Из-за твоей воды пролито уже столько крови, сколь ты несешь сейчас струй.

Я — слаб, и некоторые упрекают меня в чрезмерном человеколюбии. И я ничего не обещаю тебе, как только всю свою кровь, лишь бы ты ежедневно позволил мне любоваться на тебя.

— Ты — поэт, кади! — воскликнул Махмуд.

— Я — человек, — скромно ответил кади.

И Махмуд, вспомнив восклицание Даждьи «Я — женщина», увидал глаза ее в синих волнах Босфора. Не эти ли глаза привели его сюда? И он сказал:

— Слава человеку.

— Да будет благословенно имя его,— благоговейно ответил кади.

Среди зелени и плодов мерцали белые виллы богачей. Пахло незнакомыми цветами. Процессию встречали золоченые колесницы, коней еле сдерживали искусные и сильные наездники. Кони перестукивали копытами о ровную дорогу. Корабли, влекомые бечевой, веслами или парусом, приставали к берегам, и корабельщики кидались на землю, чтоб поклониться убрусу.

Парчовый балдахин ушел от арабов далеко. Несметные толпы народа отделяли их от него. А арабы вглядывались в черное облако дыма ладана, которое теперь стлалось над местом, где шел убрус. Передавали, что корабль императора приближается.

На раскрашенном затейливо судне, похожем формой на дельфина, арабов перевезли через Босфор. Когда они переходили по мосткам на судно, кади Ахмет посмотрел вниз.

— Увы,— сказал он.— Уже не вино, а часть моря будет отделять нас теперь от Багдада.

Затем они увидали зубцы стен и квадратные и круглые башни, стерегущие Константинополь. И сердца их сжались. Стены казались им темницей. Они спросили у чиновника, сопровождавшего их по-прежнему, когда они увидят императора и когда передадут ему дружбу и привет халифа. Чиновник снисходительно ответил, что император, несомненно, их примет, но когда? Кто знает!

Арабов вели по улицам. Улицы были пустынны. Все население столицы ушло встречать убрус. Чиновник показывал им на дворцы — два высоких квадрата по бокам, а в средине, по фасаду, множество тонких, украшенных резьбой колонн. В церквах звенели неистово колокола. Иногда проходил мул, нагруженный свеча-

ми, или спешил монах, почему-то опоздавший на встречу. И словно от звона колоколов колыхалось на рейде множество кораблей. Арабам хотелось спать, и они зевали.

Их поселили в широком и пустом доме, в предместье святой Маммы.

Они уже засыпали, когда кади Ахмет поднял свою рыжую бороду и сказал:

— Встанем пораньше и пойдем исполнять приказание визиря.

— Какое? — спросил поспешно Джелладин.

— Ты забыл? Визирь приказал высмотреть все, что полезно перенять Багдаду! Здесь, я вижу, обширное и поучительное поле для наблюдений.

Джелладин сказал:

— Неужели визирь считает возможным чему-нибудь научиться у византийцев? Я бы хотел лишь узнать одно: вели ли они особые переговоры с эмиром Эдессы?

Так, невзначай, кади Ахмет узнал о тайном поручении визиря.

XXX

Когда Махмуд проснулся, Джелладин стоял на молитве, а кади Ахмет уже куда-то скрылся.

Арабов хорошо кормили, поили сладкими напитками, кони их находились в отличных стойлах, у ворот сидел дежурный чиновник — и все. Джелладин спросил у чиновника, скоро ли их поведут к императору. Чиновник посмотрел на них с некоторым удивлением и сказал:

— К императору попасть трудно. Он сейчас молится.

— По поводу чего он молится? — спросил Джелладин.

— По поводу того, по поводу чего следует молиться, — ответил чиновник, и разговор окончился.

Джелладин успокоился: что иное мог ответить ему сын беззакония?

День был жаркий и длинный, и чувствовалось, что таких дней будет много. Махмуд гулял по саду возле дома, глядел на фонтан. Ему не хотелось ни есть, ни пить, и даже не хотелось составлять стихи. Он видел, что тоска охватывает его, и он не знал, как с нею справиться.

К вечеру вернулся кади Ахмет. Он был багров и весь покрыт пылью города, от огненно-рыжей бороды до синих, вышитых цветной шерстью сапог превозносил византийскую кухню, точно он целый день ел. На нем был новый розовый с голубым шелковый пояс, и тыквенная бутылка его была полна так, что пробка не входила туда. Он описывал цветных женщин: каштановых, черных, как аспидный камень, желтых, как только что раскрывшаяся водяная кувшинка, белых, как борода Джелладина...

Джелладин, видимо соскучившийся по кади, ласково плюнул в сторону.

— Пойдем вместе, и ты убедишься, ученый муж!

— Не желаю и выходить,— сказал Джелладин.— Все вокруг, как вообще у нечестивых, похоже одно на другое, и я не вижу разницы между первым моим шагом по византийской земле и вот этими, по их столице. Мне думается, что мы топчемся на одном и том же месте, хотя я уже износил подметки сапог. Мне жаль подметок: я не взял запасных, а византийцы — плохие кожевники, и подметки у них стоят дорого.

Он снял сапог и глядел на него с грустью. Визирь отпустил ему много денег, но он был скуп и жаден и не желал тратить эти деньги в Византии. Кроме того, он грустил и оттого, что византийцы наслаждаются и совсем не думают о текстах Корана. Кади говорил, как мастерски здешние повара жарят в масле тонкие ломтики мяса, предварительно вымоченного в настое разных целебных трав... Джелладин прервал лакомку:

— Пустяки!

И он начал вдруг вспоминать молодость, глядя на прислугу, которая повела поить коней. В его молодости не было ни жалости, ни забав, и казалось, что все его радости заключались лишь в том, чтобы хорошо вызубрить уроки и лучше всех сдать экзамены. И больше всего он радовался, что вместо тонкой книги ему выдавали толстую, а после толстой — необъятно огромную. Ему было шестнадцать лет, когда ученейший муж Зади иль-Азари, составитель сорока учебников, хотел поймать его на ошибке в толковании 36-й суры. Но Джелладин не сдавался, настаивал, и ученейший муж должен был сказать наконец, что Джелладин прав. И думалось, что Джелладину никогда не светило солнце, не улыбались женщины, он никогда не садился на коня, и невольно

хотелось спросить: ну, почему у тебя шестеро детей и почему они живут с тобой, а не убежали хотя бы в пустыню? Рассказ его был неистово длинен и скучен, но когда он окончил его, кади Ахмет, обшаривавший себя, точно его кусали блохи, сказал оживленно:

— Подожди, у меня, кажется... впрочем, ты прав — пустяки!.. Вернемся к твоим рассказам. Ты говорил печальное, Джелладин, ибо любая казуистика, даже казуистика любви, печальна. И все же я слушал тебя с удовольствием! Пусть твои науки сомнительны, ценность твоих занятий — невелика, но ты пытался мыслить, а это очень хорошо! Печальнее, если грядущие поколения думали бы о нас, что мы только резали друг друга, рыча от наслаждения и злобы, подобно диким зверям, когда их кормят сырым мясом. Мы все же думали! Мы тоже думали, что мир можно устроить лучше, да и надо устроить лучше. Разумеется, мир этот еще темен для нас, и светильник наш, при помощи которого мы двигаемся вперед во тьме, еле-еле теплится. Но тем не менее и мы думали о благе потомков! И когда, быть может, через тысячу лет, до наших потомков дойдут стихи Махмуда,— а они, я уверен, дойдут,— мне бы хотелось: пусть потомки поймут — мы не потому жаждали уничтожения Константинополя, предания его огню и позору, что он богат, славен и мы завидуем ему, а потому, что здесь много зла, пиратов, работорговцев и мучителей истины, мошенников! У меня, например, как я сейчас обнаружил, выкрали кошелек.

Махмуд захохотал.

— Я знаю, над чем ты хохочешь, Махмуд. Тебе кажутся нелепыми мои сопоставления? То хвалил византийскую кухню, вино, женщин, а вдруг обнаружил кражу кошелька и принялся обличать! Я вижу зло, но я редко говорю о нем, так как верю, что зло испаряется от правды, как вода от лица огня. Сейчас же мне хочется высказать пожелание, чтоб потомки наши видели — мы хоть немножко, но лучше византийцев. Мы — арабы. Византийцы называют себя наследниками древних эллинов, но кто сохранил Аристотеля, Платона? Мы. Кто сохранил эллинскую простоту жизни, наивность, прямодушие? Мы. Арабы. Я люблю людей, хотя моя профессия по странной игре судьбы создает мертвецов и заключенных. Но вот сегодня, за один день шатаний по Константинополю, я видел здесь жестокосер-

дия, деспотизма и ханжества больше, чем за прожитые в Багдаде пятьдесят лет. И зло Багдада кажется мне трещоткой сторожа по сравнению с оглушающим прибоем константинопольского зла, и я искренне разделяю твое мнение, Махмуд, что Византию следует уничтожить. И с завтрашнего дня я пойду в город с твердым намерением — не пить ничего, кроме воды, не глядеть на женщин и отворачиваться от лакомств, питаясь моей сухой лепешкой. Последний раз...

Он сделал из своей тыквенной бутылки большой глоток.

— ...я пью этот настой. Отныне баклажка будет полна только влагой родника. Я подробно разгляжу и опишу гнездо византийского зла: их вооружение, их способы торговли, их систему укреплений — и, быть может, доберусь до тайны «греческого огня», которым они жгут суда своих противников. Будет записана оснастка кораблей, количество боевых припасов, все солдаты! Я запишу каждую их стрелу и ощупаю вот этими пальцами, которые — глупые! — стремятся щупать только женщин и держать вино,— ощупаю каждую тетиву и дерево их луков!

— Иду с тобой! — воскликнул Махмуд.

— Да, да, идем вместе. Ты больше меня понимаешь в вооружении. О мошенники! Вам будет горько вспомнить о моем приезде сюда!..

И он отхлебнул из бутылки.

— Аллах да осветит ваш путь, — сказал торжественно Джелладин.— Конь растряс меня, и я чувствую слабость. Но через день или два я оправлюсь и пойду с вами. Аллах видит праведных и помогает им. Мы свершим великое.

— Да, да, аллах! — сказал кади.— Аллах, несомненно, велик... но так же несомненно и то, что через тысячу лет потомок наш улыбнется, читая учение пророка, находя его наивным. Однако мне думается, что в этом наивном учении потомок найдет крупинки истины и добра, из которых, через тысячу лет, могла быть вылита огромная золотая гремящая чаша жизни, полная вином творчества...

И он добавил, печально глядя в пустое дно бутылки:

— ...в то время, как я пил обыкновенное и довольно дешевое вино!

— Что? — сказал грозно Джелладин.— Потомки улыбнутся? Учению пророка? Учение пророка — вечно. И лучше нам не плодить детей, чем думать, что дети детей наших будут улыбаться над тем, над чем мы плачем от восторга!

— Я хочу сказать только, о неподвижная звезда Закона, что, несомненно, придут другие пророки, которые еще более ясно и отчетливо укажут пути добра, истины и честности, пути освобождения людей от зла...

— Вздор! Если не вечно учение пророка, то, значит, не вечен и аллах? Ты это хотел сказать, кади?

Кади испуганно пролепетал:

— Я и не думал говорить такое...

— Пьяный глупец. Иди спать. Я прощаю тебе твою болтовню потому лишь, что у тебя пробудились высокие стремления.

— Возблагодарим аллаха,— сказал кади, поспешно укладываясь на ложе сна,— да будут наши молитвы к нему многочисленны, как зерна проса, и красивы, как крутой раскат куска атласной материи.

— Да будет так,— проговорил Джелладин, благочестиво проводя правой рукой по своей длинной седой бороде.

XXXI

Махмуд поверил, что кади Ахмет и на самом деле намерен изучить до дна весь Константинополь. Махмуд встал с восходом солнца. Кади спал долго. Затем он совершил сложное и не свойственное ему омовение и молился так, будто ему впредь и не придется совсем молиться. Затем он думал и выбирал чистый пергамент для записей и, сказав, что лучше не брать пергамента, чтоб не наводить византийцев на лишние мысли, поднялся. Но пошел он не на улицу, а к фонтану. Он наполнил водой свою бутылку, прополоскал ее, понюхал.

— До омерзения пахнет вином,— сказал он и принялся вновь ее полоскать.

Наконец бутылка показалась ему чистой, и он прицепил ее к поясу.

— Удивительно,— проговорил он,— бутылка стала очень тяжела.

И он отлил из нее.

Затем он разглядывал своего мула, а мул его. Он думал: ехать ли ему верхом или направиться пешим? Верхом — почтеннее для посланца халифа, пешим — незаметнее. С одной стороны, надо соблюдать достоинство, с другой — незаметность действий. Затем он начал рассуждать: пойдет с ними чиновник, сидящий у ворот, или нет, и нужно ли говорить чиновнику, куда они уходят? Затем он начал жаловаться на жару, потому что солнце уже стояло высоко и старому его сердцу будет трудно переносить пекло, когда все неверные сидят в тенистых кофейнях.

Махмуд молчал.

Кади Ахмет сказал:

— Мне нравится твое открытое лицо и твоя чистосердечность, Махмуд. Ты говоришь смело, свободно. А мне, если нужно купить сыру на одну монету, приходится покупать на три.

Наконец они вышли за ворота. Кади Ахмет сказал, глядя на чиновника:

— Если он примет нас за дураков и пьяниц, это хорошо. Но мы не будем пить, и он примет нас за соглядатаев, а законы для соглядатаев в Византии очень свирепы. Лучше всего, пожалуй, взять его с собой. Ведь не столь важно то, что ты видишь, сколь важно — насколько осмысленно ты видишь! Возьмем его? Тогда нас никто не заподозрит в соглядатайстве.

— Он спит.

— Спит? Счастливец. Спать в такую жару очень приятно. Я его разбужу и хоть этим немного отомщу мошенникам, укравшим у меня кошелек. И я его замучаю, водя за собой!

Пот капал с его рыжей бороды. Махмуд, жалея его, все же твердил:

— Нужно идти. Пойдем.

Наконец кади сказал:

— Пойдем! Но как? Пешком — невыносимая жара...

— Тогда поезжай на муле.

— Назовут, повторяю, соглядатаем.

— Пойдем пешком, медленно.

— А честь Багдада? Что мы — слуги, ходить пешком?

Махмуд схватил его за рукав и повел.

Кади вскричал:

— Ты берешь на себя всю вину, ведя меня!

— Да, беру.
— Но я гублю тебя! Такого поэта!
— Вся вина на мне, учитель.
— Учитель? Если учитель, и старше тебя, я должен тебя образумливать!

Так дошли они до рейда. Увидав вблизи множество морских судов, приплывших сюда из Вавилона, Шинара, Египта, Ханаана, купцов из Индии, Персии, Венгрии, страны печенегов и хазар, воинов Ломбардии и Испании; увидав бочки с медом и вином, кипы льна, полотна, шелковых тканей и нежнейших сирийских материй, длинные слитки пахучего и желтого воска; увидав менял, монеты всех стран Европы и Азии, склады золотой и серебряной парчи и восточных пряностей,— кади Ахмет всплеснул руками, как ребенок, и радостно вскричал:

— Аллах! Ты освежил мое сердце красотой мира. Я тебе очень признателен, Махмуд, что ты привел меня сюда. Бегущая жизнь ускользает, и как приятно отведать ее бег.

Он, по привычке, достал бутылку, глотнул. Лицо его изобразило отвращение.

— Какая гадость! Кто мне сюда налил воды? Испытывая такой восторг, разве можно пить воду? Зайдем на минуту в эту кофейню.

— Мы увидали корабли, а теперь должны встать с ними бок о бок. Солнце на полдне, и нам много дела. Кофейни посещают после труда. Нужно посмотреть, как и где расставлены матросы и командиры. Из какого дерева построены корабли.

— Зачем? — спросил кади.

— Чтобы запомнить, записать и передать все визирю.

— Разве мы корабельщики, чтобы знать и понять корабли? Разве мы первые арабы, приехавшие в Константинополь? В молодости визирь и сам бывал здесь, однако мы не читали его записей. Для того чтобы понять корабли и их силу, нужно пойти в мастерские порта...

— Хорошо, мы пойдем в мастерские.

— Сегодня?

— Сейчас.

Они осмотрели правительственные верфи. Кади Ахмет, пыхтя и страдая жаждой, шел за Махмудом между обрезками досок, остовами кораблей, по опилкам. Пахло

смолой, всюду валялись куски пеньки, раскрытые бочки со смолой, и никто не обращал на них никакого внимания, так что казалось, возьми они все, что здесь лежит, некому будет и слова сказать. Между тем в работе виден был большой порядок, и по всему чувствовалось, что работают владыки морей.

— Ты уразумел что-нибудь? — спросил кади.

Махмуд ответил откровенно:

— Очень мало. Я вижу лишь силу.

— Вернее сказать, ум. Ум зла. Но мы увидали этот ум и вне мастерских. Нам же нужно понять лад их работы, а здесь это трудно. Не пойти ли нам в другие мастерские?

— Куда?

— Например, в монетный двор. Монета — весьма важная составная часть государства, и визирь будет признателен нам, если мы откроем ему способ изготовлять множество дешевых монет.

И они направились в монетный двор. Осмотрев его, кади сказал:

— Теперь мы можем сказать, как легко изготовлять монеты. Но мы не сможем сказать, откуда брать золото для монет. О монетном дворе лучше умолчать. Пойдем в гинекеи, изготовляющие весьма высокие сорта пурпурных и шелковых тканей. Халиф так любит пурпур, а визирь — шелк!

— Пойдем.

Кади посмотрел на солнце:

— Ого, близок закат, а мы еще не ели.

— Успеем, успеем,— торопил его Махмуд.

— Ты успеешь, потому что ты молод, а я уже могу опоздать. Смотри, какая уютная и прохладная харчевня, как пахнет вкусно мясом и как приветливо лицо продавца! Я не встречал в Византии таких милых лиц! С ним будет любопытно побеседовать.

— Позже, позже.

Из гинекей они вышли грустные и усталые.

Махмуд сказал:

— Мои знания ничтожны, и я не могу охватить знаний византийцев. Зачем я сюда приехал?

— Мы меряем пространство и время, чтобы учиться,— сказал кади.— Мы научимся.

А в глазах Махмуда мелькали поставленные один на другой бочонки, скрепленные обручами из ивы и напол-

ненные дубильным орешком; ящики с камедью, растительным клеем для проклейки тканей; холмы каменной соли; потрескивали станки, сновали мастера, поправляя челноки; звучал голос надсмотрщика мастерской, почему-то хваставшего, что дом покрыт штукатуркой из смеси извести, песка и цемента, который доставляется сюда из Пелопоннеса Таврического. Где находится Пелопоннес Таврический? Махмуд не знал даже этого.

Сквозь улицы и крепостные ворота виден был Босфор, два корабля, скрепленные цепями, грузчики, перетаскивавшие товары на пристань, и много ласточек, скользивших над недвижной серо-зеленой водой. Здесь же, над головой, назойливо жужжа, кружился крупный шершень. Откуда он? И что мы знаем в этом огромном мире?

Между площадью Августион и Тавром, на улице Меса, они увидали множество мастерских, где изготовлялись на продажу драгоценные и редкие товары: вышитые золотом, малиновые, или цвета морской воды, или цвета черного янтаря, или желтые ткани; женские уборы из дорогих камней; изделия из бронзы и серебра; византийские эмали и мозаичные иконы; тонкие сосуды из стекла. Продавалась слоновая кость дивной резьбы; прозрачные и блестящие платья из Фив и Пелопоннеса.

Они стояли долго, рассматривая все это, и один торговец, глядя на них, спросил другого:

— Зачем они смотрят?

А другой ответил:

— Они смотрят и ужасаются золоту. Золотом, которым мы обладаем, мы поведем против наших врагов силы всей Европы и Азии. И мы разобьем наших врагов, как глиняный горшок. И они будут подобны глиняному горшку, который уже не починить, потому что он из глины.

Махмуд, услыша эти слова, сказал печально кади Ахмету:

— Пойдем в кофейню.

И ни он, ни кади Ахмет, ни один торговец и ни другой еще не знали, что князь Игорь переправился через Дунай и что если раньше отступали отдельные части византийского войска, то теперь оно стремительно бежало все.

XXXII

Махмуд, отхлебывая кофе, молча смотрел на узор ковра, себе под ноги. Кади наполнил свою тыквенную бутылку вином, нашел его приятным и теперь наслаждался, заткнув за пояс полы своего кафтана, беседой с женой владельца кофейни. Владельцу кофейни, бывшему переплетчику книг, он говорил, что в Багдаде книги глянцуют не яичным желтком, а на смеси бычьей крови с перцем, жене — что у нее такие глаза, которые способны лишить сна любого из смертных, и что теперь в бессонные ночи он будет приходить в их кофейню. Женщина хихикала, кади касался ее плечом. Муж смотрел на это спокойно и деловито.

Поболтав, кади молодцеватой походкой, браво выставив грудь, вернулся к Махмуду. Махмуд сказал:

— Византия знает больше, чем мы...

— В наслаждениях? Да.

— В науке войны и торговли! — сказал Махмуд.— А нам надобно знать больше. С чего начинать? Как поглотить науку Византии?

— Ты ошибаешься, Махмуд,— сказал кади.— Нас послали смотреть, а не поглощать науку Византии. У них языческая наука! Если бы народы учились друг у друга, им бы некогда было драться. Разве мы с тобой можем узнать самое главное?

— Что здесь самое главное?

Кади прошептал ему на ухо:

— «Греческий огонь». Тайна его — для нас с тобой неперевария.

Он икнул и сказал:

— Мясо оказалось тоже неперевариваемым. Оно пережарено! Хозяин! — крикнул он.— Дай мне крепчайшего вина. Мясо ты пережарил, и я обязан запить его.

Хозяин принес высокую глиняную кружку с вином, кади отхлебнул и улыбнулся:

— Порядочно.— И он сказал Махмуду: — Если б визирь дал нам очень много денег, руководителя поумнее Джелладина и тысячу писцов, мы б и тогда чувствовали себя бедняками и нуждающимися. Вчера я ходил по мастерским, где скорописцам диктуют книги. Какие здесь прекрасные каллиграфы, Махмуд! Я пересмотрел много книг. Император Константин, собрав вокруг себя много ученых и поэтов, составил громадные собрания книг

по военной тактике, сельскому хозяйству, медицине, придворному церемониалу. Есть пятьдесят три книги, рассказывающих историю Земли от начала до наших дней! Я выбрал одно довольно дорогое сочинение, принадлежащее перу самого императора. Оно называется «О фемах» и разбирает вопросы географического характера, говорит о составе империи, о ее краях, людях...

— Визирю такая книга понравится. Ты купил ее?

— Если бы я ее купил, визирь, развернув книгу, бил бы ею меня по голове до тех пор, пока не истрепал бы и книгу, и мою голову. Ты не найдешь там сведений о Византии новейшего времени! Книгу написал сам император, а однако, о хитрец, он сообщает в ней сведения, относящиеся еще ко времени императора Юстиниана. Нового в ней только название да указание деления провинций, что мы знаем и без книги. Когда я выходил из квартала переписчиков, у меня выкрали кошелек.

— Что же делать? — спросил в отчаянии Махмуд.

— А делать то, что делает Джелладин: не обращать па византийцев никакого внимания. Народы как подогреваемая жидкость,— они закипают тогда, когда будет достаточно тепла, и здесь-то обжигают все, что нужно обжечь. У тебя есть способность к стихам. Пиши. Это тоже подогревает народы. Арабы уважают стихи,— после оружия.

— Никто не знает моих стихов!

— Узнают.

— Когда?

— Когда нужно.

— А пить вино, ласкать женщин, которых не любишь, балагурить где попало,— тоже подогревает народ?

— Радость — это втулка, которой держится колесо.

— Прости, кади, но мне твои мысли кажутся безнравственными.

— Отлично. Ты иначе и сказать не можешь. И быть может, придет время, когда ты проклянешь меня, а если будет твоя власть, то и повесишь или посадишь в клетку возле ворот визиря, которому ты будешь первым другом. Все зависит от того, скоро ли придет новая война. И, однако, я прав. И ты — тоже прав. И если в Багдаде будут долго существовать такие люди, как ты и я, Багдад победит византийцев. И всегда, при всех горестях я с удовольствием буду вспоминать твою дружбу.

Он допил кружку и сказал:

— Зачем огорчаться незнанием? Учись, и знание придет. Византия для нас с тобой сейчас как то странное лицо, которое мы сопровождали сюда до Константинополя и которое не могли увидать, так как парчовый балдахин был слишком плотно закрыт для нас. Ни буря, ни жара, ни ветры не распахнули его, а между тем я знаю его.

— Откуда?

— Мне вспомнился рассказ какого-то перса об этом пророке Иссе. Не знаю, насколько достоверен рассказ, но мне приятно было его слышать. Шел пророк Исса среди цветущих полей. На пути его лежал разлагающийся труп пса. Ученики содрогнулись. Но пророк Исса сказал им: «Зачем содрогаетесь и отшатываетесь? Вглядитесь в зубы пса. Он скалил их, защищая своего друга, и теперь они остались прекрасными, как жемчуга, даже на этом гниющем трупе».

Махмуд сказал:

— Меня грызет тоска.

— Да, здесь мы с тобой сейчас как зерна, выпавшие из мешка. Быть может, нас склюют птицы, а быть может, мы и прорастем. Кто знает? — И он, улыбаясь, сказал: — Все-таки жалко, что ты так резко и быстро отшатываешься от любви, точно это падаль. Я бы мог познакомить тебя с одной прорицательницей, в области любви, разумеется. Но ты бежишь женщин, а это в твоем возрасте просто опасно! А почему бежишь?

— Я люблю,— внезапно для самого себя выговорил Махмуд.

Кади Ахмет даже покачнулся:

— Неужели я так много выпил?

— Я люблю,— повторил Махмуд.

— Почему же ты так долго не сознавался? Или ты любишь женщину чрезвычайно высокого положения? Дочь визиря, быть может? У него три дочери, и они красавицы. Которая из них? И где ты ее видел?

— Она не дочь визиря.

— Аллах! Тогда она дочь халифа?

— Она не дочь халифа.

— Но она умна?

— Да. Ее наущением составлена моя речь перед визирем.

— Ого! Кто же она? Я не слышал в Багдаде о таких умных женщинах. Быть может, иноземка?

— Да.

— Жена какого-нибудь проезжего князя? Торговца из Индии? Наемного витязя? Строителя дворцов? Морского пирата?

— Она рабыня.

— Чья?

— Моя бывшая рабыня, а теперь жена. Я жду от нее ребенка.

— Та, которую купила госпожа Бэкдыль?

— Да.

— Та, которая упала на рынке головой вниз? Та, владелец которой был судим мною?

— Да.

Кади крикнул хозяину кофейни:

— Еще кружку вина!

И, не дожидаясь кружки, он хлебнул из тыквенной своей бутылки, а затем сказал, весело блестя глазами:

— Махмуд! Ты женился на ней благодаря моей сообразительности и тому, что я понимаю толк в женщинах, даже когда они лежат у меня в присутствии, словно грязная ветошь. И верь моей проницательности, Махмуд. Ты будешь с нею счастлив, и доживешь до глубокой старости, и будешь обладать богатством и почетом и, вдобавок, веселостью, которой владею я. Кружку тебе Махмуд.

— Я не пью.

— За ее здоровье. Опусти губы в вино. Его губы сладки, как губы возлюбленной.

Махмуд прикоснулся губами к вину.

Кади Ахмет сказал:

— Я до сих пор не знаю, откуда она. Кажется, из Египта?

— Она из страны Русь.

— Вот как! Стало быть, она проезжала через Константинополь? Не училась ли она здесь?

— Нет, она училась у себя, в стране Русь.

— Вот видишь! И заставила визиря выслушать тебя, и приготовила тебе речь. Значит, не только в одном Константинополе царит ум и наука? Есть где-то и еще? Есть наука и в Багдаде, Махмуд. Надо лишь ее увидеть. И ты увидишь. Жена поможет тебе. Так ты говоришь, она из страны Русь? А ведь в Константинополе есть торговцы со всей Европы. А значит, есть торговцы и из страны Русь? Найдем их! Узнаем о здоровье ее род-

ных... об ее стране. Ого! Смеешься? Видишь, и в Константинополе можно найти радость! Я рад за тебя, Махмуд, я очень рад за тебя. Любовь редка, береги ее. Выпьем? Пей, пей, теперь и аллах нам разрешает!..

XXXIII

Джелладин задумчиво чертил прутиком на песке ровные линии. Резкая светло-лиловая тень навеса оканчивалась как раз на его тонких желтых руках и, казалось трепеща Закона, не осмеливалась двигаться дальше. Против него, прямо на горячем, словно плавящемся от солнца песке, сидел византийский чиновник в высоком войлочном черном колпаке, под которым лицо его казалось зеленым, похожим на неспелую дыню.

Византиец и Джелладин молчали, и видно было, что молчание доставляет им удовольствие, и византиец с таким умилением глядел на ровные линии, проводимые Джелладином, словно чувствовал сквозь них какую-то дивную мелодию, над которой можно рыдать.

— Мир вам,— сказал Джелладин, не поднимая головы.

— Мир и тебе,— ответил кади, понимая, что между Джелладином и византийским чиновником произошло что-то важное.

Чиновник поднялся и, важно пожелав посланцам халифа спокойной ночи, ушел.

Джелладин, сровняв прутиком линии на песке, сказал:

— Корыстолюбивы. Все продажно. Много золота — много наемников. Привези ты больше золота, наймешь их вместе с их наемниками.

— Да, да! — подхватил кади.— Город большой, но мелочной. Ты уговаривался с чиновником о приеме нас императором?

— Нет, о другом,— неопределенно ответил Джелладин.— Он дорожится.

— Что — деньги? — молодцевато воскликнул кади.— Они хрупки, как трава осенью.

— Деньги принадлежат Закону.

— Да, да! Но я не люблю борьбу деньгами. Легко поскользнуться, как на мокрой апельсинной корке.—

И кади продолжал:— Есть три вида борьбы. Или Исав, боровшийся с богом, или Прометей — с Зевсом. Второй вид — борьба с наводнением или с саранчой, когда полезно призывать доброго духа Шерлаха. К этому же виду борьбы относится борьба на поле брани. И отчасти борьба деньгами. И, наконец, третий вид — борьба для забавы, из которой я больше всего предпочитаю борьбу на поясах. Видел ли ты эту борьбу, Джелладин?

— Видел. Мне было пятнадцать лет, и мои товарищи по школе боролись во дворе медресе. Я в тот день превосходно ответил учителю и позволил себе посмотреть на борьбу. Я был доволен собой.

— И борьбой, наверное?

— Не помню.

Кади вздохнул, с сожалением и страхом глядя на Джелладина, и продолжал:

— Первый вид борьбы, вроде борьбы Исава или Прометея, прельщает меня, но я слаб, боюсь, что не выдержу, и все откладываю борьбу. Второй вид борьбы доставляет мне меньше удовольствия. Привыкши размышлять над свершаюшимся, я опасаюсь, что, пока я выбираю лучшие способы борьбы, наводнение снесет мой дом, саранча сожрет мои поля, вражеский воин проломит мне голову, а что касается денег, то разорюсь я обязательно. Поэтому я наслаждаюсь невинной борьбой и весь дрожу от страсти, когда два борца таскают друг друга по земле. Пояса скрипят, от борцов идет пар и пот, и земля вокруг них влажная!.. Махмуд, я слышал, ты умеешь бороться на поясах?

— Работа у наковальни закалила меня. Но бороться мне приходилось редко: я все время работал или составлял стихи.

— Побеждал ли кто-нибудь тебя?

— Никто.

— Видишь, Джелладин! — воскликнул кади. — Его никто не побеждал в Багдаде. Неужели ты допускаешь мысль, что его победят в Константинополе?

— А если мы победим византийцев? — сказал Джелладин.— Они обидятся. Я узнал, что византийские войска недавно разбиты на Дунае русским князем Игорем. Византийцы просят у русских мира.

— Вот как!

— Византийцев сейчас лучше не раздражать.

— Я согласен с тобой, Джелладин. Тогда Махмуд будет бороться не с византийским борцом, а с кем-нибудь из гостей.

— Например?

— В предместье Маммы, неподалеку от нас, живут русские купцы. Русские ходят свободно. Мы сейчас шли мимо их подворья, они веселились, пели песни, и Махмуд услышал что-то знакомое... Джелладин, подумай! Византийцы узнают, что мы побороли русского богатыря. Доносят императору. Император пожелал нас увидеть. Ты говоришь императору все, что тебе приказал визирь...

— Мысль недурна.

— Вот видишь!

Кади Ахмет привык на суде читать мысли по лицам. Мысли Джелладина совсем не сложны. И кади решил пооткровенничать:

— А у нас есть частная заинтересованность в этой борьбе. У Махмуда подруга — русская, из дружины князя Игоря. Она хочет узнать, что делается в стране Русь.

— Это мог бы узнать и я,— пробормотал Джелладин.

«Через кого?» — хотел было спросить кади, но удержался. Понятно и без вопроса. Джелладин пообещал византийскому чиновнику золото, которое вложено в пояс Джелладина визирем. Чиновник выдал ему голову эмира Эдессы, указал на человека в Эдессе, ведшего тайные переговоры с византийцами...

Кади Ахмет поспешно сказал:

— Так и должно быть. Русские купцы придут сюда, и ты порасспросишь их, о толкователь Закона! Подругу Махмуда зовут Даждья, она дочь князя Буйсвета... какие трудные имена!

Джелладин сказал:

— Мне не нужно имен. Зачем я буду вмешиваться в частные дела? Поручил ли вам это визирь?

— Нет.

— И спрашивал ли ты у него разрешения на упоминание имен?

— Зачем я буду лезть к визирю со всяческой мелочью?

— Ты же сам назвал этот город мелочным. Здесь всякая мелочь приобретает вид Закона.

— Но это просто любовь! Она хочет знать — что и как на родине?

Джелладин сказал:

— Любовь? Я не представляю себе, что такое любовь. И вам не советую. Визирь ничего не говорил мне о любви.

— Но он ничего не говорил и о борьбе на поясах!

— Борьбу на поясах я разрешаю. Но любовь... любовь, по-моему, глупость и вред.

— Сам пророк Магомет любил! — воскликнул Махмуд.

— Молчи, дурак,— сказал Джелладин.— Что ты знаешь о пророке? Поучись столько, сколько я, и тогда рассуждай!

Махмуд раздражал Джелладина. Он раздражал его своим громким голосом, важными движениями и тем, что никогда не советовался с ним, как и где расположить на отдых конвой и какой соблюдать церемониал при встрече с византийцами. Поэт? Трезвонит и трещит. Песни о Багдаде иногда трогательны. Но все, что говорится о родине на чужбине,— трогательно. Кроме того, Джелладин не мог простить Махмуду его внезапного появления и речи перед лицом визиря. И теперь — победи Махмуд в состязании, дойдет его победа к императору, а значит,— дойдет и до халифа. Возможны награды от халифа... Но награды возможны и Джелладину, разрешившему борьбу с русским богатырем?

И Джелладин еще строже добавил:

— Смотри, не вздумай свалиться в борьбе.

— Не свалюсь,— ответил, смеясь во весь рот, Махмуд.— Скорее ты свалишься от злости.

И, не слушая брани Джелладина, пошел мыть, со скуки, своего коня. Конь, подаренный ему визирем, был вороной, молодой, трепетно-неугомонный, и по совету кади Махмуд дал ему имя Пегас, хотя и не знал толком, что значит это слово.

XXXIV

Накануне, перед приходом русских, Махмуд спал плохо. То мерещился ему Багдад, его домик, крыша и синие глаза Даждьи. Ей скоро рожать. Как-то пройдут роды? Махмуд пытался представить личико своего ре-

бенка — и не мог. Ему все виделся почему-то ребенок лет пяти, круглый, черноволосый, но с синими глазами — в мать... То вдруг с удивительной отчетливостью представлялись ему картины путешествия с убрусом, и особенно — горы. Горы под скользящей среди туч луной — синим-сини. Дует ветер, и пламя огромных восковых свеч отклоняется, и видны расходящиеся пятна света, падающие то на камень, то на голову монаха, то на длинный посох, с которым идут священники. Золотые кисти балдахина очень чисты и кажутся слитками золота, ветер их двигает осторожно, точно пробуя их тяжесть...

Под вечер пришли русские купцы. В саду, возле фонтана, нашли площадку и стали ожидать кади Ахмета, который ушел еще с утра наполнить свою баклажку и не возвращался.

Русские были рослые, красивые люди, а богатырь Славко был на голову выше всех, и казалось, глядя на него, что и нет выше его людей в Константинополе, хотя по столице ходит очень много сильных и рослых людей. Махмуд был значительно ниже, но плечист и крепок на ногу, что в борьбе немаловажно. Махмуд глядел на русского богатыря, слегка побаиваясь, а того больше желая помериться с ним силой.

Хотелось и поговорить с русскими. Но византийский чиновник сказался не знающим славянского языка, хотя в Византии обитало очень много славян: они заселяли и Фракию, и Македонию, и Фессалию, и Эпир, и жили в Аттике и Пелопоннесе, даже возле самых ворот Афин, в Элевзине, были славянские поселения. Джелладин, ссылаясь на занятость, обещал выйти только к самой борьбе. Конвойные, опасавшиеся влияния злых духов, которые невидимо стоят за плечами язычников, держались в стороне. Махмуд остался возле русских один.

Русские принесли с собой дубовый бочонок с медом и угощались. Борцу меда не давали, чтобы тот не ослабел перед состязанием. Опасения эти подбодрили Махмуда. Понемногу он осмелел, подошел к русским поближе, стуча себя в грудь ладонью, сказал одному седоусому и, как ему думалось, самому почтенному и понятливому:

— Даждья!

Он знал, кроме того, и еще несколько слов, слышанных от Даждьи, но все они относились к любви, и он боялся показаться старику легкомысленным. Он повторил:

— Даждья. Князь Буйсвет!

Старик сначала смотрел на него строго, но затем заулыбался и, показывая на восток, спросил:

— Даждья — у Багдади?

— Да, да. Багдад — Даждья!..

Старик начал было выспрашивать его, но тут прибежал кади Ахмет, исцарапанный, помятый. Новая одежда его была вся в заплатах. Он оттащил Махмуда в сторону и спросил:

— Ты что у них спрашивал?

— Говорил о Даждье...

— Так я и знал! Зачем торопиться, зачем? Что, ты не мог подождать меня?.. А в рассуждениях Джелладина есть доля правды. Это очень печально, но его надо опасаться, Махмуд.

— Я ей обещал!

— Мало ли что мы обещаем женщине! — И он сказал, оглядывая себя: — Я знал, что одежды снимаются. Но я не подозревал, что они делятся на столько частей! Я начал уже было думать сегодня, что между мной и голым человеком трудно найти различие...

— Тебя били, кади? Кто?

— Ах, Махмуд, женщины так неосмотрительны и так легкомысленно назначают свидания! Бить? Меня хотели бить, но я подставлял византийцам другую часть тела, противоположную той, которую они хотели бить! И, таким образом, они были опозорены и обмануты. О, я их отучил драться!.. Женщина, правда, была недурна, вино — превосходно, и я выпил его столько, что не смог заплатить! Кто они? Этот вопрос был бы отвлекающим в сторону, если б я сейчас не догадался, что меня били справедливо.

Он поднял многозначительно палец вверх и тихо сказал:

— Она живет возле храма святого Ильи, и когда приезжие не отвлекают ее от основной работы, она шьет. Она — швея!

— И что же?

— А то, что благодаря ей я сделал величайшее открытие, за которое визирь будет мне несказанно призна-

телен. Он был прав, этот визирь, советуя мне наблюдать! Все сделано, Махмуд, мы можем возвращаться спокойно. Она зашивала мне изорванные в драке штаны и полу кафтана... Я взглянул... О Махмуд! Я захлебываюсь от счастья! Я открыл...

— Тайну «греческого огня»?

— Больше! Гораздо больше! Пусть поднимет тебя в твоем состязании мое открытие, оно очень велико. Я не открою пока тебе этой тайны, но помни, Махмуд, что Багдад отныне непобедим!

Появился Джелладин.

— Начинайте борьбу,— сказал он.

Борцы схватились.

Теснили друг друга к краям площадки, обсаженной самшитом, позади которого высились кипарисы. Выкидывали на средину. Волочили, быстро и легко дыша, через всю площадку. Взрыли землю, обнажив корни деревьев, и сразу же, ногами изучив расположение корней, стали на них опираться, а затем и вырывать. Русский приподнял, оторвав от земли, араба. Араб пальцами ног ухватился цепко за корень. Русский рванул, и корни потащили за собой кусты самшита. Русский отбросил ногой кусты в сторону, но ему для этого надо было скосить глаза, а в это время араб уже оторвал его от земли, дернул в воздух... Толпа охнула:

— Перун!

— Аллах!

Русский изловчился, и опять он на ногах. Опять тискают, таскают, крутят, вертят. Упали оба на кипарис, и высокое дерево зашаталось, покренилось.

Толпа, тяжело содрогаясь, яростно дышит! Даже византийский чиновник, потеряв самообладание, сорвав с головы черный колпак, мнет его в руках и кричит:

— Русь, Русь, хорошо! — И через мгновение: — Араб, араб, хорошо!

В самый разгар исступленной схватки, когда зрители, дрожа от волнения, жадно ловили и расценивали каждое движение борцов, когда опустел не только дом, но и весь квартал, а деревья сада и окрестные крыши были усеяны любопытными, и мальчишки визжали так, что их слышал весь Константинополь, сквозь толпу пробрался розовый живчик юноша. Живчик что-то быстро прошептал на ухо седоусому почтенному русскому.

Русский старик громко крикнул.

И тогда русский богатырь вдруг снял свои руки с пояса араба.

Махмуд глядел на него недоуменно. Разве нарушено какое-нибудь правило? Или кончился срок? Ведь борьба назначена без срока!

А русский, пошатываясь от злости, но послушный, шел за своим стариком.

— Куда он? — спросил Махмуд, шагая за русскими.

Византийский чиновник преградил ему путь и сказал:

— Сенатор и друг императора господин Аполлос, уважаемый и почитаемый, пригласил к себе немедленно русских купцов.

Чиновник направился к своей скамеечке возле ворот, а кади Ахмет сказал:

— Говорят, князь Игорь потребовал немедленной выдачи своих задержанных византийцами купцов, грозя в ином случае прервать переговоры. Жаль! Борьба была славная.

Джелладин повернулся к Махмуду и злобным, свистящим шепотом прошипел:

— Бороться б тебе смелей и лучше, русский лежал бы на траве, а нас бы уже пригласили к императору. О, сын шакала и гиены!

— Я?..

Махмуд схватился за меч. Джелладин побежал в дом, проклиная самоуправца, а кади Ахмет сказал:

— Никогда не нужно обнажать оружие против Закона, даже когда Закон злится. — И вздохнул: — Но мне все-таки печально, что ты не зарубил его. Он становится отвратительным. Еще твое счастье, что он не знает и не узнает, о чем ты говорил с русскими купцами.

— Они вернутся?

— Кто?

— Русские. Я хочу бороться.

— Где хочешь ты, там не хотят византийцы. Я думаю, что русские не вернутся.

— Но поняли ль меня русские?

— А зачем? Печальней, что ты не узнал, как живут родственники Даждьи в стране Русь. По-видимому, мы скоро вернемся в Багдад, и хорошо бы облегчить твоей жене роды, привезя ей весточку с родины. Не знаю, каково тебе, а я уже тоскую по своей старухе. Да, мы скоро вернемся, Махмуд.

Но вернулись они не скоро.

Три месяца ждали они встречи с императором. На четвертый им сказали, что император отсутствует, а их примет друг императора, сенатор господин Аполлос. Господин Аполлос говорил с ними ласково, однако подарки его были жалки. В заключение приема он пожелал посланцам халифа счастливого пути и сообщил, что вслед за ними к халифу едет особое посольство, которое везет письмо императора, дары и пожелания вечной дружбы между Византией и Багдадом.

И они направились в обратный путь.

В тот день, когда они покидали Константинополь, император Константин в своем загородном серо-зеленом, цвета морской волны дворце, составив текст письма к багдадскому халифу, передавал особые пожелания, которые посол Византии, сенатор Аполлос, должен был высказать халифу после аудиенции. Император был гневен. Впереди византийских пленников, которых нужно было потребовать у багдадцев, приходилось называть имя киевской княжны Даждьи, попавшей в Багдад благодаря оплошности доместика схол Иоанна Каркуаса. Так требует князь Игорь! Откуда он знает, что Даждья в Багдаде? И почему доместик схол Иоанн не знает, что Даждья была у него? Доместик схол по-прежнему уверен, что среди нескольких русских женщин, которых он обменял багдадцам на коней, не было никакой княжны. Ему не верили. Он был уже в немилости. Считалось, что в тайных сношениях с эмиром Эдессы он вел себя глупо, что он дорого заплатил за эдесскую святыню, которая так и не принесла победы.

— И откуда русские могли узнать, что Даждья в Багдаде? — повторил свой сердитый вопрос император.

Никто не мог ответить ему.

Разве только Махмуд.

Но не к Махмуду был обращен гневный вопрос императора. Император гневался на русских, гневался на Багдад и опять на русских, с которыми ему пришлось подписать вечный мир — «дондеже солнце сияет, и весь мир стоит,— в нынешние веки и в будущие». Он страшился этих врагов, одному из которых он должен был платить теперь дань, которую платил некогда князю Олегу. И он не знал, как их облукавить, и как задарить, и как устрашить!

XXXV

Махмуд далеко разглядел Даждью. Она опять стояла на крыше его дома! И он громко рассмеялся. Он скакал один, конвой был распущен, и он жалел, что не мог поделиться своей радостью ни с конвоем, ни с кади, который утверждал, что уже близко полнолуние и ему пора домой. Она скользнула рукой по лицу, словно все еще не веря, что видит и его самого, и его вороного коня... Какое милое движение и как он хорошо помнит его! И он опять рассмеялся.

Было утро.

И утро было на его душе.

Стройная и массивная,— уже мать,— с тонкими и длинными волосами цвета спелой соломы, будто наполненными солнцем, со свежим и нежным лицом, которое освещалось плавным светом синих глаз под ровными и словно лощеными бровями, Даждья легко пробежала через весь дом босая и, подбежав к нему,— он еще не успел спрыгнуть с коня,— схватила его шею руками. Воображение всегда представляло ему ее красавицей, но оно слабо показывало ее, как слабо показывает свет свечи окружающие предметы. Это было — солнце!

И он смутился, ошеломленный этой красотой, распространяющей вокруг себя такую благосклонность, такую ласку! Мать Бэкдыль и его брат выбежали и смотрели то на него, то на нее, безмолвно повторяя: «А, она расцвела! Ты доволен?»

— Я доволен! — сказал он. — Где же мой ребенок?

— Дочка, — ответила госпожа Бэкдыль. — Но хорошая дочка. Будут внучата — воины. Будет много внучат!

Госпожа Бэкдыль по-прежнему была полна тайными мыслями. Да, когда-нибудь две рабыни будут стоять позади, ожидая приказания матери Бэкдыль и старшей жены Даждьи. Правда, Махмуд и Даждья, по ее словам, собираются уехать погостить в какую-то далекую, холодную страну Русь. Ну что ж! Их будет сопровождать, будем надеяться, не скудный эскорт, а пристойное для важного лица украшение из трех закутанных в покрывала жен, которые, поблескивая глазами, будут любоваться, как господин их едет впереди каравана!..

— Будет много внучат,— повторила мать Бэкдыль, идя впереди сына.

Он глядел в колыбельку. Они были одни. Мать и брат ушли готовить завтрак. Ребенок спал, сжав розовые губы. Махмуд наклонился и поцеловал дочку прямо в губы. Даждья прошептала:

— Тише, разбудишь! У нее такой чуткий сон.

И она обняла его опять, прошептав:

— Ты хотел сына?

— Я доволен и дочерью.

— Но все же ты хотел сына.

— Надеюсь, будет и сын,— сказал он, тихо смеясь.

— Не сын, а ты прибьешь щит к Золотым Воротам. Ты видел Ворота?

— У византийцев много ворот,— сказал он.— Они их любят строить. Золотые Ворота не крупнее других.

— Но на них был щит Олега.

— Да, был щит.

Она почувствовала в голосе его усталость.

— Что случилось?

Он рассказал ей о Джелладине, о своей ссоре с ним и о ссорах, которые повторялись часто во время дороги. Старик окончательно возненавидел его.

— Пустяки,— сказала она.— Ты ведь не собираешься быть придворным или законоведом? Ты — поэт. Ты — воин. А он?

И она начала выспрашивать о Константинополе:

— Видел ли ты князя Игоря?

— Он не был в Константинополе.

— А его послы?

— Я их видал издали.— И он рассказал о своей незаконченной борьбе с русским богатырем, рассказал и о седоусом старике.

— Знаю, знаю, Славко. Он очень сильный. Пожалуй, тебе б...— Она взглянула в его глаза, прочла там недовольство и быстро сказала: — Нет, ты победил бы его! Но скажи мне, почему они не прибили щит к Воротам?

— Я не знаю.

Она воскликнула:

— Византийцы опять обманули русских! Щит, а не дань! Щит!.. О Перун! Опять ты обманут хитрым византийским богом. А ты еще...— обратилась она к нему, сверкая глазами,— ...ты еще вез к ним святыню! Ты должен был ночью подкрасться к ней и изрубить ее. Пророк запрещает вам покровительствовать идолам, а ты покровительствовал.

И, впав в отчаяние, она наговорила много дерзких слов самой себе. Она была виновата в том, что эдесская святыня благополучно прибыла в Константинополь! А она так долго ждала мести. Ее мысли казались ей пророческими. Она видела поверженную Византию, окруженную с одной стороны войсками халифа, с другой — Русью. И в мечтах ее Византия виделась как упавшее дерево. Она лежит, уставив в небо растопыренные ветви своих башен, рвов, укреплений, которыми теперь ни поддержать дерево империи в равновесии, ни охранить.

— И ничего этого нет!

Византия стоит по-прежнему, растопырив мощные ветви своих укреплений, замков, рвов и башен, стоит, тихо посмеиваясь, как человек, делающий свое дело. Не поехать Даждье в свою страну с возлюбленным! Нужно забыть белые, песчаные берега Днепра, теплые ивы, тесно прижавшиеся друг к другу. Хороши здесь деревья в садах Багдада, но они стоят каждое отдельно, и нет здесь густых сплошных лесов, как у нас!..

Месть, месть, месть! Упорно и настойчиво держала она мечту о мести, воспитывала, лелеяла в себе. Месть просачивалась сквозь нее всю.

А теперь? Византийские послы едут с льстивыми грамотами. И обманут! И будет мир. И византийцы перебьют поодиночке русских и арабов.

— Едут послы. Халиф будет принимать их. И ты будешь говорить им приветственное слово?

Он расхохотался:

— Ты слишком много и высоко обо мне думаешь. Кто позовет меня во дворец к халифу? И почему халиф скажет: говори, Махмуд! Ха-ха! Джелладин наговорит теперь про меня так много злого, что не видать мне ни халифа, ни визиря. Жена моя! Пожив в Константинополе, я понял, что такое двор. Наши мечты с тобой, оказывается, не так-то легко исполнить...

— Какие мечты?

— О щите.

— Вот как!

— И как я жалел, что не могу наслаждаться мгновениями, подобно кади Ахмету.

— А он наслаждался и с женщинами?

Махмуд покраснел:

— Я совсем не об этом!

— Да, да! Вас только отпусти, — сказала она, смеясь и целуя его в шею. — Вот поедешь во дворец, прославишься, забудешь, развращенный Константинополем, меня. И тогда мне будет плохо, совсем плохо. — И глухим голосом она сказала: — Тогда я умру. — И тотчас же быстро сказала, стараясь рассмеяться: — Прости, прости! Я поглупела, но только от радости, только от радости!

XXXVI

Халиф ожидал визиря.

Грузный, крупный старик со свисающими на короткий воротник рубашки из верблюжьей шерсти складками толстой шеи, поджав под себя ноги и часто вытирая платком выпяченные серые губы, сидел в беседке сада на земле. Перед ним стоял низкий столик, грубый глиняный кувшин с водою и деревянное блюдо с финиками. Халиф, подобно Омару, великому наследнику пророка, любил простоту в обыденной жизни и сильные выражения.

— Куда пропало это блеклое животное? — бормотал он.

Сквозь кусты полураспустившихся роз видна была черная дорожка сада, высокая стена, выкрашенная синим, и кусок яркого серо-зеленого неба. Опять приближалась весна, и опять за стеной кто-то проезжавший мимо напевал: «Я приду к Тебе».

«Дети! Пусть поют», — думал халиф. Но все же песня раздражала и мешала думам. А дум было много, и хотелось поделиться ими с визирем. Злили козни вассалов, мешавших единению халифата, и злил эмир Эдессы, вот уже полгода твердивший, несмотря на все пытки темницы, что он не вел тайных переговоров с византийцами. Неизвестно, обнаружили ль мудрецы и мастера вооружения секрет «греческого огня». Вот уже два года заперлись они в замке под Багдадом, на берегу Тигра, что-то жгут, плавят, пробуют, посылают гонцов во все края страны, ищут жидкую серу... И непонятно, с какими мыслями и зачем едут в Багдад византийские послы. Хотелось думать хорошее: вот возьмут да и пропустят в Европу суда халифата с индийскими товарами, а из Европы к Багдаду разрешат ездить с итальянскими

и другими товарами, с медью, железом, оловом, свинцом...

— «Я приду к Тебе...» — пел удаляющийся голос.

— Да иди же скорей, глупец!— сказал громко халиф.

Приближающийся визирь, подумав, что слова относятся к нему, прибавил шагу и засеменил, кланяясь и касаясь руками земли.

— О владыка! Меч ислама! Гроза...

— Перестань,— прервал его халиф.— Далеко ли византийцы?

— Еще ночь, и они будут в Багдаде,— сказал визирь деловито.— Прикажешь задержать?

— Зачем?

— Повелитель, быть может, хочет осмотреть все пышные и неслыханные украшения дворца, сада и улиц столицы. Повелителю, быть может, угодно высказать свои желания? Мы привезли пятьсот десять диких зверей, войска; вдоль улиц будет выстроено сорок три тысячи воинов, не считая евнухов и невольников. На Тигре будут стоять морские суда...

— Ну и пусть торчат!

Халиф посмотрел на визиря тусклым взглядом давно выцветших глаз и, медленно вытирая рот платком, спросил:

— Скажи лучше, узнал ты, зачем едут сюда византийские послы?

— Согласно приказу повелителя, в Константинополь были посланы люди, способные к малому узнаванию. Повелитель не хотел раздражать византийцев пытливостью...

— Но все же они, посланные, ведь не совсем уж дураки? Как ты думаешь, пропустят нас византийцы в Европу? Игорь побил Византию, заставил платить дань, как при Олеге. Византийцы ослабели. Они должны искать дружбы с нами. А что за дружба, если они преградили нам путь в Европу? Пусть откроют путь, или — война!

— Война,— наклонив голову, грустно сказал визирь.

— Но разве они едут с войной? Или они предполагают словами, точно волшебники, заворожить меня? Мы тоже умеем говорить и думать.

— О повелитель, и еще с какой силой!

По лицу визиря было видно, что он не знал, с чем едут византийцы.

Халиф сказал недовольно:

— А «греческий огонь»? Если война, мы должны сжечь много вражеских судов. Пока, я вижу, вы жжете их на словах и плавите мои деньги.

— Повелитель...

— Быстрей!

— Мудрецы открыли секрет огня, повелитель!

— Покажи.

— У них беда: мало основного состава. Дознано, что византийцы привозят основной состав «греческого огня» с гор Кавказа, где Зевсом был прикован Прометей. Там и поныне живут дикие племена, поклоняющиеся огню. Поэтому мудрецы повсюду в нашей стране ищут основной состав и утверждают...

— Нашли? — грозно прохрипел халиф.

Визирь ответил поспешно:

— Нашли, нашли, повелитель! Не минует и месяца, как три бочки «греческого огня» будут доставлены в Багдад.

Халиф испытующе посмотрел на визиря:

— «Я приду к Тебе»?

— Нет, нет, это не пустая песня, о повелитель, а истина. Клянусь моей недостойной головой...

— Запомню.— И, помолчав, халиф спросил: — Кстати, о голове. Эмир Эдессы...

— Сознался!

— О! Почему?

— Джелладин привез доказательства. Мы схватили передатчиков эмира, и они выдали его.

— Отрезать всем головы.

— Сегодня же...

— Не сегодня, а завтра, когда византийские послы будут возвращаться из моего дворца. Пусть они посмотрят, как падает голова их слуги. Им это полезно.

— Еще бы, о повелитель!

— Джелладин? Кто бы мог подумать! Научился у византийцев? Обо что трешься, тем и пахнешь, а, ха-ха?! Я награжу Джелладина. И тех двух... как их?

— Кади Ахмет и оружейник Махмуд иль-Каман, повелитель.

— Да. Позови их всех на прием византийских послов. Собери также всех выдающихся ораторов, законоведов и поэтов, которые в присутствии послов в своих речах и стихотворениях превознесли бы славу и силу

ислама, мое царствование и величие моего дворца. Слова — так слова!

И он задумался.

Была ранняя весна, и сквозь трепетные тучки падал мерцающий блеск на влажные, готовые распуститься почки розовых кустов. В саду было тихо, и казалось, что даже нетерпеливая весна и та задумалась вместе с халифом.

«С чем же едут византийские послы?» — думал халиф, и о том же думал визирь.

XXXVII

Послы несли через весь Багдад послание византийского императора халифу.

Из особого уважения к халифу послы шли пешком.

Впереди послов шел Аполлос, сенатор и друг императора. Это был желтолицый, худой мужчина лет сорока в длинной серебристо-палевой одежде без складок. Глаза его, огромные, агатовые, казалось, испускали скользящий и жалящий блеск, и, когда он пренебрежительно оглядывал толпы народа, запрудившие улицы, всем видна была его ненависть, и все начинали дрожать от ярости. У него была привычка, тоже всех сердившая: сказав три-четыре слова, Аполлос умолкал так важно, точно ожидал, что ему будут восклицать — слава!

Перед дворцом задолго выстроились войска, и шумный народ говорил, что войска выстроено сто пятьдесят тысяч.

Послы вступили в ряды войск. И войска, все сто пятьдесят тысяч копий поднялись на воздух и опустились на землю с такой силой, что гром был подобен землетрясению. Так говорил народ.

И послы увидали тысячу тонких и светлых минаретов Багдада. И со всех минаретов пять тысяч муэдзинов запели хвалу пророку и наместнику его халифу, и народ говорил, что пение их было подобно второму землетрясению.

Но лица послов были неподвижны, и ни один волос на их голове не шелохнулся.

И они увидали зеленый дворец. На площади, перед дворцом, семь тысяч евнухов в шелковых разноцветных одеждах и изукрашенных поясах — четыре тысячи бе-

лых и три тысячи черных евнухов — безмолвно склонились, и поклон их, как говорил народ, был такой ровный, точно поклонились семь тысяч братьев.

Послы вошли в сад дворца. На лужайках они увидали стада диких животных. Львы и олени, прирученные искусными охотниками, направились к послам. Сто львов издали рычание, а двести оленей вознесли вверх свои широкие рога и протрубили.

И это, как говорил народ, было подобно третьему землетрясению.

Но лица послов были по-прежнему неподвижны.

Их вели мимо позолоченных клеток. Множество птиц с позолоченными перьями и клювами пели.

И тогда старший посол Аполлос, сенатор и друг императора, сказал:

— Вот это очень красиво,— и добавил: — Великолепный дворец у халифа.

И он улыбнулся. И тогда улыбнулись все послы.

Визирь сказал:

— Господин посол! Вы видите не дворец халифа, а только мою жалкую хижину. Дворец халифа за этим садом, вон там, где за деревьями колышутся ковры.

И они пошли дальше.

Темно-пурпурный дворец халифа сверху донизу был закрыт коврами. Ковры были и голубые, и розовые, и синие, и белые, ковры всех цветов и всех провинций халифата. Народ говорил, что там висело двадцать две тысячи великолепных ковров, а три тысячи занавесей из парчи и индийского шелка, стоящие тридцать тысяч динаров, украшали все внутренние стены и двери здания.

Халиф ал-Муттаки-Биллахи сидел на троне слоновой кости. На нем был надет простой плащ бедуина, тот, который, говорят, носил великий Омар. С правой и левой стороны трона висели и сверкали на солнце по девять длинных тяжелых нитей драгоценных камней. Позади и впереди халифа стояли евнухи, а вожди племен и родственники поодаль нитей с драгоценными камнями. А еще дальше стояли, содрогаясь от восторга и славы, законоведы, кади и поэты.

И там же стояли Джелладин, кади Ахмет и Махмуд.

Византийский сенатор и друг императора Аполлос поцеловал землю и сказал, что он принес могучему халифу послание императора.

— Читай,— проговорил халиф.

Сенатор Аполлос снял шелковую желтую материю с серебряного ящика с золотой крышкой, на которой было сделано из разноцветного стекла изображение императора Константина. Сенатор раскрыл ящик и достал послание. Послание было начертано на пергаменте небесно-голубого цвета золотом, греческими буквами, и к нему прикреплена золотая печать в четыре мискаля весом, на одной стороне которой был барельеф Христа, а на другой — императора.

Посол огласил первую строку по-гречески, тотчас же переведя ее на арабский язык:

— Константин Седьмой, верующий в мессию, император, владычествующий над греками.

Он помолчал, поводя огромными глазами и точно ожидая восхвалений.

— Халифу ал-Муттаки-Биллахи, могучему повелителю арабов в Багдаде. — И опять помолчал. — Да продлит господь бог жизнь могучего халифа!

Огромные глаза его остановились на жирном лице халифа, и он продолжал:

— Слава богу!.. Всесовершенному, великому!.. Милосердному к своим рабам... Тому, кто собирает народы... Кто разъединяет... и примиряет их... спорящих во вражде... до тех пор... пока они... не соединятся воедино...

Сенатор Аполлос читал и читал голубой пергамент. Послание плескалось в руках посла, насыщая сердце халифа такими словами, которые мог найти лишь человек, необычайно долго лазивший по лестнице мыслей. Слова ласкали, нежили, лечили, лили масло и елей на душу, макали уста слушателей в мед и наслаждения. Они уверяли халифа в дружбе, расположении, вечном мире.

«И все?» — думал халиф, как и послы храня недвижное лицо.

Затем сенатор Аполлос взял другой драгоценный ящик и достал оттуда желтый пергамент, по которому было написано по-арабски серебряными буквами перечисление даров, которые посылает император Константин своему брату халифу. Тут был и золотой поднос для кушаний, и дорогие одежды, и золотая посуда, и мускус, и амбра. Под конец посол подал халифу три небольших золотых стакана. Халиф скосил глаза, принимая

их. На дне стаканов он увидал стада крошечных хрустальных зверей: львов, оленей, жирафов и рысей, расположенных в том же порядке, в каком звери эти встретили послов в саду визиря.

— Редкого уменья у вас ювелиры,— сказал халиф, а про себя подумал: «А еще более редкие соглядатаи! И неужели тем, что вы знаете расположение зверей в саду моего визиря, вы думаете сказать мне, что знаете все происходящее в моей стране? Глупцы».

Но лицо его по-прежнему было неподвижно, и посол не мог угадать, понял халиф намек византийцев или не понял. И, приняв дары, халиф сказал:

— Велик аллах и пророк его! Я напился дружбы брата моего Константина и наполнен любовью к нему, как виноградная лоза солнцем. Я не могу надеяться, что найду слова, которые бы передали наружу лежащее внутри моего сердца. И я призвал лучшего своего законоведа Джелладина Жете-и-Тогос, чтобы он, ловитель мыслей, подмел своими и моими словами пол у ног моего друга, императора! Слова наши немногочисленны счетом, но совершенны и справедливы, и я трепещу от радости, что почтенный Джелладин выскажет их!

Рокот одобрения пронесся среди родственников, вождей племен, законодателей, кади и поэтов. И все обернулись к Джелладину.

Джелладин, шатаясь от волнения, в широкой и длинной одежде, пробрался через толпу и приблизился к трону. И все качали головой, одобряя его вид. Как он талантлив! Как он умен! И как быстро он идет в гору! Говорят, благодаря ему сегодня обезглавят эмира Эдессы?

— Халиф, да будет прославлено имя его!..— начал Джелладин, и голос его поднялся так высоко, что казалось, поздоровался в небе с самим пророком.

Мороз прошел по коже присутствующих. Какое великолепное начало, как умеет начинать!.. Каково-то продолжит?

Но продолжить Джелладину не пришлось. Архангел запечатал уста его. Джелладин покачнулся и упал.

Он лежал в глубоком обмороке у ног халифа, а халиф с неподвижным лицом проговорил:

— Так велика любовь наша к брату нашему Константину, что сердце одного, даже лучшего законоведа

Багдада, не в состоянии высказать ее. Джелладин — великий законоучитель. Он река законоучителей...

Халиф обвел взором своих тусклых глаз всю толпу придворных. Взор его остановился на кади Ахмете, рыжая борода которого горела возле Махмуда. Халиф сказал:

— Брату моему императору Константину отвечала река. Но и река остановлена плотиной восторга. Она остановилась, увидав море. Ты море мудрости, кади Ахмет, продолжай речь!

Кади Ахмет вышел:

— Халиф, да будет прославлено имя его! — начал он.

И он остановился.

— Да будет прославлено имя его! — повторил он, уцепившись обеими руками за свою бороду.— Халиф...

И у него, от величия и великолепия обстановки, от неожиданности и от радости, что свалился Джелладин, прервалась нить мысли, и знаменитый оратор остановился, тщетно стараясь вспомнить то, что надлежало сказать в подобном случае.

И тогда выступил вперед Махмуд иль-Каман.

Визирь наклонился к халифу и тихо сказал:

— Это тот искусный ремесленник и поэт, о повелитель, который воспламеняюще говорил у меня о Византии и эмире Эдессы, назвав его предателем.

Халиф так же тихо пробормотал:

— Двое онемевших от восторга — недурно. Но если онемеет третий — получится, что у меня все подданные идиоты, обалдевшие при виде двора.

Халиф предпочитал сильные выражения.

XXXVIII

И халиф сказал, обращаясь к Махмуду:

— Эй ты, соблазнительный урод! Сунь нам, сын тины, свойственные тебе соображения!

И он откинулся на спинку трона, довольный своим словом. Он находил, что с подданными иногда полезно обращаться так же, как с конем, закусившим удила.

Махмуд, весь дрожа, чувствуя себя расточительным, но в то же время разумным и ровным, твердо подошел к трону халифа и встал на то место, где только что

стоял Джелладин. Сладчайшим, звонким голосом, глядя прямо в мутные глаза халифа и в его выпяченные серые губы, Махмуд говорил о славе Багдада, о красоте его, о его спокойствии, о согласии, о смелых его воинах, о резвых его конях и о той славе, которая упадет на тех, кто дружит с Багдадом. Он говорил слова скромные и скупые, но ставил их в такие сочетания, могучие и высокие, что они казались скалами.

«Недурно, совсем недурно,— бормотал про себя халиф.— Но не мешало б и припугнуть византийцев. Слишком многое они себе позволяют! Золотой стакан, а внутри звери? Мои звери? Пусть бы он сказал, что оружие наше на врага — готово!.. Неужели не скажет, сын тины?»

Махмуд не сказал.

Он воспел Багдад, но ему и в голову не пришло, что пора припугнуть византийцев. Ему казалось, что он научился придворному обращению в Константинополе, и он забыл, что сердце поэта — самый правильный сборник церемониала. Сердце приказывало ему надсмеяться над византийцами. Жена ему советовала то же самое. Она говорила, что, если халиф и аллах дадут ему слово, это слово должно быть смелым! Душа его ненавидела византийцев, но он глядел в глаза халифу, слушал его слова, полные дружбы и любви к Византии, и ему казалось, что если он умолчит о Византии, прославляя лишь один Багдад, то и это будет смело!

Но как бы то ни было, он сказал блестящую речь, заключив ее великолепным стихотворением, в котором, еще более возвышенно, повторил свои мысли о Багдаде.

Халиф по окончании речи сказал, обращаясь к визирю:

— Он говорит темновато, но он не усыпляет, этот перл овчарни! Наградить его, уместно случаю.

Махмуду поднесли одежды, плоскую золотую чашу, до краев полную монетами.

И халиф сказал:

— Кстати вспоминаю, тождественное происшествие случилось со мной во времена моей молодости, при покойном халифе ал-Мутанаби.

И он передал собравшимся короткий рассказ о происшествии в пустыне, когда он шел в поход против одного взбунтовавшегося турецкого племени. И византийские послы, и арабские сановники слушали его, вытянув

вперед головы, изображая на лице охотное и живейшее внимание. Когда они заговорили громко, прославляя халифа как выдающегося поэта и рассказчика, халиф улыбнулся и пригласил их на пир.

— Будем кутить, как молодожены,— сказал он, любя крепкие выражения.

Махмуд, получив подарки, спросил визиря:

— Могу ли я, о визирь, просить — отправить эти подарки матери, чтоб она насладилась, так как для меня достаточно лицезреть халифа?

И визирь одобрил его, и пять евнухов отнесли подарки к госпоже Бэкдыль, крича в толпу:

— Дорогу, дорогу! Подарки от халифа — да будет прославлено имя его! — знаменитому оратору и поэту Махмуду иль-Каман. Дорогу, дорогу!

Слова эти издали услышала мать Бэкдыль. Она приняла подарки еще в начале улицы, на которой стоял ее дом, и, взяв три небольших горсти монет, потому что руки ее высохли и сжались на работе, пошла на базар. Был еще день, пир только начался, а госпожа Бэкдыль уже купила двух невольниц и пять коз, ибо она давно ждала это добро, и в простоте сердца думала, что и все ждут этого же добра.

Госпожа Бэкдыль купила девушку именем Чооны. Она была родом из Афганистана, где высокие горы и где нужно обладать большой выносливостью, чтобы ходить по этим горам. Торговец уступил ее по сходной цене, так как мать Бэкдыль сказала ему о славе сына, да и весь базар уже знал об этой славе и о подарках халифа. Кроме того, старуха торговалась яростно и выпустила столько слов, сколько торговец не слышал за всю свою жизнь. Рабыня была широкобедренна, точно раковина, разговорчива и сыпала слова, словно рис из мешка. Она умела ткать, и по ее бедрам мать Бэкдыль заключила, что часы с нею будут приятны и просты, ибо она плодоносна.

Мать Бэкдыль купила также рабыню именем Гахара. Она была родом из Греции, с архипелага. Ее привезли с трудом, она была еще совсем не укрощена и не понимала Багдада и его прелестей. Сильная, рослая, она при наслаждениях, видно, наливается кровью, как петуший гребень, и ты испытываешь радость, словно трубящий рог! И эту рабыню мать Бэкдыль приобрела дешево и радовалась своей покупке.

Мать привела рабынь в дом и сказала Даждье:
— Вот тебе няня для ребенка, и вот тебе другая для помощи. Они будут подчиняться тебе.
Даждья, побледнев, спросила:
— Но будут ли они подчиняться мне во всем, что я потребую?
— Да. Так указано пророком,— сказала мать Бэкдыль.— Ты будешь старшая.
— Старшая среди жен?
— Да, старшая среди жен.
Даждья сказала:
— А если я прикажу им покинуть мой дом?
— Ты поступишь, милая, глупо и против Закона.
— А если этого пожелает мой муж?
— Твой муж не может пожелать этого. Он — правоверный,— сказала гордо мать Бэкдыль.— Как ему идти против велений пророка, который приказал всем оружием умножать род правоверных, а эти женщины — наиболее доступное и приятное оружие!
Тогда Даждья сказала:
— Мать! Была ли я тебе послушна?
— Ты всегда была мне послушна, милая, иначе зачем же мне покупать тебе это облегчение?
— Мать! Ты думаешь, эти девки для меня облегчение?
— Разумеется. Они будут облегчать твою работу. В конце концов опасаюсь, что мой сын чересчур страстен и он утомляет тебя.
— Мать! Помоги мне! Отпусти этих женщин.
— Нет, я не могу их отпустить.
— Тогда их отпустит Махмуд!
Даждья ушла в темную мастерскую, села возле горна и стала глядеть на ворота глазами более сухими, чем пыль на этих поникших мехах. Она чувствовала себя пустой, пыльной, одинокой и старой. Ребенок просил груди, она накормила его, но сердце ее не смягчилось. Ей хотелось домой, но она чувствовала, что дом ее, и Днепр ее, и Киев ее так далеки!..
Однако они были близки.
Халиф пригласил к своему столу сенатора Аполлоса, предложил ему чашу душистого вина и сказал:
— Я думаю вот весь пир и никак не могу придумать, что бы такое поднести в подарок другу моему, императору Константину? Что он любит?

Сенатор ответил:

— Император доволен всем... у него... все есть...

Халиф с наивным лицом ребенка сказал:

— Да, да! Я и забыл. Ему во всем помогает эдесская святыня! Я слышал, она очень помогла ему в борьбе с русским князем Игорем?

— Посланная тобой, о халиф... эдесская святыня... свершила множество чудес...— медленно ответил сенатор. — Что больше всего... любит император?.. Он любит справедливость.

— Мы все любим справедливость,— сказал халиф.— Но какого цвета он любит справедливость?

— Например... он любит освобождать... пленных...

— Я вернул всех византийских пленных. Осталось несколько полудохлых стариков, я прикажу их собрать.

— О халиф! Византийцы слышали, что в Багдаде находится пленная русская княжна Даждья, дочь Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки.

— О, чудо! — воскликнул насмешливо халиф.— Эдесская святыня заметно изменила византийские нравы. Насколько мне известно, византийцы презирают женщину, считая ее скопищем зла, сосудом язв. Это мы, арабы, относимся к женщине с уважением, если она не рабыня, разумеется. Что случилось?

Уязвленный Аполлос сидел неподвижно. Еле шевеля губами, он ответил:

— Императору было видение.

— Я и говорю: эдесская святыня!

И, считая, что он достаточно отплатил за ядовитый намек в виде трех золотых чаш с хрустальными фигурками зверей внутри, халиф наполнил послу чашу и, вытерев платком губы, замолчал. Он ждал, что скажет посол. Посол тоже молчал. Тогда халиф сказал:

— Княжна Даждья будет сегодня же у тебя.

И он уставил в лицо посла тусклый взгляд своих глаз. Он ждал, что посол передаст сейчас самое главное — разрешение Багдаду торговать с Европой. Какие условия? Все равно. Можно найти еще десяток святынь, подобных эдесской, но лишь бы торговать. Войны редко бывают выгодны для государства. Но еще более невыгодно подчиняться насилию.

И халиф решился высказать свою мысль.

— Подарки друга моего, императора Константина,— сказал он,— весьма прекрасны. Но, к сожалению, не хватает одного.

Посол молчал.

— Нам бы хотелось,— продолжал с раздражением халиф,— чтобы Средиземное море, лужа в великих владениях друга моего, было очищено от пиратов, мешающих нашим кораблям ходить в Европу. Мы просим друга нашего императора поднести нам этот подарок.

— Я передам императору... желание халифа, о могучий правитель!

«И все? — спросил глазами халиф.

Лицо посла было, как всегда, неподвижно, лишь огромные его глаза подернулись влагой волнения: он ощущал грозу, но не мог остановить ее. «И все»,— ответили глаза посла.

Халиф встал.

Все поднялись.

— Продолжайте, продолжайте пир,— ласково сказал халиф.— Я хотя и молодожен, но все же стар, а вы молоды.

Все время пира Махмуд ждал, когда подойдет надлежащая пора и он прочтет то, что ему чрезвычайно хотелось теперь прочесть: о предстоящей битве с византийцами. Поэтому, чтоб не мешать дыханию, он едва касался пищи. Сидящий рядом кади Ахмет, бормоча, что это, быть может, единственный случай, когда можно поесть вволю придворных блюд, не понеся за это наказания, ибо придворный хлеб горек, набросился на еду. Пища действовала усыпляюще на обремененные длинной церемонией желудки. Кто-то дремал, а кто-то в полудремоте напевал.

Халиф шел через пирующих с непроницаемым лицом. Взор его на мгновение остановился на Махмуде и, словно процедив его, прошел дальше. Он забыл о поэте. Но вот халиф услышал полудремотное бормотание песни. Кто-то пел: «Я приду к Тебе!» Халиф, чуть скривив серые выпяченные губы, тихо, чтобы не беспокоить остальных, сказал с омерзением визирю:

— Отправить его на базарную площадь и дать пятьдесят палок. И пусть он под палками поет: «Я приду к Тебе!» Наказать также и того, кто составил эту песню. Мне нужны другие песни.

XXXIX

— Дорогу несравненному поэту Махмуду иль-Каман! — кричали его поклонники, и все на улице расступались.

И Махмуд проезжал по улице на своем вороном коне в ало-синем индийском одеянии с расшитым золотом широким поясом. Он представлял себе, что будет, когда его любовь увидит это одеяние и эту свиту и услышит эти крики. Он спрыгивал мысленно с коня, целовал ее,— и все же он не торопился ехать, дабы не показать, что он ослеплен славой, а разумен и спокоен, ибо счастье людей зависит от аллаха.

Сопровождаемый толпой поклонников и уличных ротозеев, он въехал в услужливо распахнутые новыми друзьями ворота и придержал коня, дабы еще раз услышать возгласы:

— Слава несравненному поэту! Урагану слова — слава!

И он сказал, почтительно поклонившись матери:

— Сыта ли ты, о мать? Получила ли ты подарки?

— Я получила подарки,— ответила мать,— и я сыта. Но хорошо ли накормили тебя во дворце, иначе я прикажу изготовить для тебя обед. Тебя накормят рабыни,— произнесла она с гордостью.

— Какие рабыни?

Мать Бэкдыль ответила:

— Я купила двух рабынь. Пойди посмотри их.

И она указала на двух рабынь, которые вышли на шум, также на топот копыт коня своего нового повелителя. Спускался уже вечер, и мать взяла масляную лампу, чтобы получше осветить их лица. Одна рабыня была яркого, не золотистого, а светло-алого цвета зари, так она рдела перед новым господином. Он узнал сразу родину этой женщины.

— Да, она с архипелага,— подтвердила мать.

И чтобы доставить удовольствие заботливой матери, он благосклонно поглядел на другую женщину. От волнения она была желто-оранжева, как лимон.

— Я таких не видывал,— сказал он с удивлением.

Мать объяснила:

— Она из Афганистана, есть такая гористая и варварская страна. Ну что же, ты одобряешь мою покупку?

— Она хороша,— ответил он.

И он услышал неистово срывающийся голос из мастерской:

— Ты говоришь — хороша, Махмуд?

— Горлица!..

— Горлица смерти, Махмуд!

Удивительные люди эти женщины! Что он мог сказать матери? Не мог же он сказать любимой и уважаемой матери, что ее покупка и не нужна и плоха! Во-первых, покупка хороша, а во-вторых, рабыни будут помогать матери. Мать должна отдохнуть, он часто отвлекал Даждью от хозяйственных дел, читая ей стихи, и старухе приходилось чистить дом и ухаживать за козами. А теперь появился еще конь, да и мало ли что еще появится... А ребенок? Как можно забыть о ребенке?!

Он вбежал в мастерскую и хотел обнять подругу. Она отклонилась от него резким и быстрым движением:

— Она купила двух женщин! Женщин?!

Возбужденный славой, он не вдумался в ее слова о женщинах и сказал:

— Тщеславие старухи простительно.

— Для тебя?!.

Он шлепнул ладонью по ее плавному плечу и, смеясь, сказал:

— Для меня вечное блаженство с одной.— И он прочел ей стихи, которые сочинил дорогой:

Мой нежный друг! Неужели ты забыла недавнюю любовь?
Неужели ты можешь спокойно и беззаботно спать?
Не я ли восклицаю тебе: проснись!
Проснись, моя прелестная роза, мой благоуханный цвет.
Проснись. Заря встает! Я пришел к Тебе!

— Убей их! — сказала она, приблизив к нему то самое наполненное страстью лицо и отуманенные глаза, которых ждал он.— Убей!

— Убить? Зачем?

— Зарежь их! — воскликнула она.— Они тебе куплены на любовь. Но ты их любить не должен.

И со снисходительностью мужчины, который не совсем понимает женщину, и почти наслаждаясь ее ревностью, он проговорил:

— За рабынь заплачены деньги. Надо их, раз ты желаешь того, продать.

Она сказала:

— Но они тебе куплены на любовь, а если куплены на любовь, честь не позволяет уже теперь продавать их! Так в моей стране не происходит. Их нужно уничтожить!

— Законы Багдада — иные.

И он оглянулся на Багдад, освещенный последними ярко-красными, самого густого цвета розы, лучами солнца. Мать Бэкдыль держала коня, который тяжело дышал, словно понимая смятенное состояние духа своего хозяина. Рабыня из Афганистана взяла у матери повод уздечки.

Он подошел вплотную к Даждье. Губы ее прыгали, обнажая два ряда мокрых и белых зубов. Он поцеловал ее, но поцелуй не был целительным. Она, оторвав от него губы и откинув стан, положила ему руки на плечи и сказала:

— Разве Закон твоей страны не принадлежит мне? А мой — тебе? Ты меня любишь? И ты умертвишь их?

— Я не понимаю, зачем мне умерщвлять их?

— Я — княжна. И неужели ты будешь спорить из-за каких-то рабынь ради любви княжны? Я — княжна страны Русь! А одна из этих — византийка, а другая — просто падаль.

— Это будет избиением беззащитных!

— Жертву моей стране, по ее Закону, ты считаешь избиением?

— У вас искаженное понятие о Законе! И мне понятно, что ваша княгиня Ольга переменила Закон. Уж лучше византийский, чем такое искажение...

— У меня искаженное понятие о Законе? — проговорила она с ужасом.— Моя любовь — искаженное понятие?

Руки ее скользнули, чуть коснувшись его лица, и она, быстро пройдя дворик, скрылась в доме. Послышалось качание колыбельки, заплакал было ребенок, а затем утих. Должно быть, она кормила его.

Он стоял, прислонившись к притолоке, ошеломленно раскрыв широкий рот. И вдруг он почувствовал во рту едкий и соленый вкус. Он провел ладонью по лицу. Это были слезы. Что произошло? Он, такой сговорчивый с ней, и она, такая сговорчивая с ним? Не оттого ли, что она кормит ребенка?.. Но он?..

— Мать,— сказал он тихо.— Что с нею? Что за странная пылкость. Она требует — зарежь двух невольниц!

— Я слышала,— ответила мать,— могут быть и глупые законы, но это самый глупый. Не надо ее поощрять.

— Она поссорилась с этими двумя?

— Бросив на них только один взгляд? — И мать добавила: — Мало ли что скажет влюбленная! Такие проворные и сытые рабыни,— и вдруг зарезать? Я их так долго выбирала,— и зарезать? Закон?! Много стоит страна с такими глупыми законами! Она сама выдумала этот злобный Закон! Нет, сын, нельзя поощрять ее к таким разорительным поступкам.

Он вошел в дом.

Хотел было подойти к дверям, за которыми подруга качала, по-видимому, ребенка, но не смог.

Поднявшись на крышу, он сделал вдоль нее несколько шагов, пересек ее раза три, а затем, склонившись через парапет, еще теплый от солнца, которое уже скрылось, крикнул вниз матери:

— Мать! Поди убеди ее, что моя любовь неизменна. У меня не находится приличных такому случаю слов! Я ее люблю! — повторил он громко, во весь свой гремящий голос.— А ей мало!..

Снизу, от дверей, донесся голос Даждьи:

— Любовь должна быть деятельной. Докажи! Убей их. Я хочу поцеловать нож, покрытый их кровью! Вот он, последний из ножей, над которым мы работали вместе. На нем орнамент из роз и три лепестка на лезвии. Видишь? Возьми этот нож и убей!

— Никогда.

— Никогда?

— Иди сюда, Даждья,— позвал он тихо.

Ему ответил стон.

— Мать! Почему она молчит?

На крышу вбежала мать. Привыкшая подниматься по лестнице, она на этот раз запыхалась.

— Я нашла ее лежащей ничком! — крикнула мать. — Я так плотно ее кормила! Я так радовалась этой покупке!

XL

Попировали славно! Кади Ахмет, отягощенный вином, хорошим поведением своего ученика и плохим — Джелладина, садился на мула, чтобы ехать домой и рассказать там подробно о пире. К нему подошел евнух

и сказал, что визирь повелел кади немедленно явиться к нему.

— Не находит ли визирь, что несколько поздновато нам видеться? — спросил кади.

Евнух ответил, что визирь не находит этого, и кади повиновался.

Путь от дворца халифа до дворца визиря — короткий. Однако кади, услаждая и свой путь, и путь евнуха, успел поделиться с ним своими воспоминаниями о константинопольских банях и массаже. А какое сладкое миндальное тесто и как оно приятно после бани!.. А женщины, тело которых белей и слаще миндального теста!.. Багдад, конечно, лучше, но когда у вас жена и полнолуние... Кстати, сегодня будет, кажется, полная луна?..

Визирь сказал кади:

— Мы с тобой не успели потолковать о Константинополе. Я был очень занят, прости, а теперь вот освободился вечер, и я призвал тебя. Ты не устал?

Кади, улыбаясь, ответил, что разве он может устать на пиру, но вот не устал ли ты, о визирь?

Визирь сказал, что не устал, к тому же беседа будет коротка. Он приказал подать кофе, а затем спросил:

— Что же ты нашел полезного для нас в Константинополе?

Кади, захлебываясь от восторга, сказал:

— О визирь! Я открыл великую тайну.

— Вот как?

— Я узнал поразительную вещь, и совершенно случайно!

— Тем более поразительно. Горю нетерпением узнать ее.

— И ты узнаешь, о визирь! Слушай. Мне понадобилось починить одежду. Смотрю — шьют с чудовищной быстротой. Почему? А потому, что у нас — кожаные наперстки, а византийцы делают их железными. Железными, о визирь! Железными! Вот что нужно сообщить всем, и мы будем все одеты, обуты, и не будет тогда нищих, босых, оборванных. И ради интересов государства...

— А не лучше ли тебе поискусней судить интересы базара и не думать о государстве? — зловеще спросил визирь.

Кади побледнел и замолчал.

— Мне думается,— сказал визирь,— вы немногому научились, сопровождая эдесскую святыню.— И, помолчав, он спросил:— Кто составил песню «Я приду к Тебе»? Песню о ноже, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие — тремя полураспустившимися лепестками?

— Такие ножи делал оружейник Махмуд.

— А такие песни кто делал? Я знаю о ножах, а я спрашиваю тебя о песнях. Молчишь?

— Но, всемилостивейший, он не пишет таких песен!

— Какие же песни он пишет?

— Я предлагал тебе, всемилостивейший, выслушать его.

— Он сегодня мог их прочесть и не прочел. Почему? Быть может, ему не хотелось тревожить византийцев? Быть может, это византийцы покупали у него кривые ножи и платили чистым золотом, вес за вес?

«О Джелладин! — подумал кади.— Узнаю твой язык».

Визирь продолжал:

— Не скажешь ли ты мне, откуда стало известно византийцам, что русская княжна Даждья находится в Багдаде? Халиф, да будет прославлено имя его, очень интересуется этим. Мы ведь могли перепродать княжну в Вавилон или Индию, а византийцы упорно утверждают, что она в Багдаде! И почему они ее требуют? Не требуют ли ее, в свою очередь, у византийцев — русские? Ты не находишь?

— Возможно, о всемилостивейший,— пролепетал кади, вытирая мокрый лоб.

— Я тоже нахожу, что возможно. Но откуда русские могли узнать, что княжна именно в Багдаде?

— Ума не приложу, всемилостивейший!

— А не находишь ли ты, кади, что начальник вашего конвоя Махмуд побеседовал на эту тему с русскими купцами?

— Он виделся с ними один раз, всемилостивейший. Он боролся с их богатырем, и он не понимает их языка!

— Ты уверен в этом, кади?

— Я знаю это, о всемилостивейший!

И кади подумал: «Звезда Закона, Джелладин, узнаю твои шаги! Ты был здесь».

Вошел плечистый, с громадным черным зевом, человек. Кади вначале подумал, что несут кофе. Плечистый нес мешок. Поклонившись визирю и не обращая внимания на кади, плечистый, скривив свой черный зев, опустил мешок на ковер у ног визиря. В мешке что-то перекатывалось, точно камень по сухому песку.

— Раскрой,— сказал визирь.

Плечистый человек раскрыл мешок. Визирь наклонился и, с интересом пошарив рукой в мешке, достал оттуда голову эмира Эдессы. С головы сыпалась окрашенная розовым соль. Визирь вглядывался, видимо надеясь увидеть страх в лице эмира. Но губы эмира были сжаты и глаза не отпускали век.

Визирь спросил:

— Не находишь ли ты, кади, что отрубленная голова всегда кажется короткой? А у этого эмира была длинная голова и еще более длинный язык.

И кади подумал еще: «О Джелладин, о проклятый язык проклятого Закона! Будь же и ты проклят».

И кади сказал:

— Я всегда в восхищении от твоего остроумия, о визирь!

Визирь продолжал, указывая на плечистого, с ртом длинным и грязным, как канава:

— Я дал ему свой любимый нож с орнаментом из семи роз и тремя лепестками на лезвии. Нож этот он употребляет вместо моей печати, исполняя мои приказания, которые есть приказания халифа.— Он взял пергамент и, глядя в него, сказал:— Итак, разыскивается в Багдаде русская княжна Даждья, дочь князя Буйсвета, сестра витязей Сплавида и Гонки. Ты знаешь, кому и когда продаются рабыни, ты ведь базарный судья. Ты помнишь также, что мы неоднократно издавали приказы — обращаться с рабами милостиво. Но наши приказы не исполняются. Возможно, что не исполнен приказ и в отношении рабыни Даждьи. Быть может, ее нет в живых, кто знает? Или, вернее сказать, знает один Махмуд, ха-ха-ха! В таком случае,— я говорю о неисполнении нашего приказа,— человек, не исполнивший его, будет строго наказан. Его голову мы вынуждены будем положить в этот мешок с солью и выдать мешок и голову византийцам. Что поделаешь. Таковы законы дружбы. Халиф обещал выдать

княжну. Труп ее выроешь и также передашь византийцам.

И визирь толкнул ногой мешок с солью, из которого была только что вынута голова эмира Эдессы.

— Голову эмира положи в новый мешок,— сказал визирь, — а с этим мешком поедешь вслед за кади Ахметом, куда он укажет. Так повелел халиф...

Кади низко поклонился и сказал торопливо:

— Да будет прославлено имя его! — Затем он добавил: — Мне не нужен мешок, о визирь. А того менее нужен человек с ножом. Даждья жива и через час, не позже, будет у тебя.

— Все-таки человека с ножом возьми. Вдруг окажется, что женщина привыкла, не захочет уйти или ее не будут отдавать?

— Она будет здесь, о визирь! Человек, у которого она находится, хотя и любит ее, но халифа любит больше.

— Кади, ты плохо выбираешь слова. Любовь к рабыне ты осмеливаешься сравнивать с любовью к халифу!

— О, прости меня, визирь! Ум мой ослабел от забот.

— Вот поэтому я и думаю, что человек с ножом будет полезен тебе. Идите. Комнатный воздух ранней весной несколько расслабляет меня, я пойду отдохнуть, кади.

XLI

Влезая на своего гнедого мула, кади Ахмет пробормотал то, что висело у него на языке во время всего разговора с визирем, но что, разумеется, он не осмелился бы сказать визирю никогда, разве лишь увидав голову его в соленом мешке:

— У нас так торопливо снимают головы, точно нет других твердых предметов для мощения багдадских улиц.

И кади испуганно оглянулся. Плечистый человек сопровождал его на коне в почтительном отдалении.

Кади размышлял и не торопил своего мула. Да и что он скажет другу своему Махмуду? Одно лишь — что плохо помогла эдесская святыня и византийцам и арабам, и если произошло чудо, то плохое! Возлюбленную придется отдать. Жаль. Она превосходно сложена и высокого рода. Ну что ж. Поэты быстро забывают своих

возлюбленных, это ведь не стихи. Кстати, о стихах. Это происшествие даст ему повод написать хорошее стихотворение, а быть может, и поэму.

— В конце концов Багдад имеет свои преимущества,— бормотал кади, утешая себя.— Для меня, во всяком случае. Я судья и сужу дураков, и это умилительно, даже и тогда, когда меня четвертуют за то, что я их судил плохо. Затем, я вернулся из опасного пути в Константинополь, где пил хорошее вино, и, кажется, отделался довольно легко. В Багдаде я и величествен, и немножко смешон. В Константинополе я был только величественным. И, наконец,— я забыл? — здесь моя жена, которая мешает мне быть и окончательно величественным, и окончательно смешным. Что мне еще нужно?

И он вздохнул. Ему хотелось, чтоб Махмуд был счастлив. Но только один аллах, если это вообще возможно, знает, сытый человеческими путями, куда и к какому счастью их направить. А что он может сделать, он, слабый кади?

Путь его лежал через базар. Базар шумел. Кади проехал уже половину базара и увидел вдали кофейню, в которой хотел угостить Махмуда яблочным пирожным. Ему стало тяжело, и он повернул мула.

— Самый короткий путь,— сказал он,— не всегда самый удачный.

И он поехал окольной дорогой, которая проходила мимо тайного кабачка. Он оставил плечистого сторожить своего мула и долго пил вино, наслаждаясь, что палач сидит без вина и что его черная пасть суха.

Затем он сказал содержателю притона:

— Я пивал и лучшее вино, а это ты разбавляешь водой, и, собственно, тебя б надо судить, но я устал от правосудия Багдада.

Но все же он вылил остатки вина в свою тыквенную баклажку.

И кади опять направился к базару.

Светила полная луна, и лавки были, за исключением отдельных кофеен, закрыты. Шныряли зубастые собаки. Он вспомнил свой рассказ о пророке Иссе и о красоте дохлой собаки, когда-то рассказанный им Махмуду, и кади снова загрустил. Вино не помогало. Вот он, друг Махмуда, собака, которой бы охранять его покой, едет, чтобы оторвать друга от теплого стана возлюбленной,

от ее ослепительной груди, похожей на две луны в облаках тела, которой тот касается сейчас всем лицом, как мул кади касается земли всеми копытами. О ты, судья! Что ты везешь? Кого ты судишь? Ты гибелью, как плитами, хочешь выстлать полы жизни твоего друга.

Такие размышления были чересчур отяготительны. Душа его болела. Он счел благовременным стегнуть своего мула. Мул, однако, не спешил и не прибавил шагу. И кади Ахмет позавидовал своему мулу.

— Страдания животных многочисленны,— сказал кади Ахмет,— но неоспоримое преимущество их в том, что животные не знают грязного коварства Закона и среди них не бывает Джелладинов.

Наконец он подъехал к домику Махмуда и постучал в ворота своего друга тыквенной бутылкой, отполированной до блеска долгим употреблением.

Обнимая мертвую Даждью, Махмуд стоял перед ней на коленях. Лицо ее было повернуто к луне, деятельно льющей свой свет и медленно подвигающейся по грузному весеннему небу. Он целовал горло жены, желая остановить поцелуями кровь, которая текла теперь так же медленно, как луна, и лицо его, и молодая курчавая борода его были темны от крови.

— Мать, — сказал он, — стучится друг. Отвори. Так он всегда стучал в Константинополе, когда мы привезли туда эдесскую святыню.

Мать Бэкдыль, желая утешить его, кричала первые попавшиеся слова. Она кричала, что любовь тем и хороша, что быстро проходит. И она кричала, что остался ребенок, и кто теперь будет кормить его. И она кричала, что вот стоят возле две сильные и вполне доступные девушки и не помогают горю. И она подскочила к рабыням:

— Что же вы молчите? Когда не нужно, вы многословны? Что вы растянули рты?

И так как те действительно растянули рты в улыбке, ибо они слышали, что старшая жена требовала их смерти, и они испугались, то мать Бэкдыль с громкой и подходящей к случаю бранью ударила их по широким твердым щекам.

И тогда соседи, прислушивающиеся к воплям, сказали, что у матери Махмуда иль-Каман, госпожи Бэкдыль, крутой характер.

Махмуд же повторил:

— Мать, открой. Мне нужен друг, и он стучится.

Въехал на своем гнедом муле кади Ахмет.

Он сказал:

— Где твоя горлица?

— Вот моя горлица,— ответил Махмуд, и он возопил: — Она впустила себе в дыхательное горло мой кривой нож!

И он опять упал перед ней на колени и схватил ее мизинец своим указательным пальцем, так, как делал когда-то, в начале их любви. Мизинец был холоден и тверд, как гвоздь, и словно холодный гвоздь вошел в его сердце.

Кади спросил, так как не знал, что спросить иное:

— Это — Даждья, дочь Буйсвета?

— Это была Даждья,— ответил, не поднимая головы, Махмуд.

И опять, не зная, что сказать, сказал кади:

— Это умерло твое счастье, Махмуд.

— Да, ты прав, друг,— ответил Махмуд.

И так как он видел тень за спиною кади и думал, что это Джелладин, Махмуд поднял голову. Незнакомый плечистый человек раскрывал мешок, где при свете луны синевато поблескивала крупная соль. За поясом его Махмуд увидел кривой нож, и он, знающий свою работу, узнал нож, который он преподнес визирю. Он не удивился. Визирь волен дарить ножи кому хочет. Но Махмуд желал узнать, зачем здесь этот плечистый, с широким, как канава, ртом.

И Махмуд спросил:

— Кто это?

Плечистый человек сказал, вынимая нож:

— Подойди сюда и наклони голову. Спеши.

XLII

Так жил и умер поэт.

Он жил и умер в блистательном Багдаде во времена халифа ал-Муттаки-Биллахи, да будет прославлено имя его!

Он умер, но он и жил.

Когда началась великая война с византийцами, его воинственные песни воскресли и, словно сверкающий меч, встали над Багдадом и ринулись в самую

гущу боя! И говорят, что мертвая голова поэта, которая, вместе с трупом Даждьи, увезена была нечестивыми византийцами в Константинополь, встала над бегущими в страхе врагами, и голову эту держал в руках призрак синеглазой, светловолосой Даждьи. И смеялась, торжествуя, голова, и смеялся прижимавший ее к своей груди призрак!

Таков конец романа о поэте Махмуде, об его друзьях и врагах и об эдесской святыне. Не будем судить ни его, ни друзей, ни подруги, ни визиря, ни халифа. С тех времен прошло тысяча лет, и имена их давно забыты. Забыты и песни Махмуда иль-Каман, и только иногда молодой араб, укрываясь от жгучего ветра пустыни за холмом, в своем рваном коричневом шатре, споет песню о возлюбленной, которую он еще не знает, и в песне этой упомянет о судьбе, кривой, как нож, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие тремя лепестками. Араб поет, но кем и когда написана песня, он не знает. Да и нужно ли ему знать?

11 сентября 1946 года,
Рижское взморье

ВУЛКАН

РОМАН

«...и за всего мира безумное молчание, еже о истине к царю не смеюще глаголати, о неповинных погибели, омрачи Господь небо облаки, и толико дождь пролися, яко вси человецы в ужасть впадоша».

«Сказания Авраамия Палицына». 1620

«Господи, господи, — думал я, — есть же такие вулканические темпераменты! Господи! — продолжал я, — не дай этой Этне изныть в тоске одиночества; но пошли ей, чего она жаждет с такой неслыханной энергией!» Надеюсь, что моя бескорыстная мольба будет услышана».

«Письма И. С. Тургенева». 1851 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Незнакомец,— чем-то, впрочем, и знакомый,— вошедший в купе при пересадке из Джанкоя на Феодосию, был не по росту широк в плечах, с мощно развитыми руками, особенно — пальцами. Решительно, это руки творца! Жадные, с прозрачными и в то же время огнистыми ногтями, пальцы двигались вольно и страстно. Например, он брал щепоточку табака, чтоб набить трубку,— и щепоточка в его пальцах немедленно превращалась в какую-то фигурку, скажем, в голову матроса, сидящего рядом с ней на скамейке. Да, все неясное, попав в эти пальцы, превращалось в очевидное! И все-таки Евдоша не могла вспомнить — где она его видела?

Легкая и гибкая усмешка мелькала на его губах, умных и узких. И, несмотря на ясно ощутимое господство силы и разума, в движениях его чувствовалась какая-то усталость. «Да и не мудрено. Лет ему — под пятьдесят, пережито, поди, не мало, а сделано? Таких людей, несмотря на их видимую подвижность, часто на-

зывают «сиднями». А сынок,— лет десяти, не больше,— обворожительный. Папаша, наверное, изъездил полмира, сынок же — впервые в Крым, а где мамаша? Фиолетовый костюмчик мил, но давно не чищен и с прорехами».

Евдоша, тщетно переводя глаза с отца на сына, досадовала. Тонкий прибор ее памяти работал всегда отлично. Стоило пожелать, и воспоминание во всем блеске своем освещало ее мозг, как молния. А тут будто кто ил поднял со дна в прозрачном ручье! Память отказала. Гром предшествовал молнии.

Незнакомец, не спеша набив трубку и вынув спички, остановился в дверях и спросил вполоборота:

— Вы, кажется, Евдоша?

Она вспыхнула, почти обомлев от негодования. Глаза ее заблестели, и она, как говорится, отчеканила:

— Евдошей, к вашему сведению, меня зовут самые мне близкие. Я давно вышла из школьного возраста, чтобы отзываться на кличку!

— А если б незнакомые пожелали приблизиться?

Она хотела опять оборвать его.

Он, однако, слегка покраснев, пробормотал, не притворяясь, а действительно испытывая смущение:

— Приблизиться — не в пошлом смысле. Вас считают,— я от многих слышал,— за талантливого, умного и, что, может быть, важнее всего, проницательного архитектора. Впрочем, проницательность среди женщин встречается чаще, чем думают. И особенно среди тех, кто занимается искусством.

«Великое дело лесть». Негодование схлынуло. И она тотчас вспомнила. «Ну, да! Это же — Захарий Гармаш». И то, что она его сразу не узнала, на мгновение сделало его жалким. «Весь в прошлом, остались только одни манеры премьера». Еще недавно, споря с мужем, как обычно, о новейшей архитектуре,— и в особенности о том, нужно ли форсировать ее развитие,— и решив про себя составить и послать в ЦК ВКП(б) докладную записку,— очень гордясь этим своим решением,— она вспомнила и Гармаша, и его талантливую ученицу, на которой он женился лет семь-восемь тому назад. Нельзя предаваться безумному молчанию — эти слова часто употребляла ее мать, не зная, откуда они у нее взялись, да и сама Евдоша не знала,— нельзя молчать, надо писать наверх то, что думаем и говорим об искус-

стве, о всех своих болях, писать одному, двум, десятерым! И в данном случае писать докладную записку не только архитекторам, но и живописцам. Тогда она говорила мужу: «Гармаш, поди, объяснил жене, что такое новейшее советское искусство. Он сам был его премьером». Был! Не совсем приятно звучало это слово. Но ведь Евдоша и не считала Гармаша одним из бессмертных. Приятно то, что он хоть в прошлом-то искал, а не подражал — ни своим современникам, ни классикам.

Да, когда-то Захарий (именно — Захарий, а не Захар) Гармаш слыл премьером живописи, одним из тех, кто, беседуя в обществе о современном искусстве, бранил его неслыханно, площадно, хваля только своих соратников, причем хваля «купно и согласно», что не мешало, впрочем, и самим этим соратникам ругать друг друга бездарностями, жеманниками, кокетами и франтами. При звуке дерзостного и хвастливого голоса Гармаша московские гостиные преображались. Все, казалось, жаждали чести, чтоб их честило новое искусство. И оно, будьте покойны, умело честить! Гармаша в купеческих особняках Москвы по старинке называли абреком и башибузуком, но там таких уважали: известно, что и сама русская коммерция строилась не без абрекства и башибузукства.

Поговаривали, что у него произошло два-три пылких романа в этих салонах с мебелью «модерн» и часами в два человеческих роста, чей степенный и суровый ход Гармаш называл «сорго». Он пояснял, что звук этих часов вроде зерен сорго, крупнейшего злака, похожего на просо,— и в две сажени высотой! «Зерна сорго суть зерна всемирной мутации, ибо и рожь в результате эволюции будет величиной с сорго, чем все голодающие и насытятся». Ему внимали с трепетом. Пример, как известно, поясняет утверждение. Однако Венера — богиня любви и романов — часто отворачивалась от него. Купеческие молодцы на Ордынке как-то избили его до полусмерти, и он едва не потерял левый глаз. После избиения он иронически говорил: «16 августа 1916 года буржуазия хотела вставить мне вместо глаза иллюминатор. Она потеряла вождя армии — меня из-за этого не взяли на фронт. А уж кто-кто, а я, приложив свою теорию искусства к законам войны, разбил бы в пух и прах немцев!»

Он не окривел, но был близок к тому: слегка косил, что, впрочем, придавало ему значительность.

Хозяин молодцов, избивших Гармаша, чтоб показать, что он не имеет никакого отношения к их выходке в духе Островского, пожелал купить — и за солидные деньги — картину «Город в проскомидию»: нечто из кубов, плоскостей, алое, резкое и по-своему красноречивое. Гармаш, несомненно, был талантлив. Купца особенно прельщала сорока, написанная совершенно в реалистической манере — на раме картины. «При чем тут — сорока?» Гармаш отвечал, что это напоминание о сорока мучениках новейшего искусства, в ряду которых он — первый. Память их народы будут справлять 9 марта, ежегодно. Поэтому-то он и просит за картину дорого.

В конце концов они бы, вероятно, сторговались, но именно тогда приспело время бежать и купцу, покровителю новейшей живописи, и всей крупной российской буржуазии в Лондон и Париж, а Гармашу — расписывать «Чайную поэтов», что он и сделал, кстати сказать, превосходно. Затем он преподавал во Вхутемасе, откуда попал в рабочий клуб возле Симонова монастыря, — вести кружок живописи. Дни Гармаша,— то есть дни его живописных дерзаний,— отцветали. Ему казалось, что он и его друзья пробили натурализму голову, а натурализм только опустил ее. Теперь на алтаре своем он возжигал дикирий, двусвечник, символ двойного единства служения мамоне и пафосу.

Иные — Евдоша в том числе — называли переход Гармаша от «кубо-сорванизма», от эпохи «сорока сорок», к неонатурализму дорогой, освещенной светом «дикириев». На рыночных весах нельзя взвешивать лекарства. Я лично не объяснил бы так грубо и низко то, что произошло с Гармашом. Но я не живописец и поэтому, быть может, сужу слишком снисходительно. Я верю Гармашу, который говорил: «Поработав в кружке, я понял — какой там им кубо-сорванизм или сорок сорок! Им и передвижников-то надо разъяснять. И так как жертвенность у меня в крови, я отрекаюсь от своего прошлого и взваливаю на себя валун реализма, чтоб очистить поле искусства для рабочего класса и беднейшего крестьянства. Портреты ударников? Да, портреты. Натюрморты сытой жизни, которая существует пока лишь на картинах, — пожалуйста! Парады? Я буду писать и парады». Но декларации декларациями, а «свои»

своими — в «свои» он не попал. «Хотел быть Перовым — летело из меня только перо, хотел быть Репиным — питался репкой, да и то не всегда».

А жаль! Ведь человек этот был некогда тигром. Да, Захарий Гармаш принадлежал к числу тех замоскворецких тигров искусства, отдаленные потомки которых, давно превратившись в ласковых кошек, мирно доживают дни свои в Лаврушинском переулке,— гидами, перепродавцами, консультантами, рецензентами и изредка ораторами на юбилеях, где к важничанью их молодежь относится с ухмылкой. Что поделаешь? Ирригация, чтоб сделать поля тучными, корчует не только старые пни, но и сильные деревья.

«Неправда! Надо держаться,— продолжала думать Евдоша.— Не только пальмовыми ветвями будут тебя опахивать и кричать: «осанна!» Раз художник ты, и му́ку прими. И не беги ее. И не трусь! И не вали на обстоятельства!» Эти мысли Евдоши требуют внимания: мы еще вернемся к ним.

Семейная жизнь Гармаша, кажется, сложилась хорошо, хотя он был старше жены своей лет на двадцать, не меньше. Картины Виталии Кудрявцевой пользовались большим успехом: написанные в манере русских лубков и Кустодиева,— пожалуй, чуть левее,— они охотно покупались музеями и Домами культуры. Впрочем, после борьбы с формализмом в ее пленительных русских пейзажах и певучих радужных крестьянах тоже обнаружили «формалистические тенденции», тоже отнесли к безродному,— позднее его назвали «космополитическим»,— искусству. «Почему жена не с ним? Работа?»

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Как твое имя, мальчик?

— Обыкновенный Федор, — ответил ребенок и, ища глазами море, спросил: — Папа, а море мокрее реки? Есть по чему шлепать? Луж там много?

«Нет, ему десяти еще нет!» — думала Евдоша, не замечая, что мысли ее все время возвращаются к Гармашу, хотя ей этого и не хотелось. Теперь ей казалось, что и заговорил-то он с нею для того, чтоб отвлечься от лютых и черных дум, мучающих его. Каковы же эти думы? Тоска по «левизне»? Не приняли и разбранили

картину? Отказали в выставке? Мало ли что... Она и сама не меньше его нуждается в забвении, а вот не пристает же к людям. К чему! Болтовня — не вагранка для переплавки терзаний!..

Гармашу нравилось светлое и беспечное выражение лица Евдоши. «Эта живет безмятежно и радостно»,— подумал он, совсем не подозревая, что ошибается. Чувствовал он себя «не важнец», и было приятно поболтать с молодой красивой женщиной. Измотали поезд, тряска, частые остановки, бесконечная сухая украинская равнина, мрачные запыленные хаты, над которыми, казалось, никогда не встает рассвет, однообразные станции, бедность, выдающая себя за богатство и, быть может, искренне этому верящая. «Кому, скажите на милость, нужна живопись, споры об искусстве, направления и даже гении? А, черт подери, — старость! Несомненно, подошла старость!» — думал он и говорил, говорил... Говорил со спокойной усмешкой, кивая одобрительно головой при удачных ответах Евдоши.

— Вы, кажется, дружите с архитектором Ферязевым? — спросил он.

Она ответила задумчиво:

— Мы вместе учились в институте. И еще — Фома, только тот не такой способный, а Ферязев — очень, очень, хотя ему никак не удается себя выявить, — в материале. Понимаете? Сделал несколько высокоталантливых проектов. Отвергли. Левак, говорят.— Она пожала плечами, и чудесное сострадание мелькнуло на ее лице.— Ему, знаете, пришлось поступить на службу не по специальности: снабженцем. Впрочем, Павел занимается и кинотехникой, способнейший, повторяю, человек. А что?

Гармаш перевел разговор на крымские пейзажи.

Когда он брал путевку, на столе мелькнул список отдыхающих. Ему показалось, что в списке стояла фамилия и архитектора Павла Ферязева, человека, с которым ему меньше всего хотелось бы встретиться,— и еще меньше в доме отдыха. Смешно в его возрасте, при его криках о новом человеке двадцатого века, о борьбе с предрассудками,— ревновать и ненавидеть, но у него есть много оснований думать, что именно он, Павел Ферязев, виновник его отвратительных подозрений, из-за которых он стыдился самого себя. Хотелось поработать в Коктебеле,— как он говаривал: «ароматно,

беспечно»,— а то приходи в столовую и косись: нет ли тут этой сволочи?

— Впервые в Коктебель? — торопливо спросил Гармаш.— Кто впервые, редко тому нравится. Иной сразу и уедет. Судите сами. Крымские горы кончаются здесь парадоксально: вулканом...

— Вулканом? — сказала она удивленно. — Никогда не слышала о вулканах в Крыму! Наверное, очень торжественно?

И она даже раскрыла рот: так потрясала ее возможность увидеть вулкан во всей его торжественности. Она притворялась. Ей, по правде сказать, не было никакого дела до вулкана. А что касается торжественности, то ей хотелось возможно скорее забыть жгучие споры о торжественности римской архитектуры. Ну ее!

Словно сквозь дремоту она слышала:

— И не совсем, собственно, вулкан. Остаток вулкана. Так сказать, каблук от вулкана: несколько базальтовых скал, две-три пропасти и прочая ерунда. Все остальное давно, миллионы лет назад, свалилось в Черное море. За обрывом гор — долина, довольно печальная и убогая, орошаемая пересыхающей речкой, а затем, вплоть до Феодосии, глинистые холмы, горки, бугры, виноградники, пашни, поселки. Сюда приезжал Поленов, он писал здесь пустыню.

Поленов казался Евдоше третьестепенным художником,— неужели же Гармаш принимает его всерьез?! — и она перебила:

— А вы-то, Захарий Саввич, вы что здесь написали?

— Пробовал писать на классический сюжет.

— И что же?

— Пока этюды. Венеру встречает Вулкан, бог мастеров и огня. Он утомлен: целый день ковал в кузнице, а затем долго ждал ее на берегу. Весь он в копоти, как и подобает кузнецу,— я писал его с колхозного кузнеца Степана,— на нем кожаный фартук, волосы схвачены ремешком, стрижен он в скобку. Венера — розовая, высокая, вся певучая, на полголовы выше Вулкана. Она ежится: с берега дует сухой ветер, щекочет ее, поднял ее золотые волосы, как корону. Море серое, как гуттаперча, и только пена, та самая пена, из которой она родилась, лежит вдоль берега, точно галун. Песок прибит прибоем и посеребрен. Холмы и горы выжжены солнцем, выжжены и мазанки, и дом поэта Волошина, каменный

его забор. Все серо, и все как-то томно усмехается. Вулкан явился с поясом, который сковал Венере в подарок. Пояс золотой, не широк, но такой изумительной работы, такой живой и радостный, что богине кажется — надев этот пояс, она будет вполне одетой. Боги дышат напряженно. У Венеры медлительный голос. Они оглядываются. Какие светло-серые безжизненные холмы вокруг, и только на одном из холмов — черное пятно, бык, крупный рогатый бык. Он стоит, опустив голову, и своими глазами кровяного красного цвета смотрит на богов: «Зачем они здесь? Кому они нужны? Людям давно надоели боги. Чистосердечно говоря, они сами давно считают себя богами, а то даже и несколько выше. Бык вполне согласен с ними. Быть может, он и прогонит богов в море?..»

Старый говорун ожил в Гармаше, он снова достал трубку, но опять не закурил, а, помахивая ею, продолжал:

— Впрочем, если вы любите море, его здесь много.

— Никогда не была у моря.

— Позвольте, а Ленинград?

— В Ленинград ездила только зимой.

— Вот как! Сколько ж вам лет? Двадцать пять? В двадцать пять лет впервые увидеть море, это, знаете,— сорить жизнью. Я вот вырос у моря, и у самого сказочного — Белого моря. Потом я пришел в Москву, именно — пришел, а не приехал. Подобно Ломоносову. Только я шел раз в десять дольше. Шел я с артелью плотников, зарабатывая на хлеб топором и пилой: где хату срубишь, где баньку. Явился в Художественную школу, не поверите, обóра, и та в нескольких местах была рваная...

— А что такое обора?

— Обора — бечевка для обматывания ноги от лаптя до колена.

— Крепкая?

Он засмеялся:

— Я ее удивить хочу, что пришел в Москву в лаптях, а она — крепка ли в лаптях веревочка! Отец у меня был рыбак... Когда я говорю — «старики в деревне», подразумеваю деда, ему около ста, да маму с тремя сестрами и шестью, мал мала меньше, племянниками. Отец был общительный мужик, откровенный, а смелее его по всему Поморью не было. Рыбаком, впрочем, он

числился отчасти. Его призвание — северного письма иконы. Ах, какая это была вешняя и вольная рука! Писал он иконы вдохновенно, широко, в точности по «подлиннику»,— и совсем не похоже. Казалось, он переговаривается с богом, и бог через его иконы сообщает людям некоторые свои качества. Так мне чудилось в детстве, да и поныне я думаю так же. Приготовлялся он к труду тщательнейше: доски брались тесаные, годами сушившиеся в чулане, о красках и говорить нечего. Затем он постился, исповедовался и во время труда молился в день трижды. Покупали же его боговдохновенные иконы плохо: великий талант его никто не понимал. Правда, приглашали на труд старообрядцы, но он их не жаловал. И семейные его не понимали, предпочитая «рыбный ход», в знании которого он тоже был велик. Он же шел в море, лишь когда уж очень нуждался. Икон его сохранилось мало, и у многих ценителей теперь покалывает в боку, когда они их видят. Умер он в гигантский шторм: его баркас потопило, ударив о подводную скалу. Тела не нашли. Предполагаю, боги его взяли к себе, раз уж настолько оказался ненужным людям.

— Вы верите в богов?

— Верю.

Молодой матрос с круглым и румяным, как апорт, лицом, почтительно слушавший художника, услышав его «верю», поднял голову, посмотрел с неудовольствием и, закусив губы, чтобы не плюнуть, вышел в коридор и стал там яростно курить. И чем только люди гордятся — читалось на его лице.

— Да, верю. Я не называю их имен, — из гордости, чтоб не чувствовать себя порабощенным ими. Но я верю, что должно существовать что-то огромное и великое, стоящее над природой, с которой я должен,— как гражданин своей страны,— бороться. С природой я борюсь, а высшему подчиняюсь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Евдоша сказала:

— Не нравится мне ваша философия. И тема картины вашей мне не нравится.

— Тогда, быть может, поговорим о музыке?

— Боюсь, мнение ваше о музыке мне тоже не понравится.

— Еще тему найдем. Чем, например, кончилось собрание в Клубе архитекторов?

— Там много собраний.

— О вопросах новейшей архитектуры?

— А, это! — сказала она равнодушно.— Я в тот день уезжала. Муж, наверное, был. Напишет.

Евдоша посмотрела на Гармаша внимательно: не потому, что он спросил о собрании,— мало ли их действительно бывает? — а потому, что упомянула о своем муже, как бы мысленно подчеркивая: зачем-де рассматривать меня, я вся наружу? Что же касается мужа, то я с ним действительно не поладила по творческим вопросам. Но расходиться не расходилась. И вообще, что за манера — чуть поссорились, и уже «самосожжение на костре»?

— «Анну Каренину» видели, Евдокия Ивановна?

И он бросил на нее пронзительный взгляд, но взгляд этот, при всей пронзительности своей, скользил как-то сбоку и обращен был не столько на нее, сколько на самого себя.

— Да, да,— не слыша вопроса, поспешно и с волнением ответила она.

Занятые не друг другом, а самими собою, они перебрасывались почти банальными словами. Но каждое из этих слов было как бы с апострофом, с внутренней паузой, полной смысла. Иногда Евдоша взглядывала в окно, от которого по-прежнему не отрывался пухлый и румяный Федор. Увидав наконец море и Феодосию, мальчик взвизгнул, яростно потеребил себе шею и стал развязывать вещевой мешок, где у него хранилась зеленая лопатка,— шанцевый инструмент времен гражданской войны, — на внутренней стороне лопаты он алой краской изобразил нечто извергающее пламень: надо полагать — вулкан.

Со стороны могло показаться, что ни Евдоша, ни Гармаш, ни его сынишка и не слышали, что в Европе уже год идет война, артиллерией и авиацией уничтожается цивилизация и величайшие древности человечества; бомбят Лондон; Париж занят немцами; итальянские войска идут через африканские пески, а в северных портах Африки недавно потоплен французский флот; многие города Европы обезлюдели — лежат в развалинах; люди голодают; и, наконец, что война может хлынуть, затопив его, и в Советский Союз.

Удивительно, что о войне молчали не только Евдоша или художник Гармаш, молчал о ней весь вагон, хотя набит он был плотно. Что это? Равнодушие, вялость души, отсутствие пыла?

Думали о войне, разумеется, все, но молчали...

Евдоша, например, про себя думала, что война не будет для нас так быстро победной, как можно вывести из толков, направляемых, по-видимому, устной официальной пропагандой. Немцы, думала Евдоша, упрутся в русские пространства и запутаются в них. Начнется длительная окопная война. Пойдут годы холода, голода, эпидемий. Мы — терпеливее и неистощимее немцев. А главное, как мы ни искажаем порой наши идеи, эти идеи выше, справедливее, благороднее фашистских идей, а вдохновленные великими идеями, даже плохо вооруженные люди в конце концов побеждают. Эти свои мысли Евдоша считала «нецензурными», поэтому она и предпочитала молчать о войне.

Гармаш, наоборот, считал, что мы, советские, молниеносно разгромим немцев. Когда-то, выступая в замоскворецких купеческих салонах, он туманно намекал на крушение старого мира. Позже он уверовал, что предсказал Октябрь, и потому был высокого мнения о своей политической дальновидности. Он думал, что с финнами мы «возились» долго намеренно, показывая себя слабыми, заманивая немцев в войну с собой, а также и оттого, что основное тайное вооружение наше берегли против немцев и японцев. Разгромив немцев, расстреляв Гитлера и всю его сволочь, мы возьмем в свои руки остальную Европу и начнем налаживать хорошие отношения с Америкой, пока не создадим мощнейший в мире флот (если он не создан: все ж кругом тайна!), а тогда пощупаем и Америку: чем она пахнет? Эти свои мысли Гармаш тоже считал «нецензурными», хотя и совершенно справедливыми, справедливыми по той простой причине, что если уж советским людям воевать, то надо побеждать!.. Но политика есть политика, дипломатия есть дипломатия, и профанам в этой области лучше всего молчать. Гармаш и молчал. Ему было жутко от этого своего молчания, он чувствовал, что молчание перерастает в какую-то политическую двусмысленность, что оно даже преступно, что разговор на эту тему облегчил бы его, но все вокруг него молчали, молчал и он.

— Встречал вас в клубишке архитекторов и даже осматривал созданный вами дом, что возле завода «Шарикоподшипник». Приятно, и все же — не в современном духе. Я хочу сказать — ничего от принятой сейчас на вооружение классики в нем нет. Диковина. В некотором роде — ископаемое. Дом, простите, и раздражает кое-кого.

— Раздражает?

— Ну, дразнит. Тех, простите, кто хочет Рим в архитектуре воссоздать,— проговорил он чуть слышно.

— Кого именно раздражает? — спросила она тоже шепотом.

— Папа, вокзал! — завопил мальчик, прерывая их разговор.

Городской агент дома отдыха, тощий грек с длинными волосами, склонив голову, сосчитал прибывших. «Все!» — промычал он важно и стал делать круги возле вокзала, ища попутчиков — автобус на две трети пуст, государство терпит убытки! Отдыхающие терпеливо ждали агента, наблюдая за длинной голубой тенью, что, подпрыгивая, гналась за ним.

Евдоша, прислонясь к стене вокзала, теплой и широкой, радостно смотрела на бульвар с незнакомыми деревьями; на улицу, статную, каменную, ясную, бездарную архитектурно, но житейски приятную; на благословенное море, огибающее бульвар. Курчавый Федор, с шумом бросив у ее ног чемодан, сорвал с себя толстое драповое пальто, в которое почему-то нарядил его отец, и подбежал к черной раковине радио.

— Папа! Немцы опять бомбят Лондон.

— Да, вкатывают,— пробормотал Гармаш, не пояснив: кто и кого вкатывает, вталкивает, кто и куда въезжает.

Автобус миновал предместья. Показались поля кукурузы,— словно множество громоотводов. Мелькнуло село с новыми черепичными крышами, полуразрушенная церковь. На перекрестке, там, где шоссе поворачивает на Симферополь, а коктебельцам пора и на проселок,— дорожное управление, уверенное, что путешественникам жалко расставаться с первоклассной магистралью, с черным и вонючим асфальтом, поставило среди степи зеленую беседку и несколько скамеек: «Любуйтесь напоследки!» Автобус, бездумно миновав эту наивную

выдумку провинциального честолюбия, мчался к поселку Коктебель.

Встретил ветер, мерный, крепкий, как бы говорящий стихами. Он утверждал, что постоянно бушует здесь у подножия скал, сдувая мысли, не относящиеся к морю, горячему песку, волнам и нежным камешкам.

— И отлично! И пусть будет так!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— И пусть будет так!

Евдоша проснулась. За стеклами шумел и посвистывал сияющий ветер.

Против окон крылато трепетали невысокие вершины сада, а над ними висела ликующая синева, которую она никогда не видывала и даже не мечтала увидеть! Евдоша босиком, в одной рубашке, подбежала и распахнула окно.

Усатое и пенистое море пело:

Я вижу собаку,
Собаку,
Собаку:
— Га-ув!..
Я вижу собаку...

— Га-ув! — повторила со смехом Евдоша.

— Евдокия Ивановна! — крикнул, пробегая по дорожке, Федя.— Сколько здесь щенков, ух!..

От третьеводняшней бесплодной московской сырости и раздражения не осталось и следа.

— Никакого и никогда не найдете следа!

Частые волны, казавшиеся сросшимися, безумно огромны. И Евдоша на мгновение почувствовала себя бессильной перед этим видением гулкой и раскатистой красоты, неиссякаемым и ласкающим солнцем, стремительным ветром. А главное, она жила как бы посредине всего этого!

Внизу что-то оглушительно и резко звякало, перебивая добродушные раскаты волн, и звяканье приятное. У ее отца, любителя птиц, жила как-то трясогузка с синим хвостом. И теперь вот подпрыгивает эта синехвостка, звякая своим металлическим хвостом.

Евдоша выглянула. Федя свивал тонкий лист железа и, отскочив, опускал. Лист прыгал и гремел по гальке.

Мальчик поднял на нее несколько встревоженные глаза: «Нельзя? Громко?»

— Нет. Продолжай. Очень красиво и звучно,— сказала Евдоша, улыбаясь. И она повторила, словно в детстве, подняв руки на уровень груди: — Красиво и звучно — клянусь!

— Бомбы на фашистов бросаю,— хмурясь, проговорил мальчик.

Когда она повернулась к кровати, она увидела газету, сунутую под дверь. «Крайне обязательно,— подумала она,— изумительное обслуживание». Напевая и натягивая чулки, платье, причесываясь, она одним глазом глядела в «Советское искусство». Отчет «В клубе архитекторов». Превосходно! И отчеты быстро пишут и печатают. И газету быстро сюда доставляют.

Расстегивая и застегивая пуговки кофточки, она развернула газету во всю ширь на кровати и, не замечая, что фраза подчеркнута красным карандашом, прочитала ее несколько раз. Фраза была коротка и непонятна. Никаких объяснений, никакого изложения того, что сказал виновник происшествия. А происшествие, видимо, было. «С пошлой и путаной речью выступил архитектор В. Л. Орехов». Все. Именно: «С пошлой и путаной речью выступил архитектор В. Л. Орехов». Да, ее муж, Виктор Лукич Орехов, сказал пошлую и путаную речь, никогда не будучи ни путаником, ни тем более пошляком.

Она мало была склонна к задумчивому созерцанию. С ранних лет мальчишески сильная, ловкая, редко хворавшая, она в школе считалась первоклассной спортсменкой; предполагали, что, окончив школу, она пойдет в институт физической культуры. А она — возьми да и пожелай стать архитектором! Толкнул ее к тому — мост. Да, длинный и пологий, похожий на взгорье, мост, который возводили тогда через Москву-реку, недалеко от Кремля. Отца ее выдвинули туда прорабом: до этого он работал на бывшем АМО слесарем. Она ходила в школу мимо стройки. И однажды, проходя, внезапно решила, что нет ничего увлекательней, как приводить в движение груды камней, металла, бетона, чтоб из всего этого выросло то, над чем думали люди, дни и ночи сидя возле чертежных столов проектировочного бюро.

А теперь, раскачиваясь на шатком плетеном стуле в такт ударам волн, она сидела против газеты «Советское

искусство», созерцая статью, смысл которой был и понятен ей — и непонятен.

— Евдокия Ивановна, слышите, гонг? Завтракать! — кричал под окном курчавый мальчик.

— Да, да, иду, Феденька! — отвечала она, не двигаясь.

Неподалеку, на пляже, остановился Гармаш с какой-то дамой, видимо обладавшей мощной грудью: слышно было, как она глубоко вдыхала и выдыхала воздух. Гармаш послал сына за палкой: после завтрака он собирался на прогулку, потом, шурша ботинком по гальке, спросил у дамы:

— Простите, Афросинья Никодимовна?

— Я говорю: вы часто ездите в Коктебель? — послышался низкий и томный голос.— Можете меня звать Афро: больше подходит к здешнему пейзажу.

«А ведь это он подсунул мне газету,— подумала Евдоша.— Зачем? Для чего мне с такой поспешностью узнавать об этой нелепой, бессмысленной, пустой выдумке?..»

— Впервые, Афросинья Никодимовна, простите — Афро, приехал я сюда совсем юношей. Учился на первом курсе академии, денег нет, я и поступи чернорабочим к археологу, искавшему в Коктебеле сокровища Александра Македонского.

— Подумайте, Александра Македонского!

— Вам, Афро, удивительно, а мне тогда было все равно: сокровища так сокровища, лишь бы — к Черному морю, увидеть юг, кипарисы, платаны, фонтаны. Приезжаем. Ни пальм, ни фонтанов, голая степь, голое море, утешал только один археолог: удивительнейшая личность! Был он из купцов и хотел подражать Шлиману, тому самому, который откопал Трою.

— Слышала, слышала.

— Капиталов у моего купца, думаю, имелось больше, чем у Шлимана, но ни соображения, ни знаний: отродясь я не видывал подобного остолопа! За неслыханные деньги купил он, будучи в Италии, пергамент и кусок старинного письма. В пергаменте значилось, что в древности, пряча статуи богов от христианских зверств, греки привезли в Коктебель, где была колония греков-язычников, статуи богов, сделанных некогда лучшими скульпторами для Александра Македонского. И — план.

И — крестик, где пещера. И даже имена скульпторов, в том числе Пракситель.

— Ах! Даже Пракситель!

«Боже мой, что за чушь он мелет! — подумала Евдоша, вся дрожа. — И зачем я-то слушаю?..»

— В письме же, написанном на листе толстой синеватой бумаги, несомненно, восемнадцатого столетия, говорилось, что три русских скульптора, учившихся в Италии, отправились под Феодосию — тоже искать сокровища Александра. Сокровищ они не нашли, но им было видение богов — Вулкана и Венеры, Гефеста и Афродиты. Им было сообщено, что сокровища откроются лишь тогда, когда возродятся древняя Эллада и Рим, а вы-де, скульпторы, помогайте ей возрождаться. Мрамор купите у такого-то судопромышленника. Мастерская для ваших работ — пещера на Карадаге.

— Взираю на Карадаг теперь совсем по-другому!

— Подождите. Корабли из Италии, плывшие в русские южные порты за пшеницей, набивали трюмы недорогим итальянским мрамором: и для балласта, и в надежде продать. Все старинные лестницы в Одессе из итальянского мрамора. Приходили корабли и в Феодосию. Мы нашли домик судовладельца, который упоминался в письме и у которого боги советовали купить мрамор. Ограда домика была из итальянского мрамора. Нашли мы и двух старожилов, которые видели на Карадаге обломки статуй, обломки эти татары-де пожгли на известь. В Коктебеле, во дворе одного болгарина, наткнулись мы на прелестно изваянную головку гречанки, — не Афродиты ли? Мой купец купил ее и подарил в Феодосийский музей. Как все правдоподобно, не правда ли?..

— Крайне! И что же обнаружила экспедиция?

— Ничего ровным счетом. Пергамент оказался поддельным. Письмо — тоже. Боюсь, с купчиком подшутил поэт Волошин — он был мастер на розыгрыши. У него в Италии, кажется, жили друзья.

— А крупный поэт Волошин? Никогда не читывала.

Голоса, удаляясь, смолкли. Еще раз простонал гонг, и взвыло море. «Чушь! Пошлая, путаная болтовня!» — думала Евдоша о разглагольствованиях Гармаша.

Почему, однако, ее так раздражает и одновременно притягивает этот Гармаш? Почему она напряженно вслушивается в его болтовню, пытаясь найти в ней

какой-то глубокий смысл? Почему каждое слово его отзывается в ней волнением? И вдруг горячая струя разгадки залила ее сердце. Она оглянулась. Ей показалось, что она вскрикнула, сказала что-то вслух.

Ей удалось без труда побороть себя. Она вошла в столовую с чудным и чистым настроением. Широко расставив колени и скрестив руки на скатерти, упершись подбородком в грудь, она сказала Гармашу, резавшему чеснок на тонкие кусочки:

— А вы все шутите, Захарий Саввич!

— Простите...

— Да, газету подсунули, еще и подчеркнув. Для меня тут нет неожиданности: я знала, о чем будет говорить муж.

Весь день и всю ночь ее наполняло сладкое восхищение морем, людьми, горами, светом на пляже, выжженной степью, солнцем, лежащим на коврике между стульями столовой, коврике, который, казалось, каждый раз стелили,— вместе с солнцем,— перед каждым завтраком и обедом. Она жила эти часы тем чувством, которое мы бы назвали «светлой и святой минутой»,— когда нет ни прошлого, ни будущего, а одно настоящее, да и то как-то вскользь. Такое чувство редко у взрослых и часто у детей, но дети не замечают его, а взрослые, пожалуй, и стыдятся, взрослые заставляют себя быть деловитыми.

Вся фигура Евдоши,— волнистая и легкая, маленькая ее головка с массой черных, иссиня-черных взбитых волос, ползущих по шее и по вискам, поразительно красивые руки, ее глаза, наполненные каким-то душистым сиянием,— все, казалось, говорило всем, кто хотел понимать: «Да, я иногда рассказываю вам о своем прошлом, как училась, как работала, но вовсе не для того, чтобы привязывать себя к прошлому, а чтобы вы малость узнали меня».

И приезд ее друзей, Павла и Фомы,— совершенно неожиданный, кстати сказать,— не сразу оторвал ее от этих приятных, проворно бегущих ощущений радости. Она приняла этот приезд не как вторжение частицы прошлого, а как возможность, благодаря появлению близких людей, жить настоящим еще полнее, еще бездумнее.

А между тем большеротое прошлое стояло совсем близко, почти касаясь ее спины.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я чувствую пришествие поры,— позвольте в столь важном случае употребить старинное и златокованое обращение: дорогие читатели! — когда надлежит описать речи Евдоши своим спутникам, шагающим по берегу моря от дома поэта Волошина, мимо столовой, до кустов тамариска, за которыми овражек и узкая дорога вдоль холмов синей глины, к электростанции, подвесной дороге с качающимися люльками, полными голубого траса, к домикам у подножия Святой горы, где сворот дороги к таинственному Карадагу, зубастому вулкану.

Вольности романиста известны. Они не отменены. Опираясь на них, я опишу не только то, что говорила Евдоша, но и то, что она при этом только думала. И даже то, что она и не говорила и не думала, вернее сказать, думала, но так скрытно, так затаенно,— видя это как бы издалека, краешком глаза,— что, пожалуй, и сама не в состоянии была осознать. «Позвольте! — возразит мне читатель.— Ведь еще недавно вы утверждали, что Евдоша откровенна и вспыльчива?» Да, она откровенна, но иногда самый наиоткровеннейший не понимает, насколько он скрытен.

Здесь, опять-таки по-старинному, я позволю себе небольшое моральное поучение. Иной в гневе и ярости так лжет,— и перед собой, не говоря уже о других,— что диву даешься. А почему? Да потому, что правдивым быть трудно. Поэтому-то правдивость и редка. А что ложь частенько прикрывается правдивостью, то иначе и быть не может. Какая же ложь без правды? Так себе — лжишка, мелкая-мелкая, словно пыль. А приправленная правдой, она — лжищище, вознесенное превыше небес и патентованное самыми крепчайшими патентами. В заключение добавлю, что для человека наблюдательного нет, по-моему, лучшего наслаждения, чем следить за изворотами лжи. А кто, кроме дара наблюдательности, обладает и решительным характером, у того наслаждение удваивается — он имеет возможность и сражаться с ложью. У этой страсти бесконечные возможности, так как победа правдивости над ложью и притворством — дело, по-видимому, весьма отдаленнейшее. Ложь — цепка, правдивость — сильна, но пробить или прорезать ложь насквозь правдивость

еще не в состоянии. Все пробы да пробы. А что поделаешь? Ведь и золото без примеси лигатуры чересчур мягко. Возможно, лигатурой правдивости, залогом победы ее, является время?

Хватит, однако, отвлеченной морали. Будем отправлять свою поэтическую службу. Приступим к новому отступлению. Оно длинно, но, глядишь, наверстаем конечными темпами: зерно дольше назревает, чем созревает.

Итак — биография героини. Родилась и выросла Евдоша Наледина на Малой Ордынке, во дворе «дома протопопа», неподалеку от огромной и одутловатой церкви папы Климента. Все детство, юношество, институтское учение Евдоша ходила мимо этой церкви, облупленной, какой-то злобно багровой, с проржавевшими куполами и остатками узорных украшений. Когда Евдоша впервые прочитала «Вия», она решила, что опрометчивый и мстительный Хома погиб именно в церкви папы Климента. Украина — это ведь окраина, Малая Ордынка когда-то и была окраиной Москвы, где и жила малая орда со своими привидениями и ведьмами. Если приглядеться, то и сейчас в окнах церкви можно увидеть худощавые и скуластые морды чертей.

Мать Евдоши, громоздкая, грубая, религиозная,— в эти дни религиозность, как и антирелигиозность были-таки грубоваты,— с какой-то даже язвительностью верила и в чертей, и в ангелов, в первых, пожалуй, даже и больше. Перепало слегка религиозности и маленькой Евдоше. Пробегать мимо папы Климента на Малую Ордынку зимой, в метель, было очень приятно. Она бежала, легко дыша, размахивая клеенчатым портфелем, особенно высоко вскидывая левую ногу, туфель на которой, возле мизинца, постоянно протирался, а чулки рвались.

Церковь папы Климента надолго запомнилась ей по первой ее — еще школьной — любви к Паше Ферязеву, с которым она училась в одном классе, а затем вместе перешла в Архитектурный институт. Паша был сыном председателя колхоза подмосковной деревни возле Кунцева. Отец его, мужчина титанического сложения, непомерной силы, вел колхоз сносно, однако в семейной жизни он был часто несносен, попросту — самодур. Например, будучи невысокого мнения о сельских школах, он настоял, чтоб его старший сын, Паша, учился непре-

менно в Москве и непременно чтоб изучил «все иностранные языки» или, по крайней мере, «главные», объясняя это тем, что «я остался безгласен, так надо, чтоб мой сын говорил на весь мир и чтобы он весь мир слышал: кто и что относительно нас». Павел поселился в дворницкой, у отдаленных родственников, на Пятницкой, жил как в солеварне: горько, душно, едко; учился он, впрочем, хорошо, но языки ему не давались. Отец сокрушался из-за этих проклятых языков и однажды, будучи основательно пьян, выгнал сына из дома, когда тот приехал к нему на каникулы. Огорчение для Павла это было не малое. Евдоша утешала его: «Вернешься,— и весь колхоз на малый город перестроишь». — «Только на этом и помирюсь»,—отвечал Павел без шутки: он любил мечтания, архитектурные в особенности. И любил он красивые имена, слова, названия предметов.

Влюбился он в Евдошу в шестом классе и любил до первого курса института, а затем охладел и, попав к отцу в деревню (архитектурную перестройку деревни он разрабатывал, как говорится, «в самых широких масштабах»), полюбил певунью из сельского хора, он увез эту певунью в Москву, устраивал в консерваторию и устроил бы, но певунья умерла во время родов, и ребенок после кесарева сечения тоже оказался мертвым. Тяжело и мутно жилось ему в те дни. Но к Евдоше он не приходил, а пришел позже, когда она вышла замуж, и то, как ей казалось, не из-за нее, а из-за талантливого и многообещающего ее мужа.

А Евдоша на всю жизнь запомнила эти встречи возле церкви папы Климента, почтительные и крепкие пожатия его руки, гулянье по улицам,— все вокруг да вокруг папы Климента, стоянье у ворот, полуобъяснения, намеки на любовь, вздохи, свою суровую и непреклонную уступчивость и пугливое изнеможение, с которым она входила в квартиру родителей. Она испытывала и к нему, и сама к себе сострадание,— и какое это было веселое и многозвучное сострадание! И какая это была детски страстная, золотая любовь! И как ее было приятно потом вспоминать!

Жили Наледины несчастно. Мать Евдоши из-за плохого характера и религиозности, которую назойливо выставляла напоказ, часто увольнялась с работы, а затем долго судилась, пока не подыскивала новую службу.

Жизнь отца не была столь пестрой, и зарабатывал он лучше жены и характером был приветливее, мягче, но он пил свирепо, пил запоем, пропивая во время запоя и таща из двух комнатешек все, что можно утащить, вплоть до оконных отдушин.

В доме было много жильцов, а в коммунальной квартире, где родилась Евдоша, жило, казалось, больше, чем в какой-либо другой квартире. Жили пухлые и тощие, сердитые и добродушные, стройные и круглые, свежие и тухлые — все они по-разному ссорились, жаловались, ныли все тоже по-разному, были несчастны, и всех их, по-разному, было жалко Евдоше. Ссорились из-за сараев, где хранились дрова и всевозможная рухлядь, у колонки из-за воды (водопровод появился, только когда открыли метро). По утрам в коридор вылезали влажные и лохматые старухи, лошадино фыркали и стучали в дверь уборной мускулистыми пальцами. Страшно было стоять в очереди с полотенцем в руках. Коридор пах кошками, соленой капустой, подгоревшим маслом, сырыми дровами. Евдоша незаметно крестилась и шептала, прикрывая рот полотенцем, чтоб папа Климент дал ей безгрешную кончину, чтоб никогда-то ей не быть старухой, не плевать, не шаркать ногами и, проходя, не оставлять за собой едкого и отвратительного запаха старого белья и плохо переваренной пищи. А затем она и вовсе перестала молиться. Долго шла, увязая в глине быта и предрассудков, но вдруг вступила на слой чернозема, который хоть и лежит на толще глины, но плодоносно-ликующе на нем колышутся веселые злаки, лохматые пестрые цветы, по нему мерно шагают задумчивые пахари!

Она жадно вслушивалась в разговоры людей: пятилетка, будет много заводов, приток пролетариата из деревни — всем понадобится больше хлеба, новых домов, железных дорог, книг. Отец Евдоши разводил певчих птиц. Евдоша помогала ему, хотя на поиски выкормышей отец ее не брал. «Не женское дело, отвлекает от воспитания детей», — говаривал он десятилетней девочке. В клетках прыгали черные дрозды и щеглы, эти необыкновенно драчливые птицы с красивым пеньем. «Вот пятилетку построим,— говорил ей отец,— разбогатеем, распоемся и тоже станем драчливыми. Менять жизнь без драчливости, вижу, нельзя, особенно коли живешь в «доме протопопа».

Евдоша жизнь свою в «доме протопопа» считала естественной; она ее хотя и раздражала, но и в голову не приходило менять ее. «Как это, папа, менять?» — спросила она. «Скажем так: пускаю я самого драчливого щегла в новый, большой вольер, — драчлив щегол, а и он простор и свет понимает: иной недели две никого не бьет. Вот переедут люди в новые дома, они ведь не щеглы, небось не две недели, а два года ссориться не будут». Позже, несколько лет спустя, шла она мимо строительства моста, где, как я уже писал, работал ее отец. «Отец строит мост. Почему бы мне не построить дом? — пришла ей в голову дерзновенная мысль. — Пусть не я в него перееду, так хоть другие».

Начались бесконечные и тревожные дни ученья в Архитектурном институте, зачеты, испытания, сидение в аудитории, поездки в колхоз «на картошку», появились жадные взгляды молодых людей, пряные разговоры подруг, чертежи, книги, имена новых современных архитекторов, которые постепенно исчезали, заменяемые именами архитекторов Возрождения, а затем и Рима.

Римские архитекторы торжественно заняли институт именно тогда, когда Евдоша выходила из него, переходя в «Мастерскую № 13» старика Веселовского. «13» было данью бунту двадцатых годов, каковую бунтарскую цифру в день шестидесятилетнего юбилея Веселовского отменили, присвоив мастерской почетное название «имени Веселовского».

Жила Евдоша по-прежнему в двух комнатешках «дома протопопа» и по-прежнему никакой злобы к этому дому не чувствовала; надоесть он ей надоел, но, скажем, ломать дом ей было б жалко,— а может, даже и переезжать. Евдоша в этих комнатенках говорила родителям, гостям, всем, кто хотел ее слушать:

— Самое большее, через десять лет будет новая Москва. Я хочу с гордостью ответить потомкам, если они спросят: «Что ты сделала хорошего в этом городе?» — «Выстроила новый дом».

— Потомки не спросят,— улыбаясь дряблыми, отвисшими щеками, говорил отец,— им будет не до вопросов к нам. Они собой будут любоваться.

— Светлый, большой, просторный, с широкими пролетами, со стеклянными плоскостями, современный дом,— продолжала Евдоша,— каких еще не было в Москве. Хочу, чтобы в этом доме жили самые

обыкновенные, самые простые люди, и чтоб если б им, например, понадобилась горячая вода — они б ее получили немедленно, чтоб не было печей, чтоб плиты были электрические, чтоб школа, кино, магазин... чтоб все под рукой и все — просторно!

— Аль в просторных комнатах меньше ругаются? — спрашивал отец.

— Но ты же сам, помнишь, говорил о щегле. Даже если только захотят меньше пить и ругаться, то и то хорошо.

— Нагнись, не ушиби башку о притолоку! Горда очень.

— А кто нас учил гордости?

Отец, заложив руки за спину, смотрел на нее. Она была выше его, да, пожалуй, и стройней, чем он в молодости, хотя отец и думал весьма почтительно о своей молодости. Плечи у нее шире, голова круглей, светлей, глаза пронзительней, а брови — куда ему! — почти для полозьев годятся. И слова она подбирает такие, что они, как северный ветер, способны гнуть деревья. «Эх, да кабы ко всему этому да бросить мне пить!» — думал отец. Ему,— да и всем остальным, кто ее знал и видел,— весело верилось, что Евдоша выстроит прекрасный дом и что в этом доме люди будут жить так хорошо и кругло, как она того желает.

И она дом выстроила.

Дом этот, шестиэтажный, длинный, голубой, красивый, стоит на одной из широких улиц Москвы в том месте, где прежде ветер гулял по пустырям, мусорным ямам, кладбищу, а теперь работает громадный завод.

Несколько трамваев, метро, троллейбусы, автобусы выливают утром к заводу тысяч десять людей. Прибывшие поднимаются по высокой и широкой лестнице. Вход разгорожен железными перилами на несколько отделений. Огромные, как ворота, часы над головами входящих гулко отбивают время. Табельщик с высокого табурета глядит на рабочих очень доброжелательно. И они, несмотря на раннее утро, смеющиеся, веселые. И если только взглянуть мельком на эти молодые и уверенные лица, то этого вполне достаточно, чтобы понять, что в нашей стране в дни Октября действительно произошло нечто неслыханное, небывалое, нечто крайне высокое и безбрежное.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Еще Евдоша не закончила постройку нового дома, как у нее появился муж.

Инженер Виктор Орехов вел постройку гаража для завода. Знакомство началось с того, что каким-то непонятным путем материал, необходимый для Евдошина дома, оказался у него на постройке. Все действия инженера были так неопровержимы и законны, что у Евдоши после разговора с ним показались на глазах, вообще-то редко выступавшие, слезы. И вдруг час-два спустя все спорные материалы так же неопровержимо и законно улеглись у ее постройки, а сам инженер Орехов пришел извиняться.

— В суматохе и не то перепутаешь, — сказал он, доставая из-за пояса шерстяную варежку и вытирая ею лоб.

И тотчас же, мотнув рыжей головой, несмотря на то что в конторе толпились люди, смело признался:

— Впрочем, более опытному, но менее талантливому коллеге я бы материалы не вернул.

— Вы что же, товарищ Орехов, суда не боитесь? — спросила Евдоша.

— Конечно, неприятно. Да уж как-то получается всегда, что, если дурак строит, мне противно.

Что-то очень широкое и приятное было в его улыбке, когда он говорил эти слова. К тому же оказалось, что оба они учились в одном и том же институте, только Орехов кончил курс раньше на три года.

— Значит, Рима в вас еще меньше, чем во мне?

Он улыбнулся еще приятней.

Евдоша сразу почувствовала к нему доверие, и когда, три дня спустя, он явился к ней с билетами в театр, она не только поехала с ним, но после театра согласилась отправиться к нему на квартиру ужинать.

Квартира была не его, а старшего брата, инженера какого-то высокого главка. Брат и его жена уехали в санаторий. «Поэтому будем как дома», — сказал, смеясь, Орехов.

Орехова уже ожидали гости. Видно было, что он умел собирать и приятных, и молодых, и в то же время положительных людей. Все здесь было так же, как и на прочих вечеринках, которых Евдоша помнила много и которыми всегда оставалась недовольна, но здесь это

было овеяно какой-то неуловимой дымкой большого размышления и большой внутренней смелости. Евдоше это было приятно, и приятна была некоторая робость, которую она испытывала.

На столе она заметила раскрашенную фотографию в траурной рамке. Женщина с пушистыми пепельными волосами заботливо прижимала к груди ребенка. «Моя жена,— объяснил Виктор Лукич.— Развелись зимой прошлого года». — «А ребенок?» — спросила Евдоша. «У нее». Орехов показал фотографию ребенка.

«Как же быть? — подумала Евдоша, вглядываясь в фотографию мальчика.— Как же, если я полюблю Виктора Лукича? Ребенок? Разведен? Нехорошо».

Она полюбила его. Сыграли свадьбу три месяца спустя, в той же квартире, куда Евдоша приезжала ужинать из театра, только хозяйничали теперь старший брат и его жена, степенные и полные люди с тихими движениями и тревожными глазами. Старший брат мужа, Егор Лукич, пристально смотрел на Евдошу из-под длинных черных бровей и, казалось, говорил: «Эх, и хватишь ты, девушка, горького до слез!» — «Что ж, и хвачу,— отвечала ему тоже глазами Евдоша,— мы к бедам привыкшие».

Родителей, подвыпивших, плачущих, увезли на Малую Ордынку, куда через день должны были переехать и молодые. Стали собираться домой и родственники, одни лишь друзья не торопились: среди них разгорелся спор — какому материалу преобладать в пролетной части здания, дереву или металлу? Вопрос был специальный, все друзья были или архитекторы, или инженеры. Прежде Евдоша спорила б горячо и весело, а теперь в ушах ее звенели слова, но смысла их она не понимала. Она смотрела, не отрываясь, на оживленное лицо мужа, который при поддержке Павла доказывал, что важнейший строительный материал жилых домов — дерево, а железо нужно теперь на более важные стройки: на заводы. Фома, как всегда, не спорил, он вслушивался, наслаждаясь чужим азартом, аргументы у него, видимо, были приготовлены, но он их берег. Он обожал споры и дискуссии, считая самым лучшим оппонентом того, кто, не моргнув глазом, «любую брехню иль ругань выдержит».

Фома и Павел — однокурсники Евдоши. Раньше Фома никогда не ухаживал за ней, а перед самой свадь-

бой, в шутливой манере, ему свойственной, предлагал ей «сердце и руку, на днях получающую диплом». На Малую Ордынку к ней они теперь ходили почти каждый день. «Они — хорошие,— думала Евдоша не без удовольствия, наблюдая, как друзья глушили рюмку за рюмкой,— они рады».

Они поднялись, прощаясь, и долго целовали ее мужа в губы, а ее почему-то — в плечо. Павел, мнительный, с серым, точно из дерматина, лоснящимся лицом, косился на форточку: не прохватило бы. Преображенная Евдоша — в фате, с цветами на голове — потрясла его. «Прозевал, прозевал»,— бормотал ей он. Евдоша, широко раскрывая глаза, делала вид, что не понимает. Фома, благодаря новой черной паре, не шутя казался раздавшимся, особенно в груди. Он стал на голову выше Павла, голос его гулко гудел. Уходя, в прихожей он споткнулся о чью-то забытую шапку и грохнулся врастяжку. «Лежать под палящим солнцем приятно», — затянул он, дрыгая ногами. Поднявшись и отряхнувшись, он поцеловал руку Евдоши и сказал: «Претерпеваю изменения своего образа. Снабженец, преобразовывающий промышленность, должен и сам преобразовываться. Теперь впереди всего — ораторство за искусство, а не любовь».

Фома, быть может, и ораторствовал на улице, но Евдоше было не до него, ее потрясала умиленная и необъятная любовь к мужу. В квартире наступила странная тишина. Отвернувшись, избегая взглядов мужа, Евдоша смотрела на ночник с прорванным розовым абажуром. Голова у нее кружилась, хотя она ничего не пила за столом, даже когда кричали «горько». Ей часто приходилось слышать, что вино отшибает память, она же желала все хорошенько запомнить, хотя ей и стыдно было думать об этом.

Виктор Лукич выпил основательно,— и, кроме радости, что-то едкое было на сердце Евдоши.

Муж подошел к кровати, сел на стул, широко расставил колени, скрестил руки на груди и, слегка икая, упершись подбородком в грудь, сказал:

— Ну, что ж, начнем?

Евдоше стало жутко. Она едва смогла выговорить:

— Так рано?

Муж молча раздел Евдошу, похвалил ее телосложение: «вместительная» — и твердым голосом добавил, что

она стройна, как пальма. Евдоша уставилась на него, облизывая сухие губы и вся дрожа. Он подумал немного, а затем внезапно накинулся на нее, но тут же отскочил и со стоном погасил ночник. Потом она почувствовала уверенные движения рук мужа, которым послушно подчинилась, наполненная радостно-тревожным ожиданием. Потом она завопила сквозь зубы, и даже в темноте видна была ее бледная голова со сверкающими глазами. Евдоша старалась забыть боль, чтобы почувствовать то, о чем часто и смутно думала и что замужние подруги находили «своеобразным и заманчивым». Но ничего не почувствовала ни в эту ночь, ни в последующие,— и никогда вообще. Два или три раза, ночью, резко произнесенные мужем слова, обращенные к ней, вызывали ее настороженное внимание; она отвечала неопределенно:

— Что за допрос?

Он перестал спрашивать.

Она удивлялась и печалилась и этой взаимной любовной неприветливостью объясняла унылый холодок, постепенно овладевавший ими. Муж был молчалив, пасмурен; Евдоша бормотала ему ответы с непонятной боязнью. Лишь много позже, вдали от мужа — в Крыму, перебирая события своей замужней жизни и вновь и вновь восторгаясь цельностью творческой натуры мужа, Евдоша начисто отбросила мысли о возможной черствости или цинизме Виктора Лукича, объясняя себе многие странности его характера уязвленной чувствительностью и своей, как ей казалось теперь, недостаточной любовью к нему.

Жили они на Малой Ордынке, все в том же «доме протопопа»: родители уступили им из двух комнатушек ту, что побольше. В комнатушку поставили письменный стол для ночной работы Виктора Лукича, и ходить пришлось боком, то и дело задевая либо кровать, либо письменный стол, либо большую шкатулку, облепленную окрашенными раковинами с надписью «Ялта», подаренную Евдоше матерью на свадьбу. Шкатулка нелепая, безвкусная, оранжевые раковины блестят неприятно и фальшиво, но — куда ее денешь? — родительский подарок. И, главное, мать больна, часто говорит: «Скоро освобожу вам жилплощадь». Видные люди из главка, сам руководитель мастерской обещали Евдоше квартиру в новом доме, но, как говорил муж, «время эпохальное,

но получить квартиру в новом доме еще более эпохальное событие». Евдоша ходила на работу по-прежнему мимо облупленной церкви папы Климента, вздыхая, что не верит уже в привидения и что на церковь ей смотреть теперь не страшно.

Евдоша ждала, что после замужества придет к ней больше радости и гордости, чем когда-либо, придет какое-то большое событие, которое перевернет все ее настоящее, будущее и даже прошлое: начнется новая,— пусть еще не героическая, но лежащая где-то близко от героического подвига,— жизнь, та таинственно-глубокая жизнь искусства и вещих порывов, о которых она с некоторых пор начала мечтать. Муж так талантлив, да и она ведь не бездарна. Муж чертил проекты, она помогала ему, чертила свои, от товарищей они слышали одобрение, но в мастерских появились какие-то новые люди, которые хоть и соглашались, что новейшая архитектура имеет право на существование, но осуществлять ее не то чтоб не соглашались, а все откладывали. А там и откладывать перестали, просто говорили «не поступило разрешения», и голос их при этих словах становился все жестче, все железней, а глаза все холоднее. Так они оба — муж и она — почти незаметно попали в «леваки», попозже и в «крайние леваки». Виктор Лукич конфузился этого «левачества», его мучили тяжелые сомнения, а кроме того, он страстно любил свою работу, так страстно, что, когда в деревне родители его пожелали иметь новый домик, он сам сложил им красивый кирпичный дом, такой красивый и просторный, что родители отказались в нем жить и передали его детскому дому. Кроме того, у него была склонность — жить, вовсе не прибегая или, во всяком случае, пореже к крутым ломкам. Он утверждал, что всем людям свойствен «здоровый консерватизм», и ему, например, крайне неприятно и непонятно, как он попал в «леваки»,— «эпоха, что ли, воздействовала или, быть может, то мое понимание искусства, которое трактуют «левачеством», тоже с какой-то стороны не что иное, как консерватизм?». Такие разговоры мужа Евдоше было горько слушать.

Виктор Лукич говорил невесело:

— Как отрешиться от самого себя, кто знает, быть может, стремление к пышности, мрамору, золоту и есть эманация величия нашей эпохи, которой мы не

ощущаем, как не видим в воздухе паров испаряющейся воды.

Евдоша вскакивала, чувствуя в словах мужа то, чего другие не чувствовали:

— Тебя, Виктор, как ребенка совращают дурные товарищи.

Он молча указывал на Фому и Павла: «Они?»

— Нет. Ты знаешь, кого я имею в виду. Ты знаешь, кто тебе подсовывает ионические, коринфские и дорические ордена, кто увлекает тебя в эту игру колоннами, украшениями архитравов...

— Кто, кто?

— Приспособленцы! Прислужники буржуазии и аристократизма, которые хотят воскресить Грецию и Рим, вернее, подделаться под Рим и Грецию, оконфузить нас перед лицом пролетариата всего мира! Да, скажут пролетарии, очень они хороши, эти русские, живут в реставрированных римских развалинах.

Она понимала, что говорит сумбурно и схематично, но нет времени выбирать слова. Важны — мысли, мысли...

— Но что же нам, по-твоему, остается делать?

— Отрицать. Сопротивляться! Указывать еще и еще, что неправильно, ошибочно хотят расходовать народные средства. Строить нужно просто, так сказать,— коротко и ясно, выразительно. В этом и состоит выражение современного вкуса.

— А если не дают? — спросил Фома.— Если требуют римской выразительности, что нам тогда делать? Мы с Павлом пока что поступили на кинокурсы, изучаем аппаратуру кино: есть к тому стремление, да, может быть, и понадобится. Я-то, признаться, думаю, что этот «римский вопрос» изживет себя в два-три года; заметят ошибку, заметят, что переборщили, и — замнут. Ну тогда мы опять — к новейшей архитектуре.

— Но в эти два-три года вырастут «классические кадры», тогда еще труднее будет согласовать противоположные мнения,— тихо заметил Павел.— Я опасаюсь, Фома, как бы нам с тобой не застрять навечно в киноаппаратуре.

— Никогда! — крикнула Евдоша.

— Да, я тоже уверен, что увлечение Римом пройдет: что это за возрожденный ампир, в самом деле? — сказал Виктор Лукич спокойно, но за этим спокойствием

Евдоша почувствовала, что он говорит так только из одной доброты, вернее, из-за любви к ней, он был не очень-то добр, а любить,— по-своему, как-то тускловато и жестко,— несомненно любил ее.

Евдошу начали мучить мрачные настроения. Отчасти тому виной было и то, что жили они в тесной и душной комнатушке, где все их движения были на виду, где и слова громкого сказать нельзя, — немедленно услышат и начнут обсуждать и толковать, что любовные речи,— впрочем, потребность в этом ощущалась все реже и реже,— нужно было заменять жестами или письмами, и что оттого любовь походила на решетины, те узкие планки, по которым штукатурят, тогда как она должна быть самой штукатуркой, цветной, расписной и украшающей и утепляющей. Ну, да все это еще туда-сюда, но вот то, что кто-то бесстрастный скрытно и мутно оттеснял от работы, вот это ложилось тоскующим грузом на сердце.

— Ведь мы же рождены тут, в этой стране, людьми, создавшими эту страну, и кому, как не нам, обстроить ее, украсить, а нас?! Кто-нибудь думает над этой несправедливостью? — отчаянно спрашивала Евдоша.

Работу и ей и мужу стали давать мелкую, «плохо вдохновляющую», почти подсобную. Это тоже раздражало, особенно мужа. Виктор Лукич все чаще и чаще заводил разговор о возможной правомочности Рима. Павел и Фома держали сторону Евдоши. Увлечение Римом — преходящее, а двадцатый век имеет свое лицо, и в особенности в Советском Союзе, римское или древнегреческое искусство тут совершенно ни при чем.

— Рим я понимаю не во вращательном движении,— кричал Виктор Лукич,— а как продолжение движения, начатого древними. А ты, Евдоша?

Евдоша боялась, что муж, чувствуя себя обиженным и обойденным, согласится и на Рим. Дело в том, что кто-то из высших, чуть ли не «сам», еще когда она училась в институте, отвечая на вопрос о новой архитектуре, сказал: «Что еще за новая архитектура? Старая не исчерпана. Возьмите — Рим. Чем мы хуже Рима?»

Куда-то «наверх» пригласили крупнейших архитекторов. Вышел кто-то в синем, выслушал пожелания приглашенных, а затем «подводя итоги разговора», сказал, что строить нужно на века, солидно, красиво, без буржуазных кривляний и в то же время пышно: «Рим,

знаете, умел строить, а мы усваиваем все лучшее в прошлом,— почему бы и оттуда не почерпнуть, если понадобится? А то мы редко обращаемся к классическому наследству. И что же в результате? В результате строим какие-то нелепые кубы, параллелограммы, призмы,— глазу негде получить удовольствия! Посмотрите-ка!»

И он показал большие фотографии.

Среди прочих фотографий была фотография дома, построенного Евдошей.

— Нет, нам такая архитектура не только не нужна, но и вредна,— заключил «некто в синем»... и распрощался.

Архитекторы разошлись.

Сразу, точно выпустили необыкновенно едкий раствор, распались все замыслы новейшей архитектуры, и в стеклянные ровные пространства, полные воздуха и света, врезались древние колонны, арки, купола, статуи.

— Но это — блажь! — побледнев и с трудом выговаривая слова, говорила Евдоша.— Почему в двадцатом веке воскрешать в архитектуре блестящую эпоху Августа и Флавиев? Мы живем свою, а не чужую жизнь, и она — не постановка исторического фильма!

Виктор Лукич уклончиво бормотал:

— Хозяин знает,— подчеркивая слово «хозяин».

Все умолкали, переводили разговор, только подвыпивший отец Евдоши вставлял:

— Лично я в Риме не был, но я тебя поддерживаю, дочка. Ране-то ходили в кандалах по улицам, видели: купцы пышно строят. Сбросили кандалы, думаем: аль мы плоше купца?

Евдошу охватил восторг:

— Здорово, старина!

— И как это вы, отец, живя в «доме протопопа», научились так далеко видеть? — спросил Виктор Лукич, подняв глаза к потолку. Слова старика он принял как напоминание, что, живя в чужом доме, нечего туда свой закон вгонять. Последние недели Виктор Лукич жадно впитывал обиды — подлинные и кажущиеся. Он медленно поднялся и без кровинки в лице, словно слова, которые он собирался произнести, невероятно испугали его самого, и, не замечая, что для убедительности положил даже руку на сердце, вдруг крикнул в бешенстве:

— Хватит! Прекратить левачество! Забыть эти ог-

рызки двадцатых годов! Я запрещаю при мне поносить Рим.

— Скажите пожалуйста, какой патриций. Боюсь, тебе из-за этого окрика будет еще стыдно, Виктор,— сказала, улыбаясь, Евдоша.

— Никогда!

Уходя, Павел шепнул ей у дверей:

— Держитесь, Евдоша. Проказа всачивается по мелочам.

Позже, ночью, Виктор Лукич сконфуженно просил прощения у Евдоши. Подумав над своими словами, он пришел к выводу — плохой он, несдержанный и распустившийся человек, ему надо подтянуться и решиться наконец более стойко бороться за свои творческие убеждения. Этак ведь черт знает к чему можно скатиться!

Евдоша простила и все же, вспоминая слова мужа, думала: «Прекратить левачество». Как это часто слышишь. Все кругом кричат, что левачество — вздорная возня «за форму», и всего лишь только за форму. А ведь это и нравственная проблема! Общество борется за нового человека — более нравственного, чем когда-либо прежде; более чистого, умного. Борется новыми средствами: коммунистическим трудом, дружбой, единством, коммунистическим, общечеловеческим отношением к миру, всеми возможными формами нового... Отсюда и архитектура должна стать новой и все искусство вообще! Никто не отрицает воспитательного значения прежнего искусства, это так же нелепо, как нелепо отрицать исторические исследования. Задачи, стоящие перед нашим советским обществом,— высоконравственны? Несомненно. Значит, и задача советского искусства, как части нашего общества, тоже высоконравственна: искусство должно вдохновлять на добро, совестливость, поиски истины. Но ведь существуют люди, которые отрицают добро, считая его идеализмом, надпартийностью? Есть такие. Правы они? Нет. По-ихнему выходит, что наш советский человек не должен иметь самостоятельного мышления в решении проблем добра и совести? Значит, это привилегия буржуев? Церковников? Если к самостоятельно мыслящему сразу же применяется тоскливый террор, как к потенциальному изменнику, до добра ли тут?! Добро никем целиком не отрицается, а всего лишь как бы укорачивается. Отсюда столько муки. Раз «добро» взято под сомнение, то нужно ли быть добрым?

Если человек перестает быть сам себе судьей (а ведь других-то обмануть легче, чем самого себя) — чего ему испытывать жалость к тем, кто вне разрешенных ему кругов доброжелательности?» Вот какие мысли терзали Евдошу — вот о чем думала она, ни с кем не делясь своими мыслями, но и не пытаясь остановить их ход, а распаляясь все больше и больше.

«Да, если так легко всякого заподозрить в скрытой измене — какое уж тут добро! Утверждают, что, из-за трудности доказательств, измена — понятие растяжимое... А я в это не верю, не верю,— сама себе твердила Евдоша.— По-моему, люди совершенно зря сотни лет жалеют глупого неистового Отелло — очевидно, допуская, что сами могут стать не менее, чем он, глупыми,— так не то же ли самое и в политике: одни государственную измену измышляют наподобие Яго, а другие верят в эти домыслы так же легко, как Отелло поверил в измену Дездемоны».

Но заглушим, однако, то, что на языке беллетристов называется «философией героини», и вернемся к самому обыкновенному толкованию понятия добра, как стремления помочь ближним, быть милосердным, быть живым и сердечным. Когда-нибудь мы будем иметь больше возможностей воспитывать в себе доброту. «Да, да! Знаю и настаиваю,— так же думала и Евдоша.— Знаю, все знаю,— твердила она мысленно.— Знаю и то, что война приближается и что война — грязное, жестокое бремя, которое несут народы еще долго после окончания войны. Да, знаю. И, однако, верю в добро, в новое искусство, в торжество новой архитектуры!»

Тем временем обсуждение «римского вопроса и классического наследства вообще» расширялось. Объявили о дискуссии в Доме архитекторов. Получив повестку, Евдоша спросила у мужа:

— Ты намерен выступить, Виктор?

— Да надо бы.

— Мне не совсем понятно твое отношение к нашей, как ее называют, левацкой архитектуре.

— Нельзя же отрицать классического наследства, — ответил Виктор Лукич уклончиво.

— Наследство наследством, еще не известно, кто его получит, а вот наша архитектура. Отрекаешься ты от нее или нет?

— А ты?

Она не ответила, а только развела руками. «Все-таки и сам должен бы кое-что понять»,— говорил ее жест. Лицо его было бледно и взволнованно, руки вздрагивали, губы были сухи и обметаны. Евдоша чувствовала к мужу сострадание, но ничего не ответила. «Пусть сам решит, чтобы потом на меня не пенять». Тут вспомнила Евдоша, что на днях сердобольная секретарша Союза архитекторов, глядя в ее осунувшееся лицо, сказала: «Много путевок горит — все ждут собрания. Дадут с большой скидкой. Коктебель, дом отдыха, море, купанье. И что за интерес признавать свои ошибки?» Евдоша бросила ей в ответ: «Интереса нет, тем более что у меня и ошибок нет».

Евдоша собиралась выступить на собрании, но раздумала. Во-первых, вряд ли сумеет сказать публично что-либо путное: отсутствует опыт; во-вторых, она совсем онемела б при мысли, что на трибуне архитектор Е. Орехова говорит одно, а через полчаса выходит архитектор В. Орехов и утверждает противоположное: жена — против Рима, муж — за Рим. В таких вопросах сплетне и смеху не место. Успею. Будет еще не одно собрание на эту тему. Поеду к морю, покупаюсь.

Павла и Фому она не встречала в последние дни. Месяца три-четыре тому назад они поступили на крупный комбинат, имеющий отношение к строительству заводских зданий. Служба была не очень высокооплачиваемая, но все-таки хлеб; занятия же с киноаппаратурой хлеба не давали, впрочем, занятий этих они не бросили, а умели соединять их как-то со своей деятельностью снабженцев. «До споров ли им о новейшей архитектуре!» — думала Евдоша и, как мы увидим позже, ошибалась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Хорошо у моря в первый раз! Да и в тысячный — тоже.

Счастливая, растрепанная, вдохновенно опаленная солнцем и ветром, шла Евдоша с пляжа в свою комнату. «Засахаренное варенье, наверно, так себя чувствует: оно стало совсем другое, пошло кристаллами, сладости больше, а никто не ест, разве когда соберутся переваривать»,— весело думала она, осторожно шагая босыми ногами по теплым галькам аллеи.

А о варенье думала потому, что познакомилась с Афросиньей Никодимовной, и пахло от той земляничными духами, точно от банки с вареньем, которое так любила — не очень-то умея варить — Евдошина мама.

— Зовите меня по-морскому,— сказала Афросинья Никодимовна,— Афро. Совсем, знаете, в духе символистов, здесь когда-то бывавших. Хороший поэт Волошин?!

— По любви к жизни, в некотором смысле, близок Пушкину,— ответил ее друг, муж или любовник. Звали его сложновато: Изяслав Глебович.

Изяслав Глебович Иловлев, по его словам, «пушкинист», толстоватый румяный мужчина в чесучовом просторном костюме, ласково улыбающийся и ласково со всеми раскланивающийся, ходил медленно и с огромным достоинством, и, наверное, вряд ли кто подозревал, что он ежеминутно бежит, как ретивый пойнтер, высунув язык и вытаращив глаза, по следу. Служил он в важном Координационном комитете, что тоже не давало ни малейших оснований думать, будто даже мелкие служащие, не говоря уже о больших шишках, к которым принадлежал Изяслав Глебович, способны бежать по следу, высунув на полметра язык. Разумеется, ни Евдоша, ни Фома, ни Павел, ни даже сама Афросинья Никодимовна и думать не думали, что почтенный человек в чесучовом костюме все время так странно бежит, и — что того странней — по воображаемому следу.

Я бы не осмелился утверждать это, кабы не мои привилегии романиста, а пользуясь привилегиями, утверждаю, что Изяслав Глебович бежал, к сожалению, по следу воображаемому. Кто ему указал этот след — бог весть! Здесь не место об этом рассуждать. Как говорится, возможно, что судьба, тем более,— это тоже часто говорится,— что она любит пошутить. Разумеется, читатель вправе спросить: «А по какому же следу он бежал? Кого выслеживал? Заговор, что ли? Но ведь роман ваш преимущественно об архитекторах и художниках. И разве может существовать заговор в архитектуре и живописи?»

Да простит мне читатель, если на такой деликатный вопрос я решусь ответить несколько путано: от вопроса этого рябит в глазах. Хотя, собственно, почему зарябило, почему нельзя ответить? Почему и не быть заговору архитекторов, тем более воображаемому, и по-

чему центру этого заговора не поместиться именно в Коктебеле? Архитекторы способны отгрохать здание в самом наиримском стиле, а потом, во время какого-нибудь торжественнейшего заседания, потолки возьмут да и обрушатся на главы Главнейших! Способен обрушиться потолок? Способен. Кто кладет потолки? Люди. Проектируют их архитекторы? Архитекторы. Могут быть архитекторы подлецами и заговорщиками? Во время обострения классовых противоречий — еще бы! Удобно им в Коктебеле съехаться? Милые мои! А где же еще удобнее-то? Вы возразите: «Воображение, и притом довольно плоское». Не спорю. А скажите мне, пожалуйста, уважаемый читатель, насколько больше погибло людей — от воображаемых бед и злодеяний, чем от невоображаемых, от настоящих? Не нужно отвечать, не нужно! Не будем оскорблять воображение — даже плоское.

— Ах ты, господи! — воскликнула Евдоша, не веря своим широко открытым глазам.— Да ведь там Фома и Павел!

— Кто они? — спросила Афросинья Никодимовна.

Афросинья Никодимовна, собирательница гербариев, ботаник, работавшая при Московском университете, девица лет двадцати пяти, повторяю, ничего не знала из того воображаемого, чем полон был Изяслав Глебович, похитивший девицу у ее родителей,— будучи женатым,— не из-за страсти к прелюбодеянию, а из-за другой страсти, которая так свойственна пойнтерам, сеттерам и прочим охотничьим псам.

Желтый тряский автобус, покинув деревья аллеи, полной переливающейся зеленой тьмы, брызжущей откуда-то из-под низу, вынырнул на площадку, к конторе. Дверца плаксиво отползла. Евдоша увидела Павла и Фому. Умиленно, широко открытыми глазами глядела она на своих друзей. «Ах, как вовремя!» Показались тяжелые чемоданы, два широких ящика, черные, с надписью: «Не кантовать». О, они приехали не столько отдыхать, сколько продолжать работу над любительским съемочным киноаппаратом, проект которого уже осуществляла лаборатория комбината, где они служили. Фома назвал аппарат Жемчужиной советской техники, или сокращенно ЖСТ.

— И ЖСТ здесь?— крикнула Евдоша.— Превосходно, Чувствую: вас ждет удача. Много снимать будете?

— Надоели мне твои железки,— проворчал Павел, вообще-то неворчливый, и, неловко положив треногу на чемодан, он направился к Евдоше.

И Фому и Павла, казалось, обожгла эта встреча. Павел незаметно вытер выступивший на висках пот. Фома несколько раз быстро провел языком по губам. И рука, которую он неуверенно протянул Евдоше, показалась ему самому заскорузлой, жесткой. Необходимо добавить, впрочем, что Фома не сплошь зарос смущением.

Восторг Евдоши был непритворен. Приезд друзей отвечал ее мечтам! Именно их-то и не хватало ей. Она любовалась ими, легкостью, с которой они переносят ящики. В них, в Павле и Фоме,— красота, которой она прежде не замечала,— как и в Гармаше, впрочем, который подошел очень кстати.

Гармаш стоял, настороженно насупясь.

— Знакомьтесь: художник Гармаш. А это мои друзья — Фома Задонский и Павел Ферязев, архитекторы, хотя и работают по снабжению.

— Снабжение, —пробасил Фома,— в годы пятилеток, как заряд в оружии, весьма важно.

— Давно желал с вами, Захарий Саввич, познакомиться,— как-то даже слишком непринужденно сказал Павел.— Знаком с вашей супругой Виталией Осиповной.

— Да, да, да! — приветливо и тоже чересчур уж, пожалуй, приветливо воскликнул художник.— Виталия мне говорила.

— Виктор дал вам письмо? — спросила Евдоша.

— Нет. Мы его перед отъездом не встречали. А что? — несколько напряженно ответил Павел.— Какая-то про него тревожная статья в «Советском искусстве»?

— Ну, статья! Упоминание. Пустяки.

Гармаш, взглянув на Евдошу, решил, что она не лицемерит. Слишком уж блаженное и бодрое у нее настроение. А подробности — «послеречье»,— о которых сообщала ему спешно, авиапочтой, Виталия, грустные, на нескольких производственных собраниях, на которых обсуждались вопросы строительства и ахитектуры, имя архитектора Орехова упоминалось, и упоминалось дурно. «Но почему Виталия ни слова о том, что Павел Ферязев уехал в Коктебель? Или она уверена, что они

его, Гармаша, обвели вчистую и для него только и заря, что она — Виталия? И, по-видимому, Ферязева в том же убедила? А любопытненько узнать, выступали ли по поводу речи Орехова вот эти субчики — Павел и Фома, как их нежно и протяжно называет Евдоша? Или она, подобно другим вертлявкам, и думать забыла о муже? Ну да — жмых, выжимки. А так как известно, что трубы выжигают соломой, Евдоша уже и замену нашла: Павла и Фому?» И, сам понимая, что мысли его дурны и необоснованны, Гармаш изумился этим своим пасмурным мыслям.

За обедом сговаривались о прогулках, смеялись беспричинно, словно в юности, советовались с Гармашом и отворачивались, когда он начинал рассказывать: чересчур уж длинно у него получалось.

Евдоша объявила, что ее план — дальние прогулки, чтоб уставать смертельно, чтоб, вернувшись, ни о чем не думать: головой в подушку и — спать. Она уже расспросила старожилов, изучила карту.

Обратимся лицом к морю. Направо, повыше, на склоне Святой горы поворот к Южному перевалу и вулкану. Налево, за холмами и оврагами, Мертвая бухта. За Южным перевалом — венчанные горы. В Мертвой бухте — развенчанные. Глина, песчаные валы, неподалеку высовываются из воды обломки скалы, похожие на шхуну. Пустынно, одиноко, ветрено. Пески словно раздумывают о том, улетать им отсюда или нет. «Мертвая бухта — не бухта наших мыслей! — воскликнула Евдоша.— Но идем к ней. А все остальные мысли, в том числе и те, что для докладной записки, пока — побоку!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Отличный мир, очень красивый, прелестный!— пристукивая в такт какому-то своему, не слышному никому напеву, говорила Евдоша, спускаясь по тропинке, пересекавшей овраг.— Превосходный, добрейший мир. И еще он прекраснее оттого, Гармаш, что нельзя выразить его ни словом, ни краской. Сколько слов писалось о том ощущении, которое испытываешь, когда входишь в море! А помню ли я хоть одну строчку или картину, равную тем чувствам, которые испытала, когда впервые дотронулась до теплого, милого моря?

— Поэтому-то новейшее искусство и отрицает списывание с природы как словом, так и красками. Куб, ромб, эллипсис не наполнены конкретным материалом, художник набросал контуры, а ты принимай их за море, за скалу, за письменный стол, за все, к чему толкнет тебя воображение. Даже экономно: в одной картине — десять! — Гармаш рассмеялся.

— Вы-то сами, Гармаш, согласны или нет с этим новейшим?

— Отказался, Евдоша, если вы следите за моими работами,— задумчиво ответил Гармаш.— Отказался и до сих пор изумляюсь: зачем? Излишество это с моей стороны. Сразу же, точно повинуясь моему отказу, вылезла эта натуралистическая дрянь... И я — за нею... эк меня!

— Жертвы вознаграждаются, Гармаш.

— Радуюсь вашей вере. Но тут была не жертва — глупость. Впрочем, глупость награждается еще чаще.

Афросинья Никодимовна громко рассмеялась грудным своим смехом. Она шла, держа Изяслава Глебовича за руку. Лицо у Изяслава Глебовича было блаженное, улыбался он с такой добротой и кротостью, что казалось, мягче его и человека не бывало. Афросинья Никодимовна посматривала на него задумчиво-нежно и иногда, наклонившись к его уху, шептала еле слышно: «Твоя Афро тебя безумно любит».

Тем временем Изяслав Глебович думал: «Два молодых архитектора — леваки, притворяющиеся праваками и неизвестно почему не желающие работать по своей специальности,— приехали к третьей, составляющей, судя по ее намекам, какую-то докладную записку. Интересно бы ознакомиться с этой запиской. И художник Гармаш тоже из бывших леваков. Как циничны его рассуждения о новейшем искусстве! И почему все они тащатся к Мертвой бухте? Что это — символ? Что тут подразумевается? Кто — мертв? Каким образом?! — И наряду с этими кислыми мыслями он, косясь на Афросинью Никодимовну, думал: — А у Афро фигура, пожалуй, лучше, чем у этой архитекторши: уж слишком та сухопара, да и голова мелковата, а потом, что это за волосы — словно рукавица!.. И вот еще что — непонятно, почему Пушкину, будучи в Крыму, не хотелось побывать в Феодосии, древней Кафе? Такие древности! Сообщение морское было плохое? И вообще, плавал он по морю и сколько? Надо подсчитать и записать.

Стихов ведь о море много, но плавать... да и я ведь не очень-то жалую море. А художник Гармаш — есть такой персонаж у Пушкина: раздраженный, желчный, подозрительный...»

В разъяснение мыслей Изяслава Глебовича о Пушкине нужно добавить, что Изяслав Глебович давно уже составлял словарь дат, мест, отзывов критики и друзей поэта о каждом его стихотворении. Не потому ли Изяслава Глебовича и «направили» сюда, в Коктебель, к поэтам, драматургам, архитекторам, живописцам?.. Да простит меня читатель, что тревожу тень поэта, упоминая имя его, когда описываю негодяя, но ведь и за Александром Сергеевичем их ходило немало! Что же касается любви Афросиньи Никодимовны, то мало ли кто кого любит? А кстати сказать, эта молодая женщина в коротком пурпурово-фиолетовом платье с белым цветком у плеча была в тот день очень хороша, не так хороша, как Евдоша, но все же хороша. Однако ни Павел, ни Фома не ухаживали за ней, а шли возле Евдоши, глядя ей в глаза и прислушиваясь к ее голосу.

Видно было, что им нравится высокий голос Евдоши, твердая ее походка, вся ее высокая, сильная фигура,— не столь все ж высокая, как у Афро. Да и слова Евдоши, должно быть, им нравились: Евдоша заметила, как они одобрительно переглянулись. И курчавому Феде нравились ее слова, он подбежал к ней и ткнулся головой в ее руку. Она погладила его.

— Позвольте, друзья! Еще ведь при вас вышла газета с упоминанием о речи Виктора? — спросила безмятежно Евдоша.

— Разумеется,— ответил Павел.

— Разумеется?! Что ж мешало вам забежать к нему? Ну, на Фому уже нахлынуло море, понятно, а вы — Павел? Вы же по друзьям ходун?

Ответил ей Фома; Павел ответом медлил.

— Сборы, Евдоша. Пробы. Сборы, киноаппарат этот пробовали, разрешение на съемку у пограничников, пленка...

Он легко повернулся на одной ноге:

— Вы, Евдоша, восхитительны! И платье, и туфли, и ножка в них...

Вначале он запнулся было, но вскоре речь его зажурчала ручьем. Он сам с восторгом наблюдал, как она льется, а когда заметил восторг и в глазах Евдоши —

понял, что влюбился, влюбился так, как никогда не влюблялся, как не предчувствовал, что способен влюбиться! Правда, мелькнуло в голове, что «неловко этак-то после поступка с Виктором», но он сам изумился легкости, с которой отбросил раскаяние. Ну разве же и это не еще одно доказательство любви!

Изумление охватило не его одного. Удивился и Гармаш. «Конечно, язык дан, чтоб оправдывать преступления, но — вчера предать друга, а сегодня ухаживать за женой, ничего не подозревающей?!» У Гармаша в кармане лежало письмо, полученное сегодня утром. Виталия упоминала теперь имена Павла и Фомы. «Едва лишь замолк голос Виктора Орехова, выступившего против римской архитектуры,— и за новейшую! — как его «верные друзья» накинулись на него,— писала Виталия.— Отличились и Павел и Фома. Фома — тот, известно, не многословен, хотя и воображает себя оратором, он только пробурчал, что «всецело поддерживает выступление Павла Ферязева», а Павел-то, Павел,— без запиночки, по бумажке, готовенькой формулой! Тьфу, противно писать! А затем, сразу без передышки, отправились смывать грехи в Черном море, под видом, что новый киноаппарат изобрели. Их, конечно, «поощрили». Надо думать, что подруга Виктора Лукича — тоже подлюга солидная: науськала мужа и убежала! Теперь «поощрит» их и она, особенно Павла — он сам как-то хвастался кому-то, что в юности обожал ее и она его обожала».

«Кому он мог хвастаться?.. И откуда ты-то это знаешь, Виталия?.. Не тебе ли? — подумал Гармаш, и ему опять стало стыдно, нехорошо.— Как все-таки старость унижает нас! — продолжал он думать.— Никогда не нужно влюбляться на старости лет».

Так-то оно так, но все-таки он сознавал, что тут, помимо старости, было кое-что и другое, в чем он боялся себе сознаться. Виталия обгоняла его в том, что не имеет отношения к возрасту,— в искусстве. Он отступил, отступил постыдно, холодно, если хотите — по-стариковски. А она шагнула вперед! Разумеется, он заметил, что она говорила в Клубе архитекторов с Павлом Ферязевым слишком уж оживленно, глаза ее смотрели так испуганно и атласно, как она смотрит, если чем-либо глубоко заинтересуется. И принципиально ли ее возмущает поступок Павла или?.. «И если так,— восстанавливал он в памяти строчки ее письма...— если там, в Кокте-

беле, среди вас не найдется порядочного человека,— впрочем, тебя, Захарий, я считаю порядочным,— то я приеду сама и набью морду Павлу Ферязеву за жену Виктора Лукича. Принципиальных людей искусства мы обязаны поддерживать всеми средствами». И она подчеркнула дважды — «всеми».

Да... А если это всего лишь ревность влюбленной и обманутой женщины...

Он услышал голос Афросиньи Никодимовны, что-то уже очень игривый:

— Они просят у вас сценарий, Гармаш, слышите? Изобразите мою драму. Выспросите меня. Я вам все расскажу! Я буду играть грустную роль, а Евдоша, конечно, веселую. Евдоша, это у вас уменье или природное?

— Природное, природное!— воскликнула Евдоша.

И что ж диковинного? Ей действительно нисколько пе грустно. От всего окружающего: от благовонного и среброзвонкого моря, от приятных, неожиданно встретившихся друзей; от этой твердой лиловой тропинки, отороченной нежно пахнущей полынью,— Евдоше хотелось бесконечно говорить, петь, веселиться и даже влюбиться, черт возьми!

— Завидую. Изобразите меня, Гармаш,— играя глазами, сказала Афросинья Никодимовна.

— Я же изображу вас Афродитой.

— Не хочу Афродитой, хочу — Евдошей. Слышите?

Афродита прижала руку Гармаша к своей щеке. Щека и пальцы ее были горячие, а по глазам видно, что ее действительно терзает непреоборимое стремление что-то рассказать. «Выспросите меня».— «Но до выспрашиваний ли мне, голубка»,— хотелось сказать Гармашу, но, не подобрав слов, он покивал головой и повернулся к Евдоше. Он наблюдал за Павлом. Павел, задетый плавными и красивыми фразами Фомы, тоже пытался шутить.

«Сейчас очень уместно умыть его,— подумал Гармаш.— Вряд ли такой подходящий случай подвернется. И все же не умою... на Фому мне плевать!.. Хочу видеть подлость Павла до конца, до одурения, чтоб уж была боль на всю жизнь.— И еще приходило в голову: — Хорошо любоваться мукóй самого мелкого умола, а человечишком? Узнав его до конца, тем самым узнаю и ее. И тогда уж, Виталия, не умилосердишь меня ничем!»

А Фома все рассуждал, сравнивал, заключал, с увлечением, с восторгом.

— Что с вами, Фома? — спросила Евдоша.— Вы сегодня необыкновенны.

— Он — волшебник! — воскликнула Афросинья Никодимовна.— Он мне нравится. Он напоминает мне какого-то вождя...

— Троцкого! — отрезал Фома.

Афросинья Никодимовна заткнула уши пальцами:

— Гильотиной не шутят, Фома.

И в голосе ее было что-то такое необычное, что все на время замолчали, а Изяслав Глебович, поджав пухлые губы, потупился.

Они пересекли глубокий глинистый овраг и поднялись на пригорок. Влево от оврага тянулись безлесые каменистые холмы светло-серовато-голубые, направо лежало потемневшее, словно издалека чуявшее тучу, море. Позади, за спиной, за Коктебельским заливом, с каждым шагом, точно догоняя их, вырастала гряда гор и чуть ли не у самого моря — высокая скала, вся в металлических отблесках: Чертов Палец.

Воздух был жаркий, неподвижный, справляться с ним было нелегко — особенно Фоме.

— Толкнемся к морю? — спросила Евдоша.

Спустились оврагом и пошли, медленно шагая, по водорослям и камышу, мягкой полосой лежавшим у линии прибоя. Прелые водоросли пахли пряно и тяжело. Курчавый Федор выбирал из водорослей кусочки вара, клешни крабов, пемзу и плоские стертые ракушки. За мысом Хамелеон, к которому они подходили, что-то тяжело и равномерно било. У моря не так припекало и обжигало, как в оврагах, и они без труда обогнули мыс.

С моря дул грубый ветер и бил крутой прибой, он-то и вызвал гул, который они слышали еще за мысом. Пепельно-бурые холмы, крутые, украшенные по скатам светлым песком, окружали Мертвую бухту. Длинный пляж безлюден, никаких следов, даже птичьих. Тонкие плоские гальки кое-где расцвечивали его.

— И это все? — спросила Афросинья Никодимовна, закрывая платком лицо: ветер с такой силой бросал песок, что, казалось, мог выбить глаза.— Нашли куда привести! То-то я целое утро к своему сердцу не могла приноровиться: все ноет и ноет. И ничего отсюда не видать!

— Как — ничего? — спросил художник.— А это? Палец Дьявола, черта, видите? А что такое — палец дьявола? Зов греха. Приглядитесь. Вас к нему тянет? Ну, еще бы! Это ж порождение вулкана, первобытного огня.

— Символятина,— проговорил Изяслав Глебович.

— И борьба против христианства в духе анатолефрансизма,— добавил Фома, беспощадный и к поэзии и к религии.— А на жрецов — христианских или языческих, все равно,— нам плевать! Обманщики.

— Увы, мы часто обманываем себя и других хуже любого жреца,— сказал художник, вставая с дюны.

Федор скатывался по песку, скопившемуся вдоль скал. Художник вскарабкался к нему, и они покатились рядом. Федор, визжа, обогнал отца.

— Экая мерзкая рожа! — проворчал с досадой Павел.— И неужели в него влюблялись? Вы способны, скажем, влюбиться, Евдоша?

— Способна.

Павел пристально посмотрел на нее. Она покраснела. Он ухмыльнулся и, словно поняв то, что он и сам боялся понять, поднялся:

— Нет, не способны.

— Пойдемте-ка домой,— сказала Евдоша.— Туча.

Что-то огромное, в полнеба, невиданной синевы и плотности, бежало над морем,— прямо к ним. Фиолетовые быстротечные молнии беспощадно резали тучу, а она при каждой молнии словно удваивалась в размере.

Не успели они сделать и полсотни шагов, как туча из синей превратилась в черную с белой оторочкой. Оторочка эта ползла по всей туче, словно прикрывая ее снежно-белым покрывалом. Гром был могуч и близок,— у самого локтя.

— Влево, влево! — кричал художник, махая рукой.

Они еле успели вбежать в рыбачью избушку, прилепившуюся к стене оврага.

Тотчас же овраг наполнился струями воды, бежавшими с ярым потрескиванием, точно кто-то бешено бросал костяшки на больших счетах. Вдруг со счетов скинули. Тишина. Ожидание. И над крышей избушки начали скреплять гигантские железные перекрытия. Иногда скреплявшему надоедала его работа, и он принимался дробить скалы. Как он усердствовал! Обломки с металлическим треском и шипением падали в воду.

Вода рычала, билась о берега. В воздухе запахло горелым маслом, точно на гигантский костер опрокинули огромный чан. Стремилось, тащило, влекло. «Лихо, лихо тянут»,— казалось, бормотал кто-то.

А наверху, над этой льющейся и сверкающей нестерпимым блеском водой, опять стали сбрасывать, сметать, сошвыривать, словно кому-то хотелось поскорее сделать свое дело и уехать отсюда порожняком.

— А я, пожалуй, верю вам,— поборов свою оцепенелость, сказала Евдоша художнику.— Чертов Палец умеет грозить. И умеет тешить себя.

— Природа чаще, чем человек, впадает в тоску. А мы себя тешим по-другому. Что это?

Художник присел на корточки, взял с пола камышинку и стал весьма умело наигрывать фокстрот. Фома присел рядом, сложил руки на животе и, подняв вверх голову, необыкновенно искусно завыл по-собачьи — на луну. Какая тоска! Что там в небе? Каравай хлеба, круг сыра или что-либо другое вкусное? Ничего достать невозможно! Тоска.

Захохотали.

А на двери, белой краской, рыбак объяснялся какой-то Люсе в любви, сообщая, что в 1938 году рыбная ловля была удачной и он намерен жениться. Женился ли? Счастлив ли?

С той же быстротой, с какой она появилась, туча голодным и жадным прыжком скрылась за буграми. Глина в овраге заблестела глазурью. Море, цвета рога, дышало медленно. Со стороны степи пахнуло теплым запахом полыни. Где-то далеко заскрипела телега. И слышно было, как пастух щелкнул бичом и неведомое стадо вышло на шоссе, обгоняя телегу. А тяжелые волы, впряженные в телегу, медленно поводя круглыми бесстрастными глазами, сонно оглядывали стадо.

Хорошо! И какой хороший план прогулок разработан Евдошей!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечером сидели на скамейке у дома Волошина, глядя на луну, прислушиваясь к малиновому рокоту моря и вдыхая беспокойный запах водорослей. Павел сидел рядом и изредка, шепотом, повторял Евдоше, что она жен-

щина редкого очарования. Она делала вид, что не слышит, но этот шепот тревожил ее и — привлекал. Фома и Гармаш стояли поодаль, глядя, как за оградой тонкий и большеголовый философ — он же и астроном — Сумас рассматривает луну в большую телескопическую трубу. Время от времени он разрешал смотреть Федору, и мальчик, тяжело дыша от волнения, мокрыми пальцами хватался за трубу, и его невозможно было оторвать.

— Добрый вечер! Вечер действительно добр, как руки матери.

— Вечер добрый, да,— ответила Евдоша.

Это прошла сестра-хозяйка, лилейная красавица, в оранжево-красном платье, зеленоглазая, обладающая даром изысканных сравнений.

Заскрипела наружная деревянная лестница: кто-то спускался с верхнего этажа. Сонный и смеющийся голос крикнул из темноты: «Начерпай воды, Вера!» Подошел поэт Максименко, картавый, с длинной талией, приехавший из Львова. Прапрадед его, казак, сгнил в подземельях Мангута, а дед-чумак умер от лихорадки в степи под Симферополем. Сам он здесь впервые, и скорбные эти холмы и надменное это море ему нравятся.

Сняв шляпу и качая рукой ветку акации, поэт повторил сведения, услышанные только что татарским поэтом Алимовым по турецкому радио: немцы безжалостно бомбят Ковентри. Город и предместья охвачены сатанинским неудержимым пожаром. Тысячи беженцев переполнили вокзалы. И туда — бомбы! Проклятие! Вся Европа в подавленном состоянии духа,— и как иначе? У Максименко большая семья, шестеро малюток, и ему гнетуще противны эти бессмысленные зверства, которые, в первую очередь, калечат детей. Представьте: темные вокзалы, отблески зарев, хрустят под ногами осколки стекла, дрожат крыши, готовые вот-вот обрушиться на головы несчастных... и это в двадцатом веке!

— Папа, я видел на луне кратеры! — подбежав к отцу, закричал Федя.

— Да, да, сынок!

— Они тоже от бомбежки?

Художник, сутулясь и больше, чем всегда, прихрамывая, повел сына спать. Все тот же смеющийся, сонный голос крикнул опять из темноты: «Убавь свет, Вера! Останься!»

Блаженное сознание, что вокруг нее ласковая и сияющая тишина, хорошие люди, хорошее море, наполняло Евдошу до краев, изумляло ее.

Со стороны Святой горы, один за другим, послышались взрывы. Евдоша вздрогнула. Напряженный поток пальцев пробежал по ее руке. Она узнала пальцы Павла и вздрогнула еще сильней. В темноте приятно и доверчиво поблескивали его глаза. Почти вплотную приблизился Фома, наклонился, разглядывая их.

— Беспокоитесь, Евдоша? Почему? А! Взрывы услышали? Так это же не война, а трас — породу взрывают. Взорвут его, голубчика, погрузят в вагонетки,— подвесную дорогу видели? — перегрузят на корабль, отвезут на цементный завод, а затем — нам, снабженцам.

— Спокойной ночи,— пролепетала Евдоша, вставая.— Нет, нет, не провожайте, хочу одна.

Опустив голову, шла она мимо бильярдной. «А нет ли здесь Гармаша? — подумала она.— Впрочем, что он мне? Он у скамейки смотрел в мои глаза, и они, наверное, показались ему неестественно маслянистыми, темными и мало отвечающими тону того дружеского разговора, который я пыталась вести? А чему ж они отвечают? — Она остановилась. Гармаша в бильярдной нет.— Как бьется сердце. Почему?»

С мягким треском, сталкиваясь и расходясь, скользили по сукну шары. Качалась лампа. Желтый кий пронесся над зеленым полем. Лысина украинского поэта показалась в окне. Он шепотом позвал кого-то. «Неужели и у этого — свидание?» Зашуршало. Собаки, рыжая и белая, ласково виляя хвостами, выскочили из темноты. Поэт бросил им по корочке хлеба, вздохнув, повернулся к бильярду: «Мне бить? А кто взял мой кий?»

Евдоше бы спать: размеренный и тяжелый гул моря так помогает сну! А она легкими шагами шла по одной аллее, по другой, пересекла мостик — и молчаливо замерла возле плотно завешенного окна. Ласковый и какой-то благоухающий огонь разгорался в ее сердце. Бездумно и нежно глядела она в освещенное окно. Надо бежать прочь! А она зашла сбоку, отыскивая щель в занавеске, и, упрекая себя в подглядывании, в бесцеремонности, посмотрела.

Гармаш стоял на коленях возле диванчика, на котором спал его сын. Синее с белым пикейное одеяло медленно поднималось и опускалось, но ни лица, ни груди

мальчика не было видно; спал он, должно быть, крепко. Гармаш, охватив ноги мальчика руками, рыдал беззвучно, высоко поднимая плечи, в припадке какой-то жгучей неуемной тоски.

Евдоша, словно резко оттолкнувшись от окна, выпрямилась и, задевая рукой и ногой ветви дрока, быстро вернулась в аллею. Пройдя ее до мостика, она остановилась, вслушиваясь в гул моря, потом вновь направилась к завешенному окну.

Легонько стукнула.

На крыльцо, в купальном халате, нисколько не удивившись ее появлению, вышел Гармаш. Неподвижный фонарь освещал его внимательное и ласковое лицо. Боясь, что он скажет что-то другое, Евдоша торопливо прошептала:

— Я вся больна. Я как расплавленная. Подойдите ближе.— И, не дождавшись, подбежала сама, обняла: — Поскорее, поскорее...— Поцеловала — быстро, простодушно, трогательно. И, отбежав, тихо, про себя, добавила:— И как было б замечательно, если б кто-нибудь указал мне сейчас — что же мне делать? Нет, нет, не вы, Гармаш! Мне так тревожно и жутко!

— Вам что-нибудь наговорила Афро?

— Кто?

— Ну, Афро, которую сопровождает такой ласковый, прирученный Вулкан. Только боги ли они? Впрочем, боги здесь бывают разные, и их много...

— Нет, нет! Мне не до богов и не до шуток! Да и вам, по-моему, тоже, Гармаш! До свиданья!

Несколько раз она пересекла свою комнату, словно ей чудился тут кто-то, кого нужно ощупать руками, задеть ногой. Затем, распахнув окно, села поодаль, в плетеное кресло. Да на ней, оказывается, пальто? Когда это она успела надеть его? Пальто она не повесила, а, оставив его на ногах, задумалась.

— Значит, я уже не люблю того человека, которого в последние дни и мужем избегала называть, а все звала — Виктор Лукич? Но ведь я же высоко о нем думала, казалось мне, так любила его? — И, точно остановившись после разбега перед Виктором Лукичом, она оглядела его мысленно. Он был в светлом, ею много раз глаженном костюме, рыжеволосый, волосы вились на впалых висках, с веснушками возле носа и мускулистыми, коротковатыми руками. От дверей он проходил

к ночному столику, который она называла «мой», и брал там зеркало с белой ручкой. Он рассеянно и беспокойно вперял в зеркало угрюмый взгляд,— последние месяцы он стал мнительным,— и говорил: «Жиров во мне маловато, беспокоит это меня».

Евдоша отчетливо представила столик возле кровати; второе зеркало побольше, туалетное; пудреницу, закрывающуюся неплотно; ниточки пуховки и на самом краю столика шкатулку, подарок матери на свадьбу. Шкатулка облеплена покрытыми оранжевым лаком раковинами и выведенною белой краской надписью «Ялта». Раковинки неприятно выпуклы, похожи на волдыри; шкатулка Евдоше никогда не нравилась,— «пошлота», как говорили в ее кругу,— но что поделаешь, мать! И как бы рано Евдоша ни просыпалась, раковинки поблескивали оранжевато, неприятно, а иногда, особенно после второго или шестнадцатого, отвратительно.

Ночью второго или шестнадцатого, дав заснуть родителям, муж непременно поднимал голову и молча слушал, напряженно багровея. Трепет ожидания и какой-то неясной злости охватывал Евдошу. Ей казалось, что муж смотрит на оранжевые раковинки и читает «Ялта, Ялта, Ялта», получалось: «тая — тая»... нехорошо!.. Во дворе с цепи рвалась собака и однажды, под этот лай, ветром сорвало белье и, как бы во весь его рост, пронесло мимо окон. «Что же, забыли снять или рано еще?» — спросила Евдоша. Муж ее не понял и недовольно засопел, а когда он поднялся, лицо его было потное, раздраженно-довольное, а рыжие волосы на впалых висках развились.

«Неужели ж я все-таки люблю этого человека со скомканным и кое-где разорванным лицом, грязным, как лист бумаги, брошенный в корзину? Кто же он? Кто? Может быть, это лицо такое только ночью: мотаешься-мотаешься целый день, кажется, покою и не жди! Жалко Виктора. А разве жалость — любовь? Напротив, любовь безжалостна: и к нему, и к себе, и ко всем, кто мешает. Кого же я, однако, люблю? А что люблю — несомненно...»

И вдруг, несколько успокоившись при мысли, что она еще во многом не разобралась и что сейчас нет времени разбираться, Евдоша задремала.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Когда все от скамейки ушли, Фома и Павел, найдя, что они несколько застоялись, решили прогуляться перед сном. Павел про себя считал необходимым кое о чем поговорить с Фомой. «Кого он хочет околпачить? — думал Павел.— Или это в нем бессознательно — заглянул внутрь, обнаружил красноречие, и этот момент есть водораздел жизни? А если попросту — болтовня?»

Внутренне, душевно, они оба чувствовали себя отвратительно, по-разному, конечно, и в разной степени. Павла отвращение к самому себе охватило цепко. Пальцы же, державшие Фому, были тонкими и некрепкими, но все же они были, и все же они сжимали сердце, так что порой Фоме и дышалось трудно, ему мерещилась смерть. Вдруг схватит, сожмет — и готов! То, что сравнительно молод,— это пустяки, и двадцатилетних хватает инфаркт, и они умирают от разрыва сердца. Втайне Фома очень боялся смерти и всячески старался не думать о ней. Но как не думать, когда рядом мозолит глаза своими переживаниями Павел? Нет чтоб размышлять о нашей кинокамере, о близких съемках, он, кажись, только и думает о своем предательстве. И слово-то какое гремучее! Вообще-то нехорошо. Явно началась травля Орехова — проработка. Но вот признает Орехов свои ошибки, покается, назовет себя формалистом,— многие так назвались, хоть и не нюхали формализма,— на всякий случай, что, дескать, сочувствует уничтожению этого зла и даже в самом себе,— тогда провозгласят: «Исправился Орехов!» — и дело с концом. Конечно, если начнет горделиво рыпаться, тогда ему подожмут ноги... Нехорошо-то оно, нехорошо, ясно! В другое время Фома прикинулся бы униженным и разделил бы тоску с Павлом, но теперь, после вспышки ораторского дара, он чувствовал себя свежим, не склонным к покаяниям, а больше, пожалуй, склонным к самой широкой жизни и ее наслаждениям. А то что же, на самом деле,— там ошибки, тут ошибки — ной, скули,— где же наконец человек, венец творения, где сладость существования, где?

Говорят, в тот вечер они слегка выпили, но это едва ли правда. Впрочем, пусть и выпили: что ж с того?!

Они пересекли сад и вышли к шоссе на Феодосию возле отделения связи. Две явно влюбленных девушки

выскочили из домика, все еще дрожа почтово-телеграфным ожиданием, торопливо оторвав заклейки, они впились в телеграммы. Ресторанчик закрывали. Гремел болт, и огромный висячий замок безжалостно раскрывал свою заржавленную пасть. В пыль у крыльца уже вкопался сторож с двустволкой за спиной, босой, усатый, в широкой и рваной соломенной шляпе. Какой тени ищет, однако, эта шляпа?

Тьма вокруг лежала незыблемая, равнодушная, жаркая. Внизу было тихо, а вверху, в небе, ветер, по-видимому, укрепился надолго. Тучи теребило, трясло, трепало. Беловатые края черных туч непрестанно менялись. В просвете между туч звезд не было: должно быть, еще выше над тучами стремилась какая-то невидимая мгла, закрывавшая звезды. Только над Хамелеоном ярко горела одна звезда, да и то это, может быть, фонарь пограничников или судно в море, кто знает!

— А не вернуться ли нам и не приготовить ли аппарат к съемке? — спросил Фома.

Отходя от ресторана, они подняли пыль, она ложилась медленно; фонарь у крыльца светился пепельно-бурым пятном. «Вот точно такое же пятно волос было над ее головой, когда она вечером собралась уходить»,— думал Павел, не вслушиваясь в слова Фомы.

— Я спрашиваю: не вернуться ли, Павел?

— Время есть. Плохо. Побродим. Время есть.

— Как — есть время? Утром Гармаш принесет сценарий.

— Сценарий — пустяк.

— Пустяк нам и нужен. В пустяке-то и скрывается самое главное удовольствие. Весь Коктебель, в сущности, пустяк: пустяковые горы, камешки, удовольствия.

— Не уверен. От пустяков должно быть весело, а мне — нет. То есть весело, поскольку я люблю и она отвечает на любовь.

Последние слова Павел проговорил с усилием. «Но — нужно. Нужно, чтобы этот болван понял наконец!»

— Кто?

— Разумеется, Евдоша.

— Ну, это ты брось!

— Конечно, нехорошо по отношению к Виктору. И вдобавок мы против него выступали.

— Где? Когда? — с неподдельным изумлением спросил Фома.

Вопрос приятеля вызвал у Павла еще раз горькие размышления. Он жестко спросил:

— Да ты что, взаправду забыл?

Фома и Павел работали в комбинате, поставлявшем стройкам материалы: кирпичи, цемент, балки, дерево. В комбинат их устроил архитектор Орехов, когда выяснилось, что с проектами у них совсем не ладится и они без толку кочуют из одной архитектурной мастерской в другую, хотя талант в них чувствовался, по словам Виктора Лукича, «довольно внятно». Затем, когда их,— по неопытности,— «пристегнули» к делу о хищениях в комбинате, Виктору Лукичу удалось их «изъять» из дела. Тогда-то они и занялись усиленно фотографией и любительским кино. Они проводили ночи в фотолаборатории комбината и скоро пришли к мысли о создании дешевого портативного любительского киноаппарата. Осуществление такой заявки не входило «в профиль» фотолаборатории, да и к тому же она была непрактична: наша оптическая промышленность только-только зарождалась. Приятели, однако, воодушевились, особенно Павел.

Вот в эти-то дни и произошло выступление Виктора Лукича в Клубе архитекторов против «раболепия» перед римской архитектурой — и даже лакейства, как он бухнул под конец своей речи. Собственно, что руководству комбината до выступления какого-то там архитектора в каком-то там клубе? Комбинат не строит зданий, он лишь направляет материал для построек. Но кто-то прибежал, кто-то шепнул, кто-то даже и крикнул,— что архитектор Орехов посещал комбинат, встречался с Павлом и Фомой, припомнили дело о хищениях и как «вынимали» из него Павла и Фому,— затрещали телефоны, посыпались соображения, и спешно соорудили доклад «О наших задачах в связи с задачами новой архитектуры».

Перед докладом Павла и Фому вызвали к руководителю комбината. Они было решили — о киноаппарате. Оказалось же, что руководитель просил их сказать после доклада два-три слова: о чем им захочется.

— И о киноаппарате? — спросил Павел.

Руководитель кивнул головой. Руководитель, скусывая кончик папироски, небрежно сказал:

— Все, как видите, клеймят Орехова. По-видимому, придется и вам. Скупенько, но чтоб — скульптурно, чтоб враг наши скулы заметил.

И руководитель стиснул скулы.

— Простите, Иван Сергеевич, вы о ком это? — спросил Павел.

— А об вашем дружке — архитекторе Орехове. Тоже мне — горделивый орешек!

— Да ведь мы не архитекторы теперь, Иван Сергеевич!

Руководитель помахал папироской.

— Докладчик тоже не Баженов. Скрипит, но повезет, чтоб не подводить коллектив.

Ну и они «не подвели».

И хотя с того вечера прошло не более восьми дней, а теперь уже трудно понять, чего тогда было больше: испуга перед горланящими, трепета перед соответствующими «выводами», стадного чувства — «дави его!» — или просто чтоб была тишь, да гладь, да божья благодать, чтоб все вокруг были любезны, как были любезны с ними на другой день после их выступления в комбинате: стоило им заикнуться, что хотели бы получить отпуск без сохранения содержания для пробы киноаппарата, как появились путевки в Коктебель, билеты, добрые пожелания,— и с сохранением содержания вдобавок! «И неужто Фома забыл обо всем этом, обо всей этой, в сущности говоря, подлости?» — подумал Павел и воскликнул:

— Забыл ты о нашем выступлении, что ли?

— А и забыл, Паша, милый дружище! Виктор — Виктором, Евдоша — Евдошей! Пойми ж: ей плевать на него, поскольку она влюблена в меня.

— А с чего, собственно, ты взял?

— А ты?

Фома зажег спичку, но закуривать медлил. Спичка горела ярко. Фома обратил на Павла надменные, наполненные победой глаза. Губы его шевелились, словно он не переставал с удовольствием повторять: «Она влюблена в меня». «Экий напористый! И, главное, не лишен известного обаяния. Нет, нет, оттолкнуть его от нее во что бы то ни стало!»

— Ты меня видишь, Паша? Это же факт победы над ней: с головы до ног. А ты какой приведешь факт? Все

двери за тобой затворены. Конечно, скажешь: жал ей руку. И отвечала. Но и мне отвечала. Факт.

Небо тем временем расчистилось, и обозначились буровато-серые контуры гор. По уступам, меняя очертания, точно по ступенькам, лезла туча. А тут, в долине, по-прежнему тьма, жара, запах сена и пыли. И откуда-то вдруг не то детский, не то женский голосок: «Ой, меня укусила собака!» И кто-то солидно, баритоном: «А может, сколопендра? Они сейчас не опасны!» — «Ой, жжет!» И послышались всхлипывания.

Павла всего корчило, но он сказал возможно самонадеяннее:

— Уж раз говорить откровенно о любви, Фома! За мной — давность.

— То есть — ты хочешь сказать?..

— Именно то, что ты подразумеваешь.

— И до замужества?

Теперь ответить возможно скорее и убедительнее. К черту чванство и высокомерие! И уж если один раз, так сказать, в предчувствии любви, покривил душой, то теперь, когда любовь рядом, — сам бог велел! И хотя Фома в темноте не мог его видеть, он игриво покачал ногой и бойко ответил:

— Само собой, до замужества.

— До замужества? Где?

— Возле церкви папы Климента.

— Да ну! Не верю.

— А надо бы тебе поверить!

И что-то тоскливое шевельнулось в груди Павла. Впрочем, ответил он уверенным, звенящим голосом и даже повторил:

— Именно, возле церкви папы Климента.

Незадолго до замужества Павел еще раз объяснился Евдоше в любви,— не прямо, иносказательно. Он уже знал, что она обожает Виктора; ему казалось, что он вряд ли будет теперь встречаться с ней, и он решил сказать ей на прощание «всю разгорающуюся правду». Получились намеки, напряженный смех, недоговоренности, даже от прощального поцелуя она увернулась. Он ушел, браня себя дурнем. Происходило это опять-таки возле церкви папы Климента.

— И что же, обладал? — спросил Фома почти вкрадчиво.

— Обладал,— резко ответил Павел. И подумал: «Не я лгу, нужда лжет».

Фома пошатнулся и присел на низкую каменную ограду, по-видимому, возле магазина, потому что вскоре подошел сторож, который просипел: «Лучше отсюда подальше, граждане, в интересах народа».

Грузовик, дудя и играя желтым светом фар, пытался вывезти из ограды пустые бочки. Бочки грохотали, перекатывались, грузовик, точно погруженный в глубокую думу, тыкался то в ворота, то в ограду. Над темной громадой горы Клементьева тревожно взлетела голубовато-красная ракета: там аэродром; наверное, ночные полеты. В море ей ответила другая.

Фома размышлял. Теперь многое ясно. Приезд сюда Павла, его уговоры: ехать непременно в Коктебель — людей здесь мало, фильм снимать легче. «Стало быть, и кинокамера для отвода глаз? Но почему раньше не сказать? Подозревал, что она мне нравится? Однако и она хороша!» Он дивился на себя, что слова Павла наполнили его всего тоской,— впрочем, удаль, веселившая его весь день, еще теплилась где-то. «И при всем том, эту дулю надо еще проверить. Друг другом, а в любовном деле и дреколья от друга жди. Да и в клубе. Павел выступал двусмысленно: бормотал что-то о древнем греко-римском влиянии на шедевры Владимиро-Суздальской Руси — Кидекшма, Покров-на-Нерли, Дмитриевский собор... Паша, дуся! Что же мне, по-твоему, отказаться от вспыхнувшего во мне ораторского дара? Сказать — все это вспышка, преувеличенно громкая, бессодержательная болтовня, а не итог сложнейшей внутренней работы. Дуся, невозможно! Попусту стараешься, дуся, тщетно!»

— И при всем том, Фома, пора сказать ей напрямик: да, Евдоша, мы отреклись от товарища и друга!

— Отреклись? Малыши для того и устроены, чтобы отрекаться? У дикой козы или зайца — ни когтей, ни зубов, то есть в смысле обороны. Все спасение в ногах. А у нас — в языке. Кроме того, он, поди, и сам отрекся.

— А если — нет?

— Отстань. Для меня Виктор Лукич и его «Рим» — происшествие со стороны. А я влюблен. И баста! На все, ради любви, способен. Ты из-за какой-то там мнимой «подлости» не осмеливаешься, а я — вполне.

— И в отношении Виктора Лукича?

— Пустое!

— Он нас много раз сильно выручал.

— Ей-богу, не помню. За один день угощенья — месяц кланяйся?

Фома сказал это искренне, просто, нисколько не приподнятым голосом. Будто он действительно забыл.

Вдруг он весь задрожал, восхищаясь новой своей мыслью:

— Ты расположен, чтоб я отступил? Изволь, дуся, дай мне только веское доказательство. На моих глазах — постучись к ней в окно и влезь. И будь уж окончательной свиньей — останься там.

— У Евдоши? — задыхаясь, спросил Павел.

— Именно.

— Не потому, что я влюблен и жажду встречи, а чтоб — доказать тебе? Фома, это же еще — подлость?

— Эка!

Они проходили мимо узкого дворика, оканчивающегося навесом. Под навесом на крошечном очаге, сложенном из камней, несмотря на позднюю ночь, варили варенье. Объяснение, впрочем, простое: днем все на службе.

Фома глубоко и жадно вдохнул запах:

— Не узнаю. Для кизила — рано. Разве — айва?

Медный таз с длинной деревянной ручкой лучезарно поблескивал. Варенье еще не кипело, и поверхность его была рогового цвета, словно лощеная. Пожилая женщина в светлом платье, перетянутом кожаным ремнем, отойдя в сторону, глухо и надрывно кашляла. На камнях, подкладывая щепочки в очаг, сидела девочка лет двенадцати. Неотрывно глядела она на таз, глотая слюну. Лото, лежавшее у нее на коленях, вздрагивало.

— Успокой меня, Паша! У меня воля громадная, но развивается с непрерывными усилиями: ее подталкивать надо, Паша! Кроме того, впереди ответственная работа: съемки, аппарат, сценарий. Полезешь в окно?

— Отстань!

— И не подумаю. Я волнуюсь, Паша. Колеблюсь.

Они постояли у дворика и молча повернули обратно. Лузга подсолнухов возле скамейки затрещала под их ногами.

— Мне почудилось, что ты будто сказал что-то, Паша?

— Ничего я не говорил, Фома. Да и что говорить?

— Как — что? Ты обязан рассеять мою подавленность! Ты продолжаешь утверждать, будто она была твоей любовницей?

— Ну, продолжаю,— глухо отозвался Павел.

— Вот я и требую: докажи. Раз ты меня потревожил — успокой! Я теперь так понимаю: время приезда у вас было согласовано? Согласуй же, Паша, и место соединения.

— Ты циник, Фома!

— А не циничней ль меня тот, кто утверждает, что — обладал?

— Надоело. Идем к окну.

Грузовик с бочками прогрохотал наконец мимо них по невидимому в темноте шоссе. До нижних веток лоха стлалась пыль от другой машины, пробежавшей мимо, быть может, час или два назад. Сейчас пыль закроет кустарник и, смешавшись с запахом дымка от варенья, пройдет по сердцу нежным-нежным трепетом. «Но почему нельзя наслаждаться только этим трепетом? — думал Павел. — Почему, подло солгав один раз, непременно и торопливо нужно лгать второй, третий, и так — без конца и края?..»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Евдоша проснулась от нестерпимо сильного благоухания лесной земляники. Она лежала с закрытыми глазами. Аромат ягод напомнил ей блуждание по лесным опушкам, маленькую, крашенную отцом корзинку, торжественную варку варенья. Слышалось жирное клокотанье кипящей сладкой жидкости, потрескивание дров под кастрюлей. «Неужели запах настолько способен распоряжаться мной? — подумала она.— Откуда в Коктебеле быть землянике и — лесной?»

Она привстала и, облокотившись, оглядела комнату. Запах земляники не исчезал, а усиливался. Необыкновенно приятно вдыхать его!

Рядом с серовато-голубым квадратом окна она увидела на стене гравюру. «Убей меня бог, но гравюра здесь прежде не висела! Впрочем, и это хорошо». Только она произнесла «бог», как поняла, что на гравюре изображен бог Вулкан, или, по-гречески, Гефест. Бог с мо-

лотом и щипцами в руках склонился, смеясь, над горном, не глядя на нагую женщину, стоявшую в дверях кузницы — без стыда и трепета. Винно-красный свет, неизвестно откуда, лился на плечи и грудь нагой женщины, превращая ее золотистые волосы в медные. Лицо ее знакомо Евдоше, и, однако, она не могла припомнить ее имени. И еще казалось, что для бога она уже утратила свою приятность, и,— поразительно,— это не раздражало ее, а только смешило. «Впрочем, и это — хорошо».

Гравюра окантована белой бумагой с узкой золотой полоской, желтовато-прозрачное стекло всегда придает гравюрам такую привлекательную многозначительность. Но уже не к гравюре тянуло Евдошу, а к окну. Она поднялась, сбросила одеяло и, осторожно шлепая босыми ногами по теплому, недавно окрашенному деревянному полу, подошла и распахнула створки.

Прежде всего ее поразила пылающая винно-красная тишина моря.

Рассвет обозначался не воспаленным востоком или гордо сжатым западом, а ровным радостно-изумленным сиянием всего залива,— вплоть до горизонта, где далеко-далеко можно было разглядеть тающий дымок корабля, а то и просто облачко.

Море так неподвижно и нарядно светилось, словно ему, кроме свечения, и других занятий нет. А Евдоша, точно ожидая от моря решения своей участи, напряженно всматривалась в него. Оно явно вздуто у края залива, там, где гора Кок-Кая упирается в море крутыми своими боками,— возле электростанции и подвесной дороги с ее вагонетками, перевозящими трас, неподвижно застывшими сейчас в воздухе.

Тут волна взметнулась и окоченела, словно ее схватила судорога. На пенистой вершине этого морского кургана стояла и улыбалась золотоволосая красавица, та, что на гравюре, та самая, имени которой Евдоша никак не могла припомнить. И чем сильнее вглядывалась в нее Евдоша, тем больше она казалась ей знакомой, так что под конец Евдоша совсем рядом стояла с ней,— одновременно и на волне и подле волны, на берегу и в своей комнате у окна и гравюры. Мягкий и томный запах морской волны и запах лесной земляники, уже совершенно непонятно откуда струившийся, и улыбка нагой женщины — все это радовало и привлекало Евдошу.

На черепичной крыше электростанции, почти касаясь головой вагонетки с трасом, сидел Вулкан, скуластый, слегка рябой, стриженный в скобку, как мужик в старину, с челочкой, в кожаном прожженном, рыжем и покоробившемся фартуке. Беззвучно хохоча и косясь на Евдошу, он поигрывал молотом и щипцами, и босые его поги касались воды.

— Кто вы? — спросила Евдоша.

Нагая женщина ответила:

— Мы — боги, с вашего позволения, милая.

— Если вам действительно важно мое позволение, то его не будет. Я отрицаю богов.

Вулкан тусклым басом, не спеша, проговорил:

— Ясно, она — кантианка. Кант утверждал, что и без бога человек обладает высшей нравственной нормой.

— Кант? — спросила, смеясь, золотоволосая.

— Ну да, Кант.

— Ах, милостивый Зевс! Но кто же теперь, Вулкан, кроме тебя, читает Канта? И что значат философы вообще, когда последний из великих метафизиков, Бергсон, стоит сейчас в очереди за хлебом в Париже с желтым знаком еврейства на спине. Кант! Ха-ха! — И, обращаясь к Евдоше, золотоволосая сказала: — Его зовут Вулканом, а на нашей старинной родине его звали Гефестом, меня — Афродитой. Рим меня назвал Венерой, но мне не нравилось это имя. Но прошло время, Рим нашел себе другую богиню, и мы с супругом отправились бродить по свету. Вы спрашиваете себя, почему вы не смогли вспомнить моего имени? А между тем Вулкана вспомнили сразу. Да потому, милая, что вам не хотелось вмешивать в ваши любовные затруднения меня, существо, так сказать, вам постороннее, хотя именно я завариваю, варю и развариваю любовь, а он, Вулкан, варит только металлы. Чем же, однако, я могу помочь тебе, дитя?

Улыбка Афродиты показалась Евдоше какой-то уж чересчур снисходительной, и она сухо сказала:

— Простите, но я не прошу никакой помощи.

— Слышишь, богиня любви?— И Вулкан весь заколыхался от беззвучного смеха.— Ты ничего не знаешь и не понимаешь в современной любви, Афродита. Я же понимаю. Я — мастер. Я плавлю и кую металл. Люди делают то же самое. Ее любят четверо, и она не знает, кого выбрать. Первый архитектор, строит здания.

Двое — добывают ему камни, металл, лес. Четвертый — расписывает, венчает, некоторым образом, их творения. Четверо, ха-ха! Как быть? Ты растерялась, Афродита? Я — нет. Я — знаю. Эта женщина не признает богов? Очень хорошо. Значит, она сама себя считает богиней. Очень хорошо! И — раз она богиня — пусть любит всех четверых сразу. Ха-ха! Ее хватит. Она здоровая.

Евдоша в негодовании ошеломленно смотрела на Вулкана.

Золотоволосая, смеясь, сказала:

— Пожалуй, ты прав. Но тут опять этот проклятый Рим. Они, в Москве, вздумали его воплотить снова,— и не только в зданиях, но и в его первоначальной суровой нравственности. А ты хочешь, чтоб она любила четырех сразу?!

Вулкан ответил:

— А кто это узнает? Она должна каждому из четырех говорить, что любит только его одного. Женщина, я награждаю тебя величайшим из наслаждений, придуманных богами,— ложью. Без лжи жизнь убога и ядовита. Ложь делает ее широкой и горделивой. Ну, возьмем, к примеру, твое искусство — архитектуру. Ты украшаешь дом мрамором, бронзой, резным деревом, цветами, животными, статуями ласковых богов, а на самом деле ты украшаешь его ложью. Что внутри дома? Болезни, предательство, вероломство, бездушие и, как венец всего,— жестокая и длительная смерть. А дальше? Вонь, грязь, слякоть, могила, над которой ты же воздвигаешь памятник. Говорят, я кую металлы. Не верь, дитя. И моей супруге не верь. Я кую лучший металл земли, в котором с легкостью плавятся все ее металлы,— ложь! И я научу тебя, дитя, этому величайшему из наслаждений.

— Простите, вы так говорите о лжи? — спросила, вся дрожа от негодования, Евдоша.

— Да, о лжи.

— И вы еще смеете себя называть богом? Так что же в сравнении с вами люди? Сверхбоги, что ли? Они бегут от лжи!

Матово-ржаво-бурое лицо Вулкана изобразило недоумение. Афродита, качнувшись на волне, сказала примирительно:

— На лжи, и только на лжи расширился и укрепился Рим. Кому, как не богам, знать это?

— Отвергаю Рим! — воскликнула Евдоша.

Вулкан опять захохотал:

— Ого! Отвергает Рим?! Ого-го-о! Милая, скитаться тебе по свету, как ныне скитаемся мы.

— И буду скитаться!

— Ого-го-гоо!— грузно хохотал Вулкан, и вагонетки с трасом возле него качались.

Афродита сказала еще значительней:

— Напоминаю, лгать легко. Мужчины крайне самолюбивы. Каждому говори, что любишь его одного,— и победа! Разве они угадают?

— Еще и как угадают,— возразил, смеясь, Вулкан.

— Ни за что не угадать!

— Испробуем?

— Испробуем.

— Я разделюсь на четырех. Уверяй каждого, что любишь. Посмотрим, сможешь ли ты с убедительной нежностью передать свою любовь тому, в кого я спрячу свое подлинное сердце.

— Мотивация твоя сложная, но — попробую!

Вулкан спустился с электростанции, распался на четырех совершенно одинаковых мужичков с молотами и щипцами, с фартуками и ремешками на голове. Мужички проворно прыгнули в вагонетки, и те, поскрипывая и роняя куски траса, устремились в горы. Светло-голубая, поперечная волна с Афродитой на вершине, переливаясь и погрохатывая галькой, которую, очевидно, несла с собой, покатилась за Вулканами.

Боги, забыв об Евдоше, скрылись где-то за перевалом. Укатилась волна, и море из винно-красного стало красновато-серым. На дороге, у моря, поднялась прогорклая пыль, и в комнате опять сильно запахло лесной земляникой! «Ба-а! А ведь Афродита-то — Афросинья Никодимовна!»

Евдоша проснулась.

Гравюры у окна уже не было. Хлопала форточка, и через нее-то и несло духами Афросиньи Никодимовны. Золотистые кудри ее колыхались, лицо было возбуждено:

— Евдоша, я вас разбудила?

— Какая вы высокая,— прошептала Евдоша.— Будто на волне.

Ее разморило. И хотя она отлично понимала, что сон кончился, ей казалось, что он продолжается. Покачивался фонарь возле столовой, и тусклый свет почти доходил до ее окна. И от этого света глаза у Афросиньи Никодимовны тоже были тусклые, с лудяным блеском. Странно тоже, что видно, как на ее лице лупится кожа от солнечных ожогов. И покачивается она сонно, томно.

— Будто на волне,— повторила Евдоша.

— Я камушки подставила: вот и качаюсь. Вожусь с камушками возле вашего окна, ночь, поздно, неприятно; когда бежала сюда, меня остановили: «Куда, кто такая?» — посмотрели в лицо, немедленно пропустили: «А, вы от Изяслава Глебыча?» А что им Изяслав Глебыч!

— Действительно,— вяло прошептала Евдоша.— Я вот, например, абсолютно не знаю, кто он — этот ваш Изяслав Глебыч?

— Моя усмешка. Всюду, где я с ним ни появлюсь,— усмешечки. Кричим о цивилизации, а в общем-то — дикость и варварство. Ну, жена у него есть! Ну, я — любовница! Так над чем же ухмыляться? Восхищаться бы, если у вас хватает цивилизованности и вы презираете предрассудки!

— Собственно, тут восхищаться нечем, но не для этих же сообщений вы прибежали сюда в два часа ночи.

— И для этого! И! Понимаете? Тут «и» вовсе нельзя отбросить! Я говорила с Москвой по телефону, было брошено с той стороны два-три слова, Изяславу Глебычу показалось, что маловато, совсем маловато. Он обращается со мной иногда как с метровкой — что хочет, то мной и измеряет. Но поскольку я — усмешка, а не законная, я терплю, хотя он мне порой и непонятен. Но в данном случае я вернулась на телефон из-за вас.

— Ночью? Из-за меня?

— Ну при чем тут ночь, когда бессонница и вообще черт знает что!

Пожалуй, она права. С непонятно презрительной силой светит фонарь. Тучи рассеялись, но звезд еще мало, впрочем, те, что блестят, отражаются на кудряшках Афросиньи Никодимовны: по-видимому, она смазала их

чем-то целебным на ночь, а тут — вставай, беги на телефон! Зачем? Спать бы всем. Евдоша зевнула.

— Вы еще и зеваете! — воскликнула в возмущении Афросинья Никодимовна.

— Почему бы и не зевать?

— Да вы что, на самом деле ничего не знаете?

— Война?

— Ну, войны пока нет, и в то же время, в некотором смысле, и война.

До восхода еще совсем далеко, но многоцветное небо уже начало обнажаться. Видны руки Афросиньи Никодимовны, выпачканные известкой. «Виктор, по-видимому, заболел? Или родители? Хорошие все-таки люди — два раза бегает ночью к междугороднему...» Сердце Евдоши наполнилось нежностью:

— И почему вы у окна?

— Ночь. Все равно. И ждет Изяслав Глебыч. Ночь, — прошептала Афросинья Никодимовна вроде бы в смущении. — Вы знаете, что такое «вапа»?

— В старину — все краски так называли, а нынче — лишь красную, меловую. А что?

— Значит, глупость. Я Гармаша спрашиваю: «Как вы себе представляете Евдошу?» Он отвечает: «Вапа». Ну, я так и уразумела, что — глупость, школьное прозвище.

У Евдоши не было такого школьного прозвища. Да и о школьных ли прозвищах толковать в два часа ночи? Впрочем, пусть ее! Она мила со своей болтовней.

— Я Изяслава Глебыча похлебкой из гусиных потрохов накормила — пусть спит,— и на телефон. Мое положение сложнейшее из сложнейших. Папа — в Москве, жена Изяслава — в Ленинграде, а я... Мой папа — крупный человек, вдруг выяснит, что я здесь с Изяславом Глебычем? Ведь всюду уже докатилось приказание, чтоб верность женам блюли.

— Чье приказание?

— Рима.

— Какого Рима?

— А вашего,— прошептала вдруг Афросинья Никодимовна, положив руки на подоконник. Глаза ее говорили: «Ужасно жаль и неприятно, жду ваших упреков, а что я могу поделать?» Вашего! «Вапу» я это ради видимости, чтоб подойти ближе к теме, имея в виду Рим. Как это мне Изяслав Глебыч сказал строжайше:

«Повтори разговор, узнай точно», — меня как будто обожгло. Думаю: «Распласталась, миленькая, на пляже, а причина-то, вот она!..»

— Простите, Афросинья Никодимовна, я бы хотела объяснений!

— Да я только тем и занята, что объясняю. Вольно вам не понимать меня! Словом, прихожу первый раз на телефон. То, се, пятое, двунадесятое, чувствую, папа ни о чем не догадывается, осталось мне в Коктебеле две недели, авось, думаю, вывернусь. Лишь бы на месте не поймали, а дома как-нибудь отбрешусь. Домашние, между прочим, спрашивают: «Следишь? Архитектора Виктора Орехова в «Советском искусстве» — под орех».— «Мне, говорю, эти ваши газетные кроссворды решать некогда, у меня, чистосердечно говоря, все обнаженное сожжено солнцем». И пошла себе спать. Прихожу. Мы с Изяславом Глебычем в соседних комнатах — на всякий случай. Он выходит ко мне в трусах и говорит: «Этого так оставить нельзя, раз — жена».— «В каком, спрашиваю, смысле?» — «Пожалуйста, без рассуждений. Дело серьезное. Поди и узнай подробности». В наших отношениях остается одно: быть мягкой. Иду. Еще звоню. И трепещу, потому что в час ночи все разговоры с Москвой прекращаются до утра. И дома, к тому же, спят. Тррр. Пожалуйте в кабину. Кричу: «Чем, говорю, Орехов-то отличился? Заинтересовали вы меня». — «Да выступил, отвечают, против Рима». — «Ну, и очень хорошо, говорю, на кой лях нам Муссолини, хватит и этой подлюги Гитлера», то есть в смысле договора. «Да не современного Рима, а Древнего».— «Тем более, кричу, на кой он нам прах». — «А на тот прах,— отвечают мне вполне серьезно,— что в архитектуре Древний Рим приказано догнать и перегнать».— «Шутите!» — «Хороши шутки, когда Орехова вся архитектурная Москва, до последнего штукатура, прорабатывает. Резко и круто выступил против Рима и всего классического наследства. «Мы сами-де, в некотором роде, классики и оставим немало наследства, и нечего нам перед мертвыми тенями пресмыкаться!» Ну я — к Изяславу Глебычу. Он уже спит. Я к вам. Думаю, надо успокоить... Кажись, плохо я сделала?

Помертвевшими губами и боясь пошевелиться, чтоб не закричать, Евдоша отчетливо сказала:

— Напротив! Очень хорошо, что пришли. Я вам признательна.

— В самом деле?

— И спасибо милейшему Изяславу Глебовичу за внимание.

«А в общем-то — зачем он тебя два раза посылал на телефон? И ко мне, поди, тоже он послал? Любовь? Боязнь скандала? Или боязнь, что познакомился здесь с подозрительными личностями? А то и не провокация ли? Нет, нет! Афросинья Никодимовна не из тех. А Изяслав Глебыч?.. Впрочем, что я знаю? Но, боже мой, есть же какое-то чутье и надо же кому-то верить? И чего этому Изяславу Глебычу меня бояться, если он не побоялся поехать со своей возлюбленной в Коктебель?»

— Карадаг не отменяется? — донеслось откуда-то из темноты.

— Какой Карадаг?

— Прогулка. У вас ведь план прогулок, Евдоша?

— Ах, нет, нет! Впрочем, это ведь на послезавтра?

— А я-то все путаю...

Откуда-то послышались жалкие всхлипывания. «Кому плакать в такой час ночи? Ведь теперь, поди, уже три?» — подумала Афросинья Никодимовна, остановившись. Берег был безмолвен. Взмахнула крылом птица над белесой оградой и начала виться почти неслышно и почти невидимо. Голубь. Какой-то зверь его потревожил? Проснулся от шороха сторож, стукнул в стену кулаком и, опять прислонившись к ее теплу, задремал. Всхлипывания утихли. Афросинье Никодимовне стало совсем не по себе, просто хоть тоже разревись. И вдруг ей вспомнилось лицо Изяслава Глебовича, в последние дни ставшее каким-то невинно-вдохновенным. И вовсе не к лицу ему это выражение! Его должно бы наполнять что-то совсем другое. Да, согласна, люди здесь встретились увлекательные, но раз у тебя любовь и раз ты решился любить, то и люби.

С этими мыслями Афросинья Никодимовна нырнула на боковую дорожку. Ей почудились шаги. «Опять разговоры, да ну их!» И она, скинув туфли, босиком, стараясь не шуршать все еще теплой галькой, побежала через сад домой.

Фома и Павел шли молча. Казалось, они внимательно прислушиваются к тому, что у каждого из них на душе. Губы Фомы неслышно шептали: «Тебя-то, брат,

она отшвырнет судорожно, а вот относительно меня... дивлюсь на себя, что так долго зевал!» Павел думал: «И с чего это во мне вроде вина какая-то перед ней? Мне фортунит, а я твержу: «Что вы, что вы!» Допустим, выгонит? Но выгонит-то ведь потихоньку. Кричать ей, что ли? Фоме все равно совру...»

Из кустов внезапно выскочил кто-то широкий, мягко шагающий и тяжело дышащий, держа на уровне груди фонарь «летучая мышь». Фонарь светил и неуместно и неприятно: здесь запрещают ходить у моря с фонарями, а этот размахивает! Фонарь освещал рубашку с вышитой грудью и беспокойное бледное лицо. Приятели сразу узнали его. Это был Изяслав Глебович.

— Добрый вечер,— сказал поспешно толстяк.— Трех татар не встречали? С корзинками? Рыбаков? Рыбки хочу перехватить.

— Тьма же, кого разглядишь? — ответил, ухмыляясь, Фома.

— Да припекает,— сказал невпопад толстяк, вытирая полотенцем лицо и им же вытирая фонарь.— Жесточайшие часы, заметьте. И в небе звезды словно растаяли, а? Пушкина бы сюда, Пушкина!

И он повернул к морю.

— Похоже, спекулянт? — сказал тихо Фома.

— Чем только спекулирует-то? Не по-часу нам с ним беседа, Фома.

— Ну, уж раз обещал — делай. Мы почти у окна.

— Я не о том, а здесь — решено, Фома.

И Павла закрыли кусты.

Голова его показалась на уровне подоконника. Постучал в раму. Приблизил лицо к стеклу. Легонько провел по нему пальцами. И отодвинулся: дом был наполнен твердой и даже жесткой тишиной.

— Какие твои впечатления, Паша? — прошептал Фома.

— Нет ее.

— В три часа ночи?

— Три, а ее — нет. Пойдем спать.

— Но это — свинство!

— Ну, вот еще. Она женщина эмансипированная.

— Но притом — моя. Я тебе, Паша, не верю. И если она тут, и я перелезу через подоконник. Ты не жди.

Фома, встав на камни, мельком подумав при этом — невесть когда успел их подставить Павел,— заглянул

в комнату. Чуть белела кровать, явно пустая. Он зажег спичку, заслонив ее ладонью. Осветил цветы на подоконнике, пудреницу, нитки и грибок для штопанья.

— С Афро, поди, где-нибудь,— сказал весело Павел вернувшемуся Фоме.— Недаром же толстяк рыскает: ревнует. Пойдем-ка спать.

А чувствовал, что не до спанья ему. Солгав Фоме, будто был любовником Евдоши, Павел оттого еще более поверил в ее целомудрие, еще больше полюбил ее, еще больше гордился своей любовью к ней, хотя о себе-то думал насмешливо, если не презрительно.

«Как же дальше? Пора открыть ей и свою ложь, и свою любовь? Одновременно — не иначе? А какое найдешь оправдание лжи, кроме подлости? Ну, а дальнейшее известно: ее любовь, если она есть,— есть, есть, несомненно!— так же несомненно ослабнет, когда она узнает о моей лжи...»

Он ложился в кровать, вскакивал, прохаживался по комнате, опять ложился. Фома спал сладко, умиление перед самим собою ясно обозначалось на его лице.

Евдоша после ухода Афросиньи Никодимовны поспешно оделась и пошла, несмотря на ночь, к отделению связи, благо оно неподалеку: сразу же за оградой дома отдыха. Да если бы и далеко? Открывается-то оно в восемь утра!

Кружа вокруг унылого бледно-серо-желтого здания, она трепетно думала: а работает ли утром линия на Москву? Разве заказать «молнию»? Хватит ли тогда денег на обратный билет? Э, хоть пешком, лишь бы поговорить немедленно с Виктором! И она вдруг поняла, почему ей вначале был так неприятен Гармаш,— боялась, что и Виктор, отступившись, подобно Гармашу, от своих творческих принципов, так же, как тот, исхалтурится, опустится.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

План прогулок — тоже план, и как всякий другой, и его надо выполнять.

Они направились в горы, когда беспокойный и тоскливый день почти близился к концу. Но было еще совсем жарко, и струи воздуха, стремясь кверху, пронизывая друг друга и точно ловя, исправляли резкие очертания гор, как бы стараясь сделать их более простыми и до-

ступными непривычному глазу — особенно глазу Евдоши: она ведь впервые видела горы вблизи.

Острая тоска терзала ее, но она зорко,— может быть, больше, чем за горами,— следила за своей тоской, чтоб та не вырвалась наружу. Лицо у Евдоши было ясное, благоговейное, на слова спутников она старалась отвечать нежной, даже сладкой улыбкой,— «будто Изяслав Глебыч», который шел неподалеку и действительно сладко улыбался. Часто, вполголоса, простодушно, а порой и трогательно-простодушно, обращалась она с вопросами к Гармашу.

Художник отвечал ей учтиво, немножко холодно, видно занятый тоже своими и тоже не совсем веселыми думами; иногда он рассказывал о местах, через которые они проходили, короткие легенды и,— если Федя убегал вперед,— не всегда пристойные. По этим легендам выходило, что Карадаг занимал огромное место в греческой мифологии,— а ведь он не занимал решительно никакого! И это было б очень забавно, кабы сердце у всех билось ровно, а билось ровно оно, пожалуй, только у одного Фомы, несмотря на то что он часто забегал вперед, размахивая своим киноаппаратом и устанавливая его на треножник. Утром он получил сценарий Гармаша, и теперь, согласно, как он утверждал, сценарию, ему нужно было снять много и крупным планом Афросинью Никодимовну. Та верила ему и не верила, но на всякий случай делала большие, пытливые глаза и натянуто смеялась.

— Будьте, Афро, заразительно веселы! — кричал Фома. — Все должны видеть на вашем лице сытость. Сытости прошу!

— А, собственно, при чем тут сытость? — мягко спрашивал Изяслав Глебович.

Возле домиков рабочих трасового карьера, откуда, пересекая овраг, мимо Святой горы, начинается дорога к Чертову Пальцу и Карадагу, остановились. Мужчины пошли искать колодец. Федя кормил со своей лопатки корочками цепную собаку. Афросинья Никодимовна присела на камень.

— Замучил меня мой Изяслав Глебыч,— громко пожаловалась она.— Зачем он привез меня сюда? Любовь? Но ведь любовью, и с большим успехом, можно заниматься и в Москве. Родители мне верят, а в любовном

деле врать труда не представляет. Я даже здесь и гербарий собирать не могу: так волнуюсь.

— Вы же говорили, что родителям никак не догадаться,— сказала участливо Евдоша.

— Ах, не в родителях дело! И хоть бы раз обратился ко мне: «Афро, я хочу с тобой посоветоваться!» То он ждет каких-то татар, то на окрестность смотрит,— и еще в бинокль. Я просто в отчаянии, Евдоша! Почему в бинокль? В такое-то отравленное время! Боже мой, а еще над Пушкиным работает!

— Пушкину нравились неожиданности.

— На бумаге другое дело. Что же вы мне посоветуете, Евдоша?

— Поговорите с ним напрямую.

— Легко вам! Вы сама такая прямая.

«Ну, положим, не совсем»,— подумала Евдоша и повернулась лицом к Святой горе.

Зеленая, вся в дубах, закрывающих даже вершину, Святая гора из-за тонкой дымки, ее укутывающей, казалась очень далекой. Но вот откуда-то прохладно дохнул ветер, и мгновенно гора так приблизилась, что можно было почти дотронуться до ее деревьев. Евдоше пришлось протереть глаза, настолько это видение было сильным и действенным. И голоса наверху, у карьеров, слышны необыкновенно отчетливо, и даже слышно, как шуршит бумажка, когда там рабочие свертывают папироску.

Рассеянно слушая жалобы Афросиньи Никодимовны па «расплывчатые отношения», Евдоша перевела глаза со Святой горы на холмы внизу, которые они миновали полчаса назад. И холмы,— голубые, глиняные, съеженные, точно иззябшие,— тоже приблизились к ней. По гребням их торжественно шли большие жирные гуси.

Рядом с домиками рабочих покачивается стальной трос, тот самый, что она видела во сне. Вверх лезут пустые вагончики; навстречу спускаются полные голубого камня... И не хочется покидать запах и плеск моря, хотя и знаешь, что за перевалом опять увидишь его светозарную и радостную гладь, его изнеженный плеск и блеск, опять оно покатится к тебе, лепеча ласково и дружески. Хороша дружба, хороша будет и ночь в ущелье на склонах вулкана, малодоступных и крутых, медленным и таинственным шагом спускающихся к морю... И хорош

Федя со своим раскрашенным «шанцевым инструментом» времен гражданской войны.

— Афро!

— Да, да, жду, жду.

— А ведь там, куда идем, есть Разбойничья бухта.

— Говорят.

— И если Разбойничья, то там и клады? — Изяслав Глебович вдруг раскатисто засмеялся.

Он вернулся вместе с другими мужчинами, размахивавшими потными бутылями и бидонами. Федя стал подавать им свертки и рюкзаки. Как всего много! Сестра-хозяйка снабдила их рисом, маслом, хлебом, бараниной. Кроме того, Фома купил в сельском кооперативе горшок и пшена, уверяя, что сварит в горах чудеснейшую кашу, а Евдоша, любившая кофе,— «чтобы прогулка была правдоподобней»,— взяла свой кофейник, и кофейник этот, длинный, медный и тяжелый, тоже нес Фома. И, вдобавок, на нем — киноаппарат, треножник, запасные пленки, не говоря уже об обязанностях кинооператора. И ему все нипочем! Он по-прежнему гордый и важный.

— Я люблю, дуся, материальные тяжести,— сказал он,— и кроме того, когда пот слепит глаза, не приходится решать душевные проблемы, дуся.

Дорога вилась среди высоких и тихих кустарников, закрывавших вид и на долину внизу, и на Святую гору вверху.

Гармаш спокойно обратился к Фоме:

— Шагов через двести — триста будет поляна, чудесная для съемок. Прибавьте шагу, а мы убавим и подойдем, как раз когда вы установите аппарат.

— Мне с ним? — спросила Афросинья Никодимовна.

— Крупный план всегда с ним. Ты, Федя, тоже с ними? Дело.

Подождав, когда говор, дыхание и шаги утихли, Гармаш, глядя на Евдошу, сказал равнодушно:

— Перед уходом зашел на почту. Нате-с, опять письмо от Виталии Осиповны! Просит подыскать комнату: ей, видите, срочно по неотложному делу,— слышите, по делу, а не потому, что у нее муж и сын здесь,— нужно в Коктебель. Путевку же достать невозможно — все розданы.

Он перевел глаза на Павла. Брови [Гармаша] на мгновение сдвинулись

— Вот у вас, Павел Ильич, в деревне знакомые есть, комнату не сдадут ли? — громко спросил он.

Павел небрежно покачал головой, а Евдоша воскликнула:

— Сейчас сезон, все вокруг забито!

— Я тоже телеграфировал, что забито, а впрочем, как хочет.— И он добавил: — Пожалуй, я их догоню: без меня не ту полянку облюбуют. Поляночка та с легендой: на ней ревнивый муж любовника своей жены зарезал. И тремя ножами: начал с самого тупого, а кончил самым острым, которым до того брился. Греки — народ изысканный. Фома-а-а!

— Здеся я! — отозвался Фома.

— Охота к жизни у Виталии Осиповны огромнейшая. Меня она восхищает,— заметил, уходя, Гармаш.

Павел стоял неподвижно. Лицо его было мертвенно-бледно. Он то приподнимал, то опускал все еще потную бутылку.

— Устали?

— Он — подлец, бессердечный и беспощадный подлец! Он сам вызвал ее сюда.

— Кто?

— Гармаш, кто! И она тоже — бессердечная и беспощадная. Одной они породы! Принципиальные, ха-ха!

— Плосковато, Павел, плосковато, дорогой.

— Он ее сам зовет сюда, Виталию эту, а она ради него готова на все. Я ее знаю! А вы его не знаете. Он же — подлец. И она тоже. На вид такая тонкая, небесная. Приедет, увидите: она и вас будет стараться обвести! Тягостные люди! Преступники, в общем-то, уголовные.

Эта фантастическая и нелепая ложь, вырвавшаяся совершенно внезапно, была для него самого ужасающе неприятна. Сердце так билось, что он едва стоял на ногах. А впрочем, ему наплевать сейчас на все! Он отвоевывает себе счастье этой прогулки, ночь, которая, несомненно, будет прекрасной и запомнится на всю жизнь. И если Евдоша полюбит, она все простит, любую ложь, любое преступление даже! И тут же он сам себе говорил, что он негодяй, опустившийся и жалкий, ядовитый и тягостный клеветник. Но что поделаешь, если она такая красавица, предельная, напряженная!

— Но черт с ними, черт с ними! Довольно. Я, кажется, стал уже говорить жалкие слова? Мне хотелось

сказать другое. Я, в сущности, хотел сказать вам, что люблю вас, Евдоша.

Евдоша, казалось, ничего не видела, не слышала: внимание ее обозначалось лишь короткими шагами и медленным движением руки, словно она рукой отмеривала свои шаги, задерживала их. Она шла, задевая голым покатым плечом ветки кизила, мельчайшая пыль почти незаметно осыпалась с них. Губы ее складывались в задорную и, пожалуй, всепрощающую улыбку — ту самую, которой хотел добиться от нее Павел.

— Вы слышите? Люблю.

Она продолжала хранить молчание, глядя по-прежнему вперед.

— Что же это значит, Евдоша?

Она не отвечала.

— Я весь дрожу и все-таки чувствую надежду. Евдоша, слышите? Я вас люблю! Вы меня любите? Ненавидите? Безразличны?

Он опять ничего не услышал. Улыбка исчезла. Казалось, она напряженно и упорно думала, решалась, не могла решиться — решилась. Подняла на него глаза, что-то сверкнуло в них, лицо запылало, но не промолвила ни слова, только шаги ее стали еще короче.

— Но это же невозможно! — воскликнул он.— Вы должны пожалеть и себя и меня, я терзаюсь. Я все время думаю о вас, полон вами, Евдоша! Приходил ночью, в два часа. Где вы были?

Она никак не отозвалась. Немота — и все. Голова его горела, губы ссохлись, говорить больно:

— Понимаете, что со мной? Меня истребляет огонь, а вы глухи, как тюрьма.

Подъем становился круче. Дорога крупнокаменистая, шиферно-серая, потемневшая: значит, недалеко до заката. Грустные переливчатые звуки послышались вдали: на лужайке пела Афросинья Никодимовна — и недурно пела.

Песня прервалась, и раздался голос Фомы: он торопил к съемке, пока не скрылось солнце. Павел заговорил еще торопливей и еще жгучей:

— Ну, хоть скажите: почему убежали из комнаты? Предчувствовали, что приду? Боялись, что впустите? Отвечайте же! Выругайте в конце концов, раз неприятно слушать!

Ничего не произнеся, она посмотрела не него прямо и твердо.

На тропинке показался Фома.

— Ты чего кричал, Павел?

— Разве я кричал?

Евдоша отвечала спокойно:

— Он объяснялся мне в любви.

Фома ухмыльнулся. Павел раздраженно пожал плечами.

— Ну, а вы? — спросил Фома.

— Безмолвствовала.

— Почему? — протяжно и широко раскрывая рот, сказал Фома.

— Всегда ли и все ли объяснимо?

— Для меня, во всяком случае, объяснимо и без слов,— сказал Фома.— Идемте же!

Она стояла неподвижно. Скрылось море, скрылись домики рабочих, подвесная дорога. И не хочется с этим расставаться, и не очень-то тянет на Карадаг. И она вспомнила, как она ждала воды возле домиков. Вправо — колодец. На краю сруба — пустое ведро с мокрой веревкой. Над колодцем со скрипом тащатся вагонетки, и тень их иногда проплывает возле, а оно, тонкое, заношенное, зазубренное, словно издает легкий звон, задетое этой тенью.

И потянуло обратно к морю.

Над обрывом, у моря, возле высокого сигнального шеста, группа рыбаков в желтых, белых и розовых рубахах, а кто и в одних трусах, была занята укладкой и переноской рыбы. Рыб сверху нельзя разглядеть, от них взлетает только рой блестков. К рыбакам на белой худой лошади подъехал всадник, должно быть, веселый парень. Он сидел, подбоченясь, и сразу же снизу донесся взрыв хохота. Слева, у причалов, шли под парусами три рыбачьих судна. На горизонте, у дальнего берега, возле Мертвой бухты, видно еще несколько таких же судов с изорванными и залатанными парусами.

Как все это прекрасно! С каким беззаботным наслаждением глядела Евдоша на песчано-желтый тон далеких холмов, на береговой песок, почти снежно-белый от зноя и струящегося воздуха, на приплюснутое, смиренное и нежно-голубое небо! А тут иди к Карадагу, к ночи, к темноте, сразу же начинающейся за костром, к неизбежным, грустным и в то же время приятным ше-

потам о любви и страсти... нужно идти, раз обещано! А кроме того, ее тревожит Павел, больно за него, жалко,— ведь не только от любви его страдание! И еще вспоминается церковь папы Климента... детство... юность...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Чертов Палец!

Евдоша с недоумением посмотрела на палец Гармаша. Она решила, что у него заноза, а нет ни бинта, ни йода. Он понял ее, засмеялся и, указывая рукой вперед, повторил:

— Чертов Палец там, глядите!

За сильно нагретым, издающим сухой, шерстяной запах желтым полем колючек взметнулась вершина шершавой скалы. Евдоша на мгновение закрыла глаза. И почудился всплеск, и под желтоватым вечерним солнцем мелькнул плавник какой-то гигантской рыбы... И опять потянуло к морю. Она открыла глаза.

Каменная игла росла. Краски ее были неярки, скорее сумрачны и тяжелы. Видно, этот гребень древней лавы многие тысячелетия дергали, рвали, драли и щипали, теребили, как теребят с птицы перо, как волки теребят падаль,— и гребень озлобился, ощерился, и теперь его не выровняешь и не ублагодушествуешь ничем.

Плоскогорье перед Чертовым Пальцем оканчивалось камнями, россыпью,— словно палец желал торчать одиноко. Взглянув на Евдошу и как будто догадавшись о ее сне, Гармаш сказал:

— Чертов Палец — это все, что осталось от бога Гефеста. Бог тут зарылся в базальты, когда за ним гнались христианские попы с кадилами и святой водой и с топорами. Рядом,— вот тут направо, возле дубового леска,— расщелина, порой принимающая легкомысленный вид. Здесь, под камнями, спряталась навсегда Афродита. Иногда весной, когда мутный поток вод скрывает ее, превращая в камень, она робко выглядывает, любуясь Чертовым Пальцем, последним свидетелем былых наслаждений. Возле расщелины вы натолкнетесь на вкрапления агатов, лунного камня, розовато-белесой яшмы — это следы любви богов, их капли. Татары называют ущелье — Гяур-бах, Ущелье Неверных. Конечно, Гефест-Вулкан и Афродита-Венера неверные.— Он

засмеялся: — Дело тут не только в богах,— они ушли в землю, и кончено,— именно здесь христианские попы, выпытывая тайну храмовых сокровищ, пронзали раскаленным железом сердца греческих жрецов и тела их бросали в расщелину! Афродита скорбно внимала мрачному хохоту попов. Но в общем-то богиня превосходно понимала их положение: пусть побалуют себя, пока их самих татарские муллы не признали за неверных и не пронзили им бока раскаленными железными прутьями: греческий храм ведь был заменен христианской базиликой.

— Где же стояла базилика? — доверчиво спросила Афросинья Никодимовна.

Гармаш лукаво ухмыльнулся и набил трубку:

— Следов базилики еще не найдено. Возможно, мы найдем ее в Львином ущелье, куда я вас и веду.

За Чертовым Пальцем и перевалом широкое желтое плоскогорье суживалось, наполнялось цепким ветром и, теряя запахи полыни и чабреца, на вершине Карадага превращалось в гладкий каменный балкон, черноватый, с ржавыми крапинами, с которого превосходно видно серо-черное нагромождение скал внизу, крошечные маково-голубые вулканические цирки, шиферно-серые пропасти, голубовато-зеленые поляны, тяжелые, хотя и низкорослые дубы, дико исковерканные ветрами можжевельники. Отсюда тропинка замысловато вьется по коньку хребта, упираясь возле Отуз в крутой обрыв.

Евдоша чувствовала головокружение, внутри ее все дрожало, она корчилась от страха и надеялась, что кто-нибудь первым признается в своей трусости, а за ним и она... Все улыбались зелеными лицами,— улыбалась и она. Она шла за Гармашом, глядя в его спину,— и никуда больше! Она не помнила — направо ли свернули, налево ли, но свернули.

И она увидала скалы, мертвое, безжизненное русло потока, круто, почти сухим водопадом ринувшееся вниз, и себя, шагающую вместе с этим мертвецки онемевшим потоком. Руки и ноги ее оцепенели, онемели, и ей невозможно было понять, чем она шагала, чем цеплялась за камни, чем шутила, потому что язык ее совершенно замерз. Ей хотелось просить, умолять: «Остановитесь!», а она смеялась сама над собою и приходила от этого в бешенство,—и голова вдруг яснела, будто на-

полняясь высшими знаниями, которые здесь, увы, совершенно не нужны!

— Почему — Львиное? — слышала она сиплый, испуганный голос Афросиньи Никодимовны и ответ Гармаша:

— Говорят, древние прятали тут золотой пояс Афродиты, его львы охраняли, а искатели приключений, упражняясь в мужестве, спускались сюда. Когда немножко помрачнеет, вы наткнетесь на их кости.

— А вы убеждены, Захарий Саввич, что львы перемерли?

— Не все. Я, как видите, жив.

«Наверно, альпинисту спуск сюда кажется безобидным упражнением, да и само ущелье для него небось относится к типу «пять» или «шесть», но мне, впервые видящей столь взметнувшиеся скалы, как кони в поэмах грызущие удила и затем с какой-то щеголеватостью сближающиеся, эти обрывы ломающейся твердости, кинутые там, где их совершенно не ждешь,— мне каково пробираться среди этой выставки избытка сил и безмерной рьяности?» Повторяя свои мысли, успокаиваясь, Евдоша, как всегда, второй раз думая об одном и том же, представляла себе обдумываемое куда проще.

Теперь спуск уже казался домом без окон и лестниц, где полы все время меняли свои очертания, с безумной поспешностью сбегая вниз, сворачивая, срываясь или же внезапно поднимаясь кверху — без надписи, без предварительной статьи расхода, ха-ха! Мало того, вдруг часть этой подержанной каменной мебели с грохотом катилась вниз, а иногда, наоборот, высохший поток вежливейше выбивал в базальте ровные и твердые ступени. И все же спускались стремительно, точно товар в тот бумажный раструб, который свертывают продавцы, когда отвешивают вам пшено или соль. «Тары-бары-растабары, снеги белы выпадали...» — послушно завертелось в голове. И тотчас, словно мстя себе за слабость, за уход в сторону, Евдоша стала утискивать в себя мысль: «Как прекрасно, как удачно, что такой тяжелый утомительный спуск. А Гармаш знал, куда вести! Павел устанет тоже,— да и я, ссылаясь на усталость, лягу и немедленно засну,— и никаких объяснений. И о том тоже, о чем умолчал на мой вопрос Виктор и на что довольно ясно ответила мне Афросинья Никодимовна. Но все-таки мог же Виктор ответить прямо — выступали против него

Павел и Фома? Или и в этом ответе — великая и опасная сложность? Ах, устать бы, успокоиться, окаменеть, как эти камни».

Камни бушевали наперегонки. Где тут окаменеть!

Скоро ущелье стало таким узким, что, растопырив руки, можно было цепляться за оба края с одинаковой надеждой уцелеть или, сорвавшись, покатиться вниз. И все же даже через эту тесную щель солнце сумело так накалить камни, что, когда прислонялись к ним, кожа, казалось, прилипала. Глаза, усталые, ослепленные, подобострастно стараясь угодить солнцу, троили, четверили и пятерили и без того уродливые, бесчисленные скалы. Только море — серебристо-зеленым треугольником, широкой стороной кверху,— утешало взор, и хотелось без конца смотреть на эту нежную прохладу.

— Нет, нет, вы под ноги смотрите, под ноги! — кричал художник, приобретший здесь необычайную прыть и ловкость.

Евдоша с опаской ставила ногу в сандалии на горячий камень, каждый раз желая повторить тот шаг, который только что сделала. А каждый шаг надо было ступать по-другому! Сквозь толстую резиновую подошву сандалии ногу жгла все усиливающаяся жара, словно подземный огонь еще теплился в этих камнях. И казалось странным — откуда и почему здесь зелень? Когда Евдоша цеплялась за дерево, рука невольно замирала: думалось, что можжевельник приполз вместе с тобой, чтобы, взглянув на небывалую суматоху камней, возвратиться. И деревья изгибались в разных направлениях, точно их преследовали галлюцинации. Изредка, как вопль галлюцинации, где-то внизу, в пропасти, резко разрывался упавший камень,— и ветки вздрагивали.

Мысли нестройные, горячие, казалось — думались многажды, и также многажды, казалось, видела, она эти серые россыпи, повороты, странный дуб, преграждающий ущелье и похожий на затейливый росчерк,— росчерк, сделанный с такой яростью, что позеленел с лица. Сердце ее трепетно устремилось к нему: «Устали вы? А я, если бы вы знали, гражданин дуб, как я устала! Я так отягощена усталостью, что даже счастлива. И молодчинище же! Весной на него катятся тяжелейшие глыбы мокрого снега, потоки вод, камни, глина; он возвышается над потоком на вышину письменного стола,

не больше, и, однако, красуется здесь, поди, уже полсотни лет».

— И не засох!

Павел, держа бутылку, пристально рассматривал ее самозабвенное и взволнованное лицо:

— Ваш рот не высох, Евдоша?

— Поймите же: дуб, несмотря на все тяготы, не высох. А что касается меня, то я ужасно хочу пить,— добавила она виновато.

Быть может, во всю жизнь искренность не казалась ей более полезной и необходимой, чем в эти минуты, когда она подняла над своим лицом зеленое, тусклое стекло бутылки, и толчки глотков стали отдаваться в ушах.

Напившись, она увидала протянутую к бутылке руку Павла:

— Простите... но я пила из горлышка.

Он рассмеялся:

— И я из того же горлышка, Евдоша. Вместе, да?

Он пил, глядя на нее. Губы у него вспухли, аккуратно пробритые щеки горели, расширенные зрачки остро поблескивали.

— Устали?

— Нет! — воскликнула она звонко, с неожиданной бодростью.

— Теперь недалеко. И после ужина пойдем гулять среди скал, да? Вдвоем?

— Да-а! — ответила она с какой-то бешеной звонкостью в голосе и подумала: «Да разве такое мыслимо?.. А почему — немыслимо, дорогая?» Ощущения сменялись быстро, а нежно-зеленое и чуть рдяное море вдали помогало менять, перелистывать страницы ощущений: вот так же небрежно видишь колонцифры страниц, проглатывая увлекательную книгу.

— Приехали!

Гармаш, Федя, Фома, Изяслав Глебович и Афросинья Никодимовна звали их снизу, из ложа высохшего потока. Широкая, перегруженная камнями, россыпь сдерживалась тремя толстыми древовидными можжевельниками; к ним бежали кустарники: в корнях можжевельников сочилась крошечная струйка воды.

Из россыпи торчала «заплава»: притащенные весенними водами высохшие стволы; куски белого шпата; плоские и гладкие, словно выбритые, плиты песча-

ника,— и всюду базальт, базальт, эти выбитые зубы древности. Солнце заметно опустилось. Направо, как раз против можжевельников, разделенные скалой, поднимались два пологих склона, укутанные вечерней дымной травой.

— На отлоге ночуем, коструем, и вообще, Федя, набирай воду и углуби водоем!

— Углубляю,— отозвался Федя, стуча своей лопаткой под корнями можжевельника.

Гармаш, глядя, как из-под заостренной лопаты брызгала мокрая глина, бежали насекомые, свертывались лишаи, и все это уносили увеличивающиеся струйки воды, сказал, пыхтя и раскуривая трубку:

— По одну сторону от нас, там, за хребтом, бывшая крепчайшая крепость Судак, блистательное и укромное древнее царство; по другую — Феодосия, или Кафа, не менее блистательное и, вдобавок, зловеще-мрачное: многовековой рынок рабов. Там и тут возвышались и падали цари, воздвигались памятники, слагались гимны богам, венчали и резали людей, заточали, торговали невольниками, оборонялись, нападали; приходили и уходили греки, генуэзцы, татары, славяне,— запорожцы, кстати сказать, брали Кафу штурмом со своих «чаек»,— умирали и рождались, прославлялись и унижались всадники, пехотинцы, лучники и стенорушители; берегом моря, а затем через перевал, по которому мы недавно ковыляли, проходили караваны, купцы боязливо глядели в дубовые леса, а хвастливая стража утверждала, что ей не страшны ни разбойники, ни драконы. Да, да, здесь водились гигантские змеи с гривами, но они вымерли. Однако то, что я вам покажу сейчас, было вечно и существует поныне, храня в себе легенды и предания Голубых Скал!

Он поспешно свернул на отлогость и стал карабкаться вверх необычайно ловко.

— Сюда же, сюда!

Они увидали площадку, заросшую высокой мальвой, уже отцветшей,— десятка два кустов вдоль обрыва. Художник оглянулся и приложил руку к губам. Ступая на цыпочки, они пошли за ним, к скале.

Гармаш подвел их к небольшому, в человеческий охват, водоемчику из «каплевой воды», полузаросшему мхом и травкой. Глаза художника блестели. Он, скло-

нившись к смятой траве, встал и торжественно поднес им на ладони круглые, темные катышки:

— Преклонитесь! Помет дикой козы. Дикая коза, вдумайтесь! Она приходит сюда пить, лежит здесь с детенышами и дремлет, глядя на море; так же дремали многие тысячелетия ее предки, переваривая пищу. А мимо, через перевал, сначала шли караваны, затем телеги, затем мотоциклы; к перелетным птицам присоединились гидропланы, вместо запорожских «чаек» поплыли миноносцы, коза же дремлет и дремлет...

— А змеи здесь не дремлют? — спросила Афросинья Никодимовна.— Место, конечно, мучительно прекрасное, но мне хочется есть, а затем заснуть.

— Места ранней пушкинской поры,— ласково улыбаясь, сказал Изяслав Глебович.

Подошел Фома с тремя рюкзаками, осторожно положил их на траву, склонил набок голову, вздохнул и проговорил, вздыхая:

— Жара нестерпима, больше всего уместно сейчас бы пиво. И мы забыли, Афро? Вы-то! Самая телесная, заботливая...

— Моя вина,— ответила смущенно Афросинья Никодимовна.— Но мучай вас *оно,* как мучает меня, вы б не только пиво, тропы б сюда не нашли.

— А что вас мучает, Афро? — нежно спросил Изяслав Глебович.

— Недоумение.

Павел, помогая Евдоше развязывать ее сумку, прошептал:

— А я нашел свою тропу. Я жгуче люблю вас, Евдоша! Сегодня все решится, да? Вы будете моей.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Гармаш собрал валежнику столько, что хватило б и на неделю, костер раздул мгновенно, и взметнувшееся пламя обвел крупными плоскими камнями, вымыл мясо, нарезал его мелкими кусочками для плова, нарвал травы, выровнял место для спанья,— сила, казалось, клокотала в нем. Евдоша исподтишка, украдкою наблюдала за его лицом. Если и сила, то злая сила читалась на его лице; он всячески старался скрыть эту силу — силу довольно решительную. Представлялось, что он встретил что-то нестерпимо гадкое, отвратительное, что

не обойти, не объехать, от чего не увернуться и что категорически нужно уничтожить, да только — как?

Понимали ли Гармаша другие так, как понимала его Евдоша? Вряд ли. Павел, поглощенный своими любовными думами, стоял, уставившись на костер и глубоко всунув руки в карманы. Когда его пригласили есть, он сказал: «Впоследствии»,— и не дотронулся до еды. Фома отдыхал, шумно дыша и глядя на небо и на загорающиеся звезды так, словно он сам зажег их и словно небо — огромное зеркало, отражающее с восхищением и его самого, и его самодовольное бурчание. Афросинья Никодимовна чувствовала себя одинокой, ей захотелось вниз — в Коктебель, здесь все вокруг угрюмо и уныло, и еще неотвязней дума, что Изяслав Глебович заманил ее в Коктебель для каких-то странных дел, и она боялась, сама не зная чего.

Над костром с треском лопнул горшок. Остатки риса кое-как собрали в ведро, вскипятили чай в кофейнике и, выпив, переложили в него плов довариваться.

— Именно в кофейнике и следует варить плов,— сказал художник, пробуя рис.— Прекрасно!

Он выхватил из костра пылающий ствол можжевельника, шарахнулся в сторону, покружился и швырнул сук в тучную тьму. Раскидывая огненные семена, сетчатое пламя вскинулось вверх, скользнуло там, а затем исчезло за обрывом. Несколько мгновений спустя внизу что-то плеснуло. Гармаш фыркнул, достал головешку из костра, закурил.

— Федя, хочешь еще плова?

— Хочу.

— А вы, пушкинист?

— Перед сном плов полезен.

Федор, задремавший у костра, открыв широко глаза, засмеялся. Гармаш, погладив его по большой курчавой голове, тоже засмеялся,— и не понравился Евдоше этот глухой, почти безгласный смешок. Мальчик, не проглотив и ложки действительно превосходного плова, заснул. Гармаш отнес его на руках к углублению в скале, где была разостлана трава и откуда сильно пахло полынью. Художник, вернувшись к костру, подбросил в него еще сучьев и, черпая плов, медленно и веско проговорил:

— Тут всюду, куда ни взглянешь, притворы легенд. На той вон площадке, за скалой, местный бог Какча, влюбленный в Афродиту, бился с Гефестом. Днем следы

борьбы не разглядеть: сливаются от резкого света, но при луне и даже при блеске звезд следы борьбы отчетливо выступают на скалах и камнях. Боги подпрыгивали, отталкиваясь от скал, кидались друг на друга, царапались, душились, и ноги их, иногда до щиколотки, уходили в камень. Сохранились отпечатки. Я как-то, при случае, примерял ботинки самого крупного размера — малы.

— Люблю туфли голубовато-серые, ножка у меня маленькая,— вполголоса сонно пробормотала Афросинья Никодимовна,— а что толку?

— Даже горы,— продолжал художник,— интересовались борьбой: они, увидите, высунулись и застыли в самых разнообразных позах. А вот тут, ожидая победителя и гадая — кто победит, сидела сама Афродита.

— Будто бы она и не знала! — воскликнула Афросинья Никодимовна.

— Откуда ей знать?

— Богиня ж! С Гефестом какому богу сечься?

— Туземные боги тоже не шутка: они хитрые, местные условия знают.

— А на стороне Вулкана подземный огонь, серный, душащий.

Гармаш посмотрел на нее.

«Да ты, Афро, голубушка, гораздо сообразительней, чем я думал!» — говорил его взгляд.

— Странно, что вам, Захарий Саввич, нравятся высокопарные и, в сущности, унылые легенды,— проговорил Павел, встряхивая головой и отходя.

Гармаш, глядя ему вслед исподлобья, крикнул:

— Осторожней, вы! Там берег грубый. Свалитесь.

И вдруг захохотал.

«Ой, что-то тут неладно»,— подумала Евдоша.

По-прежнему и Павел и Фома были приятны Евдоше, хотя телефонный разговор с мужем и его холодные паузы навели ее на грустные размышления. «Нет... да нет же, в случае беды они не оставят. Да и их любовные признания и намеки — разве не выражение дружеских чувств, пусть и чуть-чуть чувственных? Они мужчины и вдобавок — холостые. Даже если расшифровать намеки Виктора, что кому-то показалось, будто Виктор «насчет Рима» выступал слишком резко? Что ж тут такого? Многие, по-видимому, были против. И акаде-

мики.— Она улыбнулась, безмолвно шикнув на себя: — Кто это вдруг всадил тебе академиков-то? Кому-кому, а ей-то известно — буянов академики лягать любят и уже лягнули, наверное».

— Евдоша! Здесь красота эпическая,— услышала она голос Павла.

— Иду,— ответила она, желая не столько любоваться природой, сколько избавиться от неприятных дум.

Она прошла мимо Фомы. Тот, подтягивая ноги, чтоб ее пропустить, сказал:

— А разговор о красоте, найденной мной, впереди, Евдоша!

— Хорошо, Фома.

Широко зевая, он приподнялся и бросил несколько охапок хвороста в костер — вовсе не для того, чтобы разглядывать: в какой позе стоят там Павел и Евдоша! Доступны ли ему теперь такие мелочи?

Евдоша шла невозмутимо медленно, каждый ее шаг Павел ощущал всем телом, словно она шла по нему — да еще и подпрыгивала, желая его оскорбить. Какую богиню изображает она из себя? Колени его тряслись; в руках, особенно в предплечье, он чувствовал холод, и одновременно по всему телу хлынуло желание немедленно бросить ее на землю, обладать ею. Исступление овладело им, сумрачное безумие жгло его мозг.

Евдоша остановилась возле него. Моря не было видно. Смутная сиреневая мгла лежала на скалах, сгущаясь внизу. Кое-где сквозь мглу пробегали черные извивающиеся жилы,— должно быть, очертания кустарников. Над скалами вверху слабо блестели звезды, вырисовывая в сиреневом небе веселый и бодрый узор. Упало что-то и со свистом покатилось по склону ручья. Катящееся раскололось со звуком, похожим на хихиканье.

Павел схватил Евдошу за руку. Его рука показалась ей вздувшейся, и сердце ее заколотилось. Она изнемогала от сладкого чувства слабости; рука ее слегка вздрагивала в его руке. Он почти сливался с тьмой, ступал беззвучно,— и это тоже увеличивало ее изнеможение.

Павел четко видел Евдошу. Отсветы костра чертили голубовато-красными линиями ее стан, ее свободно опущенные плечи, бедра, словно утекающие в тьму, и красивозыбкую, откинутую назад маленькую голову, ее густые

волосы, казавшиеся искрометными. Он провел ее за скалу, через расщелину.

Надо полагать, скала образовывала наверху выступ: звезды скрылись, но мгла казалась реже и легче. Костер потрескивал совсем далеко. Она вдруг почувствовала терпкий, чуть солоноватый вкус его губ, его порывистое объятие и вкрадчивый голос:

— Вы отравили меня, Евдоша! И вдобавок пытаете.

Она прошептала:

— Говорят, в пытках рождается новая жизнь и любовь?

— Оба, оба плюнем на обобщения! Есть другое, более ценное.

Когда он на мгновение убрал свои губы от ее губ, она закрыла их своими пальцами и, почти не замечая, укусила один палец, другой, и едва ли не до крови. Павел, точно унюхав кровь, схватил ее пальцы и впился в них поцелуем. Весь он горел. Пламя охватило сперва затылок, перекинулось на плечи, охватило все тело, притупило мозг и в то же время прибавило Павлу сил, тех странных, тоскливых сил, которые стремились в нем лишь к одному — уронить ее на землю, опрокинуть ее. В иные секунды она казалась ему широкой, мягкой, словно он выворачивал и крушил огромную глыбу земли, а в иные узкой, твердой, как «точок» — узкий конец кирпича. И одновременно он ощупывал землю сандалием,— и сквозь носок нога почувствовала бы колючки.

Тяжело дыша, он молчал, ломая ее,— заговори он, беспредметная печаль, наполнявшая его сердце, вылилась бы, возможно, слезами. Да и, кроме того, какая нужда в словах? Она тоже воспалена и прекрасно понимает, чего он добивается, обнимая ногами ее ноги и перегибая ее туловище.

Она не останавливала его, а только мешала,— насколько, по ее понятиям, в таких случаях должна мешать женщина. С отчаянием и радостью заметила она, что усталость ее исчезла совершенно, что от уныния и грусти следа не осталось. Вначале, когда он ее обнял, ей почудилось его объятие таким разящим, что о сопротивлении и мысли быть не могло. Конечно, ей хотелось прошептать: «Да вы с ума сошли, услышат!» — но она подумала: «Услышат, и что же? Открытие для них? Не слыхивали они такого?» Ее беспокоило другое — легкость сопротивления, легкость, с которой она осво-

бождалась от него. Бороться так — бороться взаправду,— и она входила в азарт, как входят в него при возне мальчишки, превращая борьбу в драку. И вот, почти лежа на земле, она увертывалась, выскальзывала, вставала, и когда он снова хватал ее, ей казалось, что еще немного — и он будет парить над нею. Павел не был ей противен. Его движения, руки, ноги, лицо — все, что пылало, наполнялось суровой грубостью, грозило ей болью и больным наслаждением,— все это правилось ей, привлекало ее, и, однако, она не ощущала той свежей слабости, которая охватила ее вначале и которой до тех пор она еще никогда не познала, когда тело, томясь, не способно и не хочет уйти от объятий. И, измеряя себя «с точностью до $^{1}/_{10\,000}$»,— если уж говорить откровенно,— не ради ли этой слабости она сюда и пришла в это изгрызенное львами и богами ущелье?!...

Борьба между Евдошей и Павлом продолжалась долго — не час ли?

Ослабленный сильным припадком возбуждения, Павел поскользнулся на сухой траве и упал лицом вниз. Томление ее сразу пресеклось. Она поднялась и, изумляясь своему равнодушию, вернулась к костру.

— Действительно красиво? — сухо и зло спросил Гармаш, вороша палкой костер.

— Где?

— Куда ходили.

— Ах, да! Впрочем, пожалуй, и красиво: как относиться.

— Картошки печеной? — спросил Фома.

— Нет, спасибо.

— И без того отведали много горячего?

— Вот именно, Фома.

Сев, она почувствовала себя измученной до крайности. «Теперь спать, спать.— Голова кружилась, и чуть-чуть подташнивало.— Зачем это все? Уж лучше бы было уступить! А то получилось, что втягивала, чтоб выведать. Выведать? А что именно? И почему я ничего не говорила: будто берегла слова, чтоб ими сопротивляться Фоме? Он ведь тоже готов кинуться и своего не упустит. Но, голубчик, перед тобой-то я и подавно не задохнусь, и тебе меня своим красноречием не пронять».

— Чем же, однако, кончилась битва? — спросил Фома.

— Какая битва?

— А мы, Евдоша, слегка тут отвлеклись в сторону и забыли о битве богов.

— Каких богов?

— Какча и Гефест все еще бьются, и Афродита все еще наблюдает,— ответил протяжно Гармаш.

— Меня это мало радует.

— Еще бы. Поэтому-то я и хотел закончить рассказ. Короче говоря, вон там Гефест оторвал внезапно от скалы глыбу и с невероятной злобой ударил Какчу в темя. Туземный бог, уже не сомневаясь в своей гибели, с забавными вздохами ушел под землю, воткнулся в пламя Гефестова горна, поплескался там малость и расплавился. Афродита, плача, скрылась в пещере. Гефест ее всегда обижает. Вы увидите завтра на стене пещеры след ее рыдающего тела, и довольно отчетливый. Впрочем, возможно, это работа древних жрецов.

— А я хочу спать! — подняв голову, сонно пробормотала Афросинья Никодимовна и, поглядев в лицо Павла, проглотила слюну...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Спал Гармаш, спал Федя, спала Афросинья Никодимовна, переливчато вздыхая. Изяслав Глебович не спал, но так упорно молчал, точно его и вовсе тут не было. Павел лег, накрылся с головой брезентовым плащом и, должно быть, тоже заснул. Евдоша, покачиваясь, сидела у костра и глядела слипающимися глазами на угли и думала, думала. «Гнусно все это! Похотливая я и поганая баба — больше ничего, да вдобавок и с расчетцем! Втайне небось хотела, чтоб Павел подробнейше рассказал, как и почему он выступил против Виктора Лукича? Пусть из ревности, ненависти, но пусть признался бы! И сопротивлялась небось потому, что вдруг заподозрила, что он решил: «Ах, эта тетеха ничего не знает, а соблазню, тогда и скажу, и уж деваться ей будет некуда: за мной побежит». Ведь чувствую, чувствую в нем подлеца и все сама себя дружбой обманываю: воспоминания юности и прочее. Э, нечего и нечем мне оправдаться. Развинтилась вся — стержень потеряла. Поди, и в скалы с Павлом пошла, чтобы Фому и Гармаша дразнить. Ну и зол же Гармаш. Злости в нем уйма! Не он ли своими легендами подстроил эту мою «борьбу», чтоб еще сильнее возненавидеть Павла? А я-то, как дура, пошла

у него на поводу! Впрочем, если вглядеться в «заплеск» мутнейших моих чувств, в эту вершину волны, бьющей в неведомый мне берег,— я-то, голубушка, хуже всех, тьфу! «Огонь, который не разожгла в юности, разожгу теперь,— и сгорю как на вулкане, благо мы в вулканическом цирке». А что же получилось? Грязное топтанье!..»

Она думала, думала и, всячески бичуя себя, до бреда додумалась — уже из сферы «безумного молчания». «Не хотелось ли мне показать Изяславу Глебовичу, что ничего общего у меня нет с мужем, что роман с Павлом, а Виктор Лукич — один, одинок?! Неужели я до такого постыдства дошла? Зачем? Встревожили намеки Афросиньи Никодимовны? Ужасно все это подло, в общем-то. Нет, никогда я не трусила. А этого гуся — Изяслава — на мякине не проведешь. А как теперь с Виктором? Сказать? Что именно? Суматоху мыслей? Топтанье? Измена без измены?.. Нет, давай, Евдоша, спать, все-то мысли твои сейчас глупым-глупы... спать, спать...»

Ей мерещилось, что она роняет один пахучий сон за другим... Кто-то подошел сзади и сверху, ласково и тепло погладил ее по щеке. «Впоследствии, может быть, и — да, но сейчас это — вчуже...» — смутно подумалось ей, и она открыла глаза. Кто-то стремящийся прослыть невероятным говоруном шептал ей красивые и страстные слова, которые не только не утешали ее, а, напротив, растравляли все неприятное, что произошло с ней этой ночью. Она наклонилась вперед и со всей силой, хоть и не совсем соскочила с нее дремота, ударила по чужой щеке.

Кто-то охнул сквозь зубы, и она услышала испуганный голос Фомы:

— Что это?

— А то, Фома,— ответила она, уже совсем проснувшись,— что могу дать сдачи. Это коров, когда доят, гладят, а я вам не какая-то доступная вашим прихотям корова и не...

Она добавила слово, редко употребляемое ораторами, но тем не менее весьма образное, меткое и убедительное настолько, что Фома отошел, лег и накрылся плащом, как Павел.

— Пожалуй, и мне лечь,— сказала она вслух.

— По-моему, не стоит.— Гармаш, искоса посматривая на нее, раскуривал трубку.— Лучше полюбуйтесь-ка:

скалы показывают себя, как они смотрели на битву Гефеста и Какчи. И чтоб польстить богам,— боги в конце концов любят людское внимание,— скалы притворяются людьми, пастухами.

Сиреневая мгла на востоке заметно посветлела. Безмолвные вереницы скал сплетающимися гирляндами выбежали из тьмы и заняли полнеба. Да, это пастухи перегнулись через край плато и любуются битвой.

Один из них приподнял трубу, чтобы песней приветствовать богов, но какой-то гигантский скачок бога удивил его — и пастух замер, вглядываясь. Но другой пастух не растерялся, поднес трубу к губам, и чуть слышный звук, похожий на плеск синих вод после прибоя, упал низкой октавой. И точно отблески звука в небе — последний раз — вспыхнули и погасли четыре звезды. Во всю ширь открылось бледно-фиолетовое небо. Золотое шитье бежало по востоку: то прихотливые узоры, то цветы, то ветви. В скалах заблестело розовое окно, и можно было ждать, что кто-то выглянет сейчас из него, но ждать было некогда: манило море. В море — страшная суматоха, так случается в театре, когда антракт короткий, а декораций нужно сменить много. Вдруг, поверх всех декораций, в синем мелькнуло что-то пламенное, улыбнулись широкие, вывороченные темно-малиновые губы, затем из зыби отчетливо выступил розовый торс женщины... Восход?

Нет еще восхода. Море исчезло под мелкой зыбью цвета серебра с чернью. А видения в скалах продолжались. Возник гигантский скованный человек, точащий нож. На кого? На борющихся богов? Рядом с ним — два борца, увлеченные схваткой и, видимо, подражающие богам. Чувствуешь их вздохи, запах плоти; вглядываешься,— они уже исчезли. Их сменило прелестное тело юноши, и рядом с ним — девушка в короне. Но вот уже алая кисть безжалостного гения восхода замазала все видения, и появились самые обыкновенные скалы, площадки, дубы, россыпи, потухший костер и спящие возле него усталые люди.

— Львы оставили здесь прелестные грезы,— прошептала Евдоша.

— Львы? Ах, да, Львиное ущелье! Кстати, я не уверен, что именно оно — Львиное. Евдоша! У нас в запасе еще около двух часов,— не соснете ли? А то ведь карабкаться вверх, спускаться вниз...

— Да, да, благодарю вас, Гармаш, очень благодарю, что не злитесь больше на меня.

Когда она проснулась, солнце стояло уже высоко и припекало. Многое вокруг утратило свою привлекательность, один лишь Федя скакал и восхищался по-прежнему. Афросинья Никодимовна пролепетала на ухо Евдоше, широко открывая опухшие глаза:

— Не знаю, к чему я и вернусь, Евдошенька. Страшно.

В суматохе сборов забыли поглядеть пещеры. Вспомнили о них на вершине. Упрекнули художника. Он сказал ухмыляясь:

— А я решил: раз молчат, значит — не любопытно. Впрочем, пещеры как пещеры. Кроме того, возможно,что все это — битва между Гефестом и Какчей — всего лишь моя выдумка. Я ведь слыву выдумщиком. И действительно, стоит мне увидеть скалы, как воображение мое тут же и начинает тесать образы!

От плоскогорья, за Чертовым Пальцем, дорога шла полого и вкось.

Против домиков рабочих, в кустах кизила и мелкого дуба, они увидали знакомый крутой спуск. Толстенькая, короткая змея не спеша пересекала тропку. Они остановились, глядя на землю и поджидая отставших: Гармаша с сыном, Афросинью Никодимовну, Изяслава Глебовича.

С востока дул цепкий свежий ветер. Кусты болтались, открывая волнующееся море. Предгорья казались выжелтевшими, печальными.

Фома, размахивая палкой, самодовольно спросил:

— Что с вами, Евдоша? Вы грациозная, но и беззвучная.

На сердце ее лежала томительно-смутная тяжесть, кровь, приливая к вискам, бурлила. Глядя Фоме прямо в глаза, Евдоша резко спросила, сама изумляясь своей резкости:

— Вы, Фома, и вы, Павел, против Виктора выступали? За — Рим?

Краска побежала по всему лицу Павла. Он, сжав челюсти, молчал.

Фома по-прежнему был беспечен и даже важен. Выставив вперед ногу и постукивая по ней палкой, он, снисходительно улыбаясь, ответил:

— Как же, выступали. В нашем учрежденческом клубе.

— Отрадно слышать.

— Это — наш долг, Евдоша,— проговорил громко Фома.— Мы — молодые архитекторы, и в нашем учреждении, кроме нас, никто не знаком с новейшими архитектурными течениями. Мы обязаны просвещать и направлять других по правильному пути. Нас попросили, и мы выступили, освежив чтением кое-что в памяти насчет Древнего Рима, вернее сказать, насчет его архитектуры. Что она представляет, в сущности? Римская архитектура — это усвоенная и переваренная римлянами архитектура Греции; римляне создали, в сущности, один орден, а три главных греческих: коринфский...

— Ах, это все написано даже в самых плохих учебниках!

Фома заюлил:

— Я оживил также...

Евдоша перебила торопливо и с досадой:

— А наши беседы на Малой Ордынке, насчет этой архитектуры, тоже оживили?

— В наших беседах мы спорили с Виктором Лукичом.

— Во-от как! — печально воскликнула Евдоша.— Вы, значит, и тогда были за Рим? Неужели?! Я что-то не припомню такого.

— Конечно, за Рим. И неоднократно вам возражали.

Ей показалось, что Павел смотрел на Фому с неудовольствием. Она выпрямилась и закинула руки назад:

— Ну! Мы, значит, не понимали Рима, а вы — понимали и одобряли? Рабовладельцев, кандалы, плети, голод? Да, конечно, величавая архитектура! Ну, а если рядом — рабы и плети? Вы и это одобряли? В нашей комнатушке? Да, я бы немедленно сказала Виктору: «Настежь им двери!» — и, уверяю, он бы меня послушался.

— Как было не послушаться, когда, выступая в клубе архитекторов,— пробормотал Фома, начиная волноваться,— он вовсю развивал ваши еретические мысли.

— Да! Да, согласился. И я горда, что он со мной согласился и что я всегда это утверждала.

— Что — это?

— А то, что бог с ней, с этой величавой архитектурой, не заботящейся об удобстве людей! И почему непременно у нас, в социалистическом обществе, должна быть такая громоздкая архитектура?

Фома опять приосанился и возразил:

— Сам хозяин сказал относительно нашей архитектуры: «А чем мы хуже Рима?» По-моему, метко и верно.

— Снесли — уничтожили Сухареву башню, Красные ворота, Триумфальную арку возле Белорусского вокзала. Спас-на-бору, Симонов монастырь,— да мало ли какие еще шедевры отечественной архитектуры, а потом восклицают: «Чем мы хуже Рима!»

— В Риме тоже сносили здания,— сказал Фома.

Павел, нахмурившись, поднял на нее смущенный взгляд и еле внятно проговорил:

— Вы говорите ужасные вещи, Евдоша.

— Ужаснее всего то, Павел, что они кажутся вам ужасными. Сносить русские архитектурные шедевры для того, чтоб воссоздать римские,— это ли не ужасно? Это — абсолютно неправомерно... Слышите?

— Не только мы, но и камни слышат, Евдоша,— передергивающимися губами прошептал Павел и, повернувшись к Фоме, прибавил с досадой: — Может, пойдем все-таки?

— Идите,— сказала Евдоша с расстановкою и сильно.— Идите, а я договорю тут камням, раз уж они слышат.

Вскинув рюкзаки на спину, Фома и Павел ушли.

Она вздохнула. Тошно и смутно было ей. «Высота ума у Фомы не велика, и мне ли злобиться на эту мелкоту? Впрочем, я и на Павла не в злобе: иногда он даже вызывает во мне радостное изумление.— Она вспомнила объятия в Львином ущелье и горько усмехнулась.— Может быть, я вспыхнула, глядя на потухший вулкан? Мне почудилось, что я принесла из Москвы кусочек еще не остывшей лавы. Нет, нет! Москва — сама по себе, а я — сама по себе. И ничем мне не оправдать, что я бросила мужа, товарища, в разгар самой яростной борьбы, попросту дезертировала и малодушно возрадовалась этому коктебельскому оазису моря и тепла, веселья, мною самой придуманного и такого плоского, вообразила, что этого веселья на всех и на все хватит. И не хватило! Перегорело!»

И она вернулась к мыслям о Риме и Москве. «Рим! Рим! Виктор согласился-таки со мной, что нельзя шагнуть дальше Рима, что Рим исчерпал себя. Это показал ампир с его подделками. Зачем нам повторять Рим? Зачем? Ведь есть Москва, ее волшебное вулканическое искусство, советское искусство, и кому, как не ему, быть

самостоятельным, кому, как не ему, быть настоящим, а не поддельным вулканом? Нужно только верить в наши творческие силы, быть чуть-чуть доверчивее. Опасно доверять? Проберутся шпионы? Ха-ха! Того опасней замкнуться в неверии. Почему стал возможным Октябрь? Предпосылки: война, голод, социальное неравенство, капитализм,— все это так, и справедливо. Но, кроме того, была еще вера и даже наивность. Милая, человеческая наивность, доверие, вера. Рабочие и мужики поверили партии большевиков, поверили друг другу, поверили, что спасут мир. И они его спасли и еще спасут. А ведь и они небось были не ангелы, далеко нет, но какая в них, однако, была обольстительная и нежная вера в могущество человека!»

Приближались голоса отставших. Евдоше показалось, что, вспоминая о приятелях своих, Павле и Фоме, она думает об их слабости сквозь слезы. Она вытерла глаза. Они были сухи. Со стороны домиков послышался тонкий холодный женский голос:

— Васька-а! Неси еще охапку: те прогорели-и!

«Дрова в печи прогорели,— поняла Евдоша.— Хотят подкинуть. А у меня? Нет, нет, неправда. Огонь творчества не угас и не угаснет во мне».

Подбежал возбужденный и разрумянившийся Федя:

— Ждете? А мне палку вырезали кизиловую. И еще...

И он замер от смущения, показывая ей длинное синевато-белое перо сороки. Ему так хотелось, чтобы это было перо орла! «Хороший, добрый мальчик! Всем нам хочется носить орлиные перья».

— Выбил, тетя Евдоша! Камнем шибанул. Какой оно породы?

— Ну, конечно же, Федя, орлиной.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Утром, на берегу возле столовой, они ждали завтрака. Низкое судно со светло-серым треугольным парусом пересекало бухту. Матрос в винно-красной фуфайке сигнализировал с борта, ему отвечали возле электростанции. Евдоша, слабо улыбаясь, сказала Павлу:

— Придется, пожалуй, досрочно покинуть мне море.

И ей вспомнилось, как она плыла в прошлом году по Ладожскому озеру с мужем. Раскачивались свинцово-

серые волны. Матрос натягивал веревку в косом положении, чтобы держаться за нее.

«Наверное, у этой веревки какое-нибудь мудреное название?» — спросила она. Матрос сурово ответил: «Чего мудреного: леер». Теперь она должна натянуть леер. Вулкан раскачивает почву, и ее мужу станет легче дышать и шагать, когда он схватится за леер. Вслух же она добавила:

— Вулканы стоят преимущественно по берегам морей. Вот Москва, она — вулкан, подле нее и появилось Московское море. А вы, Павел, не находите, значит, что Виктор выступил героически?

— Я еще в Москве сказал, что не нахожу,— с горечью и досадой сказал он.— А вот вы так-таки не хотите быть окончательно героичной?

— В каком отношении?

— В отношении меня.

Стараясь говорить просто и спокойно, она ответила:

— Но ведь не получилось же, Павел Ильич! И не стоит к этому никогда возвращаться.

Она повернулась к нему всем корпусом. Щеки у нее горели, волосы на лбу слиплись в мелкие завитки, губы ходили ходуном. Но, овладев собой, она собрала губы в улыбку, — пускай даже ненастную, — и проговорила:

— Давайте, если не бороться за него, то хоть думать об искусстве!

— Искусство у нас с вами тоже разное. Я говорю об искусстве любви.

Он свил руки и сжал их, а потом, хлопнув железной калиткой, пошел быстро мимо столовой.

Три пожилых татарина, в круглых мерлушковых шапочках и длинных рубахах, в рыжих туфлях на босых ногах, остановились около хлопающей калитки. По дороге на рынок медленно шагал болгарин, несущий в руке корзину с тусклыми сливами, а на палке за спиной — связанного рыжего петуха. Петух закрыл глаза и разинул клюв. Сопровождавшая болгарина тонконогая собачонка и крошечный щенок разглядывали этот клюв. Откуда-то появился Федя и уставился на щенка с тем же интересом, с каким собачонка — на кораллово-красную голову петуха. У дороги, отвернувшись, вытряхивая песок из туфли, присела какая-то женщина. А за ней ветвистое бледное дерево, и в скудной тени его две старухи, прислонившись к связкам сухих дубовых ветвей.

Как же рано нужно уйти в горы за хворостом, чтоб сейчас уже возвратиться оттуда?

Татары что-то уж очень внимательно и долго рассматривали железную решетку, и Евдоша, ожидая, не вернется ли Павел, хоть немного успокоившись, спросила татар:

— Вы ее собираетесь красить?

— Нет, она хорошо окрашена,— ответил учтиво татарин постарше.— Приятно, что вы почитаете святого с той горы.— И, показывая рукой выше разработок траса, татарин продолжал: — Решетка в точности такая, как вокруг могилы. У меня в детстве болели глаза, я ослеп. Мы тут жили неподалеку: мой отец торговал в старом Крыму. Меня понесли на Гору. Я молился, целовал решетку у могилы,— и когда прозрел, первое, что увидел,— была эта решетка. Молодость! Вера молодых могуча. Я рад, что ваш народ тоже очень помолодел.

И, наклонившись, татарин поцеловал решетку.

За плечами у татар висели пыльные котомки, шли они, очевидно, издалека и, что тоже очевидно, пришли, чтоб поклониться могиле святого. Но разработки траса наверху пугали их: кто их разрабатывает, неизвестно, и можно ли пройти мимо — тоже не очень ясно. Кроме того, в поселке мелькают фуражки пограничников, и хотя татары были самыми обыкновенными бедными портными из Евпатории, форменная одежда наводила на них страх и трепет. Промелькнул толстоватый русский в чесуче, ласково улыбнувшись Евдоше, бросил на татар рассеянный взор. Татары, сняв шапки, низко, по два раза поклонились ему.

«Какие странные, однако, татары!» — подумала Евдоша и хотела расспросить их подробно о Святой горе, но появился Фома, стал торопить ее — день необыкновенно ясный, съемки пойдут хорошо, а если она собирается уезжать, то тем более нужно торопиться. Едва ли стоило утверждать, что он был глубоко угнетен, но на сердце его легла какая-то неясная для него самого тяжесть, даже голос его изменился: в нем появились визгливые нотки; раньше ему нравилось поспешно перебивать других, теперь его самого перебивали. На Евдошу и Павла он посматривал испуганно.

Фильм не имел еще названия, и, по сюжету судя, трудно было и подобрать ему название. Так, пляжный

пустячок: переодевания, неожиданные узнавания, погоня за похищенными с пляжа штанами. Евдоша играла главную роль,— если в таком вздоре могла быть главная роль,— она веселилась, кувыркалась, наклеивала усы, добыла мужской парик с чубом, неимоверно чернила брови, и глаза у нее оттого синели и загадочно поблескивали.

Съемки происходили у дороги, возле холмов голубой глины, за которыми тарахтела электростанция и тянулась «канатка». Здесь, в заглохшем винограднике, у самого моря и «дикого пляжа», дирекция дома отдыха начала строить ванное заведение, но успела вывести лишь стены — кредиты окончились. «Кинематографисты» принесли в это укромное место столы, стулья, Гармаш повесил на стену картину, верх прикрыл фанерой, соорудил что-то вроде люстры. С утра до вечера из недостроенного дома доносился на пляж хохот. Операторами были Фома и Гармаш.

Когда снимал Фома и глаза его с изумлением останавливались на «артистах», те старались не хохотать. Гармаш отходил в сторону и беседовал с Афросиньей Никодимовной, явно желая задержать ее возле себя и подольше не отпускать на пляж, к Изяславу Глебовичу. Изяслав Глебович ходил по пляжу, заложив руки за голую спину. Стоило лишь Афросинье Никодимовне приблизиться к нему, как улыбка его становилась бесконечной, и он целовал ее в плечо, а иногда и пониже. Гармаш в эти мгновения, отстранив Фому, прилипал к объективу, а Фома недоуменно спрашивал:

— Да вы, художник, актеров снимаете или этого толстяка?

Гармаш делал вид, что, спохватившись, отводит объектив. А разве не прав был художник, когда, забывшись, снимал Изяслава Глебовича и Афросинью Никодимовну на пляже? Такие они оба беззаботные и бездумные, такой великолепный фон для шуточного фильма.

Изяслав Глебович — полноватый, румяный, жизнерадостный, казался совершенно безмятежным человеком. Рано проснувшись, он помогал хозяйке квартиры «вздувать самовар» или разводить плиту, колол дрова, приносил воду —и все это с улыбкой, блестя голубыми глазами. Затем он долго занимался гимнастикой, рысцой бежал к морю, нырял и плавал в любую погоду и до обеда лежал рядом с Афросиньей Никодимовной на «ди-

ком пляже», а после обеда шел с нею же в Лягушачью бухту или в степь, наилюбезнейше раскланиваясь со всеми встречными, словно с самыми близкими родными. Вечером он играл в доме отдыха в шахматы, играл искусно, но всегда проигрывал; проигрывал он и на бильярде, хотя чувствовалось, что рука у него очень опытная. Ни Афро, ни кто другой не знал — какой именно пост занимает он в Ленинграде. Павел и Фома на всякий случай относились к нему почтительно. Гармаш, наоборот, пренебрежительно, утверждая, что Изяслав Глебович — пустяк, наверное, что-нибудь вроде комиссионера или толкача.

Все ушли обедать. Гармаш задержался, убирал камеру в футляр.

— А, товарищ художник! — услышал он голос Изяслава Глебовича. Сам купальщик, перекинув через плечо мохнатое полотенце великолепного желтого цвета, весь беззлобно сияющий, ласково заглядывал в окно: — То было приятель вас снимал, а теперь — вы его?

— Какой приятель? Как это — снимал?

— Павел Ильич, говорю, вас снимал.

— В каком же смысле он меня снимал? Я ему не подчинен.

— А в самом буквальненьком смысле. Со стен музеев. Правда, в конце нэпа он был студентик первого курса, зарабатывал техническим секретарством в комиссии, которая «леваков» обескрыливала, а если он тогда в обсуждениях не участвовал еще, то ручками картинки со стен снимал и в подвал относил. Даже ваш «Город в проскомидию» именно он отнес.

Гармаш, к явной радости Изяслава Глебовича, смотрел на него с изумлением и огорчением.

— Вы правы, вы правы, Захарий Саввич! Зачем бередить старые раны? Я сам когда-то боготворил Хлебникова и даже Крученых, а теперь мой идеал — Пушкин. Я,— для себя, в качестве любителя, аматёра,— составляю картотеку стихов Александра Сергеевича: где написаны, при каких обстоятельствах, какая была критика? И посетил все пушкинские места — и в Крыму, конечно, сейчас, за тем же... Читаю Пушкина тоже неплохо, позвольте вам прочесть...

— Оставили бы вы Пушкина-то в покое...

— Нет, нет, позвольте! — И он начал читать «Пророка», и неплохо начал.

Но помешал скрип приближающейся телеги, он весь как-то передернулся, лицо его приобрело какой-то зеленоватый отлив: к электростанции медленно катилась телега с сетями и рыбаком, три татарина с котомками что-то выспрашивали у рыбака.

— Татары,— осклабился Изяслав Глебович.

Гармаш ответил спокойно:

— Да, кажись, татары.

— А вы знаете, что они решетку целовали?

— Какую решетку?

— У столовой.

— Поделом ей: решетка дрянная.

— Не смейтесь. Вам известно, что решетку эту дирекция дома отдыха сняла с могилы святого,— мнимого, конечно,— с верха вон той горы?

Изяслав Глебович махнул рукой в сторону разработок траса.

— Решетки сейчас, разумеется, редки, но все-таки это странная манера украшать дома отдыха работников искусств.

— Ничего нет странного. Естественно. А вот татары, по-моему, странные, вы не находите?

Гармаш подумал, потупился и медленно, раздельно сказал:

— Нет. Не нахожу. И вам бы не стоило находить.

Ничего странного нельзя было заметить ни в телеге, ни в лошади, ее везущей, ни в рыбаке, ни в трех самых обыкновенных татарах, тех самых татарах, которые недавно разговаривали с Евдошей у решетки столовой. В телеге, запряженной тощим саврасым мерином, ехал самый что ни на есть русский рыбак в заплатанной холщовой рубахе и широкой соломенной шляпе. У ног его стояли корзины, с которых капала вода, мокрый свернутый невод поблескивал рыбьей чешуей. Рыбак не правил, он читал «Правду». Лошадь, отлично зная дорогу, шагала уверенно, обходя рытвины. Татары, размахивая руками, шли рядом с телегой.

Весь вечер, до полночи, усиленно готовились к съемкам, проснулись рано, обрадовались, что солнца опять много, что ветра нет, что настроение у «киноактеров» хорошее. Вокруг недостроенного домика пахло по-утреннему, свежо и четко, одна сторона домика была блестящая от росы, а другая уже горела на солнце. Море было душистое, жемчужно-изумрудное,— если можно

так сказать, а, глядя на него, иного сказать было никак нельзя.

Пришли из деревни два рослых парня, из колхозной бригады каменщиков, хмуро посмотрели на съемку, отозвали в сторону Павла,— «чтоб не мешать, а надо посоветоваться, как с архитектором, относительно кладки школы». Павел говорил с ними полчаса, вернулся к домику и тихо, на ухо, сказал Фоме:

— Ничего не понимаю. Каменщики передали, что ночью забрали трех татар и рыбака, а колхозную телегу всю изрубили: искали в ней какие-то документы. Шпионы будто! Какие шпионы, откуда? Ничего не понимаю, Фома, ничего!

— К съемке, друзья, к съемке! — крикнул повелительно Гармаш.

За обедом признали, .что снято много, пора проявлять, директор уступает библиотеку, ставни плотные, но, дополнительно, повесят занавеси. И работать усиленно, всю ночь. Павел, молчавший весь обед, воскликнул на полном серьезе:

— Да, да, всю ночь, проникновенно и последовательно!

Гармаш остался словно бы недоволен этим восклицанием. Сокрушенно вздохнув, он поднялся:

— Ну, а я, перед проникновенными трудами, прогуляюсь.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Почти до заката Гармаш сидел на камнях перед Лягушачьей бухтой. Воды стали кроваво-красными, камни покрылись легким красноватым налетом, и когда поднялась волна — темно-пурпурно-индиговая, — Гармаш, точно спохватившись, поспешно зашагал к тусклому буро-серому зданию электростанции. Там гукал двигатель и темно-зеленые вагонетки будто смущенно поскрипывали: «Всем сон, отдохновение, а мы катись да катись?» Гармаш чувствовал себя скверно, и особенно стало ему не по себе, когда он увидал на берегу, возле каменной глыбы, где бродячий фотограф снимал отдыхающих, сгорбленную и какую-то угнетенную фигуру Павла.

Мысли Гармаша были далеко от Павла — и близко, потому что думал он о своей жене, которую ревновал к Павлу. Виталия сперва написала, что приедет, что

она ужасно расстроена, «абсолютно несчастна» и не в состоянии работать, что в Коктебеле у нее — неотложное дело, а теперь раздумала: «Жду тебя скорее в Москву для окончательного разговора. Твою уклончивую политику тебе нужно прекратить». Гармашу хорошо знакома была эта вероломная нежность! Но вероломна ли Виталия? Вдруг она действительно рассталась с мыслью, со всеми помыслами о нем. О нем — подразумевалось о Павле. Навсегда? Ну, да, навсегда. «Да, может, и не в Павле тут дело. Может, «окончательный разговор» — опять обо мне самом, о моем искусстве. Она, как дятел, долбит гнилое дерево. Дятел ведь по звуку узнает — гнилое ли? По звуку...»

Тускло усмехнувшись, Гармаш отрицательно покачал головой. «Совесть — вот что важнее всего! Ну не стану же я примешивать к краскам. отраву. Да недаром мне нравился в юности Эдгар По! А ведь у этого Павла Ильича тоже свои расчеты. Он ведь, поди, подлец, ждет от меня слов. Словом, дескать, я его подтолкнул. И пусть-де буду наказан жестоко. Ах, мразь! И еще, вдобавок, картины мои снимал. А тот, гладкий-то, Изяслав Глебыч, тот к чему мне это подсунул? У того, я уверен, тоже каждое мгновение рассчитано. Но ты-то, ты, Павел Ильич, голубчик, со своей ликующей мордой, ты у меня еще попляшешь».

Ноги у Гармаша дрожали, весь он так и кипел. «Обернется — быть тому, что задумано. Не обернется — плюну, пройду мимо».

Павел обернулся и пробормотал с легким смешком:

— А разве там, возле рыбачьей землянки, есть подъем?

— Куда?

— К Чертову Пальцу, куда больше? Вы туда ходили? Мне представляется кадр на фоне Чертова Пальца, и снятый не сверху, а снизу. Я звал Фому — выбрать место и помочь нарвать мне горной полыни.

— Полынь-то для чего? — спросил со злостью Гармаш.

— Водку настаивать. Отлична для аппетита.

— У вас и без полыни, Павел Ильич, аппетит хороший.

— Вы это — прямо или намеком?

— Мы, художники, редко говорим прямо; разве только уж очень рассердимся.

Гармаш помолчал. Набежала волна и замерла, чуть смочив им подошвы. Гармаш зачерпнул ладонью воды: мутна ли она от песка или ее замутил вечер? И, стряхивая песок с рук, он спросил:

— Помните, Павел Ильич, мою картину «Город в проскомидию»?

— Нет, не помню.

— Ну, как же, в свое время была известна! Неоднократно писалось, что нет в ней ни смысла, ни толку, ни города, ни проскомидии,— одни лишь глупые краски и еще более глупые линии. «Леваки» вели от нее начало нового искусства.

— Ну, решительно не помню!

— Так вот, этюды для нее я писал у Чертова Пальца.

— Где же там город и проскомидия? Скала, и все. Ха-а!

Вопрос Гармашу был по нутру: Павел Ильич показал свои истинные чувства в отношении искусства. Гармаш облегченно вздохнул.

— Помните, у Чертова Пальца я показывал Ущелье Неверных и в нем расщелину Афродиты? По ту сторону расщелины — скала, вокруг и вниз — дубовый лесок. Я писал все утро пониже скалы, а когда стало жарко, спустился в расщелину и напился там из лужицы: ночью шел дождь, и в выбоинах базальта скопилась прозрачная и поразительно вкусная вода. Напившись, я опять поднялся к своему мольберту. Огляделся. В дубовом леску обильно распустились дикие пионы и еще какие-то лиловые липкие цветы, похожие на колокольчики. Пионы здесь блистательного розового цвета, совсем как разрумянившееся тело. Я, нарвав большой букет, положил его рядом с собой. Чертов Палец надо мной как собор. Вокруг — благоухание чабреца, болтают птицы, напротив — черная вещунья — расщелина Афродиты с глянцевитыми базальтовыми боками. Чувствуя себя отдохнувшим, я сел, взялся за кисть... И вдруг киноварно-красное пятно закрывает мои глаза! Я, знаете, когда вижу что-нибудь необыкновенное, сначала вижу общее пятно, а затем уже частности. По расщелине неслышно,— башмаки на резиновой подошве, а гравия и мелких камней там нет, — шагают мужчина и женщина: розовая женщина, показавшаяся мне киноварно-красной.

— Описываете вы лихо,— равнодушно сказал Павел.

— Ну, мужчина как мужчина, лет под сорок, сложен топорновато и крепко, из тех, про которых говорят, что он пользуется «доверием окружающих». А за ним — и не совсем убежденно — шагает она, в трусиках и бюстгалтере, с непокрытой пленительнейшей головой. Глаза большие и влажные, вся сверху донизу розовая. Я на нее один раз взглянул и весь наполнился восторгом и огорчением. Что за красота! И почему она проходит мимо? И почему именно с этим барбосом? Я по профессии своей кое-что в людских фигурах понимаю, видел их много, встречал и редкие совершенства, а эта не только совершенна и обольстительна, а и необычайно поэтична. Именно поэтична! Что-то в каждом движении розовых длинных ног, повороте шеи, головы, что-то есть неразгаданное и несбыточное, а что именно — сам черт не поймет! Я был просто отуманен и, обалдев, глядел на нее неподвижно. Какой у нее мутный, ленивый и одновременно лучезарный взгляд! Какой крылатый, — другого и слова не подберешь, — именно крылатый взмах рук.

— Давно это было? — спросил Павел.

— Я же вам повторяю, что в дни написания «Города в проскомидию».

— А я вам говорю — не помню этой картины.

— Поворачивают они налево из расщелины в скалы. А за скалами, знаю, крутой обрыв, пропасть. «Куда вы, кричу, свалитесь!» Мужчина даже не обернулся. Он, полагаю, был, вроде меня, в дурмане. Она идет за ним как зачарованная. Однако повела в мою сторону взглядом и ответила застывшими губами: «Они утверждают: проход к Сердоликовой бухте есть». Они?! Меня так всего и передернуло. Какое почтение! И от кого? От нее, за которой полки должны бежать, дивизии! Тьфу. Кидаю ей букет алых пионов, — жест юношеский и мне мало свойственный. Она приняла. И букет в нее словно впился, по цвету то есть. И все. Еще раз мелькнули ее розовые ноги, и больше я их никогда не встречал. Спуск, значит, обнаружили и, оплыв скалы, вернулись берегом моря. Остался я со своим дубовым леском, расщелиной и знойным бездумным молчанием вокруг: птицы и те замолкли. Кисть я отложил, усталости как не бывало и решения вернуться в Коктебель — тоже. Вскочил, перебежал расщелину и пошел вдоль пропасти, по самому ее карнизу.

Павел вздрогнул, и лицо его побелело, как-то даже и насквозь.

— А зачем? — спросил он прерывистым голосом.

— Мальчишество, глупость. Впрочем, когда начался туман, я испытал редчайшее наслаждение.

— Гм. Сомневаюсь. В архитектуре у нас это называется «прогон».

— Прогон?

— Ну, пустое вертикальное пространство, в которое позже ставят печи, лифт, лестничную клетку. Вот и мы с вами сооружаем «прогон». Можно вставить и лифт, а можно и другое что, по вкусу. Пойдемте. Мы с вами, кажись, проболтали весь ужин.

Павел встал. За ним поднялся очень довольный Гармаш. Павел взглянул на него, чем-то огорчился и снова сел на камень.

— Я не боюсь вашего рассказа,— пробормотал он.— Продолжайте. О каком это вы тумане начали и о каком наслаждении?

— Наслаждение поисков. Может быть, я ожидал встретить розовеющую плоть за каждым поворотом скалы и в рискованнейшей позе?

— Не притворяйтесь пошляком. Гадко, гадко!

Гармаш исподлобья напряженно наблюдал за Павлом. Тот, по-видимому, был настолько возбужден, что не вполне отдавал себе отчет в своих словах. Гармашу это доставляло большое удовольствие. Павел беспокойно воскликнул:

— Ну, что же вы не продолжаете? И вот что я вам скажу — укротительные средства и способы их применения появились сейчас во множестве.

— Ого!

— Да, ого!

— И в случае моего молчания вы один из этих способов примените ко мне?

— И применю.

Гармаш засмеялся:

— Мутно, а догадываюсь. Раздражить меня хотите? А что касается «применения», то, кто знает, быть может, я этого и хочу от вас добиться? Впрочем, продолжаю про туман. Я огибал скалы, обходил россыпи, тропинка была еле заметна. Кое-где попадались белые жилы кварца, обломки халцедонов, которые валятся с Чертова

Пальца. Его громада все время сопровождала меня, и стоило мне остановиться, как она, казалось, говорила равнодушно и просто: «Утомился? Нагулялся?» Неподходящее место для прогулок, доложу вам.

— Вы уверены?

— Видите ли, я к наблюдению природы присвоен давно. Не годится этот Чертов Палец человеку! Да и черту тоже.

— Запугиваете? — чуть ли не с ненавистью пробормотал Павел.

— От наслаждения иногда ликуешь, и от жгучего страха иногда впадаешь и в жар и в озноб. Палец-то все время указывает на небо! И добро бы рай, а то просто какая-нибудь вечная виттова пляска с дрожанием и передергиванием всех членов вашего тела! Итак, иду. В голове некая водянистость, сердце четко тикает, словно весь я водяные часы, но шагаю. Кое-где там овраги, поросшие дубом и ежевикой. Тропинку обнаружить трудно, да и не стоит: она совсем над пропастью.

— Вы, вижу, уверены, Захарий Саввич, что я туда пойду?

— Есть в этой тропинке горькая привлекательность, Павел Ильич,— или мне так казалось, потому что вожделение охватило при виде розовоногой... Не буду, не буду! Опять пошляком обругаете. А мне по человечности и благодушию хочется, напротив, отговорить вас идти туда.

— Полыни, повторяю! И высмотреть местечко для кадра, — с нарастающей злостью проговорил Павел. — Вам известна «кульбака»?

— Верховое седло? Как же! Живал я в степи, ездил в седле, пивал кумыс — и из турсука и из сабы. Да, да, живали и жевали.

— У меня однажды в горах пала лошадь. В горах Тувинской Народной Республики. Мы снимали там фильм; вернее, снимали другие, а я, для изучения искусства, служил обыкновенным экспедитором и был послан за костюмами в район. Итак, конь сдох. И я шел три дня, таща на себе кульбаку, — по краю пропасти круче вашего Чертова Пальца. Вам ли меня пугать!

— Я не так лют, как вы полагаете, Павел Ильич. Мне ли брать на себя воздаяние, которое в руках судь-

бы? Просто я сегодня бродил, думал о нашей прогулке на Карадаг, о мечтаниях, с ней связанных, ну и вспомнил, что пережил в молодости, при писании «Города в проскомидию», — лиловые тона, помните?

— Который раз вам твержу: не помню ничего!

— А жаль. Картина была недурна. Я возлагал на нее надежды. Да мало ли на что и кого их возлагаешь? Итак, вспомнил, обрадовался: память уже стала тупеть — и меня легко забывают, и у меня недолго остается. Но это не относится к забвению обид, как вы совершенно правильно заметили, когда назвали меня гадким. Но и не лют, нет, нет! Где бишь я остановился? Ах да! Златоглавое наслаждение от испуга? Слушайте же. Была, повторяю, весна. Оттуда, из пропасти, куда спустилась моя мимолетная розовоногая красавица, доносился лишь безмятежный шелест деревьев, и чуткое ухо могло уловить рокотание ручейка по камням. Вдруг оттуда же показалось золотистое, прозрачное почти облачко. Оно было невелико: с автомобиль или чуть побольше. Приятное такое, бозмолвное, как все облака, и ярко-золотистое. И при всем том смотреть на него было тягостно. Думаю, мое лицо тут стало очень серьезным и строгим. Оно шло прямехонько на меня. Я шагал торопливо. Дорожка, повторяю, была опасна. Но тропинка внезапно исчезла, и пока я ее искал, тревожный холодок обнял меня. Облако! «Э, думаю, промелькнет, обожду». Проходит минута, две, десять, — облако не исчезает, и все вокруг меня в таком, я бы сказал, растленном и беспутном тумане. Чертов Палец — что-то багровое и гнусное и вдобавок с позолотой. И слышу шепоточек: «Разбей, развяжи!» — противненький такой шепоточек, с преднамеренным равнодушием. И в то же время были в голосочке этом какие-то оттенки голоса розовоногой. А? «Разбей, развяжи». Что, когда, почему?! У меня захватило дух, ноги одеревенели, голова наполнилась чем-то невероятно гнетущим. «Пропал!» — думаю. И — тянет вперед, а стою. «Не-ет, думаю, тут только в стоянии и в безумном молчании — спасение». А там твердят: «Разбей, развяжи», — твердят, но с радостью слышу, все отдаленней, отдаленнейше... и какой щедрый радостный свет почувствовал я вокруг, когда шепот затих, и облако покинуло меня, и поползло вверх по Чертову Пальцу. Туда тебе и дорога!

— Кому это — туда и дорога? Мне, что ли? — воскликнул Павел, вскакивая. — Совершенно не нуждаюсь в этой дороге, Захарий Саввич!

— Совершенно, — подтвердил кротко Гармаш. — Тогда ужинать?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Всю ночь Фома, Павел и Гармаш в наглухо закрытой библиотеке проявляли пленку, Евдоша помогала им: наполняла кислотами тазики, справлялась в русских, английских и немецких руководствах, которые привез Фома, распаковывала катушки. Гармаш, оказалось, превосходно знал технику проявления, а Фома и Павел напрактиковались еще в Москве. Но то ли они многое забыли, то ли волновались, — как бы то ни было, все ворчали друг на друга, а когда узнали, что половина пленки, из-за неумелого обращения со светом, испорчена, у всех опустились руки. Евдоша начала путаться в рецептах, откупоривала не те банки с кислотами, которые нужно; Фома поправлял ее внимательно, но не без язвительности. Лучше всего удались съемки Гармаша, но они-то как раз были второстепенными.

Фома дрожащим голосом кричал:

— Вы ж, Гармаш, сами и составляли сюжет. Так зачем же такое множество толстяка этого, Изяслава Глебыча?

— Моих кадров чур не трогать, — пробовал отшучиваться Гармаш. — Местный колорит.

— Местный колорит — Евдоша! И вам приказано снимать Евдошу, и вы, как оператор, обязаны подчиняться. А вы — каких-то сомнительных любовников.

— Меня и без того много, Фома, — сказала Евдоша.

— Мало, мало! Сказал, введу в кино, и введу. Полноте, архитектура! Какая теперь может быть архитектура? Казарменная.

— Иногда и казармы строили красиво.

— Да, но не женщины.

Красный свет фонаря порошил глаза, кислоты пахли жестко и неприятно, лезли на фонарь и на руки мухи,— и вместо весело задуманной шутки получалось что-то тупое и двусмысленное. Евдоша устала.

— Э, чу, кажись удача! — восклицал радостно Фома и затем слышался его скорбный голос: — Опять Изя-

слав Глебыч и она, Афро, — и вдобавок крупным планом. Я возмущен, слышите, Гармаш?

— Слышу и восхищаюсь.

— Восхищаетесь тем, что подвели нас? Пленки не осталось совсем, да.

Лучше всех работал Павел — легко, уверенно, быстро, все только ждали его приказаний — и он приказывал. Мыли, полоскали, перекладывали из раствора в раствор, пахло чем-то острым, и все жаловались, что нельзя курить.

Часа в два ночи с небольшим Гармаш, сказав, что он стар, разбит и хочет подремать на лежаке у моря, ушел.

Изредка поскрипывали ставни, ветер утихал. Возле плетеных стульев, сваленных в угол и похожих на ворох рогож, сушились тусклые круги пленки. Красновато поблескивали из тьмы двери книжных шкафов, переплеты книг, жестянки с катушками на столах, бутылочки и банки растворов. Павел поднял от стеклянного багрового таза красное лицо и сказал:

— Кажись, конец. Доделает Гармаш: у меня руки свело. И надоело! Позовите, пожалуйста, Гармаша: полно ему дрыхнуть.

— Соснуть? — спросил, зевая, Фома.

— Нет, отправляюсь к Чертову Пальцу.

— Чего тебе там?

— Повторяю, кадр.

— А я повторяю — никаких кадров, пленка израсходована, осталось на крошечные досъемочки.

— Полыни хочу нарвать.

— Полынь и у подножья, и у Чертова Пальца одинакова.

Павел молчал. Евдоша, стоя у притолоки и позевывая вслед за Фомой, ласково проговорила:

— Павел Ильич, разумеется, вы — крепки, выносливы, но все ж вы не спали и работали всю ночь.

— Захочется — сосну в горах.

— А пресмыкающиеся? — спросил Фома. — Я тебе отсюда не крикну: «Придави змею!» — Он захохотал, а потом объяснил: — У нас поговорка была такая давно, во времена юных пьянок. Нальем стакан коньяка, и под крик — «придави змею!» — чтоб залпом. Павел был здоров давить. Пашка, ты к обеду вернешься?

— К обеду? К завтраку, ей-же-ей!

Евдоша вышла. Павел мыл руки, слышалось плесканье воды. Фома болтовне Павла, видимо, не придавал никакого значения; скажет «уйду», — и завалится спать на чистенькой постели, вместо гор. А Евдоше чудилось в словах Павла какое-то горькое увлечение, — и не по нутру ей было оно. Она хотела поговорить с ним сейчас же, наедине, хотя, собственно, о чем? Все, кажись, сказано? Однако он жаждет повторения? И, повторю, — скрепя сердце. Куда как приятно ждать его, а подожду. В конце концов во всем виноват не он, а я. Мне и нести наказание.

Евдоша ждала Павла у пляжа. Вспомнилось, что в юности Павел любил малоизвестные имена и названия предметов. Вдруг объяснит, кто такая Деметра или что такое Висожары или Подунавье, а то начнет перечислять — пробойник, тун, овен, ихтиофтальм, жгун, гребло... Казалось, он был тогда в приятном полузабытьи. И вот сейчас, в библиотеке, он начал вспоминать разные таинственные слова, значение многих из них Евдоша не знала. Ей рисовался храм папы Климента, метель, сугробы, шумящие, раскачиваемые метелью фонари, скрип ботинок по снегу, юность... а его все нет и нет! Она медленно бродила между библиотекой и пляжем.

На сером мокроватом лежаке валялась зеленая шляпа Гармаша. Куда исчез художник? Купается? Проведывает сына? Проголодался? Вдали, у самого горизонта, покачивалось знакомое аспидно-темное рыбачье судно с треугольным парусом. Между судном и берегом — пепельно-неподвижное море. Гармаш уплыл к судну, проказник? Да нет, не таковский он пловец.

— А-а-аа!

Взглянув направо, она увидела, что вдоль холмов, к горе Кок-Кая быстро шагает Гармаш. Он шел так быстро и так высоко поднимал ноги, что казалось — звук его шагов доносится до Евдоши. Куда он спешит? Что ему надо в такую рань там, в горах? Он миновал рыбачью землянку и свернул в предгорье. «А, хоть гречиха на нем расти!» — вспомнила она юношескую поговорку.

— И к тому же та-ак хочется спа-а-ать...

Евдоша зевнула, присела на лежак, отодвинула шляпу Гармаша, — и точно покатилась куда-то в искристую, пушистую, тихо журчащую песню.

Когда она вернулась в библиотеку, Фома дремал, покачиваясь в плетеном кресле возле груды высохших пленок.

— А, Евдоша! Мотайте скорее вашу славу. Пашка на самом деле подался в горы!

— Я спала, не видела, — ответила она, краснея.

— И мне, собственно, пора бы спать, да как взгляну на пленку, всего передергивает от радости. Фильмик-то, в общем, захлебнетесь, — сказал он, добродушно наслаждаясь своей работой.— Покажем в Москве, вас сразу, Евдоша, пригласят в кино.

— Неужели я способна, по-вашему, променять архитектуру на что-нибудь другое?

— Пока я в архитектуре — конечно, нет.

Он сказал это с таким безоблачным убеждением, что Евдоша весело и звонко засмеялась.

— Долго я спала, Фома?

— Полчаса, час, — почем я знаю? А что — не доспала?

— Наоборот, я чувствую себя поразительно свежей. Всё смотал?

— Всё. — И неожиданно перейдя на «ты», он сказал, склонив голову набок и ласково заглядывая ей в глаза: — Теперь на́ тебе, Евдоша, в подарок целый день, отдыхай! Завтра — монтировать, склеивать, надписи составлять.

День был действительно как подарок: звенящий, задорный, весь густо и плотно залитый светом. Пока она мотала пленку, взошло солнце, и море стало темно-синего цвета с узкой зеленой каймой у берега. Пахло свежим арбузом и чуть-чуть сыром.

На лежаке, возле отцовской шляпы, сидел Федя, вытирая голову и шею полотенцем. Кудри свисали у него на лоб и нос. Евдоша, взглянув на него, подумала: «Какое красивое название травы — «курчавая марь»!» Евдоша сказала, что если Федя ищет отца, то он ушел на прогулку к Лягушачьей. Впрочем, он уходит туда каждое утро. Ходит ли туда Гармаш каждое утро, она не знала, но художник любил прогулки, и почему бы ему не ходить в Лягушачью? Ей хотелось утешить мальчика. Лицо его постоянно менялось: он ловил какую-то мысль, быть может — подозрение, — и боялся поймать.

— Маму мою не бомбят, как вы думаете, Евдокия Ивановна? — вдруг, покраснев до ушей, спросил быстро

Федя.— Я слышал по радио: фашисты целые английские города разрушают. А мама моя в поезде, едет сюда, мне Афросинья Никодимовна сказала. Что им стоит бросить бомбу в поезд, когда на большие города...

— Но мы же, Федя, с фашистами не воюем,— возразила Евдоша.

— Почему тогда мама долго не едет? Здесь войны нет, а где-нибудь по дороге есть?

— На́ тебе! Откуда же это — на дороге война?

Молчание, молчание. Будет ли война, скоро ли начнется — спрашивают только дети. Но и тех мы учим молчанию, делая вид, что война на нас никогда не обрушится, что мы удивительно ловко обманываем гитлеровцев. Молчание. Безумное молчание!

Мальчик заговорил о щенке. Прекрасный белый щенок с рыжей отметиной на носу, охотничий несомненно. Он выпросил его в деревне у «столярного» мальчишки: за перочинный ножичек. Поднялся Федя сегодня раным-рано, сбегал на базар, купил молока, вернулся — нет ни щенка, ни лопаты. Той самой лопаты с красным вулканом на внутренней стороне и с красным щенком на внешней,— щенка, впрочем, он не успел написать. Он, как сын художника, говорил не нарисовать, а «написать». Щенка он уже назвал Белыш,— и вот пропал Белыш, пропала лопата, пропала мама, а именно маму он хотел порадовать щенком! «Что тут происходит такое, что и объяснить невозможно?» — упрекал взволнованный взгляд, и она принимала этот горький упрек.

— Я найду тебе лопату и щенка,— трепетным шепотом прошептала она на ухо мальчику.— Иди, Феденька, завтракать.

Вскоре Евдоша нашла щенка в бурьяне возле душевой. Лопатку ей пришлось искать долго, и она наткнулась на нее в винограднике. Кто-то рыл ею каменисто-глинистую землю, лопатка была вся в зазубринах. Лопату она поставила у дверей комнаты, откуда теперь слышалось тяжелое дыхание спящего Гармаша, намочила хлеб в блюдечке с молоком, ткнула в молоко щенка, тот фыркнул и начал быстро и жадно лакать. Прибежал Федя, всплеснув руками, схватился радостно за голову и крикнул:

— Ах, как хорошо! Значит, сегодня приедет мама! Подарок готов.

За обедом Евдоша небрежно спросила Гармаша:

— А вы утром по дороге Павла не встретили?
— Нет, я ведь ходил в Лягушачью, — ответил он с усмешкой и повторил: — Да, да в Лягушачью. А он, утверждают, ушел на Карадаг.
— К Чертову Пальцу, — сказал Фома, жадно хлебая борщ. — За полынью и местом для кадра, хотя я ему сто раз говорил, что пленки у нас больше нет.
— Ну, может, он выписал из Москвы? — произнес Гармаш.
— Тю-тю, выпишешь! Лично выдалбливаешь, лично, да и то не всегда. Маклак нас заедает, Захарий Саввич, маклак и скупщик.
Павел не вернулся ни к обеду, ни к пятичасовому чаю. Это никого не волновало: уходя утром, он взял в столовой, — завтрак еще не был готов, — большую горбушку хлеба, кусок колбасы и бутылку ситро. Но то, что он не появился к ужину и ночью, всех обеспокоило, кроме разве Фомы.
— Дрыхнет в камнях, ясно.
— Спать целый день? — спросил Гармаш.
— А работать целую ночь?
Федя кружил возле отца, — замирая от страха и восхищения. Потеряться в горах — какое удовольствие! Гармаш не вытерпел и позвонил пограничникам: если обход встретит в горах архитектора Ферязева, просят передать ему — в доме отдыха беспокоятся.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Беспокойство действительно было сильное. Прирастали и распадались слухи. Говорили, что Павел Ильич, купив в сельпо водки и закуски, отправился на Сюрюк-Кая, на гору, которая несколько отдалена от моря и стоит против селения. Его будто бы сопровождала какая-то гулящая девка из Феодосии. Водка и девица вскоре исчезли, приросло другое. Павел Ильич отправился, видать, на Святую гору с болгарами-контрабандистами, которые там ограбили его, связали и бросили. Тут же мелькнул слух о каком-то важном лице, прилетавшем на гору Клементьева для каких-то переговоров с Павлом Ильичом, но слух этот был мгновенно пресечен чьей-то властной рукой.

Затем заговорили, что Павла Ильича встретили в Отузах кутящим во дворе грека-винодела с молодыми художниками, приехавшими на практику. Отузы в различных сочетаниях повторялись несколько раз. Чертов Палец отрицался решительно, между тем как Гармаш, Фома и Евдоша всем твердили, что Павел Ильич ушел именно к Чертову Пальцу за полынью.

Утром отправились на поиски.

От электростанции к Чертову Пальцу ведут два пути: один — колесный, мимо домиков рабочих, пологий и удобный, другой — за оврагами, вдоль скал Кок-Кая среди колючек, камней, зарослей ежевики и, дальше, плоскогорьем; этот путь, вдоль Кок-Кая, утомительный, но короткий.

Гармаш вел колесной дорогой белую костлявую лошадь, жадную к пище, злую к людям — брыкающуюся и даже кусающуюся. На лошади были навьючены носилки, матрас, дорожная аптечка, бидон с водой. За лошадью шел усатый врач, четыре каменщика, очень уважавшие Павла за какие-то полезные советы, которые он как-то дал, Федя и Фома, повторявший растерянно: «Все это порожние слухи».

Развилка была возле речки, извилистой, мутной и дурно пахнущей. Две сутулые женщины с корзинами за спиной перегоняли через речку стаю гусей. За ними старый пастух и мальчик, щелкая бичами, вели в горы большое стадо коров. Пахло скотом, полынью, пылью дороги, с которой стадо постоянно сбивалось, чтобы подобрать какие-то остатки высохших трав у кустов. На дороге, пропуская стадо, остановилась телега. Возле пустых ящиков из-под винограда, обнявшись, качались три девушки, белые платки покрывали их загорелые темные головы. Бондарь с обручами на плече, в грязном холщовом переднике, держась за телегу, рассказывал им что-то забавное. Девушки хохотали, показывая большие, беспощадные, белые зубы.

— Холостяка, сказывают, потеряли? — спросили они у Евдоши с хохотом. — Не-е, у нас не пропадают: поваляются в камнях дня два, да и вернутся.

За девушками, на дне оврага, видны продолговатые недостроенные дома, бросающие на кустарники длинные ласковые тени. Из тени выходят пестрые куры, солнце высокопарно освещает их, и кажется, что вот-вот куры от радости запоют чуть ли не соловьем... Ах, как кра-

сиво все вокруг, как отлично слажено, склеено и для щегольства даже лаком покрыто, а тут такие постылые и мертвые слухи!

Евдоша, сестра-хозяйка — учтивая красавица с язвительными глазами, взволнованная и растерянная Афросинья Никодимовна пошли тропой. Внизу оврагом, с гулом раскачивая дубы, мчался ветер; вверху, в камнях, вдоль тропы, ветер порой просвистывал. И, несмотря на ветер, было жарко, уныло, мрачно, и хотелось отвечать запальчиво. Афросинья Никодимовна почему-то бормотала о татарах, которых считают турками, о гражданине в сером, прилетавшем из Москвы, и о том, что Изяслав Глебович не имеет к этой болтовне «никакого прямого отношения». Евдоша, сумрачно глядя на нее, проговорила передергивающимися губами:

— А мне-то до этого какое дело, Афросинья Никодимовна?

— Ну, может быть, слышали, что...

— Мало ли что слышишь! Нельзя же при каждом слове настораживаться. Скорее, скорее!

— Я задыхаюсь, Евдокия Ивановна...

— Скорее! Дорога короткая.

Сестра-хозяйка часто говорила красивыми, как и она сама, поговорками, пряно поводя при этом своими очами. И тут она красиво вымолвила:

— Короткая дорога, как короткая плеть: шуму меньше, а хлещет сильней.

«Зачем эта-то пошла?» — трясясь от злости, подумала Евдоша.

По ту сторону оврага она видела пологую дорогу, по которой недавно поднимались на Карадаг, шутя, смеясь и прыгая. Гармаш рассказывал какие-то нелепые, медовые легенды, Фома хвастался, Павел смотрел влюбленными глазами, а сейчас... как быстро шагает белая лошадь, и как быстро идут рядом с нею врач и Гармаш! Они давно миновали домики рабочих, вошли в дубы, появились на поляне, откуда прекрасный вид на залив и Коктебель, не остановились, а, казалось, прибавили шагу. Они явно спешат обогнать женщин, чтобы в случае беды было меньше крика.

— Скорей!

Красавица хозяйка усмехнулась:

— Иной и пятака не стоит, а забот о нем на рубль.

Краска бросилась в лицо Евдоши, но она ничего не ответила: «А, до того ли!»

Афросинья Никодимовна, задыхаясь, еще слышно шептала:

— Говорят, в телескоп философа и астронома наблюдали — и притом вверх ногами, — как с парусника турки пересаживались на подводную лодку. И как не стыдно! А сами — по-французски... в телескоп разглядели, а?!

— Ах, до того ли! — И хотелось крикнуть: «Да будет ва-ам!»

А сестра-хозяйка опять певуче вымолвила:

— В канун наступающих больших событий некоторые лица — точно взведенные курки. У вас сегодня интересное лицо, Евдокия Ивановна.

«Интересное? Тем лучше и тем убедительней будет то, что она немедленно, не стесняясь никого, скажет Павлу. Она скажет, что прошлый раз он не понял ее и, что хуже, она сама себя мало понимала. Это не значит, что у нее расшатались мысли или потеряны убеждения. Нет! Хлеб, — говоря красиво, как сестра-хозяйка, — хлеб пекут из одного зерна, а посмотрите, как разнообразны хлеба́. И так же разнообразен хлеб дружбы, Павел! Вот-вот, именно дружбы-то нам и не хватало, хотя мы много о ней говорили, даже восклицали самым страстным и сверкающим образом. В сущности, я вам должна была сразу сказать, что люблю Виктора и никого, кроме него, не полюблю, а его даже и не по-прежнему, а еще больше. Да, вот из-за этого самого. Из-за Рима, ха-ха, будь он проклят, сколько из-за него неприятностей, ну, хотя бы и у вас. Да, люблю и понимаю, так же как и он, Виктор, смог меня понять. За такое понимание жизнь отдать можно, да и то мало! И вас, Павел, я хочу точно так же понимать и уважать. Ничего, пускай она нас зовет, эта сестра-хозяйка, Серафима Даниловна наша... Дело в том, что величайшее в дружбе и любви — это... ну то, что следовало бы назвать чувствованием наших чувств. Честное слово, вы понимаете меня, Павел! Как я рада, ах, как я рада! А то что же получилось? Искусство, которое мы полюбили, соединило нас, а случай — случай с Римом — размыл нас, как река размывает берега. Ха-ха! Нет, это все-таки не так красиво, как у Серафимы Даниловны. Какое у вас интересное лицо, и как приятно, что вы теперь — мой настоящий друг.

И — друг Виктора, да ведь? У, теперь мы многое скажем друг другу!..»

Евдоша вяло спускалась по острым, как жало, камням россыпи.

Следы подков. Сначала — легкие, затем — глубокие; конь с большим грузом? Он расшибся? Ранен? Или просто вывихнул ногу, повредил связки? Следы шли к обрыву, затем возвращались. Мужчины не только обогнали женщин, но и не стали дожидаться и никого не оставили, чтоб рассказать — что же случилось? Или уж им было не до женщин, они забыли о них? Значит, что-то очень серьезное?

Следы вели к невысокому, так, в один этаж, травянисто-зеленому камню на краю обрыва. Камень, весь вытянувшись, стоял как раз против Чертова Пальца, который весь в ржаво-желтом налете. На верху камня Евдоша нашла солнечные очки. Поскользнувшись, должно быть, Павел уронил их,— и покатился.

Пониже — метрах в пяти — свежеобточенными колышками обозначено было место, куда, по-видимому, упал Павел,— быть может, это сделали для следователя. Тут же валялся забытый кем-то носовой платок. Евдоша подняла этот серый с синей каемкой платок и не успела выпрямиться, как слезы покатились у нее из глаз. Афросинью Никодимовну сдерживала стойкость Евдоши, но когда она увидала ее слезы, добрая женщина завопила в голос. Ласковое, красивое лицо сестры-хозяйки стало жалким и некрасивым, и она тоже заплакала, высоко поднимая и опуская свои покатые плечи.

И едва они выбежали на дорогу, чтоб догнать процессию с раненым, Евдошу, как алмазом по стеклу, что-то резнуло по сердцу. И не поскребло и не поцарапало, а именно резнуло, чтобы дальше надломиться и раздвинуться, как раздвигает стекольщик надрезанное стекло.

А на крутом спуске дороги, где выступали отполированные колесами и людскими подошвами камни, указывая назад через плечо, туда где оставался Чертов Палец, она неустанно с подозрением твердила, что они, может быть, не все достаточно осмотрели и усвоили...

— То есть нет ли тут элементов преступления? — спросила хозяйка, совсем потерявшая красоту от волнения, плача, поспешной ходьбы в неудобной и, как выяснилось, хоть она и молчала об этом, тесной

обуви.— Голубушка моя, все многострадавшие строят павильон отдыха, и у всех получается яркая тюрьма.

Да, да, тюрьма. Любовь — тюрьма, дружба — освобождение. И Евдоше обрывками вспоминается ночь в Львином ущелье. Если очнуться, то понимаешь, какое претенциозное название. А нужно ли очнуться?.. Костер потух. Луна стояла долго. «Значит, в эту ночь была луна или она ей теперь мерещится? Но для чего — мерещится? Для претенциозности? Ах, как глупо!» Края луны начали бледнеть, и скалы стали похожи на укрепленный замок. Справа от замка текла река и красовалась готическая,— нет, пожалуй, романская,— часовня. Луг, стадо овец, пасущееся у дороги, и тут же виселица и какое-то колесо на шесте. Пересекая луну, летела стая птиц. «Рановато для перелета, но вот так же рано, иногда, перелетает любовь»,— шепчет кто-то подле. А остальные, не отрывая глаз, смотрят не на луну и не на летящих птиц, а на восток, который в торжественных розовых кружевах. Скалы охристы, желтовато-серы, и чуть заметная дымка утреннего тумана скользит между ними. Птицы исчезают на юго-западе, где встает темная, дождевая туча. Она далеко. Грома не слышно, только сверкают зарницы и еле-еле можно разобрать кривую полосу дождя. Слышится шепот: «Я люблю тебя, Евдоша». Ах, какая горькая и грустная привлекательность в этом шепоте.

У домиков рабочих слышны добродушные и чуть ли не насмешливые голоса. По-видимому, процессия с раненым дошла туда, и рабочие, нередко получающие увечья, посмеиваются: он бы добрался и своими ногами, к чему столько беспокойства? И кто-то громко, очень громко, словно для них, спешащих вниз женщин, сказал: «Поставьте носилки, отдохните, ему — ничего».

— Ничего? — Евдоша обрадовалась.— Ну, понятно. Легкое ранение, ушиб. Видите, ничего,— четко и беззвучно, точно во сне, сказала она сестре-хозяйке, стараясь снисходительно улыбнуться и легонько, пальцами, похлопывая по плечу эту слабую, раскисшую женщину.

Но тут опять закололо в сердце, и, полное темного, страшного огня, сердце дрябло упало. У домиков наступила та зыбкая и жестокая тишина, которую называют мертвой. Стараясь прийти в себя, Евдоша перевела взор на горы. Над террасами породы вился курчавый дымок,

похожий на кольца, которые пускают опытные курильщики. Был, видимо, взрыв, которого они не заметили. И вокруг террас лежал, точно застывшие кольца дыма, дубовый лес и вилась окуренная горной дымкой, кремнистая, твердая дорога. Пахло ладаном.

— Скорее, скорее! — закричала она, бросаясь к домикам.

Носилки стояли на земле. Каменщики, склонив головы набок, вытирали рукавами рубах потные лбы и шеи.

Он лежал, напряженно вытянувшись, совсем не своего роста, и голова его была прикрыта марлей от мух. Евдоша откинула марлю и увидала его лицо грязновоскового желтого цвета и сгусток пепельно-алой крови в уголке его ухмылявшихся губ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Покойника положили для прощания в сельском клубе, в длинном саманном доме с глубоким и просторным подвалом, где хранились зимой соленые огурцы и чеснок, которыми торговал колхоз. Администрация не возражала, чтоб тело Павла Ильича лежало в доме отдыха, но сельсовет сказал, что дом отдыха — это дом отдыха, а все почтенные покойники лежат в клубе, а Павел Ильич был все-таки сельсовету человек знакомый.

Из зала убрали стулья, экран кино, на середину поставили три длинных стола, покрытых кумачом, на стены повесили гирлянды из можжевельника и сосновых веток, пол застлали свежескошенной травой,— и все же сильно пахло чесноком и почему-то яблоками, хотя яблок в подвале не хранили.

Убирала Павла Ильича в последнюю дорогу Афросинья Никодимовна вместе с двумя колхозными старухами, которые все шептались между собой насчет попа, но ни к Афросинье Никодимовне, ни к Евдоше обратиться не решались. Время от времени Афросинья Никодимовна, явно стараясь угодить Евдоше, немо посматривала на нее. Евдоша безучастно сидела в углу на табурете, опустив руки и голову.

Когда покойник был вымыт, причесан, одет в вычищенный и выглаженный костюм и ноги его были обуты

в особые туфли, за которыми одна из старух ездила в Феодосию и которые, видимо, совершенно были необходимы для обряда,— Афросинья Никодимовна отошла несколько в сторону, нервно прижала руки к вискам, пристально вглядываясь в лицо Павла Ильича, и сказала со вздохом:

— Кажется, он?!

Затем деловито повернулась к Евдоше:

— А для могилы украшения приготовлены?

— Какие?

— Ну, в местном стиле. Камушки, дикие цветы, бессмертники. Камушков красивых много у склепа Юнга, шли бы вы туда.

Евдоша и пошла.

Там, где шоссе сворачивает на Феодосию, возле моста и устья речки, впадающей в море, как раз посредине той воображаемой трубы, по которой часто из степи дует могучий и жестокий ветер, много лет тому назад помещик Юнг, которому принадлежала тогда вся долина, создал на каменистом холме у моря родовой склеп. Несмотря на то что неподалеку уже возникли дома отдыха и санатории, склеп сохранился до сих пор, и жители, чтоб оправдать его существование, утверждают, что Юнг был известный путешественник, борец с алкоголизмом и написал сочинение по истории карт — географических или игральных, нельзя сказать в точности. Утверждают, что к «склепу Юнга» прибой выносит особенно ценные коктебельские камешки.

С холодно-щемящим сердцем набрав полную суму камешков, Евдоша равнодушно поднялась на холм: так всегда после купания и собирания камней они поднимались и долго любовались заливом. Павел протяжно называл имена горок, мысов, заливчиков, имена, данные им поэтом Волошиным. Как, поди, приятно называть места, дотоле неизвестные! И она опять вспомнила, что в юности «Как это называется?» был, пожалуй, самый любимый вопрос Павла. Почему, спрашивал он, египетские, да и другие властелины меняли имена при воцарении? А монахи? Да, обычай псевдонимов исчезает, а жаль! «Подумать только, что пятьсот — тысячу лет назад все, теперь нас окружающее, за малыми исключениями, называлось по-другому: реки, деревья, вещи, горы, целые страны, моря. А в чем тайна наименования

машин, орудий, металлов, тканей, обуви?» И он гордился, что несколько раз по его «заявкам» давали названия новым духам и винам.

И теперь, когда Павел лежал в гробу, у него было такое лицо, точно он спрашивал: «А это как называется? Неужели — смерть?»

По-прежнему немолчно и хрустально накатывалось море, но на сердце уже не было той нетленной и широкой радости, что прежде!

— Евдоша!

Она взглянула в лицо беззвучно подошедшему Фоме. Лицо было измученное, осунувшееся и крайне растерянное, но совсем не той растерянностью, которая наступила после прихода с Карадага. Фома часто моргал глазами, точно туда попал сор, мотал головой — что-то очень беспокойное и бессонное тревожило его. В руках он держал сигару и сверток бумаги.

— Вы же не курите, Фома.

— Иногда.

И он протянул ей сверток.

— Некролог? Для чего?

— Нет, вы прочтите.

Евдоша беззвучно открыла рот.

— Ну, Евдоша... плохо мне, дружище...

Лицо его было в красных пятнах, особенно верх лба и скулы, кроме того, скулы роняли капли пота. И весь он казался как-то неумело и торопливо покрашенным в серое с красными пятнами. Евдоша взяла сверток.

Косясь на Фому, с раздражением вначале, с недоумением в средине и с радостью в конце, читала она рукопись Павла, которую тот назвал «Правда о Риме». Собственно, о Риме там ничего не было, это было адресованное редакции «Советского искусства» объяснение того, почему Павел выступил против архитектора Орехова и почему он, Павел Ильич Ферязев, тоже архитектор, но малодушно не работающий по специальности, выступил неправильно и в корне ошибочно. Современная архитектура есть архитектура современная, то есть архитектура, призванная служить пролетарским массам, построению нового общества. Архитектура, как и всякое искусство, должна быть преисполнена светом и правдой. Рим, как блестяще разъяснил архитектор

Орехов, тут ни при чем,— да и Греция тоже. Та и другая архитектура, бесспорно, великие архитектуры, но мы понимаем их ложно и иначе вряд ли способны понять. Другое время, другие люди, другие строительные материалы, наконец. Ставить каменные комоды, прибавляя к ним колонны, фронтоны, архитравы, фризы и статуи,— это вовсе не значит воссоздавать Рим или Грецию. Все это лже-Рим, подделка, фальсификация... В конечном итоге реставрирующая даже и не Рим, а выверты российских аристократов да купцов... Наша задача гармонически сочетать максимальные удобства с изысканнейшими линиями...

Евдоша, опустив рукопись, глубоко вздохнула.

Вторая рукопись состояла из заметок о дальнейшем усовершенствовании портативного киноаппарата, над которым работал Павел вместе с Фомой. Эти заметки Евдоша просмотрела бегло.

— Ну и как?

Фома глубоко затянулся, вынул сигару изо рта, провел ею раза два перед своим лицом и проговорил:

— Потрясающе, верно?

— Что именно?

— Да заметки о кинокамере.

— А-а-а...— протянула она равнодушно. Видимо, статью «Правда о Риме» Фома не читал или не придал ей никакого значения.

— И как может возникнуть мысль о его самоубийстве: при такой-то творческой напряженности?

— А у кого она возникла?

— У многих. Хотя бы у Гармаша.

— А-а-а...— протянула она.

Когда с букетом цветов и камушками Евдоша возвращалась к дому отдыха, ее догнал Изяслав Глебович. Он был задумчив, впрочем, улыбался по-прежнему ласково и по-прежнему заглядывал в глаза. Он нес большой красный венок из искусственных цветов.

— Вы на могилку? — спросил он.

— Да, да! Собственно, нет. На могилу позже, завтра, когда хоронить. А сейчас зачем же?

— Понятно: в смысле преждевременно? Хотя место выбрано живописное — неподалеку ключ, пирамидальные тополя за пригорком, виноградники, повыше развалины армянской церкви. Очень красиво! Я хочу, зна-

те, венок примерить, а? Город обещал к похоронам непременно напечатать ленту.

— Какую?

— Да к венку же! — ответил он не без изумления.— Привет от Афросиньи Никодимовны. Говорят, вы уезжаете? — И добавил с таким многозначительным взглядом, будто видел ее насквозь: — В глубине души мы довольны, что вы уезжаете вместе с нами. У меня к вам страшной важности разговор.

И с почти счастливым видом отправился дальше — примерять венок.

Невесело было Евдоше. Она стояла, вытирая мокрое лицо и глядя через ограду на свою террасу, с которой доносился стук молотка: Гармаш сколачивал клетку для Белыша, которого Федя решил отвезти в Москву.

Евдоша спрашивала себя: «Что же значит эта его статья?» Две женщины с вязанками косматых дубовых сучьев за плечами,— зная, видимо, о ее горе,— остановились подле и всплакнули.

— Все, все сбираемся на кладбище-то,— проговорили они в голос.

Мужчина, с мешком кизила за спиной, весь в красных пятнах от сока ягод, тоже остановился и стал тереть глаза.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Голубое небо с плывущими по нему жемчужно-белыми облаками было очень обыденно. Но не прошло и пяти минут с того момента, как поставили гроб на землю у могилы, в небе словно распахнули ворота и выпустили жаркий праздник. Горизонт покрылся розовыми клубами. На юго-западе выстроились полчища всадников в синем. С востока ринулись наездники в ало-красном. В зените над ними выросли крепостные стены и башни. И все это кипело, волновалось, сшибалось с горячностью страстной и нерассудительной. И, словно желая вступить в спор с этими посланцами Карадага и той волшебной ночью,— с террас, один за другим,— неслись взрывы, и торопились к небесным облакам дымные облака земли.

Оркестр пограничников играл старательно и трогательно, видно было, что даже музыкантам, которые часто играли на похоронах, было жалко этого молодого

и бессмысленно погибшего архитектора. Упасть со скалы... какая нелепость!

— Ах, какая нелепость! — повторила Евдоша, наверное, в сотый раз.— Фома, почему такая плоская и большая нелепость?

Фома не отвечал. Каменщик, рябой рослый мужчина в выцветшем комбинезоне, поставив ногу на холмик свежей земли, взглянув в лицо покойника, а затем переведя взор на лица большой и напряженно дышащей толпы, сказал:

— Товарищи! Покойный, товарищи! Прошу вас — внимание!

Шум возле могилы утих.

На холмик, глубоко уходя ногами в рыхлую серую землю, поднялся Фома. Он был в замешательстве: тер руки, моргал, морщил лоб и, кое-как справившись с приступом смущения, заговорил.

Говорил он медленно, странно и мрачно взволнованный; должно быть, он долго думал над своей речью,— и сказал он речь не будничную, а страстную, горькую и неожиданную. Он ни слова не промолвил о классическом Риме, классическом наследстве и новейшей архитектуре, хотя привел немало выдержек из найденной им статьи Павла Ильича. Для колхозников и отдыхающих здесь рабочих,— да и для большинства интеллигентов тоже,— споры о классической архитектуре и противопоставляемой ей современной были глубоко безразличны, если не скучны.

Фома говорил о том, что всем советским людям, людям, строящим социализм, надлежит жить в светлых, теплых, просторных зданиях, в которых все было бы в избытке: свет, тепло, вода, газ, электричество, телефон,— жить так, чтоб свободно можно было б разместиться самой большой семье, чтоб не мешать друг другу учиться, творить и развлекаться; чтоб близко были бы детские учреждения, магазин, кино, театр, библиотека, чтоб легко было попасть в любой конец города. Да чтоб и село так же отстроилось и там зажилось бы так же легко и весело, как и в городе.

— Вроде бы и нелегко говорить о веселье возле свежей могилы, но именно он, мой друг Павел Ильич, и я, и вот здесь стоящая рядом наш друг архитектор Евдокия Ивановна, и ее муж, замечательный советский архитектор Орехов,— мы боролись за новейшую советскую

архитектуру, желали и продолжаем желать строить — именно веселую и радостную жизнь для советских людей. Другое дело, что случаются ошибки,— очень порой тяжкие и угрюмые,— случаются беды, несчастья, но мы же советские люди, то есть не безгласные, не безвольные, не люди отчаяния, не люди безмолвного молчания, а люди, способные к сопротивлению, к борьбе, наконец! Мы будем строить новую жизнь по-всякому, и архитектуру тоже, и мы выстроим ее! Мы выстроим много-много домов, улицы, кварталы, целые города, рабочие поселки, новые колхозные и совхозные города. Мой друг Павел Ильич, — пусть иногда смутно, неясно, даже путано, как бы пробираясь сквозь глухой и густой тростник,— мечтал о новой жизни. Он пробился бы сквозь этот тростник, его мечты сбылись бы, но нелепый случай, один неверный шаг, быть может, головокружение,— он не спал всю ночь, мы с ним работали,— и вот какой-то один шаг погубил его. А вокруг него было то самое безумное молчание смерти, которое подстерегает каждого из нас. Не нужно поддаваться этому молчанию, нужно помогать друг другу, вселять друг в друга веру, вселять веру в добро, в добрую и спасительную людскую совесть!..

Изяслав Глебович стоял спиной к Евдоше, сутуловатый, плотный и даже со спины как бы улыбающийся. Он был похож на соломенно-желтое жесткое крыло. И вдруг у этого жесткокрылого начали алеть уши, багроветь шея, налились темной краской руки, и даже сквозь чесучу заметно было, что и ноги-то его красным-красны. Он весь дрожал от негодования. Многое поняла тут Евдоша.

Все разошлись. Остались только Гармаш, Фома и Евдоша. Пахло полынью и землей, у могильного столбика со свежевыкрашенной дощечкой лежала телеграмма от родственников Павла Ильича: не то кто-то положил ее здесь, не то забыл.

Евдоша, отойдя несколько шагов, надела шляпу и повернула к Фоме лицо. Из-под широких, отогнутых кверху полей на него глядели просторные и словно разгороженные глаза с высоко поднятыми бровями. Сердце его будто переменили: что-то стонущее, удивленное, умиленное билось внутри него.

— А знаете что, Фома? — спросила она.

— Знаю.

Она сорвала шляпу и разгонисто взъерошила свои волосы, а затем сказала с благодарностью:

— Ну, раз знаете, то значит — все ясно. Теперь мы с вами действительно и навсегда друзья.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Наступил вечер. Ужинать Евдоша не пошла, а все сидела у окна и смотрела на море или ходила по комнате. Явилась растрепанная Афросинья Никодимовна в тоске и вздохах. Ее знобит. Дует. Наволокло туч. Она еще раз вздохнула и, обладая способностью засыпать, как только голова ее касалась подушки, положила голову на диванный валик и заснула. И во сне ее заплаканное лицо имело очень жалостливое и капризное выражение.

Евдоша, поглядев на это измученное лицо и подумав — «хороша, поди, и я», — снова подошла к окну. Дул ветер, стучали всюду деревянные ставни, отодвигая и роняя тяжелые предметы, которыми хотели их удержать, несколько раз просвистел в саду сторож, а Евдоша все думала и думала. Проснулась Афросинья Никодимовна, потянулась, сказала, что Изяслав Глебович, — из-за похорон, видно, — сегодня туча тучей... И что еще ждет ее в Москве? А вообще пора складываться. И она ушла.

И тотчас же снова открылась дверь. Показалась желтая и кислая фигура Гармаша с палкой и трубкой. По-видимому, он не знал, как приступить к тому, что он предполагал сказать, потому что произнес с неудовольствием:

— Не помешал?

— Я вас ждала, Захарий Саввич, — ответила Евдоша.

— На предмет прощания?

— Нет на предмет признаний.

— Вот оно что! Ну, какие же тут могут быть признания? Не время.— Он развел руками и перевел взгляд на море.— Вот оно ревет, полагает, наверное, что без шума нельзя продумать большую думу. И шумит, шумит многие тысячи лет.

— Говорят, Чехов бывал в Коктебеле.

— Это вы к чему?

— К тому, что размышляете вы в стиле героев Чехова: протяжно, многозначительно, а в сущности, плоско. У Чехова в описаниях ритм, музыка слова, вот что главное, а вы лишены слуха, Захарий Саввич.

— К чему, повторяю, вы все это ведете?

— Да все к тому же.

— То есть?

Евдоша не ответила.

— Да, Павел Ильич...— сказал протяжно Гармаш.— Пройдет много лет, мы уже забудем манеру, с которой он говорил, забудем и свои ответы, и в памяти останется только шумливый, красивый и бойкий человек, упавший со скалы и разбившийся. Евдокия Ивановна состарится, оставаясь по-прежнему красивой и обаятельной, и, мягко улыбаясь, будет вспоминать, как упал со скалы Павел Ильич и как все говорили, что он покончил с собой от любви к ней,— а это ведь выдумки. А какая это, однако, была красавица и какое было тогда красивое море, будем думать мы, глядя на вас, Евдоша...

— Море и останется морем, а пошлость — пошлостью.

— Вы это мне, Евдоша?

— Вам.

— Другими словами, вы настаиваете, чтоб я сказал вам то, ради чего пришел?

— Именно.

Гармаш сел на стул, между бровей у него образовалась складка, нижняя потрескавшаяся губа отвисла. Он зажег спичку и стал закуривать —табаку в трубке не было,— и он растерянно улыбнулся:

— Ну, что ж, вы правы, Евдоша.

— В чем? — сухо спросила она.

— Да в вашем подозрении. Мне доложила Афросинья Никодимовна, не то болтушка она, не то ее наускивает Изяслав Глебович. — И, помолчав, добавил: — Вы правы. Я его убил.— И тяжело засмеялся: — Неотвязно он был при мне, неотвязно! И надоел. То Виталию — к нему ревновал, то — вас. Вот Фома говорил на могиле, что Павел-де способен был сеять семена искусства. Семена раздора он более склонен был сеять, — и с большим удовольствием и даже наслаждением. Он ведь в девушек неспособен был влюбляться, а только в за-

мужних женщин, и преимущественно в тех, которых крепко-накрепко мужья любили. Вот я и убил его.

— Каким же образом?

— А ведь вам, Евдокия Ивановна, придется отложить отъезд: показания дать следователю и прочее.

— Вздор какой!

— Я теперь ничего не боюсь. Я ведь убил, вас спасая. В некотором роде, из-за любви к вам. И никак не ожидая вознаграждения.

— А мой поцелуй помните?

— Еще бы! Ведь ваш поцелуй и был задатком — подстрекали меня. Вам ненавистно было выступление Павла Ильича, и вы не прочь были его убрать.

— Я поцеловала вас тогда потому, что сама томилась не меньше вашего — обоим нам плохо было. А что Павел выступил против мужа, я не знала тогда.

— Ой, знали!

— Не знала.

— Ну, догадывались. Догадались же вы, что я приду к вам сейчас с признанием. Неприятно, тяжело вам было так думать, но догадывались. Сейчас объясню. Я рассчитал совершенно точно. Выветрившаяся лава очень опасна. Только ступи,— она, уже столетия готовясь к твоему шагу, всегда рада помочь тебе сорваться. Я и соблазнил Павла Ильича, науськал его пойти туда, он вступил на камушек, остановился, — место это я ему точно описал,— эстет непременно должен был остановиться и залюбоваться, а что он эстетом был, это несомненно. Камушек — под него! Споткнулся, взмахнул ручками, — ручками в таких опасных случаях никак нельзя, никак! И — кувырк. Да. Кувырк! Горе и годы лишили меня сострадания. Я рад этой смерти.

— Мне вот только непонятно — зачем вам понадобилось признаваться?

— А я и не собирался.

— Почему же все-таки собрались, Захарий Саввич? У вас ведь обожаемый ребенок, жена, в которую вы страстно влюблены и которую... ну не будем говорить об этом... Искусство! Вы же чрезвычайно талантливы, и вы знаете, что талантливы. Почему же? Раскаяние? Такие люди, как вы, разве раскаиваются?

— Верно! — воскликнул Гармаш, всплескивая руками.

— Почему же, однако, собрались признаваться?

— Я думал, моя злоба, отчаяние, негодование исчезнут, когда его не станет. И вот я не могу позабыть его ни на минуту. И сейчас весь дрожу, когда вспоминаю о нем...

— Все это от того безумного молчания, в котором воображается столь многое.

— Знаете что, перестали бы вы твердить о «безумном молчании»,— сказал Гармаш вполголоса и с неудовольствием.— Не ко времени эта многозначительность, особенно теперь.

— Мама их твердит, да и я запомнила эти слова из какой-то старинной книги, какой — уж я не помню. Мне тогда было лет пятнадцать, и я влюблена была в учителя математики и молчала, конечно. И мне мое молчание казалось «безумным». Теперь-то это кажется таким вздором. Дай бог, чтоб через десять лет теперешние мои мысли показались мне тоже вздором.

— Сомнительно.

— Я тоже думаю, что сомнительно.

Гармаш помолчал, подошел к подоконнику, взял лежавший на нем зеленовато-белый голыш, повертел в руках, приложил к виску. Евдоша, протягивая ему руку, сказала с жаром:

— Полноте, Захарий Саввич! Не убивали вы Павла Ильича. И не думайте, что этими вашими выдумками спасете нас, перенеся огонь на себя. Еще только хуже все осложните и запутаете.

— Задумал. Выполнил. Убил.

— Задумал,— возможно. И яростно думал. Но выполнять — не выполнял. Одно лишь ваше воображение, что именно вы подговорили его идти к пропасти у Чертова Пальца. Оказывается, и до разговора с вами он выспрашивал о дороге каменщиков; каменщики зимой в тех местах браконьерствуют, знают ее хорошо. В ту ночь, когда мы проявляли пленку, вы поднялись через Кок-Кая к Чертову Пальцу?

— Да, поднялся!

— Вот и неправда,— вы не поднялись, а сидели, покуривая, в камнях у Кок-Кая. Там вас видели женщины, собиравшие хворост. Это точно установлено.

— Кем?

— Ну, людьми. Мной, в том числе, Захарий Саввич!

Успокойтесь. Не нужно усложнять и без того сложную жизнь: оставим это занятие Изяславу Глебовичу.

— При чем тут наш лжепушкинист?

Евдоша приблизилась к Гармашу и сказала печально:

— Ах, доля, доля! Заодно я разъясню вам ее в вагоне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

За Харьковом, от Слатино до Казачьей Лопани, перегон порядочный, к тому же поезд шел медленно, давно потеряв расписание. Евдоша стояла в коридоре у окна, пассажиры сидели по своим купе, пили чай, играли в преферанс, домино или читали. Да и кому хочется смотреть в окно на моросящий неотвязный дождь, на мрачную и липкую слякоть, на эти темно-оливково-серые, невыносимо пустынные поля? У рогово-черных домиков стрелочников желтеют в узорчатой листве белобокие тыквы, упрямятся и тянутся еще вверх отрезанные круги подсолнухов, горло которых словно заткнуто ватой.

Все хмуро, тяжко, немо, и даже паровозный гудок звучит как-то неутешно.

В руке Евдоша держала миску с молоком. В Казачьей Лопани,— там поезд будет стоять долго,— она собиралась отнести миску в багажный вагон, где в деревянной клетке, сколоченной Гармашом, дремлет испуганный Белыш. Ему, поди, снится Коктебель, море, горы и, кто знает, может быть, вулкан? Он очень мил, этот белый, толстобрюхий щенок с черными ушками и с одной густой забавной черной бровью; кажется, глядя на него, что кто-то так торопился, создавая его, что не успел дорисовать второй брови. Тем не менее взгляд у него был очень задушевный, как, впрочем, и у всех коктебельских собак. Весной в долине у собак колхозников во множестве нарождаются щенки. Кормить их, разумеется, нечем,— и сама-то сука неизвестно чем живет. К маю щенки расходятся по домам отдыха, а к осени вырастают в порядочных псов, которых милиционер, опасаясь бешенства, пристреливает. Наиболее догадливые псы вовремя покидают дома отдыха и перебегают в окрестные селения, чтобы перезимовать. Тогда у недогадливых делаются необычайно ласковые, задушев-

ные глаза, которые всем встречным говорят: «Ведь в октябре все дома закрываются до весны, гаснут кухни, гаснет электричество, уезжает обслуживающий персонал,— что же нам делать, не приютите ли вы нас?» Белыша приютили, везут в Москву,— что-то ждет его там в этом гигантском огнедышащем вулкане?

А нас что ждет? Накануне отъезда Евдоша долго убирала могилу Павла Ильича разноцветными камнями, ракушками, бессмертниками, а убрав, сидела на скамейке возле могилы и смотрела на горы. Ей не хотелось думать все о том же: бросился ли он со скалы сам или упал, поскользнувшись. Непонятный образ Павла Ильича, умирающего в скалах Чертова Пальца, почти уже стерся в ее памяти, замененный чем-то горячим, знакомым, хорошим, упоительно задорным и близким. Его статью она помнила почти наизусть. Он жив,— и будет жить! Печально, что камни были так недружелюбны к нему, но что же в конце концов поделаешь? Она вытерла слезы и медленно спустилась с холма, на котором лежало это, наверное, очень древнее кладбище,— от древности, впрочем, сохранились только обломки плит, да и могильные ли это были плиты?

Вагон покачивало, алая дорожка коридора отражалась в стекле фотографии, изображавшей Ай-Петри. Из купе, в противоположном конце коридора, на цыпочках, ласково улыбаясь и согнувшись, точно в поклоне, вышел Изяслав Глебович. На нем была радужная полосатая пижама, и, несмотря на дорожную пыль, лицо его было нежно-свеже, а по выражению почти лучезарно.

— Моя обольстительница спит, — прошептал он, широко открывая глаза.— Пусть выспится, не думаю, чтоб Москва встретила ее благоуханно.

— Ваша вина.

— Моя, — подтвердил он, скорбно кивая головой, — моя. Но — служба. Предполагал сочетать личное с общественным, а это редко получается, вернее сказать, никогда. Теперь еще побочные обстоятельства — в нашем Координационном комитете в Москве и у родственников Афросиньи Никодимовны — из рода диких случайностей...

— Какие, не секрет?

— Какой секрет! Наоборот, сам жаждал рассказать вам. Молочко щенку?

— Щенку.

— Да ведь вы, кажись, недавно целую миску кондуктору багажного оставили?

— А вдруг он ее выпил сам?

— Неверие в людей, Евдокия Ивановна, происходит главным образом от беспокойства. Но вернемся к моему секрету. Мне, доложу вам, Евдокия Ивановна, понравилась речь Фомы Мироныча на могиле — относительно новейшей архитектуры.

Евдоша с изумлением взглянула на Изяслава Глебовича, а он, потирая свои полосатые бока, весь как-то встрепенулся, покраснел, охваченный чуть ли не вдохновением:

— Скажу откровенно — я сразу подумал: а не применить ли ее у нас.

— У нас в Москве или у вас в Ленинграде?

— У нас в южном Казахстане, в горах Каратау. Каратау что-то вроде Карадага, Черные Горы. Там открыты залежи свинца, и есть пять основательных рудников, то есть в смысле добычи и народонаселения.

— Позвольте, Изяслав Глебович, но вы только что намекали...— начала было с досадой Евдоша.

Изяслав Глебович не позволил ей продолжать и воскликнул вполголоса:

— По своей работе в Координационном комитете я имею отношение ко многим областям промышленности, а иногда и политики.

И он растопырил свои розовые, быть может, чересчур коротковатые пальцы.

— Пять пальцев. Видите? Или — пять рудников. От них, вот сюда, к центру ладони, сбегаются дороги, шоссе, тропинки. Центр получается в километре-двух, самое большее трех, от любого рудника. В каждом руднике мы проектировали рабочий поселок с общественными зданиями. И теперь у меня возник вопрос: а почему — в каждом? А нельзя ли выстроить один центр, но уже настоящий и внушительный, типа городского? Кино, театр, рабочий университет, гимнастические залы и бассейны, библиотеку, ну, и здание комбината? А? И почему нам не поручить это дело молодежи, молодым архитекторам, а? Деньги есть, материалы есть... а?

Евдоша, раздумывая, нерешительно и в то же время не без удивления проговорила:

— Мысль увлекательная.

— Упоительная, Евдокия Ивановна! Чарующая! —

И он сказал нетерпеливо и вместе с тем почтительно: — И почему бы нам не пригласить вас, то есть вас лично, вашего супруга, как я понимаю — выдающегося молодого архитектора, а также и Фому Мироныча? Ну, и вообще товарищей, которых вы рекомендуете. В общем — целую бригаду архитекторов. Имею все основания думать, что там, в отрогах гор Каратау, вы осуществите все ваши самые новейшие архитектурные замыслы.

— Но разве вы исключены из системы наблюдения, мягко говоря?

— Нет, что вы! Все — в системе, все. Но видите ли, местность наша отдаленная, для комиссий малопривлекательная, и наблюдения будет самое поверхностное. Конечно, вы отдадите дань классическим фронтонам, украшениям, но преломив, преломив! — И он добавил голосом, который допускал преломление самое широкое: — Словом, есть возможность! Поезжайте. Московская жилплощадь сохраняется за вами, а там, на месте, создадим удобства,— и в Европе таких не встретите. Я, признаться, уже и предложение написал.

Евдоша ухмыльнулась горьковато:

— Не дожидаясь нашего ответа?

— Боже, а какой вам интерес переживать проработку? Поверьте, ведь в «Советском искусстве» это только начало. А у нас, в Каратау, вместо признания ошибок — работа, дома, замыслы, стройки.

— Вы правы, Изяслав Глебыч.

Он уставился на нее своими небесно-голубыми, ласкающими глазами, пожал ей руку и прислушался: не проснулась ли Афросинья Никодимовна. Она продолжала спать. Тогда он повел бровями и приложил руку к сердцу: дескать, вот она, добродетель-то! Вдруг он замер. «Позвала?» — подумала Евдоша и внимательно поглядела на него. Радостное изумление залило все его лицо:

— Еще бы! Так будет все прекрасно!

Евдоша грустно ухмыльнулась:

— Но перед нашим поступлением, Изяслав Глебыч,— пространная анкета, беседа, коллоквиум на темы искусства и, разумеется, на политические,— с вами и отделом кадров,— или вы и есть отдел кадров?

Широко открыв глаза, он проговорил вкрадчиво:

— Я? Что вы, Евдокия Ивановна! Собеседование — само собой, но не больше, чем в прочих учреждениях.

— А если все-таки больше?

— Ну, разве чуть-чуть.

— И относительно того: откуда это началось и кем начато?

Он сказал торопливо:

— Что именно?

— Да толки о Риме, и о цезаре-папской архитектуре, так сказать.

— Говоря откровенно — толков этих не обойти,— ответил он погодя немного и поглядывая сбоку на странную свою собеседницу.

— Где обойдешь!

— Не обойти,— пресекшимся голосом сказал Изяслав Глебович. Он, видимо, волновался. Ноздри его, розовые, тонкие, шелохнулись. Дичь была близко, в кустах, и какая, должно быть, крупная дичь...

— Да, собственно, к чему вы клоните, Евдокия Ивановна?

— Все к тому же, Изяслав Глебович. Шутник вы.

Он построжал и обратился к ней почти официально:

— Мне совсем не до шуток, Евдокия Ивановна. Это вы все шутите, если уж говорить откровенно.

— Я?

— Вернее, ваши соседи по купе.

— Фома и Гармаш с мальчиком?

— Они.

— Да они из купе-то выходят, только чтоб умыться!

Изяслав Глебович посмотрел прямо и серьезно в лицо Евдоши:

— Фильмик снимали. Меня, Афросинью Никодимовну в соблазнительных позах. Думаете, не знаю? А с какой целью крутили? Шантажировать? Разоблачить? В некотором роде сообщником сделать?

— Очень нам нужны такие сообщники!

— Значит, другие-то сообщники есть? — И, опять почувствовав, что перескочил, «маханул», что преждевременно, — одернул сам себя, опустил голову и рассмеялся: — Извините, я ведь тоже шутник, в некотором роде.

— Именно, в некотором. А что касается снимков вашей физиономии и физиономии вашей спутницы, то я их вам подарю. Мы их из фильма вырезали как случайные.

— Я так и понимаю, что случайные. Мне ведь ваши снимки не страшны; я их всегда и изъять могу.

Евдоша посмотрела на него и умолкла. «Нагловат же ты, дядя,— подумала она,— нагловат и очень уж уверен, что способен запугать». Она засмеялась и спросила громко и отчетливо, так что, несмотря на грохот поезда, голос ее был слышен по всему коридору вагона:

— Это что же: вы нам угрожаете обыском?

— Вы-ы... — раздался совсем незнакомый, пискливый голосок.— Не говорите громко!

— А собственно, почему мне не говорить громко? Собственно, почему мне хранить любимое вами безумное молчание? Пора, давно пора перестать молчать о том, о чем кричать надо, и без конца говорить, переливая из пустого в порожнее, о том, что выеденного яйца не стоит. В чем наша вина? Только в том, что в вопросах нашего искусства, в архитектуре, мы проявляем, может быть, разномыслие с официальной точкой зрения? Что, мы этим сокрушим, что ли, Советскую власть и вас, в частности? Да полноте, Советская ли вы власть! Откуда вы, зачем чересчур уж ласковы, так ласковы, что честным людям и глядеть на вас противно!

Изяслав Глебович обвел ее взором,— с ужасом, негодованием и восхищением: «Остервенелая, а товарец хорош» — взмахнул ручками и зашагал прочь.

— То-то! — вздрогнув, услышал он позади себя властный ее возглас.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ, И ПОСЛЕДНЯЯ

На другой день, рано утром, за Тулой, возле Лаптева, Евдоша вышла в коридор. Поезд по-прежнему шел медленно, но день был зыбко-светлый, солнечный и весь какой-то душистый, хотя в вагон, кроме запаха горелого угля, ничего не попадало. Евдоша посмотрела в окно.

Поезд проходил через какой-то рабочий поселок. Вот двухэтажный дом с угловой башенкой, а в окне причесывает волосы полная женщина в синем. Вот обрыв речки, колодец с блоком и мужчина, длинноносый и длинноусый, поднимает тяжелое ведро, из которого плещется вода. Деревья, кусты, тележное колесо, прислоненное к стене сарая, морковь, капуста, огурцы, сваленные на крыльце, садовая лейка — все это золотисто-

коричневатое, только листва берез резко-зеленая, да еще зеленым отливают волосы у мальчонки, что стоит среди садовой дорожки, уплетая ломоть арбуза и не обращая внимания на громыхающие вагоны. Хорошо!

— Да, хорошо. Теперь навсегда — хорошо! Пусть вулкан впереди, огонь, лава, смрадный дым и, может быть, вся преисподняя, а сейчас хорошо, и верю — будет хорошо и после, будет!

Из купе, по ту сторону красной ковровой дорожки, вышел Изяслав Глебович, причесанный, бритый, в добротном коричневом костюме, явно приготовившийся для Москвы. Он взглянул в сторону Евдоши и, хотя видел ее в это утро впервые, — не поклонился ей, не улыбнулся ласково и вообще рта не раскрыл. Он явно желал, чтобы безумное молчание легло между ними на этой грязноватой красной ковровой дорожке. «И пусть, — думала Евдоша, — пусть Вулкан, пусть безумное молчание, пусть. До нас люди переносили, проглатывали и не такое, перенесем и мы это».

Весна 1940 г. —
лето 1962 г.
Москва

КОММЕНТАРИИ

Настоящий том сложен по своей архитектонике. Он охватывает рассказы и повести почти трех десятилетий и представляет три различных пласта в творчестве Иванова, характеризующих разные ступени эволюции писателя.

Первый пласт — рассказы второй половины тридцатых годов. Их немного. Главные силы Иванова в это десятилетие были отданы большим полотнам: «Похождениям факира», «Пархоменко», роману «У» (Архив Вс. Иванова). Малая проза периода явно уступает по своему значению рассказам двадцатых — начала тридцатых годов, но основывается на опыте предшествующих лет.

Второй пласт — произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны и посвященные ей. Они составили сборник «На Бородинском поле. Рассказы 1939—1943 гг.», вышедший в 1944 году. Первоначально для сборника предназначались очерки и рассказ «Быль о сержанте», то, что печаталось в 1941—1942 гг. В таком виде он был сдан в издательство «Советский писатель» в марте 1943 года, о чем говорит дневниковая запись 18 марта 1943 года. По предложению издательства писатель дополнил его еще двумя довоенными рассказами «Петя-петел» и «Поединок», что предопределило его название.

Выход этого сборника заставил критику сразу заговорить о появлении у Иванова исторической темы. Обращение к ней оценивалось по-разному, но признавалось оправданным. Интерес к историческому материалу не был у писателя новинкой. На нем основывались пьесы тридцатых годов «Двенадцать молодцов из табакерки» (эпоха царствования Павла I) и «Вдохновение» (Смутное время). Исторические реалии использованы в предвоенном рассказе «Поединок». В 1943 году Иванов пишет пьесу «Канцлер» — о русском дипломате А. М. Горчакове. На первый план в годы Великой Отечественной войны вышла тема 1812 года. Иванов тщательно изучал исторический материал, работал над очерком «Бородино». Тема Отечественной войны 1812 года не приобрела для него самостоятельного значения, однако была принципиально важной. «Мы много и часто думали об истории, — вспоминал Иванов в «Истории моих книг». — Военный путь, по которому мы теперь шли, был ведь еще

подведением больших итогов в истории русского народа, равно как и истории всех народов нашего отечества.

Какой-то частью своего труда все мы в эти дни касались истории, остро ощущали ее, а некоторые явно оставались на ее страницах.

Естественно, что много думая об истории, мы не раз брались за исторические темы».

Потребность указать на военно-патриотические традиции, осознать национально-исторические истоки военного народного подвига выступила в эти годы как общественная потребность времени. Недаром в ту пору были введены ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова.

В рассказах периода войны и в повести «На Бородинском поле» Вс. Иванов не отказывается от психологического анализа, который дал блестящие результаты в его новеллистике второй половины двадцатых годов. Присутствие «тайного тайных» в человеке, проблема общения людей, рождение перед лицом грозного общенародного испытания новых человеческих связей и контактов — все это обусловило необходимость «психологических раскопок» (К. Федин). Результаты были неравноценными. Не всегда писателю удавалось достичь художественной убедительности, органически сплавить психологическую детализацию образов с патетической интонацией, которая начала занимать господствующее положение в его произведениях той поры. Но поиски «тайного тайных» накладывали до известной степени его, «ивановскую» печать на разработку писателем тем, которые тогда волновали всех — темы героизма, подвига, самопожертвования, — и подтверждали способность его рассказывать о войне «своими собственными горячими словами, так радующими нас в лучших его рассказах» («Звезда», 1945, № 3, с. 139).

Третий пласт — цикл фантастических рассказов и повестей, к которому примыкает и роман «Эдесская святыня». Над произведениями этого цикла Иванов начал работать в 1944 году и не оставлял его до последних дней жизни. Из этих произведений только рассказ «Сокол» был напечатан при жизни автора. В архиве писателя встречаются планы сборников «Фантастических рассказов и повестей». Они относятся к разным годам, и в них — названия разных произведений, написанных или еще только задуманных. Создаваемый с 1944 года цикл «фантастических» произведений не являлся неожиданностью в творчестве Иванова, автора рассказов «Барабанщики и фокусник Матцукамн», «Поединок» и др. Эта экспериментальная линия его художественных исканий очень своеобразно преломилась в упомянутом выше сатирико-философском романе «У», в заготовках к роману «Гиперборейский пояс», который

остался ненаписанным, в пьесе «Вдохновение» и др. Теперь Иванов хочет придать «фантастическому» циклу программный характер. И в его записных книжках есть наметки предисловий, призванных «оправдать» обращение писателя к произведениям подобного рода. «Фантастическое» — это особый угол зрения на жизнь. *«Фантастические рассказы* — это рассказы о необыкновенных приключениях, где со всей мощью проявляется человеческая воля». В одном из предисловий Иванов рассказывал, как видел в Крыму, в Коктебеле, 14 мая 1952 года в 12 ч. 15 м. до 12 ч. 18 мин. в море Змия, «фантастичнейшего из фантастичнейших. На ловца и зверь бежит». По этому поводу писатель рассуждает: это случайность, не более. Но воля его в том, что, «стремясь много лет к фантастическим темам, *сам* увидал нечто фантастическое в жизни», что и дало ему «основание *доделать* книгу фантастических рассказов».

«Фантастическое» — это сказочное, способное оторвать мысль «от бремени пустяков, свойственных сегодняшнему дню», сделать рассказ «многозначительным, серьезным, глубоким — и, в первую очередь, оптимистическим». «Фантастическое» — значит, вымышленное. «Зачем стыдиться вымысла?» Для Иванова это особый способ добывания правды из недр жизни. Его «фантастические» произведения различны по своему характеру: это произведения, написанные на современном материале, включающие фантастическое как органический элемент сюжета («Опаловая лента», «Пасмурный лист», в известной степени «Агасфер»), это легенды, основанные на мифологическом, сказочном сюжете («Сизиф, сын Эола»), это всецело реалистическое произведение, где герой иронически переосмысляет волшебный предмет («Медная лампа»), наконец, это произведения, обращенные к историческому материалу, где причудливо сплетаются предание и историческая быль в вымышленном сюжете («Эдесская святыня»). При этом Иванова влекут к себе бессмертные типы и сюжеты, к которым возвращаются новые и новые поколения художников. В них он видел возможность придать философски обобщающий характер итоговым размышлениям о жизни.

Для Иванова — «фантастический» цикл начало решения огромной задачи, которая, как ему представлялось, стоит перед всеми писателями — «сознательное и индивидуальное открытие новых поэтических сочетаний и новых, лучших способов выразительности» (Вс. Иванов. Полярная звезда 1945 года. — «Литературная газета», 1945, 1 января).

В процессе создания «фантастического» цикла отчетливо проявилась характерная для Иванова манера работы. Т. В. Иванова вспоминает: «...Нередко он заново полностью переписывал рассказы, пьесы и даже романы.

Тронув вещь, он зачастую изменял ее до неузнаваемости. Он абсолютно был неспособен что-то механически «исправить» («Всеволод Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 299). Это касается и тех произведений, которые уже увидели свет. В еще большей степени это относится к тем, которые оставались неопубликованными. Над ними Вс. Иванов продолжал работать, порой настолько сильно меняя сюжет, что по праву можно было бы говорить о новых произведениях. С первоначальным вариантом их иногда связывают лишь название да имена некоторых героев, большею частью они не доводились до конца. Комиссия по литературному наследству Вс. Иванова приняла решение «предлагать для печати (из неопубликованного при жизни) те варианты, которые автор довел до конца» («Всеволод Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 306). Но те варианты, которыми «обросли» произведения «фантастического» цикла, оставаясь незавершенными, в то же время не лишены художественной ценности и заслуживают внимания. Вот почему мы сочли возможным в примечаниях частично проанализировать этот материал. Он дает возможность читателю познакомиться с некоторыми новыми, интересными страницами известных по посмертным публикациям произведений и приобщиться к творческой лаборатории большого художника.

Жанровые границы произведений, вошедших в данный том, иногда размыты и неотчетливы. Одно и то же произведение Вс. Иванов называет то повестью, то рассказом или и повестью и романом. Поэтому все они расположены по хронологии их публикаций. Произведения, не печатавшиеся при жизни автора, расположены по датам написания.

Принятое условное обозначение: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах. М., Гослитиздат, 1958—1961—2-е собр. соч.; Вс. Иванов. Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969 — «Переписка с Горьким».

Разговор с каменотесом — впервые «Известия», 1935, 28 января, № 23. Как самостоятельный рассказ перепечатывался в «Избранном» [в 2-х тт.], т. 1, 1937, в «Избранном». М., Гослитиздат, 1948, в кн. «Повести, рассказы, воспоминания». М., «Советский писатель», 1952. В «Избранном» в 2-х тт., т. 1, 1954 рассказ был включен в цикл «Встречи с Горьким» и сопровождался отзывом Горького: «Великолепный Вы напечатали «Разговор». Я его вырезал и велел в рамочку, под стекло, чтобы каждый день видеть и всем показывать. Вот что говорит жизнь, ибо убежден — в этом рассказе нет *ни слова выдумки*» (курсив Горького.— *Л. Г.* с. 416). Во 2-м

собр. соч. снова печатался как самостоятельный рассказ (т. 4, 1959). По этому же тексту он воспроизводится в настоящем издании.

Пень искусства — впервые, посмертно, в еженедельнике «Неделя», 1970, № 8, под названием «Искусство ведет меня». В предуведомлении автора, помеченном 1954 годом, сказано, что рассказ написан в 1937 году в дни пушкинских торжеств. «Кажется, это — глава из «Похождений факира», а возможно, что и нет». Сам Вс. Иванов считал рукопись неоконченной, но рассказ воспринимается как вполне законченное произведение. С «Похождениями факира» его связывает принцип свободного использования автобиографического материала, автобиографический герой и фигура Филиппинского.

Печатается по тексту рукописи, хранящейся в архиве писателя.

Петя-петел — впервые «30 дней», 1939, № 1. Перепечатан с небольшой стилистической правкой в сборнике «На Бородинском поле. Рассказы 1939—1943 гг.» (М., «Советский писатель», 1944). В таком виде вошел в 4-й т. 2-го собр. соч., 1959 и в сб. «Рассказов» (М., «Советский писатель», 1963).

Печатается по сб.: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Мрамор — впервые в «30 дней», 1940, № 1. «Избранное» (М., Гослитиздат, 1948) повторило журнальный текст. В сборник «Повести, рассказы, воспоминания» (М., «Советский писатель», 1952) включен с небольшими сокращениями и незначительной стилистической правкой. В таком виде перепечатывался в т. 1-м «Избранного» в 2-х тт. М., Гослитиздат, 1954 и четвертом томе 2-го собр. соч.

Своеобразная художественная манера, в которой написан рассказ, вызвала разноречивые отклики критики.

О. Грудцова пишет, например, что этот рассказ мог бы быть воспринят «как милая сказка, в которой некоторая идеализация была бы естественной условностью. Но, как произведение реалистическое, рассказ вызывает ощущение недоверия» («Новый мир», 1945, № 2—3, с. 228). Хорошо понял своеобразие реализма Иванова С. Спасский. Именно рассказ «Мрамор» позволил ему сформулировать поэтическую суть позиции писателя: «Удивительная жизнь» под «огромным, сияющим широким солнцем», почти сказочная. Но это и есть в изображении Всеволода Иванова действительная жизнь «всегда творчески неожиданной страны нашей». Любит жизнь Вс. Иванов и любит родную землю и о ней и обо всем живом умеет говорить горячими и радостными словами. Любовь к родине, к ее настоящему и прошлому и к людям, живущим на нашей земле, —

вот что воодушевляет Вс. Иванова и озаряет его искусство» («Звезда», 1945, № 3, с. 138).

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов. Собр. соч в 8-ми тт., т. 4. М., Гослитиздат, 1959.

Поединок — впервые «Красная новь», 1940, № 1. Завершен 30 августа 1939 года. Дата устанавливается по дневниковой записи Вс. Иванова от 2 сентября 1939 года. При включении в сборник «На Бородинском поле. Рассказы 1939—1943 гг.» (М., 1944) появился подзаголовок «Подмосковная легенда», рассказ подвергся значительным сокращениям и переработке. В редакции 1940 года было два почти равноправных героя. Рядом с Иваном Евграфовичем возникала колоритная фигура его потомка — Антона Евграфовича, сопровождавшего экскурсантов и дававшего все объяснения по усадьбе. Перерабатывая рассказ для сборника 1944 года, Иванов исключил все, что относится к образу Антона Евграфовича. Возникло беглое упоминание о сопровождающем, который стал безликим и условным персонажем.

Центр тяжести всецело был перенесен на Ивана Евграфовича. Его характеристика несколько видоизменилась по сравнению с журнальной редакцией. К биографии героя прибавлены героические штрихи. Он сделан участником войны 1812 года, погибает в бою за Смоленск. Почти уничтожено ироническое освещение его образа.

Стр. 41. *«...и Глобский и Иван Евграфович участвовали в одном сражении: при Нови».* — Сражение при Нови (департамент Пьемонт) — реальный исторический эпизод итальянского похода Суворова. 4(15) августа 1799 г. у Нови союзные русские и австрийские войска разбили французскую армию.

Стр. 43. *«...своим эспантоном»* — большой меч (искаж. франц. «espadon»).

Стр. 53. *«Согласный с Аристотелем философ Теофраст...»* — Теофраст, то есть «божественный оратор» (греч.), так назван был древнегреческий философ и естествоиспытатель Тиртам, ближайший ученик и последователь Аристотеля. Среди его трудов есть посвященные этике и психологии. В 1772 г. в русском переводе вышел труд «О свойствах нравов человеческих» («Этические характеры»).

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

«По небу полуночи...» — впервые в «30 дней», 1940, № 11—12, под названием «Монолог», с рисунками Евг. Бургункера. В журнальном тексте рассказ представлял собой действительно монолог пожилого актера (так назван действующий персонаж). Рассказчик

отсутствует. Монологу предшествует развернутая авторская ремарка, указывающая на место действия и на появление на клубной сцене сначала конферансье, а затем актера. При включении во 2-е собр. соч. (т. 4, 1959) введен свидетель монолога, рассказчик — посредник между актером и читателем. Возможно, что Иванов, перерабатывая рассказ, стремился уйти от формы, слишком очевидно повторяющей сцену-монолог А. П. Чехова «О вреде табака». Сделаны были также небольшие сокращения.

В таком измененном виде рассказ вошел в сб. (Вс. Иванов. Рассказы. М., 1963), по тексту которого воспроизводится в настоящем издании.

Улицы — впервые «Известия», 1940, 5 ноября. Вошел во второе собр. соч. (т. 4, 1959) с единичными стилистическими поправками. Написан 1 октября 1940 года, о чем свидетельствует дневниковая запись от 2 октября 1940 года.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 4. М., Гослитиздат, 1959.

К своим — впервые «Новый мир», 1941, № 11—12, под названием «Четыре пункта». Рассказ подвергся небольшой доработке дважды — при включении в сборник «На Бородинском поле» (М., 1944) и в четвертый том 2-го собр. соч. В «Избранном» (М., Гослитиздат, 1948) публиковался текст сб. «На Бородинском поле». Доработка носит, главным образом, стилистический характер, а также связана с сокращениями.

Критика выделяла рассказ среди других произведений Вс. Иванова о Великой Отечественной войне как самый удачный. А. Дроздов, назвав его «простой, искренней и правдивейшей повестью», замечал: «она лишена исторических подпорок, и Вс. Иванов, задумав ее, не ездил для раскопок на старинные курганы». Возвеличив советских людей, Вс. Иванов уже тем самым, по мнению критика, возвеличил «историю, их породившую». «Видно, из чего выросли их характеры, из какой земли, из каких живых исторических традиций. Вот подлинные советские люди на войне, взятые без прикрас, без маниловщины, без умиления: во всей сложности их подлинно советских натур!» (А. Дроздов. На Бородинском поле. — «Литературная газета», 1945, 3 февраля). В таком же духе писала о рассказе и О. Грудцова, противопоставляя его другим произведениям Иванова: в нем все происходящее идет «от жизни Советской страны, и в героях его подчеркнуты советские черты» (О. Грудцова. На Бородинском поле.— «Новый мир», 1945, № 2—3, с. 232). Критика радовало и отсутствие стилизации. «Образы

этих пяти совершенно разных по характеру людей нарисованы спокойно, скупо и выразительно. Замысловатый образный язык... в этом произведении не звучит стилизацией...» (там же, с. 231).

Положительно оценен был и принцип Иванова — искать в человеке настоящее, чтобы вытащить его на поверхность, обнаруживать изменения в человеческой психике под воздействием испытаний войны.

Стр. 77. «...работою *Даниэла де-Вольтерры*». — С таким именем в историю вошел итальянский живописец и скульптор Даниелло Риччиарелли (1509—1566). Текст печатается по изданию: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Быль о сержанте. Принято считать, что рассказ впервые был напечатан в журнале «Красноармеец», 1943, № 8, под названием «Донесение». Но правильнее первой называть публикацию рассказа в сборнике «На Бородинском поле» (М., «Советский писатель», 1944). Иванов для этого сборника фактически создал новый рассказ, в который из журнальной публикации перешел лишь один эпизод — встреча Морозова с Надей — и имя главного действующего лица. Но обстоятельства, при которых Морозов получает задание, и самый характер задания иные.

Все известные ныне эпизоды появились уже в новой редакции, над которой, как видно из дневниковой записи от 18 февраля и 3 марта 1943 года, писатель в это время работал, называя рассказ «Честь знамени». 18 марта 1943 года Вс. Иванов записывает в дневнике: «Сдал книжку в «Советский писатель» — очерки и рассказ о сержанте Морозове, назвав его «Встречи» (Архив Вс. Иванова). Здесь речь идет о сборнике «На Бородинском поле. Рассказы 1939—1943 гг.» (М., 1944). Видимо, в процессе издания название рассказа переменилось на окончательное — «Быль о сержанте». Текст, опубликованный в этом сборнике, повторен в «Избранном» (М., 1948), в четвертом томе 2-го собр. соч. (М., 1959) и в сборнике «Военные рассказы и очерки» (М., Воениздат, 1960).

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 4. М., Гослитиздат, 1959.

При Бородине — впервые в «Октябре», 1943, № 8—9, в небольшом цикле «Рассказы о далеком прошлом». В сокращенном виде рассказ печатался также в «Красноармейце», 1943, № 19, под названием «Святая любовь». При включении в сб. «На Бородинском поле» были сделаны небольшие сокращения и стилистические поправки. Сокращения коснулись в первую очередь характеристик братьев Тучковых. Для сборника «Повести, рассказы, воспомина-

ния» (М., «Советский писатель», 1952) были сделаны новые сокращения и небольшие стилистические исправления, смягчающие эмоционально-экспрессивные излишества.

Текст рассказа, помещенный в сб. 1952 года, перепечатывался во всех последующих изданиях: «Избранное» в 2-х тт., т. 1. М., 1954, в т. 4-м 2-го собр. соч. (М., 1959), в сб. «Военные рассказы и очерки» (М., 1960) и «Рассказы» (М., «Советский писатель», 1963).

Канва батальных эпизодов, относящихся к Бородинской битве, и действующие в рассказе братья Тучковы исторически реальны. Один из братьев — генерал-майор Тучков А. А. был действительно взят в плен около 10 августа 1812 года, другой — генерал-лейтенант Тучков Н. А., командир третьего пехотного корпуса, в начале Бородинского боя стоял на старой Смоленской дороге у деревни Утица в резерве. Был ранен в сражении 26 августа и вскоре умер в Ярославле. Генерал-майор Тучков А. А., участник Бородинского сражения, был убит во время одной из атак.

Упомянутые в рассказе имена маршалов Мюрата и Даву, генерала Компана, генерал-адъютанта Раппа и др. — реальные исторические имена командующих французскими войсками.

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов, Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Стр. 137. *«...существует не только Аустерлиц...»* — На полях Аустерлица (ныне г. Славко в Чехословакии) Наполеон 20 ноября (2 декабря) 1805 г. нанес сильнейшее поражение союзным русским и австрийским войскам. Имя города стало нарицательным.

Близ старой Смоленской дороги — впервые «Октябрь», 1943, № 8—9, в цикле «Рассказов о далеком прошлом». С небольшими сокращениями и правкой включен в сборник «На Бородинском поле» (М., 1944). Для сборника «Повести, рассказы, воспоминания» (М., 1952) были сделаны новые довольно значительные сокращения. В таком виде рассказ печатался в «Избранных произведениях» в 2-х тт., т. 1. М., 1954, во 2-м собр. соч. (т. 4, 1959), в сборниках «Военные рассказы и очерки» (М., Воениздат, 1960) и «Рассказы» (М., «Советский писатель», 1963). Наибольшее сокращение коснулось описания чувств, испытываемых Жуковским, когда он догадался об истинных переживаниях встреченной и сначала не понятой им старухи. В 1952 году был снят и первоначальный конец рассказа: «Ей небывало сильно хотелось пить и есть, но все же она чувствовала себя удивительно хорошо, свободно, и что-то тихое, кроткое, неизвестно откуда нахлынувшее наполняло всю ее душу. «Вот бы только паникидку». И слово «паникидка» почему-то напоминало ей сизого, томно воркующего голубя».

Возможно, что это сокращение подсказано критикой. А. Дроздов в рецензии на сборник 1944 года, высоко оценив художественное мастерство писателя в рассказах о прошлом, в том числе и «Близ старой Смоленской дороги», все же упрекает его в стремлении доказать, что народ русский «кроток и вынослив в горе» и что «он врачует свои душевные раны религией и церковными обрядами, загораживаясь ими от тягот и гнета крепостного права и людских обид. Не зря слово «паникидка» почему-то напоминает старухе сизого, томно воркующего голубя. Вот здесь-то за высокой художественной формой проступает подспудная и в корне неверная тема. Этот голубь — символ мирного сожития всех царских подданных. Упоминание о нем заключает рассказ. В классовом мире — залог государственной силы отечества» («Литературная газета», 1945, 3 февраля, № 6). Конечно, А. Дроздов вульгарно толкует рассказ Иванова, идея классового мира принадлежит ему, у Иванова такой идеи нет. Но поскольку сравнение «паникидки» с воркующим сизым голубем порождало кривотолки, процитированный текст финала автор снял.

Рассказ построен на историческом факте. В. А. Жуковский действительно был на праздновании по случаю открытия памятника на Бородинском поле 26 августа 1839 года. Этому событию он посвятил стихотворение «Бородинская годовщина», а празднование описал в письме к великой княгине Марии Николаевне от 5 сентября 1839 года. Вс. Иванов взял у Жуковского целый ряд подробностей Бородинской годовщины. И в рассказе «При Бородине», и в данном рассказе упоминается монастырь, построенный вдовой А. А. Тучкова на месте гибели мужа. Сама вдова стала монахиней этого монастыря. В стихотворении Жуковского «Бородинская годовщина» есть строки:

Где упорней бились, там
Мирных инокинь обитель.

К ним Жуковским сделано примечание, в котором как раз и говорится о Спасо-Бородинском монастыре близ села Семеновского, основанного вдовой генерала А. А. Тучкова.

В рассказе немало реалий, относящихся к биографии В. А. Жуковского: его сложное положение незаконного сына богатого помещика А. И. Бунина, его несчастная любовь к Маше Протасовой, вышедшей замуж за профессора Мойера (в рассказе — Мейер), его участие в ополчении, в Бородинском бою, в резерве.

Критика выделяла этот рассказ как один из самых совершенных. Наиболее тонко его прочел С. Спасский. В рецензии на сборник 1944 года он нашел, что рассказ «полон внутренней силы, убедительной и всем нужной... по-настоящему содержателен и глубоко

патриотичен» и тем самым «подлинно современен» («Звезда», 1945, № 3, с. 138). А. Дроздов при всех несогласиях с некоторыми идеями писателя пишет, что о старухе, вдове унтер-офицера Карьина, матери Степана, поведал Иванов «с искусством, действительно пленительным» («Литературная газета», 1945, 3 февраля, № 6). По общему мнению критиков, рассказы, обращенные к прошлому, воспринимаются как своеобразная прелюдия к современности, к произведениям о Великой Отечественной войне.

Печатается по изданию: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Стр. 140. *«Ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело...»* — Строки письма Жуковского от 5 сентября 1839 г. о «Бородинской годовщине» (В. А. Жуковский. Полн. собр. соч. в 12-ти тт., т. 12. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1902, с. 53).

«...Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутином, сложились строфы «Певца во стане русских воинов...» — В «Вестнике Европы» (1812, декабрь) «Певец во стане русских воинов» напечатан с подзаголовком: «писано после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине». Этими строками Иванов опровергает устоявшееся с момента первой публикации представление о месте создания «Певца».

«...в тысячах списков разнеслись по всей России». — Н. В. Измайлов в примечаниях к «Певцу» сообщает, что стихотворение еще до напечатания в рукописи широко распространялось в армии и в обществе, заучивалось наизусть (см.: В. А. Жуковский. Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1956, с. 779).

Стр. 141. *«...Считаю ль радости минувшего — как мало!*
Нет! Счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел...» —
строки из стихотворения В. А. Жуковского 1808 г. «К Филалету. Послание».

Стр. 142. *«...разве не коляска в Кале, и он сам не Йорк, и эта старуха не напоминает отца Лоренцо?..»* — Здесь упоминаются персонажи и место действия некоторых глав романа английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Сентиментальное путешествие».

На Бородинском поле — впервые «Огонек», 1943, №№ 30—37—38. При включении в сборник «На Бородинском поле. Рассказы 1939—1943 гг.» (М., 1944) повесть была переработана, внесена значительная стилистическая правка, сделаны большие сокращения, хотя существенных изменений смысла повести не произошло. Изменения коснулись некоторых подробностей, относящихся к образу Насти.

В журнальной редакции Иванову хотелось подчеркнуть, какие сложные могут быть личные отношения у людей, объединенных общей целью. Нажим на этот мотив приобрел несколько нарочитый характер. При переработке писатель, сохранив принцип подхода к человеческим взаимоотношениям на войне, все же удалил налет нарочитости, он сокращал и некоторые общие рассуждения о жизни, претендующие на обобщения, но расплывчатые и отвлеченные.

Вместе с тем были сделаны довольно значительные дополнения: развернута биография Бондарина, внесены добавления к образу капитана Елисеева и некоторые подробности, относящиеся к пребыванию Марка Карьина на батарее.

В переработанном виде повесть включалась во 2-е собр. соч. (т. 2, М., 1958) и в сборник «Военных рассказов и очерков» (М., 1960).

Вс. Иванов, признаваясь, что пытался «довольно неумело соединить наши дни с давно прошедшими в повести «На Бородинском поле», в «Истории моих книг» оправдывал это соединение тем, что «записал сюжет повести в лазарете на Бородинском поле» и потому, что критика ставила под сомнение право писателя на подобную параллель истории и современности. Повести была вынесена суровая оценка. О. Грудцова не возражала против того, что героизм советского бойца переплетается с героизмом русского воина. «И все же, — писала она, — следует предъявить большому художнику Вс. Иванову суровое обвинение. Он не сумел соблюсти меры в характеристике преемственности традиций. И подчас напоминание о Бородине 1812 года становится навязчивым, и кажется, не слишком ли увлекся далекой историей автор и не заслонили ли русские воины советских бойцов...» (О. Грудцова. На Бородинском поле.— «Новый мир», 1945, № 2—3, с. 230).

О. Грудцова обнаруживала стилизацию образов всех современных героев повести «под образы русских народных героев», считая, что это «нарушает гармоничность произведения и придает ему оттенок надуманности» (там же). В Марке Карьине она увидела много характерного для советского молодого человека, но и внешность Марка, и его манера мыслить и говорить, даже «выдуманное стремление возвыситься над всеми своей нравственностью» решительно отнесла к проявлениям стилизации, которая нарушает, по ее мнению, гармонию и реалистичность образа Марка. Еще менее реальным признается образ Настасьюшки. Стилизацию критик находит и в языке персонажей. Употребление красноармейцами слов «Русь», «Расея» кажется надуманным, как и вообще «стиль русской народной речи». У Иванова готовы были обнаружить взгляд на историю как на «заповедник начал русского духа, которого не

смеет коснуться рука времени» («Литературная газета», 1945, 3 февраля, № 6).

Эти упреки стали типичными. Примерно также рассуждали и другие критики. Начиная неизменно с абстрактного утверждения, что оглядка на славные традиции русского народа в литературе о Великой Отечественной войне оправдана, они фактически всюду, где она проявлялась, видели лишь материал для критической оценки и повод еще раз полным голосом сказать, что перед литературой ныне стоит задача в первую очередь показать новое качество, новую, социалистическую природу героизма советского человека (см., например, статью А. Лейтеса «О главном и подробностях». — «Литературная газета», 1944, 24 декабря, № 8; статью Л. Левина «Современная тема в советской прозе 1946 г.».— «Звезда», 1947, № 6, с. 177—178).

По логике подобных критических суждений получалось, что чувство нового уже включает в себя наши лучшие исторические и национальные традиции, поэтому достаточно правильно передать это новое, чтобы тем самым сказать и о традициях, а сами традиции как бы не нуждаются в особых формах художественного воплощения. Не случайно критики главным образом оперировали отрицательными примерами и не стремились, да и не умели, за редкими исключениями, уяснять, как же реально, зримо воплощено национально-историческое начало в тех произведениях, которые, с их точки зрения, заслуживали положительной оценки. В данном случае критика отставала от самой литературы, которая в период Великой Отечественной войны упорно искала возможности передать национальное самосознание нашего народа, обостренное, выявленное войной с особой силой. Не случайно в одной из самых популярных статей А. Толстого «Родина» возникал образ далекого предка — «пращура», жившего на земле «оттич и дедич». А в знаменитой поэме А. Твардовского «Василий Теркин» образ воюющего народа был претворен в русском национальном характере. Прав был И. Уткин, который для поэзии войны считал характерной наряду с темой России, темой верности, темой национального братства тему национального самосознания (И. Уткин. Писатель и чувства народа.— «Литература и искусство», 1943, 17 апреля.). Это явилось важнейшей гранью общественного сознания тех лет, поэтому было закономерным элементом литературы, в частности творчества Вс. Иванова. Критика явно в те годы недооценила в повести «На Бородинском поле» того, что национально-историческое начало отнюдь не вытеснило чувства нового. Ведь для Марка Карьина характерно стремление правильно найти для себя место в советском обществе, понимание необходимости творческой жизни в новом мире, самокритичное отношение к себе, продиктован-

ное теми нравственными нормами, которые утверждает новое общество.

Повесть не свободна от недостатков, но ей нельзя отказать ни в современности, ни в художественной правде, хотя героическая тема решается Ивановым глубоко своеобразно. И художественная логика повести может быть понята, если учитывать характерный для Иванова устойчивый интерес к широкой нравственно-психологической проблеме человека среди людей.

Печатается по изданию: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 4. М., Гослитиздат, 1959.

Стр. 177. *«Платон в «Федре» сравнивает душу человека с телегой, запряженной парой волшебных коней...»* — «Федр» — произведение Платона о сущности любви, написано в форме диалога Сократа и Федра. Мысль Платона выражена так: «Пусть уподобится идея души соединенной силе, состоящей из крылатой колесницы и возничего» (гл. 25, перевод С. А. Жебелева).— «Творения Платона», т. V. Пб., «Academia», 1922, с. 123.

Под Берлином, у Галльских ворот — впервые в «Новом мире», 1945, № 2—3. Рассказ датирован автором 13 февраля 1945 года.

Фоном рассказа служат подлинные исторические события, относящиеся к семилетней войне (1756—1763), в которой русские в союзе с австрийскими и французскими войсками воевали против Пруссии Фридриха II и заставили капитулировать Берлин. В ночь с 8 на 9 октября (27/28 сен. ст. ст.) 1760 года отряд генерала Г. Г. Тотлебена принял капитуляцию столицы Пруссии и занимал ее в течение трех дней.

В «Истории моих книг», вспоминая об этом рассказе и обращая внимание на то, что он был опубликован в майской книжке журнала, Иванов подчеркивал: «Исторические параллели были иногда и не напрасными».

При включении в 4-й том второго собр. соч. рассказ подвергся довольно значительной переработке. Она коснулась прежде всего отношений капитана Дорофеева и девушки, взятой в плен русскими. Внесены были также стилистические поправки и введено разделение на главы. В переработанном виде напечатан в сб.: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

«Литературная газета» своеобразно отозвалась на этот рассказ. 1 сентября 1945 года, № 37 в разделе «Из нашей почты» была напечатана заметка Е. Делюсина «Урок ученикам», где рассказывалось о том, как ученик 7-го класса написал плохое сочинение и получил за него двойку. Но в свое оправдание он признался, что основы-

вался на выдержках из текста рассказа Иванова. Узнав об этом, учитель двойку заменил единицей. «Вс. Иванову учитель не поставил единицу, т. к. верил в писательское мастерство и вообще в литературу». Заметка могла быть воспринята как назидание по адресу учеников, которым не следует списывать свои сочинения. Но очевиден и выпад по адресу писателя. Воспроизведенный в заметке монтаж из выдержек звучит выспренне и нелепо, хотя, разумеется, не может служить аргументом для эстетической оценки рассказа.

В 1945 году критика упрекала Иванова в том, что его «чересчур увлекает... богатое воображение — даже в ущерб чувству реальности» («Звезда», 1945, № 3, с. 139). Писатель порой давал повод для подобных упреков. И сам, будучи требователен к себе, не отказывался, как мы видели, совершенствовать стиль своих произведений. Но чаще эти упреки шли от непонимания весьма своеобразной ивановской манеры. В этом плане характерна статья Делюсина, звучащая весьма иронично, и высказывание Б. Розанова по поводу языка воспоминаний Иванова («Литературная газета», 12 декабря 1950 г). Статья Б. Розанова пестрит определениями: «витиеватость», «бессмысленные выражения», «беспредметная выспренность», «младенческая выспренность» и т. д.

Против такого рода выступлений решительно возражал К. Симонов. В статье «О доброжелательстве» («Литературная газета», 14 апреля 1951 г.) он признал публикацию статьи Б. Розанова ошибкой, поскольку рецензент высмеивает, а не доказывает, и напомнил о том, что критик при анализе того или иного произведения должен исходить из понимания своеобразия творческой манеры писателя.

Печатается по изданию: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

В горах Бух-Тайрона — впервые «Звезда», 1945, № 2, под названием «Тигр на тумбе». При включении в сборник 1952 года «Повести, рассказы, воспоминания» рассказ получил новое название, был подвергнут довольно значительной правке и сокращениям. Но были сделаны и добавления, в частности многие детали, касающиеся биографии Плонского, разговор седобородого старца Тайшегулова с укротителем и др. появились в этом издании. В таком виде рассказ печатался в «Избранном» в 2-х тт., т. 1, М., 1954. В 4-м томе 2-го собр. соч. были сделаны новые единичные исправления.

Печатается по изданию: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Сокол — впервые «Звезда», 1946, № 2—3, с подзаголовком «Из книги «Фантастические рассказы». Перепечатывался в «Избранном» в 2-х тт., т. 1, М., 1954, во втором собр. соч. (т. 4, М., 1959),

в «Избранном» в 2-х тт., т. 1, М., 1968. Один из первых черновых карандашных набросков помечен: «27 августа 1944, Переделкино». Машинопись с авторской правкой датирована 15 сентября 1944 года (хранится в Рукописном отделе Госуд. биб-ки СССР им. В. И. Ленина).

Это был первый и единственный (до 1963 г.) рассказ «фантастического» цикла, который появился в печати. В рассказе оригинально использован сюжет новеллы из «Декамерона» итальянского писателя Джованни Боккаччо (1313—1375). В оглавлении он передан так: «Федериго дельи Альберити любит, но не любим, расточает на ухаживание все свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного, он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить; узнав об этом, она изменяет свои чувства к нему, выходит за него замуж и делает его богатым человеком» (Д. Боккаччо. Декамерон).

В ранних черновых набросках варьируются детали в описании судна и едущих на нем. Фигуры иностранцев еще не разработаны, но уже найдено главное: старик, который отдал любимого сокола, подарок царя, женщине, чтоб она его полюбила, теперь жалеет об этом, хотя и женился на ней. Жена состарилась, стала сварливая и злая, а царь потерял расположение к рыцарю, хотя и хохотал, когда узнал, что сталось с его подарком. В черновом наброске не был, однако, еще определен смысловой финал рассказа. Он кончался на скептической ноте. Итальянец пытается «утешить» старика: «Буду[т] говорить века!» Но тот отвечает: «Ах, векам будет не до этого». И за этим вслед наметка еще не написанной концовки: «Окончу пейзажем — ужином, несут гусей и лебедей на ужин» (Архив Вс. Иванова). Мысль о том, что легенда имеет право на существование даже тогда, когда не соответствует действительному, более драматичному ходу событий, ее породивших, возникает лишь в окончательном тексте.

Печатается по изданию: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 4. М., Гослитиздат, 1959.

Стр. 261. *«...Боккаччо раскаялся и написал позже «Корбаччо».* — Поэма Боккаччо «Ворон» («Corbaccio») — сатира на женщин; в ней отразился кризис гуманистических идеалов, воплощенных в «Декамероне».

Стр. 262. *«...новеллу о соколе?»* — Имеется в виду названная выше новелла из «Декамерона» (день пятый, новелла девятая).

Опаловая лента — впервые, посмертно, в сокращенном виде в газете «Звезда Прииртышья» (Павлодар) в 1965 году, 18, 20, 22, 24,

25, 29, 31 марта, 3, 8, 11, 14, 15 и18 апреля; полностью — в журнале «Волга», 1966, № 1, с. 97—135. В первом случае повесть датируется 1945—1946 гг., во втором — 1944 годом. Однако как это часто бывало с произведениями, которые при жизни Иванова не печатались, писатель, видимо, не считал работу над «Опаловой лентой» завершенной в 1944 году. Примечательно, что в одном из ранних планов «Фантастических рассказов» повесть еще не упоминается, хотя, как следует из чернового наброска, она предназначалась именно для этого цикла. На листе рядом с заглавием «Опаловая лента» стоит название «Фантастические рассказы».

В других черновиках повести, отражающих более поздний этап работы, встречаем такие строки: «Повесть из книги «Фантастические повести», написанные во время войны, с добавлением повестей, *написанных позже»* (курсив мой. — *Л. Г.).* И тут же дан перечень:

1. Зеленая лампа
2. Сизиф, сын Эола
3. Светлейший
4. Эффект Эдиссона
5. Агасфер

(Архив Вс. Иванова)

«Эффект Эдиссона» — более раннее название «Опаловой ленты».

Как видно из этого перечня, указание на жанр произведений («повести») не имеет принципиального значения, т. к. в перечне остаются и рассказы. Но ясно, что сама эта запись сделана позже 1944 года.

Наконец, на одном черновом листке автографа стоит дата: январь 1956 года. Таким образом, работа продолжалась до 1956 года включительно.

Черновые варианты довольно сильно отличаются от известного, напечатанного текста. В одном из набросков «Опаловой ленты» фантастическим является главное ядро сюжета, план ее выглядит так:

«Что ты сделал для дела мира?

Вот главный вопрос, который задает себе каждый порядочный человек.

«У меня чертовски неустроенная жизнь».

а) Возникновение силы
б) Ее проявление — полезное, вредное
в) Конец силы.

Она возникла оттого, что он выпил аэрозоли. В глазах появилась оранжевая лента

Он выполнил задачи. Какую-то задачу не мог выполнить. За нее взялся приехавший N. Он взревновал и выпил еще стакан аэрозоли. Опять увидел опаловую ленту. И все прошло. Он остался талантливым, но не болел.

Человек стал сильнее, а значит, бодрее, умнее в тысячу раз.

К чему его приспособить?

Драма его жизнь или счастье?

У него до того, как он проглотил стакан с аэрозолями — было множество несчастий, перечислить их. Они казались непреодолимыми...»

Теперь — «тысячекратная энергия накапливается и разрешается один раз, скажем, в неделю» (Архив Вс. Иванова).

Из другого наброска становится ясно, что писателя интересует проблема храбрости, подвига, силы, которая таится в скрытом человеческом «подвале».

Есть вариант с надписью «Попытка инженера Хорева». В нем речь идет об «эксперименте 27», который предполагает испытание особого средства для уничтожения врага под Берлином. Испытание стоит ученому жизни.

Печатается по рукописи (машинопись с правкой автора), хранящейся в архиве писателя.

Стр. 284. *«...процитировать Неемию...»* — Имеется в виду книга пророка Неемии в Библии (Ветхий завет).

Стр. 309. *«Знаете, у Пушкина?*

В начале жизни школу помню я;
Нас там, детей беспечных было много»... —

цитируется стихотворение Пушкина 1830 г.

Стр. 331. «...словно у венецианского дожа, когда тот шел по набережной к «Буцентавру», чтоб обручиться с морем». — Имеется в виду реально существовавший торжественный обряд, через который должны были проходить дожи Венеции в знак понимания ими значения морской торговли для Венеции.

Сизиф, сын Эола — впервые, посмертно, «Наш современник», 1964, № 12, под названием «Сизиф». Вошел в сборник рассказов: Вс. Иванов. Медная лампа. М., «Правда», 1966 и в «Избранные произведения» в 2-х тт., т. 1. М., «Художественная литература», 1968.

В черновой рукописи рассказа есть указания на время работы над ним: в начале текста — 28 августа 1944 года, в конце — 30 августа 1944 года и 19 сентября. В машинописи с карандашной правкой и дополнениями, сделанными рукой автора, дата 19 сентября 1944 года зачеркнута. Возможно, это означает, что правка относится к более позднему времени.

В рассказе использован античный миф о Сизифе, который после смерти наказан богами за грехи. В Аиде он принужден вечно вкатывать на гору тяжелый камень. Но, достигнув вершины, камень скатывается вниз, и всю работу приходится начинать снова. У Гомера Сизиф — хитрый, порочный, корыстолюбивый человек. Причины наказания Гомер не указывает. Но имели хожденне разные версии на этот счет. Много легенд посвящено хитрости Сизифа. Миф этот неоднократно использовался греческими авторами, а выражение «сизифов труд» стало крылатым и широко употребляется в художественной литературе.

У Вс. Иванова было свое отношение к мифу. «Миф — есть выполнение невыполнимого дотоле, невероятно трудного. Агасфер — миф о бесконечном продолжении жизни, Фауст — о бесконечном познании. Дон-Жуан — о бесконечном наслаждении. Тантал — о бесконечном пищевом наслаждении, Сизиф — о бесконечном труде...» К этой мысли Иванов продолжал возвращаться, деля мифы на оконченные и неоконченные. Прометей, сделавший невыполнимое доселе, похитивший огонь, миф оконченный. Сизиф — неоконченный. В этих размышлениях и родилось зерно сюжета: «человек встретил Сизифа, он последний раз катит камень, человек дождался, а утром он [Сизиф] со скуки опять покатил камень» (Архив Вс. Иванова). В черновых набросках рассказа было больше деталей, связывающих его с мифом. Так, Полиандр спрашивал Сизифа: «За что же Зевс наказал тебя? Говорят, ты обманул врагов, уйдя из царства Гадеса. Велел жене не предавать тело смерти, а Гадесу сказал... попросил[ся] из подземного царства, чтобы наказать жену, и, явившись на землю, не вернул[ся] в подземный мир. Сковал и обманул смерть» (Архив Вс. Иванова). В окончательном тексте этих мотивов из мифа нет. В черновом варианте еще слабо разработаны центральные образы — солдата и Сизифа. Отсутствуют существенные подробности «общественной» биографии Полиандра, нет упоминания о конфликте с царем Кассандром, слабо звучали мотивы, которыми солдат заманивал Сизифа идти вместе с ним в Коринф. Образ Полиандра еще не оброс тем множеством подробностей, которые делают фигуру солдата Александра Македонского в окончательном тексте такой удивительно живой и достоверной. Более условной была и фигура Сизифа. В черновом варианте он многословен, о трудностях прошедшей жизни говорит сам. В окончатель-

ном варианте текст его слов передан Полиандру, и Сизифу остается только кратко подтверждать догадки неожиданного собеседника. Это позволило Иванову ввести выразительный, вполне реальный штрих: «бесчисленное множество дней» Сизиф ни с кем не говорил и говорить отвык, голос у него «тяжелый», он «с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие... он пьянел от них, как от крепкого вина».

Были варианты и конца рассказа. Первоначально Сизиф отказывался идти вместе с солдатом, потому что боги к нему пристрастны, и когда он вместе с солдатом пойдет завоевывать земли, боги накажут не солдата, а опять его. У него есть все, что ему нужно: нивы, бобы, вино. Он привык, и он будет делать свое.

Потом появился текст, близкий окончательному, но не имеющий продолжения: «Бедра, голени и ступни мои — стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я боюсь отстану и зачахну где-нибудь на востоке, в едком жарком поясе, среди песков. Ты пугаешь меня. А здесь — я привык к своему камню. У меня есть бобы, яблоки и капканы для диких коз. Что мне еще надо? Прощай» (Архив Вс. Иванова).

Завершающая часть рассказа с главными смысловыми акцентами появилась лишь на последнем этапе работы.

Рассказ предназначался для «фантастического» цикла и присутствовал во всех планах сборника, представляющих этот цикл.

Печатается по рукописи (машинопись с правкой автора), хранящейся в архиве писателя.

Агасфер — впервые, посмертно, в газете «Звезда Прииртышья» (Павлодар), 1965, №№ 179, 181, 183, 185, 187 (в сокращении). Полностью впервые в «Избранных произведениях» в 2-х тт., т. 1, М., 1968. Работа над рассказом растянулась на 12 лет, под рукописью стоят даты: 7 сентября 1944 года и 5 ноября 1956 года. Предназначался для сборника фантастических рассказов и повестей.

В основу рассказа лег миф об Агасфере, который получил бессмертие в наказание за то, что отказался помочь Христу нести крест на Голгофу или (по другой версии) за то, что толкнул Христа, когда тот хотел отдохнуть у его двери. Эта легенда о человеке, который, не зная ни болезней, ни смерти, осужден вечно скитаться по земле, жить среди людей, многократно и по-разному использовалась в мировой литературе. Причем Агасфер мог быть не только воплощением зла, но и стать «гением добра», как это произошло, например, с героем наиболее известного из романов — «Вечного жида» Е. Сю. Здесь Агасфер борец против монашеского ордена иезуитов, посланник бога.

В начале своего рассказа Вс. Иванов называет некоторых писателей, которые действительно обращались к преданию об Агасфере, ссылается также на статью М. Горького и цитирует ее. Она была издана в качестве предисловия к книге «Легенда об Агасфере — Вечном жиде», изд. З. Гржебинан. Пб., 1919. Нет сомнения, что Иванову была известна вся книжка, где представлены поэмы Шубарта, Ленау, Беранже в переводах М. Л. Михайлова, Дм. Минаева и В. Курочкина.

Вс. Иванов дал весьма своеобразную трактовку этому «бродячему» сюжету, связав миф об Агасфере с обстоятельствами Великой Отечественной войны. Это позволило придать открыто современный смысл интересующим его проблемам, художественному исследованию философско-нравственных категорий самопожертвования, милосердия и шире — гуманизма.

В архиве Вс. Иванова хранятся многочисленные наброски, записи к «Агасферу», черновые варианты. Некоторые из них представляют собой повествование, развивающееся последовательно на десятки страниц. Судя по ним, можно отчасти угадать, в каких направлениях шли поиски. Писатель далеко не сразу нашел сюжетный каркас, нужное соотношение реального и фантастического, конкретный способ введения Агасфера в повествование, менялись привлеченные в сюжет лица. Даже самый образ Агасфера претерпевает различные превращения. В одном черновом варианте Агасфер — положительный образ. Он чувствительный гуманный старичок, благодарный за добро. Он и сам творит добро, принимает на себя бремя трудностей, облегчая при этом участь простого рабочего люда. Бессмертие делает его бесстрашным и поэтому самоотверженным. Он не раз пользуется своим бессмертием, чтобы спасти жизнь людям. В этой сказке есть традиционные сказочные мотивы, но трактованы они по-своему, художественно убедительно.

Ряд вариантов является как бы реализацией замысла, который обозначен следующей записью на отдельном листке:

«Ф[антастические] рассказы». Агасфер.

Тема: человечество чрезвычайно страдает от страха смерти, м. б. как никогда. И вот, узнав о прохождении Агасфера-бессмертного, за ним гонятся, чтоб исследовать его. Он открывает мне тайну жизни».

В этих вариантах много внимания уделено человеку, который занимается в научном плане проблемой долголетия. Агасфер сам ищет контакта с этими людьми (при этом у него возникают «бытовые» имена: Сверыч Вадим Вадимыч, Огосверыч, Огошфор). В одном из черновых набросков возникает объяснение, почему Агасфер стремится проникнуть в институт и связаться с людьми, занимающимися проблемой долголетия: силы его на исходе и он

нуждается в новом заряде для продления собственной жизни. Есть запись: «Агасфер (про себя). Мне нужно найти продолжение жизни. И уже окончательно, т. к. подходят сроки. Женщина откроет тайну яйца, и я получу его». В развитии этого мотива возникают наброски, где рассказано об интригах, которые плетет Агасфер, чтобы добиться своих целей. Среди этих вариантов возникает и наметка финала: гибель Агасфера. «После смерти Агасфера я посмотрел в воду. Нашел там каркас человека, облегающий туловище. Кокон Агасфера. Что-то произошло. Какой-то металл, замыкание, что-то связанное, по-видимому, с яйцом, и почему яйцо переменило цвет, и — удар. Меня покачнуло. Я разжал руку. Его убило невидимым для меня лучом.

Я показывал. Говорят, это сплав алюминия и еще какого-то редкого металла, не помню какого...»

«Естественнонаучный» вариант сюжета в некоторых набросках предполагал ответвление, которое должно было осветить современное политическое лицо Агасфера в согласии с прежней его жизнью. На одном листке написано: АГАСФЕР. Книга. Единственный экземпляр — расширенное сообщение итальянца — зверства Агасфера, его расизм, клевета и т. д. На другом — текст, относящийся к персонажу по фамилии Жердин. Этот герой предполагает присутствие Агасфера — Пауля фон Эйтцена в Германии во время войны 1941—1944 гг., хочет разгадать его роль, искать людей, которые из-за него пострадали, найти свидетелей его зверств. Но данный мотив не получил развития.

Миф об Агасфере в «естественнонаучном варианте», приводящий в движение персонажей, связанных с естественными науками, медициной, нужен для «мифа о науке, которая может сделать человека бессмертным».

Другие сюжетные наброски имеют явно «гуманитарное направление». Здесь на первый план выходят моральные проблемы, относящиеся к сфере человеческих отношений. В частности, несколько листков имеют общий заголовок «Дружба». В них наметки, фиксирующие внимание на сущности дружбы, формах ее проявления, возможных жертвах ради нее и необходимых способах сделать их незаметными. Вс. Иванов заготавливает такие психологические ситуации, которые позволяют разносторонне осветить испытания дружбы.

Именно в этих «гуманитарных» вариантах сюжета появляются выходы в историю возникновения легенды об Агасфере, ссылки одного из персонажей на прочтенный в древнем пергаменте рассказ о Картелиусе, который заболевал, переживал род экстаза, «после чего... снова поправлялся и возвращался к тому возрасту, который он имел в день, когда начал свое бессмертное путешествие». Именно

в этом варианте герой, от имени которого ведется рассказ, отказывается писать сценарий об Агасфере на основе сюжета Евгения Сю.

Из этих заготовок мог вырасти «фантастический роман», для которого Иванов написал несколько глав. На первом листке машинописного текста читаем: «Начало. Не продолжал. И жаль» (запись помечена 1954 г.).

В окончательном виде сюжет «Агасфера» включает элементы и «естественнонаучного» и «гуманитарного» сюжета, но не повторяет их, вводит мотивы, которых прежде не было (напр., линия Клавдии возникла на самом последнем этапе работы).

Черновые наброски и варианты показывают, какое большое значение Иванов придавал разработке интриги, отысканию новых и новых фабульных ходов. Размышляя о том, что такое рассказ, прежде всего фантастический, он писал: «Это событие, которое можно передать своим друзьям и знакомым, не думая, что удушите их скукой через двадцать — тридцать минут после того, как начали рассказывать». Развитие фабулы должно держать читателя в напряжении, задавать ему загадки, ставить перед ним вопросы, отвечая на них в свой черед. Но неизменно при этом писатель думал о мотивированности поведения героев, о необходимости обнажить причины их действий, связывать причины и следствия, настоящее, прошлое и будущее в конфликте. Вот почему черновые листы «Агасфера» пестрят вопросами, которые писатель как бы задает самому себе, заводя в очередной раз пружину сюжета. За готовым рассказом, таким образом, стоит огромная работа, недаром Иванов признавался, что «мучается» над ним «много лет».

Печатается по рукописи (машинопись с правкой автора), хранящейся в архиве писателя.

Стр. 361. *«...Матиас Парис, английский хронограф...»* — Paris Matthew — известный историк, поэт, оратор и теолог, знаток живописи и архитектуры, автор «Большой истории англичан» («Historia mayor Anglorum»). В рассказе неверно названа дата его смерти. Он умер в 1259 г. О его хронике писали, что в ней собраны все скандальные анекдоты своего времени и что она больше роман, чем история.

Медная лампа — впервые Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963. Перепечатывался также в сборнике «Медная лампа» (Биб-ка «Огонька», 1966, № 3, М., «Правда») и в «Избранных произведениях» в 2-х тт., т. I, М., 1968. Время написания рассказа 3 октября 1944 года — 16 ноября 1956-го.

Указано автором в беловом машинописном тексте Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, фонд 673). Первоначальные названия «Лампа Аладдина», «Зеленая лампа».

Использован «бродячий» сказочный сюжет о волшебном предмете, с помощью которого можно вызвать дух, способный выполнить любую просьбу того, кто его вызвал. Сюжет встречается и в «Тысяче одной ночи».

У Вс. Иванова этот сюжет первоначально разрабатывался в двух разных вариантах. Первый близок к окончательному мотивом: герой (я) хочет побыть и царем, и рабочим, и рабом, и солдатом, и ученым. Но в отличие от известного текста Волшебная лампа и Дух нужны, чтобы правильно «выбрать эпоху, из которой, как из бинокля, можно было б разглядеть и понять все эпохи». При этом писатель хотел использовать такой мотив: может быть, моя мать дотрагивалась до лампы, когда я не родился, и вызвала меня «в ту эпоху, в которой мы с вами, читатель, находимся». Но это было отброшено.

Другой вариант сюжета в черновом наброске рассказа назван: «Второй рассказ о Лампе Аладдина». Его тема — добро, и наметки заканчиваются вопросом — «всегда ли оно вознаграждается?»

«Мой сын очень болен. Я его вылечу. Приходит человек и говорит, что болен другой, которого можно вылечить. Его надо вылечить. Другого способа нет. Трением вызвать — и так далее. Это старик. Он сам лечит людей. Я — открыл средство. Не хватает этого металла. Это — прост[о]. Но мой сын умрет? Я отдаю сосуд, остаюсь. Звоню — да, проф[ессор] здоров. Где же лампа? Вы, знаете,— она разбилась. Верх — металлический, ее отдали склеить; он ее завтра привезет. «А где его адрес?» — «Это свой человек, он здесь работает по стекольным делам, в лаборатории, он утром». Вздор! Ничего не будет. Я — вхожу. Сын — выздоровел, он видел во сне лампу Аладдина, дотронулся до нее и она исчезла. «Так ты здоров?» Я — счастлив. Но где же она? Разговоры о добре».

По-видимому, первоначально Иванов думал создать три рассказа на сюжет «Лампы Аладдина». В записных книжках, думая о «правиле перемен», согласно которому в рассказе «вторая половина его должна противостоять первой», он ссылается, в частности, на «Лампу Аладдина» и поясняет: «три рассказа: приходит несколько раз, всякий раз с иными свойствами, благодаря чему я не верю в ее действие. И когда она появилась в четвертый и последний раз, — у меня нет никаких желаний, кроме желания писать рассказы. Да и это делаю, чтобы не скучать и заниматься чем-нибудь». Однако

замысел трех рассказов о волшебной лампе остался неосуществленным.

Е. А. Краснощекова правильно обратила внимание на связь «Медной лампы» с романом «Похождения факира» и назвала новеллу ключевой в ивановском фантастическом цикле (см. Е. Краснощекова. Всеволод Иванов.— В кн.: Вс. Иванов. Избранные произведения в 2-х тт., т. 1, М., 1968, с. 23). В 1944 году Вс. Иванов, рассказывая о будущих своих книгах, писал: «Я работаю над книгой «Фантастические рассказы». В «первом рассказе о лампе Аладдина», которым открывается книга, говорится, как 16-летнему юноше попала в руки на короткое время волшебная лампа Аладдина. Юноша мог выбрать по желанию любую профессию, любое местопребывание, любое время жизни». Он начал выбирать любимое дело, но не успел, лампа исчезла. «От него самого теперь зависит — найдет ли он лампу, сделается ли он тем, кем он захотел быть, кто сможет воплотить и показать все те мечты, которые проносились в его юной голове, сможет ли он. прибавить свет своей лампы к тому яркому свету добра и правды, которым освещается человечество... Короче говоря, станет ли он поэтом?» Здесь же говорилось, что последующие рассказы — из прошлого, настоящего и будущего — иллюстрация этих поисков волшебной лампы и вечной правды искусства («Литературная газета», 1944, 16 декабря).

В окончательном виде рассказ уже не воспринимается как предисловие к «фантастическому циклу, и образ волшебной лампы утратил в нем символическое значение света искусства, но остался пафос утверждения радости творчества.

Печатается по изданию: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963.

Эдесская святыня — впервые, посмертно, Вс. Иванов. Эдесская святыня. Роман. М., «Советский писатель», 1965. Вошел в «Избранные произведения» в 2-х тт., т. 1, М., 1968. Время и место завершения работы над романом указано автором: Рижское взморье, 11 сентября 1946 года. Однако писатель не переставал работать над этим произведением и позже, о чем свидетельствуют многочисленные дополнения и переделки основного машинописного текста, впрочем, не доводимые до конца. Т. В. Иванова вспоминает, что он «долгие годы продолжал писать варианты и читал отрывки из них лишь домашним и близким друзьям» («Вс. Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 342). О продолжении работы свидетельствуют и записи в дневнике. 19 февраля 1962 года, например, читаем: «В голове опять «Эдесская святыня». Ах, если бы я мог с нею развязаться».

15 октября 1962 года Иванов, думая о своих текущих работах, в перечислении называет «Эдесскую святыню». И тут же дает запись сюжета, сильно отличающегося от сюжета известного текста.

Однако при всех вариациях, иногда не имеющих с последним почти ничего общего, проблема «художник и время», «художник и общество» не уходит из поля зрения писателя, обнаруживая родство «Эдесской святыни» с набросками к романам «Поэт» и «Художник» (не написаны).

Для романа Иванов изучал множество исторических книг самого разного рода. Это видно из списка, любезно предоставленного вдовой писателя Т. В. Ивановой. По ее свидетельству — список неполный. **Мюллер А.** История ислама. С основания до новейших времен. Пер. с нем. Н. А. Медникова, тт. 3, 4. СПб., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1896; **Ирвинг В.** Жизнь Магомета. Пер. с англ. П. Киреевского. М., университетская тип., 1857; **Фукидид.** История. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1915; **Кондаков П.** История византийского искусства и иконографии. Одесса, 1876; **Терентьев М. А.** История завоевания Средней Азии с картами и планами. СПб., типогр. В. В. Комарова, 1906; **Бузескул В.** Открытия XIX и начала XX веков в области истории Древнего мира, «Academia», 1924; **Сиверс В.** Азия. Пер. с нем. СПб., типогр. «Просвещение», 1896; «Путник». Константинополь, изд. А. С. Суворина, 1905; **Васильев А. А.** Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии. СПб., 1902; **Виноградов П.** Учебник Всеобщей истории, т. 1. М., 1904; т. 2, М., 1903; **Крымский А.** История арабов и арабской литературы светской и духовной, тт. I—V. М., тип. Ниренберга, 1911; **Диль Ш.** Византийские портреты. Пер. М. Безобразовой. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1914; **Ламанский Вл.** О славянах в Малой Азии. СПб., тип. Императ. ак. наук, 1859; **Крымский А. Е.** Арабская поэзия в очерках и образцах. М., типогр. Ю. Венер, 1906; **Успенский Ф. И.** История Византийской империи, т. 1. СПб., изд. Брокгауз — Эфрон, 1912; **Ю. Кулаковский.** История Византии, т. 1. Киев, тип. Кульженко, 1910, т. 2—3. Киев, типогр. Кульженко, 1915; **Эссад Дж.** Константинополь. От Византии до Стамбула. Пер. П. Безобразова. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1919; **Васильевский В.** Русско-Византийские исследования. СПб., 1893.

В папке с черновыми набросками романа хранится также часть книги **М. В. Левченко.** История Византии, Соцэкгиз, 1940.

В один из вариантов рукописи вложена карта «Западная Азия» из атласа изд. А. Ф. Маркса. На обложке карты рукой Иванова написано «Коварная Эдесса» (одно из названий романа. — *Л. Г.*);

карта из «Истории Византии» Ю. Кулаковского, на которой красным карандашом прочерчен путь убруса из Эдессы в Багдад.

В сюжете романа Вс. Иванов использовал реальный исторический факт из истории византийско-арабских отношений X в.: по решению халифа Багдада «нерукотворный» образ пророка Иссы, святыня Эдессы, был передан Византии, для чего понадобилось снаряжать особый караван. И передача убруса сопровождалась сложной дипломатической и политической игрой.

Печатается по рукописи, хранящейся в архиве писателя.

Вулкан — впервые, посмертно, «Сибирские огни», 1966, № 6, в сокращении. Полностью — во втором томе «Избранных произведений в 2-х тт. М., «Художественная литература», 1968.

Работа над романом датирована Вс. Ивановым 1940—1962 гг., причем на титульном листе машинописи романа рукой автора написано «начато в апреле, в конце, окончено в июле, в последних числах». Очевидно, это пояснение относится к 1962 году. В предисловии, которое Иванов написал в марте 1962 года (в сокращенном виде опубликовано в «Сибирских огнях», 1966, № 6), говорится: «Рассказ «Вулкан» был написан в 1940 году. Что-то похожее я слышал в Коктебеле в том же сороковом году; слышал, впрочем, намеками: пришлось многое дополнить и о многом догадаться». Судя по дневниковой записи от 2 октября 1940 года (см. «Переписка с Горьким», с. 337), «Вулкан» в это время уже завершен. В этот день писатель собирался читать его дома. Рассказ, точнее повесть должна была появиться в «Красной нови». Сохранилась журнальная корректура с пометками А. Фадеева на полях. Большинство их носит одобрительный характер (например, «очень верно», «замечательно», «хорошо», «чудесно» и т. д.). Но началась война, номер журнала с рассказом Вс. Иванова не появился, и «Красная новь» вообще была закрыта.

Во время Великой Отечественной войны писатель не хотел печатать «Вулкан» в прежнем виде. В дневнике 1942 года 6 декабря есть такая запись: «Читал у В. Василевской и Корнейчука «Вулкан». Прошло немножко больше года, — и как далеко все это, и как грустно читать! И такое впечатление милой грусти было у всех» (Архив Вс. Иванова). В 1943 году Иванов переработал повесть, возможно, в связи с тем, что хотел включить ее в сборник «На Бородинском поле», см. дневниковую запись от 18 марта 1943 г. (Архив Вс. Иванова). В ней были расширены мотивы военного предгрозовья. (Это определило ее новое название — «Предгрозовье».) Основное сюжетное ядро было сохранено, в новый вариант перешли и значительные куски текста с описаниями коктебельского пейзажа, но

взаимоотношения Евдоши с окружающими людьми, многие сюжетные ходы были весьма значительно изменены и переосмыслены.

В первом варианте «Вулкан» представлял собой психологическую повесть, в которой решались нравственные задачи, тесно связанные с проблемой тайного тайных в человеке, которая с разных сторон интересовала писателя в течение полутора десятилетий.

Некоторые центральные герои повести (Евдоша, архитектор, художник Гармаш) — люди искусства. Тема «человек и прекрасное», споры по разным вопросам искусства занимают умы действующих лиц произведения, но имеют пока подчиненное значение. Главный предмет внимания — сфера личных взаимоотношений между людьми. Для Иванова сфера труда — ясна и определенна. Увлечение делом, творческое к нему отношение — норма для героев «Вулкана», отклонение от которой — главный знак неблагополучия человеческой жизни. А вот сфера личных взаимоотношений трудна и загадочна. Людям нелегко понимать друг друга, потому что они и сами себя плохо понимают.

В набросках к «Истории моих книг» (апрель 1957 г.), назвав сборник «Тайное тайных» лучшей своей книгой, Иванов рассуждает о том, что «тайные» люди, то есть люди, не могущие понять сложность своих мыслей и чувствований, есть во всех слоях общества. «Что это, отсутствие культуры? Но дает ли окончание университета способность рассказывать обо всем, что терзает тебя; даже для себя? Ущербность ли это? Не думаю. Чем дальше, тем лучше» (Архив Вс. Иванова).

Иванову кажется, что «Тайное тайных» говорило именно об этом. Тревожащая Иванова мысль протягивается от двадцатых годов к концу тридцатых. В первом варианте повести писатель говорит прежде всего о том, как трудно проторить дорогу от одной человеческой души к другой и о невозможности одновременно человеку оставаться в одиночестве. Этот мотив звучит в словах Евдоши о тоскующем от одиночества вулкане: «Он торчит здесь совершенно один, и с тоски, наверное, ушел наполовину в море: утопиться, мол, что ли?»

«Хлеб печется из одного и того же зерна, но посмотрите, как разнообразны хлеба. И как же разнообразен хлеб дружбы...» К этой мысли приходит Евдоша, поняв, как важен и в дружбе и в любви такт, «чувство наших чувств», взаимопонимание, рождающее возможность полного душевного контакта между людьми. Путь к этому труден, но он и необходим. Трагическим напоминанием этого служит нелепая гибель Павла, сорвавшегося со скалы. В ней — случайность. Никто не думает о возможности самоубийства, тем более те, кто был ближе всех к погибшему. Но Евдоша не может снять с себя некоторую вину: слишком затянулся период

взаимонепонимания между ними, слишком грубо и резко была Евдошей отвергнута любовь Павла, дерзкая, эгоистичная и поэтому слишком чувствительная к обидам.

Прекрасная молодая женщина у великолепного моря, напоминающего каждую минуту, как чудесен мир, получает здесь серьезный нравственный урок, и он помогает ей по-новому понять близких людей — и мужа, и художника, и Павла, и его приятеля, Фому. Повесть в первом варианте представляла собой камерное, но цельное произведение, рожденное на волне размышлений Иванова о том, как будут складываться в новом мире человеческие взаимоотношения, отношения женщины и мужчины: психологические конфликты неизбежны, но гармония в этих отношениях достижима.

Перерабатывая повесть в 1943 году, Иванов хотел, чтобы она непосредственно соприкасалась с текущими днями Великой Отечественной войны, но не достиг удачи и в этом виде публиковать «Вулкан» не стал.

На третьем этапе работы — в начале 60-х годов — происходит выдвижение на первый план проблемы, имеющей общественный и нравственный смысл, но относящейся в самом широком смысле к искусству и к судьбе таланта в обществе. Рамки произведения раздвинулись, превратив небольшую повесть в роман. В упоминавшемся выше предисловии Иванов признавался, что по сравнению с прежним вариантом «кое-что подправил, дописал, вырисовывая для себя те впечатления, которые в те времена мне виделись очень неясно...». Прояснилась в первую очередь коллизия, которая теперь становится главной и созвучной новой эпохе. Группа архитекторов противится установке на развитие «римского стиля». И мысль Иванова прикована к отступникам, которые или сами готовы подчиниться «Риму» или в угоду ложным авторитетам, по корысти, в интересах собственной карьеры торопятся бросать камни по адресу провинившихся. Возникает тема пагубности «безумного молчания» (см. первый эпиграф к роману). Верно поняла смысл «Вулкана» Е. А. Краснощекова, первая писавшая о романе: «Попрание собственного дарования, измена искусству, отказ от подлинно нравственных норм поведения... Разные по масштабу «проступки» персонажей расцениваются Ивановым как звенья одной цепи. Художник предельно требователен к своим героям, не прощает им любого отступничества» (Е. А. Краснощекова. Всеволод Иванов. — В кн.: Вс. Иванов. Избранные произведения в 2-х тт., т. 1. М., 1968, с. 31).

В новой редакции значительно переосмыслена фигура Захария Гармаша, она обрела трагический оттенок, поскольку реальная судьба художника не отвечает возможностям его большого таланта. Такова плата за измену дороге, которая еще в предреволюционные годы поставила его на передний край искусства. Груз новых задач

приняли на себя образы Павла Ферязева и Фомы Затонского. Линии этих героев особенно рельефно проясняют связь приспособленчества, лжи и подлости.

В последней редакции романа появились разговоры автора с читателем, ссылки на привилегии романиста. Это усиливает публицистическое начало произведения. Е. А. Краснощекова считает в указанной выше статье, что Иванов — живописец, психолог — «одержал в «Вулкане» более убедительную победу, чем Иванов — философ, непосредственно обращающийся к читателю» (с. 32), что порой ощущается несовпадение частного, бытового сюжета и нравственной философской надстройки над ним. Творческая история романа в известной степени проясняет эти недостатки. Однако нужно отдать должное художнику, его чутью ко времени, его умению придать волнующей его проблеме гражданский смысл, подлинную общественную остроту. Справедливо писал в своем отзыве о «Вулкане» украинский писатель Микола Бажан: «...я считаю «Вулкан» замечательным произведением русской советской литературы. Какой большой, настоящий, чистый и любящий человек писал эту книгу! Как много утеряло человечество с его смертью...» («Сибирские огни»,1966, № 6, с. 8).

Текст печатается по рукописи, которая хранится в архиве Вс. Иванова: машинопись с правкой автора и Т. В. Ивановой. По поводу этой правки вдова писателя свидетельствует: «Текстологов (настоящих и будущих) может смущать тот факт, что на некоторых страницах авторского оригинала машинописи есть правка, сделанная не только рукой Вс. Иванова, но и моей рукой, и даже цвет карандаша попадается разный.

Разгадка этого феномена очень проста.

Мы работали вместе — я помогала Всеволоду Вячеславовичу именно в самой последней стадии отделки рукописи: на моей обязанности лежало сделать авторский машинописный вариант читабельным для машинистки».

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Иванов Вс.

И 20 Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. 5. Романы, повести, рассказы (1935—1956). Подготовка текста Е. Краснощековой и С. Чулкова. Коммент. Л. Гладковской. Худ. Л. Чернышев. М., «Худож. лит.», 1975.

696. с.

В пятый том собрания сочинений Вс. Иванова включены произведения трех десятилетий: рассказы конца 30-х годов, повести и рассказы военных лет, такие, как «Близ старой Смоленской дороги», «При Бородине» и др., а также опубликованные посмертно произведения так называемого «фантастического» цикла. К ним относятся рассказы «Сизиф, сын Эола», повесть «Агасфер» и другие произведения.

И $\frac{70302\text{-}306}{028(01)\text{—}75}$ **подписное** **Р 2**

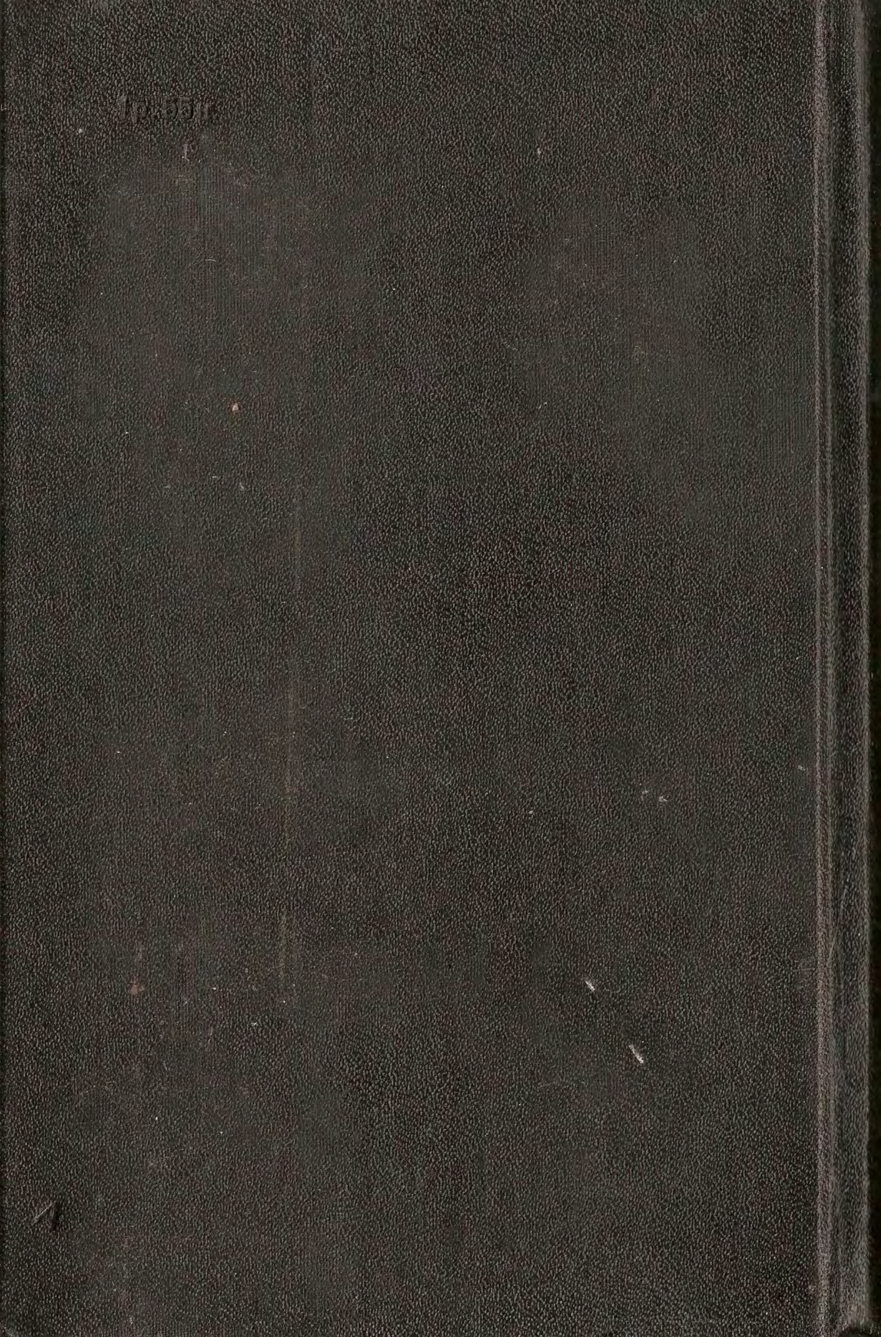
ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ
Собрание сочинений
Том 5

Редактор *Т. Аверьянова*
Художественный редактор *А. Виноградов*
Технический редактор *В. Кулагина*
Корректоры *З. Тихонова* и *И. Тереховская*

Сдано в набор 28/XI 1974 г. Подписано к печати 11/IV 1975 г. А02075. Бумага тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. 21,75 печ. л. 36,54 усл. печ. л. 38,104 уч.-изд. л. Заказ № 1773. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 55 к.

Издательство «Художественная литература»,
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26


1 р. 55 к.